Илья Эренбург

3

Илья Эренбург 3

Илья Эренбург

Собрание сочинений в восьми томах



Илья Эренбург

Собрание сочинений в восьми томах

1991
Москва
«Художественная литература»

Илья Эренбург

Собрание сочинений
том третий

РОМАНЫ

Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца

День второй

Книга для взрослых

Москва
«Художественная литература»
1964

ББК 84Р7
Э76

Составление, подготовка текста
И И. ЭРЕНБУРГ

Комментарии
Б. Я. ФРЕЗИНСКОГО

Оформление художника
Е. А. ГАННУШКИНА

Эренбург И. Г.
Э76 Собрание сочинений. В 8 т. Т. 3. Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца; День второй; Книга для взрослых: Романы / Сост., подгот. текста И. Эренбург; Комм. Б. Фрезинского.— М.: Худож. лит., 1991.— 607 с.
ISBN 5-280-01624-1 (Т. 3)

В третий том Собрания сочинений И. Г. Эренбурга вошли романы: «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» (1927), «День второй» (1933) и «Книга для взрослых» (1936).

Э $\frac{4702010206\text{-}211}{028(01)\text{-}91}$ Подписное **ББК 84Р7**

ISBN 5-280-01624-1 (Т. 3)
ISBN 5-280-01055-3

Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца

роман

1

Можно сказать, что вся бурная жизнь Лазика началась с неосторожного вздоха. Лучше было бы ему не вздыхать!..

Но неизвестно, о каком Лазике идет речь. Лазиков много — хотя бы Лазик Рохенштейн, тот, что в клубе «Красный прорыв» изображал императора Павла и неестественно при этом хрюкал (а штаны, кстати,— на пол, штаны были журавлевские); или же Лазик Ильманович, секретарь уездного комитета, обжора каких мало, в прошлом году, не боясь партчистки, лопал мацу с яйцами и еще, нахал, на губздрав ссылался, якобы питательность велика, к тому же не образует газов.

Вот и в Одессе прозябает какой-то Лазик. Читал я там лекцию о французской литературе. Записок, как полагается, ворох, здесь и «какого вы класса будете», и «расскажите нам лучше об экспедиции товарища Козлова», и «отвечай, цюцкин внук, за сколько фунтов продался», и такая вот: «Шапиро, погляди-ка, Лазик уже спит». Я, хоть и не Шапиро, полюбопытствовал. Народу, однако, много: так и не разыскал я этого сонливого Лазика, не знаю даже, кто он, одно ясно — невежа, другие учатся, а он дрыхнет.

Нет, Лазик Ройтшванец никогда не падал так низко.

Знаю я, сразу скажут: «А фамилия у него того...» Не спорю, бывают фамилии и покрасивей, даже среди «мужеских портных» Гомеля, не говоря уже о православном духовенстве. Например, Розенблюм или Апфельбаум. Но кто же обращает внимание на фамилию?

Наконец, что стоило Лазику стать в наши дни хоть самим Спартаком Розалюксембургским? Ведь

превратился же счетовод Беллеса Онисим Афанасьевич Кучевод в Аполлона Энтузиастова. Это дело двух рублей и вдохновения. Если не польстился Лазик Ройтшванец на какое-нибудь плодовое дерево, были у него, разумеется, свои резоны. Крепко держался он за невзрачную фамилию, хоть барышни и взвизгивали: «Ай-ай-ай!»

Фамилия входила в разумный план его жизни. Чьи портреты красовались над крохотной кроваткой Лазика? Ответить трудно. Сколько портретов — вот что спрошу я. Да никак не менее сотни. Всем известно, что гомельские портные любят украшать стены разными испанскими дезабилье. Но Лазик был не дурак. Красоток он разглядывал, сидя в гостях, а свои стенки покрыл портретами, вырезанными из «Огонька».

Вот тот мужчина с рачьими глазищами — знаете, кто это? Пензенский делегат Доброхима. А юноша в купальном костюмчике, задравший к солнцу ляжку,— это знаменитый пролетарский бард Шурка Бездомный. Направо — международные секции. Не узнаете? Бич португальских палачей Мигуэль Траканца. Налево? Тсс!.. Закоренелый боец, товарищ Шмурыгин — председатель гомельской... Поняли?

Правда, к этим вдохновенным портретам примазалась фотография покойной тети Лазика Хаси Ройтшванец, которая торговала в Глухове свежими яичками. Среди мраморных колоннад бедная тетя Хася глядела перепуганно и сосредоточенно, чуть приоткрыв ротик, как курица, готовая снести яйцо. Однако и на нее Лазик как-то показал ответственному съемщику Пфейферу:

— Это вождь всех пролетарских ячеек Парижа. У нее такой стаж, что можно сойти с ума. Вы только поглядите на эти глаза, полные последней решимости...

Днем бойцы охраняли Лазика, по ночам они пугали его. Даже португальский бич среди подозрительной тишины вмешивался в личную жизнь Ройтшванеца. «Ты скрыл от фининспектора брюки Пфейфера, коверкот заказчика и галифе Семке из своего материала... А ты знаешь, что такое Соловки? Значит, гомельский портной хочет, между прочим, в монастырь? Ты показал восемьдесят вместо ста пятнадцати. Очень хорошо! А в Соловках может быть сто градусов мороза. Да, это тебе, Лазик Ройтшванец, не Португалия!» — И бич саркастически щелкал.

Шурка Бездомный кричал страшные слова, как в клубе «Красный прорыв» кустарей-одиночек, явно намекая и на пфейферские брюки, и на Соловки: «Фиговый листок надеваешь, сукин лорд? Мы тебе покажем, сумасшедший полюс!..»

Даже тетя, добрая тетя Хася, которая на ханукy дарила маленькому Лазику гривенник, и та осуждающе кудахтала: «Как же ты? Ах!..» Лазик зарывался в одеяло.

Портретов, однако, он не снимал. Он умел быть стойким до конца, вот как товарищ Шмурыгин. Мало, скажете, он страдал за свои принципы? Он вызубрил наизусть шестнадцать стихотворений Шурки Бездомного о каких-то ненормальных комбригах, которые «Умирают с победоносной усмешкой на челе».

Он не остановился и перед рукой цирюльника Левки, в одну минуту превратившей его добродушную робкую физиономию в поганое лицо заядлого изверга. Что делать — в клубе «Красный прорыв» ставили пьесу товарища Луначарского. Лазик не был саботажником. Изверг? Пусть изверг! Он даже лез на Сонечку Цвибиль и делал вид, что ее кусает, хоть ему было противно. Что общего, скажите, между гомельским портным и какой-то взбесившейся собакой? К тому же у Сонечки муж в милиции, и хоть собачьи прыжки — дело государственное, Лазик не знал, как отнесется гражданин Цвибиль к подобной симуляции. Но Лазик не хотел отставать от своего века. Он храбро рычал и скалил зубы. Он низко кланялся всем кустарям-одиночкам, которые хохотали: «Ой, какой этот Ройтшванец дурак!» Он приговаривал: «Товарищи, душевное мерси». Он все вынес.

Вот и фамилия... Почему Раечка прогнала его? Из-за прыщика? Спросите Лазика, он вам ответит: «Прыщик — глупости, прыщик всходит и заходит, как какой-нибудь гомельский комиссар». А фамилия... Можно ли гулять под ручку с человеком, у которого такая глупая фамилия? «С кем идет Раечка?» — «Да с Ройтшванецем...» — «Хи-хи».

Ничего! Пусть смеются, Лазик хитрее их. Когда Лазика вызывали для заполнения сорок седьмой анкеты, товарищ Горбунов, рыжий из комхоза, спросил:

— Фамилия?

— Ройтшванец.

— Как?

— Ройтшванец. Простите, но это опытно-показательная фамилия. Другие теперь приделывают себе слово «красный», как будто оно у них всегда было. Вы не здешний, так я могу сказать, что столовая «Красный уют» была раньше всего-навсего «Уютом», а эта улица Красного Знамени называлась даже совсем неприлично — Владимирской улицей. Если вы думаете, что «Красные бани» всегда были красными, то вы, простите меня, ошибаетесь. Они покраснели ровно год тому назад. Они были самыми ужасными «Семейными банями». А я от рождения — Ройтшванец, об этом можно справиться у казенного раввина. В самой фамилии мне сделан тонкий намек. Но я вижу, что вы ничего не понимаете, так я объясню вам: «Ройт» — это значит «красный».

Товарищ Горбунов усмехнулся и со скуки спросил:

— Так... А что же значит «шванец»?

Лазик пренебрежительно пожал плечами.

— Достаточно, если половина что-нибудь значит. «Шванец» — это ничего не значит. Это пустой звук.

2

Нет, не из-за фамилии погиб Лазик. Всему виной вздох. А может быть, и не вздох, но режим экономии, или жаркая погода, или даже какие-нибудь высокие проблемы. Кто знает, отчего гибнут гомельские портные?..

Жара стояла в тот день действительно редкостная. Сож мелел на глазах у гомельчан. Зато следователь Кугель сидел весь мокрый.

Около семи часов вечера Лазик решил направиться к дочери кантора Фенечке Гершанович.

Фенечка пела в клубе «Красный прорыв» международные мелодии. Собственно говоря, в клуб она вошла хитростью. Какой же кустарь-одиночка Гершанович? Что он производит? Обрезает несознательных младенцев, по три рубля за штуку. Ячейка могла бы легко установить, что Фенечка живет на постыдном иждивении служителя культа.

Старик Гершанович говорил дочери: «Этот Шацман смотрит на меня десять минут не моргая. Одно из двух: или он хочет на тебе жениться, или он хочет, чтоб я уехал в Нарым. Спой им, пожалуйста, сто междуна-

родных мелодий. Тогда они, может быть, забудут, что я тоже пою. Если Даниил успокоил настоящих львов, почему ты не можешь успокоить этих перекошенных евреев? Ты увидишь, они убьют меня, и я жалею только об одном: зачем я их когда-то обрезал...»

Не знаю, размягчили ли трели Фенечки сердца членов Гомельского губкома, но вот Лазик, слушая их, влюбился горячо и безответно. Фамилия, правда, не смущала Фенечку — она держалась передовых взглядов. Но с ростом Лазика она никак не могла примириться. Что остается теперь делать дочери кантора? Мечтать о карьере Мэри Пикфорд и танцевать с беспартийными фокстрот. С Лазиком?.. Не скрою: голова Лазика барахталась у Фенечки под мышкой. Правда, Лазик пробовал ходить на цыпочках, но только натер мозоли. Как же здесь выразить пылкие свои чувства? Как невзначай в глухой аллее поцеловать щечку Фенечки: подпрыгнув, и то не достанешь.

Ему было вдвойне жарко: пылало сердце. Он вышел из дому, отутюжив брюки Пфейфера и на всякий случай предупредив соседей:

— Я иду на занятия политграмотой. Если б вы только знали, что такое один китайский вопрос! Это еще труднее, чем Книга Зогар. Будь я Шацманом, я запретил бы кустарям-одиночкам заниматься такими центральными вопросами. Над этим вообще должен думать какой-нибудь последний комитет, а не гомельские портные...

Он вздохнул, но не этот вздох погубил его, даже не следующий, рожденный мыслями о недоступности Фенечки. Он сегодня скажет ей все. Он скажет ей, что Давид был маленький, а Голиаф большая дубина, вроде этого Шацмана. Он скажет ей, что соловей гораздо меньше индейского петуха. Он скажет ей, и вполне по-современному, что маленькое организованное меньшинство побеждает или хотя бы временно гибнет. Он скажет...

Наверное, он придумал бы нечто, способное убедить даже легкомысленную Фенечку, но вдруг его внимание привлек одноглазый Натик, который сосредоточенно наклеивал на забор бывшего епархиального училища огромную афишу.

Что еще случилось на свете? Может быть, в Гомель приехала гастрольная труппа московской оперетты? Тогда придется разориться на роскошные места:

у Фенечки музыкальная натура. Может быть, они придумали какие-нибудь новые отчисления в пользу этой китайской головоломки? Может быть, попросту жулик Дышкин хочет сбыть под видом просветительной кампании свои глупые письмовники из позапрошлого столетия?

Афиша предназначалась для граждан среднего роста, и Лазику пришлось стать на цыпочки, как будто перед ним была сама Фенечка Гершанович. Прочитав первую же фразу, он вздрогнул и оглянулся по сторонам. Рядом с ним стояла только неизвестная ему гражданка. Артистка московской оперетты? Или уполномоченная по сбору отчислений?

Чем дальше читал Лазик, тем все сильнее дрожал он. Дрожал галстучек в горошинку, дрожала головка на вечном каучуковом воротничке, дрожал в брючном кармане замечательный американский пульверизатор с наилучшей «Орхидеей» производства «Тэжэ», который Лазик собирался преподнести Фенечке, дрожали брюки, необычайные брюки из английского материала (растратчик оставил, после второй примерки сцапали человека без брюк). Дрожали большущие буквы. Дрожал забор. Дрожало небо.

«Умер испытанный вождь гомельского пролетариата, товарищ Шмурыгин. Шесть лет красный меч в его мозолистых руках страшил международных бандитов. Но гибнут светлые личности, живы идеи. На место одного становится десять новых бойцов, готовых беспощадно карать всех притаившихся врагов революции...»

Здесь-то Лазик Ройтшванец вздохнул, жалобно, громко, скажу прямо, с надрывом. Пожалел ли он товарища Шмурыгина, скончавшегося от заворота кишок? Или испугался десяти новых бойцов? Где же раздобыть их портреты? Как они отнесутся к полусознательным кустарям-одиночкам? Брюки, утаенные от фининспектора, пфейферские брюки!..

Вздохнув, Лазик пошел дальше. Но он не рассказал Фенечке о посрамленном Голиафе, он не обрызгал ее из американского пульверизатора ароматной «Орхидеей».

Следователь, товарищ Кугель, угрюмо сказал ему:

— Вы публично надругались над светлой памятью товарища Шмурыгина.

— Я только вздохнул,— кротко вздохнул Лазик.— Я вздохнул, потому что было очень жарко и потому

что из рук выпал этот мозолистый меч. Я всегда так вздыхаю. Если вы мне не верите, вы можете спросить гражданку Гершанович, а если гражданка Гершанович тоже не годится, потому что она дочь служителя культа, вы можете спросить курьера фининспектора. Он-то знает, как я громко вздыхаю. Я даже скажу вам, что меня хотели прошлой весной выселить из жилтоварищества за надоедливые вздохи. Я занимался по ночам политграмотой и, конечно, вздыхал про себя, а Пфейферы показали, что я нарушаю их трудовой сон...

Товарищ Кугель прервал его:

— Будьте прежде всего кратки. Буржуазия создала наряду с тейлоризмом пресловутый афоризм: «Время — деньги». В этом сказалось преклонение умирающего класса перед жалким продуктом прибавочной стоимости. Мы же говорим иначе: «Время не деньги. Время больше, чем деньги». Вы похитили сейчас у меня, а следовательно, у всего рабочего государства пять драгоценнейших минут. Перейдем к делу: гражданка Матильда Пуке показывает, что вы, прочитав известное вам обращение ко всем трудящимся Гомеля, торжествующе захохотали и издали неподобающий возглас.

Здесь Лазик не выдержал, он деликатно улыбнулся.

— Я не знаю, кто это такое гражданка Пуке. Может быть, она глухонемая или совершенно ненормальная. Я скажу вам только одно: я даже не умею торжественно хохотать. Когда я должен был торжественно хохотать в трагедии товарища Луначарского, я вдруг остановился над свежим трупом герцогини и совершенно замолчал, хоть мне и кричал Левка-суфлер: «Хохочи же, идиот!» Я вас уверяю, гражданин Кугель, что если бы я мог издавать возгласы и торжественно хохотать среди белого дня, да еще на главной улице, я, наверное, не был бы несчастным портным, который шьет кое-что из материала заказчика, я или лежал бы где-нибудь в безответной могиле, или сидел бы в Москве на самом роскошном народном посту...

— Вы симулируете классовую отсталость, но вряд ли это вам поможет. Я предаю вас обвинению по восемьдесят седьмой статье Уголовного уложения, карающей оскорбление флага и герба.

Услышав это, Лазик хотел вздохнуть, но вовремя удержался.

3

Вздох, хотя бы и пронзительный, еще может быть отнесен к печальным случайностям, но поведение Лазика во время судебного разбирательства заслуживает всемерного порицания. Вот когда оно сказалось, тяжелое наследие прошлого! Ведь не всегда Лазик жил китайским вопросом и другими светлыми идеями. До тринадцати лет, пощипывая свой едва опушенный подбородок, он сидел над каким-то смехотворным Талмудом.

Если два еврея найдут один талес — кому он должен принадлежать? Тому, кто первый его увидел, или тому, кто первый его поднял? Попробуйте-ка, решите эту задачу. Подбородок Лазика горел от щипков. Что важнее, рука или глаза? Открытие или работа? Вдохновение или воля? Если отдать тому, кто первый увидел, обидится голова: «Я распорядилась, чтобы рука подняла талес». Если отдать тому, кто первый поднял, обидится сердце: «Я подсказало глазам, что их ждет находка». Если оставить талес на дороге, то пропадет хороший талес, который нужен каждому еврею для молитвы. Если разрезать талес на две части, то он никому не будет нужен. Если пользоваться талесом по очереди, то два еврея возненавидят друг друга, ибо одному человеку просторно даже в желудке у рыбы, а двум тесно даже в самом замечательном раю. Что же делать с этим коварным талесом? Что делать с двумя евреями? Что делать с истиной?

Лучше всего не находить талеса и не думать об истине. Но талес может оказаться на дороге, и стоит человеку остаться с самим собой, будь то даже в хвосте галантерейной лавки или в паршивой уборной, и он начинает думать об истине.

Давно подбородок Лазика покрылся курчавой порослью, давно поросль эта пала, скошенная проворной рукой Левки-парикмахера, давно уж забыл он о палке учителя и о двух евреях, нашедших один талес, но осталась привычка думать над тем, над чем лучше вовсе не думать.

Смешно подозревать Лазика в каких-то суевериях. Ему не было и тринадцати лет, когда он понял, что талес никому не нужен и что лучше найти на дороге двести тысяч или хотя бы три рубля. Он понял, что человек создан из обезьяны, а не из какого-то «подо-

бья», что оперетта гораздо интереснее хоральной синагоги, что Гершанович большой жулик, что ветчина с горошком ничуть не хуже говядины с черносливом и что вообще теперь настоящий двадцатый век.

Лазик как-то уничтожил самого старика Гершановича, показав при этом всю свою преданность чистой науке. Это было вечером. Фенечка глядела на звездное небо, а Лазик, очарованный бледным личиком девушки, стоял подле не дыша. Тогда-то хитрый Гершанович решил подкопаться под Лазика.

— Мне даже смешно подумать, что ты до сих пор уверяешь, будто бы Солнце стоит, а Земля вертится. Я не скажу тебе, посмотри на небо в час заката,— может быть, ты вообще слеп, как крот, и ничего не можешь видеть. Я не спрошу тебя, как же Иегошуа Навин мог остановить Солнце, если оно вообще не движется,— ты ведь ответишь: меня при этом не было, как отвечают все дураки. Кстати, интересно, был ли ты при том, как обезьяна родила человека? Но я тебе все-таки докажу, что Земля стоит на одном месте, и ты ничего не сможешь мне ответить. Хоть ты прикидываешься глупым Фонькой из Москвы, ты же изучал когда-то Талмуд, ты знаешь, что разводное письмо нельзя вручить женщине, когда женщина передвигается. Нельзя дать ей развод ни в поезде, ни на пароходе, ни когда она просто гуляет по улице. Если бы Земля двигалась, то двигались бы все женщины, потому что женщины живут, кажется, на Земле. Тогда никогда нельзя было бы разводиться, значит, Земля стоит спокойно на одном месте.

Хоть Лазик был расслаблен близостью Фенечки и роскошью звездного неба, он все же твердо ответил Гершановичу:

— Это рассуждения, простите меня, маленького ребенка. Если глядеть из одного поезда, который идет, то кажется, что оба поезда стоят. Кто дает женщине развод? Ее муж. Если б он вертелся в другую сторону, тогда б он заметил, что и его жена вертится, но так как они оба вертятся в одну сторону, то мужу, конечно, кажется, что его жена совсем не вертится. А вообще говоря, разводиться можно даже на американском пароходе, если только там будет сотрудница загса, и это стоит каких-нибудь шестьдесят копеек. Главное, гражданин Гершанович, чтобы была горячая любовь и мотовское сверкание звезд, а остальное — это гербовая марка.

Лазик выговорил это стойко, хоть и знал, что теперь ему будет еще труднее дотянуться до щечки Фенечки, даже встав на цыпочки. Что делать, Лазик был человеком двадцатого века!

Да, но щипанье подбородка, но хитрая улыбочка, но логика, логика во что бы то ни стало,— они-то погубили честного «мужеского портного».

На первый же вопрос председателя суда, вместо того чтобы, кратко упомянув о своем пролетарском происхождении, опровергнуть гнусную клевету гражданки Пуке, Лазик ответил двусмысленно:

— Виновен? Если я в чем-нибудь виновен, так только в том, что я живу. Но в этом я тоже не виновен. В этом виновны смешные предрассудки и ужасная холера. Если бы не было холеры, не было бы вовсе Лазика Ройтшванеца, и тогда я спрошу вас, гражданин председатель, что бы делала эта ненормальная гражданка Пуке? Я родился, потому что смешно было мерить аршином кладбище, потому что было такое несчастье, что его нельзя было измерить никаким аршином. Вы не понимаете, в чем дело? Это очень просто. Тогда была большая холера, такая большая, что почти все евреи умерли, а те, что не умерли, конечно, не хотели умереть. Теперь для этого существует народный губздрав и даже сам товарищ Семашко. Но тогда несознательные евреи думали, что если обмерить кладбище аршином, кладбище перестанет расти. Они мерили и мерили, а кладбище росло и росло. Тогда они вспомнили, что если нельзя надуть смерть, можно ее развеселить. Они нашли самого несчастного еврея, Мотеля Ройтшванеца. У него не было за душой медной копейки. У него была только печальная фамилия. Он стирал постыдное белье, и в пурим он разносил из дома в дом роскошные подарки за какие-нибудь пять копеек. Словом, он мог бы преспокойно умереть от холеры, и никто бы не жалел об этом. Но он как раз не умер. Богатые евреи нашли Мотеля Ройтшванеца, и они нашли самую несчастную девушку. Они сказали: «Мы дадим вам тридцать рублей, мы дадим вам курицу и рыбу, но вашу свадьбу мы справим на кладбище, чтобы немножко развеселить смерть». Я не знаю, веселилась ли смерть и веселились ли евреи, ведь у жениха был, кроме печальной фамилии, большущий горб, а невеста была, говоря откровенно, хромая. Я не знаю даже, кончилась ли холера, но одно я знаю, что родил-

ся я, Лазик Ройтшванец, и в этом, кажется, единственная моя вина.

— Может быть, вы все же скажете нам, что вы делали одиннадцатого июля в семь часов пополудни?

— Я шел к члену клуба «Красный прорыв», к товарищу Фене Гершанович. Перед этим я утюжил брюки, а после этого я сидел как настоящий злодей в тюрьме с решеткой.

— Однако, прочитав обращение к трудящимся, вы демонстративно выразили свои контрреволюционные чувства.

— Как я мог выразить свои чувства, если я их вообще не выражаю? Вы думаете, что я торжественно хохотал, когда пали цепи самодержавия и когда околоточный Богданов сидел у нас на дворе под кадкой? Нет, я и тогда говорил себе: пусть издает возгласы Левка-парикмахер — он все равно ничего другого не умеет делать. Я не выражал, хотя тогда все выражали: даже Богданов вылез из-под кадки и тоже выражал. Я — сплошная загадка, и ни гражданка Пуке, ни вы, гражданин прокурор, никто на свете не знает, какие у меня, может быть, в душе чувства. Кому интересно, что у маленького портного внутри? А если вы все-таки будете настаивать, я прямо скажу вам: можно вывернуть пиджак, но не душу. Я шел к товарищу Гершанович, и я ровно ничего не выражал. Вы спросите, почему я вздохнул, прочитав это «Обращение ко всем трудящимся»? Как же я мог не вздыхать? Ведь это же было воззвание для вздохов. У меня висел на стене портрет товарища Шмурыгина. Я занимаюсь политграмотой. Я могу сказать вам наизусть хоть сейчас все произведения товарища Шурки Бездомного. Если же случилось такое несчастье и я, Лазик Ройтшванец, попал на эту черную скамейку подсудимых, то я вам признаюсь, что пфейферские брюки я действительно скрыл от гражданина фининспектора. Я показал восемьдесят вместо ста пятнадцати. Это составляет ровно тридцать пять рублей разницы. За это меня можно оштрафовать, и я только тихонько вздохну, как тогда у забора. Но нельзя меня судить за оскорбление герба и флага, когда там не было ни герба, ни флага, а всего-навсего гражданка Пуке, и то я ее ничем не оскорблял.

Однако Матильда Пуке, женщина с бледно-зелеными меланхоличными глазами и со стажем в девять

месяцев, повторила показания, данные ею на предварительном следствии: подсудимый подбежал к воззванию, прочитал его и, нагло расхохотавшись, издал бесстыжий возглас, который, ввиду кампании по борьбе с хулиганством, не надлежит даже воспроизводить. Выслушав все это, Лазик подмигнул председателю:

— Я же говорил, что она или ненормальная, или глухонемая. Натик действительно наклеил бумажку. Я действительно подошел и прочитал. Зачем же наклеивают бумажку? Чтоб ее, кажется, читали. После этого я вздохнул. Откуда вы знаете, может быть, мне стало жалко товарища Шмурыгина? Разве это так просто, умереть от заворота кишок? И потом, я очень хорошо понимаю, что такое надгробная скорбь в масштабе губернского города. Если когда-то могли на кладбище справлять свадьбу, то ведь это было в позапрошлом столетии, и потом тогда была холера, а теперь у нас нет никакой холеры, теперь у нас только хозяйственное возрождение и китайский вопрос. В старом хедере меня учили Талмуду. Это, конечно, обман, и с тех пор я прочел уже всю «Азбуку коммунизма». Но даже в этом неприличном Талмуде сказано, что когда все смеются — смейся, а когда все плачут — плачь, когда все читают Библию, не вздумай, пожалуйста, читать Талмуд, и когда все читают Талмуд, забудь, что на свете существует Библия. Неужели же вы думаете, что я, Лазик Ройтшванец, который пережил восемь разнообразных режимов, не знаю такой простой вещи? Сдавали швейные машины, и я сдавал. Радовались успехам проснувшегося турка, и я радовался. Наклеили эту афишу, и я вздохнул. Чего же вы от меня хотите с этой сумасшедшей Пуке?..

Повторяю, Лазик сам себя погубил, и легко понять одного народного заседателя, который мрачно буркнул другому:

— Он глуп, но хитер. Он заговаривает зубы.

Речь прокурора, товарища Гуревича, была кратка и выразительна:

— Гражданин Ройтшванец — гнилой продукт клерикального оскопления личности. Он хочет на словах влить новый сок в старый мех, но, конечно, это типичное шкурничество. Неожиданное признание в злостном обмане органов государственной инспекции кидает новый свет на этого переодетого волка. Его заверения, что воззвание было вывешено для каких-то вздохов,

всецело совпадают с инсинуациями белогвардейской прессы, в то время как бескорыстные показания гражданки Пуке продиктованы исключительно ее классовой совестью. На основании всего этого я считаю необходимым, не отсекая совершенно больной ветки и не ставя вопроса о социальной опасности, подвергнуть гражданина Ройтшванеца исправительной каре.

Правозаступник, товарищ Ландау, наоборот, отличался многословием. Битый час говорил он. Кажется, только Лазик и слушал его.

— Современной науке известны галлюцинации слуха, так сказать, акустические миражи пустыни. Арабы видят оазисы. Узник слышит пение соловья. Я не хочу кидать тень на гражданку Пуке. Но я подвергаю ее слова строго научному анализу. Конечно, Лазик Ройтшванец — дегенерат. Я настаиваю на медицинской экспертизе. То, что он называет «вздохами»,— чисто патологическое явление. Быть может, мы имеем дело с тяжелой наследственностью. Брак, заключенный на кладбище, согласно евгенике, способен дать ненормальное потомство. Я взвешиваю все факты, и на чашу весов падает его исключительное происхождение. Вы должны обвинить еврейскую буржуазию, создавшую талмудические школы и другие средства порабощения пролетариата, вроде оскорбительных венчаний среди могил, но в порыве великодушия победившего класса вы должны оправдать этого несчастного кустаря-одиночку!

С осторожностью председатель спросил Лазика, не хочет ли он что-либо добавить ко всему сказанному им прежде. Утомленный красноречием товарища Ландау, председатель явно побаивался словоохотливого подсудимого. Но Лазик понял, что дело его проиграно. Он больше не оспаривал показаний гражданки Пуке.

— Что же мне сказать после стольких умных речей? Когда лев разговаривает с тигром, кажется, зайцу лучше всего молчать. Я хочу только внести одно маленькое предложение. Товарищ Гуревич партийный, и товарищ Ландау тоже партийный, и у них вышла между собой небольшая дискуссия, как у нас в клубе кустарей-одиночек. Так я им предлагаю мировую. Если, например, товарищ Гуревич хочет, чтобы меня посадили на шесть месяцев, а товарищ Ландау хочет, чтобы меня вообще отпустили домой, то я предлагаю сделать ровное деление и посадить меня на три месяца.

Тогда все будут довольны, даже гражданка Пуке. А если я буду недоволен, то я же утаил пфейферские брюки и все равно я, как сказал товарищ Гуревич, гнилой продукт. Конечно, я предпочитаю, чтобы вы послушались товарища Ландау и отпустили меня домой. Я даже обещаю никогда больше не вздыхать и заниматься одной китайской проблемой всю мою недолговечную жизнь. Но, с другой стороны, я боюсь, что вы можете послушаться товарища Гуревича. Это же сплошная лотерея! И тогда мне будет совсем плохо. Вот поэтому я предлагаю вам немедленно пойти на мировую и, хорошенько высчитав все, дать мне как можно меньше месяцев, потому что меня ждут, наверное, какие-нибудь небольшие заказы, а также надежда на отзывчивость товарища Фени Гершанович. А без надежды и без заказов я могу легко умереть. Но ведь этого не хочет даже товарищ Гуревич, потому что все граждане, кроме некоторых отрезанных веток, должны жить и дружно цвести, как цветут безответственные деревья на крутом берегу нашего судоходного Сожа!

4

У Лазика была чрезвычайно нежная кожа,только Левка-парикмахер и умел его как следует брить. Но Левка — это не простой парикмахер, это — мировая знаменитость. Говорили, будто он столь артистически побрил затылок одной приезжей дамочки из Коминтерна, что дамочка немедленно залилась слезами умиления, восклицая: «Какая это великая страна», — и дала Левке доллар с изображением американской коровы. Может быть, и врали, не знаю, но вот Лазика брил он на славу: ни ссадин, ни противной красноты, ни жжения — свежесть, отдых, брызги тройного одеколона, а в придачу над ухом какой-нибудь контрабандный мотив, например, «Хотите ли бананы, чтоб были страстью пьяны»... Конечно, у Циперовича торчит всюду вата (желтая, та, что между рамами кладут) и прочая псевдонаука, но куда же Циперовичу до Левки!

В тюрьме Лазик больше всего скучал по Левке. Как человек нашего бурного времени, он быстро привыкал к любой жизни. Конечно, в тюрьме не было ни Фенечки, ни мотовского сверкания звезд, ни гастролей московской оперетки. Зато в тюрьме не было и финин-

спектора. Вот только бы Левку сюда!.. Довериться тюремному цирюльнику Лазик не хотел: исцарапает, надругается, и еще прыщи после вскочат; что скажет через шесть недель Фенечка Гершанович? А на подбородке Лазика уже начинала курчавиться рыжеватая рощица. Дело не в зрелище — перед кем здесь стесняться? Перед восьмью небритыми злодеями? Дело в умственном зуде, рождаемом бородкой.

Лазик хорошо понимал, что именно его погубило на суде. Он дал себе обещание как можно меньше думать. Трудно, разумеется, не думать в тюрьме, когда ежедневно выдают тебе двадцать четыре часа для бесплатной философии и зрелища растерзанной человеческой судьбы, а тем паче когда на подбородке уже торчит пучок подозрительной пакли: так и хочется, обкрутив его вокруг пальца, погрузиться в раздумья. Нет ничего более располагающего к философствованию, нежели курчавая бородка: она-то доводила различных талмудистов до сумасшедших выкладок.

Лежит, представьте себе, крохотная горошинка. Мышка съедает горошинку. Кошка цап-царап мышку. Большая собака загрызает кошку. Собаку, конечно, съедает волк, а волка съедает лев. Выходит человек, и что же — он убивает льва. Можно подумать, что человек — это царь творения. Но человек возвращается домой, и он натыкается на крохотную горошинку, он падает на камень и умирает. Тогда выбегает мышка и насмехается над человеком, и мышка съедает горошинку, а кошка ест мышку, и так может продолжаться без конца. Теперь скажите, разве могли бы безбородые люди дойти до таких размышлений?

Лазик грустно сидел на нарах и, теребя бороду, думал если не о горошинке, то об известной нам гражданке Пуке. Вдруг он радостно пискнул: в камеру вошел Левка-парикмахер. Это не было миражом в пустыне или песней соловья, которую слышит узник. Нет, Левка, живой Левка стоял перед ним!

Несмотря на всю свою радость, Лазик, как вполне сознательный кустарь-одиночка, вздохнул:

— Кто же еще умер, Левка? Может быть, этот португальский бич?

— При чем тут португальский бич, когда мы живем, кажется, в Гомеле? И никто не умер, кроме старика Шимановича, но он все равно должен был умереть, потому что ему было восемьдесят два года.

А у Хасина родилась дочка, чтобы он знал, как продавать мокрый сахар. Но я здесь вовсе не потому, что Шиманович умер, и не потому, что у Хасина родилась дочка. Это же мелкая семейная чепуха, а я здесь по делу чрезвычайной государственной важности. Я влип из-за...— Можно быть первым парикмахером мира, оставаясь при этом отчаянным хвастунишкой, одно другому не мешает. Левка торжественно нахохлился, как молоденький воробей.— Я влип из-за этой самой бочки.

Здесь я должен пояснить, что в Гомеле, несмотря на все наши великие завоевания, нет до сих пор соответствующих труб. От мрачного прошлого унаследовали гомельчане громыхающие по главной улице неприличные бочки. Прошу за это Гомель не презирать. Как-никак в Гомеле множество просветительных начинаний, два театра, цирк, не говоря уж о кино. В музее висит такая голландская рыба, что дай бог всякому еврею к субботе. В парке, бывшем Паскевича, сидит на цепи настоящий волк и пугает раздирающим воем наивных детишек. А клуб «Красный прорыв» кустарей-одиночек? А вполне разработанный проект трамвая? А стенная газета местного отделения Доброхима с дружескими шаржами товарища Пинкеса? Нет, в культурном отношении Гомель мало чем отличается от столицы. Что же касается труб, то это не заслуживающая внимания деталь. Уж на что знамениты Афины, кажется, туда даже из Америки приезжают, ну, а в Афинах тоже нет этих труб, так что нечего попрекать неприличными бочками Гомель.

Разумеется, комхоз всячески ограждает носы граждан. Бочки разрешается вывозить только ночью, да и то в закрытом виде. Однако не все подчиняются даже самым строжайшим запрещениям. Я не говорю о жулике Гершановиче — этот знает все правила наизусть, как десять заповедей: где нельзя плевать, а где можно, в каком месте переходить базарную площадь, в какие дни вывешивать флаги и даже откуда входить в трамвай, хоть в Гомеле имеется всего-навсего проект трамвая. Но ведь существуют на свете граждане поважнее Гершановича, и вот бочка одного учреждения выезжает среди бела дня, даже без надлежащей покрышки. Что здесь поделаешь? Как говорят в Гомеле, бывает, что и плевок заслуживает уважения.

В жаркий летний день крикнет кто-нибудь: «Едет»,— уж не спрашивают гомельчане, кто: знают, сейчас же закрывают они наглухо окна и, забившись в угол, подносят пальцы к чувствительным придаткам обоняния.

Вот из-за этой бочки и влип Левка-парикмахер. Беда застигла его на улице, и он не успел забежать в соседнюю лавочку. Зажав нос, возмущенно он завопил:

— Чтоб они сдохли с этой невыносимой бочкой!

Конечно, глупо кричать на улице. Но ведь Лазик не зря ссылался на Левку. Парикмахер действительно любил возгласы. Во время кампании «Безбожник» он так кричал, что даже охрип. Он и в синагогу вбежал с криком: «Долой эту тухлую субботу! Да здравствует, скажем себе, понедельник!» В кино он не мог сидеть спокойно: сколько раз выводили его. Показывают, например, какого-нибудь лорда, который заговаривает невинную девушку, а Левка уже с ума сходит: «Я тебя бобриком постригу, этакий нахальный феодал!..» Словом, Левка был известным горлодером, и поэтому возглас касательно бочки не мог никого удивить. Лазик недоверчиво спросил его:

— Если ты только издал возглас, почему же тебя посадили? Ты ведь всегда это делаешь. Я думаю, Левка, что здесь дело совсем не в бочке.

Левка иронически прищурился, как будто он стриг лорда.

— Кто тебе говорит, что дело в бочке? Конечно, дело не в бочке: бочка ездит каждый божий день. Дело в какой-то гражданке Пуке. Она заявила, будто бы я произнес целую демонстративную речь.

Лазик задумался.

— Я ведь тоже влип из-за гражданки Пуке. Это какая-то перепуганная женщина. Но я спрашиваю себя, если она будет еще долго гулять по улицам Гомеля, то как же мы будем здесь шевелиться? Пока нас только девять, но завтра нас может быть сто девять. Я теперь буду всю ночь думать, в чем же здесь дело и чего она боится, эта гражданка Пуке: румынского вмешательства или какой-нибудь кулацкой неувязки? Слушай, Левка, раз ты попал сюда, пожалуйста, сейчас же побрей меня, чтоб я не так много думал.

Увы, хоть Левку забрали со всеми его орудиями производства,— шел он брить больного Осю Зайцева,—

бритву у него отобрали. Оказывается, они боятся, чтоб он не покончил с собой. Смешно! Вдруг из-за какой-то Пуке Левка станет резать себе шею.

— Но если ты хочешь, Лазик, я могу тебя намылить, потому что они мне позволили взять с собой кисточку. У тебя, конечно, останется борода, но тогда ты сможешь думать, что у тебя больше нет бороды.

Долго Левка мылил подбородок Лазика. Потом он издал несколько ужасных возгласов, которые я лучше оставлю без внимания, и, окончательно утомленный, заснул. Но Лазик не спал. Он накручивал на палец бородку, и он думал. Далеко за полночь он разбудил нагло похрапывавшего Левку.

— Я уже все понял. Ты знаешь, в чем дело? В этом самом режиме экономии. Она вовсе не боится ни румын, ни неувязки, она только боится, чтоб ее не сократили, потому что теперь всюду беспощадно сокращают неподвижных сотрудников. Конечно, даже такая Пуке хочет кушать курицу и рыбу. Это совсем понятно, и я думаю, что мы не должны на нее сердиться, нет, мы должны ей выдать замечательный аттестат, как на сельскохозяйственной выставке.

5

Увидав одноглазого Натика, Лазик умилился:

— Это замечательно, что тебя посадили, Натик. Во-первых, теперь некому будет наклеивать воззвания и этой гражданке Пуке придется придумать какой-нибудь новый фокус; во-вторых, нас теперь ровно десять, и если кто-нибудь сегодня умрет от тоски по неприкрашенной свободе, то можно будет его похоронить со всеми отсталыми штучками,— ведь нас будет тогда ровно десять евреев. Вы спросите: откуда десять, если один умрет? Десятый — это сторож. Хоть он и уверяет, что он какой-то закавказский грузин из полусамостоятельной федерации, я думаю, что он скорей всего мой двоюродный племянник из Мозыря и что его настоящая фамилия Капелевич. Впрочем, если от тоски по неприкрашенной свободе и по Фенечке Гершанович умру именно я, Лазик Ройтшванец, то я прошу вас не читать надо мной прискорбных молитв. Пусть лучше Левка споет надо мной контрабандную песенку о заграничных бананах. Я никогда не пробовал

этих выдуманных фруктов, но я знаю, что такое самая ужасная страсть. И я прошу вас не говорить надо мной «Кадиш». Я прошу вас сказать: «Он, может быть, был гнилым продуктом, и он, наверное, утаил пфейферские брюки. Но он любил неприкрашенную свободу, разгул деревьев на берегу Сожа, звезды, которые вертятся где-то в пустых горизонтах, и он любил одну гомельскую девушку, имя которой да будет покрыто последней тайной». Я прошу вас сказать все это — если я умру, но, конечно, я вовсе не думаю умирать, и я даже думаю сейчас же доказать тебе, Натик, что ты, как говорит товарищ Гуревич, какая-нибудь оскопленная личность. Если я уничтожил самого Гершановича, то я в пять минут докажу тебе, что земля держится вовсе не на трех подпорках и что гораздо лучше заниматься хорошенькой китайской головоломкой, нежели повторять всю жизнь одни и те же фразы, которые известны всем гомельским кошкам, не говоря уже о собаках.

Только-только Лазик начал просветительную лекцию, как внимание его отвлек новый арестант, вернее, пиджак. Лазик смотрел на мир глазами честного кустаря-одиночки — он замечал прежде всего покрой костюма. Глазами он ощупал материю новичка: это самая настоящая контрабанда, может быть, по восьмидесяти рублей за аршин. Скроено не так уж важно, кроил, наверное, Цимах: это не портной — это сапожник. Чтоб испортить такой материал! Но в общем это могло влететь ему в сорок червонцев. Разве глупо сказано: «Все суета сует»? Вы увидите, что останется через неделю от этого небесного материала, когда здесь торчит из нар какая-то сплошная щетина. Но кто же мог заказать себе такой предательский костюм?..

Лазик наконец-то взглянул на лицо щеголя. Перед ним стоял знаменитый гомельский жулик Митька Райкин, который продавал пишущие машинки, покупал спички и мандаты, держал вокзальный буфет, строил крестьянский киоск для свободной выдачи селькорам лимонада, а также безбожной литературы и лопал в полное свое удовольствие каждый божий день курицу. Кажется, Митьке нечего было удивляться тому, что он очутился здесь, но Митька искренне удивлялся. Он пожимал плечами, наивно чихал, желая выразить этим свое негодование, и подбирал брючки, чтоб они не коснулись острожного пола. Он первый заговорил с Лазиком:

— Ну, что вы скажете?

Лазик нашел вопрос Митьки чрезвычайно неделикатным. Пусть спрашивает Цимаха, который так замечательно сшил ему костюм. Митька, кажется, не следователь. Почему Лазик обязан отвечать ему на глупые вопросы?

— Я? Я ничего не скажу.

— Ах, вы тоже ничего не можете сказать? Это же сплошной анекдот! Чтоб меня посадили за решетку, как обыкновенного бандита! Я же выдал целых пять червонцев в пользу этих самых китайцев. Я, кажется, должен строить не кафешантан, но просветительный киоск, четыре раза одобренный центром. Если, например, вас посадили, так, наверное, вы сделали что-нибудь противозаконное.

Видя душевные муки Митьки, Лазик смилостивился:

— Да, я что-то сделал... Я вздохнул в присутствии гражданки Пуке.

— Вот видите — это, наверное, составляет полное оскорбление нравов. Вас посадили за ваше дело. А меня за что? Они придумали такую смешную историю, что я бы смеялся до упаду, если бы я только не сидел в этой невыносимой тюрьме. Вы послушайте: если я хочу, чтобы Укрспичка купила арифмометры у меня, а не у Шварцберга, я должен дать заведующему двадцать процентов. Это совсем обыкновенная операция. Что же происходит? Сначала он хочет сорок процентов, как будто он не в губернском городе, а на большой дороге. Когда я отвечаю деликатно: «Нет»,— он покупает арифмометры у низкого Шварцберга. А потом меня хватают, как будто я зарезал живого человека, и кидают в этот невыносимый острог. Когда я спрашиваю, за что такие терзания, они отвечают мне: «Вы, Райкин, настоящий взяточник». Это же глупо — называть обыкновенную операцию таким уголовным именем. Я вовсе не дурак, и я хорошо понимаю, в чем дело. Заведующий Укрспичкой — кошмарный антисемит. Это раз. Следователь готов съесть живьем каждого еврея, несмотря на все их замечательные декларации. Это два.

Здесь Лазик попробовал запротестовать:

— Но ведь товарищ Кугель такой же еврей, как вы и как я, только с вполне испытанным стажем.

Митька, однако, не унимался:

— Это все равно. Тогда я говорю вам, что они вполне антисемиты. Это второе «дело Бейлиса». Но за Бейлиса вступилась Америка. А кто вступится за меня? Никто. И что мне остается, спрошу вас? Одно — сидеть и вздыхать.

— Сидеть вы, конечно, можете. Но вот вздыхать я вам не советую. Если вы обязательно хотите выразить свое негодование, лучше чихайте, как вы теперь чихаете, только не вздыхайте. Товарищ Ландау объяснил мне, что вздохи — это чисто патологическое явление. Причем я уверяю вас, что если меня наполовину оправдали, то только из-за моего исключительного происхождения. А ведь ваших незабвенных родителей, наверное, венчали не на кладбище, но под каким-нибудь пышным балдахином, и вам за каждый вздох могут закатить несколько долговечных месяцев. Нет, гражданин Райкин, если вы даже второй Бейлис — сидите себе тихо и чихайте, а когда нам надоест чихать, тогда мы сможем поговорить о великом китайском вопросе.

Дня три спустя Лазик познакомился с новым обитателем камеры номер шесть, с заведующим гомельским отделением Беллеса гражданином Чебышевым. Костюм на Чебышеве не был плохонький, но двадцать рублей аршин — красная цена. Правда, в гардеробе Чебышева висели четыре первосортных английских костюма и даже смокинг, но об этом мало кто знал. Не желая вводить малых сих в соблазн, Чебышев надевал английские костюмы только дома, закрыв наглухо ставни, а в смокинге он даже перед избранными друзьями не решался показаться, в смокинге он только соблазнял по ночам свою чересчур флегматичную супругу. Как же мог попасть такой осмотрительный человек в тюрьму?..

Присмотревшись к посланным ему судьбой сожителям, Чебышев остановился на Лазике. Как-то, обняв его за шею — Лазик приходился ему чуть выше колен,— Чебышев завел лирическую беседу:

— Я про вас не говорю. Вы симпатичный еврей. Но не все такие. Я сам в свое время стоял за равноправие. Но ведь кто же тогда знал? Я могу еще понять уничтожение черты оседлости. Что же мы видим? Отбирают у нас землю и дают ее каким-то пришельцам. Где? В Сибири, куда нас теперь ссылают? Нет. В Крыму, куда мы ездили когда-то наслаждаться

лазурным морем. Может быть, на берегу, возле Ялты. Скажите, разве это не возмутительно?

Лазик пожалел Чебышева:

— Значит, у вас на берегу лазурного моря хорошенький огород?

Чебышев обиделся:

— Я, милый мой, с университетским дипломом. Огород? Я в эту Ялту только на весенний сезон ездил. Я до революции занимался исключительно римским правом. Это вам не капусту сажать. Это непостижимая для вас культура...

— Ну да, хоть я и занимаюсь теперь китайской головоломкой, но это для меня...

— Не перебивайте! Я скажу вам все. Это не равноправие, это еврейское засилье. Это уничтожение коренного населения пришлым элементом. Вы сами судите: я должен был купить для отделения Беллеса конторскую мебель. Это связано, конечно, с расходами. Провести смету не так-то легко. Приходит один пархатый из неудачных комиссаров и предлагает мебель втридорога. Я объясняю ему: по такой цене провести почти невозможно. Что скажет Рабкрин? Сколько ртов здесь надо заткнуть? Я говорю ему: минимум сорок процентов. Он же начинает торговаться, как на базаре. Простите меня, но это паршивое племя. Мне пришлось взять мебель у его конкурента. В итоге — тюрьма, разбитое положение, отказ от остатков культурной жизни, черт знает что. Как же я могу жить, я, простофиля, наивный русак, среди этого нахального кагала, скажите?

— Очень просто. Пока вы говорили, я думал. И я уже придумал. Молодой человек должен найти хорошенькую девушку, вроде товарища Фени Гершанович, ключ должен найти замок, тогда начинается беспроигрышное счастье. Вы посидите немного, и вас отпустят, потому что рано или поздно всех отпускают. Если они не отпускали бы, то куда бы они сажали новых? Вас отпустят, потому что будет какая-нибудь маленькая амнистия или разгрузка, или потому что им попросту надоест ваше, простите меня, оскорбленное навеки лицо. И тогда вы будете чем-нибудь заведовать, если не Беллесом, то Укрсахаром. Не так уж много людей, которые знают настоящее римское право. Вы будете снова сидеть в роскошном кабинете. Так я сейчас познакомлю вас с Митькой Райкиным. Он продавал пишущие машинки, но если вам понадобится

мебель, я даю вам слово, он моментально достанет мебель: это же самый первый мошенник Гомеля. У вас времени, кажется, много — двадцать четыре часа в сутки, и вы можете с ним обо всем сговориться; скажем, вы сговоритесь на тридцати процентах. Тогда никто больше не скажет ему, что он дает, а вам, что вы берете. Это будет самая обыкновенная операция, и вы оба будете вполне счастливы. Когда ключ находит скважину, можно пить вино по два рубля за бутылку и смеяться, как смеются одни ангелы. Вы увидите, гражданин Чебышев, что вас ждет настоящая, непостижимая мне культура. Только я, извиняюсь, несчастен, потому что у меня нет ключа и я, может, никогда не увижу глаза Фенечки Гершанович, такие же лазурные, как море вашей незабвенной Ялты.

6

Срок Лазика кончался десятого августа. Шестого под вечер Лазика вызвали в тюремную контору. Он вовремя подавил вздох.

— Меня не могут еще выпустить, и меня не могут уже расстрелять. Значит, они хотят, чтобы я заполнил сорок девятую анкету. Но скажите, откуда я знаю, сколько кубических метров воздуха проглотил мой безответный отец?..

Лазик ошибся. Председатель комиссии по разгрузке мест заключения прокурор Васильев вызвал Лазика Ройтшванеца с самыми человеколюбивыми намерениями.

— Мы хотим вас освободить до срока.

Лазик задумался.

— На этот раз я действительно ничего не понимаю. Вы думаете, я не наводил маленьких справок? Мой двоюродный племянник, незапятнанный кандидат, товарищ Капелевич, рассказал мне, что до срока освобождают перед Октябрьской годовщиной и перед могучим праздником Первого мая. Но, к сожалению, гражданка Пуке узнала о сокращении штатов именно в июле. Это совершенно пустой месяц. Правда, некоторых гражданок освобождают к Восьмому марта, к всемирному женскому дню, но ведь теперь, конечно, не март, и я притом никак не гражданка. Почему же вы хотите освободить меня?

Товарищ Васильев только-только начал: «Комиссия по разгрузке...» — как Лазик торжествующе прервал его:

— Я же говорил этому жулику Райкину, что у нас не хватит места! Я, конечно, понимаю, что засиживаться в гостях неприлично, и я готов сейчас же разгрузить вас от всего моего печального присутствия.

Товарищ Васильев, однако, был честным прокурором. Испытующе оглядев Лазика, он сказал:

— Ваши шутки мне не по вкусу. Это пошлость и обывательщина. Прежде чем отпустить вас, я хочу убедиться, действительно ли вы исправились. Честный труд — вот основа нашего свободного общества. Если какой-нибудь кулак выступает против флага и против герба как против выразительных символов мозолистой республики — это вполне понятно. Но кустарь-одиночка должен свято любить эмблему мира и трудовых процессов. Обещайте мне больше не выступать против законов, установленных рабоче-крестьянским правительством, и я тотчас же подпишу приказ о вашем досрочном освобождении.

— Мерси, нет,— стойко ответил Лазик.— Сегодня, кажется, шестое августа. Конечно, я не скрою от вас — четыре дня — это что-нибудь да значит. Мы вовсе не живем двести лет, как патриархи или как слоны, чтобы швыряться четырьмя сияющими днями. Увидеть на четыре дня раньше порхающих птичек в парке,бывшем Паскевича,и товарища Феню Гершанович — это ведь настоящее счастье! Но я не могу вам дать зловещего обещания, потому что я не читал законов рабоче-крестьянского правительства и потому что я не знаю, гуляет ли еще по улицам Гомеля гражданка Пуке. Нет, лучше уж я просижу еще четыре дня среди горючих слез и вековой паутины.

— Вы меня не проведете, гражданин Ройтшванец. Не одного симулянта я вывел на свежую воду. Вы можете быть малосознательным. Это я допускаю. Но что такое честный труд и противозаконные демонстрации — это вы хорошо знаете. Итак, я в последний раз вас спрашиваю: раскаиваетесь ли вы в вашем проступке и намерены ли вы впредь подчинить свое индивидуальное поведение общественным интересам?

— Конечно, я раскаиваюсь в пфейферских брюках. Это было самое последнее злодейство. Я так и сказал на суде гражданину председателю. Потом я об этом,

говоря откровенно, больше не думал. Я думал скорее о гражданке Пуке и о глазах товарища Фени Гершанович. Так что если вы думаете, что я раскаялся, сидя на каких-то занозах вместе с гражданином Райкиным, то вы вполне ошибаетесь. Я раскаялся один раз на суде, и этого достаточно. Сколько же можно думать о каких-то брюках? Поставьте у себя в книжечке подходящий крестик: «Ройтшванец раскаялся»,— и не будем больше обсуждать этот протекший момент. Но вот зловещего обещания я вам не выдам. Если не считать этой истории с Пфейфером, я, безусловно, честный портной, и если обещаю сдать заказ к пятнице, я его сдаю. Откуда я могу знать, что со мной будет завтра? Человек — это же крохотное бревно среди кипучих волн нашего Сожа. Почему я утаил от фининспектора тридцать пять рублей? Потому что в окнах отсталой квартиры служителя культа загорелись безумные глаза одной недоступной гражданки. Я не хочу ни вкусных кушаний, ни крымского вина, ни пышных галстуков, ни бриллиантов. Но вот я увидел эти глаза, и я моментально потерял всю свою классовую совесть. Я ходил и вздыхал, а она стояла и смеялась. Я кричал ей: «У меня сердце рвется на куски»,— а она хладнокровно исполняла свои международные мелодии. Тогда я решился на черное дело. Я утаил брюки от фининспектора, и на эти три рубля пятьдесят копеек я купил американский пульверизатор, полный ароматного дыхания «Орхидеи» «Тэжэ». Я хотел им обрызгать, как поэзией моего сердца, эту недоступную гражданку. Но вот случилась интервенция одной известной вам особы, о которой я сейчас лучше не буду говорить. Пульверизатор остался в жестокой конторе, и он, наверное, опустел. Как я теперь встречусь с товарищем Феней Гершанович? У меня нет ни ароматных струй, ни смеха, ни торжественных звуков. Может быть, я кинусь в глубокие воды Сожа или же уеду в какую-нибудь Сибирь искать подложное счастье. Я не могу вам выдать зловещих обещаний. Я не святой, я только полусознательный кустарь-одиночка. Вы мне не верите? Я расскажу вам одну красивую историю. Вы потеряете, конечно, время, которое дороже денег, но зато вы услышите настоящую правду, а правда, по-моему, еще дороже времени. Я почти такой же марксист, как и вы, и я хорошо понимаю, что все это классовые штучки. Но ведь под отсталым сюртуком

позапрошлого столетия билось настоящее человеческое сердце, и хоть мы с вами вполне марксисты, мы, простите меня, кроме того, настоящие люди, и вот почему я и хочу рассказать вам эту красивую историю.

Это случилось с коцким цадиком, с тем самым цадиком, который всю жизнь искал, запершись, какую-то придуманную истину. Он плюнул и на богатство, и на жену, и на почет. Он на все плюнул. Он сидел в тесной каморке и ел сухой хлеб. Он читал невыносимые книги, вроде китайского вопроса, и двадцать четыре часа в сутки он думал над этими книгами. Он был, кажется, самым сильным человеком, которого только можно придумать, и все, конечно, говорили, что у коцкого цадика нет ни одной малюсенькой слабости, это даже не человек, а одна высокая мысль.

Но вот перед смертью коцкий цадик говорит своему любимому ученику: «Ты не знаешь, мой любимый ученик, что я делал всю мою угрюмую жизнь? Я занимался одним огромным грехом: я слушал женское пение».

Должен я вам сказать, гражданин прокурор, что набожному еврею никак нельзя слушать женское пение. Это, конечно, сознательный предрассудок, но ведь все люди любят выдумывать различные запрещения; тогда им немножечко веселей жить. Вот жулик Райкин, он беспартийный, и он может преспокойно танцевать у себя дома фокстрот, а вам, гражданин прокурор, это вполне запрещено, и, значит, вы хорошо поймете, что какому-нибудь отсталому еврею нельзя слушать женское пение.

И вот представьте себе — коцкий цадик признается, что он всю свою жизнь, сидя у себя в тесной каморке, где были только книги и мысли, слушал женское пение. Он раскрывает свою тайну любимому ученику:

«У меня в комнате стояли старые часы с боем. Их сделал несчастный часовщик из Проскурова, вскоре после этого он сошел с ума. У часовщика умерла прекрасная невеста, и бой этих часов напоминал женский голос. Он был так прекрасен и так печален, что я улыбался и плакал, слушая его. Я знал, что это грех, что я должен сидеть и думать над истиной, но я подходил к часам, и я уговаривал себя: «Они немножечко отстают», или: «Они чуточку спешат». Я двигал стрелку, и часы снова били, и это говорила со мной женщина дивной красоты, она говорила мне о любви

и о горе, она говорила о звездах, о цветах, о моей мертвой весне и о живой весне сумасшедшего часовщика, когда поют птицы и когда шумит дождь».

Любимый ученик, конечно, испугался за свою крохотную веру, и он стал приставать к учителю:

«Что же мне теперь делать, ребе?»

А коцкий цадик спокойно отвечает ему:

«Если у тебя нет часов, ты можешь слушать, как шумит дождь, потому что дождя у тебя не отнимут никакие книги, и улыбки они не отнимут, и греха не отнимут, и не отнимут они любви».

Гражданин прокурор, он же понимал, в чем дело, этот отсталый цадик. Теперь скажите мне, как я могу вам выдать какое-то обещание? Оставьте меня здесь не только четыре дня, а четыре года, я все-таки отвечу вам полным признанием, я скажу вам: «Я слушал эти часы даже в тесной тюрьме, за последней решеткой, и мне легче сейчас же умереть под холодной пулей, нежели прожить всю жизнь без одного удара этих недопустимых часов»

7

Стоя на высоком берегу Сожа, гомельчане вот уже который час спорили. Пфейфер, тот даже охрип:

— Я вам говорю, что этот «Коммунист» сел, и он сел, и он сидит, а мы можем идти себе спать.

(Хорошо, что не было здесь гражданки Пуке! Поди объясни потом, что «Коммунист» — это обыкновенный беспартийный пароход, груженный яйцами и киевской гастрольной труппой.)

— Сел!

Ося Залкин негодующе отряхивался:

— Чтоб моим врагам было так хорошо, как он сел! Он идет, и он скоро придет. Если не через час, так через два, но он обязательно придет, и вам, Пфейфер, стыдно отрицать науку или эти замечательные черпалки из-за каких-нибудь сухих погод...

Кто знает, сколько бы они простояли на высоком берегу Сожа, если бы не раздался сзади тоненький голосок:

— Он сел, и он не сел. Вы же не понимаете даже самой коротенькой диалектики. Можно подумать, что вы стопроцентные идиоты и читаете пароходное расписание. Кто же не знает, что солнце

печет, что черпалки черпают, что наука — это наука и что «Коммунист» каждый день садится на мель, а потом ему, конечно, надоедает, и он сходит с мели, и он приходит в родной Гомель. Тогда он на радостях свистит, может быть, все сто раз. Если б у меня была труба, я бы тоже сейчас свистел, потому что я тоже торчал на мели, и я сошел с нее и вернулся на этот высокий берег, и мое сердце кустаря-одиночки готово разорваться от восторга, когда я гляжу на свободные деревья, на всю организованную толпу дорогих мне личностей и даже на ваши проклятые брюки, незабвенный гражданин Пфейфер.

Увидев Лазика, спорщики сразу притихли. Вышел? Пусть вышел. Не целоваться же на улице с человеком, которого судили за оскорбление флага и герба! Пфейфер сказал:

— Пароход всегда приходит, раз законом установлены черпалки и летнее расписание, мы это понимаем без ваших опасных слов.

Лазик расхохотался.

— При чем тут расписание? Кажется, он должен приходить рано утром, но он приходит поздно вечером, и я не возражаю. Можно идти по главной улице и тоже сесть на мель: это законы природы. Но почему вы, гражданин Пфейфер, изображаете какого-то британского дипломата, когда я дрожу от неслыханной радости? Я, может быть, пострадал именно из-за ваших брюк, но я ни капельки не жалею об этом. Я их замечательно сшил, не так, как сшил Цимах из лучшего материала что-то такое жулику Райкину, нет, я сшил их, как осмеянный бог. Вот посмотрите на эту складочку, разве она не выглядит как улыбка?..

— Вы, вероятно, ослепли, некто Ройтшванец, в вашей заслуженной тюрьме. На мне, кажется, серые брюки, и сшил их не кто иной, как товарищ Цимах, который честно кроит брюки, а не оскорбляет гербы. Вы хотели меня втянуть в ваш черный заговор с этими, будь они прокляты, брюками. Как будто я не знаю вашу подлую речь на суде, где вы ни с того ни с сего произнесли мою чистую фамилию? Ко мне приходили шесть раз из-за этих, будь они прокляты, брюк, и если меня что-нибудь спасло, то только мое чисто красное прошлое. Я их выкинул, эти, будь они прокляты, брюки. Я их выкинул, как самую грязную клевету, хоть они стоили мне тридцать пять рублей, утаенных не

мной, а вами. Я могу вам сказать одно: пароход придет вовремя, и вы сидели за дело, я теперь настоящий кандидат его призыва, и я прошу вас, некто Ройтшванец, не разговаривать со мной, по крайней мере, в таких публичных местах.

Сказав это, Пфейфер быстро удалился. Разошлись гомельчане по домам, так и не дождавшись парохода. Лазик остался один среди свободных деревьев.

— Пфейфер попросту взбесился. Это бывает от жары, когда мелеет Сож, и от этого не помогают никакие черпалки. Цимах сшил ему жестокое посмешище; каждый видит, что складка совсем не на месте. Кандидатом его призыва я тоже могу стать, и я понимаю больше, чем Пфейфер, в светлом китайском вопросе. А пока что надо зайти домой и, переменив хотя бы необходимую рубашку, побежать, задыхаясь от всего приготовленного счастья, к товарищу Фене Гершанович.

Подойдя к своему дому, Лазик съежился и обмер. Уж не спит ли он? Кажется, один ненормальный цадик часто спал, когда он не спал, и тогда он отчаянно кричал: «Ущипните меня, чтоб я видел наконец, сплю я или не сплю». Ущипните бедного Лазика! Нет, он не спит. Это улица Клары Цеткиной. Это третий дом от угла. Это сердце Лазика, беспокойное сердце, полное любви к Фенечке Гершанович. Почему же над левым окном, где висела роскошная вывеска «Мужеский портной Л. Ройтшванец», теперь болтается какая-то юркая дощечка со зловещей надписью: «Изготовка флагов установленного образца, также лучшие пионерские барабаны Моисея Рейхенгольца»?

На всякий случай Лазик почтительно обнажил голову: минут пять простоял он, трепеща и поклоняясь, потом решился; тихо поскребся он в дверь, как провинившийся пес. Дверь открыл Пфейфер.

— Ах, это вы, несчастный Ройтшванец? Но зачем же вы пришли сюда? Разве вы не видите, что вас здесь нет? Здесь живет теперь гражданин Рейхенгольц. И он вовсе не портной. Он даже изготовляет...

Лазик затрясся.

— Ради всего осмеянного лучше не говорите при мне этих уголовных слов! Я ведь никого не оскорбляю. Я только хочу спросить вас — где же в таком случае находится мое печальное имущество, хотя бы необходимая мне рубашка?

— Он, наверное, ее носит, этот Рейхенгольц. Как будто, если он изготовляет установленные флаги, ему не нужны рубашки? Говоря откровенно, он последний грубиян, у него неслыханные связи. Что ему ваша рубашка, если он вошел ко мне, увидел на столе пять крутых яичек и моментально слопал их все пять, он даже не сказал мне, что они ему почему-нибудь нравятся. Он взял все ваше печальное имущество, и он отдал вам только два жестоких воспоминания: вот эту вывеску и портрет португальского бича.

Лазик не стал оплакивать потерянной рубашки. Он даже не пожаловался на жестокость судьбы.

— Прощайте, Пфейфер! Вы были удивительным ответственным съемщиком, и вы не должны сердиться за то, что я произнес на суде вашу чистую фамилию. Это было взрывом неожиданного раскаяния, и я теперь сам раскаиваюсь в этом. Но в одном вы не правы: вы их напрасно выкинули. Это были замечательные брюки. Это были, наверное, мои последние брюки, или, как поет Фенечка Гершанович, это была моя лебединая песня. Я, кажется, больше не мужеский портной, но только неустановленная личность. Если я через четверть часа найду задуманное счастье, я буду жить на высоком берегу Сожа среди деревьев и питаться случайными ягодами. Я буду тогда счастливее, чем этот Рейхенгольц, со всеми его установленными связями. Но если я ничего не найду через четверть часа, я уеду куда-нибудь далеко — в Мозырь или даже в преступную Палестину.

Долго стучался Лазик в дверь служителя культа, ему не открывали. Наконец из окна высыпалась седая борода Гершановича.

— Спрашивается, почему ты скандалишь? Тебя мало учили в тюрьме? Если тебе не открывают дверь, значит, ее тебе не хотят открыть. Я, конечно, отсталый гражданин, но я не бандит. Я молюсь за процветание всего необъятного Союза, и я вовсе не хочу говорить с каким-то признанным злодеем.

— Простите мой неприличный стук, гражданин Гершанович, но горячие чувства сильнее всякого разума, и я ждал этой минуты ровно шесть долговечных недель. Я вас попрошу только отодвинуть эту жестокую задвижку, чтоб я мог увидать задушевные глаза вашей дорогой дочери.

— Я думаю, что моя дочка тоже не захочет разговаривать с таким ужасным преступником, если она

поет международные мелодии и если она теперь все время разговаривает с уважаемым товарищем Шацманом.

Несмотря на маленький рост и на тоненький голос, Лазик был ревнив. Услыхав имя Шацмана, он начал еще сильнее стучать в дверь и визжать:

— Откройте ее! Если передо мной открылась железная дверь тюрьмы, предо мной откроется и эта смехотворная калитка. Фенечка не может разговаривать с Шацманом, потому что у Фенечки лебединая душа, а Шацман глуп, как индейский петух. Откройте дверь, не то я совершу преступление! Я оскорблю этого Шацмана, а может быть, этот Шацман тоже какой-нибудь флаг или герб...

Перепуганный Гершанович открыл дверь. Он попытался успокоить Лазика:

— Зачем тебе понадобилась обязательно Феня? Разве ты не можешь жениться на какой-нибудь другой девушке? И о чем этот крик, когда она уже на одну треть его настоящая жена! Я говорю на одну треть — потому что я отсталый служитель культа. Чтобы жена стала женой, нужно, чтоб он надел на ее палец кольцо в присутствии двух хороших евреев. Это одна треть. И Шацман, конечно, этого не сделал. Нужно, чтоб он подписал брачный договор. Это вторая треть. И этого он тоже не сделал. Он подписал вместо этого удостоверение, что я инвалид труда и что меня не следует отсылать в какие-то болота. Но остается последняя треть. Нужно, чтоб он провел с ней одну ночь как с настоящей женой. И это он, наверное, сделал. Он провел с ней даже не одну ночь, а может быть, двадцать ночей. Значит, для меня она его жена на одну треть. А для него она жена на все три трети.

Лазик впал в беспамятство. От гнева трясся на его крохотной головке пушистый хохолок. Он пищал:

— Я его заколю ножом, как в позапрошлом столетии!

На крик вышла Фенечка. Она была в лиловом капоте, и, увидев ее белую шейку, Лазик упал на колени. Он протянул к ней дрожащие руки.

— Вы настоящая сирень, и вы дивный лебедь из ваших мелодий. Вы не можете быть женой Шацмана. У Шацмана только высокое положение и нахальная душа. Я никогда не говорил вам этого, но теперь я скажу вам ужасную вещь — я люблю вас

самой отсталой любовью, и я могу сейчас же умереть от этих преувеличенных чувств.

Фенечка в ответ захохотала.

— Тоже... Поклонник! Перемените лучше рубашку, она такая черная, как будто вы пришли на похороны.

— Я не могу этого сделать, потому что мои рубашки больше не мои рубашки. Их забрал один гражданин, который изготовляет неназываемые вещи. Но я пришел не на похороны. Если вы хотите, я пришел скорее всего на свадьбу, потому что, хотя я и презираю дешевый опиум вашего уважаемого родителя, я готов тотчас же выполнить все его три трети, чтобы только заслужить один ваш поцелуй...

— Вы думаете, что я могу целоваться с таким жалким пигмеем? Я выбрала товарища Шацмана, и вы мне прямо-таки смешны. Чтобы стать моим свободным другом, нужен, во-первых, пол. А у вас нет никакого пола. Вы десять раз со мной гуляли в парке, и ни разу вам не пришло в голову, что меня можно нахально поцеловать. Вы должны жениться не на женщине, а на какой-нибудь божьей коровке. Во-вторых, нужны деньги. Что вы мне подарили за все время? Порцию мороженого с лотка и глупые разговоры. В-третьих, нужно положение. Замечательная фигура — бывший портной из воровской тюрьмы! В-четвертых, мне нужны духовные наслаждения. Может быть, вы скажете, что вы умны, как Троцкий? Может быть, вы скажете, что вы умеете танцевать фокстрот? Вы даже не повели меня ни разу в американское кино. Вы только ходили и вздыхали, как товарный паровоз. Хорошенький любовник! Что же вы молчите?

Фенечка больше не смеялась — она негодовала. Ее голос звучал сурово и непоправимо, как речь гражданина прокурора. Подумав, Лазик ответил:

— Вы совершенно правы, товарищ Гершанович, и я сейчас уйду в глубокую ночь. Я только объясню вам, почему я не поцеловал вас нахально, гуляя в парке, и почему я не подносил вам самых роскошных туалетов. Это называется смешная история об одной корове. Может быть, я ее прочел где-нибудь в Талмуде, а может быть, мне рассказал ее Левка-парикмахер — он ведь любит позорные анекдоты.

Одному еврею нужны были к субботе свечи, и у него не было денег. Тогда он продал соседу корову. Но вот проходит день или даже два дня, и сосед кричит в необыкновенном возмущении:

«Твоя корова не дает молока...»

Но еврей преспокойно ему отвечает:

«Я не понимаю, почему ты сердишься? Она же не дает молока не потому, что она не хочет, а потому, что она не может. Ты знаешь, что я тебе скажу,— у нее, наверное, нет молока».

Вот и все, товарищ Феня Гершанович. Правда, у меня была горячая любовь и другие позапрошлые чувства, но они теперь никому не нужны. Я желаю вам чудного счастья с этим неназываемым Шацманом, и я прошу вас не сердиться на поруганного пигмея.

Ночь Лазик провел на высоком берегу Сожа, а рано утром он направился к своему бывшему дому; не потревожив Пфейферов, он прямо обратился к гражданину Рейхенгольцу:

— Я пришел к вам не за рубашками. Вы можете их носить до вашего полного успокоения. Зачем мне говорить с вами о рубашках, когда вы все равно не станете со мной об этом говорить? Я же знаю, что у вас неслыханные связи. Но я прошу вас купить у меня за четыре несчастных рубля эту роскошную вывеску. Она вам, наверное, пригодится. Может быть, вы вздумаете стать мужеским портным. Это гораздо спокойнее За оскорбление брюк ведь никого не судят. Но если вы даже не станете портным, может быть, вы вздумаете переменить фамилию. Я вас уверяю, что «Ройтшванец» гораздо ближе к текущему моменту, чем этот пышный «Рейхенгольц». Тогда вы замажете верх, и у вас будет роскошная вывеска. Наконец, вы можете замазать все и написать самые необыкновенные вещи. Это хороший довоенный материал, и она выдержала восемь разнообразных режимов. На ней стояли смешные твердые знаки и даже какая-то петлюровская завитушка. Дайте мне четыре рубля, и я тотчас же уплыву в неизвестные страны. Я возьму с собой только портрет португальского бича и мое ужасное положение. Если же вы не купите вывеску, я могу умереть у дверей моего бывшего дома, и тогда вам будет, наверное, неприятно носить рубашки какого-то живого самоубийцы.

Пароходик отплыл согласно летнему расписанию Он задорно посвистел, но через полчаса сел на мель. С сочувствием Лазик потрепал борт:

— Это ничего. Это бывает. Потом это проходит Мы еще с тобой посвистим, дорогой пароход! Я потерял

вывеску и счастье. Я потерял даже Фенечку Гершанович. Я вполне случайно не умер. Значит, я должен жить. Что же, через неделю я буду каким-нибудь замечательным кандидатом.

8

Корабли выходят в открытое море, и гомельские портные становятся историческими личностями. По сравнению с Днепром судоходный Сож кажется жалкой речушкой. Что сказала бы Фенечка Гершанович, увидев крепдешиновые манто в пролетарском саду? А речи!.. Куда тут товарищу Ландау! Гремят автобусы, сверкают огни, прямо по беспроволочному телефону разносятся пылающие призывы.

Лазик Ройтшванец сдержал обещание. Прибыв в Киев, он стал честным кандидатом и даже дежурным членом клуба служащих Харчсмака. Он ходил теперь все время на цыпочках. Скажу без натяжки, несмотря на всю тщедушность комплекции, он готовился к большому плаванию, как и подобает большому кораблю.

Однако и здесь ожидали его тяжелые испытания. Мишка Минчик тоже был кандидатом, и к тому же он был большим лентяем. Лазик, тот во сне бормочет: «Чан Кайши, Чжан Цзолинь, Сун Чунгфанг». Мишка Минчик не хотел утруждать себя подобной зубрежкой. Нет, он только восторженно улыбался, сталкиваясь с мужественной физиономией секретаря контрольной комиссии товарища Серебрякова.

По вечерам в клубе служащих Харчсмака молодняк танцевал, и в этом, разумеется, не было ничего предосудительного. Лазик хорошо понимал, что если двигают ногами какие-нибудь парижские империалисты — это есть настоящее издыхание разлагающегося трупа, когда пляшут на вулкане и когда призрак уже бродит под окном, напоминая о себе бешеным плеском знамен, но если двигает ногами бодрый молодняк, это только крохотная передышка, и это даже развитие боевой энергии для грядущих схваток. Будучи дежурным клуба, Лазик нежно поглядывал на танцующие парочки и приговаривал: «Вертись, вертись, бодрый молодняк». Сам он не танцевал потому, что не мог забыть сиреневого капота Фенечки Гершанович, и еще потому, что никто из женского молодняка с ним танце-

вать не желал, ссылаясь на его исключительный рост и на чересчур отзывчивую натуру. Все шло по-хорошему, но тут-то выступил Мишка Минчик:

— Интересно, почему это дежурный не смотрит за своими прямыми обязанностями? Никто не возражает, когда молодняк танцует настоящий вальс или танцы наших великих меньшинств. Но, по-моему, некоторые товарищи танцуют самый откровенный фокстрот, несмотря на все суровые декреты. Если это будет продолжаться, мне придется обратится к товарищу Серебрякову.

Лазик растерялся.

— Я могу даже во сне отличить розового предателя Чан Кайши от безусловного мясника Чжан Цзолиня, но я не умею отличить этот уголовный фокстрот от вполне дозволенного вальса, и я не знаю, что мне теперь делать?

Мишка Минчик услужливо ответил:

— Это очень просто, товарищ Ройтшванец. Вы можете, конечно, изучить музыкальные арии, но это вам совершенно не поможет, так как они слышат ушами одно, а ногами выводят совсем другое. Значит, вы должны изучить недозволенные прыжки. Отправляйтесь на улицу Карла Маркса в дом номер шесть, там молодой паразит Поль Виолон за какие-нибудь пять рублей немедленно разовьет вас, а тогда вы сможете честно выполнять ваши прямые обязанности дежурного.

Лазику пришлось отказаться от ужинов, чтобы выгнать необходимые пять рублей. Но Поль Виолон, он же, говоря иначе, Осип Кац, гордо заявил Лазику:

— За какие-нибудь пять рублей я могу вас научить отсталому вальсу, но американский фокстрот стоит десять рублей, потому что это запрещенная литература и я должен буду заниматься с вами в изолированном углу, среди драгоценных ковров.

Лазику пришлось отказаться и от обедов. Танцы давались ему с трудом. Осип Кац шептал:

— Молю вас, дергайте этой ножкой, так будет значительно шикарней!

Лазик потел, дергал ногой и для успокоения своей совести приговаривал:

— Я этим занимаюсь вовсе не для шика, но как обыкновенным китайским вопросом, потому что я безошибочный кандидат.

Закончив науку, Лазик иными глазами взглянул на танцующий молодняк. Это — ничего. Это — уже сомнительно. А это... Это!..

Он подбежал к таперу.

— Что за провокаторские мелодии вы исполняете, уважаемый товарищ?

— Вальс «Мечта».

— Хорошенький вальс!..

И, расталкивая танцующих, Лазик храбро ринулся к одной сугубо преступной паре. Он схватил рослого мужчину за бедра, ибо выше достать он никак не мог.

— Опомнитесь, сумасшедший гражданин! Вы знаете, что вы делаете? Вы делаете преступление. Как будто я не вижу, куда вы заходите вашей левой ногой! Он играет вальс из позапрошлого столетья, а вы плюете на него; вы разлагаетесь на глазах у всего молодняка, как будто вы не в клубе служащих Харчсмака, но на вулкане в Нью-Йорке. Я истратил десять кровных рублей, чтобы определить эти незаконные выходки. Я вас не отпущу отсюда. Я отведу вас к товарищу Серебрякову, потому что я безоблачный кандидат. Я сказал себе: «Лезь, Лазик»,— и я лезу...

Высвободив свою ногу, высокий мужчина мрачно ответил Лазику:

— Во-первых, я сам Серебряков. А во-вторых, мы сейчас поговорим с вами, на что вы истратили десять рублей и как вы понимаете обязанности члена.

(Мишка Минчик, видимо, успел вовремя осведомить товарища Серебрякова.)

— Кандидат проводит вечера в отвратительном вертепе среди буржуазных подонков. Стыдитесь, товарищ! Вместо огромных проблем мирового движения или нашего хозяйственного строительства вас интересуют какие-то нездоровые забавы, эротические эксцессы, накипь нэпа. На что вы тратите ваше время?..

— Простите, товарищ Серебряков, я даже потратил на это десять рублей, и хоть идеологически время дороже денег, для меня деньги немножечко дороже времени, потому что у меня вовсе нет денег, а в Гомеле у меня было недавно шесть недель совершенно не нужного мне времени. Вы спрашиваете меня, на что я потратил эти кровные десять рублей? Я вам отвечу: на трактат об одном яйце. Это кусочек глупого Талмуда. Когда мне было тринадцать лет, я зубрил этот трактат с утра до ночи. Скажем, если курица снесла

яйцо в субботу, можно его кушать или нельзя? С одной стороны, курица явно грешила, в субботу надо отдыхать, а она вздумала себе нести яйца, но, с другой стороны, она же вынашивала это яйцо в самые разнообразные дни, а в субботу она только облегчила свою душу. Я скажу вам, товарищ Серебряков, что существуют две фракции талмудистов, одни говорят, что субботнее яйцо чистое, другие говорят, что оно нечистое, и об этом яйце написано каких-нибудь сто невозможных страниц. Я никогда не мог понять, зачем столько дискуссий вокруг одного яйца, которое, наверное, скушал какой-нибудь престарелый дурак. Но вот теперь понимаю, что это замечательная наука. Вы спрашиваете, чем я занимался у молодого паразита? Яйцом. Если подвернуть ногу налево, то это невероятный скандал, а если загнуть ее и чуточку присесть, так это самое честное занятие. Я боюсь оскорбить ваш безусловный стаж, товарищ Серебряков, но мне кажется, что вы вот этой ногой загнули совсем не туда, хотя я еще подумаю над этим; может быть, такое авторитетное па можно истолковать иначе. Это, вероятно, зависит от того, к какой школе принадлежать, рассматривая яйцо, если к той, что...

— Хватит! Черт знает чем набита ваша голова! Я вам советую лучше заняться...

— Простите, я уже занимаюсь. Вся сущность в Ханькоу. Теперь мне остается...

— Да, да, вот об этом не мешает поговорить. Мало того, что вы сами развратничаете в притоне некоего Каца, мало того, что вы вносите в товарищескую атмосферу враждебный дух вашими глупыми выходками, вы еще проявляете тупое шкурничество в своем отношении к партии. Что значат эти слова: «Лезь, Лазик»?..

— Очень просто. Я предан светлой идее, и я лезу. У нас в Гомеле говорят: «Если нельзя перепрыгнуть, надо перелезть». Вы, конечно, полны ума и стажа. Вам ничего не стоило прыгнуть. Вы и прыгнули. А я? Вы же сами говорите, что у меня голова набита черт знает чем. Так мне остается только лезть, и я себе тихонечко лезу. Я прошу вас простить мне, что я вас схватил за авторитетную ногу. Я ведь знал только вашу роковую фамилию. Я не буду больше омрачать вашей атмосферы. Я ведь теперь понял, что иногда можно кушать эти яйца, если только...

Серебряков не выдержал. Он внушительно постучал кулаком по дубовому столу.

— Можете идти, товарищ. У меня слишком мало времени...

Вежливо кланяясь, Лазик удалился из кабинета. В дверях он, однако, успел договорить:

— Ну да, у вас слишком мало времени, чтобы терять его, как я, например, потерял мои кровные десять рублей...

В коридоре он встретился с Мишкой Минчиком.

— Что же вы скажете после разговора с товарищем Серебряковым? Как вам нравится их безусловная дисциплина?

— Я скажу, что это гораздо труднее, чем Талмуд. Но все-таки я попробую пролезть. Я еще остаюсь кандидатом, хотя я теперь немного затуманенный кандидат.

9

Мишка Минчик не успокоился. Он снова толкнул Лазика на безумный поступок. Произошло это в связи с циркуляром об изъятии из клубных библиотек идеологически вредных книг. Лазик числился библиотекарем, и, получив бумагу, он не на шутку взволновался. В циркуляре были перечислены тысяча семьдесят два названия, а в библиотеке клуба Харчсмака имелись всего-навсего три книги: «Пауки и мухи», задачник Евтушевского и монография поэтического стиля Демьяна Бедного. Ни одна из этих трех книг не значилась в присланном перечне.

— Теперь я вижу, что талмудисты были самыми смешными щенками. Что они придумали? Еврею, например, нельзя кушать осетрину. Потому что осетрина это дорого? Нет. Потому что это невкусно? Тоже нет. Потому что осетрина плавает без подходящей чешуи, и, значит, она вполне нечистая, и еврей, скушав ее, осквернит свой избранный желудок. Пусть это едят другие, низкие народы. Я вам говорю, товарищ Минчик, эти щенки разговаривали о каких-то блюдах. Но вот пришел наконец настоящий двадцатый век, и люди поумнели, и вместо глупой осетрины перед нами стоит какой-нибудь Кант, а с ним тысяча семьдесят одно преступление. Пусть французы на вулкане читают все

эти нечистые штучки, у нас избранные мозги, и мы не можем пачкать их разными нахальными заблуждениями. Да, это замечательно придумано, и я не понимаю только одного: как я могу изъять эти книги, когда здесь нет этих книг?

— Если сказано «изъять», значит, надо изъять. Я вам советую, товарищ Ройтшванец, обыскать все это обширное помещение.

— Простите, товарищ Минчик, но где же я найду эти недоступные книги? Я сам понимаю, что надо очистить весь безупречный дом. Это как перед Пасхой, когда ищут, не завалилась ли под шкаф корочка нечистого хлеба. Но в этом безупречном доме, кажется, вовсе нет книг. Я могу посмотреть в буфет, но там, конечно, только мелкоградусное пиво и вполне дозволенная колбаса. Правда, хорошие евреи, когда нет под шкафом корочки, нарочно подкидывают ее, чтобы было что сжечь; один еврей подкидывает, а другой еврей находит, и, конечно, оба понимают, что это смешные штучки, но зато они замечательно молятся и выполняют на все сто процентов свой строжайший циркуляр. Если б у меня был дома Талмуд, я принес бы его сюда и изъял бы его отсюда, потому что ведь Талмуд, наверное, значится в этом смертоносном списке. Но у меня нет Талмуда, у меня Талмуд только в голове, и я не могу изъять мою злосчастную голову.

— Зачем изъять свою голову, когда надо изъять только чужие книги, и это очень просто, стоит посмотреть в различных закоулках, например, в этом анонимном портфеле, может быть, в нем вы найдете заразительные книги.

— Мне становится невыносимо лезть к моей светлой цели. Легче, кажется, утонуть в бушующем океане, который зовут почему-то Днепром, чем хватать чужие ноги или залезать в чужие портфели. Но я лезу к моим идеалам, я лезу, и я пролезу.

Товарищ Серебряков застал Лазика над раскрытой книгой.

— Во-первых, вы читаете черт знает что. А во-вторых... во-вторых... во-вторых, вы посмели залезть в мой портфель.

— Я вовсе не читаю этот смешной роман для чтения, я его читаю для голого изъятия, и я не понимаю вашего справедливого гнева, товарищ Серебряков. Я думаю, что вы должны быть мне благодарны за

то, что я очистил ваш авторитетный портфель от этой перечисленной заразы. Вы теперь должны простить мне заблуждение с вашей левой ногой. Вы ведь испугались, что я могу отравиться этой осетриной, но вы ее носили в своем портфеле, и вы, наверное, отравлялись ей, хоть она решительно без чешуи. Почему же вы снова сердитесь на меня? Вы снова кричите «во-первых» и «во-вторых». Я прошу вас, не томите мою слабосильную душу. Крикните уже «в-третьих», и тогда я буду знать, что мне делать. Тогда я, может быть, начну спешно нюхать все цветы или глядеть на растраченные зря звезды.

Товарищ Серебряков, однако, не сказал «в-третьих» Он только зловеще усмехнулся.

10

Товарищ Тривас занимался со служащими Харчсмака согласно новейшей системе. Скучные лекции он заменял непринужденной беседой. Он начинал сразу с дружеского обмена мнений или же с ответов на неподанные записки. Так было и теперь. Поглядев на восторженное личико Лазика, товарищ Тривас сказал:

— Ну! Задавайте вопросы.

Лазик задрожал.

— Я еще не совсем знаю, о чем я должен сейчас спрашивать: о чистом разуме муравьев или о позорной ливрее какого-нибудь амстердамского мясника?

— В таком случае я задам вам вопросик. Как вы смотрите, например, товарищ, на половые функции в свете этики образцового члена ячейки?

— Простите, но я еще не подготовился к этому Может быть, вы спросите меня о чем-нибудь другом, например, о Чжан Цзолине или даже о стокгольмском съезде? Я ведь не знаю никаких половых достижений. Правда, в Гомеле я встречался с дочерью служителя культа, с бывшим товарищем Феней Гершанович. Но мы оба были совершенно беспартийными, и у нас не было никаких функций, если не считать моих чисто патологических вздохов. Конечно, теперь к бывшему товарищу Гершанович примазался один настоящий член ячейки, скажем, товарищ Шацман, но я думаю, что это перечисленный фокстрот или даже хищническая концессия, потому что Феня Гершанович любит

шумные туалеты и пол, а у Шацмана нет никакой этики, зато у него стопроцентное положение, и все вместе это исключительно функции, как у несознательных паразитов, но нет ни горячей любви, ни чисто пролетарской сирени, которая доводит мое преданное сердце до этих публичных слез.

И, вспомнив лиловый капот Фени Гершанович, Лазик заплакал к общему удовольствию скучающих служащих Харчсмака.

Хоть Лазик орошал свои брюки самыми обыкновенными слезами, товарищ Тривас в восторге закричал:

— Вот она, типичная розовая водица мещанской надстройки! Мы должны покончить с позорными предрассудками. В основе пол — это голое средство размножения, и поскольку в дело не вмешивается капитализм Мальтуса и прочие перегородки, мы можем рассматривать так называемую «любовь» как строго производственный процесс двух кустарей-одиночек. Чем короче он, тем больше времени остается у пролетариата для профсоюзов и для кооперации. Что же касается слез выступавшего товарища, то они характерны как пережиток собственности, когда фабрикант рассматривал товарища-женщину как свои акции. Этому пора положить предел. Я не возражаю против самих функций, поскольку вы — бодрый молодняк, но, услышав слюнки о любви, знайте, что это преступное втирание очков, и, как паршивую овцу, гоните прочь всякого, кто только вздумает заменить железный материализм какой-нибудь любовной кашицей.

Лазик послушливо высморкался. Минчику он признался:

— Это в десять раз труднее, чем хедер. Там нас учили, что на свете существует очень много вкусных вещей, которые нельзя кушать. Это глупо, но это ясно. А здесь нам говорят: «Вы можете кушать хотя бы выдуманные Левкой бананы, но вы должны их кушать как самую низкую картошку, вы не смеете улыбаться или даже плакать от контрабандного счастья, нет, вы должны посыпать их какой-нибудь обыкновенной солью». Я боюсь, что я на всю жизнь останусь мрачным кандидатом, потому что мне легче умереть среди заноз и паутины, нежели забыть, как пахнет сумасшедшая сирень.

Вечером Минчик повел печального Лазика в парк. Это было чрезмерно жестоким утешением. Лазик

видел на небе звезды и на земле цветы, пышные, как пережитки. Беспартийные парочки целовались под кустами. Вдруг Минчик остановил Лазика:

— Ты видел эту разлагающуюся девицу? Это же не кто иной, как товарищ Горленко, член нашего клуба Харчсмак. Она сегодня была на лекции товарища Триваса, но можно сказать, что она там не была, потому что она себя ведет, как самая паршивая овца. Я думаю, что тебе нужно действовать, дорогой товарищ Ройтшванец.

— Я не хочу быть черным высматривателем. Я не хочу губить эту отсталую душу, которая любит, как и я, позапрошлую сирень.

— Кто говорит, что ты должен ее губить? Ты должен спасти ее от самых ужасных последствий. Ты должен спасти ее, а с ней и этого несчастного мужчину от какой-нибудь беспощадной комиссии. И потом я грозно спрошу тебя: ты все-таки кандидат, товарищ Ройтшванец, или ты сразу готовый отступник в ливрее?

Лазик робко подошел к парочке. Он не видел лиц. Он только слышал страстный шепот:

— Я люблю вас, Аня! Мы уедем в Крым. Ваши губки как роза...

Лазик вскрикнул:

— Я умоляю вас, прекратите сейчас же эту противозаконную демонстрацию! Может быть, я сам мечтал о подобных предпосылках, хоть я люблю не розы, а сирень или даже несуществующую орхидею. Но я не могу видеть вашего жестокого самоубийства. Дорогие кустари-одиночки, я тоже кустарь, и я тоже одиночка. Я срочно скажу вам, вы должны заниматься половым производством, а у вас вместо голого пола выходит какой-то упраздненный Крым. Я заклинаю вас, во имя контрольной комиссии немедленно замените этот ангельский разговор одной вполне дозволенной функцией.

На этот раз товарищ Серебряков даже не усмехнулся. Он только взглянул на Лазика, и Лазик сразу понял все. Он быстро побежал прочь. До утра он бегал по опустевшим аллеям парка, а утром он напугал парикмахера Жоржа, то есть Симку Цукера, загадочной просьбой:

— Побрейте меня сильнее, товарищ Жорж, побрейте меня до самого основания, раз и навсегда, на шесть

недель, может быть, на все шесть лет! Чжан Цзолинь, конечно, разбит, и мы можем улыбаться. Но остается недоступная мне функция... Теперь он, наверное, скажет «в-третьих», и я, Лазик Ройтшванец, затихну среди вековых паутин.

11

— Вы скрыли ваше темное прошлое и восемьдесят седьмую статью уложения. Вы пытались укрепить свое положение нелепыми доносами. Вы проявили чуждую нам идеологию: антисемитизм, мистицизм и болезненную эротику. В беседах с одним молодым товарищем вы приравнивали разумную дисциплину к каким-то средневековым пережиткам. Отвечайте!

— Может быть, я могу, как товарищ Тривас на своих мировых лекциях, вовсе не отвечать вам стройным хором, но задавать небольшие вопросы? Это доведет наш текущий момент до великой диалектики. Я, например, спрошу вас — зачем мне было скрывать восемьдесят седьмую статью? Ведь это же не пфейферские брюки. Я столько говорил о моих шести вековечных неделях, что это надоело даже буфетной колбасе. Когда я раскрывал рот, бодрый молодняк Харчсмака убегал от меня, как от одной гомельской бочки, восклицая: «Этот Ройтшванец снова начнет жаловаться на свою занозливую тюрьму». Другой вопрос: кому я, извиняюсь за черное выражение, громко доносил? Я только тихонько шепнул одному авторитетному члену об его собственной ноге. А если я потревожил функции товарища Горленко и этого неназываемого кустаря-одиночки, то исключительно в порыве безусловной дисциплины. Третий вопрос, как я могу быть кошмарным антисемитом, если я сам стопроцентный еврей из Гомеля? Вопрос четвертый, и совсем небольшой: что такое «болезненная эротика»? Если это некоторые функции, то я, увы, ими вовсе не занимался, ни в здоровом, ни в больном положении, за что и был справедливо поруган товарищем Тривасом при стечении всего бодрого молодняка. Я могу задать вам еще сто вопросов, но я не хочу у вас отнимать ваше знаменитое время. Я только спрошу вас, товарищ Серебряков, почему же вы, гуляя ночью в ароматном парке, не украсили вашу авторитетную грудь каким-нибудь

сигнальным фонариком? Почему вы не опечатали вашего портфеля вопиющей печатью? Почему, заходя левой ногой, вы не крикнули в огромный рупор, что это заходите именно вы, а не я и не другой Ройтшванец? Почему вы смущали мою неокрепшую душу вашим безмолвным мистицизмом?

Товарищ Серебряков иронически прищурился.

— Это все?

— Нет, это еще не все. Я хочу вам сказать о вашем «молодом товарище». Его, конечно, нужно поблагодарить. И я говорю ему: народное мерси, дорогой товарищ Минчик! Ты теперь, конечно, вместо трепещущего кандидата станешь вполне стойким членом, и вот я предлагаю тебе немедленно жениться на одной драгоценной особе. Правда, у нее злополучная фамилия, но это может помешать какой-нибудь колоратурной певице, а она вовсе не певица, нет, она только гуляет по улицам Гомеля, и если ты женишься на ней, дорогой товарищ Минчик, вы сможете гулять вместе, и это будет настоящая международная мелодия.

Товарищ Серебряков нахмурился.

— Это все?

— Нет, это еще не совсем все. Так как я неслыханно осмелел от моего грохочущего провала, я хочу вам сейчас же высказать одну мысль, курчавую, как предстоящая мне бородка. Вы, конечно, знаете, что отсталые евреи верят в Тору. Тора — это такой закон, который свалился прямо-таки с неба, и вот они нянчатся с Торой, как вы нянчитесь с вашей безусловной дисциплиной. Каждое утро они благодарят Бога, что он им подарил эту невыносимую Тору. Они ее читают и перечитывают, из одного закона они делают тысячу, и они не могут в субботу курить, и они не могут кушать какие-нибудь битки в сметане, и они ничего не могут, они стопроцентные ослы, и это понятно каждому марксисту. Но вот раз в год они откровенничают со своим выдуманным Богом. Они говорят с ним вполне по душам, как я говорю сейчас с вами. Евреи обязаны радоваться исходу из Египта, хотя, может быть, они именно хотят теперь попасть в этот потерянный Египет, и они радуются, потому что таков закон; они едят толченые орехи, и они пьют вино. Вот тогда-то они и начинают прямой разговор с Богом. Конечно, они не ругаются, они говорят, как роскошные дипломаты; ведь если нужно подпустить позапрошлую

вежливость, беседуя с каким-нибудь эстонским послом, то тем паче евреи надевают на свои слова смехотворные фраки, когда им приходится говорить своему избранному Богу довольно-таки неприятные вещи. Они начинают издалека, чтобы не обидеть Бога. Они расшаркиваются перед ним: «Если бы ты только вывел нас из Египта и ничего больше не сделал, то и это было бы хорошо». Они подходят с другой стороны: «Если бы ты дал нам манну и ничего больше не сделал, то и то было бы хорошо». А потом им надоедает, и они уже с нахальным отчаянием говорят: «Но если бы ты нас вывел, и если бы ты нам дал манну, и если бы ты вовсе не дал нам этой самой Торы, то было бы замечательно хорошо». Это, конечно, можно говорить только раз в год, когда это стоит вот здесь в горле, и вот я говорю вам это, товарищ Серебряков.

Грозно крикнул товарищ Серебряков:

— Это наконец-то все?

— Это почти все, но это еще не все. Я отчислил один рубль восемьдесят копеек в пользу общества «Руки прочь от Китая», хотя я вовсе не собираюсь хватать этих трехсложных китайцев своими руками, у меня и так от них разрывается слабосильная голова; но я с удовольствием оплакал мой один кровный рубль восемьдесят копеек. Пусть их никто не хватает Зачем залезать руками в какой-нибудь сплошной Китай? И затем я понимаю, что служащий Харчсмака должен буйно приветствовать возрождение самого последнего Востока. Против этого я не возражаю. Нет, меня занимает один роковой вопрос: что, если я устрою добровольное общество «Руки прочь от несчастного Ройтшванеца», с уставом и с вопиющей печатью, скажите мне, подействует это или нет? Я, конечно, не попрошу у вас, товарищ Серебряков, никаких восторженных отчислений, вроде оплаканного мною одного рубля восьмидесяти копеек. Нет, теперь меня интересуют не деньги, а время, то есть предстоящие мне шесть недель или даже шесть лет. Я хочу знать, как отнесется к этому мощному обществу какой-нибудь новый Минчик и станут ли меня после таких восторженных лозунгов хватать бескорыстными руками?

Здесь товарищ Серебряков не выдержал. Задыхаясь, он крикнул:

—Это все? Это все?

— Это, кажется все. Нет, это не все. Мне остается сказать вам одну вполне интимную новость: вы можете теперь со мной не церемониться, так как я вас все равно перехитрил с самого утра. Вы еще только сидели и думали, что бы такое сделать с Ройтшванецем, а я уже все понял, и я моментально побрился.

12

Прошло несколько недель. Опали деревья в Пролетарском саду, товарищ Аня Горленко проследовала вместо Крыма в лечебницу. Поля Виолона увезли куда-то на восток. Только Днепр по-прежнему сверкал под роковым обрывом. Как-то утром Лазик, весь заросший рыжей бородой, постучался в дверь Мишки Минчика.

— Так ты не женился на Пуке? Жаль! Ты по крайней мере стал беспрерывным членом. А она? Она ничего не получила. Я скажу между нами, я боюсь, что она останется навеки бездетной, эта замечательная гражданка. Но ведь такие мелодии не должны замирать без следа. Впрочем, я вовсе не хочу насиловать твоих свободных функций. Я пришел к тебе совсем по другому делу. Мне придется покинуть Киев, как я уже однажды покинул родной Гомель. Это законы природы, я чувствую, что мне предстоит полный круговорот. Думал ли безответный Мотель Ройтшванец, что его замогильному сыну предстоит такая бурная жизнь? Но я не плачу. Я утешаю себя словами одного умного цадика. Он сказал, что двигаться — это значит жить, а сидеть на одном месте — это значит умереть. Самая скверная кляча лучше самого пышного дворца. По-моему, еврей, который не двигается, это даже неприлично, это как поломанный паровоз. Итак, я покидаю Киев. Я разучился кроить брюки, и я не могу стать удивительным спецом, потому что я вовсе не знаю государственного языка. Я выучил десяток слов, не считая авторитетных имен, но оказалось, что это вовсе не украинские, а белорусские слова. Меня учил Юзянастройщик, и он, конечно, надул меня. Я решил уехать в маленький городок, где нет ни бурных рек, ни грохочущих фокстротов, ни таких государственных языков, как, скажем, твой язык, Минчик. Ты думаешь, что я пришел к тебе проститься и поцеловать твои

бритые ежедневно щеки? Как же я могу подобной глупостью отрывать тебя от твоих великих забот? Нет, я пришел, чтобы прежде всего спросить тебя — скоро ли установится настоящий мир, то есть после нашей смерти или до нашей смерти?

Мишка Минчик бодро сплюнул.

— Какие тут могут быть разговоры? Конечно, до. Это зависит от одного-другого урожая и от полного уничтожения Чжан Цзолиня. Это дело плевых минут.

Лазик радостно улыбнулся.

— Очень хорошо, что ты так думаешь, Минчик. Скажи мне теперь: в этом настоящем мире у каждого будет своя часть и все эти части будут равны — так или не так?

— Конечно, так, за исключением паразитов, которых тогда вообще не будет.

— Теперь послушай меня, Минчик, я пришел к тебе с очень выгодным предложением. Я хочу тебе продать мою часть за каких-нибудь десять несчастных рублей. Это же не деньги! Паразит Поль Виолон взял с меня за уроки позорных телодвижений тоже десять рублей. Это же не деньги! Паразит Поль Виолон взял с меня мою свежую часть в этом будущем мире, и я согласен выдать форменную расписку.

— Ты что же, сошел с ума, Ройтшванец, после стольких злодейских прыжков? Как ты смеешь предлагать мне, проверенному марксисту, какой-то мистический кукиш?

— Почему ты сердишься? Это вполне здоровый товарообмен. Я от тебя не скрою, что я надул Арона Кагана, но тебя я вовсе не собираюсь надувать. Арон Каган купил у меня совсем другое. Он, как и всякий отсталый продукт, верил в загробную жизнь. Ему было мало, что он был в Гомеле строительным подрядчиком и каждый день кушал курицу, он захотел кушать курицу на небе, и так как он был неслыханным обжорой, он, наверное, побоялся, что ему дадут там слишком мало, ну, какую-нибудь лапку или крылышко. Каждому еврею приготовлена одна часть в будущей жизни, и вот я продал Арону Кагану мою часть. Я его надул вдвойне. Во-первых, я уже однажды продал эту часть, еще будучи мальчиком, в хедере, я ее проиграл, когда я играл с другими мальчиками на пуговицы. Конечно, Кагану я об этом не сказал, потому что нельзя же продавать уже проданную вещь.

А во-вторых, я знал, что я умнее его и что существует, скажем, обыкновенный газ или печальные кости, но никаких загробных блюд. Кагана я надул, но с тобой я веду вполне деловой разговор. Я тебе предлагаю самую настоящую часть в настоящем мире. Если ты стойкий член и веришь в наше светлое торжество, как же ты не хочешь мне дать десять переходных рублей ради такого близкого счастья?

— Мне некогда слушать твой смешной бред, Ройтшванец. Отправляйся лучше в какое-нибудь сатирическое обозрение, если у тебя такой пышущий талант. Я тебе дам один рубль, чтобы ты сейчас же ушел отсюда.

— Нет, ты мне дашь, кроме этого рубля, еще девять других рублей. Билет ведь стоит червонец, и я должен уехать отсюда. Если я останусь в Киеве, я останусь у тебя, Минчик. Я, может быть, перережу себе шею твоим пролетарским ножом, или я повешусь на твоих честных подтяжках. Посмотрим, что ты тогда скажешь с твоим государственным языком! Ты будешь дрожать, как самая маленькая дробь. Дай мне еще девять рублей, и я уеду далеко отсюда, чтобы начать тихую жизнь бывшего кандидата в каком-нибудь бывшем парке, среди бывших или даже не бывших цветов.

Велика сила человеческого слова: два часа спустя Лазик гордо подошел к железнодорожной кассе, сжимая в руке все десять рублей.

13

В вагоне было тепло, накурено, уютно. Лазик, блаженствуя, жевал охотничью колбаску. Вдруг один из пассажиров, глядя на Лазика в упор, спросил:

— Простите, гражданин, вы не Пыскис ли из Белгорода?

Лазик затрясся.

— То есть как это Пыскис? Я прошу вас прекратить подобные намеки. Я всего-навсего Ройтшванец, и я, кстати, не из Белгорода, а из Гомеля. Я вовсе не знаю, кто этот Пыскис. Может быть, он последний растратчик? Может быть, он выстрелил в кого-нибудь? Тогда при чем тут я, если у меня билет до самой Тулы и трудовая книжка?

— Да вы не обижайтесь! Этот Пыскис не убийца, а дантист. Правда, у моего сослуживца Егорова он вырвал четыре здоровых зуба, и Егоров обещал его отлупить. Так это Егоров, а не я. Я ведь только из любопытства спросил. Вот какое сходство! Курьезы природы...

— Хорошенькие курьезы! У нас в Гомеле был сапожник Шайкевич. Он пил круглый год пейсаховку и ругал соседа Вульфа «полосатой блохой». Так вот, пришли белые, и они вдруг объявили, что этот Шайкевич переодетый командир Конной армии, хоть все в Гомеле знали, что Шайкевич умер бы от страха, если бы его посадили верхом на живую лошадь, даже в самое мирное время, но его все-таки расстреляли как конного командира. Этого вам мало? Так я могу сказать вам, что подрядчика Закса прикончили потому, что он был похож на какого-то деникинского генерала, хотя опять-таки все великолепно знали, что Закс играет в стуколку и ревнует жену, а генерал, наверное, стреляет из пушки или скачет как безумный по пылающему полю битвы. У Закса, видите ли, был подозрительный подбородок. А после всего этого вы сидите напротив меня в честном, то есть жестком, вагоне и пьете чай, я жую себе колбасу, и вы говорите вслух, что я — это не я, а загадочный Пыскис. Я же могу умереть если не из-за подбородка, так из-за носа!..

— Бывает! Как говорится — судебные ошибки. Вот и у нас в Белгороде доктора Ростовцева приняли за какого-то Ростовцева из сарапульской чеки. Ну, и крышка. Совпадение! Время, конечно, такое. Здесь и обижаться не на кого. Лес рубят — щепки летят. Мало, скажете, народу погибло? Зато утряслось. Без этого дела не сделаешь.

Пассажиры лениво позевывали. Лазик не вытерпел. Долго он уговаривал себя: молчи, Лазик! Он и вправду все утро молча жевал колбасу. Зато теперь он разошелся.

— Конечно, если этот доктор такая же важная птица, как, скажем, Лазик Ройтшванец, то он мог заранее лечь в готовую могилу, потому что, когда гуляет по улицам стопроцентная история, обыкновенному человеку не остается ничего другого, как только умереть с полным восторгом в глазах. Это китайское дважды два, и это понятно всякому. Но ведь мы с вами не история. Мы только злополучные попутчики

какого-нибудь жесткого вагона, и мы можем сказать прямо: почему это анонимный доктор должен был платить за великую фазу? Может быть, у этого доктора даже были милые детки? Может быть, ему попросту хотелось жить еще двадцать пять лет? Я его никогда в глаза не видел, но я понимаю одно: он был, наверное, обыкновенным человеком, а вовсе не каким-нибудь денежным знаком, чтоб его совали в билетную кассу. Почему же вы жестоко пьете ваш чай и не хотите понять этой простой трагедии? Вы думаете, если убить человека и припечатать его вопиющей печатью, как будто это не живой труп, а только дважды два замечательного будущего, кровь перестанет быть кровью? Я хотел бы лучше лежать вместе с этим законченным доктором, нежели слушать такое бездушное умножение. Я не умею сделать из моих чувств грохочущий реферат, но я расскажу вам сейчас одну суеверную историю.

Я слышал ее в моем кровном Гомеле от старого нищего Берки. Это история о бердичевском цадике, но, может быть, это история о Герше или даже о каком-нибудь докторе. Вы вовсе не обязаны верить в разные пережитки, вы можете сознательно думать, что Бог — это такое же глухое предположение, как китайское дважды два.

Значит, в Бердичеве жил один знаменитый цадик. Конечно, надо вам сказать, что цадик — это вполне благочестивый человек, это настоящий вождь своего местечка. А бердичевский цадик считался чуть ли не святым, до того он был добр и умен. Потом он разговаривал с Богом запросто, безо всякой там дипломатии. Он разговаривал с ним не на том невыносимом языке, на котором написаны разные старые книги, нет, он разговаривал с Богом на самом обыкновенном жаргоне, как разговаривает один еврей с другим. Он сердился на Бога и считал с ним по пальцам, и он смешил Бога, так смешил, что Бог смеялся на весь свет, и в Бердичеве стекла дрожали от этого небесного смеха. Словом, он умел, когда нужно, заговорить Бога, только чтобы спасти какую-нибудь человеческую жизнь. Можете вы себе представить, как в Бердичеве уважали мудрого цадика, его уважали и его любили, потому что, я уже говорил вам, он был самым добрым человеком на земле. Он, кажется, боялся пройти по смешной траве, чтобы трава не расплакалась.

Конечно, Бердичев большой город, и, кроме цадика, в нем жили другие евреи, в нем жил, например, некто Майзель, и я даже не знаю, как его назвать. Скорей всего, он был закоренелым паразитом. Он был стопроцентным спекулянтом, и наш гомельский Райкин по сравнению с ним — слепой щенок. Он хапал деньги, не стесняясь никаких уложений. Он давал ссуды под заклад, и он раздевал догола бердичевских простаков. Он скупал дома, и кто знает, сколько евреев он оставил без крова, так что они даже не знали, где им зажечь субботние свечи. Но вот у каждого насекомого бывают свои прыжки. Этот Майзель раз в год терял черную линию. У евреев существует иом-кипур — это день самого высокого суда; тогда нужно поспешно каяться, и вот каждый год в иом-кипур этот нахальный Майзель плакал неподдельными слезами. Он вовсе не выдавливал из себя несколько приличных капелек, нет, он обливался настоящими слезами, потому что он хорошо видел, что он самый последний злодей. В иом-кипур он отдавал все свои деньги нищим. Он бил себя в грудь кулаком и отчаянно вопил. В этот день он боялся взглянуть на цадика, потому что глаза цадика жгли его, как угли, он корчился под ними. Но вот наступал следующий день, и он просыпался утром как ни в чем не бывало. После дня поста он кушал две курицы. Он снова хапал деньги, и если вчера он отдал бедняку украденные у него сто рублей, сегодня он спешил вернуть их какой-нибудь новой хитростью. А встретив цадика, он не опускал глаз, нет, он даже засовывал руки в карманы.

«Сегодня, кажется, не иом-кипур? Когда придет срок, я, может быть, снова покаюсь. А пока что я устраиваю мои дела. Говорят, что даже Бог не любит бедных, почему же я их должен любить? Я люблю только хорошие деньги, и вы можете оставить меня в покое с вашими вопросительными взглядами».

Мудрый цадик мог беседовать с Богом, но в сердце Майзеля он не мог проникнуть. Майзель оставался ужасным злодеем, и все в Бердичеве боялись Майзеля, его боялись и его ненавидели.

Теперь я должен что-нибудь сказать о третьем человеке, о старом Герше, но я не знаю, что можно о нем сказать. Он был стар, как наша земля. Он был уродлив, как уродливо горе. Он был несчастен, как может быть несчастен старый еврей, у которого нет ни жены,

ни детей, ни угла, ни копейки. Ему было, кажется, шестьдесят лет. Из его больных глаз текли постоянные слезы. Если он не спешил умереть, то, может быть, потому, что у него не было денег на саван. А может быть, и не потому. Может быть, ему попросту хотелось жить, как хочется жить мне и вам, как хотелось жить этому законченному доктору. Словом, он не спешил умереть. Он, как и мой безответный отец, стирал постыдное белье. Когда в доме бывало такое белье, что его стыдились давать служанке, приходил старый Герш, брал белье и уносил его куда-нибудь за город.

Цадика все любили, Майзеля все ненавидели, а на старого Герша никто не обращал внимания. Он мог бы умереть, и никто бы не вздохнул; постыдное белье дали бы другому старику — Лейбе или Элии. Но он не умирал. Он тихо жил, и только цадик иногда заглядывал в его глаза, полные готовых слез. Тогда глаза цадика загорались как угли.

Теперь вы знаете, кто жил в Бердичеве, и я могу сказать, что Майзель наконец-то умер. Конечно, можно говорить, что он умер от Божьего гнева, но я думаю, что он умер от переполнения желудка, потому что он один, кажется, кушал всех бердичевских куриц. Его похоронили как подобает, то есть нищие про себя смеялись от счастья, а вслух они плакали от обязательного горя, потому что они получали за свои вздохи старое платье и какое-нибудь мясо с подливкой.

Тогда-то злодей Майзель предстал перед Богом. Вы, конечно, знаете, как об этом говорят позапрошлые люди. Сидит, скажем себе, Бог, и он судит мертвого человека. Он должен еще решить, куда идти этому отчаявшемуся трупу — в рай или в ад, — как будто человек даже после смерти не может лежать тихонько в могиле. Что делать, ведь люди очень любят судить. Меня тоже судили в Гомеле по одной сумасшедшей статье из-за приснившегося им флага, и я знаю, что ничего нет приятнее для человека, как сесть выше всех на один аршин и начать читать невозможные уложения. Когда люди выдумывали Бога в какой-нибудь старой комиссии, они его сделали, конечно, по своему замечательному подобью. Они захотели угодить ему: «Ты будешь судить нас, как самый невыносимый судья».

Майзель предстал перед Богом, и это было как раз в иом-кипур. В Бердичеве живые евреи постились и ка-

ялись, как каждый год. Цадик пел в синагоге свою надрывающую молитву, а из глаз Герша текли постоянные слезы. Они, конечно, не знали, что вот в эту самую минуту Господь судит жулика Майзеля. А на небе уже шла работа. Притащили огромные весы, и все начали говорить в полное удовольствие. Жаль, что не было при этом товарища Ландау из нашего гомельского суда — вот где бы он мог показать все свое затихнувшее красноречие. Сначала, конечно, выступил прокурор, то есть, умоляю вас, не ищите в этом никакого текущего намека — это был самый настоящий черт, и он приводил все статьи уложения. Он требовал, чтобы умершего паразита предали ему для какой-нибудь высшей меры. Потом заговорил правозаступник, и он заговорил, и он говорил, и он ссылался на все его происхождение, и он бил себя в грудь крылом, пока Богу не надоело. Бог, конечно, схватил звоночек, и у всех бердичевских евреев сразу зазвенело в ушах:

«Довольно! Теперь пора уже вешать на весах дела этого мертвого Майзеля».

Ангелы быстро стали кидать на одну чашу разные шумные злодейства: здесь были слезы бедняков, и жалобы вдов, и крики голодных детей, и все это самого первого сорта, так что черная чаша со страшным грохотом ударилась о какое-нибудь облако. Тогда на другую чашу ангелы стали накладывать совсем смешные капли. Да, они не клали добрые дела Майзеля, хоть он в иом-кипур и раздавал награбленное нищим, нет, они только клали на чашу разные крохотные капельки. Майзель совсем приуныл: какие же тут могут быть разговоры? С одной стороны — куча злодейств, может быть, на сто тысяч целковых, а с другой стороны — кувшин соленой водицы. Но что же он видит? Светлая чаша мало-помалу опускается вниз. Конечно, будь это приличные слезы, они бы весили мало, но я ведь сказал вам, что это были настоящие слезы, которые текли из самого сердца, и они весили пуд, если не все сто пудов. Чаши остановились — ни одна не может перетянуть другую. Поровну оказалось добрых и злых дел в жизни мертвого Майзеля. Тогда сконфузились ангелы и даже сам Бог. Никто не знал, что делать дальше, а Майзель стоял и дрожал, но в голове его уже бродило новое злодейство. Улучив минуту, когда Бог отвернулся, чтобы поглядеть, что делается в какой-нибудь Америке, жулик Майзель схватил с чер-

ной чаши одно ужасное дело и быстро засунул его в карман. Но, наверное, Майзель был уже не первым, и Бог устроил весы так, чтобы они выдавали подобные обманы. Только-только Майзель совершил свою загробную низость, как черная чаша с двойным грохотом ударилась об облако, и все поняли, что Майзель хотел надуть самого Бога, после того как он надул уже тысячу людей.

Здесь даже заступник отказался от своего пышного красноречия: он не хотел защищать подобного злодейства. Но выдуманный Бог все-таки хоть чем-нибудь да лучше обыкновенных людей, и он сказал ангелам:

«Я вовсе не хочу без последней речи отправить этого Майзеля в ад. Скажите мне, кто из вас хочет защищать такое последнее преступление?»

Но ангелы, конечно, признанные трусы, они побоялись нарушить небесную дисциплину.

«Мы не хотим защищать подобного злодея, но если ты обязательно хочешь, чтоб его кто-нибудь для виду защищал, то ты можешь вызвать сюда бердичевского цадика, потому что еще не было случая, чтоб он отказался защищать самого постыдного человека».

В синагоге евреи увидели, что цадик, не допев своей надрывающей молитвы, вдруг уснул. Они, понятно, удивились, но они не потребовали разбудить его: если мудрый цадик уснул, значит, так нужно. Они продолжали молиться.

Они думали, что цадик уснул. На самом деле цадик поднялся вверх, и он предстал перед Богом, и даже, не успев оглядеться по сторонам, где сидит какой ангел, он сразу начал защищать мертвого Майзеля. Он не перечислял его добрых дел, и он не показывал на кувшинчик с соленой водой. Нет, он сразу начал наседать на Бога. Он сразу схватил Бога за живое:

«Спрашивается, за что ты его судишь? За то, что он здесь совершил еще одно злодейство? Я думаю, что одним злодейством больше или меньше — это никому не интересно. Если он надувал невинных детей, то это немножечко хуже, чем смешная история с твоими весами, потому что их он действительно надувал, а тебя он только попробовал надуть, и это по своей полной невинности, как дитя пробует надуть отца. Если же ты его судишь за то, что он плохо жил на земле, я тебе отвечу, что в этом виноват вовсе не мертвый Майзель. В этом виноват скорее всего ты. Если бы ты сначала показал людям рай, они все были бы такими замеча-

тельными, как эти выдуманные ангелы, но ты ведь показал им сначала самый настоящий ад, потому что ты не станешь отрицать, что жизнь — это ад, и это даже два раза ад. Что же ты удивляешься, если они в аду жили так, как будто они в аду? Ты еще хочешь теперь взять этого мертвого Майзеля и снова посадить его в ад. Где же тогда справедливость, и зачем ты говоришь, что ты судишь людей? Ты их тогда, скорее всего, пытаешь, и это можно делать безо всяких весов, как делают люди на земле. Значит, ты должен немедленно оправдать этого мертвого Майзеля».

Бог, конечно, ничего не мог возразить против таких умных слов, и он смутился. Он закричал:

«Хорошо! Отведите этого мертвого Майзеля в самый пышный рай».

Бердичевский цадик мог бы вернуться обратно в Бердичев, но он заметил, что Бог сегодня в хорошем настроении и уже немного растроган его жаркими доводами. Цадик подумал: нужно воспользоваться этой минутой, нужно доказать Богу, что он довольно уже испытывал человеческое терпение, что люди в Бердичеве, да и в других местах, очень несчастны, что пора наконец-то послать на землю какого-нибудь выдуманного мессию, чтоб он сейчас же спас все обширное человечество. Цадик не сошел вниз. Он продолжал стыдить Бога и уговаривать его. И Бог начал поддаваться. Он уже растерянно улыбался, и он успокаивал бердичевского цадика:

«Почему ты так волнуешься? Я ведь не говорил, что я не пошлю мессию. Наоборот, я сказал, что я его обязательно пошлю. Может быть, ты и прав, говоря, что настало время. Давай-ка обсудим с тобой этот вопрос. Который у нас теперь год на земле?..»

Я говорю вам, что Бог уже готов был согласиться, но здесь-то произошла заминка. Евреи в синагоге, конечно, не видели цадика, который беседовал с Богом, но цадик, стоя на небе, очень хорошо видел всех евреев в синагоге. Он видел, что из-за его разговора с Богом затянулась молитва и, значит, затянулся пост. Легко поститься в двадцать лет, но не в шестьдесят. И вот, вдруг цадик видит, что старый Герш падает на пол без чувств. Шутка сказать — со вчерашнего дня он ничего не ел и ничего не пил. Цадик понял, что, если сейчас же не кончится молитва, старый Герш умрет на месте. И цадик сказал Богу:

«Я, может быть, поступаю очень глупо. Я должен был убедить тебя, что больше ждать нельзя. Тогда бы ты спас все обширное человечество. Но я не могу сейчас больше с тобой разговаривать, потому что мне некогда: если я останусь еще один час на небе, старый Герш, который стирает в Бердичеве постыдное белье, обязательно умрет. А где это сказано, что я имею право заплатить за счастье всего обширного человечества жизнью старого Герша?»

И он, не кончив разговора, слез с неба. Он поспешил допеть свою уже бесполезную молитву и закончить пост. Конечно, может быть, Герш умер через год, но он не умер в тот вечер. Цадик не сунул его, как билет в какую-нибудь железнодорожную кассу.

Вот что я хотел вам рассказать, мои злополучные попутчики. Вы, конечно, можете пить ваш чай и оправдывать черное сердце какой-нибудь великой историей. Я скажу вам только одно: хорошо, этот доктор уже лежит в глухой земле, и не один доктор. Но скажите, что же вам выдали в вашей замечательной кассе?..

14

Лазик умел артистически кроить брюки. Что бы там ни говорил Пфейфер и другие недоброжелатели, я стою на своем: куда тут Цимаху с его якобы английским фасоном! Но в Туле было немало своих портных, граждане меланхолично отвертывались, проходя мимо сверкающих вывесок. Это ведь только в бабьих сказках Тула кует самовары и печет пряники, на самом деле Тула сокращает штаты. Ножницами Лазик не прожил бы здесь и дня. Спасла его знаменитая диалектика: если сокращают, значит, набирают. Это закон природы: одного человека выгоняют из комнаты, вместо него сажают другого, а выгнанный, он, конечно, тоже должен кушать, если его выгнали из одной комнаты, он может войти в другую, ибо Земля, вопреки глупому Талмуду, вертится, и на ней вертятся все бурные сотрудники всевозможных подотделов.

Не прошло и недели, как Лазик нашел подходящую дверь. Он стал сотрудником губернского отдела животноводства, и ему было поручено следить за размножением во всей Тульской губернии породистых кроликов, так как центр установил, что это одна из наиболее

выгодных разновидностей предстоящего сельхозяйства.

Войдя в открывшуюся перед ним дверь, Лазик бодро оглядел поле своей будущей деятельности в виде стола с грязной промокашкой и спросил курьершу Дуню:

— Простите, товарищ, где же они?..

Дуня зевнула.

— Да где же им быть сейчас? Дома, чай пьют. Или у Марии Игнатьевны.

— Тсс! Я вас спрашиваю не о товарище заведующем. О нем я вовсе не хочу вас спрашивать. Довольно я в Киеве хватал авторитетные ноги. Нет, я вас спрашиваю только о вполне невинных кроликах.

— Таких тут нет, а если вы хотите Кропоткова, то они не тут, а в бухгалтерии.

Лазик заглянул в ящик стола, но там оказалась только пустая коробка от папирос. Он просидел честно до пяти часов, потом ушел домой. Он твердо решил не философствовать. На следующее утро он все же осмелился спросить заведующего:

— Извиняюсь, товарищ Петров, я хочу вас только спросить, где же они, то есть порученные мне кролики,— здесь или в губернии?

Петров проворчал:

— А шут их знает! Кажется, в том шкафу. Поройтесь в бумагах.

Весь день Лазик работал. С надлежащей осторожностью, как густопсовый терьер, рылся он в ящиках, чихая от едкой пыли. Наконец он обнаружил если не кроликов, то копию исходящей под № 2178, в которой говорилось о печальной судьбе одной породистой четы, прибывшей из центра в благословенную Тулу. Предшественник Лазика, некто Рожков, ныне сотрудник музыкального подотдела, сообщал в Москву: «Подтверждая получение породистого груза, сообщаем, что присланные экземпляры не поступили в тульский случпункт ввиду особенностей местного климата, продовольственных затруднений, а также незнакомства местного населения с племенным кролиководством, так как в ящике оказались при проверке только мертвые разновидности, и, по свидетельству ветеринарного пункта, смерть последовала либо от морозов, либо от недостаточно азотистого питания, либо от поведения граждан на вокзале, самовольно вскрывших ящик

и допустивших дезорганизованную охоту с участием беспризорных собак г. Тулы». Раза три перечел Лазик это печальное послание и, пользуясь отсутствием курьерши, пронзительно вздохнул.

— Бедная породистая чета — вот все, что осталось от вашего восторженного прыганья где-нибудь под американскими пальмами,— копия исходящей номер две тысячи сто семьдесят восемь! Но спрашивается, что же мне делать? Как я могу размножить по всей обширной губернии это жестокое воспоминание?

Не выдержав томительной пустоты письменного стола, а также Тульской губернии, Лазик дня два спустя обратился к товарищу Петрову:

— Что же мне теперь делать, если они решительно умерли и даже припечатаны этой копией?

— Как что делать? Работать, товарищ, работать! Размножать! Производить! Интенсировать! Поняли? Видите сравнительную таблицу? Мясо — раз. Мех — два. Невзыскательность — три. Экономия времени — четыре. К концу отчетного года у нас будет не менее тридцати тысяч голов.

— Извиняюсь, товарищ Петров, но откуда же вырастет этот замечательный мех или даже мясо, если их, безответных прародителей, растерзали дезорганизованные собаки. Я могу размножать только одну циркулярную скорбь, но это не даст нам никакой красивой таблицы, потому что они, извиняюсь, как назло сдохли.

— Сдохли? Ха-ха! Действительно сдохли. Ну, между нами, какие же тут могут быть кролики? Я еще понимаю — свиньи. Но вы, товарищ, все-таки размножайте. Из Москвы пришлют новых, а пока что можно составить хотя бы инструкции сельхозам. Или устройте лекцию с туманными картинами. Словом, не углубляйте. Поняли? Вот, кстати, мы получили анкету из центра. По вашей части здесь семнадцать вопросов.

Лазик остался с семнадцатью вопросами и с тяжелым недоумением. Что значит — «не углубляйте»? Рассматривать кроликов как кроликов? Допустим. Но вот его спрашивают в одиннадцатом параграфе: «Как отразилась постановка племенного кролиководства на экономическом положении крестьян? На культурной жизни? На семейных взаимоотношениях? Замечается ли в связи с ней увеличение рождаемости? Установите соотношение в круглых цифрах между количеством

кроликов и потреблением мыла на каждый двор». Если кролики — это кролики, то их вообще нет. Правда, можно предположить, что кролики — это только могучий символ какой-нибудь роскошной электрификации. В Талмуде много таких сумасшедших шуток. Например, сказано «овечьи сосцы», а на самом деле это священные сосуды каких-нибудь левитов. Может быть, они понимают под словом «кролики» самую обыкновенную ячейку?.. Но ведь товарищ Петров сказал ему: «Не углубляйте».

После долгих колебаний Лазик решил от аллегории воздержаться. На первый вопрос: «Сколько в Тульской губернии голов кроликов ко дню заполнения анкеты»,— он стойко ответил: «Один надгробный памятник в виде разрывающей мое сердце исходящей»,— и против шестнадцати остальных провел трагическую черту: ни мыла, ни рождаемости, ни семейных отношений — пустота, горе, небытие.

На всякий случай он показал лист заведующему. Тогда товарищ Петров начал бегать по длинному коридору и вопить:

— Вы с ума сошли? Вы знаете, что такое сокращение штатов?

— Еще бы! Кажется, шесть недель отсидел я, а не гражданка Пуке.

— Вы ничего не знаете! Вы хотите всех нас погубить! Как можно так отвечать на анкету! Надо углубить вопрос. Надо похвастаться достижениями. Таблицы, сметы, диаграммы. Если бы вы отослали этот бред, мы бы все попали под суд. Переправьте сейчас же все наново! У вас нет ни на грош понимания государственности. «Надгробный памятник»! Это что — остроумие?

Настали для Лазика трудовые дни. В три часа уходил товарищ Петров, в пять курьерша Дуня. Но Лазик не знал часов: он сидел, согнувшись, над столом, он высчитывал, обдумывал, распределял.

К концу пятого дня он закончил работу. Он ответил на все семнадцать вопросов. Он написал:

«Так как покойная чета была прислана в Тулу 18 ноября 1924 года, можно определить к текущему моменту кроличье население губернии в 11 726 с половиной головы. Ввиду исправных функций и отсутствия розовой водицы к 1 января 1930 года в губернии намечено 260 784 головы. Вредителей, вроде сусликов

или филлоксеры, не замечено. Что касается других болезней, то, кроме несчастья с первой четой и возможного, ничего не выражающего насморка, благодаря героическому мужеству губздрава не можем пожаловаться. Кроликов держат в плантациях под пальмами и в прочих шкафах. Рождаемость населения в связи с этим неслыханно бурлит, а мыльному производству, конечно, угнаться за нами трудно, потому что если и приходится на двор какой-нибудь жалкий кусочек, наполовину смыленный, то в круглых цифрах можно сказать, что это голый нуль рядом с роскошным оперением тысячи-другой кроликов».

Написав это, Лазик решил не волновать больше товарища Петрова, занятого Марьей Игнатьевной, и отослал бумагу в Москву. Недели две он наслаждался миром и тишиной. Курьерша Дуня зевала, стыл одинокий чай, товарищ Петров плодотворно отсутствовал, и заведующему кролиководством не оставалось ничего другого, как рисовать на промокашке уши незабвенных прародителей. Но вот коридор наполнился бодрым кряканьем сапог: из Москвы прибыла комиссия для изучения образцовой постановки кролиководства в Тульской губернии.

— Мы прежде всего должны вас поздравить, товарищ, в вашей губернии больше кроликов, чем во всем Союзе. Очевидно, вы нашли особо удачный корм. В Англии подобные результаты достигнуты фосфорными препаратами. Но мы им утрем нос. Чем же вы их кормите?

Лазик скромно потупил глаза.

— Исключительно служебной фантазией.

Москвичи не поняли. Они деликатно сказали:

— Ну, это мы увидим на месте. Завтра мы отправимся в сельхозы. Скажите нам, в каком уезде предпочтительно водятся кролики?

— Где они водятся? Не в уезде и не в шкафу, а здесь.— Лазик с гордостью показал на свою крохотную головку.

Тогда коридор снова заполнился кряканьем сапог, и на этот раз кряканье было зловещим. Товарищ Петров, забыв о Марье Игнатьевне, вопил:

— Вы всех подвели! В тюрьму! Под суд!

— Почему вы кричите на меня, товарищ Петров? Когда я написал, что от покойников трудно ждать пышного размножения, вы начали топать ногами. То-

гда я измучил свою хилую грудь таблицей умножения и сделал настоящее служебное чудо: я заставил этих мертвецов размножаться. Но вот вы снова топаете ногами, и я ничего не понимаю. Вы мне напоминаете, извиняюсь за неприличное сравнение, какого-нибудь римского императора, потому что был такой сумасшедший идол Адриан, и когда один еврей, увидев его, не поклонился, он крикнул: «Отрежьте ему скорее голову! Как он посмел, этот нахальный еврей, не поклониться римскому императору!» Но потом он увидел другого еврея, который тотчас же, конечно, поклонился ему, и все равно он закричал: «Еще скорее отрежьте и этому еврею голову: как он посмел, подобный нахал, кланяться мне!» Я вас спрашиваю, товарищ Петров, что же делать какому-нибудь разводителю кроликов, если он не может ни говорить правду, ни даже смешно врать?

— Вы прикидываетесь Иванушкой-дурачком, но посмотрим, что вы скажете, когда вас посадят.

— Ничего, я привык, и я там скорее всего просто молчу, или я рассказываю постыдные истории. Но я не люблю одного: когда меня берут. Тогда у меня делается ужасное сердцебиение. Я лучше сейчас же сам пойду к тюремным воротам, и я попрошу, чтобы меня пустили, скажем, за один час вперед. Так будет гораздо спокойней. Прощайте, товарищ Петров! Прощайте, тишина этих столов в отделе животноводства, чай курьерши Дуни и прискорбные тени двух погибших прародителей, которые прыгали день и ночь в моей неудачной голове вполне преданного спеца!

15

Лазик сидел на скамейке Тверского бульвара и думал, какое, должно быть, вкусное мясо у кроликов. Это нечто вроде бананов, о которых пел Левка, или вроде орхидей, но нет, орхидеи, кажется, не едят, их только нюхают, а Лазику хотелось прежде всего закусить. Он не настаивал на кроликах, он обрадовался бы и ломтику давно минувшей колбасы. Шутка сказать, третий день довольствовался он обнюхиванием различных столовок и пивных, из которых вылетали запахи, достойные таинственных орхидей. Денег у него не было, не было ни друзей, ни рекомендательных писем,

ни верных адресов. Москва встретила Ройтшванеца парадно и сухо: «Ну, памятник Пушкину, ну, десять тысяч переулков, ну, Совет самых невозможных комиссаров!.. Что же дальше?.. Нельзя ведь только нюхать, как пахнут подъезды кухмистерских».

Лазик искал лазейку. Внимательно обозревал он окрестности. Повсюду глаза его натыкались на назидательный оклик: «Берегись автомобиля!»

— Именно, нашел я чего беречься! Во-первых, здесь столько же автомобилей, сколько у нас в Гомеле орхидей, во-вторых, они двигаются гораздо медленней, чем, например, старик Гершанович, когда он идет из синагоги домой ужинать, а в-третьих, если меня и раздавит автомобиль, то это, по крайней мере, американская смерть, как в настоящем двадцатом веке, что все-таки приличней, чем умереть от позапрошлого голода. Нет, дайте мне написать маленькое предупреждение, я напишу так: «Берегись моментальных глаз товарища Фени Гершанович! Берегись запахов кролика и вообще сильного аппетита!» Впрочем, кто обращает внимание на самые мудрые наставления?

Рядом с Лазиком сидел рослый детина в трусиках и в порыжевших от времени штиблетах, но без прочего. На его груди и ногах бодро курчавилась поросль. Он держал портфель под мышкой, насвистывал военный марш и перебирал ногами, как застоявшаяся лошадь. Лазик на него не глядел: мало ли в Москве людей? Голый? Пусть голый! Это ведь не Фенечка Гершанович. Зато оголенный гражданин, посвистывая, не сводил глаз с Лазика: что он ищет то на домах, то на небе, то под скамейкой?.. Заинтересовавшись, он наконец спросил Лазика:

— Потеряли что-нибудь?..

Тогда Лазик недоверчиво взглянул на волосатые плечи соседа — как будто тот же Минчик не может в два счета раздеться?..

— Потерял? Нет, мне нечего терять, кроме нашей гомельской надежды, но ее я еще не потерял. Можно, конечно, потерять жену, или деньги, или даже собственное имя. Это совершенные пустяки. Сегодня человек теряет зубы, а завтра американский дантист вставляет ему новые. Но нельзя потерять надежду. Это все равно что взять и умереть за двадцать лет до своей собственной смерти. На что мне надеяться, если у меня нет протекции и если вся Москва пахнет так вкусно,

как одно рагу из несуществующих кроликов? Но я все-таки надеюсь. Может, кто-нибудь сейчас пройдет по бульвару и уронит хорошенькую связь. Тогда я стану заведующим московскими плантациями ананасов или даже питомников для скрещивания сознательных граждан с угнетенными обезьянами.

— Здорово! Вы, значит, товарищ, тоже литературой занимаетесь? Давайте знакомиться: Архип Стойкий. Читали в «Комсомольской правде» отрывок из романа «Мыловаренный Гуд»? Вот это эпос! Производство — и без слюнтяйства. А вы где же печатались?..

Лазик задумался. Чем он вправду не писатель? Если нужно снять рубашку, он снимет. Главное — фантазия, а ведь Пфейфер не раз говорил ему: «Вы, Ройтшванец, врете, как будто вы не живой человек, но целая газета». Конечно, Лазик в душе писатель! Вот зачем он приехал в Москву.

До этой минуты, говоря откровенно, Лазик мало думал о литературе. Он только знал, что Пушкин ревновал свою жену, совсем как подрядчик Шайкевич, и что у Льва Толстого была замечательная борода, как у Карла Маркса, но у Маркса лопатой, а вот у Толстого совком. Но теперь он понял, что он, Лазик Ройтшванец, вовсе не мужеский портной и даже не спец, а грохочущий писатель. Фамильярно подмигнул он ревнивому Пушкину.

— Печатался? Где угодно, и у меня было, кажется, штук сорок хорошеньких псевдонимов. Меня, например, в Гомеле считали почти что Пушкиным, конечно, без инстинкта собственности, как у фабриканта. Вы слыхали, наверное, о нашем гомельском барде Шурке Бездомном? Он пишет стихи исключительно о ненормальных комбригах. Так вот я и ему давал советы: «Вставь-ка еще одну улыбку на чело, дорогой Шурка Бездомный». И он всегда вставлял.

— Устарело, товарищ. И Пушкин, и Шурка Бездомный, все это — слюнтяйство. Вот я покажу вам, как теперь пишут у нас, в Москве.

Архип Стойкий вытащил из портфеля несколько листков и, дрыгнув голой ногой, прогромыхал:

— Отрывок девяносто восьмой. «Мыло гудело, как железные пчелы. Бодро тряхнул головой Сенька Пувак: «Так-то, братва, отстояли». Рядом с ним улыбалась Дуня. С гордостью взирала она на приводные

ремни, и красная звезда колыхалась на ее груди, полной здорового энтузиазма. Мыло кипело. «Обслужим весь Союз»,— сказал Сенька. Он смотрел теперь на звезду девушки: «Что же, Дуня, пойдем! Наша дорога молодого класса к солнцу. Забудем о грязных забавах тех, что владели когда-то этим заводом. Дай я тебя прижму к себе трудовой рукой!» И, отдаваясь биению новой жизни, Дуня, чуть заалев, прошептала: «Ты видишь, мы обогнали довоенную норму. Гуди, мыло, гуди! Если у нас будет сын, мы назовем его просто: Мыловаренный Гуд».

Архип Стойкий горделиво оглядел Тверской бульвар. На поросли сверкали теперь крупные капли пота.

— Здорово? Вот и вы так валяйте! Можно, например, о шелковичных червях. Главное — гнуть линию. Кто в журналах? Буржуазные дегенераты. Мы их в дверь, а они в окно. За этим надо глядеть в оба! У меня вот только шестнадцать отрывков напечатано. А их всего двести четырнадцать. С этим пора кончать. Я вам советую, товарищ, сразу войти в нашу группу «Бди». Мы бдим, чтобы в издательства не пролезли всякие трупы. Если вы войдете в нашу группу, вас будут повсюду печатать. Идет?

Лазик охотно согласился.

— После мертвых кроликов я уже ничего не боюсь. «Бди» так «Бди». Только скажите мне, что я должен немедленно делать? Снять рубашку, конечно, дело двух минут, но у меня нет, например, роскошного портфеля.

— Пустяки! Это необязательно. Я, правда, стою за загар. Это — здоровье, и это отделяет нас даже с виду от разных бледных выродков из промежуточных групп. Я загораю. Я ем черный хлеб и пью артезианскую воду. Я прост, суров, непримирим. Я настоящий бдист, и вы теперь тоже бдист.

При напоминании даже о столь неизысканном кушанье, как черный хлеб, Лазик меланхолично вздохнул.

— Конечно, вкуснее, когда на этом суровом хлебе — ломтик промежуточной колбасы. Но если бдист должен есть только хлеб, я в текущий момент не возражаю, я только прошу вас об одном: скажите, где мне его моментально найти, этот непримиримый хлеб, потому что я на свежем воздухе чуть-чуть проголодался.

Архип Стойкий бодро подмигнул Лазику и повел его в укромную пивную. Вскоре на столе появились битки с луком и четыре бутылки пива. Выпив стакан, Лазик сразу охмелел и начал восторженно пищать:

— Если это — суровая вода и артезианский хлеб, то, спрашивается, кто же я и кто же вы? Я думаю, что тогда вы Лев Толстой, а я сам Пушкин, хотя у меня нет никакой жены, кроме Фенечки Гершанович, но она скорей всего жена петуха Шацмана, а у вас нет бороды, то есть борода у вас растет под мышкой. Скажите, как называется это сумасшедшее блюдо? Битки? Вы говорите, что это обыкновенные битки, а я вам скажу после трех дней сплошного иом-кипура, что это не битки, это кролики, а может быть, это все бананы.

Архип Стойкий пил на славу. Менялись бутылки пива.

— Мы их отовсюду выкурим!.. Да здравствует бдизм!

С трудом ворочая языком, отяжелевший Лазик лопотал:

— Конечно, пусть здравствует, раз на столе такой пышный кролик. Вы говорите, что трупы лезут? Какие это, однако, нахальные трупы! Труп должен лежать под какой-нибудь трогательной надписью. А лезть в окно — это для трупа прямо-таки неприлично. Это же не мыло, чтобы вечно гудеть. Я вот только хочу вам предложить одно. У меня с колыбели слабые глаза. Я однажды схватил по ошибке совсем не ту ногу. Я могу спутать, как говорят в Гомеле, заграничного слона с Мошкой-папиросником. А вы человек вполне занятой. Вы загораете, и вы пьете эту артезианскую воду, не говоря уже о Дуне, которая, наверное, все время гудит. Словом, своими средствами мы не обойдемся. Так вот, я предлагаю вам включить в нашу группу одну гомельскую особу. У нее, правда, постыдная фамилия, но мы ей подарим неприступный псевдоним. Она, наверное, может быть поэтессой. Стоит ей только взглянуть на вашу свободную грудь, как она разразится сплошными стихами.

Беседуя на литературные темы, друзья и не заметили, как прошло время.

— С вас восемь рублей двадцать копеек.

— Ну, ну, я не спорю... Так и быть, сегодня платите вы. А в следующий раз уж я выставлю батарею.

— Я тоже не спорю. Зачем спорить? Я ведь, кажется, не труп. Но у меня в кармане только портрет

португальского бича и, может быть, еще одна дырка. Я же вам сказал, что я три дня постился, и, кажется, ясно, что это не опиум, а только железный материализм.

Архип Стойкий встал, икнул и философически заметил:

— Черт побери — нет даже карманов, чтоб хоть для виду пошарить! Эй вы, гражданин! Анекдот, но факт: забыл дома пиджак с бумажником. Ничего не поделаешь — физкультура. Ну, пока...

Шатаясь, он вышел на улицу. Хозяин пивной попробовал было потрясти за шиворот оставшегося Лазика, но, убедившись, что ничего из него, кроме какого-то портрета, не вытряхнешь, удовлетворился тумаком...

Лазик очутился на бульваре с чуть припухшим глазом. Но он не унывал: позади был роскошный ужин, а впереди слава Пушкина. Вы еще увидите, что ему поставят в парке Паскевича хорошенький памятник! Он будет стоять в бронзовых штанах и пренебрежительно улыбаться. Вот тогда-то придет к этому памятнику Феня Гершанович и заплачет: «Почему я полюбила петуха Шацмана без памятника, а не этого прославленного на всю Америку героя?» И хоть у Лазика будут бронзовые штаны, он не выдержит, он сбежит с подставки, он скажет: «Я люблю вас даже после смерти, и, если вы хотите, мы можем сейчас же жениться на все три трети». Мечтая так, Лазик уснул.

16

На следующий вечер Лазик отправился в Литературный клуб. Он важно расписался при входе: «Ройтшванец-бдист». Кто-то спросил его:

— Вы, товарищ, поэт или критик?

Лазик, не смущаясь, ответил:

— Беспощадный критик из контрольной комиссии. А что это у вас сегодня за гуд? Танцы меньшинств или лекции о половом вопросе?

Узнав, что он попал на литературный диспут «Нужно ли печатать и кого?», Лазик обрадовался. Вот тут-то он покажет себя!

Докладчик был бдист. Долго говорил он о том, что «красные ризы должны быть белыми». «Попутчики» —

надстройка над базой. Пока читатель был зелен, ему еще могли преподносить подозрительные книги, но теперь он созрел, он требует, чтобы его мозги ограждали от гнилой продукции. Можно ли после таких мировых шедевров, как «Мыловаренный Гуд», печатать старческое шамкание разных дегенератов, да еще в двадцати тысячах экземпляров? Долой политику страуса и да здравствует писательский молодняк!

Лазик неистово аплодировал. Он хотел было сразу выступить с предложением поставить двойной памятник Архипу Стойкому и Лазику Ройтшванецу — вот как Минину и Пожарскому, но его опередил представитель какого-то издательства:

— Я только хотел обратить внимание докладчика на голые цифры. Товарищи, мы ведь состоим на хозрасчете. Читатель, к сожалению, еще не покупает произведений бдистов. Роман «Великая братва» разошелся всего в шести экземплярах, а повесть «Трудовой поцелуй» в четырех. Надо попытаться примирить марксистскую линию с тяжелым экономическим положением. Мы издаем в двадцати тысячах яд какого-нибудь попутчика, чтобы иметь возможность выпустить в роскошном издании полное собрание сочинений товарища Архипа Стойкого — это испытанное противоядие.

Архип Стойкий негодующе хрипел:

— Вздор! Если издавать только нас, кого же они будут покупать?.. Довольно компромиссов!

Но представитель издательства не сдавался. Он усыпил зал цифрами. Тогда-то Лазик нашел, что настало время высказаться. Нежно глядел он и на докладчика, и на Архипа Стойкого, и на заведующего издательством.

— Вы все очень симпатичные марксисты, и я сейчас маленькой диалектикой примирю вас. Архип Стойкий — это вроде Льва Толстого, и его надо сегодня же напечатать. Какие тут могут быть разговоры, если он хочет, чтобы его напечатали. Деньги здесь, кажется, ни при чем. Если вчера мелкий собственник накормил нас кроликами, не останавливаясь ни перед какими расходами, то государство, по-моему, должно моментально напечатать все отрывки из этого «Мыльного Гуда», потому что если их не напечатать, то товарищ Архип Стойкий перестанет загорать, и он станет лазящим трупом. Но остается второй вопрос — об этих неприличных «попутчиках». С одной стороны, их

нельзя печатать, потому что это не вполне выдержанный дух, а с другой, их необходимо печатать, потому что без этого в издательстве одна сплошная дыра и никакой даже разменной монеты. Как же разрешить такое противоречие? Да очень просто. На что уж глупы наши гомельские евреи, которые еще верят в Бога и отрицают передовую ветчину, но даже они до этого додумались. Я вам скажу, например, что еврей должен перед Пасхой продать всю свою посуду и оставить дома только пасхальную. Так придумали спецы в талмудической подкомиссии. Но кому же продать всю посуду в городе? И потом, продашь горшок за десять копеек, а новый стоит весь рубль. Так вот еврей перед Пасхой зовет к себе русского, скажем, носильщика или сторожа, и он говорит ему: «Я продаю тебе всю посуду за пять копеек»,— а тот отвечает: «Хорошо, покупаю». Конечно, оба понимают, что это нарочно, и сторожу просто дают за душевное подкрепление полтинник на водку. Вот что значит найти выход из последнего положения!

Я вижу, что вы не жили в Гомеле и еще не понимаете, как это делается, так я вам расскажу о носовых платках. В субботу еврею нельзя ничего носить, даже необходимого платочка, кроме как у себя во дворе. Но ведь насморк бывает и в субботу. Нельзя же весь день сидеть дома. А в синагоге, например, совершенно некуда высморкаться. Вы думаете, что евреи остались с двумя пальцами? Ничего подобного. Они подумали, и они придумали. Если протянуть проволоку вокруг всего Гомеля, то можно считать весь Гомель за один двор, и тогда можно ходить по всему Гомелю хоть с дюжиной платков. Они сложились и купили проволоку и в десять минут обкрутили весь Гомель. Я говорю вам: главное — заранее условиться. Может быть, эти «попутчики» и то и се, платочки и посуда и черт знает что. Но мы их продадим сторожу, и мы обнесем их проволокой. Мы скажем, что они у нас во дворе, и тогда можно будет их печатать с каким-нибудь оглушительным предисловием. Он там пишет, что у Шурочки большая любовь, а мы в предисловии продадим его, как сто горшков: «Шурочка не Шурочка, и любовь не любовь, но одни классовые скакания». Книжка пойдет хоть в двадцати тысячах, и в кассе будут деньги, и Архипу Стойкому выдадут за его «Мыльное Гудение», может быть, груду червонцев.

Архип Стойкий недоверчиво поморщился.

— Вы бдист или не бдист? Юлите! И нашим, и вашим. С кем вы только успели снюхаться?..

Лазик, однако, быстро его успокоил:

— Это чтобы заткнуть рот тому, в очках, и чтобы вам выдали наконец немножко червонцев, потому что номер с пивной, кажется, больше не пройдет, а я уже успел снова проголодаться.

Хоть на Архипе Стойком и была блуза с карманами, но денег в карманах не было. Лазику пришлось отдаться сладким воспоминаниям: как они дивно пахли, кроличьи бананы! Вдруг к нему подошел какой-то упитанный гражданин весьма пристойного вида. Виновато улыбаясь, он сказал Лазику:

— Извиняюсь, можно вас на два слова? Вы говорили прямо как Троцкий. Одна блестящая мысль за другой. Я думаю, что мы с вами поймем друг друга. Я, видите ли, ищу снисходительного марксиста.

Лазик умилился:

— Я вас понимаю. Я в Гомеле тоже искал снисходительную девушку. Но Феня Гершанович оказалась неприступной, как два американских замка. Правда, потом она стала снисходительной, но не ко мне, а к Шацману, и, конечно, тогда она перестала быть девушкой. Это называется гомельское счастье! Но скажите мне, зачем вам понадобился снисходительный марксист? Уж не вздумали ли вы исправлять самого Карла Маркса?

— Тсс! Что вы говорите? И в таком месте!.. У меня очень деликатное дело. Может быть, мы выйдем вместе? Разрешите представиться—Рюрик Абрамович Солитер.

Ноздри Лазика раздувались, во рту было мокро, кружилась голова. Он решил действовать напролом.

— Вы знаете, Рюрик Абрамович, с кем вы говорите? Я же великий писатель. Я завтра, может быть, буду стоять в бронзовых штанах. Я беспощадный критик. У меня внутри тысяча анкет. Но мы с вами выйдем вместе. Мы не только выйдем вместе, мы еще войдем вместе в какой-нибудь рай. Сразу видно, у вас в карманах не только дырки, и вы угостите меня этими кроликами, то есть хорошенькими битками в сметане.

Рюрик Абрамович ласково обнял Лазика за шею.

— Конечно, конечно. Мы пойдем с вами в ресторан «Венеция». Там рябчики и пиво что надо.

Прикончив вторую птицу, Лазик сказал:

— Мерси. После этих кроликов я стал таким снисходительным, что я могу сейчас заплакать. Но если вы хотите, чтоб я исправил Карла Маркса, на это я ни за что не пойду. Я люблю бриться через день, а не сидеть на исправляющих занозах.

— Да что вы, что вы!.. Разве я разбойник? Я ведь только несчастный еврей из Крыжополя. Хотите еще птичечку? Соуску? Здесь дело литературное. Мы же почти земляки, и вы меня поймете. Мне нужно продать дворнику посуду. Вы из Гомеля, а я из Крыжополя. Это две кочерги. Но вы себе марксист, а я нетрудовой элемент, полный слез и несчастья. Чем я только не торговал. Я могу даже сказать об этом стихами, как ваш Пушкин: сахарин, и аспирин, и английский фунт, и изюм, и черт знает что. Меня восемь раз высылали: и минус шесть, и Нарым, и Соловки, и еще куда-нибудь, как будто я им Нансен, чтобы открывать Ледовитый полюс. Я все вытерпел. Но теперь — никаких дел. Можно сойти с ума от их понижения цен! Я потерял сто червонцев на одном коверкоте. Я не знал, что бы мне еще придумать. Я стоял на Петровке, как у иерусалимской Стены Плача. Если из меня не текли слезы, то только от воспитания. Вдруг выскакивает Фукс и говорит мне: «Издавай! Я издаю, и ничего — дает». Я, конечно, схватил его за шиворот: «Может быть, ты съел тухлую рыбу? Что я, государственный комитет, чтобы издавать?» А он смеется: «Ты же не будешь издавать какую-нибудь пропаганду. Нет, ты будешь издавать романы с парижскими штучками, и ты заработаешь сто на сто». Что же, он оказался не таким дураком, этот Фукс! Я уже все придумал. У меня есть название: издательство «Красный диван». У меня даже есть рукопись. Это такой роман, что я не могу читать его спокойно. Я его читал уже восемь раз, и все-таки я не могу успокоиться. Глаза у меня на лоб лезут. Ну и городок, скажу я вам, Париж! Вы сами прочтете. Сначала мальчик спит с девочкой. Хорошо, это и у нас в Крыжополе бывает. А потом мальчик спит с мальчиком, а девочка с девочкой, и каждый отдельно, и все вместе, и на двухсотой странице я уж не могу ничего разобрать, потому что это даже не кровать в семейном доме, а какая-то ветряная мельница. Я не знаю, может быть, и переводчик наврал, потому что это один эстонец, настройщик роялей. Он

понимал из десяти слов пять, и он даже сам сказал мне, что за сорок рублей не может понимать все слова, хватит с меня половины. Но разве в словах дело? Книга эта замечательно пойдет, верьте моему нюху. Я только боюсь взять ее и просто издать. Довольно с меня этих полярных прогулок! Я хочу, чтобы вы написали к ней настоящее марксистское предисловие. Я дам вам пятьдесят рублей. После вашей тонкой речи я знаю, что вы напишете предисловие, как последний дипломат. Идет? Вот вам авансик. Еще пивца? Кофейку?

Над предисловием Лазику пришлось прокорпеть не меньше, чем над памятной анкетой о кролиководстве. Одиннадцать раз перечел он рукопись и все же ничего не понял.

«Здесь Валентин взял трамвай, и он увидел Анжелику танцевать среди лимузинов. Тогда в нем пробудилась страсть к очертаниям, и он невольно отобрал у своего соседа теннисную ракету. Он сказал ему: «Ты ведь хочешь лежать со мной, после «Быка на крыше», среди леса в Булони или даже в ложе глухой привратницы?»

Лазик тихо стонал. Вот кто съел тухлую рыбу! Ну, пусть себе лежат на крыше или даже в глухой ложе: это их семейное дело. Но при чем тут ракета? Нет, кажется, легче размножать мертвых кроликов! Однако Ройтшванец был человеком твердой воли. Он решил дослужиться до бронзовых брюк, и он работал как вол. Через несколько дней он закончил краткое, но содержательное предисловие:

«Французский писатель Альфонс Кюроз, книгу которого мы торопимся преподнести пролетарскому читателю, не так прост, как это кажется с поверхностного виду. Под видом столкновений разных полов он на самом деле звонко бичует французскую буржуазию, которая танцует как сумасшедшая среди люстр и лимузинов. Валентин — типичный дегенерат, который, наверное, хочет нашу нефть и пока что эксплуатирует свую глухую привратницу. Положение угнетенного класса раскрыто автором хотя бы в таких словах этой якобы голосующей рабыни: «Господин,— промолвила она,— вытрите ноги, если это вам нравится». Сколько здесь раболепства под видом ложной свободы!

Конечно, Альфонс Кюроз шатается между двумя станами, и он не может никак стать на твердую

платформу. Мы знаем с точки зрения беспощадного марксизма, что он вполне деклассированный тип и содрогается на перепутье. Но талант подсказывает ему, что скоро уж не будет никаких очертаний, а теннис перейдет в мозолистые ладони бодрых пионеров. Когда падает в будуаре массивный таз, он символически вздрагивает и, пряча в комод грязное белье своего прошлого, невыносимо кричит: «Идет, он идет!» Наш пролетарский читатель усмехнется: да, он таки идет, новый хозяин жизни, и пора вам, мечущиеся Кюрозы, стать под великий флаг установленного образца!»

Легко понять, как дрожал Лазик, заканчивая это предисловие: он ведь хорошо помнил восемьдесят седьмую. Но вдохновение победило страх. Рюрик Абрамович прочел предисловие вслух, он прочел его с пафосом, брызгая слюной и жестикулируя.

— Что говорить, первый сорт! Представляю себе, как бестия Фукс будет мне завидовать...

Получив деньги, Лазик возгордился. Он пошел в «Венецию», выпил графинчик водки и начал хвастаться:

— Я все могу разрезать с марксистской точки. Даже пупок. Я прямо-таки гений, и мне смешно думать, что передо мной сидят какие-то живые люди, а не одна вечная память. Что, Фенечка, ты таки прогадала? Я вскрываю научно твой сиреневый капот и говорю — это шатанье между двумя платформами. Эй вы, Бетховен, играйте мне мелодию! А вы кто такой? Официант? Не знаю. Не знаком. Вы, может быть, Максим Горький? Одним словом, помогите мне встать, потому что у меня ноги не двигаются. Они уже, наверное, стали из бронзы.

Лазика повели в уборную. Позабыв о мировой славе, он виновато застыл над раковиной. Что делать — он ведь никогда не пил столько.

17

Две недели спустя Ройтшванеца уже знала вся литературная Москва. Он заходил как свой человек в редакции посидеть, поговорить, он требовал в издательствах авансы под различные труды, он выступал на диспутах. Все быстро привыкли к его непомерно маленькому росту и тонкому голосу, похожему на писк

мышки. Правда, никто не знал толком, чем он знаменит, но на всякий случай говорили: «Надо позвать и этого Ройтшванеца...» Когда Лазика спрашивали:

— Работаете?

Он гордо отвечал:

— Еще бы! Заканчиваю шестой том марксистской критики всяких очертаний.

Это вызывало благоговейный трепет одних, зависть других. Однажды Лазик сидел в Литературном клубе, поджидая оказии: вдруг объявится какой-нибудь новый Солитер. С ним заговорил очкастый субъект, все время надрывно зевавший:

— Скучный сегодня доклад...

— А когда он не бывает скучным? Это же вам не «Венеция» с мелодиями...

Очкастый усмехнулся.

— Вы — поэт? Прозаик?

— Я? Я марксист на седьмом томе. Да, не что-нибудь возле, но стопроцентный критик. А вы кто же?

— Я — ученый секретарь Академии.

Лазика передернуло: вот это номер! Наверное, ему платят все сто рублей за предисловие и вообще громовой почет. Как должны, например, кормить такого академического фрукта! Сплошными орхидеями. Почему же Лазик не может быть секретарем Академии? Это, вероятно, обыкновенный дом, если не на Лубянке, так на Петровке. А насчет учености не может быть речи. Более ученого, кажется, трудно себе представить. Мало учил его хотя бы товарищ Серебряков, уж не говоря о хедере?

На ближайшем диспуте «О современном языке» Лазик так начал свою речь:

— Я говорю не только как беспощадный критик, но как очень ученый секретарь самой главной Академии. Я знаю ваш могучий язык вдоль и поперек, и я скажу, что это только предсмертное скакание, потому что, когда волнуется классовый океан...

Кончить ему не удалось.

За одной бедой пришла другая. Рюрик Абрамович снова уехал открывать Северный полюс, и, разбирая дела издательства «Красный диван», нескромные люди заинтересовались автором патетического предисловия. После скандала на диспуте бдисты поспешили отступиться от Ройтшванеца, и литературная карьера Лазика кончилась следующим, не вполне литературным, разговором:

— Имя? Год рождения? Состоите на учете? Хорошо. Теперь объясните мне, кто вы, собственно говоря, такой?

— Я? Надстройка.

— Как?..

— Очень просто. Если вы база, то я надстройка. Я говорю с вами как закоренелый марксист.

— Знаете что, вы эти истории бросьте! Меня разыграть не так-то легко. Я вас насквозь вижу. Отвечайте без дураков, что вы за птица?

— Если птица, то филин. Как? Вы не знаете этой постыдной истории? Но ведь ее знает весь Гомель. Тогда я вам сейчас же расскажу. Два еврея разговаривают: «Что такое филин?» — «Рыба». — «Почему же она сидит на ветке?» — «Сумасшедшая». Так вот я скорей всего птица или рыба, одним словом, что-то сумасшедшее.

— Ах так!.. Прикидываетесь!.. Я, кстати, спец по части симуляторов. Здесь один прохвост был, продавал на черной бирже доллары. Так он, вроде вас, комедию затеял. Объявил себя собакой. На четвереньках ползал, лаял, даже заднюю лапу поднимал. Ну, я ему: «Что же, раз вы собака, то и говорить не о чем: собаке — собачья смерть!» Он мигом вскочил на обе ноги и как закричит: «Хорошо, я уже не собака, я — Осип Бейчик, и, пожалуйста, обращайтесь со мной по-человечески!» Итак, вы — рыба?

— Нет, я не рыба. Я вовсе не хочу плавать в какой-то холодной воде. Я попробовал говорить с вами возвышенно, как на самых шикарных диспутах, но если вам это не нравится, я могу говорить с вами просто. Кто я? Я — бывший мужеский портной. Все началось с брюк Пфейфера, а кончилось этими бронзовыми брюками. Меня раздавило величье истории. Я, например, три дня постился, а потом я встретил товарища Архипа Стойкого. У него росла борода не на месте, и он читал мне такие глупости, что услышь их последняя гомельская кляча, и та, наверное, сдохла бы от сухого сарказма. Тогда я подумал, если этот Архип Стойкий — великий писатель, почему же мне не влезть на готовый пьедестал? Я не виноват, если я ничего не понял в романе гражданина Кюроза. Вы тоже не поняли бы, и я даю вам честное слово, что даже китайские генералы здесь тоже ничего не поняли бы. А если я один раз и нализался в «Венеции», то это еще не

государственный порок. У нас в Гомеле говорят: «Человек, конечно, вышел из земли, и он, конечно, вернется в землю. Это вполне понятно. Но между тем, как он вышел, и между тем, как он вернется, можно, кажется, опрокинуть одну рюмочку». Я не помню, что я говорил там, в этой журчащей «Венеции», потому что меня там просто-напросто тошнило. Теперь я развенчан, как несуществующий Бог. Что делать, я не возражаю. Вы не хотите, чтоб я был новым Пушкиным, я не буду. Я снимаю с себя эти бронзовые штаны, и я прощаюсь с вкусными орхидеями. Я обещаю вам быть тише, чем стриженная под бобрик трава. Только не отсылайте меня к Рюрику Абрамовичу! У меня нет никакой шубы, а он теперь, наверное, не заказывает больше предисловия. Не пытайте злосчастного Ройтшванеца! Нет, лучше отпустите его на все пятнадцать сторон!..

18

К осени Лазик устроился. Он снова ел битки. Правда, в его новой службе не было ничего возвышающего душу, но, наученный горьким опытом, он больше не мечтал о мировой славе. Некто Борис Самойлович Хейфец получал из Минска контрабандное сукно. В обязанности Лазика входило разносить материал частным портным. За это он получал шесть червонцев в месяц. Конечно, в Москве было теплей, чем на Северном полюсе, но Лазик все время дрожал. Он нес сукно, как бедная мать подкидыша, прижимая его к груди и пугливо озираясь на щебечущих воробьев. Он даже завидовал Рюрику Абрамовичу — тот уже на месте, привык, может быть, оброс толстой кожей, как ледовитый медведь, а ему, Лазику, только предстоит эта лихорадочная экскурсия.

Единственным утешением Лазика были две соседки. Он встречал их иногда в коридоре или на лестнице, останавливался, благоговейно вздыхал и терял отрез сукна. Время взяло свое — он в душе изменял Фене Гершанович. Как-никак Фенечка была обломком отсталого продукта, а соседки Лазика работали в «Льняном тресте», ходили в театры со стрельбой и выражались научно; так, например, одна из них, столкнувшись в дверях с Лазиком, сказала: «Такие арапы зря занимают жилищную площадь...» Лазик влюбился сразу

в обеих, и это его несколько смущало. Он знал, что одну, пышную и розовую, зовут «товарищем Нюсей», а другую, остроносую брюнетку,—«товарищем Лилей». В кого же он влюблен, в Лилю или в Нюсю? Впрочем, этот вопрос занимал его абстрактно, так как он скорей согласился бы отправиться в гости к ледовитому Рюрику Абрамовичу, нежели заговорить с одной из прекрасных соседок.

Однажды вечером, вернувшись домой после трудового дня (Хейфец получил большую партию коверкота), Лазик увидал в дверях своей комнаты товарища Нюсю. Он тихо пискнул от восторга. Нюся первая заговорила:

— Почему вы все время на меня смотрите и не здороваетесь?

Лазик молчал.

— Вы что же—немой?

Тогда героическим усилием воли Лазик заставил себя заговорить:

— Нет, я не немой. Немая—это Пуке. А я—Ройтшванец. Но как я могу с вами говорить? О, если б я вас встретил раньше, когда я был кандидатом в Пушкины или хотя бы просто кандидатом! А что я теперь? Отпетый курьер вполне частного предприятия, то есть Бориса Самойловича. Вы же—бронзовое божество.

Нюся рассмеялась.

— Я не божество, а делопроизводительница, но комната у вас хорошая. Вы один ведь живете? Как только вам раздобыть удалось?

— Это—Борис Самойлович. У него удивительные связи. Но почему вы говорите о глупой комнате, когда вы даже не передовой отряд, а бронзовое очертание?

— Что вы к бронзе привязались? Я не из бронзы. Я, кажется...

Нюся не договорила, вместо слов она только повиляла своими не бронзовыми формами. Лазик зажмурился. Он еле-еле пролепетал:

— Какой сверхъестественный фейерверк!..

Нюся подошла к окну; тщательно осмотрела она скромную обстановку. Лазик не сводил с нее глаз: мираж, дивное видение!

Надо сознаться, что Лазик отличался чрезмерной восторженностью. Хоть Нюся и была женщиной дородной, красотой она никак не отличалась: нос картошкой, вместо бровей—белый пух, короткая толстая шея. Единственное,

чем могла она похвастаться,—это изобилие материала; рядом с Лазиком казалась она в ширину бушующим океаном, а в вышину небоскребом.

Молчание длилось довольно долго. Наконец Нюся сказала:

— Вы все еще на меня глаза пялите? Нравлюсь?

— О!.. О!..

Лазик не находил слов. Он размахивал ручками и прерывисто дышал.

— Нравитесь? Какое постыдное слово! Почему я не Пушкин? Почему я хотя бы не Шурка Бездомный? Я смеюсь, когда думаю сейчас о моих недавних сомнениях. Вы слышите, как я ужасно смеюсь?

Нюся только пожала плечами: Лазик ведь не смеялся.

— Вы не слышите?

Он громко крикнул:

— Ха-ха! Теперь вы слышите? Я смеюсь, потому что я сомневался в связи с этим товарищем Лилей. У нее же ничего нет, кроме носа. Она недостойна даже спать с вами в одной комнате. Когда я гляжу на вас со всех четырех сторон, в мои глаза летит электричество. Вы стоите сейчас над миром, как бронзовая...

— Тьфу! Снова бронза? Да вы попробуйте—я не холодная.

В голове Лазика пронеслось: Феня Гершанович, Шацман, корова, пигмей... Здесь надо быть действительно храбрым! Я же бодрый класс! Но как поцеловать ее, если она стоит? Влезть на табуретку! Смелей!.. В который раз Лазик пришпорил себя любимым назиданием: «Лезь, Лазик, лезь!» Он вскочил на табуретку. Сразу стал он высоким и дерзким. Тонкими ручками обнял он массивную шею. Он поцеловал Нюсю прямо в губы, как целовал этот нахальный Валентин свою парижскую Анжелику. Но здесь-то и произошло непредвиденное: у него закружилась голова, и под хохот Нюси он упал на пол.

Встать? Но ведь она смеется... Он не виноват. Он смело пошел в бой, и если он контужен, то это бывает с самыми безошибочными героями. Но она этого не понимает. Значит, лучше не вставать. Лучше лежать на полу, как будто он уже умер от нахлынувшего счастья.

— Хи-хи!.. Что ж вы не встаете? Расшиблись?

— Нет, я не расшибся, но я, может быть, окончательно умер от таких обжигающих чувств. Может

быть, перед вами лежит только холодный труп тореадора или даже Евгения Онегина.

Всласть насмеявшись, Нюся заставила Лазика встать. Преспокойно она сказала:

— Лилька и мне надоела. Лезет со своим носом куда не следует. Нельзя никого к себе позвать — сейчас же отобьет! А вы хоть ростом не вышли, но в общем ничего, сойдет. Словом, хотите, поженимся? Завтра с утра пойдем в загс, а после службы я перетащу мои пожитки. Будем жить вместе.

Вместо ответа Лазик упал на колени. Несвязно восклицал он:

— Вы слаще бананов! Вы бурлите, как сто Днепров! Когда я получу от Бориса Самойловича шесть червонцев, я куплю вам теннисную ракету. Я люблю вас, как ископаемый бог!

Нюся потрепала его по головке и, сказав: «Значит, до завтра»,— как благоразумная невеста былых времен, ушла к себе спать. Не до сна было Лазику. Забыв о строжайших постановлениях жилтоварищества, как тигр, метался он по комнате от страха, от страсти, от счастья. Он разговаривал сам с собой: «Лазик, ты понимаешь, что случилось? Ты жил тридцать два года как последний крот. Кто тебя вздумал бы поцеловать, кроме тети Хаси? А теперь ты стал счастливым любовником. Тебя можно показывать во всех театрах. Завтра ты войдешь в рай. Чем такая комната хуже ложи глухой привратницы? О тебе будут писать парижские романы. Рычи, Лазик, смейся, танцуй! Ты уже не рассыльный Бориса Самойловича, ты бык на последней крыше».

Утром Лазик презрительно отпихнул ногой пакет с коверкотом. Он заявил Борису Самойловичу:

— Сегодня я вообще не работаю. Я открыл себе высший план. Может быть, завтра я отнесу весь материал Сухачевскому, на эту дикую Шаболовку. Но сегодня я даже не хочу с вами разговаривать, потому что вы живете на земле с вашим собачьим коверкотом, а я порхаю среди сплошных очертаний.

— Что с вами? Вы с утра налакались? Или у вас грипп с осложнением?

— У меня любовь с осложнением. Завтра я к вам приду, но сегодня я женюсь, и не на обыкновенной женщине, а на приснившемся очертании.

В отделе записей Лазик держался с достоинством. Вот только никак не удавалось ему взять Нюсю под

руку, как он ни старался. Встать на стул в учреждении он счел неудобным, а Нюся ни за что не хотела присесть на корточки.

Я не стану рассказывать о том, как Лазик на тридцать третьем году своей жизни стал торжествующим любовником. Уже светало, когда он разбудил Нюсю, заговорил от полноты чувств:

— Ты знаешь, мы играли в Гомеле трагедию товарища Луначарского. Тогда я ничего не понимал. Я был слеп, как бронзовая крыса. Мне нужно было кусать герцогиню, но я только несознательно хрипел. Теперь я понимаю, что это за замечательная трагедия! Если бы я был настоящим классовым герцогом, я бы стал сейчас же кусать тебя от предпоследней вспышки. Но я не герцог, и я только хочу еще раз поцеловать эту не бронзу.

Нюся огрызнулась:

— Пошел к черту! Я спать хочу!

Утром Нюся встала, зевая, оделась, выпила чаю, а потом сказала Лазику:

— Ну, теперь идем в загс.

— Мы же вчера там были...

— Вчера! Вчера поженились, а сегодня разводиться пойдем.

Лазик присел на табуретку — здесь познал он первое счастье — и тихо заплакал.

— Нюся! Очертание! Почему же ты хочешь растаять? Я ничего не понимаю... Ведь мы не обязаны разводиться. Мы даже можем жить вместе до замогильных досок. У позапрошлых евреев есть такое правило, что, если молодые не спали вместе, они должны утром развестись. Это, конечно, насилье над свободной совестью, но это еще понятно. Зачем же люди женятся? Но разве есть такой закон, что если молодые спали вместе, то они обязаны утром развестись?..

— Надоел ты мне, пискун! Ну, спали! Кажется, встали. Хватит! Не буду же я с таким клопом каждую ночь возиться! У нас свобода теперь. Выбирай кого хочешь. А не пойдешь в загс, я и одна забегу — мне по дороге. Вот давай-ка лучше с тобой о комнате поговорим. Пополам ее не разделишь. А назад к Лильке я не могу. Я с ней из-за тебя поссорилась. И потом, она сказала, что сегодня тоже в загс пойдет с Гариным. Жить будут у нее. Ну, а ты мужчина, тебе легче устроиться. Значит, комната за мной. А свое добро

забирай, только сразу, чтобы не валандаться. Я этого не люблю. И в гости не вздумай ходить. Я в загсе четырнадцать раз была. Если все бывшие мужья начнут ко мне шляться — места не хватит.

Лазик тихонько высморкался.

— Я знаю, что я несчастен. Тетя Хася говорила, что я ударился головой о горшок. Когда у меня кончается мираж, ты говоришь о какой-то смешной жилплощади. Будь у меня Академия, я отдал бы тебе всю Академию. Прости, что я разбудил тебя ночью с моими театральными аплодисментами. Я сейчас иду бродить по миру, как подобает проклятому Ройтшванецу. На земле есть квадратные метры, и загс, и даже что-то не из бронзы. Но на земле нет счастья. Это только отсталое слово могучего языка.

Увидев Лазика, Борис Самойлович рассмеялся:

— Женились? Поздравляю!

— Дайте мне коверкот для Сухачевского и не трогайте моих наболевших мест. Я не только женился, я уже и развелся. Зачем вы мне дали эту жестокую жилплощадь? Лучше бы я спал на скамье бульвара! Я сейчас могу всех перекусать, как бешеный кролик. Я отрицаю ваш организованный мир! Вы хотите только червонцы. Она хотела квадратные метры. Я хотел что-то другое, о чем я с вами вовсе не буду говорить. Но я спрошу вас — кто же ничего не хочет? Кто хочет только гробовой любви и капельки веселых слез от чужого счастья?..

19

Лазик поселился у Хейфеца на кухне вместе со старой служанкой Дашей. Даша числилась тетушкой Бориса Самойловича, а Лазик его племянником. Ночами Лазик оплакивал свое короткое счастье. Днем же по-прежнему он разносил товар, получал деньги или чинил брюки Бориса Самойловича. Вы, пожалуй, спросите, почему Борис Самойлович не мог сделать себе новые из лучшего английского шевиота? Как будто брюки — это булавочная головка! Впрочем, Лазик хорошо знал, что такое брюки...

Жил Борис Самойлович сосредоточенно, как человек, преданный высокой идее. Он любил, например, индюшек или каплунов, но в квартире находился граж-

данин Тыченко, и Тыченко мог учуять подозрительный дух. Борис Самойлович ел суповую говядину. Он ходил в заплатанных Лазиком штанах.

— Ты, Ройтшванец, хоть одну ночь был женат, а я вот уже второй год, как обхожусь скомканными воспоминаниями. Сюда привести нельзя — Тыченко узнает: «Кто, почему, что это за роскошная жизнь?..» А пойти тоже опасно: вдруг попадешь на облаву. Марьянчик рассказывал, что в Никольском три голых датчанки изображают подводный телеграф, и всего червонец за телеграмму. Это же даром! У меня даже сердцебиение сделалось. Из дому вышел. Вернулся. Схватят — и крышка.

Как-то ночью Борис Самойлович привел Лазика к себе, закрыл дверь на ключ, посмотрел, не шляется ли по коридору Тыченко, и наконец вынул из-под грязного белья небольшую картину в пышной раме. Лазик увидел охотничью собаку, которая бесцеремонно разрывала юбку крестьянки. Борис Самойлович благоговейно зашептал:

— Видишь? Это мне Сапелов продал за десять червонцев. У Сапелова не только оружейный музей был, но и конский завод. Он прямо сказал мне: «Риск, что отберут, большой. Но если продержите это до конца — богатство. Иностранцы дадут не меньше ста тысяч, потому что это великая кисть. Это или Репин, или Рафаэль, или оба вместе. Вот и рискнул. Я даже не о деньгах думаю. Я гляжу тихонько по ночам и наслаждаюсь. Какое выражение юбки! Это — кисть! Ты хоть, Ройтшванец, ничего на свете не признаешь, но я тебе скажу, что есть, брат мой, замечательная красота.

Дни шли, полные опасностей. Лазик обходил портных. Иногда при виде ножниц и утюга просыпались в нем угрызения совести: «Зачем я променял это на какие-то скитания?.. Но что же мне было делать? Не я отобрал у себя вывеску и счастье. Поздно жаловаться! Теперь я мчусь, как бедный листик, гонимый столетним ураганом».

Червонцы Борис Самойлович выменивал на английские фунты и порой пересчитывал их; тогда Лазик должен был сидеть в уборной и отчаянно шуршать бумагой, чтобы сбить с толку Тыченко.

Пересчитав деньги, Борис Самойлович меланхолично вздыхал. Он шел в кухню на цыпочках и говорил прислуге:

— Тетя Даша, может быть, вы поставите мне простой пролетарский самовар?

— Ни девочек, ни пообедать в «Московской», ни послушать оперетку,—жаловался он Лазику.—Я же мученик! Я святой! После смерти я, наверное, не буду вянуть, нет, тогда я начну благоухать. Но пока что чем мне утешиться?

— Вы можете думать, например, что вы уже после смерти, и тогда вы можете благоухать вовсю, если для вас это утешение.

Но не так-то легко Борису Самойловичу утешиться. Он шептал:

— Ты понимаешь, болван, что весь их коммунизм — это только пломбированная чепуха?

— У нас в Гомеле говорят: одной селедки хватит и на десять человек, а большую курицу слопают двое. Это полная правда. Вы, конечно, любите кушать курицу, и я тоже люблю, и это все любят. Селедка во рту—другой разговор. А все вместе—это вовсе не ваш одинокий гнев, когда вы шуршите бумажками, но точная арифметика. Я это понимаю без всякой политграмоты, и мы с вами два ожесточенных класса. Всякий увидит, что вы—это мягкий вагон, а я—чересчур жесткий. Пока что нас везет один рассеянный паровоз. Но что будет завтра, я не знаю...

Как-то вечером, возвращаясь домой, Лазик увидел Бориса Самойловича, обмотанного башлыком; он почему-то прихрамывал.

— Где это вы упали, Борис Самойлович? Может быть, на шоссе Энтузиастов? Там таки скользко...

— Тише! Я уже не Борис Самойлович, я Оскар Захарьевич и хромаю с самого детства. Во-первых, держи этот сверточек. Только осторожней—здесь все мое будущее. А во-вторых, они сцапали Тыченко, и оказалось, что Тыченко вовсе не в партии, он работал вместе с Марьянчиком. Значит, это идет через Минск, и сегодня схватят меня. Если б еще в Нарым, я подумал бы. Но здесь пахнет процессом. Ройтшванец, я решил удрать в Лодзь. Там у меня племянник. Не как ты—настоящий. Бог даст, проживу. Только бы провезти этот сверточек. Теперь спрашивается, что тебе делать?

— Мне? Ничего. Я привык. Самое большее, что я могу сделать при данной ситуации, это пойти в парикмахерскую.

— Ты дурак, Ройтшванец! Ведь если я убегу, схватят тебя. Пойди доказывай им, что ты не племянник. Потом, кого видали с материалом? Тебя. Хочешь десять лет получить? Хочешь? Идиот! А что, если тебя расстреляют?

— Зачем же я стану заглядывать вперед, в мое кровавое будущее? Лучше я пойду и переменю на всякий случай белье.

— Постой!.. Знаешь что, я возьму тебя с собой. Ты перевезешь этот сверточек. А остальное устроится. Нас переправит Файгельсон из Минска. Ты еще сомневаешься? Но ты мало сказать идиот, ты дерево. Я тебя устрою в Лодзи.

— Я не понимаю, зачем мне бежать? Вы, конечно, спасаете вашего Рафаэля и беленькие бумажки. А что мне спасать? Если себя, то ради этого не стоит ехать в Лодзь, я спокойно могу умереть на Дорогомиловском кладбище. Если не себя, то кого? Мою бывшую супругу, или Тыченко, или, может быть, ваш неприступный сверток? Хорошо, у вас там племянник, но у меня там нет племянника, а вам я верю, как позапрошлогоднему снегу. У меня была тетя в Глухове, но ее уже нет. Зачем же мне бежать или хотя бы ускорять походку? И вот я все-таки соглашаюсь, и я бегу с вами впопыхах в вашу проклятую Лодзь. Я уже больше не стоячий гражданин, но одно скаканье и неизвестность. Я сам не могу остановиться. Бежим, Оскар, или Борис, или Репин с кистью, бежим! Мы — листики, а кругом ураганы. Но стойте — я плачу заядлыми слезами. Я прощаюсь с моей провалившейся молодостью. Я прощаюсь с Гомелем и с наперстком. Я прощаюсь с этим Иваном Великим и с табуреткой моей бывшей супруги. Я стою как вкопанный, я рыдаю, и я все-таки ничего не могу поделать с подобным землетрясением — я бегу, и бегу, и бегу...

20

— Посмотрим с тобой правде в глаза, Ройтшванец. Ты большой философ, и ты не дорожишь жизнью. Ты даже хотел немедленно умереть на Дорогомиловском кладбище. У тебя нет никого на свете. А у меня вот племянник в Лодзи. Я так не хочу умирать, что, когда я вижу на улице чужие похороны,

у меня начинает колоть в животе. Значит, сверточек должен взять именно ты. Если тебя схватят, что же, ты умрешь какой-нибудь интересной смертью. Но если ты провезешь этот сверток, я тебя озолочу. А ты его наверное провезешь. Ты же такой маленький, что тебя вообще никто не заметит. Потом, ты как-никак мой служащий, и ты обязан носить мои свертки.

— Я не говорю «нет», но я не могу петь над собой похоронный марш, потому что мне тоже хочется еще пожить, хотя бы один год, и у меня колет в животе, как будто я уже вижу свои собственные похороны.

Беглецы благополучно миновали пограничные посты. Завидев издали шапку польского жандарма, Борис Самойлович подозвал Лазика:

— Ну, теперь давай-ка сюда этот сверточек.

Лазик расстегнул брюки и вытащил заветный пакет. Отдавая его, он только спросил:

— А когда вы начнете меня золотить?..

Но Борис Самойлович ничего не ответил. Конфиденциально улыбаясь, протянул он жандарму одну из шуршащих бумажек.

— То, пане, лепший паспорт.

Жандарм решил поторговаться: мало; это с одного, а не с двоих. Тогда Борис Самойлович, недоуменно пожимая плечами, сказал:

— То не есть мой человек. Я его совсем не знаму, то есть, наверное, большевик. По морде видно, что то есть пся крев.

Лазика арестовали. Он не спорил, не защищался. Он только тихо сказал Борису Самойловичу:

— Я же говорил еще в Москве, что я вам верю, как позапрошлогоднему снегу. Вы можете кланяться от меня вашему дорогому племяннику, а потом золотить себя со всех сторон. Тогда вы станете таким красавчиком, что все польки устроят один беспроволочный телеграф. А Ройтшванец будет сидеть на заграничных занозах и думать, что нет на свете даже воровской справедливости.

Перед тем как приступить к допросу арестованного, ротмистр решил малость подкрепиться: он съел кусок копченой полендвицы и опорожнил графинчик «чистой». Хоть его ноги отяжелели, голова стала зато легкой, и, невинно гогоча от детского веселья, он приветствовал Лазика:

— Здравствуй, лайдак! Ты что же, червонный шпег?

— Я? Нет, я скорей всего горемыка Ройтшванец.

— Не прикидывайся глупцом. Какие планы ты хотел выкрасть, например, варшавские или виленские? Или, может быть, ты хотел замордовать самого дедушку Пилсудского?

— Он мне вовсе не дедушка, и я никого не хотел замордовать. Я даже не хотел замордовать этого Бориса Самойловича, хоть он обещал меня озолотить, а потом убежал вприпрыжку. Планы мне тоже не нужны, я не рисовальщик, и у меня нет кисти Репина. Одну ночь я, правда, провел в высшем плане с моей бывшей супругой, но это кончилось простой жилплощадью.

— Это же не человек! Это ясная холера! Здесь тебе не советская гноювка, чтобы молоть глупости. Отвечай, почему ты перешел в Польшу?

Лазик задумался. Ему было и впрямь трудно ответить на этот резонный вопрос.

— Скорее всего потому, что на меня подул задний ветер. Если у вас есть часок-другой времени, я, конечно, расскажу вам все по порядку. Началось это с глухонемой Пуке. Я был влюблен тогда в Феню Гершанович, а вы сами знаете, что любовь не простой овощ...

— Быдле! Так ты разговариваешь с польским офицером? Здесь тебе не Азия. У нас Париж. У нас Лига Наций. У нас в Вильне — шиковный университет. Мы Коперника родили. У нас роскошные кокотки в цукернях. Я тебе морду развалю! Отвечай по порядку: кто ты такой?

— Бывший мужеский портной.

— Ага! Кравец.

— Я вовсе не Кравец, а Ройтшванец, но у нас в Гомеле немало Кравцов. Один Кравец даже состоял комиссаром и давил тифозных блох, а другой Кравец готовил из венгерского скипидара пейсаховку, потом его, конечно, загнали куда теленок Макара не гонял...

— Помолчи, болван! Откуда ты родом?

— Я уже сказал вам, что я из самого Гомеля.

Ротмистр, утомившись, задремал. Разбудили его шаги вестового. Очнувшись, первым делом он крикнул:

— Еще едно бутэлька!.. Откуда ты, сукин сын? Из Хомеля. Вот так! Значит, ты поляк. Хомельщина — это же наши кресы. Стань во фрунт перед офицером,

старая шкапа! Ты паршивый жидентко, но ты поляк Моисеева закона, потому что эту Хомельщину мы у вас скоро отобьем. Вы все хомельские на самом деле поляки.

Ротмистр теперь дул водку из чайного стакана, Лазик глядел на него задумчиво и нежно.

— С вами же будет, как со мной в «Венеции», и здесь даже нет чашки. Вы говорите, что я поляк? Может быть. Я об этом еще не думал. Но я был ученым кандидатом Академии. Почему же мне не стать поляком? Вот с Пфейфером вам будет, наверное, труднее, потому что он упрям как осел, и потом он сейчас в польском Гомеле, а вы еще здесь. Он может сказать, например, что он не поляк, а гневный член ячейки. Я же стою здесь, и я не спорю. Поставим десять точек и скажем, что я полнокровный поляк...

Ротмистр больше не слушал его. Он гаркнул:

— Встань, холера! — хоть Лазик и до этого стоял.— Встань и пой наш богатырский гимн «Еще Польска не сгинела, пуки мы жиемы»!..

Здесь-то Лазик прервал пение отчаянным возгласом:

— При чем тут Пуке?..

— Молчи, стерва! Ты ликовать должен, бить в бембены, дуть в тромбы, ходить на голове, а ты еще пищишь что-то. Я из твоей морды компот сделаю! Я тебя выкину в окошко! Ты у меня будешь на бруке лежать!..

Лазик вздохнул.

— Снова брюки? Но эти суконные близнецы преследуют меня до самого гроба!..

— Я тебя в козе загною! Ты у меня узнаешь, что такое Речь Посполита! Это тебе не червонный навоз!

— Я уже узнал. Мне, кажется, пора идти на посполитные занозы, а вам не мешает поискать, где здесь какая-нибудь удобная чашка, не то вы испачкаете мое дорогое признание, которое вы записали на этом роскошном листе. Я сам вижу, что я не у себя в Гомеле, а в замечательной Речи. Правда, там меня спрашивали о кубических метрах безответного отца, зато вы хотите сразу варить из меня какое-то сладкое блюдо. Рожайте же ваши шиковные цукерни и отбирайте у меня хоть сто Пфейферов, но теперь закончим этот певучий монолог.

Тогда ротмистр, поднатужась, встал, отвесил еще одну затрещину и, видимо, покоренный красноречием

Лазика, пошел разыскивать укромное место. Лазика отвели в камеру.

Через несколько дней его перевезли в Гродно. Там он подвергся новому допросу. Офицер, допрашивавший его, был отменно вежлив, он даже сказал «пане старозаконный», и Лазик в умилении воскликнул:

— Нельзя ли, чтоб меня всегда допрашивали утром, когда господа ротмистры пьют кофе с молоком, а не эту «чистую»?

Ротмистр ничего не ответил. Он только деликатно прикрыл рукой рот. Что делать — он любил иногда схватить натощак склянку хорошей сливовицы.

— Итак, вы сами сознались в том, что нелегально перешли границу для преступной пропаганды среди якобы белорусских крестьян.

— Он, наверное, не нашел чашки, тот первый ротмистр, он испачкал лист, и вам показались ненаписанные буквы. Я сознался только в том, что меня зовут Ройтшванец и что я полнокровный поляк. О крестьянской пропаганде и о якобы мы даже не разговаривали. Мы говорили о самых различных вещах, например, о том, что можно взять и замордовать дедушку Пилсудского или украсть целое Вильно со всеми его планами, но о крестьянах пан первый ротмистр даже не заикался.

— Значит, вы отказываетесь от своих собственных показаний? Теперь вы утверждаете, что вы поляк?

— Положим, это утверждаю не я, а вы или даже ваш родимый товарищ по профсоюзу. Он ведь сам сказал мне, что Гомель — это полнокровная Польша, а я только пархатый Моисей польского закона.

— Конечно, Гомель — польский город. Мы были там, и он принадлежит нам по праву.

Лазик оживился.

— Вы были, пан ротмистр, в Гомеле? Это город высший сорт! Не правда ли? Один парк Паскевича красивей всех кисточек Рафаэля. А театр, что он, плох? А Сож, чем это не показательное море? Таких деревьев, как в Гомеле, я еще нигде не видел, и таких женщин я тоже не видел, потому что если сравнить теперь с исторической высоты Фенечку Гершанович и Нюсю, временно Ройтшванец, то сравнение не выдержит. Но зачем я говорю вам об этом, когда вы сами были в Гомеле? Интересно, где вы там останавливались? Если в первой коммунальной гостинице, то, конечно,

там отборное положение, так что можно с балкона глядеть на всех проходящих знакомых, но зато там нахальные клопы.

— Вы меня не совсем поняли. Я лично в Гомеле никогда не был, но мы, поляки, были в Гомеле, следовательно, морально он наш.

— Вы такой симпатичный, пан ротмистр, что мне хочется сделать вам цветочное подношение. Вы не кричите мне, что я, скажем, старый шкап, и вы держите ваши руки всего-навсего в положенных карманах. Так послушайте — я разводил в Туле мертвых кроликов. Это очень красивый город с сокращенным штатом. Что же, в Туле тоже был один поляк, я даю вам честное слово. Он заведовал в коммунальном отделе постыдными бочками, и он приходил к нашей курьерше Дуне, и он все время причмокивал: «Что это у вас, коханый товарищ, за божественные перфумы?..» Дорогой пан ротмистр, вот вам еще один город. Это не шутка! За пять минут вы неслыханно разбогатели. У вас Хомельщина, у вас Тульщина. Напишите открытку Рюрику Абрамовичу, и он, наверное, подарит вам всю Нарымщину. Тогда вы станете целым полушарием. Я же вас попрошу только об одном: отпустите меня на свободу! Вдруг я попробую сшить какому-нибудь польскому Моисею костюм из его материала. Я все-таки устал сидеть на занозах, у меня сзади уже не Ройтшванец, но полное решето.

— Увы, я не могу отпустить вас. Вы советский шпион, и вас можно присоединить к любому делу, например, к заговору во Львове, к бомбам в Вильне, к гродненским прокламациям, к подделке печатей в Лодзи, к покушению на маршала в Кракове, к складу оружия в Люблине...

— Умоляю вас, остановитесь! Я же знаю, что у вас много городов. Такой походкой вы дойдете сейчас до Тулы. Но я не хочу, чтоб меня присоединили. Я уж присоединился к вам, и я полнокровный поляк. Если вы встанете, я сейчас же спою вам богатырский гимн «Еще Пуке не сгинела...» Я хочу сам родить нового Коперника! Я хочу, наконец, поглядеть на этих цукерных кокоток!..

Лазик просидел в тюрьме четыре месяца. Из Гродно его перевезли в Вильно, из Вильно в Ломжу, из Ломжи во Львов. Не без гордости говорил он другим арестантам:

— Вы — быдло! А я пан ученый секретарь. Я же открыл эту Польшу, как новый Нансен. У меня теперь внутри уже не потроха, но один посполитый план с полной карточкой сильных напитков. Но я не унываю. Я уже успел заметить, что у вас здесь еще теснее, чем у нас. Шутка ли сказать, когда у вас и кресы, и Лига Наций, а на каждую нару приходится десять штук полнокровных поляков. Я хоть Мойсей незначительного роста, но я все-таки занимаю свои квадратные метры, а паны ротмистры все время устраивают буйные заговоры. Значит, настанет день, когда меня выпустят и я ударю с размаху в бембены.

21

Наконец Лазик попал в Варшаву. Двенадцатый ротмистр любезно сказал ему:

— Скоро мы вас вышлем из Польши.

Лазик вздохнул освобожденно.

— Слава Богу! Вы таки недаром родили Коперника! А что вы собираетесь выкинуть: обмордование пана Пилсудского или просто восстание сотни-другой виленских галичан? Впрочем, это я спрашиваю из голого любопытства. Мерси, пан ротмистр, мерси! Я вот все время сижу на занозах и думаю, что у вас здесь за удивительная свобода! Я ведь объехал уже десять тюрем, и я могу сказать, что это не страна, а детский праздник. Я понимаю, что вы пана Пилсудского зовете дедушкой. Глупое родство здесь ни при чем. У меня дядя Борис Самойлович, но куда ему до пана Пилсудского! Как у вас дышится самой полной грудью! Стоит только сказать последнему быдле не такое точное слово, как его поправляют на государственный счет. А что у вас за пышные окраины! У других на окраинах один невыметенный сор. Преступник Архип Стойкий говорил мне, что у нас на окраинах живет сумасшедшая мордва и она даже кричит по-мордовски. А у вас и в Гомеле одни поляки. И все они, конечно, поют, чтобы не сгинуть. Я понимаю, что стоило, как сказал мне седьмой пан ротмистр, двести лет умирать, чтобы получить такую неслыханную свободу.

Ротмистр умилился.

— Это хорошо, что вы оценили нашу свободу. Польша, как и во времена великого Мицкевича, умеет

завоевать даже самые черствые сердца. Теперь, через месяц-другой, мы вас вышлем. Вы очутитесь на свободе в какой-нибудь несвободной стране. Там-то вы вспомните о польской дефензиве. Вы вдохновенно скажете: «Речь Посполита не только очаг свободы, это и оплот правосудия».

После столь патетической речи ротмистр в изнеможении закрыл глаза и предался приятной дремоте. Лазик не торопился возвращаться в камеру, он решил продлить беседу:

— Я хочу сейчас рассказать вам одну историю о мелком скоте. Хоть я и не слышу вашего благородного дыханья, пан ротмистр, я уже понимаю, что вы не пьете ни зубровки, ни старки, ни «чистой», ни даже сливовицы. Вы, наверно, все думаете о какой-нибудь Лиге Наций. Так вам будет занятно послушать эту старую историю. Когда я был еще не поляком Моисеева закона, а только обыкновенным евреем из неустановленного Гомеля, я учился в хедере, и там мне рассказали этот веселый факт. Вы, конечно, знаете об Александре Македонском. Он был самым главным маршалом. Кто-нибудь его, наверное, да родил, как вы Коперника. Так вот этот Александр Македонский ездил по всему свету, вроде меня, и он попал в гости к дикому царю. Можете себе представить разницу между Александром Македонским и каким-нибудь сплошным дикарем! На одном, наверное, был пышный мундир, вроде вашего, а на другом — хорошо если штаны из последней бумажной дряни. Александр Македонский попал прямо на суд, и дикий царь перед ним допрашивал своих дикарей. Видите ли, один дикарь купил землю у другого дикаря, он хорошенько порылся и нашел там сверточек, может быть, с английскими бумажками. Спрашивается, кому принадлежит этот сверточек: тому, кто продал землю, или тому, кто ее купил? Дикарский царь говорит:

«У тебя есть, может быть, сын?»

«Есть».

«А у тебя нет ли, кстати, дочки?»

«Есть».

«Тогда ты женишь своего сына на его дочке, и сверток вы отдадите молодым».

Александр Македонский услышал это, и он стал в изумлении пожимать плечами: что за дикарские вы-

думки? Они же не знают настоящего правосудия! Тогда дикарский царь спрашивает его:

«А разве в твоей великой стране суд поступил бы иначе?»

Здесь Александр Македонский так расхохотался, что у дикарей лопнули все дикарские перепонки. Вот, кстати, я хотел бы послушать, как смеется пан Пилсудский. Это, должно быть, тоже сильная музыка. Но все-таки я думаю, Александр Македонский смеялся еще почище. А когда ему надоело смеяться, он сказал дикарскому царю:

«У нас? Но у нас нет таких дикарей, как, скажем, ты. У нас обоим отрубают на всякий пожарный случай головы. Может быть, они устраивали заговоры или вообще швыряли бомбы. А сверточек? Сверточек берут в государственный банк, потому что деньги всегда пригодятся, если нужно каждый день резать головы и еще содержать шикарную свиту».

Ну, тогда настал черед пожимать плечами дикарскому царю. Он не умел так смеяться, как Александр Македонский: для этого нужно иметь настоящее государство, вот как у вас, с шиковным университетом. Нет, дикарский царь только кротко спросил Александра Македонского:

«Скажи, а в твоей великой стране солнце светит?»

«Еще бы! Когда на небе солнце, то оно светит».

«А дождь в твоей великой стране идет?»

«Что за вопросы? Когда идет дождь, тогда он идет».

«А есть в твоей великой стране мелкий скот?»

«Дай бог тебе столько мелкого скота, сколько в моей стране».

Задумался дикарский царь, а потом говорит:

«Знаешь что, Александр Македонский, если в твоей великой стране еще светит солнце и еще идет дождь, то это только ради мелкого скота».

Хорошенькая история, пан ротмистр? Но почему вы так смотрите на меня? Вы же не Александр Македонский! Ой, пан ротмистр, что у вас за кулак! Это настоящая артиллерия! У вас кулак, как у пана ротмистра номер шесть. Я тоже рассказал ему один старозаконный факт, а он ответил мне кровавыми бембенами. Еще два-три пана ротмистра, и от Ройтшванеца вообще ничего не останется — только один синяк верхом на занозах.

22

С тринадцатым ротмистром Лазику довелось беседовать в Познани. Войдя в кабинет, он весело представился:

— Я тот самый Ройтшванец. Сегодня чудесное утро! В этой тюрьме не слышно воробьев, но сегодня они, наверное, поют, как звезды в оперетке, потому что это международная весна. У нас в Гомеле сейчас тает могучий лед, Пфейфер, конечно, ругается, потому что у него дырявые галоши, а Феня Гершанович швыряет улыбки, как первая любовь, хоть рядом с ней Шацман или даже не Шацман. Что же на свете лучше такого дня!.. Я очень рад с вами познакомиться. Правда, вы не первая любовь, вы тринадцатая любовь, но это счастливое число, это чертова дюжина.

— Преступный москаль, ты должен плакать, а не шутить. Только что я подписал приказ о твоей высылке, и завтра ты должен покинуть нашу прекрасную Польшу.

Здесь с Лазиком случилось нечто невообразимое: от радости он совсем потерял голову. Он прыгал из угла в угол, жужжал, как шмель, бил себя по злосчастным местам ладошами; наконец, вспомнив уроки киевского паразита, он стал танцевать перед растерянным ротмистром настоящий фокстрот.

— Ты взбесился?..

Но Лазик не мог вымолвить ни одного слова. Он только продолжал издавать трубные звуки. Тогда, всполошившись, ротмистр вызвал врача:

— С арестованным от душевного потрясения сделались страшные судороги. Это, может быть, пляска святого Витта или апоплексический удар? Как тяжело глядеть на страдания человека, будь то даже большевистский злодей!

И добрый ротмистр, вынув большой фуляр, трагически высморкался. Доктор осмотрел Лазика.

— Покажите язык. Говорите «тридцать три». Дышите. Я думаю, пан ротмистр, что это не так опасно. Я пропишу ему касторки и шестимесячный курс водолечения.

Услыхав это, Лазик мигом присмирел.

— Я выпью хоть бочку касторки, пан доктор, но разрешите мне лечиться где-нибудь за границей. Честное слово, я найду воду и в другой стране, это же не такая редкость.

Ротмистр не выдержал: он заплакал.

— Как это ужасно! Он мог бы еще шесть месяцев провести в польской тюрьме, и вот он должен завтра уехать. Сколько на свете горя! Я гляжу на него, и мое сердце рвется на части. Дайте ему, пан доктор, хотя бы касторки, чтобы он не умер в пути от разрыва сердца. Почему ты не плачешь, разбойник? Облегчи себя слезами. Подумай, завтра взойдет солнце, на улицах будут гулять прекрасные панны, в графинчиках будет играть всеми цветами радуги наша знатная перлувка, даже за тюремной решеткой будет журчать певучая речь, а тебя в это время повезут куда-нибудь в угрюмые страны...

Лазик забеспокоился.

— Что вы называете «угрюмыми странами»? Северный полюс? Или Румынию?

— Тебя вышлют на ближайшую границу. Пей касторку! Молись Богу! Рыдай! Завтра утром...

— Утром...

Лазик опять издал неподобающий звук.

— С тобой начинается снова припадок?

— Да нет же, пан ротмистр. Как говорил ваш самый первый родоначальник, я только дую в тромбу. Будь у меня монета, я бы выставил вам на радостях бутылку этой знатной перлувки.

— Безумец! О какой радости ты говоришь? Если бы у меня было черствое сердце, я бы радовался: вот еще один азиат покидает нашу святую землю! Вот мы вытряхиваем прочь еще одного большевика, татарина, москаля, насильника, палача, варвара! Не забывай, что вы сморкались двумя пальцами, когда у нас жил Сенкевич. Да, я бы мог радоваться. Но ты должен бить себя горестно в грудь. Или ты сумасшедший, и тогда мне придется подвергнуть тебя медицинской экспертизе.

— Нет, не подвергайте! Лучше я выпью касторки. Я ударю себя в грудь. Я бы вам объяснил, почему я дую, я только боюсь, не занимаетесь ли вы по утрам гимнастикой. Нет? Вы по утрам пишете доклады? Вот и чудесно. Тогда я расскажу вам, в чем дело. Когда я связываю пожитки, у меня моментально развязывается язык. Начнем с фараона. Это был один высокий чин, который сидел наверху, а внизу евреи строили пирамиды. Он щелкал бичом, а они должны были строить. Скажем, что они были Мойсеями фараонова

закона, хотя Мойсея тогда не было, и когда Мойсей оказался, они решили: сколько же можно строить, ну, десять пирамид, хватит, и они ушли пешком из Египта. Здесь началась дискуссия. Одни говорили, что евреи радовались, удрав из Египта, хоть им и пришлось кушать какие-то мелочи с неба, а другие уверяли, что радовался фараон, потому что с евреями, как вы сами знаете, уйма хлопот, надо их громить, или вешать, или бесплатно кормить в тюрьме певучими разговорами. Вот тогда-то нашелся умник, который сразу осветил момент. Он так сказал: «Когда едет тучный человек на маленьком ослике, ему неудобно и ослу неудобно, а когда они приезжают, то оба рады. Но вот вопрос: кто больше радуется, всадник или осел...» Значит, мы можем оба радоваться. Вы спрячьте ваш плачевный платок и перестаньте сморкаться, как Сенкевич. Танцуйте лучше фокстрот. Ведь это радость — избавиться от подобного Ройтшванеца! Но что касается меня, я все-таки думаю, что еще больше радовался осел...

На этом кончилась беседа между Лазиком и познанским офицером. Я не стану описывать последующего. Достаточно сказать, что тринадцатый ротмистр подвел Лазика: по утрам он не только писал доклады.

23

Сначала Лазик обрадовался: ему показалось, что все кругом говорят на еврейском языке, только слегка испорченном. Он даже шепнул в восторге начальнику станции: «Вус махт а ид?» — но тот так мрачно гаркнул, что Лазик поспешил скрыться. Внимательно всматриваясь в лица, он бродил по местечку:

— Наверное, здесь живет какой-нибудь Мойсей немецкого закона.

Действительно, вскоре он увидел недвусмысленный нос. Радостно подбежал он к его владельцу.

— Я таки нашел вас! Здравствуйте, здравствуйте, как вы здесь живете, и да пошлет вам Бог все двенадцать сыновей, чтобы было кому сказать хорошенький «Кадиш» на вашей близкой могиле! Вы, конечно, должны помочь мне, потому что вы еврей и я еврей, и до свидания в будущем году в Иерусалиме. Мне нужно несколько плевых марок, чтобы доехать до Берлина и, понятное дело, закусить. В Польше я успел

проголодаться. Подумайте, у вас, наверное, были родители, и их, наверное, уже нет. Я буду всю жизнь за них молиться. Но если вам мало моих набожных слез, я могу вам сшить, например, галифе защитного цвета. Я могу даже...

Господин Розенблюм строго оборвал Лазика:

— Я вас понимаю только потому, что живу недалеко от границы. Однако я не иудей, я настоящий немец. Конечно, я исповедую мозаизм, но это мое частное дело. Для заупокойных молитв я уже нанял одного человека, и я не так богат, чтобы за моих дорогих родителей молились двое. Я не ношу никаких галифе. Меня одевает портной Шпигель, который одевает также всех господ советников коммерции и даже господина фон Кринкенбауэра. Но если вы укоротите мое зимнее пальто, перелицуете костюм, выгладите весь гардероб и почините детские костюмчики, я дам вам пять марок, хоть вы восточный иудей, полный холеры, тифа и большевизма. Я дам вам пять марок, потому что вы тоже исповедуете мозаизм.

— Вот мы и спелись! Я так кладу заплаты, что люди видят за сто верст, и они кричат от восторга. А что касается родителей, то для такого коммерческого советника одного молельщика мало — надо двоих. Ведь я могу биться об заклад, что их было двое — ваших родителей, а не один. Я, например, выберу вашу безусловную маму. Одним словом, мы поймем друг друга. Главное, что вы частный мозаист, а остальное ерунда, это детский костюмчик...

Важен почин: Лазик прожил в местечке десять дней, перелицовывая, латая, укорачивая. Он прямо заходил во двор.

— Ах, вы тоже исповедуете?.. Что же вам такое укоротить?

Наконец все брюки были укорочены и залатаны. Лазик кое-как добрался до Кенигсберга. Увидев памятник Канту, он загрустил.

— Гомельское счастье! Что мне делать с ним? Не укорачивать же. А найди я его тогда в клубе Харчсмака! Как бы обрадовался товарищ Серебряков, если б я сразу изъял такую каменную осетрину. Впрочем, о чем теперь говорить? Я должен либо закусить какой-нибудь крошкой хлеба, либо немедленно умереть.

Он остановился у витрины колбасной и, захлебываясь слюной, прошептал:

— Какая красота! Какая кисть!

Но хозяин прогнал его.

— Не занимайте места! Здесь покупательницы привязывают такс.

Он хотел перейти на другую сторону улицы, но полицейский строго прикрикнул на него:

— Вас мог раздавить автомобиль. Сегодня здесь нет автомобиля, но вчера вечером проехало два. Вы не имеете права рисковать вашей жизнью.

Он присел на скамейку парка, но тотчас же вырос из-под земли неутомимый сторож.

— Это только для кормилиц и для слепых или полуслепых солдат.

Тогда Лазик уныло вздохнул.

— Я, кажется, схожу с ума.

— По средам и пятницам с девяти сорок пять до десяти тридцать бесплатные консультации в городской лечебнице.

Он разыскал в толпе носатого господина.

— Остановитесь с вашим мозаизмом! Я тоже, и я еще ничего не ел!

Носатый оттолкнул Лазика.

— Синагога помещается на Викториаштрассе, семнадцать, а торговля кошерным мясом на Шиллерштрассе, одиннадцать; нищенствовать запрещено постановлением полицей-президиума от шестого июня тысяча восемьсот восемьдесят девятого года.

Лазик крикнул:

— Я хочу сейчас же лечь в готовую могилу!..

Тогда из толпы вынырнул какой-то субъект и, протянув ему карточку, быстро проговорил:

— Продажа кладбищенских участков всех исповеданий с серьезной рассрочкой.

Наконец Лазик свалился без чувств на мостовую. Над ним наклонился высокий мужчина с мутными опаловыми глазами и коротко остриженными усиками:

— Эй, вы, упавший... В чем дело?.. Вы задерживаете движение. Вы акробат или у вас эпилепсия?

Не получив ответа, он пихнул ногой Лазика. Тогда раздался слабый писк:

— При чем тут акробаты? У меня только сильный аппетит после певучей речи. Будь у меня деньги на серьезную рассрочку, я сейчас же лег бы в загробный участок.

Высокий мужчина внимательно оглядел Лазика.

— Лежать на тротуаре запрещено. Вот вам десять пфеннигов. Зайдите в ту булочную и купите хлебец. Вы съедите его потом на темной улице. Я жду вас у остановки трамвая. Здесь стоять нельзя — это задерживает движение. Живее!..

Последнее было излишним — несмотря на слабость, Лазик рысью помчался в булочную.

— Где же хлеб? В кармане?

— Увы, нет! В кармане только дырка. А хлеб по соседству — уже внутри.

— Беспорядок. Десять пфеннигов — мои. Вы обязаны меня слушаться. У меня — серьезные планы. Я могу обеспечить ваше будущее. Что вы умеете делать?

— Все, что хотите. Я кладу, например, такие заплаты, что их нельзя ни с чем спутать. Когда я в Гомеле залатал брюки Соловейчика, все узнавали его только по моей работе. Он еще шел по базарной площади, а уже возле вокзала кричали: «Идет заплатка Ройтшванеца!»

— Лишено смысла. Должны быть незаметны. В Кенигсберге шесть фирм. Больше вы ничего не умеете делать?

— То есть как это «ничего»? Я же сказал вам, что я все умею, я умею даже размножать мертвых кроликов.

— Лишено вдвойне. Кроликов здесь не едят. Свинину и телятину. Из дичи, например, заяц или коза.

Булочка была крохотной, Лазик завопил:

— Остановитесь, как будто вы задерживаете движение! Если вы размножаете зайцев, я тоже могу, только дайте мне вперед какой-нибудь хвостик или крылышко козы.

— Ошибка. Не размножаю. У меня лучший аптекарский магазин города Кенигсберга и всей Восточной Пруссии. Поставщик бывшего его высочества. Подберите при имени живот! Я обслуживаю достойные семьи. Меня вы можете называть просто «господин доктор Дрекенкопф». С размножением здесь вам нечего делать. Размножаем только немцев. Будущих солдат бывшего его высочества. Демократы и прочие изменники по два на чету. Национально мыслящие по шесть или по восемь. Бывает двенадцать — медаль. Я, увы, воздерживаюсь. Как патриот —

хочу, как владелец аптекарского магазина — связан духовными обязанностями. Я ведь должен живым примером рекламировать мой товар. Итак, вы ничего не умеете делать. Кто же вы такой?

— Я — ученый секретарь.

— Ученый? Химия? Газы? Анилин? Инженер? Дороги? Мосты? Архитектор? Железобетон? Клозеты?

— Нет, я ученый с другой стороны. Я, видите ли, немного спец насчет могучего языка.

— Филолог? Наверное, санскрит? Лишено втройне. Знаете малайский? Ацтекский? Зулусский? Тогда поезжайте в Гамбург. Предстоит торговля. Еще пять лет — у нас будут колонии...

— Не думайте, господин доктор Дрекенкопф, что в этой булочной мне дали, скажем, свиной окорок. Это был хлебец не больше ваших наследственных часиков. Я даже не успел его хорошенько обнюхать. А после такой голодной предпосылки вы говорите «ацтек». Это же полное истязание! Ну, откуда я могу знать какой-то малайский язык, когда я сам из Гомеля? Языки? Я знаю кучу языков! Я знаю, например, как евреи говорят в Гомеле, как они говорят в Глухове и как они говорят в самой Москве. Это, правда, не санскрит, но это три могучих наречья в одном союзе. Потом я знаю польский язык. «Пане Дрекенкопф, вы таки бардзое быдло». Это ведь не язык, это сплошная певучесть! Я знаю, наконец, немецкий язык, и если я сейчас говорю не так, как вы, или как он, или как господин Гинденбург, то только потому, что я с детства был неслыханным оригиналом. Но разве это не замечательно звучит: «Господин доктор, ир зонд а замечательный хохем»? Кажется, сам господин Гинденбург не сказал бы лучше.

Господин Дрекенкопф молчал. Его лицо выражало душевную борьбу: опаловые глаза отливали радугой, а усики судорожно подпрыгивали. После долгой паузы он заговорил:

— Раздвоение личности. Интересно для чистого разума. Не кольдкрем, но психоанализ. Развивая коммерцию, я тоже служу отечеству. Его высочество поняло бы. Оно ведь покупало свечки в задний проход и ревень. Подберите, кстати, живот! Вы — еврей. Следовательно, вас надо прогнать. Сообщить в полицей-президиум. Настаивать на высылке. Вы предали бело-красно-черный ради желто-красно-черного. Это неслы-

ханно! Это потоп! Это покушение на нашу расу! Вы, наверное, родственник Вирта, Вильсона, Гейне. Кузен. Отобрать у вас десять пфеннигов. Дать лучшее рвотное из моего магазина. Дело нескольких минут. Стоп! Куда вы бежите! Я еще ничего не даю вам. Я только размышляю вслух. Как Кант. Как его высочество. Подберите!.. Это одна половина. Другая: у меня имеется план. Вы — находка. Во всем Кенигсберге нет такого выродка. Вы весите, наверное, сорок килограммов. Не больше. Дегенеративный рост. Метр тридцать. Не больше. Можете сойти за восьмилетнего ребенка. Преждевременная старость. Вы же уникум! Я колеблюсь. Моя душа рвется на две части.

Лазик трусил рядом и дрожал: какой же он страшный, этот доктор! Если он даже даст заячий хвостик, этим еще не все сказано, когда он только что хотел взять назад несчастную булку. Откуда я знаю Вирта? И если у него рвется душа — пусть, только чтоб он меня не рвал!..

— Решено. Я прощаю вам ваше проклятое происхождение. Я беру вас. Двадцать марок в неделю. Деньги вкладываю еженедельно в банк на ваше имя. Контракт на один месяц. По истечении этого срока банк выдаст вам всю сумму. Питаться вы будете у меня. Предупреждаю — строгая диета. В день один сухарь, два стакана молока. Необходимо предотвратить увеличение в весе. Вы должны сохранить в глазах томность. Изредка падать без чувств. Зато через месяц вы получите восемьдесят марок. Вы сможете съесть хоть сотню свиных котлет. С капустой или с картошкой. Или даже с яйцом. В сухарях... Вкусно? Согласны?

Тогда Лазик проговорил, нет, он прорычал:

— Но ведь это в сухарях через месяц!..

— Если мы подпишем контракт, я разрешу вам на сегодня отступление от диеты. Вы получите кусок колбасы и яблочное пюре.

— Хорошо. Я уже подписываю. Зачем моей душе вперед рваться на части? Я ведь все равно хотел лечь в рассрочку. Конечно, с одним сухариком я обязательно умру, но пока что я съем кусок колбасы и это нечто из яблок. Скажите мне только, господин доктор Дренкенкопф, от какой болезни вы хотите меня лечить и что это у вас за сострадательные привычки?

— Лечить? Не собираюсь. Я — доктор философии. Я развиваю коммерцию. Германия — первая страна

в Европе. Но она отстала от Америки. Мы должны совершенствоваться. Развитие воли и разума. Основной двигатель торговли — реклама. К сожалению, не применяется в аптекарских магазинах. Кант написал о чистом разуме. Его высочество огласило письмо к инвалидам. Я скажу: пузырь для льда, клистирная кружка, даже скромный горчичник ничуть не хуже мельхиоровых подносов или самопищущих перьев. Это вещи в себе. Их можно возвысить до абсолюта. Необходима только реклама. Весной я рекламировал клизмы. Я выставил груду камней: пища. Точная таблица: мясо — столько-то, хлеб — столько-то. Мы глотаем камни. Люди ленятся, боги ленятся, ленятся кишки. Да здравствует промывание! Электрические лампочки освещали весь путь от глотки до прохода. По стеклянным трубочкам струилась вода. Все, что задерживает движение, должно быть устранено. Громкоговоритель ревел: «Я промываю, ты промываешь, его высочество промывает». Ну, живо подберите!.. Теперь я хочу рекламировать рыбий жир. Вы ребенок, которому давали подделки. Вилли употреблял только исландский жир моей марки. Кроме того, ввиду больших затрат, я присоединяю рекламу некоторых изделий. Деликатно, чтобы не смутить почтенных матерей. Герметическая упаковка. Первый в Восточной Пруссии. Опередил Америку. Мы, немцы, не останавливаемся на полпути. Разум так разум. Багдад так Багдад. Америка так Америка. Главное — осветить духом. Вода бежит по трубочкам. В герметической никогда не рвутся. Звезды на небе радуют. Жир из лучшей трески...

Лазик не слушал господина доктора. Зачем его слушать, когда это, наверное, полный санскрит? Вот что он понимает под «кусочком колбасы»? Ломтик или четверть фунта?..

Немец провел Лазика в столовую. Там находились белобрысая рыхлая женщина лет сорока с печальным взглядом мертвой трески и чрезвычайно упитанный детина в коротких штанишках и в детской матроске. Господин Дрекенкопф обратился к супруге:

— Это мой новый пациент. На строгой диете. Один сухарь, четверть литра молока. Иногда — падать без чувств. Сегодня — отступление. Ты дашь ему кусочек колбасы и яблочное пюре. Два сухаря. Спать не больше шести часов. Понятно? Теперь гербовую бумагу. Мы подпишем контракт.

Рука Лазика дрожала. Еле-еле он вывел: «Ройтшванец»,—и рядом поставил маленький крест, объяснив недоумевающему доктору:

— Коротенький символ, хоть я и исповедую мозаизм, ведь скоро я лягу в рассрочку.

Прежде чем проглотить крохотный ломтик колбасы, Лазик старательно его обнюхал. Госпожа Дрекенкопф обиделась:

— У нас все продукты свежие.

Господин Дрекенкопф прибавил:

— Самые свежие в Восточной Пруссии.

Но Лазик виновато пояснил:

— Я нюхаю его только на память, чтобы не забыть, как это может раздирающе пахнуть, когда я буду есть один самый свежий сухарь.

Настоящее испытание началось, однако, когда служанка принесла ужин толстому детине. Хозяин пояснил Лазику:

— Это Вилли. Редкая находка. Двадцать семь лет. Лицо ребенка. Вес девяносто два килограмма. Рост один метр восемьдесят один. Видите — цвет лица? Треска из Исландии. Четыре марки девяносто пять литр.

Вилли подали большущий хлеб, солонину с картошкой, манные клецки с жареным салом, свиные котлеты с фасолью и, наконец, рисовый пудинг. Он пил пиво кружку за кружкой и тяжело дышал. Потом он даже стал хрипеть. Он потребовал было оставить на тарелке одну клецку, прикрыл ее ложкой, но господин Дрекенкопф сурово сказал:

— Вилли!..

— Я больше не могу. Я лопну. Вам же будет хуже: я разобью стекло.

— Вилли!..

Тогда Лазик попробовал вмешаться:

— Господин доктор, может быть, я съем эту клецку? Я ведь, наверное, не лопну.

Но хозяин не удостоил его ответом. Он только взглянул, так взглянул, что Лазик тотчас же опустил глаза.

На следующее утро возле аптекарского магазина господина Дрекенкопфа толпились прохожие. В витрине сидели два мальчика. Один, розовый и огромный, блаженно улыбался. На его груди значилось: «Меня поили настоящим рыбьим жиром из печени исландской трески. Продается только здесь.

4.95 литр». Другой мальчик уныло вздыхал. Зеваки дивились.

— Можно подумать, что ему сорок лет.

— Откуда они такого урода выкопали?..

— Может быть, это карлик?..

— Какой же это карлик! Поглядите, он со слюнявкой. И написано: «Мне одиннадцать лет». Это просто отсталый ребенок.

Кроме справки о возрасте, надпись гласила: «Меня поили поддельным рыбьим жиром. У меня рахит, малокровие, белокровие, паралич, истерия и семнадцать других болезней. Предохраните ваших детей от моей ужасной судьбы! Если вы вовсе не хотите иметь детей вроде меня, приобретите «Нимальс», абсолютная гарантия. 1.90 пакет».

Господин Дрекенкопф сквозь щелку наблюдал за поведением экспонатов. Время от времени он шептал:

— Вилли, улыбайтесь! Пошлите воздушный поцелуй даме! Поднимите гирю! Пойте от счастья!

— Еврей, стоните! Бейте себя в грудь! Рвите волосы! Постарайтесь упасть без чувств!

Мальчики тихонько беседовали. Оказывается, краснощекий Вилли не так-то был счастлив.

— Этот мясник мучает меня уже третью неделю. Я не могу столько жрать. Я лопну, видит Бог — я лопну. Он запретил мне ходить. Хуже того, я живу как монах. Ему хорошо — он сумасшедший, это все знают. Он может жить с ночными туфлями. А у меня все внутри чешется. Еще — улыбаться даме! Я вот разобью стекло и как прыгну на нее...

Но Лазику трудно было понять своего товарища:

— Зачем вам прыгать, когда вам через час дадут снова десять клецек? А мне — полсухаря. Эти болваны, может быть, думают, что я в Гомеле пил какие-то дурацкие подделки? Я сейчас расскажу вам, что я ел на свадьбе у Дравкина. Я сшил Дравкину позапрошлый сюртук, и он так растрогался, что сразу сказал мне: «Ройтшванец, приходи на мою роскошную свадьбу!» И я пришел. И я ел. Я ел, например, рубленую печенку с яйцами. Это раз. Я ел гусиные шейки с гречневой кашей. Это два. Я ел шкварки, и я ел кнедлах, и я ел студень. Это уже, кажется, пять. Но зачем глупый счет? Я ел сто блюд. Какая курица! Но я же идиот, я забыл о фаршированной рыбе! Она была с красным хреном,

потом — кугель с изюмом, цимес с черносливом и редька с имбирем. Но зачем забегать вперед? Можно еще поговорить о тех же шейках. Они были так хорошо поджарены, что корочка хрустела на весь Гомель, а фарш сделали с луком и с грибами...

Здесь раздался зловещий шепот господина Дрекенкопфа:

— Еврей, сейчас же перестаньте улыбаться! Какая наглость! Думайте о чем-нибудь высоком! Например, вы — в рассеянии.

— Хорошо, господин доктор. Я уже думаю: «Несчастный Ройтшванец, ты в рассеянии. О шейках не может быть речи, а через час тебе дадут половину незаметного сухаря». Вы видите — я вздыхаю. Я плачу. Я опускаюсь в вашу Исландию. Я, кажется, снова падаю без всяких чувств...

24

В последующем виноват сам господин Дрекенкопф. Нельзя даже в Кенигсберге жить только звездами и чистым разумом. Будучи, как известно, патриотом, он произвел сына и дочь, но на этом остановился, заявив озадаченной супруге:

— Здесь начинается аптекарский магазин.

Госпожа Дрекенкопф осталась с вареным картофелем и с ненужной негой в тусклых очах. Господину доктору было не до нее. Он двигал вперед коммерцию. Он размышлял об абсолюте. По воскресеньям совместно с единомышленниками исполнял он на тромбоне патриотические марши. Он исправлял на школьной карте границы Германии. Он чистил мелом каску. Он пил пиво. Он душил во сне колониальных наложниц. Словом, у него было немало государственных дел. Кроме того, он знал и невинные развлечения. Раз в неделю он двоился. Почтенный господин доктор оставался на вывеске аптекарского магазина и в сознании всех уважаемых клиентов. Тело же уходило на Кайзерштрассе в дом номер шесть. Там жесткие усики экстатически топорщились. Вилли не соврал: господин доктор Дрекенкопф любил исключительно обувь. В доме номер шесть на Кайзерштрассе он кусал по вечерам старую туфлю, восклицая:

— Я грызу тебя, вечная Гретхен!.. Ура!

Все это, конечно, было в порядке вещей и никого не касалось, кроме разве госпожи Дрекенкопф. От картофеля она с каждым годом тучнела, но где-то под жирами билось ретивое сердце. Узнав о тайной страсти супруга, она попробовала надеть на голову вместо ночного чепца туфлю. Но не так-то легко было провести господина доктора!..

Госпожа Дрекенкопф отнюдь не отличалась легкомыслием. Как-то Вилли, доведенный до отчаяния хорошенькими покупательницами, толпившимися у витрины, попробовал было прикоснуться к многолетним жирам! Но госпожа Дрекенкопф строго осадила его:

— Вилли, без глупостей! Кончайте ваши клецки. Я вижу, что вы там спрятали три штуки. Я расскажу господину доктору.

Вилли раздражал госпожу Дрекенкопф. Он сопел, как боров, а госпожа Дрекенкопф мечтала о бледном юноше с пылкими очами.

Однажды вечером она осталась с Лазиком. Господин Дрекенкопф жевал на Кайзерштрассе туфли, а Вилли спал, покорно переваривая груду клецек. Лазик взглянул на нее, и она обомлела. Какой огонь! Какая страсть! Очарованная, она пролепетала:

— Вы похожи на Лоэнгрина... Когда так хотят, можно ли отказать?

Обнадеженный Лазик упал на колени и зарыдал:

— Один раз! Только один раз! Он не узнает. Мы назовем это выдуманным сном. Дайте же мне две или три клецки!

Жиры госпожи Дрекенкопф мощно бились о дверцы буфета, как бьются волны океана о скалы. Она дала Лазику не три, а четыре клецки. Пусть гибнет добродетель и даже рыбий жир из лучшей в Восточной Пруссии трески!.. Она вытащила из вышитого бисером футляра ночной чепчик.

— Потеряйся в моей любви!..

Лазик вспомнил: еще в хедере его учили, что хлеб надо добывать в поте лица, тем паче это относится к таким первосортным клецкам.

Четверть часа спустя он решился заговорить:

— Вы видите — я потерялся, и я уже нашелся. Я весь в поте моего лица, и я умоляю вас, дайте мне скорее, например, свиную котлету с бобами! Я слышал, как они неслыханно пахли, когда их лопал этот толстый дурак.

Лазик быстро проглотил большущую котлету.

— Еще! — вздохнул он, думая о рисовом пудинге.

— Еще! — вздохнула госпожа Дрекенкопф, думая совсем о другом.

Однако они поняли друг друга. Вилли угрюмо храпел. Где-то на Кайзерштрассе господин доктор топтал в избытке чувств послушную туфлю, а счастливые любовники нежно ворковали.

— Ты такой маленький, что я боюсь — ты можешь потеряться, как булавка...

— Не бойся, я не потеряюсь. Меня сразу все замечают. Стоило мне переступить через порог великой Польши, как меня сразу все заметили. Но я хочу спросить тебя о другом. Господин доктор говорил мне о какой-то козлиной дичи. Может быть, завтра ты приготовишь мне эту нежную шейку с капустой?

Дня три спустя господин Дрекенкопф заметил перемену. Щеки Лазика покрылись легким румянцем. Он перестал стонать. Он даже нагло насвистывал Левкину песенку «Хотите вы бананы...» и, улыбаясь, сам себе отвечал: «Еще бы, хочу с капустой». Словом, он вел себя так, как будто он пил всю жизнь прославленный рыбий жир по 4.95 за литр.

— Еврей, вы сошли с ума! Почему вы улыбаетесь? Как вы смеете нахально розоветь?

— Это, вероятно, от вашей промывательной диеты, господин доктор Дрекенкопф. Я ведь питаюсь замечательным воздухом, лучшим в Восточной Пруссии. Почему я розовею? Это перед смертью. Так ведь розовеет небо на закате в Гомеле или даже в вашей Исландии. Потом вы на меня надели детскую курточку и обрезали меня ровно на двадцать один год, а мой прогрессивный организм, наверное, пошел вперед, и мне теперь уже не одиннадцать лет, а всего-навсего одиннадцать месяцев. Я нежно-розовый, как дитя в колыбельке, и я пою, и я свищу, хотя у меня гербовая бумажка, потому что я или солнце накануне самой смерти, или новорожденный факт.

Ко всему, Вилли заболел несварением желудка. Он сидел в витрине, мрачно подсапывая, и прохожие говорили:

— Кажется, тот маленький здоровей. Рост — это пустяки. А вы поглядите на его щечки... Вот вам и рыбий жир...

Господин Дрекенкопф хватался за голову:

— Гибнет гениальный план. Его высочество потеряло все. Восточная Пруссия теряет лучшую аптекарскую фирму.

Уныние настолько охватило его, что, направившись вечером на Кайзерштрассе, он вдруг повернул домой:

— Мне теперь не до страсти. В крайнем случае погрызу туфлю жены.

Увидев возле ночного чепца супруги наивные штанишки одиннадцатилетнего мальчика, господин доктор отчаянно завопил:

— Где вы?

Лазик плохо соображал, в чем дело,—он успел съесть две гусиные печенки и большой картофельный пирог. Он запищал:

— Я здесь! Вы не бойтесь—я не булавка, и я не потеряюсь.

Пока разъяренный господин Дрекенкопф тряс его за шиворот, он спокойно бормотал:

— Почему вы так волнуетесь? Я вовсе не собираюсь на ней жениться. Достаточно с меня московского опыта. Я у вас не отберу вашу жилплощадь. И размножать немцев я тоже не хочу. Ваш магазин ведь первый в Восточной Пруссии, и вы можете на этот счет совсем успокоиться. Перестаньте меня трясти—вы же не посполитый ротмистр! У вас чистый разум, так подумайте две минуты. Я же ничего не сделал плохого, когда я исповедую мозаизм, и там прямо сказано, что необходим пот своего лица. Неужели вы думали, что я могу жить одним моментальным сухариком?

Господин Дрекенкопф в бешенстве рычал:

— Посмотрим, разбойник!.. Я тебя в тюрьму посажу! Я сейчас же отведу тебя в полицей-президиум! Вор! Большевик! Тебе покажут там, что значит касаться супруги господина доктора Дрекенкопфа.

Воспользовавшись тем, что господин Дрекенкопф забыл прикрыть дверь, Лазик выбежал на улицу. Он добежал до первого перекрестка и осторожно, не нарушая правил о переходе улиц пешеходами, приблизился к полицейскому.

— Скажите мне, господин доктор полицейской философии, как вы думаете, если я сейчас пойду в тюрьму, меня посадят или нет? Ведь я таки ее коснулся, и она лучшая в Восточной Пруссии.

Полицейский добросовестно задумался.

— Этого я не знаю. Наверное, с вас потребуют три фотографические карточки и свидетельство о прививке оспы.

Тогда Лазик тягостно вздохнул.

— Ну что же, в таком случае мне остается только одно. Вы видите, господин полицейский доктор, я уже лежу без чувств, и я затрудняю великое движение, так что скорее ведите меня туда, и без всяких фотографических прививок!

25

Счастье улыбнулось Лазику. Он не только добрался до Берлина, он нашел там нового покровителя. Выручил его опять-таки рост. Судьба как бы хотела загладить обиды, нанесенные низкорослому влюбленному и Фенечкой Гершанович, и товарищем Нюсей. Лазик, пожалуй, мог бы попасть в сердечную оранжерею какой-нибудь новой госпожи Дрекенкопф, вроде карликового кактуса, тем паче что в тот год мода была на крохотные зонтики и на коротконогих собачек из породы скочтерьеров, но новые горизонты открылись перед ним. Его подобрал свободный художник Альфред Кюммель, режиссер крупной кинофабрики.

— Какая находка! Сразу чувствуется, что вы русский и что вы большевик. Вы вели за собой орды. Эта таинственность взгляда... Скрип телег среди степей... Монгольский профиль. Мановение руки атамана. Фотогеничность ресниц. Вы получите пять тысяч марок. Вы будете играть главную роль в моей новой картине «Песня пулеметов и губ».

Лазик оробел.

— Господин художественный доктор, хотя пять тысяч марок — это столько, что это, наверное, даже не бывает, как, например, орхидеи, но я все-таки еще не тороплюсь прыгнуть вам на шею моими мановениями монгольского атамана. Во-первых, вы говорите, что я большевик, хотя я с вами совсем незнаком, чтобы доходить до таких семейных подробностей. Правда, в Гомеле Левка всегда кричал: «Я закоренелый большевик», — чтоб его пропустили на музыкальные гулянья, но ведь вы, кажется, не из Гомеля, а наоборот, и чтоб человека постоянно колотили — на это не пойдет даже пропавший Ройтшванец. Значит, оставим такие слова до какой-нибудь интимной конференции.

Играть я, конечно, могу, я уже играл в одной официальной трагедии роль герцога с грызущими зубами и с классовым гнетом. Но вот название вашей картины мне совсем не нравится. Против губ я не возражаю. Это случается со всяким, и если даже Феня Гершанович вздумает клеветать, то я могу взять настоящий аттестат зрелости у госпожи Дрекенкопф. Но вы ведь хотите припутать к вашей песенке пулеметы. Так подобных мотивов я вообще не люблю как законченный враг нахального империализма. Восемь раз меня пробовали призывать, и восемь раз я выходил из комиссии в своих собственных брюках. Я болел сердцем, и печенкой, и пупком, и чем только я не болел. Я не успевал кроить для этих докторских художников бесплатные френчи. Один раз мне даже вырезали за галифе из моего материала кусочек совсем здоровой кишки, только чтоб я не побежал умирать ради случайного гетмана. Скажите сами — стоило ли мне лечь под животрепещущий нож, чтобы потом приехать в Берлин и умереть от вашего пулеметного сочинения?..

Очарованный режиссер бормотал:

— Какой восточный огонь! Крохотный человечек, живой дух в немощном теле зажигает океан, он ведет за собой толпы матросов и кочевников... Нет, дорогой мой, я вас не отпущу! Эй, шофер! Прямо на фабрику.

Альфред Кюммель показал Лазику огромные мастерские.

— Видите, все готово для съемок. Я искал только вас. Вы будете играть роль «духа степей Саши Цемальонкова». Мы затратили колоссальные суммы. Здесь — пулеметы. Куда вы? Нет, нет, я вас не пущу! Вот ваша партнерша — «душа Лорелеи». Знаменитая актриса. Познакомьтесь. Завтра сюда придут казаки. Вы опять убегаете? Швейцар, верните его! Съемка тридцать восьмой сцены: вы целуете «душу Лорелеи» среди бешеной джигитовки четырех эскадронов. Вы понимаете — это не просто картина, это мировой боевик. Поглядите: вот в том углу Красная площадь. Умилитесь — вы снова в родной Москве.

Лазик не часто бывал на Красной площади, побаиваясь, как бы стоявший возле Мавзолея часовой не выстрелил; он всегда избегал проходить мимо постов: «Что ему стоит случайно зацепить какой-нибудь крючочек, и тогда пуля очутится у меня в животе», — но все же он видел Красную площадь. Он деликатно заметил:

— По-моему, это скорее похоже на полное наоборот, и если положить возле того купола ночной чепчик, получится аптекарский магазин, как две капли воды.

Режиссер дружески улыбнулся.

— Я вас понимаю. Вы хотите сказать, что не хватает воздуха, атмосферы? Но вы увидите, как изменится эта декорация, когда вы будете здесь носиться на бешеном арабском скакуне.

— До свиданья, господин свободный доктор! Спокойной ночи! Я уже несусь куда-нибудь подальше. Достаньте себе араба, чтоб он скакал на этом бешенстве, но я еще дорожу своей предпоследней жизнью.

— Постойте! Я же сказал вам, что я вас не отпущу. Вы хотите, чтобы мы вас застраховали? Хорошо, мы пойдем и на это. Во сколько вы себя оцениваете?

— При чем тут страховка? Что я — несгораемый дом, чтобы сам себя поджечь? Может быть, я стою всего десять пфеннигов, и то это вопрос, потому что мне не на что больше класть заплаты. Но если я умру и мне выдадут сто тысяч, то это же загробное надувательство! Как будто я смогу приятно плакать над своим шикарным памятником?

— Вы не умрете. Вы не подвергнетесь никакой опасности. Страховку я предложил только ввиду вашей нервности. Конечно, при съемках необходимо несколько несчастных случаев. Мы перегнали Америку, мы не останавливаемся ни перед чем. Это самая смелая реклама. Но мы удовлетворимся двумя-тремя фигурантами. Вас мы будем оберегать, как избалованную звезду. Итак, завтра с утра мы приступаем к работе. Сейчас я ознакомлю вас с содержанием картины.

Степь. Кричат вороны. Проходят облака. Народ угнетен. Монах Распутин беспечно танцует фокстрот с придворной фрейлиной. У кочевников отбирают землю. Они вздыхают вокруг костров и кочуют. Грандиозный кадр! Матросы тоже вздыхают. Да, я забыл вам сказать, что показывается эскадра. Матросы бунтуют. Они хотят чистую воду, хрустальную воду, а им дают поддельный квас. Один матрос умирает на борту из-за боли за свой народ. Тогда выбегают кочевники и скрипят. Фрейлина бьет рабов шпорами. Облака собираются в тучи. Быстрый монтаж. Туча, шпора, слеза кочевника. Гроза. Из кургана выползаете вы, то есть «дух степей». Крохотный и могучий. Вы берете икону и подымаете матросов. Все обвязывают себя пулеметными

лентами. Дворец горит. Это самая дорогая сцена. Девятьсот фигурантов. Конец первой части. Вторая. Течет Рейн. Виноградники. Замки. Дочь лесничего — «душа Лорелеи». Она кормит замерзающих зябликов и разучивает песни с бедными детьми. Ее никто не понимает. Рейн течет. Она чувствует призвание. Она на горе. Ее белое платье отделяется от тумана. Двойная съемка. Она бредет на восток. Вы носитесь по площади. Вы носитесь по России. Вы носитесь по Европе. Вы носитесь по всему свету. Не перебивайте меня! Тучи закрывают все небо. Матросы стали кочевниками. В кабаре «Альказар» дамы беспечно танцуют фокстрот. Ноги дам. Кочевники плывут. Матросы джигитуют. Европа накануне гибели. Тогда ваша встреча с «душой Лорелеи». Она поет вам песню зяблика. Вы целуетесь. Первый план. Все целуются. Кочевники украшают телеги венками. Восход солнца. Матросы купаются в Рейне. Лесничий, благословив вас, умирает. Он оставляет вам все. Вы открываете сигарный магазин. Вы — с трубкой. «Душа Лорелеи» над колыбелью. Кочевники уходят назад в степи. Матросы подают букет из анютиных глазок Гинденбургу. Анютины глазки первым планом. Колыбель. Младенец мужественно улыбается. Надпись: «Будущий солдат Германии». Ну, разве это не здорово придумано? Любовь. Мистика. Революция. Отечество. Для экспорта только отрезать последние сто метров. Успех в Америке, в России, в Австралии, в Китае. Ваше имя — «Ройтшванец» — обойдет весь мир. Что же вы теперь молчите? Признайтесь, вы потрясены сценарием.

— Вполне потрясен. Это вроде романа Альфонса Кюроза. Вы даже можете взять кое-что оттуда. Например, зачем себя обвязывать непременно пулеметными лентами? Это же не так красиво, и это может выстрелить. По-моему, лучше, чтобы каждый взял в мощную руку теннисную ракету. Тогда получится настоящее очертание. Но вам, конечно, виднее. Я вот только хочу попросить вас об одном. Если я уже должен носиться круглые сутки по всему свету, нельзя ли обойтись здесь без арабской лошади? Пусть эти матросы скачут на чем им нравится, раз они подчиняются военной службе, а я себе буду носиться пешком.

Но Альфред Кюммель был неумолим, и на следующее утро он подвел трепещущего Лазика к лошади:

— Садитесь!

Для поддержания доблестных чувств гремел военный оркестр. Кругом гарцевали лихие казаки. На Лазика надели боярский кафтан, а поверх него пулеметную ленту. Он жмурился от нестерпимо яркого света и жалобно скулил.

Альфред Кюммель поднес к его уху огромный рупор и в ярости крикнул:

— Не теряйте времени! Садитесь живее! Каждая минута промедления стоит нам сто марок.

— Дорогой господин художник!.. Я уже отказываюсь от моих пяти тысяч.

— Садитесь!

— Как же я могу сесть, когда самое большое, на что я садился,—это черная скамья подсудимых? Потом, если в Гомеле и стреляли пулеметы, так я же мог спрятаться в задний переход. Но я не могу спрятаться сам от себя, когда вы нацепили на меня эту плевую ленточку. Вдруг она возьмет и выстрелит?

— Довольно болтовни! Вы — «дух степей». Вы носитесь. Выражение удали и беспечности. Поняли? Ну, садитесь. Не бойтесь. Это дрессированная лошадь. Это старая кобыла. Это почти осел. Сели? Теперь — удаль. Эй, полный свет! Карл, припугните клячу! Операторы! «Дух степей», удаль!

Лазик только успел крикнуть:

— Прощайте, Пфейфер!.. Тпру!.. Лошадь, опомнитесь!..

Напрасно грохотал рупор: «Сидите прямо! Улыбайтесь!» Лазик ничего не слышал. Сначала он еще держался за гриву, но первый же толчок отбросил его назад. Тогда он вцепился в круп лошади. Он визжал от страха. Когда показалась «душа Лорелеи», которой он должен был послать воздушный поцелуй, он уже висел как лоскуток на конском хвосте. Лошадь досадливо повела задом. Лазик очутился на земле. Он разбил нос. Вытерев боярским кафтаном кровь, горделиво подошел он к режиссеру.

— Что?.. Я таки носился, как настоящий дух.

Господин Кюммель не прибег к помощи рупора. Он так гаркнул «пошел вон», что Лазик на этот раз действительно понесся, путаясь в полах длинного кафтана. Но у самой двери он остановился.

— Вы уже успокоились после этой погони? Так теперь послушайте меня. Я же не хотел носиться. Я вам все время говорил, что я не «дух степей»,

а только несчастный портной из Гомеля. Вы сами меня посадили на этот кровавый эшафот. Вот вам ваш ненормальный сюртук и эти нарочные пули, а мне вы дайте немного разменной монеты, потому что хоть я и не подписал гербового несчастья, но вы же говорили вчера о страховке разных домов. Так во сколько вы застраховали мой кровавый нос? Я хочу за него хотя бы десять марок, потому что я проголодался, как настоящая амазонка.

— Эй, Карл! Покажите ему выход...

Что же, бедняга Ройтшванец снова понесся по двору, по улицам, по Берлину, по белому свету.

26

В течение нескольких дней Лазик раздавал на улицах проспекты венерологического кабинета, пока одна почтенная дама, которой он для верности всунул в рукав целую пачку, не избила его зонтиком. Потом в клинике знаменитого ветеринара доктора Келлера он занимал должность кошачьей сиделки. Он должен был придерживать кошек, пока их освещали фиолетовыми лучами. Кошки явно не верили в медицину, они бились и пребольно царапались. Лазику пришлось покинуть и это место, после того как один сиамский кот раскровенил все его лицо,—доктор Келлер боялся, что вид забинтованного Лазика может отпугнуть впечатлительных клиенток. Тогда Лазик попал в бродячий цирк: его взяли дублировать заболевшую бронхитом обезьяну Джиго. Он должен был в шкуре и в маске лазить по трапециям. Он лазил. Он должен был грызть орехи. Он грыз. Но когда ему приказали во время спектакля скакать через барьер, он не выдержал.

— Во-первых, об этом самоубийстве вы мне не говорили, а во-вторых, если я уже должен обязательно обливаться кровью, то отстегните мне, пожалуйста, хвост, потому что с хвостом люди, кажется, не прыгают.

Так и не удалось Лазику найти тихое пристанище. Тщетно старался он соблазнить прохожих своими знаменитыми заплатами. Он предлагал шить все: френчи, боярские сюртуки, даже стальные каски. Всячески пробовал он растрогать сердца берлинцев, он напоминал им, что исповедует мозаизм, что в него была влюблена

«душа Лорелеи», что, наконец, он не отвечает за какой-то пристегнутый хвост. На него раздраженно прикрикивали, пока сердобольный полицейский не отвел его в арестный дом. Он был привлечен по статьям, карающим нищенство, шантаж и оскорбление нравов.

В тюрьме Лазик быстро освоился: повесив над изголовьем портрет португальского бича, он начал хвастаться:

— Это уже одиннадцатая, и я могу написать роскошный путеводитель. Конечно, воздуху здесь больше, чем, например, в Ломже, но в Киеве был удивительный борщ.

Рядом с Лазиком спал некто Коц, которого посадили за кражу колбасы. По ночам он тихо жаловался:

— Я искал шесть дней работу. Потом я не выдержал. Это было на базаре. Она лежала в сторонке, и я ее сразу проглотил.

Лазик нежно хлопал огромного Коца по плечу.

— Ну, не горюйте! Вас, наверное, отпустят. Я вас хорошо понимаю. Они должны были запретить выставлять колбасу: это слишком удивительно пахнет. Помоему, такого запаха никто не может выдержать, даже сам господин Гинденбург, хоть они ему собирались нести букет из каких-то анютиных глазок. Знаете что, товарищ Коц, на земле нет справедливости! Если бы вы взяли анютины глазки, вас бы еще могли судить. Зачем отбирать у других такое подношение? Но ведь кусочек колбасы нужен всякому человеку. Тогда при чем тут болванский суд? О работе вы мне тоже не говорите. Вы ничего не нашли? Так это еще счастье. Вы — в тюрьме, и я — в тюрьме, но у вас, по крайней мере, неприкосновенный нос. Я носился на бешеной арабке, и я прыгал через свой хвост, я должен был приставать на улицах к разным докторшам, и я должен был держать настоящих сиамских тигров. Это называется «пот своего лица», и потом люди приходят в синагогу или даже в церковь, и там они кланяются Богу за подобные дела. Я вообще передовой отряд, и я знаю, что наверху никому не нужные газы. Но если допустить, что наверху сидит выдуманный Бог, то он же полный обманщик, и мы должны с ним поменяться местами. Он должен лечь здесь под сто уголовных статей, а мы с вами должны отдыхать на небе. Вы думаете, что я не знаю все эти проделки? Я их знаю, как пять пальцев. И если начать сначала, то прежде

всего — непонятный шум. Хорошо, нельзя было кушать яблоко. У Бога тоже бывают фантазии. Но скажите мне, почему такой исторический крик вокруг одного маленького фрукта? Это же вроде колбасы. Но я несусь дальше. Он судит, и он присуждает. «В поте лица твоего ты будешь зарабатывать хлеб». Допустим. Это глупо — почему я обязан потеть, если мне хочется порхать, как он, среди синего цвета? Но это ясно. И что же получается? Я потею так, что меня больше нет, разве я человек, я — выжатое место, а вместо хлеба меня только беспрестанно колотят. Может быть, после этого вы скажете, что наверху не пустые газы?

Коц испуганно перекрестился.

— Мы хоть с вами и товарищи по несчастью, но я честный человек. Я попал сюда случайно. У меня не было работы. Она лежала в сторонке... Вы еврей, вы можете не верить в вашего Бога, но я из Вюрцбурга. Я добрый католик. Я верю в милосердие Господа нашего Иисуса Христа.

— Слушайте, товарищ Коц, я сейчас расскажу вам одну замечательную историю. Ведь я уже вижу, что, хотя вы размером царь-пушка, у вас нет никакой надстройки. Вы, вероятно, не так уже часто беседуете с умными людьми, и вам полезно послушать этот глубокий предрассудок.

У нас в Гомеле жил один сумасшедший старик. Он чинил старые матрацы, но редко кто приходил к нему, все говорили: «Это плохой еврей, он, наверное, путается с чертом, виданное ли это дело, чтобы в субботу ходить с зонтиком, а вместо молитв рассказывать мальчикам постыдные факты?» Словом, этот старик был большим оригиналом. От него я узнал уйму историй: о проскуровском хасиде, который заблудился, о табакерке царя Соломона и еще много других. Вот он-то и рассказал мне это удивительное приключение с вашим милосердным Богом. И хоть вы из Вюрцбурга, а я всего-навсего из Гомеля, но, может быть, на этой позиции мы с вами сойдемся.

Мы сейчас далеко от Гомеля, но мы еще не в Риме, а Рим тоже город, и туда тоже можно попасть, и самое смешное, что там живут евреи, совсем как в Гомеле. Приключение это было в Риме, и не теперь, а давно, до войны, и даже, наверное, до позапрошлой войны. Впрочем, когда говорят о предрассудках, нечего залезать в календарь. В Риме жил римский папа. Это,

кажется, ваш главный комиссар, и вы можете сейчас еще один раз перекреститься. Этот папа жил совсем как Валентин в романе Альфонса Кюроза. Смешно даже говорить о колбасе: с самого утра ему подавали разные бананы. Он ел в один день столько вкусных финтифлюшек, сколько мы с вами не съедим за всю нашу жизнь. А пил он больше, чем все паны ротмистры. Можете себе представить, какой у него был дворец: я даже думать об этом боюсь, потому что, наверное, там стояли возле каждой табуретки часовые с пулеметами. Он сидел во дворце и слушал красивые мотивы. Вы, пожалуйста, на меня не обижайтесь, но он любил функции с разными поездками в лазурный Крым, ничуть не хуже товарища Серебрякова. Я знаю, что папе полагается по уставу смотреть на хорошенькую девушку, как на богослужебное бревно. Что же, может быть, другие папы и обходятся без предпосылок, хоть Вилли в аптекарском магазине, тот хотел даже разбить драгоценное стекло. Если вы скажете мне, что сын того папы или, например, его недозволенный отец были вовсе не людьми, но только глубоким вздохом, я вам охотно поверю. А вот тот папа не зевал по сторонам. Он выбирал себе, понятно, отъявленных красавиц, потому что каждой женщине лестно проснуться утром, а рядом — сам римский папа, это же не Ройтшванец и не Коц. У папы было много свободного времени, когда он не ел бананы и не совал разным дуракам свою старую туфлю, чтоб они ее целовали, а красавиц в Риме было тоже много, так что во дворце звучал один постоянный поцелуй.

В Риме была масленица. Какой это, между прочим, вкусный праздник! У нас в Гомеле телеграфист Захаров угостил меня на масленицу такими блинами, что я чуть было не уверовал во весь его опиум со сметаной. Но, конечно, в каждой стране люди празднуют праздники по-своему. В Риме они прямо-таки сходили с ума. Они бесплатно надевали на себя обезьяньи шкуры и пристегивали хвосты. Они гуляли с утра до ночи в бандитских масках. Посмотреть кругом — это даже не город, а всеобщая оперетка. Один говорил, что он слон, и нахально ворочал хоботом, другой уверял, что он настоящий герцог, который грызет свою герцогиню, и все прыгали, и все играли на трубах, и все танцевали танцы римских меньшинств. О женщинах я даже не стану вам говорить. Кто вас знает, что у вас

внутри за механика: может быть, вы, как толстяк Вилли, подбираетесь про себя к стеклу? Я только скажу вам, что у женщин были полные витрины. Каких только бананов они не выставляли наружу! Поставим здесь тысячу точек...

Они прыгали, они пели, они целовались, но главный номер был еще впереди. Я уже сказал вам, что в Риме жили евреи. Это, конечно, бесстыдство: евреи смеют жить в одном городе с самим папой. Но что поделаешь? Например, муравьи — куда только они не залезают. На что уж строги паны ротмистры, и те напрасно волнуются. Раздавишь одного, сейчас же выскочит другой с автономным носом. Папа покричал, погрозил своей туфлей, а потом ему надоело: пусть живут. Нельзя же посадить в тюрьму какой-нибудь перелетный насморк! Но так как папа любил масленицу, он придумал замечательный фокус: пусть евреи поставляют одного скакуна для всеобщего хохота. Пусть этот несчастный скакун обежит на масленицу три раза вокруг всего города, и пусть он бегает раздетый догола, а папа со своими слонами и дамами будут сидеть на золотых табуретках и заливаться неслыханным смехом.

Как люди говорят: одному масленица, а другому голое скакание. Евреи собрались на постную конференцию: кто же будет этой истерзанной лошадью? Евреи бывают разные: у одних даже на животе караты, а у других бесплатные слезы. Я вот лежу на одиннадцатой колючке, а какой-нибудь Ротшильд, наверное, сейчас лопает целую козу. В Риме тоже были и купцы первой гильдии, и кладбищенские нищие, которые за кусок хлеба плачут ведерными слезами над всякой предписанной могилой. Кто же побежит вокруг города? Конечно, не раввин — он же ученый, без него все станут глупыми; конечно, не римский Ротшильд — без него некому будет кормить нищих раз в год кухонными помоями.

Каждый еврей выкладывал один золотой, чтобы только не бегать, и бедняки тоже давали, потому что стоит продать субботние подсвечники, или сюртук, или даже подушку, лишь бы не умереть в голом виде перед сумасшедшими слонами. Но нашелся один несчастный портной, у которого не было ни сюртука, ни подсвечника, ни пуховой подушки, ни шелкового талеса. У него были только жена, шесть детей и подходя-

щее горе, а все это нельзя выменять на один золотой. Его звали, скажем, Лейзером. Я думаю, что он был дедушкой моего дедушки, потому что вот от такой прискорбной тени и пошел наш род замечательных Ройтшванецев.

Настал час объявленных скачек. Папа перекрестился, опрокинул еще одну четверть вина и влез на свою табуретку, а вокруг него расселись священники, и красавицы с витринами, и просто раскрашенные нахалы. Это были богомольные люди, и сам папа с ними — значит, они повсюду расставили портреты вашего милосердного Бога. Он был сделан из золота, из серебра, из бриллиантов на круглый миллион рублей, чтобы все знали, какие они щедрые и какой у них роскошный Бог. Сидит папа, весь в бархате, а над ним огромный крест, прямо из ювелирного магазина, и на кресте Христос, не то чтобы позолоченный или дутый, нет, из массивного золота совсем невиданной пробы. Очень хорошо! Но где же, между прочим, человеческий скакун? Папе уже не терпится, и он звонит в звоночек: «Приведите сюда эту лошадь, кажется, пора начинать».

Тогда привели Лейзера, а за ним пришли жена и все шестеро детей, и все они отчаянно кричали. Ведь даже маленькому ребенку ясно, что нельзя обежать вокруг Рима три раза без передышки, а стоит остановиться, как конюхи папы начнут тебя хлестать кнутами. Значит, это все равно что идти прямо на смерть. Лейзер стал снимать сто раз заплатанные брюки. У папы от смеха даже живот заболел, а другие бандиты теряли кто хобот, кто хвост: нельзя так сильно смеяться. Спектакль был довольно веселый, потому что такой несчастный в штанах уже анекдот, а если он без штанов, то это верное до упаду.

Папа смеялся, но не Лейзер. Лейзер обнимал свою жену и детей.

«Хорошо, я побегу и я умру, но кто вас завтра накормит? Может быть, раввин? Да, он будет кушать большого гуся, но вам он не даст даже косточек. Он вас угостит только ученым словом. Может быть, римский Ротшильд? Да, он скажет: «Я еврей, и вы евреи, и благословит вас Бог, но я не могу сейчас с вами разговаривать, потому что я скушал столько гусей, кур и уток, что доктор будет мне ставить банки. Я — настоящий страдалец, а вы счастливчики, и вот вам на

прощанье мой кукиш». Так скажет вам Ротшильд. И никто вас не накормит, потому что у бедных нет ничего, кроме голого сердца, а у богатых есть все, но у них нет сердца, и значит, вы тоже умрете. Я умру сегодня от этой беготни, а вы умрете через неделю или через месяц, и тоже от беготни, вы будете бегать по городу и просить крошку хлеба, и вы умрете».

Жена его, конечно, кричала. Она кричала, как зарезанная, на весь Рим:

«Ой, как же ты будешь бегать, Лейзер? Ты же не можешь бегать. Скажи им, что ты несчастный портной, а не лошадь. Ты же умрешь, честное слово, ты умрешь! И на кого ты меня оставляешь? И на кого ты оставляешь этих готовых сирот?»

Папа ткнул себе в ухо вату, он даже глазом не повел. А первый конюх уже щелкал кнутом: «Начинай свое беганье».

«Прощай, моя жена! Прощайте, мои дети! Прощай, моя жизнь!»

Лейзер сел на камень, обнял свои голые колени и еще раз вздохнул, так вздохнул, что ветер прошел по всему Риму: это он прощался с жизнью. А потом он, понятно, встал и побежал рысью, как старая кляча.

День был жаркий, как будто это не масленица, а полное лето, потому что в Риме ненормальный календарь и там можно всегда гулять в парусиновой толстовке, бежать, конечно, куда жарче, чем сидеть. С Лейзера сразу покатился лошадиный пот. Он спотыкался, стонал и тряс бородой, а конюхи постегивали его кнутами. Рим не Гомель. Рим — это скорей вроде Берлина; чтоб его обежать кругом, надо, может быть, два часа. Повсюду стояли конюхи. Они глядели, чтобы человеческая лошадь не отдыхала. А кроме конюхов, стояли просто люди: кому же не интересно поглядеть на такие двуногие скачки? Стояли обезьяны, и тигры, и герцоги, и дамы, и все они бесплатно хохотали:

«Беги, старая кляча!..»

И всем Лейзер кротко отвечал:

«Я уже бегу».

Так обежал он один раз вокруг Рима. Он уже еле подымал ноги, и все чаще хлестали его конюхи готовыми кнутами, так что по всему его телу текла кровь. Но ведь надо было обежать еще два раза, и он знал, что он не обежит. Когда он снова увидел несчастную жену, и шестерых детей, и золотую табуретку с рим-

ским папой, он потерял надежду, он остановился. А папа римский кричал:

«Беги же, старая кляча, не то тебя всего исхлещут мои готовые конюхи!»

Разозлился тогда Лейзер:

«За что я, спрашивается, страдаю? За то, чтобы Ротшильд кушал утку? За то, чтобы этот римский папа обнимал своих нахальных красавиц? За то, чтобы его бриллиантовый Бог сверкал своей золотой пробой?..»

Но сто конюхов подбежали к нему с кнутами, и, взглянув на своих будущих сирот, Лейзер побежал дальше. Только отбежал он сто или двести шагов, как понял, что дальше бежать не может. Он упал на землю и стал ждать смерти. Тогда-то случился с ним голый предрассудок.

Вдруг он видит, что бежит по дороге голый еврей и что это не он, Лейзер, а другой еврей. Откуда такие фокусы? Ведь все евреи откупились от беготни. Он разглядывает этого второго еврея и еще сильнее удивляется: «Он же похож на меня, тоже кожа и кости, и пот градом, и весь в крови, и так трясется бородка, что сразу видно: крышка. Но глаза у него, кажется, не мои, и нос не того покроя. Значит, это не я, а другой еврей. Но кто же это может быть...» Лейзер знал всех евреев Рима. Это не старьевщик Элиа и не сапожник Натан. Это, наверное, чужой еврей. И Лейзер его спрашивает:

«Откуда вы взялись? У вас знакомое лицо, как будто я вас уже видел, но я вас не мог видеть, я никогда не выезжал из Рима. Может быть, я уже умер и мне снится? Как вас зовут? И потом, почему вы бегаете, если я должен бегать?»

Тогда второй еврей говорит Лейзеру:

«Зовут меня Иегошуа, и вы меня не можете знать, потому что я уже давно умер, а вы еще живы. Но вам кажется, что вы меня знаете,— вы, наверное, видели мои портреты. Они меня называют самыми смешными словами, но я сейчас скажу вам, кто я: я — бедный еврей. Вы, правда, портной, а я был плотником, но мы поймем друг друга. Я хотел, чтобы на земле была полная правда. Какой бедняк не хочет этого? Я же видел, что раввин говорит умные слова, что Ротшильд кушает утку и что нет на земле ни справедливости, ни любви, ни самого простого счастья. И я был с бедными против богатых. Я видел, что у одних людей

пулеметы, а у других только голая грудь, и что железной пуле ничего не стоит проткнуть сердце, и я был слабым против сильных. Я любил, Лейзер, когда солнце греет, и смеются дети, и всем хорошо, все пьют вино, все друг другу улыбаются, горят субботние свечи, а на столе румяный хлеб. Но какой нищий не любит этого? Сначала меня, конечно, убили, а теперь они не дают мне спокойно лежать в земле. Они грабят бедняков и называют мое несчастное имя, чтоб я ворочался в гробу. Они сажают какого-нибудь беззащитного человека в глубокую тюрьму, и они поют ему песни о моем столетнем горе, а потом они отрезают ему голову, чтоб я снова подпрыгнул в могиле. Они выгоняют глупых людей, чтобы одни люди убивали других, и они несут на флагах мои скорбные портреты, и я в ужасе приподнимаюсь. Как только не смеются они над моим мертвым прахом. Они делают мои портреты из золота и из бриллиантов, и они выставляют их повсюду. Они ставят их перед голодными детьми и перед самой виселицей. А я ведь так любил румяный хлеб на столе бедняка! Пожалейте меня, портной Лейзер! Вы умрете, и вас закопают, и вас оставят в покое, а я должен бегать по всему миру, как в лихорадке. Я лежу в земле, и вдруг я вижу этого римского папу. Он хохочет с раскрашенными бандитами, он придумывает вашу веселую смерть, и что же — над ним висит мой золотой портрет, и я вижу это сквозь могильную землю. Тогда я прибегаю сюда, и вот вы должны умереть, потому что я мечтал о полном счастье. Горе мне! Горе! Они говорят, что я всемогущий. Вы видели бедного еврея, который бы мог все? Да если бы я мог даже половину всего, разве я не крикнул бы им: «Довольно!» Разве Ротшильд кушал бы тогда всех уток, разве папа сидел бы на золотой табуретке, и разве вы скакали бы вокруг Рима? Я могу только не находить себе покоя. Я могу только день и ночь бегать кровавой тенью, как бегали сегодня вы».

Тогда Лейзер приподнялся и обнял второго еврея.

«Мне жаль вас, плотник Иегошуа, я ведь теперь знаю, что такое бегать. Но я вам скажу одно: сегодня вы можете отдохнуть, сегодня вы можете спокойно лежать в своей могиле. Зачем же бегать вдвоем? Сегодня я бегаю за себя и за вас».

Но мертвый еврей ответил Лейзеру:

«Нет, вы еще можете жить, у вас шестеро детей — это не шутка. Мы их, кажется, перехитрим. На нос они не будут глядеть, а издали мы похожи друг на друга. Так вы лежите себе в этой глубокой яме, а я пока что два раза обегу вокруг Рима. Вы со мной не спорьте; ведь мне все равно придется бегать, если не здесь, так в другом городе, потому что они, наверное, сейчас кого-нибудь убивают и говорят мое имя, чтоб я не мог спокойно лежать».

Сказав это, он побежал вокруг города, и его хлестали конюхи, и смеялись над ним все бесстыдные слоны. А когда он добежал до папы, то папа уже лежал на пуховых подушках от неприличного хохота, и папа кричал:

«Эй, старая кляча, шевели твоими копытами! Я тебе покажу, что значит римский папа! Это же полный представитель милосердного Христа, и получай скорее сто ударов кнутом, чтоб ты знал вперед, как это — распинать нашего Бога!»

Вот вам и все приключение, дорогой товарищ Коц. Вы можете, конечно, снова перекреститься, раз у вас здоровая рука, а в голове отсутствие. Подумайте только — вы лежите рядом с Ройтшванецем! Может быть, это Ройтшванец распял вашего всемогущего Бога?..

Коц разозлился:

— Ваша история — вздор. И я вам не советую повторять такие глупости. Вас, чего доброго, могут привлечь за богохульство.

— Нашли чем пугать! Не все ли мне равно, привлекают меня по трем статьям или по четырем? Это пустая статистика. А вот приключения с Лейзером вы вообще не поняли. Руками это нельзя понять. Я уже сказал вам, что у вас, наверное, в голове дырка. Как будто я не видел, что, пока я рассказывал, вы все время крестились! Я теперь спрошу вас, хоть вы и дыра из десяти пудов, кому же вы кланяетесь в вашем Вюрцбурге? Если бедному еврею, так он вовсе этого не хочет, а если всемогущему Богу, так почему же вы здесь из-за кусочка колбасы?.. Знаете, Коц, мы ссоримся, и мы помиримся. Мы сейчас с вами хорошие люди, потому что мы два бедняка в позорной тюрьме. Но ведь завтра вы можете стать римским папой, а я могу стать еще одним Ротшильдом. Тогда мы моментально забудем все горячие слезы и станем просто-напросто текущими свиньями. Пока бедный плотник мечтал

о правде, он был таким высоким, как нарочный Бог, но вот его объявили Богом в золотой раме, и что же, он стал обыкновенной мебелью. Ротшильд мог в два счета распять какого-то нищего, который говорил, что он любит не богатых, а бедных. Это вполне понятно, и Ройтшванец здесь ни при чем. Кажется, каждый день распинают сто ройтшванецев, и никто против этого не возражает. А детский смех? А румяный хлеб на столе бедняка? Но это же смешные фантазии. Молчи, глупый Ройтшванец! Нечего философствовать! Самое большее, что от тебя требуется,— это скакать без штанов.

27

Отсидев положенное время в тюрьме, Лазик вновь начал странствовать. В Магдебурге он продавал газеты, в Штутгарте мыл оконные стекла, а добравшись до Майнца, попал в колбасный магазин Отто Вормса. Там мирно отпускал он товар, пока не был уличен в наглой краже. Как-то, увидев на прилавке еще теплый окорок, он схватил нож, отрезал большой кусище и проглотил его столь быстро, что хозяин не успел даже опомниться. Лазику пришлось спешно оставить Майнц, так как колбасник поклялся, что он проучит негодяя.

Во Франкфурт Лазик приехал с тремя марками. Первым делом он решил побриться, дабы застраховать себя от философических мыслей. Каково же было его изумление, когда молодой парикмахер спросил:

— Простите, господин доктор, как вас побрить,— обыкновенно или согласно Моисееву закону?

Лазик только развел руками.

— Согласно Моисееву закону, кажется, вообще нельзя бриться, так что эта религия не для вашей кисточки. Но если я прихожу к вам, значит, я плюю на эти смехотворные параграфы. Может быть, вы боитесь, что я вам не заплачу? Глядите, вот самые настоящие марки.

— Вы напрасно обижаетесь, господин доктор. У нас во Франкфурте можно бриться, не нарушая закона Моисея. Ведь евреям запрещено только соскребать с себя волосы лезвием, а мы бреем почтенных клиентов без преступной бритвы. Вот, поглядите — это патентованное средство. В пять минут я могу унич-

тожить все волосы, не раздражая ни кожи, ни религиозных чувств. Это изобретение доктора Клемке, и он заработал на нем...

Но Лазик больше не слушал. Пользуясь тем, что парикмахер еще не успел его побрить, он сосредоточенно думал. Наконец он сказал:

— Меня вы все-таки побрейте без фокусов; только наточите-ка бритву, потому что у меня кожа гораздо чувствительней религиозных чувств. Но вот вам марка на чай, и скажите мне адрес какого-нибудь почтенного доктора, которого вы бреете этой вонючей находкой.

— Кого же вам рекомендовать? Может быть, господина Шенкензона? Это самый уважаемый коммерсант. Только он уже давно не брился. Он, кажется, болен...

— Болен? Это мне как раз нравится. Ну, вы кончили уже меня скрести вашей тупицей? Так дайте мне скорее адрес господина Шенкензона...

Надо признаться, что сердце Лазика взволнованно забилось, когда он оглядел роскошный особняк, в котором жил господин Шенкензон. Он позвонил. Дверь открыла горничная.

— Ну что, господин Шенкензон все еще лежит? Он еще не умер? Так я пойду прямо к нему. Нельзя? Как это нельзя? Я же не нахал с улицы. Впрочем, о чем мне с вами разговаривать? Позовите сюда его жену, или мать, или дочь, или хотя бы какую-нибудь тетю.

В переднюю вышла заплаканная женщина.

— Вы, наверное, госпожа Шенкензон? Ну как, слава Богу, муж? Я хочу скорее пройти к нему. Кто я такой? Я гомельский цадик, и я приехал во Франкфурт, и я узнал, что еврей болен, и я пришел, конечно, навестить еврея. Я же знаю, что ваш муж хороший еврей, который соблюдает все законы.

Госпожа Шенкензон колебалась. Но Лазик настаивал:

— Когда я был у знаменитого ребе Иоше... Вы же знаете двинского цадика? Так вот, мы с ним пошли к одному больному. Он лежал, как ваш муж, и наверняка умирал. Но ребе Иоше увидел, что у него внутри приросла одна кость к другой, и он приказал костям повиноваться Божьему порядку, и все кости расселись по своим местам, так что больной сразу попросил себе целую курицу. Это же очень просто. У человека двести сорок восемь суставов и триста

шестьдесят пять костей, а всего в нем шестьсот тринадцать штучек, ровно столько, сколько добрых дел. Вы смотрите на меня — как я, такой молодой, уже все знаю? Но я не такой молодой, мне уже за пятьдесят, Господь мне дает два года за один. Он же не только умеет наказывать, он умеет и награждать. Я вас уверяю, что ваш муж завтра или послезавтра вскочит, как попрыгунчик.

Госпожа Шенкензон залилась слезами.

— Все господа доктора говорят, что больше не на что надеяться... Я заказала в синагоге, чтобы они читали псалмы на буквы «вульф»... Его ведь зовут Вульфом. Но он все слабеет и слабеет.

Лазик важно сказал:

— Вы женщина, и вам Бог простит эти глупые разговоры. Доктора видят только кожу. Внутри они не видят. Вот я сейчас погляжу на него, и я скажу вам все.

Женщина провела Лазика в комнату больного. Среди пышной мебели, золоченых люстр, картин, ковров на огромной резной кровати лежал крохотный старичок. Он уже был без сознания. Лазик спросил:

— А сколько ему точных лет?

— Восемьдесят четыре.

— Я так и понял сразу. Ну что же, я вижу все, и я говорю вам: у больного недостает внутри одного сустава. Он, наверное, забыл сделать одно доброе дело. Он, конечно, молился, и соблюдал иом-кипур, и жертвовал на синагогу. Но я думаю, что он еще не накормил никогда ни одного бедного цадика хорошим обедом. А так как он сейчас не может сбегать на кухню, так вы займитесь этим, и поскорей, вместо напрасных слез. Тогда завтра или послезавтра он будет попрыгунчик.

В соседней комнате, куда провели Лазика, находились все родственники больного. Одни из них громко плакали, другие тихонько обсуждали котировку гамбургских пароходных акций, которые скупал господин Шенкензон. Сестра больного, узнав, что Лазик — духовный раввин не то из Галиции, не то из Литвы, обрадовалась.

— Во Франкфурте ведь так трудно найти настоящего раввина, который знает все правила! А когда человек болен, пора подумать о Боге.

— Правила я знаю, как свои пальцы. Мне было тринадцать лет, когда десять самых замечательных

раввинов мне уже выдали смихе, и я стал полноправным раввином. А потом десять лет я был у знаменитого цадика в Виннице. Как меня зовут? Ребе Лезер.

— Скажите нам, ребе Лезер, как вы думаете, может быть, переменить больному имя? Здешний раввин сказал, что это может помочь. Если уже в Книге Судеб написано, что Вульф должен умереть, то ведь это относится только к Вульфу?

— Здешний раввин знает кое-что. Он слышал, может быть, одним ухом. Но я сейчас все устрою на месте. Мы таки перехитрим этого летающего ангела. Он — Вульф? Кончено. Он уже — Мендель. И если там написано, что завтра должен умереть Вульф, то ваш дорогой Мендель будет завтра кушать курицу, потому что этот летун будет искать Вульфа. Вы видите, как это просто? Здешний раввин прозевал бы два часа, и он бы еще взял с вас уйму марок. Я здесь останусь, и, если ему ночью не станет лучше, я его сделаю из Менделя Хаимом, и все это по маленькому тарифу.

Выспавшись, Лазик весело спросил:

— Ну, как поживает наш дорогой Мендель?

— Он умер.

— Умер? Я так и думал, что он умрет. Я только не хотел огорчать вас за полчаса до факта. Плакать человек всегда успеет. Но я сразу увидел, что в Майнце одна еврейка не могла родить, потому что у Бога нет свободной души под рукой. Я тогда понял: Бог уже тянется за душой вашего, скажем, Менделя. Ну, что ж поделаешь! Будем его хоронить.

Здесь-то Лазику было где разгуляться. Ведь еврея надо похоронить по всем правилам, чтоб он мог легко встать, когда прогремит труба мессии. Этот ребе Лезер знал порядки!

— Как быть с землей? — плакала вдова.— Ведь ему, кажется, нужно положить под голову палестинскую землю, тогда его не тронут черви.

Лазик успокоил ее:

— Через полчаса я принесу вам палестинскую землю. Это земля высший сорт. Она прямо с гроба Рахили, и ее мне подарил ровенский цадик. Я ее берег для себя. Но теперь я еду в Палестину, чтоб умереть там. Когда прогремит труба, я буду уже на месте, без новой беготни. Так что я вам уступлю эту землю. А о цене мы поговорим после восьми печальных дней. Я, кажется, цадик, а не разбойник.

Лазик вышел на улицу. Дойдя до парка, он быстро набрал в платок горсть земли и расчувствовался.

— Где умрет Ройтшванец? На какую помойку выкинут его постыдный труп?..

Родственники хотели положить вокруг усопшего венки, но набожная сестра запротестовала:

— Это запрещено. Не правда ли, ребе Лезер? Это может ему повредить.

— Конечно, венки запрещены. Но ведь нужно класть солому. Что такое солома? Увядшие цветы. А когда цветок сорван, он уже завял, так что я, строжайший цадик, разрешаю вам класть столько венков, сколько вам только захочется.

Один из сыновей покойного, человек крайне расчетливый, волновался:

— А как быть с костюмом? Они говорят, что его нужно разодрать на куски от печали.

— Совсем понятно: вы наденете мой костюм, хоть он вам будет чуточку мал, но при такой печали не до франтовства, и вы его раздерете — он ведь уже разорван, скажем, на других похоронах. А свой вы дадите мне, и это будет в счет необходимых «Кадишей».

Все дети и внуки покойного возмутились, когда им предложили есть крутые яйца. Лазик и здесь нашелся.

— Достаточно с вас и так несчастий! Крутые яйца съем я, а вы будете кушать куриный бульон, потому что глуховский цадик уже разъяснил, что из яйца выходит курица, а из курицы выходит бульон.

Мудрость и находчивость ребе Лезера потрясали всех франкфуртских евреев, которые приходили к Шенкензонам, чтобы выказать свое соболезнование. Председатель еврейской общины, господин Мойзер, известный биржевик и филантроп, узнав о замене крутых яиц гигиеническим бульоном, восторженно воскликнул:

— Вот что значит человек, который день и ночь изучает Тору! В его руках суровый закон становится легким, как верблюжий пух. Скажите, ребе Лезер, если ваше присутствие всегда приносило евреям такую радость, почему же они не удержали вас на вашей родине?

— Я, кажется, сказал, что еду умирать в Палестину. Если вы будете задавать мне такие вопросы, я уеду завтра. Между прочим, я умею приносить полное наоборот. В Гомеле тоже был один еврей, который приставал ко мне с нахальными вопросами. Он вдруг

начинал устраивать анкеты: «Интересно знать, откуда вы приехали, и что у вас в кармане, и где ваш дипломат?» Так что же с ним стало? Я в синагоге вышел благословлять народ. Я ведь благородный потомок. Мы, Ройтшванецы,—каганиты, и я поднял руку как самый главный каганит. Тогда, конечно, все закрыли глаза, потому что нельзя глядеть на каганита, который благословляет народ. Но тот нахал решил продолжать анкету. Он поглядел на меня. Может быть, он хотел проверить, хорошо ли я держу пальцы? Смешно! Я ведь знаю мои пальцы наизусть, как Талмуд. И что же стало с этим, скажем, любопытным евреем? Он через десять секунд ослеп.

Рассказ Лазика произвел на всех сильное впечатление. Правда, господин Мойзер морали его не уловил, так как, услыхав, что гомельский цадик — каганит, он стал думать об одном: как бы удержать его во Франкфурте? Он начал издалека:

— Вы еще молоды, и Господь вам подарит все девяносто лет, если не все сто двадцать, так что я не понимаю, зачем вам спешить в Палестину? Отдохните перед далекой дорогой. Вы найдете здесь почет и спокойствие. Вы будете молиться в нашей синагоге. У нас, право же, замечательная синагога. Я пожертвовал на нее хорошенькие деньги, и вы увидите, какие там двери, и какие семисвечники, и какой свисток. Увы, только одного недостает ей — у нас нет каганита. Но ведь, если вы будете с нами молиться, вы не откажетесь благословить нас. Верьте мне, почтенный ребе Лезер, здесь не будет таких безбожников, как на вашей родине. У нас никто не захочет бесплатно ослепнуть. А с другой стороны, чтобы доехать до Святой земли, мало одной веры. Там египетские фунты, и я знаю котировку... Я вас прошу: примите наше предложение.

Лазик, для приличия с минуту помолчав, ответил:

— Я вас ужасно жалею, и, как хороший еврей, я уже не еду в Палестину. Теперь начинайте меня обеспечивать.

На следующий день в комнату Лазика, приниженно кланяясь, вошел некто Шварцберг.

— Я хочу просить вас, достоуважаемый ребе, чтобы вы взяли покровительство над моим кошерным рестораном. Тогда я смогу написать на меню «Под наблюдением господина раввина», а без этого ко мне не идет ни один порядочный еврей. Я уже слыхал от

господина Мойзера, что вы умеете примирить суровый закон с требованиями нашего времени. Я не предлагаю вам никакого денежного вознаграждения, нет, вы будете, между нами говоря, совладельцем, и я предоставляю вам двадцать процентов чистой прибыли.

Лазик охотно согласился. Он только добавил:

— И каждый день три полных обеда.

Осмелев после столь легкой удачи, Шварцберг сразу приступил к делу.

— Вы же знаете, ребе, что мы соблюдаем себя в чистоте, но мы немножко портим мясо. По закону его нужно держать один час в соли. Легко себе представить, какой это получается обезвкушенный ростбиф или даже антрекот. А кого клиенты ругают? Не Моисея, но ресторатора. Тот же господин Мойзер, он хочет, чтобы все было по правилам, и он хочет кушать сочный ростбиф. Вот я и осмеливаюсь спросить вас, нельзя ли солить это мясо не один час, а только полчаса? Тогда у меня будут бифштексы гораздо вкуснее, чем у Розена, и я сразу забью всех конкурентов.

— Что такое часы? Когда человек голоден, а перед ним антрекот, каждая минута является часом. Так сказал мудрый цадик из Балты. Но перед обедом ведь все голодны, и я разрешаю вам в точном согласии с законом солить мясо ровно одну минуту. Только не солите его десять минут, а то вы мне дадите на обед вместо бифштекса какой-нибудь вавилонский плач.

Шварцберг ласково подмигнул Лазику. На следующее утро он снова пришел за разъяснениями.

— Я вам скажу прямо, многопочтенный ребе, что клиенты не любят ни кокосового масла, ни сала. Я убежден, что этот безбожник Розен жарит шницель на сливочном масле. Я вас спрашиваю, что же мне делать, богобоязненному Шварцбергу?

— В законе сказано: «Не ешь теленка в молоке своей матери». Масло делается из молока. А откуда вы знаете, какая корова — мать этого теленка или даже совершеннолетнего вола? Значит, нельзя жарить мясо на масле.

Шварцберг сокрушенно вздохнул.

— Но обождите, вздыхать еще рано! Вы же можете подавать свинину. Я, например, очень люблю свиные котлеты, а свинья не может быть дочкой коровы, и жарьте на здоровье свиные котлеты в коровьем масле с хрустящей картошкой. Это по закону, и вы

увидите, что когда господин Мозер скушает свиную котлету, он взревет от полного восторга: «Какая у вас сочная телятина!»

— Но ведь по закону свинину вообще...

Лазик прервал его:

— Если, по закону, у свиньи слишком мало пальцев на ноге, чтоб ее кушать, то вы их не считали. Зачем вам заниматься свиными пальцами? И потом, когда вы говорите с ученым раввином, вы можете не философствовать. Точка.

Тогда Шварцберг, не выдержав, всплакнул от умиления.

— Бог таки наградил меня за то, что я дал тому нищему сорок пфеннигов!.. Вы же не наблюдательный раввин, но одно сплошное благословение.

Неделю спустя Лазик вновь удостоился лестных похвал. Был канун поста иом-кипура, и господин Мойзер грустно вздыхал: как же он будет целые сутки голодать? Он пошел за советом к ребе Лезеру.

— У меня ведь подагра. И потом, я не привык... Я могу умереть. Но по закону я не могу просить вас, чтобы вы меня освободили от поста. Тогда в Книгу Судеб мне впишут какое-нибудь несчастие, и все мои акции сразу упадут. Так уже случилось с Вайсманом.

Лазик важно сказал:

— Сейчас мы это устроим. Нужны, конечно, три раввина, но такой цадик, как я, легко сойдет за троих. Наденьте ваш благородный цилиндр и вздыхайте. Я приказываю вам завтра кушать все. Отвечайте мне: «Я не хочу нарушить иом-кипур». Вот так... И вздыхайте. И я вам еще раз приказываю именем Бога и по всему строжайшему закону завтра кушать. Потому что пост грозит вашему слабому сердцу безусловным концом. Вот и все. Теперь вы можете улыбаться. Завтра вы будете кушать курицу, и в Книге Судеб запишут, чтобы ваши акции поднялись на последний этаж.

Господин Мойзер, очарованный, спросил:

— А нельзя ли устроить то же самое моему брату? У него нет подагры. Но что-нибудь у него есть. У него, например, полип в носу. Он тоже может умереть от истощения.

— В два счета...

Лазик освободил от поста не только брата господина Мойзера, но еще свыше тридцати франкфуртских евреев. Он ходил из дома в дом и за скромное

вознаграждение примирял еврейские желудки с еврейской совестью. После этого авторитет ребе Лезера окончательно укрепился. Лазик благословлял в синагоге молящихся. Он не помнил толком, как это делается, но евреи честно закрывали глаза, и он мог хоть танцевать фокстрот. Он давал советы о семейной жизни. Он ел в ресторане Шварцберга сочные котлеты. Словом, он жил припеваючи.

Как-то, сытно пообедав, шел он вместе с господином Мойзером по одной из узеньких улиц старого Франкфурта. Господин Мойзер расспрашивал Лазика, нет ли в законе какого-нибудь разногласия касательно зонтиков.

— Я не понимаю, как это нельзя носить в субботу зонтика? Ведь дождь бывает и в субботу. Я иду в синагогу, и я мокну. Говорили ли вы об этом, например, с двинским цадиком?

— Еще бы, и мы с ним нашли замечательный выход. Когда идет дождь, начинается опасность. Дождь ничуть не лучше пулеметной пули, потому что от дождя можно простудиться и умереть. По закону можно, если на вас нападают, защищаться, тогда можно взять в субботу даже палку, а дождь на вас нападает, и вы защищаетесь... В поучениях ребе...

Лазик не договорил: его схватил за руку какой-то огромный человек.

— Наконец-то я на тебя напал, мерзавец! Нахапал здесь и разоделся! Я тебе покажу, как окорок красть!..

Господин Мойзер попробовал вступиться за Лазика:

— Вы ошиблись. Это уважаемое всеми лицо. Это наш раввин.

Увы, Лазик не сомневался: перед ним стоял Отто Вормс. Ну да, от Майнца до Франкфурта рукой подать!.. Но он настолько вошел в свою новую роль, что начал кричать на разъяренного колбасника:

— Вы слышите, что я раввин? Я не только раввин, я — каганит. Вы знаете, что такое «каганит»? Это самый благородный потомок. Я не имею даже права ходить на кладбище, чтобы не огорчаться, а вы ко мне лезете с вашим нечистым окороком...

Отто Вормс саркастически расхохотался:

— Ах, теперь он стал нечистым? А когда ты его жрал у меня на глазах, он что же, был чистеньким?.. Скотина! Простите, господин, я вас не знаю, но вы

порядочный человек. Как же вы с этим негодяем знаетесь? Я его из жалости подобрал, а он меня разорить хотел. Я уж давно заметил, что он налегает тихонько на ливерную колбасу. Но у меня кроткое сердце, я молчал. Вот когда он прямо передо мной отхватил кусок ветчины, здесь я не выдержал. Тогда он улизнул, но теперь я уж отлуплю его этой дубинкой.

Лазик больше не отнекивался. Он только, виновато улыбаясь, сказал:

— Вы меня плохо кормили, господин Вормс, а ветчина была теплая, и каждый поймет, что я не мог удержаться.

Так как дело происходило не в субботу, у господина Мойзера был зонтик, и он опередил колбасника. Впрочем, Отто Вормс тоже не мешкал. Они били Лазика — один зонтиком, другой палкой, один слева, другой справа, пока тот не упал на мостовую.

28

Левка-парикмахер когда-то любил петь, залезая в ухо мыльной кисточкой: «Уй Париж, уй Париж! Это вам не голый шиш...», и, очутившись на площади Опера, Лазик вспомнил его песенку.

«Хорошо, я стою на этом углу. Но как мне перейти через улицу? Это же внезапное самоубийство. А рано или поздно мне придется перейти, нельзя ведь жить на постоянном углу. Один автомобиль, десять автомобилей, сто автомобилей, а где же проход для маленького Ройтшванеца?..»

Лазик попробовал было спустить ногу с тротуара на мостовую, но тотчас же отдернул ее, как будто попал в кипяток. «Это гораздо хуже, чем бешеная арабка!»

Вдруг он увидел полицейского, на рукаве которого было написано: «Говорит по-немецки». Лазик робко подошел к нему.

— Господин ученый секретарь! Вам не кажется, что эти коляски немного задерживают движение? Мне, например, нужно почему-нибудь перейти на ту сторону, но я еще дорожу моей предпоследней жизнью.

— Обождите. Когда я махну палочкой, вспыхнут красные диски, раздастся сигнал. Тогда вы сможете перейти.

Лазик стал ждать. Действительно, через несколько минут все обещанное совершилось. Автомобили замерли как вкопанные. Площадь в мгновение опустела, и пешеходы перепуганным стадом понеслись с одного тротуара на другой. Лазику все это очень понравилось. Он несколько раз повторил увлекательную переправу, а потом, окончательно растроганный, подошел к полицейскому.

— Можно пощупать вашу волшебную палочку? Нельзя? А вы, кстати, не Мойсей ли парижского закона? Потому что такие штуки выкидывал Мойсей, когда евреи переходили через море. Что? Я должен идти дальше? Хорошо, я пойду, но кивните еще раз этой палочкой, чтобы волны расступились передо мной.

Лазик задумался. Что же дальше? Конечно, здесь ученые секретари, и арабки, и бананы, и такая научная башня, что можно рассеять сразу весь опиум, она ведь до самого неба, и наверху, уже доказано, не какой-нибудь Бог, а только телефонная трубка без проволоки. Но что здесь делать одинокому Ройтшванецу? Начнем с того, что здесь совсем другой разговор. Из всего гомельского обращения они понимают только одно «мерси», но ведь надо еще иметь за что благодарить.

Размышляя так, Лазик вдруг услышал русскую речь. Он не стал терять времени.

— Приятно среди арабок услышать этот могучий язык. Вы, может быть, тоже из Гомеля?

Рослый мужчина подозрительно осмотрел Лазика.

— Отстаньте! Не на такого напали!

— Ага, я уже понял. Вы не из Гомеля, а наоборот. Но почему же сердиться? Я ведь московская душа-рубаха, и я еще не знаю здешних церемоний. Хотите, я вам сошью замечательные толстовки, так что вы будете в них, как два загробных графа? Хорошо, это не подходит. Точка. О кроликах я даже не заикаюсь. Я могу, между прочим, исполнить преступный фокстрот, раз здесь такая арабская жизнь. Почему вы кричите? Я не глухонемой. И напрасно вы думаете, что стоит вам побежать вприпрыжку, как я останусь здесь умирать; я вас все равно догоню. Что-что, а прыгать я умею. Вы спрашиваете меня, что я хочу? Очень просто — жить. Это, как говорили у нас на курсах политграмоты, программа-максимум, а пока что иностранные кредиты, то есть парижские пятьдесят копеек

на порцию пошлых битков. При чем тут политграмота? При всем. Вы здесь уже база, а я хочу быть вашей надстройкой...

— Идите вы к вашим большевикам!..

— Этого я как раз не могу, потому что я уже оттуда. Я служил у Бориса Самойловича, и, когда за ним пришли, мне пришлось вылететь залпом. Вы думаете, я не был кандидатом? Смешно! Я мог бы сделаться роскошным комиссаром, но в дело вмешалась нога товарища Серебрякова, и меня мигом вычистили.

Русские теперь не убегали от Лазика. Нет, они даже замедлили шаги. Они начали расспрашивать его: давно ли он из России, долго ли пробыл в партии, какие должности занимал, кого там видел? Лазик врал наугад.

— Черт их знает, куда они загибают? Они или родственники Пуке, или что-нибудь посполитое.

Когда Лазик сказал, что он с товарищем Серебряковым на «ты», что он перевозил через границу пулеметные ленты, что в Москве его выбрали в ученые секретари Коммунистической академии, но что все сорвалось от неожиданных чувств, так как он, Лазик, посидел, подумал, а потом ни с того ни с сего, ворвавшись ночью в Кремль, оскорбил там тысячу флагов, рослый мужчина шепнул своему спутнику:

— Этот болтливый жидок может пригодиться...

Почувствовав перемену, Лазик осмелел:

— Ну да, я и с Троцким говорил по душам об этой китайской головоломке... Но теперь я хочу вас спросить о другом: когда здесь главным образом обедают? Я обедал в последний раз ровно четыре дня тому назад. После этого были только прыжки через границу и новый горизонт. Кстати, из этого кафе идет откровенный запах. Знаете, чем это пахнет? Вы думаете, кофе или позорным лимонадом? Нет, я держу дерзкое пари, что это пахнет телячьей печенкой в сметане, и притом с луком.

— Слушайте, если вы действительно кающийся большевик, мы вам поможем восстановить ваше доброе имя.

— Я так умею каяться, как никто. Я уже начал каяться два года тому назад из-за пфейферовских брюк, и с тех пор я только и делаю, что каюсь. Насчет доброго имени вы тоже не беспокойтесь: в крайнем случае можно обрезать «Ройт», если здесь

другая красочная мода. Я буду просто «Шванец» как таковой, без всякой партийной окраски.

— Вы сделаете публичный доклад. Это очень просто. Мы вам наметим, о чем говорить. А сбор поступит в вашу пользу. Но раньше всего мы вас ознакомим с нашим национальным движением.

Здесь Лазик стал суровым и непримиримым.

— Нет, прежде всего вы ознакомите меня с этим запахом. Мы зайдем в кафе и там устроим ваше национальное передвижение.

— Что же, можно зайти выпить аперитив. Гарсон, три пикона!

Лазик взволновался.

— Пожалуйста, без арабских штучек! Вы хотите, чтобы я читал громовой реферат, а даете мне какие-то мокрые анекдоты.

Игнат Александрович Благоверов, рослый мужчина и редактор национального органа «Русский набат», снисходительно улыбнулся.

— Это здесь все пьют. Это — для аппетита.

Тогда Лазик вскочил, он начал неистово топать ногами.

— Для аппетита? Это для уголовного преступления! Если я и так готов зарезать живого человека, после этого я его наверное зарежу. Дайте мне моментально печенку в сметане или хотя бы большую булку, не то я выпью эту провокацию, и тогда я зарежу весь Париж!

Съев бутерброд, Лазик деликатно заметил:

— Вам придется разориться, потому что аппетит продолжается. Если бы у меня не было аппетита, разве я стал бы с вами разговаривать? Я бы лучше переходил с утра до ночи ту замечательную площадь. Сосиски? Очень хорошо. Теперь вы уже можете передвигаться.

Игнат Александрович многозначительно откашлялся.

— Прежде всего, пусть вас не смущает... Как бы это сказать?.. Ну, происхождение. В нашей организации уже состоит один еврей. Когда он увидел, что из этих «свобод» вышло, он первый пришел к нам с повинной. Он рыдал: «Я дрожу, как Иуда. Евреи продали нашу матушку-Россию. Где мощи святителя Питирима? Где звон сорока сороков?..» Мы его простили. Он в нашей газете теперь работает по сбору объявлений. Так что вы не горюйте. Мы к вам отнесемся как

к счастливому исключению. Наше мощное движение возглавляет его императорское...

Здесь Лазик прервал Игната Александровича:

— Надо обязательно подобрать живот или достаточно мысленно? Потому что после всех сосисок это мне не так-то легко...

Но Игнат Александрович не слушал его. С пафосом повторял он последнюю статью «Русского набата».

— «Трепещите же, милюковские палачи в застенках! С нами весь цивилизованный мир и сорок веков русской истории. Романовы создали Россию, и вся наша православная страна, притаив дыхание, ждет державной поступи августейшего хозяина». Так или не так?

— Конечно, так. Пфейфер, тот не может дождаться. Целый день глядит в окно. И насчет дыханья вы тоже удивительно подметили. Кто же станет там нахально дышать, когда здесь уже раздается эта августейшая поступь?

Выпив еще два пикона, Игнат Александрович потрепал Лазика по плечу:

— Приятный жидок! Хорошо, что ты сразу попал к нам, а не в «Свободный голос». Там ведь одни чекисты сидят. Жид жида погоняет. И платят пятачок за строку. А у нас тебе лафа будет. Завтра же пущу интервью. Василий Андреевич, набросайте. Крупным шрифтом: «Покаяние чекиста». Начните так: «Вчера в помещение редакции, обливаясь слезами, ворвался палач...» Как вас?.. «...палач Шванец. Он кричал: «Я прошу прощения у невинных вдов и сирот. Вся подневольная Русь слышит удар вашего «Набата». В Каргополе выведенная из терпения толпа буквально растерзала еврейского комиссара». Ну, а дальше вы сами... Не забудьте только про «Свободный голос»: «В Пензе все возмущены провокацией Милюкова». Валяйте вовсю! Слушай, жидок, я тебе завтра и за интервью заплачу. Двадцать франков дам, честное слово!

Здесь молчаливый компаньон Игната Александровича вдруг заговорил:

— Мне, Игнат Александрович, второй месяц жалованья не платят. Зима на носу, а я еще в летнем пальто щеголяю...

— Об этом, брат, после поговорим. Сейчас у нас государственные дела. Так вот что, Шванец, ты за доклад сотню-другую получишь, но это ведь нечто единовременное. Сам понимаешь, нельзя каждый день

доклады устраивать. А ты можешь хорошую деньгу заработать. У тебя связи там, а нам повсюду нужны верные люди. Займись-ка организацией.

— Что же, это я могу. Я уже размножал в Туле мертвых кроликов, и я из вас сделаю самый замечательный урожай. Скажем, вас сейчас двое, не считая этой поступи. Остается взять карандашик. К осени будущего года у вас может быть шестьсот двенадцать тысяч четыреста тридцать восемь голов. Это же дважды два и месячное жалованье.

После четвертого пикона Игнат Александрович отяжелел. Растроганный, он бормотал:

— Молодчина ты, Шванец! Хоть жид, а любишь матушку-Россию. Я тебя выведу в люди. В «Набате» — построчные. За организацию — фикс, подъемные, суточные, разъездные. Потом я тебя с румынами познакомлю. Славные ребята! Принимают вежливо, не как англичане в передних выдерживают, нет, эти за ручку здороваются, папиросами угощают. И платят аккуратно, долларами. Ты им о Каргополе расскажи. Ну, и насчет пулеметов. А если о Бессарабии начнут спрашивать, улыбайся. Я их чем взял? Улыбкой! «На что, говорю, нам ваша Бессарабия? У меня было именьице в Калужской, так я день и ночь плачу — почему вы до Калуги не дошли». Понимаешь? Мы здесь дипломатами стали. Я да вот Василий Андреевич, это корпус наш, ха-ха! Деньги на бочку!..

— Парижское вам мерси. Конечно, в Румынию я не ездок. Довольно с меня польской музыки. Но здесь я с ними столкуюсь в одну минуту. Я же тоже из вашего корпуса, хотя мне ничего не кладут на бочку. Я уже подарил полякам Тулу. Почему же мне жалеть этим румынам Калугу?

Четыре пикона пробудили наконец в Игнате Александровиче аппетит, и он ушел обедать. Молчаливый Василий Андреевич повел Лазика в ресторан «Гарем де бояр». Вспомнив летнее пальто, Лазик предусмотрительно спросил:

— Вы, может быть, как Архип Стойкий, то есть забываете бумажник дома? Так у меня в кармане дыра.

— Не бойтесь!

Василий Андреевич нежно похлопал себя по груди.

— Я с вами остался, чтобы предупредить вас. Этот Благоверов хитрая бестия. Он выжмет из вас все и потом — за шиворот. Он всегда так поступает. Его самого скоро выставят. Тогда я буду главным. По-

милуйте, он только одним занят: нашел подставного жидка и через него продает большевикам какие-то удобрения. Хорош патриот! А насчет румын он тоже врет. Вы мне с первого взгляду понравились. Румыны эти — жулье. От них десяти франков не добьешься. Я вам другое предложение сделаю. Только давайте-ка сначала закусим.

— Я уже выбираю вас, а не этого калужского румына. Вы мне тоже понравились, если не с первого взгляда, так с первого слова. Сразу видно, что вы главный патриот, вы ведь начинаете не с чего-нибудь, а с закуски. Но что они несут сюда? Это же не снилось даже госпоже Дрекенкопф!..

— Да, кормят здесь неплохо. Вот попробуйте икорки — наша, родная, астраханская. Я сюда поставляю. Достаю через одного прохвоста у большевиков, а потом перепродаю. Надо чем-нибудь жить. Теперь поговорим о деле. Одним «Набатом» не прокормишься. Я сведу вас с хорошими людьми. Не люди — золото. Чеки из Ревеля. Знаете Ревель?

Лазик задумался.

— Ревель? Это, кажется, кильки?

— Это, друг мой, не только кильки. Это английские фунты. Это целое государство. Вы им там три слова насчет Троцкого, а чек — в кармане. Идет? Водочки? За ваше здоровье! За наше национальное движение! За его...

— Пожалейте мой живот! Я его не в силах каждую минуту подбирать. Лучше уж выпьем за кильку.

— Ура!

Вначале Лазик крепился. Он пил водку, ел бефстроганов и вел с Василием Андреевичем дружескую беседу.

— Здесь же совсем как в «Венеции». Скажите мне, кстати, в какую дверь нужно будет бежать?

— Да, здесь уголок старой России. Великое дело — традиции народа. Знаете, кто подает нам? Полковник. Ей-ей! А дамы!.. Татьяна Ларина! «Я вас люблю, чего же боле...» Просто, как скипидар. Мы этого Благоверова по шапке!.. Вот, знакомьтесь. Наш агент по сбору объявлений, господин Гринштток.

Лазик оживился.

— В Гомеле тоже есть Гринштток, он даже заведует показательными яслями. Вы не родственник ли?

Господин Гринштток негодующе отмахнулся от Лазика.

— У меня нет родственников среди кровавых палачей.

Нагнувшись к Лазику, он зашептал:

— А если это даже мой брат, то что за глупые разговоры? Я же собираю для них объявления. Сегодня я набрал целых три: два ночных бара и один венерический доктор. Я могу теперь даже поужинать.

Все труднее и труднее было Лазику думать, а Василий Андреевич приставал с вопросами:

— Продиктуйте мне хоть десять фамилий известных вам большевиков. Мы готовим списки, чтобы знать, кого истребить, когда настанет минута.

— Десять фамилий? А сколько было рюмок? Пять? Ну вот вам, пишите: Троцкий, Ройтшванец, Борис Самойлович... Еще? Хорошо. Кролик. Это партийная кличка. Гинденбург. Дрекенкопф. Килька. Я вовсе не пьян, это тоже кличка, и довольно меня истязать! Что я вам — адрес-календарь? Я же понимаю, вы хотите все это отнести эстонцам и получить чек в кармане. А что останется мне?

Охмелев, он кричал:

— Я румынский бдист: я с Троцким на «ты»! Я — весь в пулеметах!

Его били. Его качали. Он уже ничего не помнил. Как уверял потом Василий Андреевич, он схватил банку с кильками и пытался всунуть по рыбке каждому посетителю.

— Уже готовый чек!.. Подарим им Париж со всеми арабками!.. Да здравствует поступь!..

Летели стаканы, бутылки, столы. Под конец Лазика вывели на улицу. Подошел полицейский. Василий Андреевич вступился за своего собутыльника:

— Это ничего, он немного выпил. Он палач, и он кается. Он ищет облегчения. Славянская душа!

Выслушав это, полицейский вежливо взял Лазика под руку и довел его до ближайшей уборной. В мутных глазах Лазика вспыхнул огонек сознания. Восторженно рыкнул он полицейскому:

— Только вы один меня поняли. Мерси! И еще раз мерси!

29

Перед самым докладом Лазик вдруг загрустил. С трудом вскарабкался он на высокую кровать плохонького номера, где поселил его Василий Андреевич, и предался горестным размышлениям:

— Я же был честным кустарем-одиночкой. В могучий праздник Первого мая я шел со всеми портными, и над нами реял еще не оскорбленный флаг с серебряным наперстком. И вот я дошел до этих бешеных килек. Ах, мадам Пуке,— вы видите, я зову вас по-парижски, не как-нибудь, а мадам,— ах, мадам Пуке, что вы сделали с Ройтшванецем? Сейчас мне нужно идти своими ногами на этот стопроцентный погром, как будто я не знаю их шведскую гимнастику.

Меланхолично Лазик расстегнул ворот рубашки и, прищурив один глаз, стал разглядывать свое тело, сплошь покрытое синяками.

— Вот этот — еще посполитый... А эти два от рыбьего жира... Этот? Не помню... Может быть, после разговора об окороке, а может быть, из-за обезьяньего хвоста... Ну, а это — парижские... Интересно бы спросить какого-нибудь философского доктора, сколько может вынести обыкновенная еврейская жилплощадь? Мне, например, кажется, что я уже уплотнен. Но вся беда в том, что синяк ложится на синяк, и это вечное землевращение. Пора идти! В животе уже журчат мелодии, и Карл Маркс недаром зарос бородой, он кое-что понял до самой точки. Вместо всех ученых слов можно сказать одно: «Аппетит передвигает обширное человечество».

Дойдя до этого, Лазик зажмурил глаза: он увидел перед собой рубленые котлеты с картошкой. Он стал вспоминать — а как они пахнут?.. Долго он лежал так, переживая клецки госпожи Дрекенкопф, шкварки на свадьбе Дравкина и даже охотничью колбасу. Его привел в себя раздраженный голос Василия Андреевича:

— Вы с ума сошли?.. Там все собрались, а вы здесь дрыхнете!..

Действительно, в зале было человек тридцать слушателей. В первом ряду сидели глубокие старики, с виду похожие на камердинеров. Они жевали лакричные лепешки и порой подхрапывали. Сзади бодро гудели молодые люди, щеголяя модными пиджаками в талию. На эстраду взошел Игнат Александрович. Он был постоянным председателем кружка «Крест и скипетр».

— Я предоставляю слово кающемуся большевику Лазарю Матвеевичу Шванецу. Он ознакомит нас с национальным движением на родине. Я прошу

присутствующих в зале вдов и вдовцов сохранять спокойствие. Хотя на совести Шванеца много пятен, но он честно покаялся и хочет вернуться на родину, чтобы активной борьбой против насильников смыть с себя прошлый позор.

Лазик жалобно оглядел зал, люстру, стол, покрытый зеленым сукном, с графином воды и колокольчиком, самого себя. Поздно!.. Ничего не поделаешь... Он встал, вежливо раскланялся, улыбнулся.

— Товарищи...

Молодые люди в ответ угрожающе зарычали. Лазик съежился.

— Извиняюсь, из меня иногда выскакивает гомельский оборот. Я же понимаю, что здесь нет никаких товарищей, но скажите мне, кстати, как вас называть: «господа полицейские доктора» или «паны ротмистры»?

Игнат Александрович потряс колокольчиком.

— Вы должны обращаться к аудитории «милостивые государи и милостивые государыни».

— Очень хорошо. Милостивые государи императоры и даже государыни, хоть государынь здесь нет, а всего одна во втором ряду, я начинаю прямо с национальных меньшинств, так как этот блондин уже кричит мне, что я жид. Так я не жид, а только скромный Мойсей его императорского закона. Возьмем исторический разрез. Бывают, конечно, жиды. Они нахально шьют брюки или даже заведуют в Гомеле кровавыми яслями. Они неслыханно смеются потому, что продали Христа и матушку-Россию, все вместе за каких-нибудь тридцать серебряных рублей. Но тот же милостивый государь Гриншток вовсе не продает матушку — наоборот, он национально передвигается. Он собирает для «Русского набата» венерические объявления, и, значит, он не жид, а симпатичный Мойсей. Итак, я прошу этого блондина успокоиться, потому что я не люблю, когда кричат. Я сейчас тоже как Гриншток, и вы должны слушать меня с совершенным почтением.

Сзади кричали:

— Чекист! Палач! Что же он не кается?.. Позор!

Игнат Александрович снова прибег к помощи звонка.

— Помещение сдано до двенадцати. Кроме того, мы должны считаться с метро. Прошу уважаемую аудиторию вести себя сдержанно, а вас, Лазарь Матвеевич, ввиду позднего времени я прошу начать каяться.

— Как будто это так легко? Я же забыл, что вы мне там говорили, и я не знаю, в чем мне каяться. Я, конечно, могу покаяться в случае с кильками, но зачем было мне давать рюмку за рюмкой? И потом, если я даже кидал рыбки, то там один государь кинул в меня целый поднос. Это же тяжелее!..

Блондин не унимался:

— Скольких ты расстрелял, чекистская собака?

— Господин председатель, если этот милостивый блондин не перестанет меня прерывать, я потеряю нить. Я только хотел перейти к положению на родине, как он уже констатирует, что я собака. И потом, нельзя приставать с глупыми вопросами. При чем тут выстрелы? Я не стрелок. Я портной. Но если этот молодняк грозит разбить мне морду, я скажу, что я уже расстрелял все семь тысяч. Я стоял и стрелял из пулемета, а они, конечно, падали, и в них вонзались ужасные пули, и они кричали: «Что это за шутки, чекистская собака? Если ты не перестанешь нас расстреливать из пушек, мы сейчас же позовем милицейского». Но я был глух к этим воплям сирот. Я расстрелял Пфейфера в моих же артистических брюках. Теперь вы довольны? Я перехожу к текущему моменту. О факте с Каргополем вы уже знаете из газет, а вообще я не учился стройной географии. Зачем настаивать на деталях, когда мы должны считаться с каким-то метро? Достаточно сказать, что вся матушка-Россия ждет вас без дыхания. Вас так ждут, что, когда звонит, например, почтальон или, хуже того, постыдная прачка, все ошибаются и бегут с анютиными глазками навстречу, и потом они плачут, что вместо белого коня неприличные кальсоны. А поступь? Об этом же нельзя говорить без крупных слез. Идет, скажем, по лестнице Ткаченко, а Борис Самойлович уже шепчет мне: «Ты слышишь эту поступь?» Я только одного не понимаю: почему вы не приходите? Нельзя так играть с человеческим терпением! Я, например, был верен Фене Гершанович, хоть она и чирикала с Шацманом. Но сколько я мог ждать при своем телосложении? Я ждал и ждал, а потом увидел Нюсю, и все полетело прахом с табуретки. По-моему, вам уже надо двигаться, сначала на это беспощадное метро, а потом к самой матушке.

Молодые люди, покинув свои места, столпились вокруг эстрады.

— Позор!.. Что за ерунда... Как он смеет, пархатый?.. Мы его проучим!..

— Дайте оратору возможность закончить свой доклад,— взывал председатель.

— Долой! К черту!

Звонок отчаянно дребезжал. Лазик прикрыл лицо руками.

— Вы хотите, чтоб я закончил? Я уже закончил. Что? Надо еще говорить? Хорошо, я попробую. Большевики, конечно, пломбированные изменники, потому что нельзя пропускать такой хорошей оказии. Им не дают иностранных кредитов? Значит, они не умеют разговаривать. Но здесь живет ваш удивительный корпус, и я теперь знаю, как поступать. В одной партии могут быть две фракции или даже десять фракций. Это бывает и в Гомеле. Главное, чтобы все сразу подымали руки. Тогда получается железная дисциплина. В чем различие, скажем, между Игнатом Александровичем и Василием Андреевичем? Один ходит к румынам и сует им Бессарабию, а другой получает чеки от килек. Но можно же пойти и к румынам, и к килькам. Это вопрос ног. А в Париже, как я вижу, на тридцать сребреников не проживешь, раз в этом «Гареме» бешеный бефстроганов. Я молю вас, отодвиньте ваш кулак! Я уже вношу конкретное предложение: если, например, взять в узелок Москву и отнести ее... При чем тут ваши руки? И если вы должны обязательно меня бить, то бейте сзади, чтоб я хоть не видел кровавых следов. Караул! Вы опоздаете на метро!..

Вдруг счастливая мысль осенила Лазика. Быстро схватил он со стола графин и стал поливать публику. Когда же кончилась вода, он метнул в зал графин, стакан, звонок. На шум пришел сторож.

— Господа, помещение снято до двенадцати. Будьте любезны немедленно разойтись!

Лазик первый подчинился его приказанию. Быстро нырнул он в дверь.

Но сейчас же голова его вновь показалась:

— Милостивый председатель, а где ваш чистый сбор на два-три голодных бутерброда?

30

На улице к Лазику подошел тощий еврейчик и дружески сказал:

— Ах, вот и вы!.. Вам, может быть, нужен пластырь? Я всегда на себе ношу: я ведь репортер «Сво-

бодного голоса», и я должен бывать на всех эмигрантских собраниях.

— Пластырь? Вы смеетесь! Мне нужны военные перевязки, а пока что пять франков на закуску.

— Пойдемте в «Ротонду». Там подкрепитесь. Ну, теперь вы увидели, что это за публика? Вы должны были прийти к нам. У нас даже если любят какого-нибудь патриарха, то не устраивают сразу погром. Вы же свежий человек, недавно из России, и вы знаете, кого там ждут. Великий князь категорически ни при чем. Там ждут только выборов в парламент. Вы не заметили этого? Ну да, вы еще запуганы. Вы проживете здесь годик-другой, и тогда вы заметите. Мы понимаем, что некоторые труженики и там трудятся. Нужно уметь отделить хлебец от плевел. Мы вовсе не ставим на всем крест. Возьмите писателей. Они продались, это само собой понятно. Но есть исключения. Кто же из нас не чтит Пушкина или даже Айвазовского? Словом, с нами вам будет легко сговориться. Вы прочтете небольшой доклад...

Лазик прервал его:

— Ни за какие бананы! Лучше уже прыгать с хвостом.

— Ну, не волнуйтесь! Подкрепитесь сандвичами. Сейчас мы пойдем в редакцию. Я вас познакомлю с заведующим экономическим отделом. Это умница, голова, первый социолог. Европейская знаменитость! Он вам все растолкует лучше меня. Я ведь не политик, я, собственно говоря, комиссионер. Вот если вам понадобится, например, квартира с крохотными отступными или хорошие дамские чулки по двадцать семь франков за пару, тогда вспомните Сюскинда.

Заведующий экономическим отделом Сергей Михайлович Аграмов принял Лазика чрезвычайно любезно. Он долго расспрашивал его о состоянии посевов, о росте оппозиции в Красной Армии, о ценах на мадаполам, даже о количестве абортов, причем сам же отвечал на все эти вопросы. Наконец Лазик заинтересовался:

— Вы таки европейская голова! Я гляжу и удивляюсь: как вы можете сразу и говорить, и писать? Это, наверное, фокус. А можно спросить вас, какой словарь вы там сочиняете?

— Я записываю ваши слова.

— Мои слова? Это уже два фокуса. Ведь я все время молчу, как дрессированная рыба.

— Вот послушайте: «Беседа с крупным советским спецом. На первый же наш вопрос о московских настроениях X ответил: «...«Русский набат» не пользуется авторитетом. Население с нетерпением ждет...»

— Вы можете дальше не читать. Тот, с дамскими чулками, мне уже объяснил, кого ждет все обширное население.

Тогда Аграмов сострадательно взглянул на Лазика.

— Я вижу, что вы насквозь пропитались советской заразой. Это ужасно!.. Пионеры... Октябрята... Растление детских умов...

— Извиняюсь, господин социолог, но мне уже тридцать три года, и я даже был полтора раза женат, считая за половину этот случай из-за клецек.

— Вам тридцать три? Вы вдвое моложе меня. Политически вы младенец. Как ужасно, что .огромной страной управляют такие дети! Вы сейчас будете ссылаться на Маркса. Но разве вы знакомы с первоисточниками? Страна с отсталым хозяйством не может претендовать на мировую гегемонию. Эти щенки думают, что они открыли Америку. Они случайно захватили власть. Они у меня отняли кафедру. Они должны уйти. Я могу сейчас же доказать вам это цифрами.

— Нет, не доказывайте. Я очень плохо считаю. Я на кроликах просидел три дня. Потом, зачем же вам в таком почтенном возрасте истреблять себя какой-то арифметикой? Вы думаете, мне вас не жаль? Даже очень. Вы, такой европейский счетчик, пропадаете с дамскими чулками. Я понимаю вашу ученую грусть. Я, конечно, не могу с вами спорить, потому что вы, наверное, кончили четыре заграничных университета, а меня до тринадцати лет кормили одним опиумом, так что я из всего Маркса знаю только факт и бороду. Но все-таки кое-что я понимаю. Ведь не один Маркс был с бородой. Я, например, могу осветить ваше позднее положение одной историей из Талмуда. Вы же не скажете, что Талмуд — это большевистская выдумка. Нет, Талмуд они даже хотели изъять из Харчсмака, и ему еще больше лет, чем вам. Так вот, там сказано о смерти Мойсея.

На личности, кажется мне, нечего останавливаться. Вы ведь только заведуете одним отделом, и значит, вас здесь десять или двадцать умниц. А Мойсей был всем: и, как вы, социологом, и генералом, и даже писателем, словом, он был европейской головой. Но так как евреи пробродили, шуточка, сорок лет по пустыне, он успел

состариться, и, не принимайте это за справедливый намек, ему пришло время умирать. Бог ему спокойно говорит: «Мойсей, умирай»,— но тот отвечает: «Нет, не хочу». Это же понятно!.. Так они спорят день и ночь. Когда я об этом читал в хедере, у меня волосы становились дыбом. Наконец Богу надоело. Он говорит: «Ты был полным вождем моего народа, но ты стар, и ты должен умереть. У меня уже готов кандидат. Это Иегошуа Навин. Он моложе тебя, и он будет полным вождем». Мойсей весь трясется от обиды. Он говорит: «Но я же не хочу умирать. Хорошо. Я не буду больше вождем. Я буду гонять простых баранов. Но только позволь мне еще немножечко жить». Что же, Бог смутился: тогда еще на земле было мало людей, и он, наверное, не успел привыкнуть к человеческой смерти. Решено: старый Мойсей будет погонщиком баранов, а молодой Иегошуа будет полным вождем. Вы слышите, что за обида? Это похуже вашей кафедры! Весь день несчастный Мойсей гонял баранов, а вечером все собрались у костров, чтобы слушать умные разговоры. Все, конечно, ждут, что Мойсей начнет свою лекцию, но Мойсей молчит, Мойсей бледнеет, как эта стенка, и со слезами Мойсей говорит: «Я стар, и меня прогнали. Вот вам Иегошуа, он теперь знает все — и куда нужно идти из пустыни, и как получать манну, и как жить, и как радоваться, и как плакать». Что же, народ — это всегда народ. Они для приличия повздыхали и пошли к Иегошуа, а Иегошуа в это время уже разговаривал с Богом обо всех текущих делах. Мойсей так привык к этим беседам, что он тоже подставил ухо. Он кричит Иегошуа: «Ну, что тебе сказал Бог?» Иегошуа молод, и, значит, он еще петух, ему наплевать на стариковские слезы. Он и отвечает: «Что сказал, то сказал. Когда ты был полным вождем, я, кажется, тебя не спрашивал, о чем ты беседуешь с Богом. Нет, я тебя просто слушался, а теперь ты должен слушаться меня». И Иегошуа начал первую лекцию. Мойсей слышит, что Иегошуа еще молод, то не знает, об этом забыл, и он хочет вмешаться. Но нет у него больше ни огня, ни разума, ни настоящих слов. Он говорит, а народ его не понимает. Еще вчера они его носили на руках, а сегодня они ему кричат: «Ты бы лучше, старик, пошел к твоим баранам». Вот тогда-то не выдержал Мойсей. Кто знает, как он любил жизнь, как не хотелось ему умирать! Но

он все-таки не мог пережить свое время. Он так громко крикнул, что порвал все облака: «Хорошо, я больше не спорю. Я умираю». Конечно, господин социолог, вы не Мойсей, и я вовсе не хочу вашей преждевременной смерти. Нет, я знаю, что каждому человеку хочется жить, даже мне, хоть я самый последний пигмей. Но вы не должны сердиться на какого-нибудь нахального пионера. Он же не виноват, что ему только пятнадцать лет. Он молод, и он крикун, и он плюет на все. Он, может быть, на вашей дубовой кафедре устраивает танцы народностей. Что делать — на земле нет справедливости. Но если вы такой умница, почему вы ему кричите: «Вон!» Он же не уйдет, а вы уже ушли, и вы с баранами, и точка. Пошлите-ка лучше за бутылкой вина, и мы с вами выпьем за нашу мертвую молодость.

Аграмов иронически прищурился.

— Ваше сопоставление не выдерживает критики. Параллели в истории вообще опасны. В данном случае была эволюция, смена поколений, прогресс. У нас же произошел насильственный разрыв. Революция — это преступление, коммунизм — это ребяческая затея. Только невежественные люди могут верить в утопии. Современная социология...

— Стойте! Вы снова хотите меня убить вашей дубовой кафедрой? Я же не знаменитость. Я с вами говорю по душам, а вы устраиваете дискуссию. Вы думаете, я не знаю, что такое революция? Спросите лучше, сколько раз я сидел на занозах. Не будь этих исторических сцен, я бы теперь спокойно утюжил брюки дорогого Пфейфера. Я ее вовсе не обожаю, эту революцию. Она мне не сестра и не Фенечка Гершанович. Но я не могу кричать: «Запретите тучи, потому что я, Ройтшванец, ужасно боюсь грозы и даже прячусь, когда гроза, под подушку». Конечно, гроза — большая неприятность, но говорят, что это нужно для какой-то атмосферы, уж не говоря о дожде, который ведь поливает всякие огороды. Вы напрасно меня спрашиваете об уклонах командного состава или о беспорядках в Бухаре. Этого я не знаю, и все равно вы напишете это сами. Лучше я расскажу вам еще одну историю о том же Мойсее. Она, может быть, подойдет к нашему разногласию. Мойсей тогда еще был молод. Он был не вождем, а только ясным кандидатом. Вдруг Бог говорит ему: «Иди сейчас же к фараону и скажи ему, чтоб он отпустил евреев на свободу».

Мойсей отправился впопыхах, разыскал египетский дворец, оттолкнул всех швейцаров и говорит фараону:

«Отпусти сейчас же евреев на свободу, не то тебе будет худо».

Фараон прищурился, вроде вас:

«Что за невежливая утопия? Кто ты такой?»

«Я посол еврейского Бога Иеговы».

«Иеговы?»

Фараон даже наморщил лоб.

«Ие-го-вы! Я такого Бога не знаю. Эй вы, ученые секретари, притащите сюда полный список всех богов!»

Секретари притащили целую библиотеку, потому что богов в то время было гораздо больше, чем теперь таких умниц, как, скажем, вы. День и ночь все ученые Египта просматривали списки. Вот бог с собачьей мордой, а вот с рыбьим хвостом, но никакого Иеговы нет и в помине. Тогда фараон расхохотался:

«Ну, что я говорил тебе? Такого Бога вообще нет, раз его нет в нашем замечательном списке, а ты нахальный мальчишка, и убирайся сейчас же вон!»

Но вы, конечно, знаете, господин социолог, что фараону пришлось очень худо. Что вы там снова записываете? Факт с фараоном?

— У меня нет времени для исторических анекдотов. Я заканчиваю интервью с вами. «Х подтвердил также, что постановка высшего образования не выдерживает никакой критики. Вузы — образец запущенности, невежества, хулиганства. Старые кафедры занимают теперь полуграмотные юноши». Я, кажется, хорошо изложил ваши мысли? Теперь вы можете идти.

Лазик вздохнул.

— Пусть это будут мои мысли. Вы же кончили четыре университета, и все равно мне вас не переговорить. Тогда сосчитайте, пожалуйста, строчки или дайте мне просто на глаз какие-нибудь двадцать франков.

Аграмов удивленно взглянул на Лазика.

— Какие франки? Какие строчки? Вы здесь абсолютно ни при чем. Это — моя статья. Будьте добры немедленно покинуть это помещение.

31

«Куда мне идти? Переходить без конца площадь, пока меня не раздавит какая-нибудь рассеянная арабка? Или взобраться на эту научную башню и от-

туда прыгнуть вниз? Все равно рано или поздно придется умереть. Да, но одно дело — умереть, хорошо покушав, выпив, поговорив. Это даже не смерть, это интересный сон на кушетке. А умереть натощак скучно. Ведь я сейчас еще не подготовлен к таким музыкальным минутам. Все, конечно, увидят, что летит с башни печальный человек, и снимут шляпы: вот он падает вниз и думает о горных вершинах. А я, как самый низкий нахал, буду думать в это самое время о вчерашних сандвичах в «Ротонде». Если приподнять верхнюю крышку — волнующий сюрприз, например, сыр или даже паштет... Нет, я еще не готов к смерти, и лучше всего пойти в «Ротонду». Может быть, там я найду этого Сюскинда с чулками? Я выпрошу у него если не весь сюрприз, то хоть верхнюю крышку».

Лазик робко вошел в «Ротонду», но, оглядевшись по сторонам, он тотчас же оживился. Правда, Сюскинда в кафе не было, зато он увидел немало посетителей подходящего вида. Они отличались от других парижан как меланхолическим взглядом, так и грязным бельем.

«Наверное, они если не из Гомеля, то возле».

Лазик подошел к ближайшему столику:

— Вы, может быть, гомельчанин?

— Ничего подобного. Я как раз из Кременчуга.

— Ну, это недалекое яблоко. Я так и подумал, что вы из окрестностей. А чем вы здесь интересуетесь? Дамскими чулками или обстановкой?

— Вы таки в Гомеле отстали! Кто теперь станет возиться с чулками на модели или с комодом? Вы, может быть, скажете, что я беру еще яблоко или бутылку? Как будто теперь — это год тому назад! Когда мне нужен натюрморт, я не задумываюсь. Я беру кусок мяса, или птицу, или даже кролика.

Лазик не выдержал, он облобызал меланхолического незнакомца.

— Я тоже! Я тоже! У нас совсем одна душа!

Незнакомец, однако, подозрительно нахмурился.

— Вы, может быть, хотите подражать мне? Так этот номер не пройдет. Достаточно меня и так обкрадывают. Я вам не покажу моих картин, а если б я их показал вам, все равно вы ничего бы не сумели сделать. Кончено время голых штучек! Теперь всякий порядочный торговец требует, чтобы была чувствитель-

ность. Вот видите, за тем столом сидит Ленчук — он меня всегда обкрадывает. А там, в рыжей шляпе,— это Монькин. Он взял мою тушу и немножко передвинул ее. Но у торговцев есть еще нос. Они видят, что мой кусок мяса весь дрожит. Они не дураки, если платят мне за пятнадцатый номер тысячу двести.

Сидевшие вокруг поддакивали:

— Его мясо звучит... В «Осеннем салоне» возле его картины была такая толкотня, что даже поставили полицейского.

— Вы же не знаете, с кем вы говорите? Это Розенпуп, и его имя на всех заборах. О нем столько пишут, что даже нельзя прочесть. Это о нем критик Куйбон сказал вслух: «Розенпуп сын Ренуара, и он скоро проглотит отца, как Зевс проглотил Хроноса». Здорово?

— А бездарные Монькины пробуют еще рыпаться! Но они сидят в «Ротонде» и пьют несчастный кофе, а за Розенпупом охотятся американцы.

Розенпуп расчувствовался:

— Сегодня можно немножечко выпить. Я продал два мяса, и я ставлю. Но с чего мы начнем? С пива или с коньяка?

Лазика не приглашали. Грустно стоял он в сторонке. Наконец, не выдержав, он взмолился:

— Извиняюсь, но подарите мне счастье сидеть рядом с вами. Я только сяду, и я ничего не буду пить. Я хочу вам сказать, что я вас обожаю. Я читал ваше имя на заборе, и я плакал вслух. О мясе я уже не говорю. При чем тут идиот Монькин? Он крадет объедки, а у вас хороший жирный кусок. Вы думаете, в Гомеле о вас не слыхали? Там только и говорят, что Кременчуг перепрыгнул всех. Я сам читал о вас реферат. Я кричал: «Этот сын Зевса проглотит все, что ему только захочется». Кстати, у меня уже жажда. Вы, конечно, угостите меня? Я хочу кофе и штучки с сюрпризами, чтобы внутри был паштет или ветчина, только, пожалуйста, три кофе и пять штучек. Вы не удивляйтесь, я вовсе не нищий, я сегодня уже обедал, и мое имя тоже будет на заборе. Это у меня такая привычка — глотать хлеб залпом. Я ведь большой оригинал.

Закончив кофе и бутерброды, Лазик решил поговорить по душам.

— Здесь очень симпатичная жизнь! Это гораздо приятней, чем каяться перед поступью. Но скажите мне, мосье Розенпуп, у вас, может быть, мясная лавка

с приложением дичи или вы просто знаменитый повар, потому что я не понял двух-трех парижских оборотов?

В бешенстве Розенпуп разбил все рюмки.

— Он смеет острить, этот негодяй! И еще после пяти сандвичей! Я же сразу почувствовал, что он снюхался с Монькиным и Ленчуком. Когда вы разговариваете с первым художником мира, вы вообще должны молчать. Я знаю, вы хотите меня обокрасть! Стащить зеленого кролика или тушу. Но это не пройдет! Я вас не пущу на порог. И убирайтесь вместе с Ленчуком подкупать критиков, чтоб они обо мне не писали! Как будто я не знаю, кто устраивает это молчание после «Салона»! Ленчук и вы. Кто у меня отбил всех торговцев, так что я теперь ничего не продаю? Монькин и вы. Убирайтесь, а то!..

Лазик предпочел не дослушать угрозы. Зачем расстраивать себя после стольких вкусных сюрпризов? Он быстро встал, сказал «мерси» и направился к Монькину.

— Мосье Монькин, будем уже знакомы. Что? Вы не знаете, с кем говорите? Это таки странно. Я, например, уже знаю о вас все подробности. Я еще в Москве повсюду кричал: «Монькин проглотил Зевса». Мы там стояли и удивлялись, как ваше мясо гудит. Смешно, когда этот дурак Розенпуп пробует вас обокрасть. У вас, наверное, есть американский замок, а он голая бездарность. Я сидел сейчас с ним, и я швырнул ему всю правду в лицо, так что он разбил четыре стакана. Но с вами я говорю как с вполне равным. Вы спрашиваете, кто я? Я — Лазик Ройтшванец, и я второй художник мира, если вы, скажем, первый. Мы можем устроить могучий союз. Правда, моего имени еще нет на заборах, но это потому, что я временно скрываюсь: ведь за мной охотятся настоящие американцы. Я тайная знаменитость. Где мои картины? Уже в торговле. Адрес я не могу вам сказать. Это ужасный секрет. Я скажу вам его через несколько дней. Я даже возьму вас в эту огромную торговлю. А теперь поговорим о текущем моменте. Пить я больше не хочу, но я пойду к вам ночевать, потому что я еще не нашел в Париже подходящего помещения. Не бойтесь, я вас не буду обкрадывать, я не ничтожество Розенпуп.

Монькин оживился.

— Это вы правильно говорите. Настоящее ничтожество! Он смеет еще кричать всем критикам, что

я пачкун. Он же ничего не понимает в живописи. Он так отстал, что на него смешно глядеть. Да, теперь нужно пачкать, нужно кидать краску, чтобы чувствовалось мясо, а он не пишет, он рисует, он смехотворный выскочка. Он отбил у меня торговца: «Поглядите, Монькин не думает над картинами». Но спросите того же торговца, он первый вам скажет: «Теперь думать вовсе не нужно, нужно, чтобы в каждом сантиметре дрожал кусок».

Лазик горячо поддержал Монькина:

— О Розенпупе не стоит говорить. Это пустой сантиметр. Я же с детства разделяю ваши тезисы. Но мы с вами не будем ссориться. Можно, кажется, разделить мир между двумя безусловными знаменитостями. Я не говорю о пустых бутылках или о яблочном пюре. Это мы оставим Дрекенкопфам. Но вы возьмете себе мясо, и капусту, и тарелки, и все, что захотите, а я буду класть только кроличьи бананы, потому что в этом я совершенный спец. А теперь идемте-ка спать — я что-то устал от этой чувствительности.

На следующее утро Монькин показал Лазику свои произведения.

— Ну, поглядите на этот холст. Здесь все течет одно из другого.

Лазик прищурился и с видом знатока процедил:

— Симпатичная картинка. То есть я хотел сказать, что это гениально, как Зевс. Это так содрогается, что трудно глядеть натощак, каждый кусок прямо лезет в рот. Скажите, где вы достали такие чудные котлеты, чтобы они перед вами позировали?

Монькин удивился.

— Это же не котлеты. Это мой автопортрет. Впрочем, разве в сходстве дело! Сходство теперь не в моде. Я беру одни кусочки. Я их оживляю. Понимаете? Сейчас я начал натюрморт с уткой. Вот полюбуйтесь, какой сочный холст: утка, морковь на фоне оливкового бархата. Я только боюсь, что утка сделана чуть-чуть сухо.

Лазик, взглянув на картину, быстро спросил:

— А где же живой оригинал?

— Вон там, на столе. Ну, мне надо торопиться. У меня не осталось ни су, а натощак не идут никакие мысли. Пойду ко всем торговцам, попробую всучить кому-нибудь этот автопортрет хоть за пятьдесят франков. Негодяй Розенпуп, он завалил все галереи своей дрянью. Вы можете остаться. А если вы уйдете, положите ключ под дверь.

Лазик остался. Часа два или три он честно ждал возвращения Монькина.

Монькин вернулся только под вечер. Он нашел ключ, как было условлено, под дверью. На столе лежала записка:

«Дорогой мосье Монькин, честное слово, я не виноват! Вы же сами сказали, что натощак не идут мысли. Я каюсь, как я не каялся на докладе. Но я спрашиваю вас: почему вы меня оставили с ней вдвоем? Я долго боролся. Кто знает, сколько раз я подходил и отходил!.. Потом я увидел керосинку и даже кастрюлю. Вы, конечно, простите меня. Вы ведь ее уже немножко нарисовали, а кусочки вам придут в голову. Вы же не какой-нибудь жалкий Розенпуп. Морковь я тоже взял, потому что без гарнира невкусно. А оливковый фон я вам оставил целиком. Я клятвопреступник и достоин оплевания. Но с аппетитом не шутят. Когда-нибудь я отплачу вам с процентами. Я подарю вам всех торговцев мира, а пока что цветите как первая знаменитость и не вспоминайте меня каким-нибудь лихом. Я ваш компаньон *Лазик Ройтшванец*.

P. S. Вы напрасно ее оклеветали, что она сухая. У нее на задочке был такой жирок, что я еще сейчас лижу губы».

32

Прошло две недели, и все в «Ротонде» уже знали Лазика. Он заставлял американцев, приходивших поглядеть, «как живет парижская богема», угощать его сандвичами или же сосисками. Держался он независимо.

— Вы потом расскажете в вашей Америке, как вы охотились за знаменитым Ройтшванецем. Вы не видели моих зеленых кроликов, и вы их не увидите, потому что я живу как монах, для искусства. Что вы понимаете в сочных сантиметрах? Как будто я не вижу, что вы на меня смотрите прямо-таки неживописными глазами.

Американцы робко возражали:

— Мы были в Лувре. Мы видели «Джоконду»...

— Мне неловко сидеть рядом с вами. «Джоконда»!.. Но ведь это бутылка, и это сделал мой самый последний ученик.

Лазик быстро усвоил нравы «Ротонды». Он умел теперь пугать новичков, одалживать с нахрапу франк и подкидывать пустую чашечку зазевавшемуся соседу. Правда, Розенпуп и Монькин были безвозвратно потеряны. Что же, он подружился с Ленчуком. Он сумел опередить Монькина.

— Сейчас придет этот вор, который крадет все у Ленчука, и он скажет, что я у него украл, с больной головы на здоровую, живописную утку. Но он сам в это не верит, и он крадет у первого попавшегося свой собственный портрет.

Художники недоумевали: откуда он взялся, этот Ройтшванец? Что он делает? Лазик отвечал уклончиво: адрес — секрет, все скоро выяснится, а за будущее он спокоен. Некоторые говорили: «Просто жулик». Другие возражали: «Нельзя так завидовать чужому успеху». Они уверяли, что кто-то видел картины Лазика и чуть не рехнулся от восторга: вот где настоящая живопись! Куда тут Монькину или Розенпупу!

Слава Лазика росла. Жил он впроголодь, но, выудив у одного датчанина, растроганного величием искусства, двадцать франков, немедленно заказал визитные карточки: «Лазарь Шванс. Артист-художник».

Шванс — это звучит по-парижски, это коротко и вежливо. Например: «Мерси, мосье Шванс». От этого можно заплакать.

Карточки вместе с гордой осанкой сделали свое дело. Как-то в «Ротонде» к Лазику подошел господин, весьма прилично одетый, и, приподняв котелок, сказал:

— Вы — мосье Шванс? Не так ли? Я о вас много слыхал. Я ведь часто захожу в «Ротонду» выпить аперитив. Я живу здесь рядом. Мой магазин унитазов вот там, за углом. Я хотел бы переговорить с вами. Дело в том, что в нашей отрасли теперь кризис, а я все время только и слышу, как богатеют продавцы картин. Мне говорили, что один торговец платил художнику по двадцать франков за картину. Художник умер, и теперь каждая картина стоит сто тысяч. Вот это значит — пустить капитал в оборот. Мне еще говорили, что здесь все художники быстро умирают, и это, конечно, торговцам на руку. Вот я и решил немного заняться искусством. Я ищу молодой талант, чтобы рискнуть. О вас говорят, что вы загадка. Это мне нравится. Потом,у вас, простите меня, сложение не богатырское,

так что я вправе рассчитывать, что вы, упаси вас Боже, очень скоро умрете.

Лазик заметил:

— Да, я тоже так думаю. Ройтшванец, или, поздешнему, Шванс,— фейерверк, и он моментально сгорает. От меня уже мало осталось — только аппетит, философия и два-три постыдных анекдота. Но что же вы мне предлагаете?

— Я предлагаю вам подписать контракт на всю вашу жизнь. Вы должны изготовлять в месяц пять картин и сдавать их мне. Я вам буду платить по пятьдесят франков за штуку. Но раньше всего я хочу поглядеть на ваши работы.

— Последнего я не понимаю. Как будто вы не знаете палитры Шванса? Прочтите на заборах! Это не холст, а чувствительность, так что все парижские дамы плачут, как у иерусалимской стены, хоть перед ними зеленый кролик или даже ваш автопортрет. Сходство — это позапрошлый скандал. Я ни минуты не думаю, я только теку сам из себя, и я пачкаю, как самый гениальный пачкун. Возьмите миллиметр — его же нет, это арифметика, а у меня он живет, он трепещет, он уже кусок в золотой раме. В это время, представьте себе, раздается мой предсмертный кашель. Вы плачете, вы даете мне касторку, вы кричите: «Шванс, не умирай». Но я вежливый оригинал, и я отказываюсь от вашего совета, я умираю. А у вас на руках целый холстяной завод. Вы сразу становитесь Ротшильдом. Это же не глупые унитазы!

— Я понимаю, что вы не хотите показывать ваших работ другим художникам. Но мне вы можете их показать. Право же, я заслуживаю доверия. У меня здесь семнадцать лет магазин. Вот моя визитная карточка: «Ахилл Гонбюиссон».

— Мосье Ахилл, если вы так настаиваете, я скажу вам, что со мной случилась маленькая неприятность. У меня были деньги. Я каждый день ел уток, и я катался в автомобилях через площадь, и я заказывал себе разные карточки, вроде этой. Но потом деньги случайно закончились, я скрепил мое сердце, я сжал зубы, я понес в мешке все драгоценные картины, и я их заложил у одного торговца рыбьим жиром за жалкие пятьдесят франков. Это же может случиться со всяким, и с Монькиным, и с самой Джокондой. Вы мне даете уже за одну штуку пятьдесят франков, чтобы перепро-

дать ее после моей безусловной смерти ровно за сто тысяч, а там лежат сто штук, и стоит мне отнести этому рыбьему иску пятьдесят франков, как вы сможете плакать перед всеми шедеврами.

Ахилл Гонбюиссон покряхтел, повздыхал и дал Лазику пятьдесят франков.

— Вот, распишитесь. Что поделаешь—кто не рискует, тот и не выигрывает...

Вечером Лазик разыскал в «Ротонде» Монькина.

— Я же написал вам в той самоубийственной записке, что вы получите сторицу. Во-первых, вот вам адрес замечательного торговца. Вы не глядите, что в окне белое неприличие. В душе у него живописный восторг. Вы сможете продать ему даже вашу автопортретную котлету, потому что я давно не видел такого стопроцентного дурака. А во-вторых, я сейчас поведу вас в роскошный ресторан, и там вы получите какую угодно утку с полным гарниром.

Выпив в ресторане стакан вина, Лазик заплакал.

— Я плачу от красоты! Если на свете существуют, скажем, эта Джоконда и сын Зевса и вы с вашим портретом, то можно ли не плакать? Я ведь в душе настоящий художник. Сколько раз я мысленно рисовал глаза Фенечки Гершанович на фоне гомельской сирени! Уж кто-кто чувствительный—это я. Я сегодня увидел в одном кафе девушку, и я чуть не попал под арабский автомобиль. У нее были глаза до ушей и губы как флаг, который я храбро носил в мои счастливые дни. Вы не знаете ли, кстати, кто она? Потому что я сейчас решил: я или поцелую ее, или умру. Вы же видите, сколько у меня чувства! Я сейчас швыряю краски, и она уже дрожит в моей голове. Да, все так, только что со мной будет завтра?.. Хорошо умереть от любви, но не от шведской гимнастики, а у этого унитаза вместо рук пулеметы.

На следующее утро Лазик решил сидеть дома и к «Ротонде» не подходить за версту. Но, вспомнив глаза прельстившей его особы, он не вытерпел:

— Я пойду на цыпочках, и я буду все время нырять в подъезды. Пусть я умру, но я хочу увидеть ее перед смертью.

Увы, он увидел не ее, а мосье Гонбюиссона.

— Вы меня обманули!..

— Спрячьте, пожалуйста, ваши пулеметы! Что я могу сделать, если они пропали? Я больше потерял,

чем вы. Возьмите карандашик и сосчитайте. Вы потеряли пятьдесят, помножим на один — пятьдесят, а я сто, помножим на пятьдесят — пять тысяч. Вы видите? И я все-таки его не убил, так что положите пулеметы во внутренние карманы. Я плакал всю ночь, у меня распухли глаза. Может быть, я к вечеру поправлюсь и тогда моментально сделаю вам десять полных шедевров, но, конечно, у меня нет ни холста, ни красок, ни кролика, чтоб он мне безусловно позировал. Если бы вы еще раз рискнули...

— Дудки!.. Вы думаете, если вы по карточке артист, а я продаю унитазы, то вы будете водить меня за нос? Я вас могу отвести в префектуру. Я вас могу раздавить на месте. Видите эти руки? Но я сделаю последнюю пробу. Я дам вам холста, краски, модель... Работать вы будете у меня. Под замком. Поняли?

И, сказав это, Ахилл Гонбюиссон повел трепещущего Лазика к себе.

— Кого вы хотите писать? Мужчину? Женщину?

— Нет. Это позапрошлый сезон. Я пишу только мясо. Одним словом, я хочу писать кролика, но чтоб он был не в болванском меху, а уже окончательно зажаренный.

Ахилл Гонбюиссон вскоре принес холст, краски, кисти и большого кролика. Он ворчал:

— Выдумщики эти артисты!.. Вот, едва нашел в колбасной. Знаете, сколько он стоит? Восемнадцать франков!

Ахилл Гонбюиссон запер Лазика и ушел. Лазик поглядел в окно: нет, отсюда не прыгнешь, это почти что научная башня.

Вспомнив назидания Монькина, он стал пачкать красками холст, но краски пачкали главным образом его руки. Кисти вскоре поломались. Ничего не получалось — ни собственного портрета, ни кролика.

— Сейчас он меня убьет. Это последние минуты приговоренного Ройтшванеца. Что же, если мне предстоит такая смерть, я хоть скушаю напоследок этот зажаренный банан.

Он предался неизъяснимому блаженству. Когда пришел Ахилл Гонбюиссон, от кролика оставались только тщательно обглоданные косточки. Ахилл Гонбюиссон прорычал:

— Где картина?

— Ой, прощай, моя родина! Прощай, матушка-Гомель! Где картинка? Ее еще нет. Во-первых, она могла

не выйти. У нас в Гомеле был фотограф Хейфец, он снимал за шестьдесят копеек даже двоих и в венчальном платье, но у него часто ничего не выходило. Это как на дикой охоте — бывают промахи.

— Скотина! Жулик! Бери кисти и мажь! Гляди на модель!

Очень кротко, задушевно Лазик промолвил:

— Его уже нет. Что вы меня трясете? Я же не вытряхну из себя сто картинок!.. Торгуйте вашими унитазами, но оставьте меня в покое. Ой, как мне больно!.. Я не художник, чтобы сидеть и пачкать материю, я честный портной. Только не деритесь! Я могу вам перелицевать брюки. Я сейчас умру... Вы думаете, вы из меня выжали картинку? Злодей? Это — кролик, единственный кролик за всю мою страдальческую жизнь!..

33

«Ротонда» была вытоптана, как луг стадом кочевника. Американцы перестали даже оборачиваться на Лазика. Увидев его издали, завсегдатаи кричали: «Франка, положим, не будет». Лакеи требовали деньги за кофе вперед. Напрасно Лазик уверял, что огромный синяк на его лбу носит спортивный характер:

— Я участвовал в гонках, пятьсот миллиметров в один час, и арабка таки перевернулась на спину.

История о том, как он сожрал кролика у Ахилла Гонбюиссона, обошла весь квартал. Друг Монькина Шпритц нарисовал карикатуру «Рождение Венеры». Он изобразил Лазика голым, в синяках и в кровоподтеках, среди морской пены. Лазик стоял в фаянсовой раковине изделия Ахилла Гонбюиссона, стыдливо прикрываясь, а сверху на него сыпались дары земли: курицы, утки, кролики. Лазик не обиделся, он только заметил, восстанавливая истину:

— Те штуки были совсем другой формы. Впрочем, дело не в сходстве.

Карикатуру повесили в «Ротонде», и один американец купил ее у Шпритца за сто франков: на память о самом типичном посетителе «Ротонды». Лазик попробовал вмешаться и попросить сандвич, но был с позором отогнан.

Когда все возможности были потеряны и предстояла голодная смерть под одним из тех заборов, на

которых должны были значиться победоносные имена Розенпупа или Монькина, пришло неожиданное избавление. Луи Кон, известный в светских кругах Парижа как сноб, гурман и ловелас, увидев Лазика у витрины жалкой колбасной, приютил его, более того, он сделал из грязного оборванца своего личного секретаря. Лазик щеголял теперь в широчайших штанах, вздыхая:

— Это изведенный материал на троих.

Он ел в лучших ресторанах и катался в сорокасильном лимузине. Его портрет был напечатан в журнале мужских мод «Адам» со следующей надписью: «М. Лазариус Шванс, наш молодой гость, полесский принц, друг М. Луи Кона». Лазик портрет вырезал и положил его бережно в карман, где хранилось изображение португальского бича.

Однако, прежде чем говорить о новой службе Лазика, я должен остановиться на неизвестной особе с яркими губами, благодаря которой ему пришлось ознакомиться с тяжелой рукой Ахилла Гонбюиссона. Каждый вечер она сидела в маленьком кафе напротив «Ротонды», и каждый вечер Лазик стоял у двери, чтобы еще раз взглянуть на ее чересчур длинные глаза. Мадемуазель Шике его, разумеется, не замечала. Один раз, выйдя из кафе, шатаясь от коктейля, она приняла его за грума:

— Позовите такси!

Взволнованный дивным голосом, Лазик не двигался с места. Она его подтолкнула зонтиком, а когда он наконец подозвал автомобиль, дала ему франк. Лазик швырнул монету в оконце автомобиля:

— Купите себе на эту сумму какую-нибудь орхидею, потому что я люблю вас сильнее, чем я любил Фенечку Гершанович!

Когда судьба Лазика резко переменилась, первым делом, отпросившись у Луи Кона, он направился в заветное кафе. Он сел за столик рядом с мадемуазель Шике и заказал бутылку шампанского. Весь вечер он не сводил с нее глаз. Девушка наконец не выдержала:

— Что вы на меня смотрите, как кот на сметану?

— Нет, ни один кот не может так смотреть. Даже я, когда у меня был покойный аппетит, даже я не смотрел так ни на сметану, ни на кролика. Вы меня не узнаете? Я три недели стоял у этих дверей без дыханья. Я еще подарил вам ваш франк на орхидею. Интересно, какой цветок вы тогда себе купили? Конечно, на один франк нельзя сделать настоящее цветочное подноше-

ние. Но третьего дня я неслыханно разбогател, потому что какой-то болван нашел во мне темперамент, и завтра я вам куплю анютиных глазок на целую тысячу франков, только позвольте мне еще десять минут смотреть с отчаянием на вас.

Мадемуазель Шике оживилась:

— Чудак!.. Хотите танцевать?

— Ни за что! Я знаю все эти прыжки наизусть, но у меня нет сейчас научного подхода. Я боюсь, что я зайду не туда, как товарищ Серебряков.

— Ну, как хотите. Можно, я к вам подсяду? Вы что пьете? Шампанское?

Они чокнулись. Лазик выпил бокал залпом. У него кружилась голова от вина и счастья. Мадемуазель Шике щекотала его локоном.

— Вы совсем дитя.

— Я — дитя? Вы, конечно, уничтожаете меня сарказмом. Если мне даже тридцать три года, то я еще не старик. Настоящие страсти вовсе не у молодых скакунов с горячими глазами. Нет, в двадцать лет человек все равно бесплатно горит. Он горит от любви, или от какого-нибудь классового идеала, или просто от высокой температуры. Но, спрашивается, сколько у него чувств в эти двадцать лет? Охапка или две охапки, и они моментально сгорают. Что остается? Искорка. И вот проходят годы, и эта искорка вдруг вспыхивает. От нее бывает такой мировой пожар, что не успеешь крикнуть «караул», как уже сгорает все сердце.

— Я тоже люблю мужчин постарше. Они требовательней, зато они понимают, что им дают. У тебя, наверное, тонкий вкус. Расплатись, и поедем.

Лазик ничего не соображал. Он едет прямо к ней! А где орхидеи? Он должен сейчас танцевать от восторга. Один? Да, один! Почему нельзя? Ее зовут Марго. Вот это имя! Она, наверное, Венера, которая сбежала ночью из американского Лувра. Зачем он пил шампанское с искрами, когда он и так сходит с ума? Арабка, не трясись! Что она делает? Она целует его в ухо! Вы понимаете: в ухо Ройтшванеца, в это жалкое гомельское ухо дышит сумасшедшая богиня! Лестница? Хорошо, он поднимается. Он будет реветь от счастья, как антилопа. Нельзя реветь? Спят? Кто может спать, когда уже землетрясение?

Войдя в комнату, Марго упала на диван и стала истерически хохотать.

—Я сейчас умру от смеха... Я еще никогда не видала такого чудака!..

А Лазик благоговейно говорил:

— В этом раю я буду ходить только на цыпочках.

Насмеявшись, Марго деловито сказала:

— Цветочное подношение ты сделаешь не завтра, а сейчас. Это вернее. Мы ведь пили шампанское. Ты не понимаешь? Но ты ведь сам мне сказал. Тысячу. Да, да! Я тебя не знаю. Не хочешь? Тогда можешь убираться. Я не знаю, к каким порядкам ты привык, но у меня полагается до. Понял?

— Что за обязательная афиша? Конечно, если выдумать сто церемоний, то вообще можно перестать жить. Я вам скажу, что набожный еврей должен перед тем, как он поспит с женой, вымыть руки и после этого снова помыть руки. Перед, потому что ему предстоит настоящее богоугодное дело, а после, потому что он, конечно, делает богоугодное дело, но ведь он трогает такую небогоугодную вещь, как, скажем, совершенно голый живот. Это очень тонко придумано. Но что же получается в итоге? Вместо самой великой любви какой-то сплошной рукомойник. Вы ведь не соблюдаете обрядов. Почему же вы меня мучаете разными «до» и «после»? Хорошо, я вам дам эти бумажные орхидеи, но не терзайте мое скачущее сердце постыдной бухгалтерией.

Спрятав деньги, Марго стала раздеваться.

— Малыш! Идем спать...

Тогда Лазик окончательно протрезвел.

— Одно из двух: или вы сбежавшая Венера, или вы стопроцентная марксистка и посещали лекции товарища Триваса. Что значит «идем спать», когда я дорожу розовыми предпосылками? Я хочу с вами порхать и щебетать, и говорить о любви, и петь вам колыбельные песенки, и носить вас на руках, как тихую былинку, и умереть от того, что это не жизнь, а рай. И вот вы предлагаете мне голые функции. Но вы же не госпожа Дрекенкопф! Ваше имя уже благоухает, не говоря о губах. Если вам хочется спать, спите. А я буду сидеть в этом кресле и заслонять вас ладонью от ветра, чтобы он не развеял мой предпоследний идеал.

Марго махнула рукой.

— Черт с тобой — сиди! Очень ты мне нужен! Блоха!

Ее мутило от вина и от усталости. Приняв горячую ванну, она легла и быстро уснула.

Лазик сидел и вздыхал. На земле нет справедливости. Нюся сказала ему, что он клоп. Марго спустила его на блоху. Разве в росте дело? Его любовь такая великая, как научная башня. Но они этого не понимают. Если в Лувре стоит какая-то Венера, американцы ведь не хватают ее пальцами. Они платят за вход, и они плачут от счастья, что они в одной комнате с этим безусловным камнем. Хорошо, пусть я блоха! Но я не буду сразу лезть в небесный пейзаж со своим кустарным производством. Я буду лучше чувствовать, что я сижу рядом с ней. Я буду глядеть на это ослепление...

И Лазик взглянул на спящую Марго. Тогда раздался писк, полный отчаяния:

— Умоляю вас, скорее проснитесь! Вас обокрали! Это какой-то мистический туман! Где ваши длинные глаза? Где ваши первомайские губы? Где ваши брови, черные, как мой страх? Или это я ослеп от новобрачного ожиданья? Ответьте мне скорее, не то я созову весь дом, чтоб они меня посадили в сумасшедшую клинику!

Марго терла глаза и перепуганно смотрела на Лазика. Сообразив наконец, в чем дело, она стала ругаться:

— Проходимец! Босяк! Ты недаром выклянчивал франки. Ты думаешь, если ты украл у кого-нибудь тысчонку, то можешь себе все позволить? Что я, манекен? Я должна с тобой петь детские песенки? Идиот! Ты думаешь, что я буду спать намазанная? А что станет с моей кожей? Скотина! Ты хочешь, чтоб я себя изуродовала за тысячу франков? Подлец!

— Тсс! Остановитесь в списке! Я уже понял. Значит, вы сочный холст, и каждый сантиметр гудит. Вас, наверное, пачкает Монькин, потому что у него самая богатая палитра. А ночью вы — как госпожа Дрекенкопф. Вся разница в том, что клецки теперь у меня. Какой ужас! Вы ведь как моя тетя. Но она торговала в Глухове яйцами. А вы? Чтобы женщина в таком почетном возрасте стояла бы на подрамке, и чтоб ее кололи кисточкой, и чтобы потом она прыгала в кафе, как угорелая девчонка, ради одного подлога, но ведь это же не гомельская пенсия инвалиду труда, а только бездушный хохот из Мефистофеля.

Едва Лазик успел закончить свою трогательную речь, как в него полетели различные предметы.

Взбешенная Марго не колебалась в выборе снарядов. Осколок горшка расшиб нос Лазика.

Спускаясь по лестнице, Лазик старался не вздыхать: они ведь спят среди землетрясения. Но было уже утро, привратница остановила его:

— Откуда вы идете? Почему у вас на лице кровь?

Лазик попытался резонно объяснить ей, в чем дело:

— Последнее время меня преследуют изделия этого Ахилла Гонбюиссона. Что делать — от своей судьбы не ускачешь. Теперь господин Луи Кон будет меня ругать — я ведь испортил его трехспальные штаны, не говоря уже о носе. Но если вы не спите, я громко вздохну. Я вздохну не из-за носа. Нос привык. Я вздохну как философ, потому что произошло полное раздвоение, и я не знаю, с каким воспоминанием мне жить? С одной стороны — Венера, а с другой — инвалид труда, и все вместе — это моя любовь на пятом этаже слева, которая еще живет и трепещет. Вы, мадам, похожи на мою проклятую судьбу, у вас даже метла наготове. Скажите мне просто, что такое жизнь, и любовь, и погасшие звезды?

Увы, привратница вместо высокой философии прибегла к не к добру помянутой метле.

34

Господину Луи Кону было двадцать восемь лет, но он отличался мудростью и широтой взглядов. От отца, фабриканта овощных консервов, унаследовал он круглую сумму. Он стремился истратить ее весело и непринужденно. Он любил, чтоб о его странностях писали в хронике светских газет. Лазик сменил злополучного мангуста, которого Кон таскал за собой на цепочке по Елисейским полям.

— Ах, вы русский? Вы, наверное, большевик? Это хорошо. Мы задыхаемся среди академизма. Я знал Расина уже в колыбели. Третья республика — это царство мелких лавочников. Вы будете для меня зовом с востока. Ведь в ваших глазах горит революционный мистицизм. О, как бы я хотел увидеть вашу Красную площадь, когда китайцы присягают Шарлю Марксу, а женщины в шароварах исполняют половецкий танец! Я обожаю неожиданность, джаз-банд, революцию, синкоп! Недавно я ужинал у виконтессы Писстро, и там

я неожиданно, после фазана, вытащил из кармана красный флаг. Я выкинул его перед всеми изумленными академиками. Об этом даже писали в «Фигаро» как о злой шутке. Но это далеко не шутка. Парламент меня боится, потому что я, Луи Кон,— коммунист.

Лазик совсем растерялся.

— Ужасно трудно путешествовать, когда не знаешь готовых оборотов. Дождь, конечно, повсюду дождь. Но вот с политикой будет похуже. Я бы сказал по виду, что вы — наоборот. Но если у вас здесь такая дисциплина, тем лучше. Я был в Киеве кандидатом, и там я сорвался, но здесь я, наверное, пролезу. Как будто я не сумею выкинуть флаг после фазана! Скажите, значит, у вас нет контрольной комиссии? И вы можете танцевать, заходя куда угодно ногой? И вас не заставляют целый день заполнять анкету? Но тогда запишите меня скорей в эту замечательную ячейку!

— Фи! Как же можно входить в какую-то партию! Ведь это значит соприкасаться с чернью. Это все равно что ездить в трамвае. Я духовный большевик. Я люблю все, что идет с востока. Скажите, кстати, вы не буддист? Жаль! У меня в столовой Будда пятого века. Вы могли бы перед ним молиться. Я ведь никогда еще не видел, как молится живой буддист. Это, должно быть, очень пикантно. Ах, вы еврей? Это неинтересно. Это религия мелких лавочников. Тогда знаете что — примите католицизм. Я обожаю культ Святой Розы. Конечно, идея Бога — это для тех, кто ездит в трамвае. Но ведь остается образ непорочного зачатия, мистические пророчества, туман. Наконец, что делать,— это модно. Не стану же я ходить в узких брюках или в длинном пиджаке! Словом, в ближайшее воскресенье я буду вашим крестным отцом, а виконтесса Писстро вашей крестной матерью.

— Если в этом вся моя служба, пожалуйста. Я — настоящий двадцатый век, и после фазана я могу даже молиться перед вашим пикантным Буддой, если вы только напишете мне заранее все слова. Вы обязательно хотите, чтоб я влез в этот непорочный туман? Я влезу. У вас, кажется, это проходит без особых операций, и я понимаю, легче, чтобы меня выкупала в мистической воде эта моя виконтессная мама, чем чтобы, скажем, вас обрезали мелкие лавочники. Точка. Я уже большевистский католик. Теперь скажите, что я должен в точности делать как ваш ученый секретарь?

— Не говорите так громко и так быстро. У меня сделается мигрень. Вы должны говорить так, чтобы все чувствовали, что вы между двумя словами готовы умереть от безразличья. Это гораздо вежливей. Только изредка, когда я буду кивать головой, вы можете проявлять ваш восточный темперамент. Среди ваших обязанностей одна из первых — обедать со мной.

Лазик просиял, но так как Луи Кон не кивал головой, он превозмог свои чувства. Они поехали в ресторан. Метрдотель, который, видимо, хорошо знал Луи Кона, сразу записал: «Лапша на воде и яблочное пюре». Потом он спросил:

— Что будет есть господин?

— Вот этим мы сейчас займемся.

Луи Кон изучал карточку не менее часа. Лазик изо всех сил пытался удержать обильные слюнки. Наконец обед был заказан.

— Мой друг, вы приобщаетесь к великому искусству. Я не буду развивать вам философские системы Саварена. Но что такое вся эстетика, поэзия, мораль, чарльстон, синкоп, вторая реальность, граф Лотремон, наконец, моя усмешка? Это только достижения поваров. Четыре года тому назад мне подали в ресторане «Пе-де-Нон» пулярку метра Эмиля. Она была фарширована дичьей печенкой с трюфелями и апельсинами, под соусом из хереса шестьдесят третьего года, и в ее окружение входили донышки артишоков по-тулузски, то есть в белом вине, со взбитыми яйцами. Я помню этот день, как поэму революции, как первый аккорд Стравинского, как облатку святой евхаристии. Я изучил все блюда Франции, и я мог стать первым знатоком хотя бы перигорских паштетов. Но, увы, мы все, из рода Конов, отличаемся деликатным телосложением. Я заболел гастритом, энтеритом, нефритом, артритом, подагрой. Я могу есть только лапшу на воде и яблочное пюре; вместо вина — минеральная водица. Я страдаю, как ослепший живописец, ведь я хорошо помню вкус любого соуса, и я никогда не ошибусь в годе шато-лафита. Что же, я решил углубить эти муки. Я буду кормить вас самыми изысканными яствами, я буду наслаждаться вашим восторгом неофита, нюхать омара или камамбер и объяснять вам всю торжественность каждой минуты. Я превращу ваши обеды в богослужение. Что вам подали? Маренские устрицы? Не глотайте! Медленно жуйте! Это говорит

с вашим нёбом Атлантика. Глоток шабли. Оно полно осенней сухости и свежести. Утренний холодок тронул гроздь. Вы слышите легкий привкус дроби? Сейчас вам подадут пятнистую форель, а к ней сухое вувре двадцать первого года. Оно молодое, но в нем цветы Лауры, в нем смех Рабле, в нем...

Лазик больше не слушал Кона. Честно поглощал он все, что ему приносили лакеи. Но после шестого блюда он не выдержал. Отодвинув тарелку с фазаном, он вежливо поблагодарил как метрдотеля, так и Кона.

— Мерси. Это странно, но аппетит тоже кончается. Теперь мы можем поговорить с вами о чем-нибудь очень высоком, например, об этом половецком синкопе, я тут что-то не понял. Почему у вас сначала идет Красная площадь, а потом вдруг оказывается непорочное зачатие? У нас в Гомеле вас бы за это не погладили по головке.

— Мода, друг мой, мода. Истинная свобода состоит в подчинении. Те, что ездят в трамваях, подчиняются пошлой морали, а мы, избранные, подчиняемся моде. Теперь надо быть слегка большевиком, слегка католиком. Это неуловимые нюансы, как перец, мед, пикули и мараскин в соусе «клеридж». Не стану же я танцевать уанстеп или играть в крокет, когда теперь модны блекботом и гольф. Но напрасно вы отодвигаете тарелку: я ведь только вхожу во вкус, вам предстоят еще девять блюд. Этот фазан пахнет, как пророчества Нострадамуса. Он пахнет сладостным разложением всей латинской культуры. Я ручаюсь, что они его выдерживали не менее недели в тепле. Он постепенно приобретал этот букет. Понюхайте! Вы слышите дыхание смерти, мифологических грибов, рокфора, тысячелетнего сна?

Лазик осторожно понюхал птицу и взвыл:

— Я теперь понимаю, почему вы начали после фазана выкидывать разные флаги! От такого аромата вообще легко умереть. По крайней мере, со мной уже начинается этот половецкий синкоп. Вы знаете, чем это пахнет? У нас в Гомеле выезжает одна нахальная бочка и...

— Замолчите! Возьмите лапку! Вы обязаны. Не забывайте: вы мой личный секретарь. Глоток шамбертена. Это девяносто первый год. Он обволакивает — вы слышите? Он слегка вяжет душу. Он горячит. Это земля Бургундии, не юг и не север, сердце культуры,

двадцать веков, потом разрыв, затмение, бездна, синкоп, и вот в последнюю минуту две-три замшелые бутылки...

Лазик едва дышал. Его лицо стало сперва багровым, потом фиолетовым. А лакеи все меняли тарелки и бокалы, готовя новые пытки. Лазик покорно ел и пил: что делать, если это его служба! Он уже ничего не видел. Ему казалось, что на блюдах лежат Будды, синкопы и двадцать латинских веков. Вдруг что-то ударило его в нос, как нашатырный спирт. Кон вдохновенно шептал:

— Это — сыр «ливаро». Его держат несколько лет в золотом навозе... Там он бродит, как отчаянье. Он становится ароматным и щемящим сердце. Нюхайте его! Нюхайте скорее!

Все плыло перед Лазиком. Ему почудилось, что сыр вертится. Он поглядел на бутылки — они кланялись. А Кон? Кон кивал головой. Вот что!.. Значит, теперь он свободен!.. Лазик вскочил и в восторге закричал:

— Заберите сейчас же отсюда эту бочку!

Напрасно Луи Кон пытался его успокоить:

— На нас все смотрят... Это неприлично.

— Пусть смотрят. Зачем вы меня поили? И что это за выходки? Вместо порядочных битков дать человеку тридцать раз синкоп с запахами! Если он не заберет эту гомельскую мадам подальше от моего носа, я ее брошу в какую-нибудь виконтессу. Ну да, я пьян. А что вы думаете? Можно не быть пьяным после таких обволакиваний? Я сидел спокойно, но вы кивнули головой, и тогда начался мой темперамент. Вы не кивали? Тогда это Шамбертен кивал. Одним словом, ведите меня скорей, и прямо к цели!..

Первый опыт не удался, но Луи Кон не отчаивался: у этого лилипута чудовищный темперамент. Два дня кресло с винтами, ланцеты, банки, флаконы, электрические аппараты; Лазик упал на колени перед массажисткой.

— Ради, скажем, Будды, пощадите Ройтшванеца! Что вы хотите со мной делать? Вырезать кусок здоровой кишки или сразу убить меня лампочкой, как в замечательной Америке?

— Не бойтесь. Сначала мы разгладим некоторые морщинки. Это совершенно безболезненно. У нас четыре тысячи свидетельств. Сядьте сюда. Откиньте лицо. Забудьтесь!

Лазик сел. Он попробовал забыться. Но куда тут! Ведь его переделывали, как безответственный сюртук! Хорошо, пусть они разглаживают морщины каким-нибудь утюгом. Посмотрим, что из этого выйдет. Как будто можно стереть все его несчастья — от мадам Пуке до уборной ресторана «Пе-де-Нон»! Трите, трите, все равно горе останется горем и Ройтшванец — Ройтшванецем! Вы его не сделаете ни Буддой, ни Шамбертеном...

Вдруг Лазик вздрогнул от неприятной и достаточно знакомой ему боли. Массажистка теперь приплющивала его нос.

— Что вы хотите от моего придатка? Вы же не Ахилл Гонбюиссон. На нем вовсе нет морщин. Морщины — на лбу. Перестаньте! Он у меня не из гуттаперчи!

— Не волнуйтесь. Это очень легкая операция. Я приступаю теперь к укорачиванию вашего носа.

Лазик скатился с кресла. Кувыркаясь по полу в больничном халате, он вопил:

— Это вам не пройдет! Мой нос не брюки, и я объявляю полную забастовку. Он вовсе никому не мешает, чтоб его стричь. Я, кажется, не пихал вас моим носом, и я никого не пихал. Меня пихали. А может быть, я хочу, чтоб он был длинным. Фамилию я обрезал, но это же надстройка. Откуда вы знаете, может быть, я когда-нибудь вернусь к себе на родину? Меня же никто не узнает с коротким носом, ни Пфейфер, ни Фенечка Гершанович. Меня не узнает даже эта Пуке. Я не отдаю вам моей личности!.. Стригите ваши синкопы!.. Вот вам постыдный капот, и до без всякого свидания!

Вечером Луи Кон строго сказал ему:

— Мой друг, вы у меня уже пять дней, и я вами недоволен. Вы не сделали никаких успехов в области гастрономии. В «Селекте», после одного коктейля, вы начали целовать бармена, хоть я просил вас ухаживать за мной, потому что это теперь модно. В Институте красоты вы просто показали себя дикарем...

— Но ведь вы сами хотите от меня половецких штучек.

— Не перебивайте!.. Вы манкируете обязанностями личного секретаря. Сейчас я подвергну вас последнему испытанию. Глядите.

Луи Кон подвел Лазика к приоткрытой двери. В соседней комнате сидела молодая женщина, совершенно

голая. Лениво зевая, она курила папироску. Лазик деликатно закрыл глаза.

— Очень симпатичная особа. Я только советую вам следить за ней, чтобы она не украла у себя глаза или губы. Третьего дня я узнал, что такие штучки бывают. Но вы, конечно, опытный спец, и у вас все будет, как в романе Кюроза. Я желаю вам вполне неспокойной ночи.

— Вы начинаете выводить меня из себя. У меня мигрень. Дайте мне порошки. Может быть, вы думаете, что я показываю вам ее для вашего удовольствия? Сейчас вы должны приступить к самой ответственной обязанности личного секретаря. Вы знаете, что мы — Коны — деликатного сложения. Я славился моими победами. Увы, теперь я обречен на бессрочную диету... Словом, вы будете играть с моей новой подругой, а я буду глядеть на вас и переживать каждое движение. Я жажду чувственной боли. Поняли?..

— Кажется, понял.

Лазик вежливо поздоровался с дамой.

— Я — Шванс. Личный секретарь. Пожалуйста, не стесняйтесь. Архип Стойкий, тот, например, совсем не стеснялся. Скажем, что вы сейчас загораете. И вообще, я смотрю не на вас, а на потолок. Скажите, вы тоже вроде личного секретаря? А вы не должны каждый день нюхать этот нахальный сыр? Я вам скажу что-то шепотом, он ведь сидит у двери: главное, не давайте укорачивать нос. Это полная пытка. Но что мы болтаем, когда мы должны работать. Я вот только не знаю, какие здесь игры, потому что у нас в Гомеле играют, скажем, в стуколку или в шестьдесят шесть. Впрочем, я не вижу даже карт...

Выбежав, Лазик деловито спросил Луи Кона:

— Почему же там нет колоды?

Впервые Кон вышел из себя:

— Вы меня убьете!.. Мигрень... Не помогают даже порошки. Я, кажется, в вас ошибся... Где же ваш темперамент? Выпейте этот коктейль для храбрости. Теперь идите скорее к ней!.. Я больше не могу ждать! Как вы можете спокойно сидеть, когда рядом с вами голая девушка? Вы должны с ней резвиться!

Лазик задумался.

— Нечего сказать — проблема! Оказывается — не карты, потому что вы без шубы. Ну да, вам, наверное, холодно сидеть на одном месте. Что же, будем рез-

виться. Я только не помню, как это делается. Кажется, «в кошки и мышки». Вы прыгайте, и я буду прыгать, но вы еще мяукайте, а я, например, залезу под этот диван и буду перепуганной мышкой.

Лазик исправно забрался под кушетку и стал там тихо пищать. Тогда Луи Кон не выдержал. Он сам вбежал в комнату:

— Идиот!.. Это — темперамент?.. О, если бы я мог!.. Сейчас же вылезайте! Выпейте еще коктейль. Выпили? Ну, а теперь за работу! Когда не нужно, вы показываете свои варварские повадки... Я вам приказываю: покажите себя свободным дикарем! Делайте все, что хотите!.. Я умираю... Я жажду боли!..

— Что же, если вы киваете головой, после таких двух обволакиваний я могу стать и нахалом. Во-первых, дорогая мадам, я вас умоляю, сейчас же наденьте на себя хоть купальные брюки, потому что вы не Венера, а здесь не американский Лувр. Я, между прочим, влюблен в Марго Шике, хоть она инвалид труда, и сердце у меня уже занято. Но вы ведь, наверное, любите цветочные подношения, так вот вам полный бумажник этого синкопа, и поезжайте себе домой. Это — раз. А вы, главный синкоп, ложитесь-ка на диван вашим половецким лицом вниз, и вы можете даже быть не как дома, то есть снять брюки, у меня есть хорошие подтяжки, и я вам в два счета устрою такую чувственную боль, что вы начнете молиться перед каждым Буддой. Что? Вы не хотите? Но я должен быть дикарем? Хорошо. Вот вам в лицо — начнем с пепельницы. Теперь получайте эти орхидеи с горшком. Теперь я уже могу перейти к Будде, если он весит пять веков.

На звонок пришел лакей, седой и важный.

— Жак, вы будете временно исполнять обязанности моего личного секретаря. Сейчас вы останетесь с дамой. Но прежде всего выкиньте этого негодяя и поучите его хорошенько на прощанье...

35

Снова настали для Лазика черные дни. Он был и судомойкой в ресторане, и грумом в ярмарочном балагане, он вертел шарманку, он продавал китайские орешки; время от времени его арестовывали, били, потом выпускали.

Один раз его выслали. Доехав до бельгийской границы, он грустно вздохнул: «Начнется игра в мячик...» Сел во встречный поезд и поехал без билета назад. По дороге его выкинули. Он продал костюм Луи Кона и вернулся в Париж.

Не раз, ночуя под мостом, он ругал себя:

— Идиот, почему ты тогда не доел этого вонючего фазана?..

Часто ходил он в еврейский квартал, на улицу Розье. Когда бывали деньги, он пил там чай, ел рубленую селедку и вел философские беседы: о Талмуде, о госпоже Дрекенкопф, о большевиках. Так как-то встретился он с гомельчанином. Выслушав рассказ о франкфуртских приключениях Лазика, Янкелевич воскликнул:

— Охота вам пропадать под мокрым мостом, когда вы можете жить, как Чемберлен! Я был в Лондоне, и я это знаю. У вас, кажется, на плечах голова, а не что-нибудь. Так поезжайте сейчас же в Лондон к мистеру Ботомголау. Вы выйдете от него благородным миссионером, потому что он первый великобританский болван. Как будто Монька Жмеркин не жил этими проповедями ровно четыре года!..

Что же, мысль была не плоха. Но как добраться до Лондона? Денег нужно не так уж много. Допустим, что он снова станет грумом, или обезьяной, или самим чертом. Он может, наконец, объявить на неделю иом-кипур. Словом, деньги он наскребет. А паспорт?..

— Паспорт вы можете получить в Лиге Наций.

Вспомнив незабвенного пана ротмистра, Лазик смутился:

— Это же, кажется, «Лига» с небольшими побоями?

— Ничего подобного, вы положите на бочку сто франков, и вы пойдете в эту Лигу как самая благоприятная нация. Но, может быть, вам выгоднее стать румыном, потому что эти чемберлены обожают румын, а за те же сто франков вы сможете стать восторженным бессарабцем и получить румынский паспорт с самой королевой на заду.

Не прошло и двух месяцев, как Лазик стоял перед мистером Ботомголау.

— Что вы хотите, брат во Христе?

— Я хочу подкрепиться. Я снова говорю совсем не то. Это от мистического смущения. Я хочу, наоборот,

взять на себя торжественную миссию. Я еще не знаю толком, как это делается, потому что с Янкелевичем мы говорили больше о паспортах, но вы сейчас мне все объясните, и я выйду от вас с миссией в шляпе. Чем я хуже какого-то Жмеркина?

Мистер Ботомголау сладко улыбнулся, и улыбка эта успокоила Лазика: нет, Янкелевич не подвел его! Так не улыбался даже одноглазый Натик, на что уж тот был глуп.

— Скажите вашим братьям, что Израиль заблудился. Он дал миру Ветхий завет, но потом он побивал апостолов каменьями. Наша церковь — дочь синагоги. Пора блудному сыну вернуться в лоно! Мы встречаем прозревших иудеев с раскрытыми объятиями. Мы прижимаем их к сердцу. Наш дом — их дом. Святое писание уже переведено на шестьсот семьдесят восемь языков, и мы его распространяем повсюду. Пусть иудеи придут, как желанные гости на пир. Вы знаете их нравы и обряды. Вы осторожно войдете в их доверие, и вы их поведете на Христово празднество. Наш завет прост: святое крещение, любовь, воздержание от крепких напитков, целомудрие, воскресная тишина. Скажите им, пусть они торопятся...

С готовностью Лазик ответил:

— Скажу! Обязательно скажу! А теперь перейдем к делу. Я вот только не знаю, как вас называть, потому что «брат» — это уже чересчур. Мы, знаете, и лицом не похожи друг на друга. Может быть, я обойдусь одним «кузеном»?

— Называйте меня просто мистер Ботомголау.

— Ну, чтоб это было очень просто для еврея из Гомеля, я не скажу, но я перескочу через любые звуки. А вы меня, кстати, называйте мистер Ройтшвенч. Так вот что, мистер Ботомголау, я буду все это говорить по знакомству, и меня будут слушать прямо-таки как Мойсея, я ведь главный франкфуртский раввин. Но вопрос не в том. Я, например, в Лондоне уже четыре дня, и я еще ни разу не обедал. Так я хочу сразу на ваш пир. Если у вас без вина, то это еще полбеды; во-первых, можно зайти по дороге в бар, а во-вторых, например, чай с молоком. У меня при одном этом слове текут слюнки. Скорее жмите меня к сердцу и ведите в этот дом!

— Дитя, вы путаете небесные богатства с земными. У меня четыре дома и две фабрики, у меня небольшой

капитал, но я душой, может быть, беднее вас. А сказано: «Блаженны нищие духом». Не забывайте, брат мой, духом! Поэтому за себя я спокоен. Идите же скорее к заблудшим братьям и скажите им, что мессия уже пришел. Они его не заметили. Это ужас!..

Мистер Ботомголау заплакал, Лазик стал утешать его:

— Не выливайте столько слез! Это бывает. Они не заметили, потому что они страшно рассеянны. Они в это время, наверное, кушали костлявую рыбу или даже спали последним сном. Но я им скажу, что он уже пришел. Только ответьте мне без целомудренных намеков: вы мне дадите аванс или нет? Я же богатый духом, но без всякой фабрики. Интересно, как вы вообще платите: помесячно или поштучно, то есть за каждого блудного внука?

— Вы будете получать шестнадцать шиллингов в неделю. Вот вам один фунт, чтобы вы корректно оделись. Теперь можете идти.

Лазик вежливо раскланялся. Уходя, он, однако, вспомнил о главном:

— А где лоно?

— Какое лоно?

— Да ведь вы сами сказали, что их нужно тащить в какое-то лоно. Так дайте мне точный адрес.

Мистер Ботомголау только печально махнул рукой.

Лазик немедленно принялся за выполнение своих обязанностей. Он пошел в Уайт-Чепл. Нищета? Но разве он не видел на своем веку нищеты? И все же он ахнул, увидев темные трущобы, лохмотья и голодные лица обитателей этого квартала. Он даже, забыв об осторожности, вздохнул вслух:

— Нечего сказать, хорошенькая Великобритания. Все-таки теперь я вижу, что наш Гомель — это настоящий шик.

Впрочем, никто не слышал столь подозрительных суждений. Женщины, толпившиеся вокруг, сушили пеленки, подбирали картофельную кожуру и переругивались. Без труда Лазик разыскал десяток голодных евреев.

— Начнем сначала, то есть пойдем в этот пахучий ресторан. Что здесь люди едят? Хорошо! Десять порций мяса с картофельным пудингом и десять бутылок пива! Теперь можно поговорить о планах. Я же не

нахал, чтобы пировать в одиночку. Мне сказал Янкелевич, а я уже предлагаю вам стройную организацию. У этого болвана четыре фабрики и шестьсот семьдесят восемь изданий. Что он хочет, этого нельзя понять, и потом это даже неинтересно, потому что, я же говорю вам, он роскошный болван. Но у него фантазии, и он все больше загибает насчет родства, я ему и брат, и блудный сын, и еще какое-то место, а синагога — мать церкви, а кто в синагоге — сразу его церковные дети, одним словом, он даже не умеет разобрать, где отец и где сын. Но я вас поведу к нему в лоно, и вы кричите, что вы были блудные, а теперь хотите сплошного целомудрия. Потом он, наверное, начнет вас жать к сердцу, так вы не пихайте его, потому что это такой нахальный меланхолик, и если его отпихнуть, он весь обольется слезами. Поняли? А потом он даст вам что-нибудь, и, кроме того, я сейчас плачу за всю музыку. Идет?

Надо ли говорить, что предложение Лазика было принято единогласно? Горделиво улыбаясь, привел Лазик всю компанию к мистеру Ботомголау.

— Я уже сказал им. Видите, как быстро? У меня не голос, а иерихонская труба с Синая. Это вполне понятно, потому что они ничего не ели. Это же богатые духом и без всякого блаженства. Пожалуйста, жмите их уже скорее к сердцу, и пусть они тоже что-нибудь получат, потому что я ухлопал на десять порций весь ваш корректный фунт.

Надежды Лазика не оправдались. Мистер Ботомголау вздохнул:

— Вы им не сказали главного: вы им не сказали, что не единым хлебом жив человек. Я вижу, брат мой, что вы еще мало подготовлены к вашей высокой миссии. Вот вам несколько душеспасительных книг. Я вам советую прежде всего внимательно прочесть их. После этого вы сможете проповедовать, толкуя набранные крупным шрифтом тексты. В субботу мы вам предоставим небольшой зал. Вы соберете этих прозревших овец, и вы ослепите их Божьим словом. А теперь ступайте, мои дети! Меня ждут китайцы, которые тоже жаждут прозреть.

Лазик попробовал было заикнуться:

— А как же с покойным фунтом? Он ведь ушел на этих полуслепых овец.

Но мистер Ботомголау одарил его только новым поучением:

— Не забывайте, кстати, мой брат, что пиво — это тоже крепкий напиток.

Выйдя на улицу, Лазик обвел свое стадо торжествующим взглядом.

— Ну, что я вам говорил? Вы, может быть, скажете, что вы видели где-нибудь подобного болвана? Я только не понимаю, почему у него такой нервный нос? Он догадался о пиве. На это его хватило. Но с родством он снова напутал. Я — его брат, а вы — его дети, значит, вы — мои дорогие племянники. Он сам не знает, что ему нужно. То он хочет, чтоб я вас слепил, как последний злодей, то он хочет, чтобы вы сразу прозрели. Но мы его все-таки перехитрим. В субботу зовите туда всех, у кого только хорошенький оркестр в желудке. Я скажу такую грохочущую проповедь, что даже стены будут блеять, как овцы. Тогда-то мы с него получим все сто фунтов. А пока что купим хлеба на духовный ужин, потому что от фунта еще остался крохотный осколок.

Помещение общества «Спасенный Израиль» было в субботу переполнено. Память о картофельном пудинге и разговоры о четырех домах мистера Ботомголау всколыхнули Уайт-Чепл. Лазик весело вскарабкался на кафедру:

— Тсс! Третий звонок! Я вижу, что труппа пользуется неслыханным успехом. В Гомеле даже московская оперетка не собирала столько голов. Ну, я начинаю. Ненаглядные овцы, и ты, спасенный Израиль Мовшед, знаменитый сват нашего золотого Гомеля, здравствуйте! Сейчас я буду толковать крупный шрифт. Только я попрошу вас об одном. Пожалуйста, ради моего и ради вашего аппетита не сидите как бревна. Когда я вам скажу: «Ослепните»,— закрывайте сразу глаза, потому что вам ударило в нос спасительное слово, а когда я крикну: «Прозревайте»,— то глядите в оба, пусть у вас глаза даже лезут на лоб, потому что от второго слова происходит хирургическая операция. Поняли? Кто не понял, пусть поднимет руки, и подавляющим большинством слушайте. Крупный шрифт номер один: «Израиль, гляди — мессия, о котором говорили пророки и которого ты ждешь, давно пришел». Крупная точка, и можете ослепнуть, а я буду толковать. Пророки, конечно, издавали возгласы. Живи они теперь, их, наверное, посадили бы в тюрьму. О чем они кричали, эти сумасшедшие агитаторы? Мы же учились

в хедере, и мы знаем их номера. Они, например, шумели, что все на земле не так и что сильный обижает слабого, что правду можно спрятать в глубокий карман, как будто это газета, что у одних много, а у других мало и что это просто вавилонское свинство. Они, конечно, тонко намекали, что может произойти полное наоборот. Вдруг придет мессия, и тогда начнется замечательная справедливость. Ротшильд выйдет себе пастись на лужайку вместе с вами, и ему пудинг, и вам пудинг, пан ротмистр или, скажем, миссис Пуке перестанут хватать Ройтшванеца за больные места, а вместо пограничной стражи расцветут безусловные орхидеи. Конечно, мессия — это тонкий псевдоним. Что же получилось: оказывается, он уже пришел. Странно подумать, что мы его не заметили! Скорее прозрейте, включая три руки меньшинства! Разве вы не видите, что на земле стопроцентная справедливость? У мистера Ботомголау, например, четыре дома, но они ему не нужны, и он живет в духовных облаках, он же нищий духом. Вы спросите, почему он не отдает вам этих домов? Потому что он вас жалеет. Если у вас будет кровать с периной, вы станете тоже нищими духом, а пока вы просто нищие. Но я вас умоляю, погуляйте по роскошному Лондону, и вы увидите, что мессия уже пришел. Вы скажете, что Ротшильд еще не пасется? Но он не овца. Он кушает курицу. А если у вас есть завалявшиеся фунты, вы тоже можете кушать курицу, совсем как он. Но если даже у вас нет фунтов, то у вас есть вексель на загробный рай, это сказано в девятом шрифте, и вы можете учесть этот вексель в любом банке. Потом, у вас свобода слова. Вы можете, например, сказать: «Мне таки хочется кушать»,— и никто на это слова не возразит. Что касается заноз, то не надо лезть на занозы, надо уважать чужую личность. У нас в Гомеле был один маклер Гурчик. Так вот, он однажды сидел и кушал гуся с гречневой кашей, а к окну подошел нищий и стал просить хлеба. Тогда Гурчик произнес целый крупный шрифт: «Эти нахалы сами не едят и другим не дают». Я, например, сам виноват, я схватил в Киеве не ту ногу. Словом, на всей земле стоит неслыханная свобода, и мистер Ботомголау всех жмет к сердцу, и я считаю единогласно принятым, что мессия уже пришел. А для колеблющихся элементов я читаю в седьмом тексте, что он снова придет, и это называется «второе пришествие». Если у него такие

блестящие результаты, я думаю, он может ходить без конца. Так пусть он ходит, а мы пойдем на пир. Я предупреждаю, что если идти не вприпрыжку, так этот болван отдаст все жаждущим китайцам, потому что они тоже знают дорогу в его лоно. Составим резолюцию с подписью. Скажем, что мы его братья, и дети, и внуки, и даже отцы, только чтоб он отколупнул нам от своей фабрики несколько золотых кирпичиков, потому что в крупном шрифте номер четыре прямо сказано, что голодных надо кормить и даже одевать в свою последнюю рубашку, а у него, наверное, есть предпоследняя, так пусть одевает и пусть кормит, если мы единогласно такие голодные, что мою проповедь заглушает сплошная опера в ста животах. Значит...

Закончить Лазику не удалось. Протиснувшись среди толпы, к нему подошел некто бедно одетый и ничем с виду не отличавшийся от других слушателей. Строго сказал он:

— Следуйте за мной.

— Куда? Если в лоно, так туда я сам знаю дорогу, и вообще, там жалованье выдают только по понедельникам.

Тогда настойчивый незнакомец показал Лазику какую-то карточку. Лазик посмотрел и негодующе воскликнул:

— Я еще не Чемберлен, чтобы уметь сразу читать эти великобританские любезности! Но я уже кое-что понимаю. Скажите мне просто, куда я должен следовать — туда или не туда?

Но сыщик, не зная о богатом опыте Лазика, ответил официально:

— Я — представитель Скотланд-Ярда. Вы арестованы как большевистский агитатор.

36

Мистер Роттентон сразу ошарашил Лазика:

— Вы большевистский курьер. Вы направлялись из Архангельска в Ливерпуль. Вы везли секретные фонды Коминтерна, а также письмо Троцкого к двум непорядочным англичанам. При аресте вы успели передать деньги членам преступной шайки и проглотить документ.

Последнее показалось Лазику чрезвычайно смешным. Хоть стриженые усы мистера Роттентона сурово топорщились, Лазик не выдержал: он расхохотался.

— Я же понимаю, куда вы гнете!.. Вы хотите меня обвинить в том, что я кушаю важную бумагу. До этого не дошли даже паны ротмистры. Это так смешно, что я давлюсь, хоть, может быть, это мои фатальные звуки. Неужели вам приходят такие штучки в голову? Но вы тогда настоящий комик с обеспеченными гастролями. Лазик Ройтшванец, мужеский портной из самого обыкновенного Гомеля, где все кушают котлеты, или зразы, или хотя бы голубцы, питается исписанными листочками! Нет, мистер... как вас, хоть я и дублировал два дня заболевшую обезьяну, на это я еще не способен.

— Вы напрасно отпираетесь. Я предлагаю вам указать местонахождение секретных фондов, а также восстановить содержание проглоченного документа.

— Послушайте, может быть, «документы» — это тоже псевдоним, вроде, скажем, роскошного пира для блудящих овечек? Кто вас знает, какие вы здесь придумываете скотландские фокусы! В четверг я действительно проглотил большой кусок мяса и картофельный пудинг. Что правда, то правда. Но ведь с тех пор сколько слюнок утекло! Так что восстановить это с подливкой я уж никак не могу. Вы думаете, мне самому не жалко? Да умей я восстанавливать проглоченное, я бы стал таким же мистером, как вы. Я отпустил бы себе усы для страха, и точка. Пусть они там трепыхаются, а я сажусь за готовый стол и кричу: «Алло! Алло! Печенка на свадьбе Дравкина, пожалуйста, восстановись!» Это была бы не жизнь, а рай.

— Попытка заговорить меня ни к чему не приведет. Если вы сознаетесь, мы вас отпустим на свободу. Если вы будете упорствовать, мы тоже проявим упорство. Вам придется тогда задержаться в Англии.

— Когда я был еще желторотый филин, я боялся таких задержек. Я хотел тогда скорее на свободу. А теперь я привык. Потом, у вас в тюрьме довольно сухо, не как в Гродно, стол, правда, неважный, но все-таки это помои, а не глотательная бумага. Спешить мне тоже некуда. Так я уже на месяц-другой удержусь.

Усы мистера Роттентона раздраженно запрыгали.

— Вы партийный фанатик.

Он решил потрясти этого бесстрашного сектанта строгой логикой. Долго рассказывал он Лазику о мощи Великобританской империи, о расцвете промышленности, о преданности индусов, о миролюбии ирландцев, даже об открытии четырех кондитерских и высшей школы вышивания бисером на каких-то Соломоновых островах, где живут особые людоеды, которые обожают короля Георга, мистера Чемберлена и английские пикули. Лазик слушал с интересом. Он кивал головой.

— Замечательный реферат! У нас на политграмоте тоже говорили, что разруха упала на двести процентов и что теперь сморкаются не двумя пальцами, а больше. Я вас поздравляю, мистер, как вас... Скажите, а с чем эти людоеды кушают пикули? Может быть, с бисерным документом, тогда вы, наверное, спутали: Гомель не на острове, он не плавает, он спокойно стоит, и только внизу бурлят волны великого Сожа.

Не оценив географических познаний Лазика, мистер Роттентон продолжал патриотический спич. Теперь он высмеивал бессилие России: неурядица, развал промышленности, пустая казна, жалкая армия, бунты на окраинах.

— Сравните их флот с нашим флотом: дредноут и лодочка. Наши законы с их законами: сто томов и проглоченная вами цидулка. Наши финансы с их финансами: банк Великобритании и несколько краденых пенсов, которые вы успели спрятать. Наконец, наш ум с их умом: вы и я. Стоит нам дунуть, и они полетят как пушинки. Как же они смеют не подчиняться нам? Подумать, что среди англичан находятся низменные натуры, которые верят в эту дурацкую доктрину! Не будь ста томов, я бы просто повесил их, а теперь мне приходится ждать, пока мистер Чемберлен составит сто первый том с отменой первых ста. Тогда-то мы им покажем!

Усы мистера Роттентона неистовствовали, и Лазик решил развеселить собеседника какой-нибудь гомельской историей.

— Это совсем как с выдуманным Богом. Ему вдруг не понравилось, что евреи расшаркиваются перед каким-то Ваалом. Он стал кричать: «Что за посторонние расходы? Этот Ваал ничего не умеет делать. Это просто кусок плохого дерева, а не полномочный Бог. Я могу сейчас же послать вам кровавый дождь, саран-

чу, холеру, словом, все, что мне только вздумается. А что он может? Ровно ничего». И Бог так ворчал с утра до ночи, что всем евреям это надоело. Тогда один умник решил закончить эту затянувшуюся сцену. Он говорит Богу:

«Сейчас я попрошу у Ваала себе двести тысяч, а Циперовичу одну египетскую казнь».

Бог хохочет — он притворяется, что ему смешно.

«Посмотрим, какие он тебе придумает египетские казни!..»

«Значит, этот Ваал ничего не умеет».

«Конечно, ничего, если он просто телеграфный столб».

«Тогда почему же ты к нему ревнуешь? Какой еврей станет ревновать свою жену к полену?»

Здесь выдуманный Бог смутился, и он ушел на цыпочках домой. Эту историю я слышал еще в Гомеле, и это, конечно, половина истории, потому что, наверное, Ваал тоже волновался. А мне один ученый доктор говорил, что от волнения вскакивают прыщики. Так я умоляю вас, не волнуйтесь! Если у них ничего нет, кроме сплошной глупости, зачем волноваться? Дуньте, и они уже улетят, а у вас останутся ваши преданные кондитерские.

Лазик ошибся — рассказанная им история не успокоила мистера Роттентона.

— Преступник! Шпион! Наглец! Как вы смеете насмехаться над конституцией империи? Я не хочу с вами разговаривать. Извольте отвечать на вопросы. И без отнекиваний. Не то вам будет худо. Вы большевистский курьер. Вы ехали из Архангельска... Подпишитесь.

— Хорошо... Я беру перо. Это все-таки лучше, чем когда ваши усы прыгают. Кто вас знает, какие у вас здесь порядки!.. Ну, вы довольны, что я записался? Теперь скажите мне, где он плавает, этот Архангельск, потому что я там еще не был. Нельзя ли там выступить раввином или обезьяной?

— Не прикидывайтесь! Письмо вы проглотили. Отнекиваться поздно — вот ваша подпись. Содержание документа вам хорошо известно. Троцкий сообщал о разгуле большевистской клики и настаивал на выступлении в Ливерпуле. Вот вам бумага и перо. Восстановите текст. Если...

Лазик перебил:

— Не если, а уже...

На лице Лазика появилась смутная улыбка, свидетельствовавшая о творческом напряжении. Через несколько минут он подал мистеру Роттентону исписанный лист.

«Уважаемый товарищ по всем великобританским номерам! Наша клика веселится, как последние нахалы. На краденые деньги из пустой казны мы едим картофельный пудинг с подливкой под грохочущий провал всех окраин. Кругом одни китайские генералы и кулебяка с капустой. Это не жизнь, а смехотворный разгул. Но что же вы там ловите мух и теряете ваше драгоценное время? Я кричу вам: уже выступайте! Вот вам двадцать пенсов, чтобы вы обвязали себя пулеметными лентами с головы до ног. Наш план очень простой: взорвать Соломоновы кондитерские, тогда людоедам останутся только пикули, и вы пошлете к ним этого мистера с усами, который сейчас кричал на меня. Я не знаю еще его полного имени. Потом надо позвать всех преданных индусов на пир в лоно, и от Ливерпуля останется только четыре-пять голых камней. Но прошу вас на коленях — не валандайтесь! Когда я скажу: «Раз-два-три»,— начинайте, и, если вы их всех ухлопаете, я угощу вас здесь таким жирным поросенком с кашей, что вы оближете все ваши красные пальчики шпиона и палача. Ну, будьте здоровы, я устал, и кланяйтесь вашей жене. Как, кстати, детки? Ваш до гроба *Троцкий*».

— Браво! Вот это документ! Как естественно!.. И насчет известного англичанина с усами тоже хорошо: око Москвы. Я вас поздравляю. А теперь отправляйтесь в тюрьму.

— Если «браво», почему же в тюрьму? Я согласен был задержаться, только чтобы не обидеть хозяев, но, конечно, я предпочитаю скакать по открытым улицам.

Но мистер Роттентон больше не слушал Лазика.

В тюрьме у Лазика было немало времени, и, пытаясь смягчить сердце мистера Роттентона, Лазик составил еще несколько писем: Троцкого — Зиновьеву, Зиновьева — мистеру Ботомголау, даже миссис Пуке — мистеру Роттентону. (Последнее изобиловало товарищескими советами.) Однако Лазика не выпускали. Он так увлекся новым занятием, что решил написать кому-нибудь настоящее письмо. Но кому? Фене Гершанович? Нельзя — перехватит Шацман. Минчику? Зачем волновать и себя, и его? Тогда, может быть, Пфейферу? Как-никак Пфейфер был ответственным съемщиком.

Лазик и это письмо передал надзирателю.

— Вот, отошлите, раз у вас не государство, а почтовая контора. Только, пожалуйста, не перепутайте. Оно не Зиновьеву и не Чемберлену. Оно всего-навсего одному анониму.

«Дорогой Пфейфер! Я пишу вам из восемнадцатой решетки, так что трудно только начало. Я, кажется, не падаю духом, хоть моя жизнь теперь один анекдот из репертуара Левки. Как вы говорили: «Человек слабее мухи, и он сильнее железа». Кем я только не был? Если мне придется теперь заполнить анкету, я изведу пуд казенной бумаги. Я посылаю вам мой портрет одного короткого момента, когда я по обязанности купил вонючие букеты, но вы не обращайте на него внимания. Если я похож там на стрекозу из театра, на самом деле — я обыкновенный еврей, у которого в жизни маленькие неудачи. Не показывайте этого портрета дорогой Фене, урожденной Гершанович,— не знаю, за каким она теперь Шацманом. Пусть она не глядит на роскошный галстук. Она еще скажет: «Этот пигмей теперь задается». Дайте ей только один сплошной привет от справедливо поруганного Ройтшванеца. Здесь капнула на листок произвольная слеза, так что простите мне позорную кляксу. Напишите, как живете вы, и дорогая ваша жена, и бриллиант Розочка, и умничек Лейбчик, и золото Монюша? Чьи на вас теперь брюки, мой кровный Пфейфер? Вспоминаете ли вы, когда отлетает пуговка или лопается сразу сзади, смешного Ройтшванеца, который тут как тут с иголкой? Мое сердце рвется, и я мечусь, как тигр. Увижу ли я снова Гомель, и деревья на берегу Сожа, и всех друзей, и даже постыдную бочку или я умру среди этих ста томов? Но я замолкаю ввиду полной цензуры. Я даже кричу «ура» их королевскому дредноуту. Прощайте, дорогой Пфейфер! Я, наверное, скоро умру. Во-первых, мне теперь часто снится, что я уже лежу под землей, но пусть это сон, и главное, во-вторых, то есть они хотят оглашать разные письма, а автору пора на тот свет, если он великий поэт, скажем, как Пушкин. Не сердитесь, что вместо письма выходит намек, вы же знаете, что значит, когда все кругом вами интересуются, как будто они мать или брат... Тысяча точек. Если я умру, пусть в вашем союзе кустарей-одиночек не спускают могучего флага. Это слишком рискованные шутки. Нет, пусть лучше они сыграют похоронный

марш, потому что я был честным тружеником, и за мной идет свежий строй ратников. Растите, Розочка, Лейбчик, Монечка! Цветите! Чего вам желает из-за могилы полуживой *Ройтшванец*».

Лазик напрасно старался — Пфейфер никогда не получил этого письма, но не прошло и трех дней, как Лазика снова вызвали к мистеру Роттентону. Войдя в кабинет, Лазик поспешно спросил:

— Еще писать? У меня уже иссякают рифмы.

— Я прочел ваше письмо какому-то восточному агитатору. Неужели вы хотите вернуться в Гомель?

— Ага, теперь вы поняли, что я из Гомеля, а не из Архангельска?.. Хочу ли я вернуться? Это вопрос. Кажется, хочу. Хоть меня там, наверное, посадят сразу на занозы. Я ведь в Париже голосовал за августейшую поступь, так что меня могут вообще расстрелять. Но здесь мне тоже крышка, и тогда остается голое любопытство: там я хоть перед смертью увижу, чем кончилась эта нежность с Шацманом.

— Нет, я вас не пущу, бедный Ройтшванец, в эту западню! Они должны вскоре пасть. Я раскрою перед вами все карты: мы дунули. Теперь остановка только за ними, правда, они еще не летят, но, наверное, завтра или послезавтра они полетят как пушинки.

— Конечно! Оттого вы сегодня веселый. Даже усы ваши не прыгают. Вот я люблю поговорить, когда такое небесное настроение. Но зачем вы все время думаете о них? Не стоит. Глядите, и прыщик у вас вскочил на носу. Знаете, на кого вы похожи — на старую стряпуху. Это была вполне православная на мельнице возле Гомеля, и там жил старик Сыркин, который ел только кошерную кухню. Он был такой отсталый, что при одном виде свиньи у него делался насморк. Он варил себе каждый день похлебку в отдельном горшке. И вот, что же видит Шурка из ячейки? Горшочек кипит, Сыркин считает мешки, а стряпуха тихонько кидает в суп кусочек свиного сала, и так повторяется каждый божий день. Она даже не жалела своих продуктов. Шурка, конечно, не выдержал, и он спрашивает: «Почему такие придатки?» Но она ему спокойно говорит: «Нехай жидюга не войдет в царство небесное». Так и вы со мной. Кстати, я сижу уже два месяца, значит, вы успели напечатать все, что я проглотил, и теперь меня можно выставить наружу.

— Нет, мы вас не можем просто отпустить. Вы ведь теперь связаны с нами. Я предлагаю вам выгодные условия. Вы будете собирать для нас сведения среди лондонских евреев и вылавливать большевистских агитаторов. Одиннадцать фунтов в месяц.

Лазик вздохнул:

— Вы таки не желаете свиного сала!.. Ну что же, придется взять небольшой аванс...

Выйдя на свободу, Лазик отправился в Уайт-Чепл. Там он закусил, приобрел по дешевке перелицованный костюм и литовский паспорт и после этого, не задумываясь над будущим, пошел на ближайший вокзал. Увидев у кассы знакомое имя, он взял билет до Ливерпуля. Приехав туда, он стал бродить по набережным, разглядывая пароходы. Куда ему ехать? Да все равно... Только бы не в Румынию и не на эти Соломоновы острова! Вдруг он увидел на палубе толпу евреев. Совсем Гомель...

— Куда вы едете таким хором?

— Куда? Конечно, к себе на родину, то есть прямо в Палестину.

Лазик задумался: почему бы и ему не поехать с ними? Может быть, евреи будут повежливей, чем эти великие британцы. Хорошо! Он тоже — пылающий сионист, и он едет по удешевленному тарифу на свою дорогую родину.

Перед самым отходом парохода Лазик почувствовал беспокойство. Вот что значит привычка!.. Спешно купил он открытку с изображением дредноута и написал на ней:

«Дорогой мистер Роттентон! Я привык писать, и я пишу вам. Вы таки скотландский дурак. Может быть, вы родственник мистера Ботомголау? Но дело не в этом. Я забыл вам сказать, что я действительно курьер, что я проглотил бумажку, а на ней был настоящий секрет. Теперь я доехал в Ливерпуль и все здесь восстановил единым духом. Так что берегитесь с вашими пикулями! Отсюда я уезжаю обратно, и не в Гомель, а в Архангельск, потому что вы случайно попали пальцем туда. На ваши деньги мы выпили несколько бутылок вина, и я теперь хохочу, как преданный индус. Вы можете мне писать до вашего востребования или не писать, но сбрейте ваши усы, не то над вами будут смеяться все встречные кошки. Ваш до гроба мистер *Лазик Ройтшвенч*».

37

Денег не хватило. Однако на пароход Лазик попал. Он чистил обувь пассажиров первого класса. В свободное время он проходил на нос, где помещался третий класс. Кого только там не было! Безработные из Уайт-Чепла, литовские эмигранты, старые цадики, ехавшие в Палестину, чтобы умереть, и задорные сионисты, с утра до ночи горланившие национальные гимны, пейсатые привидения иных времен, надевавшие для молитв талесы и ремешки, а рядом с ними коммунисты. Счастливчики из Нью-Йорка меняли доллары, галицийские хасиды, вздыхая, вытаскивали из лапсердаков злоты, а какой-то перепуганный резник прятал от всех, как тайную прокламацию, один сиротливый червонец.

В первом классе было чинно и скучно. Богатая еврейка из Чикаго ехала посмотреть на Святую землю. В ожидании щедрот Господа Бога пока что, над фаянсовой чашкой, она отдавала ему день и ночь, видимо, никому не нужную душу. Английские чиновники показывали друг другу фокусы, пили портвейн и шагали по палубе, методично перебирая длинными ногами в клетчатых брюках. Здесь не было ни анафем, ни молитв, ни рассказов о погромах, ни споров между коммунистами и поалейционистами, ни замечательных биографий. Здесь Лазик ваксил ботинки. На носу — он слушал, говорил, вздыхал.

Иногда он садился на бочку и, одинокий, мечтал. Он не соврал в письме к Пфейферу, за годы блужданий он действительно осунулся и постарел. Ему теперь давали за сорок. Он хворал, кряхтел, кашлял, жаловался — грудь, бок. При малейшем напряжении его лоб покрывался холодной испариной. Может быть, он простудился, или это перестарался майнцский колбасник — не знаю, но стоило поглядеть на его лихорадочные глаза, чтобы воскликнуть: эй, дорогие гомельчане, вы живете припеваючи среди фининспектора, оперетки и гусиных шкварок, а вот наш Лазик Ройтшванец погибает! Он много видал, он узнал и любовь, и горе, он все узнал, теперь он сидит в сторонке, кашляет, горбится, нет у него даже сил, чтобы рассказать вот тому богобоязненному цадику, как молодец Левка в иом-кипур слопал перед самой синагогой целую колбасу за здоровье всех постников, так что у Когана

потекла на мостовую неприличная слюна. Нет, он сидит, закутавшись в старый мешок, и смотрит на море.

— Что же вы ничего не скажете? — спросил Лазика один из нью-йоркских евреев.

— Я должен чистить сапоги, говорить я не обязан. Я, кажется, достаточно в моей жизни разговаривал. Если б вы меня увидали без рубашки, вы бы, наверное, ахнули, потому что там нет местечка без печати, как будто мое скорбное тело — это паспорт. Я говорил два коротких слова, а они переходили, скажем, на полный бокс. Почему я еду в эту Палестину, а не в Америку и не на голый полюс? Я думаю, что евреи не умеют организованно драться, и это для меня еще маленький шанс на жизнь. Можно себе представить, какие электрические палки в Америке! На том же голом полюсе сидит, наверное, полицейский доктор ровно с двумя кулаками. А евреи меня мало били. Правда, во Франкфурте господин Мойзер поломал на мне зонтик, но куда же дождевому зонтику до колбасной дубины? Я думаю, что в еврейской Палестине меня перестанут печатать. Тогда вы уже правы, и это вполне Святая земля. Почему я не читаю рефераты? Я устал. Это бывает со всяким. И потом — откуда вы знаете, может быть, я сейчас разговариваю с этой сумасшедшей водой?

Старик Берка в Гомеле, тот говорил, что всякая вещь поет. Вы думаете, что этот мешок молчит. Нет, он выводит свои мотивы. Дураки, конечно, слышат только готовые слова, а умные, они слышат мелодию. Вот почему, когда два дурака сидят вместе, они не могут молчать, им скучно, и они начинают обязательно ворочать языками. Я вовсе не первая голова, но кое-что я слышу. Я слышу, например, как поет это море, и не только плеск воды, но разные предрассудки: о большой жизни без всяких берегов, когда сходятся море и небо, и они — настоящий мир, а эти три класса со всеми свистками только фальшивая нота. Я уже слышал в жизни, как поют самые разные штуки. Когда я хорошо кроил брюки, они радовались и они пели. Каждой вещи хочется быть лучше, как вам и как мне, только люди стыдятся красивых мотивов, а брюки раскрывают себя до конца.

Берка говорил, что чем умней человек, тем больше мелодий он слышит, но сам Берка был отсталым

хасидом, и он слышал только, как поют души набожных евреев у него в синагоге. Если верить ему, то Мойсей слышал, как поют души всех евреев на свете. Я, конечно, не знаю, сколько в этом простого опиума. Я вот только редко-редко слышу какой-нибудь короткий звук, и тогда я смеюсь от счастья, а потом снова начинается глухонемая жизнь. Интересно, есть ли человек, который слышит сразу все мелодии: и евреев, и этих великих британцев, и кошек, и сюртуков, и даже черствых камней? У такого умника, наверное, сердце переезжает из груди в голову — поближе к ушам, чтобы ему было удобнее слушать, потому что мозгами можно выдумать башню без проволоки, как в Париже, и там ловить различные слова, но настоящую мелодию нельзя словить в трубку. Ее ведь слышат только сердцем.

Теперь вы видите, что я могу иногда говорить? Хорошо, что я еще не еду в вашу Америку! Там они умеют взять еврейский язык и сделать из него один нумерованный доллар с головой женатого президента.

Стояла тихая погода, и Лазик любовался цветущими берегами Португалии.

— Что за предпоследняя красота! Вот я и увидел своими глазами выдуманный рай. Здесь, наверное, столько орхидей, что из них делают смешное сено, а на бананы здесь вообще никто не смотрит, как у нас на подсолнухи. Их грызут только самые несознательные португальцы. А дворцы! Вы видите эти дворцы? Но если подумать хорошенько, то это все-таки не рай. У меня в кармане портрет португальского бича. Я провез его через все испытания. Ну, дорогой бич, посмотри-ка на свою родину! Скорей всего, этот бич сидит теперь на португальских занозах. Конечно, такое солнце — уже половина счастья, и оно для всех. Но кушать португальцы тоже хотят. Нельзя ведь весь день нюхать орхидеи. Вот и получается: вместо Португалии просто-напросто Гомель. Вы что думаете, если глядеть на Гомель издали, это не красота? Можно выпустить тоже восторженные вздохи. Потому что издали виден крутой берег, и могучие деревья, и парк Паскевича со всеми драгоценными беседками. Счастье видно за сто верст, а горе нужно уметь разнюхать. Вот и все. Мы можем ехать дальше, и даже неизвестно, о чем мечтать: если этого бича выпустит наружу хорошенький гнев масс, на занозы посадят другого, потому что земля повсюду земля, она царапается, а человек сделан

из одного теста, он или полномочный нахал с шведской гимнастикой, или зарезанный кролик. Нет, лучше уже глядеть на море, там, конечно, тоже рыбье несчастье, но там, по крайней мере, нет грохочущих слов.

Я слышал в Гомеле очень тонкую историю о царе Давиде. Это был, мало сказать, царь, он был еще замечательным поэтом, и у него все лежало под рукой: и вино, и музыкальные барабаны, и обед по звонку, как в первом классе, и сколько угодно бумаги, так что он каждый день сочинял какой-нибудь красивый стишок. Вот однажды ему повезло. Он сидел, корпел, он не мог выдумать, как бы еще прославить этого выдуманного Бога. У него не хватало слов. Раз уже выдумаешь такую вещь, как Бог, надо уметь с ней обращаться, а он берет готовые слова, и ни одно не годится, все они маленькие, так что Бог вылезает из них, как из детского костюмчика. И вот ему приходят в голову два или даже три неслыханных слова. Он сочиняет стихи высший сорт. Он, конечно, счастлив и берет тетрадку под мышку, и всем читает, и слушает комплименты: «Вы, царь Давид,— новый Пушкин, вы признанный гений». Ведь все поэты любят хвастаться. Шурка Бездомный хотел, чтоб по нему называли папиросы вместо «Червонец». Так легко себе представить, до чего доходил этот певучий царь. Он чуть было не лопнул от славы. Вот он уже прочел свои стихи всем: и жене, и детям, и придворным, и критикам, и просто знакомым евреям. Больше уже некому читать. Он гуляет по саду, и он весь блестит от счастья, как начищенный самовар. Вдруг он видит жабу, и жаба спрашивает его с нахальной улыбкой:

«Что ты так сияешь, Давид, как будто тебя натерли мелом?»

Царь Давид мог бы вообще не ответить. Он же царь, он же гений, он то и се, зачем ему разговаривать с незнакомой жабой? С жабами вообще не разговаривают. Их отшвыривают, чтобы они не лезли под ноги. Но все-таки царь Давид — это не Шурка Бездомный. Он что-то понимал, кроме комплиментов. Он ответил жабе:

«Ну да, я сияю. Я написал замечательные стихи. Ты только послушай!»

И он стал читать ей свои восторженные слова. Но жабу трудно было смутить. Она спрашивает:

«Это все?»

«Это один стих. Но у меня есть тысяча стихов, потому что каждое утро я просыпаюсь, и я радуюсь, что я живу, и я сочиняю мои красивые прославления».

Здесь жаба расхохоталась. Конечно, жаба смеется не как человек, но, когда ей смешно, она смеется.

«Я не понимаю, чего ты так задаешься, Давид? Я, например, самая злосчастная жаба, но я делаю то же самое. Разве ты не слыхал, как я квакаю, хоть мне и не говорят комплиментов. А чем, спрашивается, эти громкие слова лучше моего анонимного кваканья?»

Царь Давид даже покраснел от стыда. Он больше уж не сиял. Нет, он скромно ходил по саду и слушал, как поет каждая маленькая травка. От такой последней жабы он и стал мудрецом.

Но вы поглядите на это море! А облака!.. Разве это не лучше всех наших разговоров?

Увы, недолго Лазику довелось любоваться красою природы. Подул западный ветер. Началась качка. Еле-еле дополз Лазик до борта.

— Что это за смертельный фокстрот? Море, я еще так тебя расхваливал, а ты, оказывается, тоже против несчастного Ройтшванеца! Довольно уже!.. Я увидел, что ты умеешь все фокусы, но я ведь могу умереть. Ой, Фенечка Гершанович, хорошо, что ты меня сейчас не видишь!..

Раздался звонок. Горничная сердито крикнула:

— Туфли в каюту сорок три! Живее! Почему вы их не чистите?

— Я могу только сделать с ними полное наоборот. И вообще не говорите мне о каких-то туфлях, когда я торжественно умираю. Что ж это за Святая земля, куда так трудно попасть маленькому еврею? Лучше уж сорок лет ходить по твердой пустыне. Уберите эти туфли, не то будет плохо!..

Сияло солнце, синело, успокоившись, море, мерно шел своей дорогой пароход «Виктория». Пассажиры первого класса переодевались к обеду. Непрестанно дребезжал звонок. Но не было ни сапог английского майора, ни полуботинок двух веселых туристов, ни туфель богатой еврейки. На носу копошилась крохотная тень. Лазик по-прежнему стоял, согнувшись над бортом. Наконец-то его нашел лакей.

— Тебя все ищут, а ты что — рыбу ловишь? Где ботинки?

— Я... я не могу...

— Не валяй дурака. Качка кончилась.

— А вдруг она снова начнется? Это же не по звонку; так я сразу встал в удобную позу.

Это было мудро, но лакей, видимо, не любил философии. Он отлупил Лазика сапогами английского майора. Сапоги были солидные и со шпорами.

38

Приехав в Тель-Авив, Лазик сразу увидел десяток евреев, которые стояли возле вокзала, размахивая руками. Подойдя к ним поближе, Лазик услышал древнееврейские слова. Он не на шутку удивился.

— Почему вы устраиваете минимум на улице или здесь нет синагоги для ваших отсталых молитв?

— Дурень, кто тебе говорит, что мы молимся? Мы обсуждаем курс египетского фунта, и здесь все говорят на певучем языке Библии, потому что это наша страна, и забудьте скорее ваш идиотский жаргон!

Лазик только почесался. Он-то знал эти певучие языки! Они хотят устроить биржу по-библейски? Хорошо. У кого не бывает фантазий. Главное, где бы здесь перекусить?..

Печально бродил он мимо новых домов, садов, магазинов. На вывесках булочных настоящие еврейские буквы. Факт! Но булки остаются булками, и, чтобы их купить, нужно выложить самые обыкновенные деньги...

Лазик присел на скамейку в сквере. От голода его начинало мутить.

— Земля как земля. Я, например, не чувствую, что она моя, потому что она, наверное, не моя, а или Ротшильда, или сразу Чемберлена, и я даже не чувствую, что она святая. Она царапается, как повсюду. Но кого я вижу?.. Абрамчик, как же вы сюда попали? Сколько лет, как вы из дорогого Гомеля? Уже три года? Пустячки! Ну как, вас тоже тошнило на этой мокрой качалке?..

Абрамчик печально вздохнул.

— Я уже не помню, потому что с того времени я столько качался, что пароход кажется просто колыбелькой. Я пробовал копать землю, но со мной сделался маленький солнечный удар, так что я провалялся полгода в больнице. А потом меня избили ночью арабы, и я снова вернулся в больницу. А потом я продавал газеты на жаргоне, и меня избили не арабы — евреи. Но тогда меня даже не пустили в больницу. Хорошо. Я решил стать нищим в Иерусалиме. Это довольно выгодное дело. Вы же помните, что в Гомеле набожные еврейки кидали у себя в жестяную кружку то

пять копеек, то десять, а потом приезжал один из Палестины и забирал все. Там, оказывается, эти кружки висят повсюду, и что же, получаются крупные нули, так что стоит кричать у Стены Плача, раз за это получаешь месячный оклад. Я так кричал, как будто меня резали. Но все сорвалось из-за одного окурка. Я себе забыл, что я не в Гомеле, а в Иерусалиме, я закурил хорошенький окурок, который я подобрал после англичанина. Что же вы думаете? Оказалось, это — суббота — гомельское счастье! — и меня так избили, что я едва уполз. Я кричал им: «Если суббота, то нельзя работать, а вы же работаете, когда вы меня бьете!» Но они даже не хотели слушать. Теперь я снова попал в этот замечательный Тель-Авив, и я, наверное, здесь умру. Старые цадики, когда они приезжали в Палестину умирать, вовсе не были такими идиотами. Это здесь самое подходящее занятие. Зачем я только поверил в их красивые разговоры и примчался сюда? Я был просто дураком, и когда вы мне говорили на курсах политграмоты: «Абрамчик, вы что-то недодумываете»,— вы были совсем правы. Но вы, Ройтшванец, вы же почти марксист, как вы попали сюда?

— Это я вам расскажу в другой раз, после закуски, а не до. Вы ведь ничего не знаете. Когда вы уехали в Одессу, я еще шил галифе; тогда по улицам Гомеля гуляли, кроме настоящих людей, только грязные бумажки, а не эта гражданка Пуке. Я попал под исторический вихрь. Сюда, например, я приехал из какого-то нарочного Ливерпуля. Мне казалось, что здесь меня перестанут колотить. Но после вашей кровавой исповеди я начинаю уже дрожать. Я ведь стал таким подержанным телом, что из меня может сразу выйти весь дух. Все равно: будь что будет! Прежде всего я хочу закусить. Может быть, мне отправиться в Иерусалим и там покричать у этой стенки?

— Кричите. Там вовсе не дают каждый день деньги, их дают один раз в месяц, и вам придется ждать ровно три недели. Я же знаю все их дикие выходки!

— Что же мне тогда остается?.. Я хочу кушать. Может быть, здесь есть кто-нибудь из гомельчан?..

— Как же! Здесь не кто-нибудь, а сам Давид Гольдбрух. Помните, у него была контора на углу Владимирской? Он еще уехал при первых большевиках в костюме напрокат, скажем, дворника. Так он здесь. Он, оказывается, в их палестинском комитете, и он кричит

повсюду, что здесь апельсиновый рай. Я попробовал было к нему сунуться, но он просто закрыл дверь. А у него, между прочим, три роскошных дома и такой шик внутри, что англичане платят полфунта за один только взгляд.

— Решено — я иду к Гольдбруху. Вы просто не сумели с ним поговорить. Как? Он в комитете, и он выгонит Ройтшванеца, когда этот Ройтшванец специально приехал из общего Гомеля в его апельсиновый рай? Нет, этого не может быть! Вы увидите, Абрамчик, что я вас вечером угощу телячьими ножками с картошкой или, например, студнем — я не знаю, что вы больше любите, а я и то, и другое.

Гольдбрух вправду жил припеваючи. Он ведал строительными работами, строил иногда для других, чаще для себя, на каникулы ездил в Европу; там он собирал деньги, рассказывал об экспорте апельсинов, кутил с девушками, оставшимися «в рассеянии», а потом возвращался в Тель-Авив: «Дело себе идет, к осени я построю еще одну хорошенькую дачку».

Лазика Гольдбрух принял в беседке. Он лежал и пил ледяной лимонад. Его раскрытую грудь обдувал электрический вентилятор. Хоть Лазик и не помнил толком, что это за птица, Гольдбрух, он восторженно крикнул:

— Додя! Ты видишь, что свет уж не так велик,— мы с тобой увиделись! Ну, как вы себя чувствуете?..

Лазик даже прищурил один глаз, как это делал Монькин, когда глядел на картину.

— Немножко загорели, а так совсем как живой. Я бы вас узнал даже на парижской площади. Что? Вы не знаете, кто я? Я прежде всего ваш сосед. Вы жили на Владимирской. Теперь она, простите меня, стала улицей Красного Знамени. А я жил на улице Клары Цеткиной. Это в двух прыжках. Интересно, кто вам шил брюки? Наверное, Цимах. Теперь вы меня узнаете? Я же портной Ройтшванец. То есть как это вам ничего не говорит? Я говорю. И хватит! Как ваши детки поживают? Что? У вас нет деток? Для кого же вы строите ваши дома? Ну, не огорчайтесь, детки еще будут. Что вы там, кстати, пьете? Постыдный лимонад? А когда же у вас попросту обедают?

Гольдбрух в ответ так яростно гаркнул, что Лазик отлетел на десять шагов.

— Почему вы кричите, как в пустыне?

— Потому что вы нахал. Говорите просто, что вам от меня нужно, и убирайтесь!

— Что мне нужно? Например, кусочек родной колбасы на древнееврейском хлебе.

— Работайте!

— Ах, у вас есть что-нибудь перелицевать? Дайте же мне наперсток, и я в одну секунду выверну или даже укорочу...

— У меня нет работы. Вы портной? Так напрасно вы сюда приехали. Здесь больше портных, чем штанов.

— Что же я буду делать, скажем, завтра, если я до завтра не умру?

— Ничего. Вы будете как все — самый обыкновенный безработный.

— А им дают что-нибудь кушать? Тогда я уже согласен.

— Что им дают? Шиш. У нас настоящее государство, а разве есть государство, чтобы не было безработных? Вы будете тихо сидеть и ждать, пока кончится этот кризис.

— Сколько же я просижу натощак? Вы говорите, годик-другой? Вы, наверно, выступаете в каком-нибудь цирке? Но я вас прямо спрошу: что, если я сейчас возьму из вашего драгоценного буфета одну библейскую булочку?

— Очень просто — вас моментально посадят в тюрьму. У нас настоящее государство, а разве есть государство без тюрьмы? И я уже нажимаю эту кнопку, чтобы вас выкинули на улицу, потому что мне слишком жарко для таких дурацких разговоров.

— Я сам ухожу. До свидания, Додя, и в будущем году, скажем, в Гомеле. Это вам не нравится? Постройте себе в утешение еще один домик. Ой, как вы хрипите! Знаете что? Я здесь не видел ни одной свиньи. Откуда же здесь будут свиньи, когда это наша еврейская родина? Вот вам один минус. Разве бывает государство без свиней? Но не волнуйтесь, успокойтесь. У вас таки настоящее государство, и у вас есть даже свиньи, потому что вы, например, в полный профиль...

Лазику не удалось закончить сравнения. Увидев широкоплечего лакея, он только воскликнул: «Начинается! И прямо с Голиафов!» — после чего быстро шмыгнул в ворота. Так Абрамчик и не получил ни телячьих ножек, ни студня.

Началась для Лазика обычная неразбериха чередования профессий, раздирающие душу запахи в обеденные часы, пинки, философские беседы и сон на жесткой земле. Но все труднее и труднее было сносить ему эту жизнь: подкашивались ноги, кашель раздирал грудь

и по ночам снились: Сож, международные мелодии, смерть.

Недели две прослужил он у Могилевского, который торговал сукном в Яффе. В Тель-Авиве было слишком много лавок, а в Яффе дела шли хорошо; одна беда — арабы избивали евреев. Каждое утро, отправляясь из Тель-Авива в Яффу, Могилевский надевал на себя феску, чтобы сойти за араба. Пришлось и Лазику украсить свою голову красной шапчонкой. Это ему понравилось: феска ведь не хвост, феска, как в опере. Но как-то вечером Могилевский, почуяв непогоду, удрал с кассой в Тель-Авив. Лазик остался охранять товар. Подошли арабы. Они что-то кричали, но Лазик не понимал их. Он только на хорошем гомельском языке пробовал заговорить толпу.

— Ну да! Я стопроцентный араб. У меня дома настоящий гарем и бюст вашего Магомета.

На арабов это, впрочем, никак не подействовало.

Могилевский прогнал Лазика: «Вы не умеете с ними жить в полной дружбе». Лазик чесал спину и печально приговаривал:

— У них таки бешенство, как у настоящих арабов! В общем, евреям чудно живется на этой еврейской земле. Вот только где я умру: под этим забором или под тем?

Он нищенствовал, помогал резнику резать кур, набивал подушки и тихо умирал. Как-то при содействии монтера Хишина из Глухова удалось ему прошмыгнуть в ночное кабаре. Девушки, накрашенные ничуть не хуже Марго Шике, танцевали, задирая к потолку голые ноги. Они пели непристойные куплеты. Впрочем, содержание последних Лазик понимал с трудом: по-древнееврейски он умел только молиться. Зато бедра актрис произвели на него чрезмерно сильное впечатление. Расталкивая почтенных зрителей, которые пили шампанское, он вскочил на эстраду.

— Здесь таки цветут святые апельсины! Я падаю на колени. Я влюблен в вас всех оптом. Сколько вас? Восемь? Хорошо, я влюблен в восемь апельсинов, и я предпочитаю умереть здесь от богатырской любви, чем где-нибудь на улице от постыдного аппетита.

Девушкам это, видимо, понравилось. Они начали смеяться. Одна из них даже сказала Лазику по-русски:

— Вы последний комплиментщик. Сразу видно, что вы из Одессы.

— Положим, нет. Я из Гомеля. Но это не важно. Перейдем к вопросу об апельсинах...

Здесь к Лазику подбежал один из зрителей. Он начал кричать:

— Нахал! Как вы смеете вносить в эту высокую атмосферу ваш рабский жаргон? Когда они говорят на священном языке Суламифи, выскакиваете вы, и вы пачкаете наши благородные уши вашей гомельской грязью. Вы, наверное, отъявленный большевик!

Взглянув на крикуна, Лазик обомлел: это был Давид Гольдбрух. Быстро Лазик спросил его:

— Додя, Голиаф с вами?

— Негодяй! Он еще смеет острить, когда за этим столом все члены комитета! Эй, швейцар, освободите нашу долину молодых пальм от подобного пискуна!

Швейцар сначала отколотил Лазика, а потом передал его двум полицейским.

— Господин Гольдбрух сказал, что это, наверное, большевик.

Тогда полицейские в свою очередь стали тузить Лазика.

— Остановитесь! Кто вы такие? Вы евреи или вы полицейские доктора?

— Мы, конечно, евреи. Но ты сегодня потеряешь несколько ребер. Эти англичане еще кричат, что мы не можем справиться с большевизмом. Хорошо! Они увидят, как мы с тобой справились.

Полуживого Лазика отвели в тюрьму. Там он нежно поцеловал портрет португальского бича, сказал: «Девятнадцатая»,—и заплакал.

— Они дерутся не хуже певучих панов. Что и говорить, это настоящее государство! Я не знаю, сколько у меня было ребер и сколько осталось, я им вовсе не веду счет. Но одно я знаю, что Ройтшванецу — крышка.

Утром его повели на допрос. Увидев английский мундир, Лазик обомлел:

— При чем тут великие британцы? Может быть, вы тоже недовольны, что я говорил с этими апельсинами не на языке покойной Суламифи?

Англичанин строго спросил:

— Вы большевик?

— Какая же тут высокая политика, когда меня свели с ума их ноги? Вы что-то пронзаете меня вашим умным взглядом. Уж не получили ли вы открытку с видом от мистера Роттентона? Тогда начинайте прямо с копания могилы.

— Мы не потерпим у себя большевизма! Мы его искореним. Мы очистим нашу страну от московских шпионов.

Тогда Лазик задумался.

— Интересно — сплю я или не сплю? Может быть, я сошел с ума от этих Голиафов? Правда, они вытряхивали бедра, но они могли нечаянно вытряхнуть и мозги. Я, например, не понимаю, зачем вы вспоминаете вашу великую страну с письмами Троцкого и даже с картофельным пудингом, когда я не в Ливерпуле, а в еврейской Палестине?

— Вы показываете черную неблагодарность. Мы вам возвратили вашу родину. Мы вас опекаем. Это называется «мандат». Теперь вы поняли? Мы построили военный порт для великобританского флота и авиационную станцию для перелетов из Англии в Индию. Мы ничего не жалеем для вас. Но большевистской заразы мы не потерпим.

Лазик стал кланяться.

— Мерси! Мерси прямо до гроба! Но скажите, может быть, вы снимете с меня этот мандат, раз я такой неблагодарный Ройтшванец? Все равно я скоро умру, так дайте мне умереть на свободе, чтоб я видел эти апельсиновые сказки, и солнце, и колючую землю, которая меня зачем-то родила! А потом, через месяц или через два, вы сможете вовсю опекать мою заразительную могилу. Я дам вам на это безусловный мандат. Вы уже вернули мне мою родину с этим роскошным портом и даже со станцией, вы великий британец, и вы золотая душа. Верните же мне немного свежего воздуха и скачущих по небу облаков, чтоб я улыбнулся на самом краю могилы!

39

Два месяца просидел Лазик в иерусалимской тюрьме. Когда он вышел, цвели апельсиновые деревья, но он не мог им улыбнуться. Еле-еле дошел он до Стены Плача.

— Что же мне еще делать? Я буду здесь стоять и плакать. Может быть, мне повезет, и завтра как раз число, когда раздают деньги из жестяных кружек. Тогда я съем целого быка. А если нет, тоже ничего. По крайней мере, интересно умереть возле подходящей вещи. Кто бы надо мной плакал? А так я услышу

столько надрывающих воплей, сколько не слышал ни один богач. Ведь здесь же, может быть, триста проходимцев, и они воют с утра до ночи. Им, конечно, все равно над чем плакать, они поплачут над мертвым Ройтшванецем: «Ой, зачем же ты развалился, наш ненаглядный храм!..»

Вспомнив о своих новых обязанностях, Лазик начал бить себя в грудь и кричать. Рядом с ним рыжий еврей так усердствовал, что Лазику пришлось закрыть уши:

— Не можете ли вы оплакивать на два тона ниже, а то у меня лопнут все перепонки?..

Рыжий еврей оглянулся. Лазик закричал:

— Что за миражи? Неужели это вы, Абрамчик? Но почему же вы стали рыжим, если вы были вечным брюнетом?

— Тсс! Я просто покрасил бороду, чтоб они меня не узнали после того факта с окурком. Ну, давайте уже выть!

Оба завыли. Лазик прилежно оплакивал разрушенный храм, но голова его была занята другим. Когда плакальщики разошлись по домам, он сказал Абрамчику:

— Слушайте, Абрамчик, я хочу поднести вам конкретное предложение. Как вы думаете, не пора ли нам уже возвращаться на родину?

Абрамчик остолбенел.

— Мало я слушал эти слова? Ведь мы уже, кажется, вернулись на родину. О чем же вы еще хлопочете?

— Очень просто. Я предлагаю вам вернуться на родину. Здесь, конечно, певучая речь, и Святая земля, и еврейская полиция, и даже мандат в британском мундире, слов нет, здесь апельсиновый рай, но я хочу вернуться на родину. Я не знаю, где вы родились — может быть, под арабскими апельсинами. Что касается меня, то я родился, между прочим, в Гомеле, и мне уже пора домой. Я поездил по свету, поглядел, как живут люди и какой у них в каждой стране свой особый бокс. Теперь я только и мечтаю, что о моем незабвенном Гомеле. Вдруг у меня хватит сил и я доплыву туда живой!.. Я снова увижу красивую картину, когда Сож сверкает под берегом, наверху деревья, и публика возле театра, и базар с отсталыми подсолнухами. Я увижу снова Пфейфера. Я скажу ему: «Дорогой Пфейфер, как же вы здесь жили без меня? Кто вам шил, например, брюки? Наверное, Цимах.. Ведь

здесь же складочка совсем не на месте». И Пфейфер обольется слезами. А маленький Монюша будет прыгать вокруг меня: «Дядя Лазя, дай мне пять копеек на ириски!» И я, конечно, отдам ему всю мою душу. Я увижу Фенечку Гершанович. Она будет гулять с молодым сыном по роскошному саду Паскевича. Я вовсе не подыму низкий шум. Нет, я скажу ей: «Доброе утро! Гуляйте себе хорошо. Пусть цветет ваш маленький богатырь. Я был в двенадцати странах и на двадцати занозах. Я переплывал все моря вплавь. Я видел, как цветут орхидеи. Но я думал все время только о вас. Теперь я, конечно, умираю, и не обращайте на меня никакого внимания, но только принесите на мою могилу один гомельский цветок. Пусть это будет не нахальная орхидея, а самая злостная ромашка, которая растет на каждом шагу». Да, я скажу это Фенечке Гершанович, и потом я умру в неслыханном счастье.

— Вы совсем напрасно говорите о смерти. Вы еще юноша, и вы можете даже жениться. Я не понимаю только одного, как вы поедете отсюда в Гомель? Это же не в двух шагах.

— Ну что ж, я снова сяду на эту качалку, и я закрою глаза. Хорошо, выматывайте из меня все кишки! Одно из двух: или я умру, или я доеду.

— Но вы с ума сошли! Кто вас повезет?

— Это очень просто. Янкелевич в Париже рассказал мне все по пунктам. Я беру лист, и я немедленно открываю полномочный Союз возвращения на родину. Причем это будет великая федерация: они вовсе не обязаны ехать в Гомель. Нет, они могут возвращаться в Фастов и даже в Одессу. Я соберу сто подписей, и я отошлю в Москву заказным письмом всем самым роскошным комиссарам, а тогда за нами приедет настоящий пароход. Вы думаете, здесь мало охотников? Юзька не закричит «ура»? Старик Шенкель не прыгнет мне на шею? Какие тут могут быть разговоры! Все поедут. И я не хочу откладывать это в долгий ящик. Я сейчас же пойду с анкетным листом.

Действительно, Юзька, услыхав о Союзе возвращения на родину, от радости подпрыгнул, он даже угостил Лазика овечьим сыром. Но вот с Шенкелем вышла заминка. Шенкель вовсе не начал обнимать Лазика. Он стал спорить:

— Зачем тебе туда ехать? Что ты, комиссар? Очень там хорошо живется, нечего сказать! Сплошной мед!

Ты, может быть, думаешь, что они тебя озолотят за то, что ты к ним вернулся?

— Нет, этого я как раз не думаю. И я вам скажу правду, я думаю полное наоборот. Я ведь не могу им доказать, что Борис Самойлович — это одно, а я — другое. Я же состоял его кровным племянником, и они, конечно, спросят, где тот драгоценный сверточек. Хорошо еще, если при этом не будет гражданки Пуке. А вдруг она навсегда осталась в Гомеле? Ей же мог понравиться такой красивый город. Тогда меня расстреляют в два счета. Но разве в этом вопрос? Я же хочу умереть у себя дома.

— Ты, Ройтшванец, молод и глуп. Куда ты лезешь? Там ячейки, и фининспектор, и этого нельзя, и туда запрещено, и чуть что, тебя хватают. Это самый безусловный ад. Какой же болван пойдет в своем уме на такие истязания?

— Вы, конечно, старше меня, но насчет ума — это большой вопрос. Хорошо. Там ад, а здесь рай. Правда, я не заметил, чтобы здесь был особенный рай. Вы тоже живете не как ангел, а одной сухой коркой. Но, может быть, я близорукий. В Гомеле Левка пел куплеты о Париже, так что слюнки текли, что же, я там был, в Париже, и я тоже не заметил, что это замечательный рай. Меня там попросту колотили. Но, скажем, что рай в Америке, потому что в Америке я, слава богу, не был, и я не стану с вами спорить. Пусть там стопроцентный рай, а у нас фактический ад. Я принимаю эту предпосылку и все-таки хочу ехать.

Я вам расскажу одну гомельскую историю, и посмотрим, что вы тогда запоете. Вы, наверное, слыхали про ровенского цадика. Он же не был ни молодым, ни глупым, как я. Он для вас, кажется, безусловный авторитет, раз вы держитесь за все предписанные бормотания. Так вот, к этому цадику однажды приходит суровый талмудист с самыми горькими упреками:

«Послушайте, ребе, я вас совсем не понимаю. Все говорят, что вы благочестивый еврей, а я живу рядом, и мне кажется, что у вас не дом, но кабаре. Я сижу и читаю Талмуд, а наши хасиды делают черт знает что — они поют и танцуют, они громко смеются, как будто это московская оперетка».

Цадик ему преспокойно отвечает:

«Ну да, они смеются, как дети, они поют, как птицы, и они прыгают, как козлята. Ведь у них в сердце не черная злоба, но радость и полная любовь».

Талмудист так рассердился, что чуть было не проглотил кончик бородки: он всегда жевал кончик бородки, когда ему хотелось придумать умное слово. Он таки ничего не придумал. Он только сказал:

«Это довольно неприличные для еврея разговоры. Вы ведь знаете, ребе, что, когда мы изучаем один час Талмуд, мы делаем ровно один шаг поближе к раю. Значит, когда мы не изучаем Талмуда, мы пятимся прямо в ад. Ваши хасиды поют, как идиотские птицы, вместо того чтобы сидеть над священной книгой. Куда же вы их толкаете? В ад. Но в аду — признанный ужас. Там одних кипятят, а других жарят, а третьих вешают за языки. Конечно, если это вам нравится, вы можете за час до кипятка танцевать. Но я буду изучать Талмуд, чтобы попасть прямо в рай. Там всегда тепло, не холодно, не жарко, ровная температура, хорошее общество, то есть повсюду одни ангелы: все сидят в золотых коронах и читают Тору. Там розы без шипов, и деревья без гусениц, и на дороге ни одной цеповой собаки. Так неужели же вы не хотите попасть в этот рай?»

Цадик только усмехается.

«Нет. Я, конечно, тебе благодарен за умные советы, но я не хочу этого готового рая. По-моему, там могут жить только ангелы, потому что они не люди, у них нет ни сердца, ни печени, ни страсти. А человек вовсе не должен бояться, если он даже падает вниз. Как же можно подняться наверх, если никогда не падать? Ты мне рассказал о каком-то чужом рае. Это не мой рай, и моего рая вообще нет, я его еще не сделал, а глядеть на красивые картинки я совсем не хочу. Если я буду много смеяться, и много плакать, и много любить, что же, может быть, тогда я увижу на краю могилы мой окровавленный рай».

Вот что ответил ровенский цадик этому ученому талмудисту. Я вас зову ехать. Конечно, там плохо и там трудно. Там нет никакой ровной температуры, а только смертельный сквозняк. Но там люди что-то ищут. Они, наверное, ошибаются. Может быть, они летят даже не вверх, а вниз, но они куда-то летят, а не только зевают на готовых подушках. Вы, Шенкель, конечно, в почетных годах и оставайтесь здесь, но вы, Бройдек, и ты, Зельман, вы же молодые скакуны, так давайте скорее ваши огненные подписи!..

— Какие подписи? Что это за собрание на святой улице? Это, может быть, ты — главный агитатор? Ну-ка, подойди сюда за хорошей подписью!

Лазик теперь знал, что евреи умеют драться. Он бросился бежать. Вначале за ним гнались. Он бежал по загородному шоссе, боясь перевести дыхание. Но он не мог бежать. С грустью подумал он: «Как тот голый еврей вокруг Рима...» Он чувствовал, что силы оставляют его. Нет, он не вернется на родину!..

Он остановился. Больше за ним никто не бежал. Кругом были только черные поля, редкие огоньки ферм, звезды, тишина.

— Где же мой рай? Или я его еще не выкроил?..

И он побежал через силу дальше.

40

Лазик шел по дороге — куда и зачем, он сам не знал. Он не мог идти, и он все же шел. Ему казалось, что он уже прошел тысячи верст. Не Гомель ли за тем поворотом? Но на знойном белесом небе по-прежнему темнели купола и минареты Иерусалима. Лазик все шел. Наконец он свалился. Он лежал теперь в дорожной пыли.

— Кажется, здесь можно поставить хорошую точку.

Но нет, Лазика не хотели оставить в покое. Загудел рожок автомобиля, и шофер, затормозив машину, стал ругаться:

— Нахал! Как ты смеешь валяться на дороге?

Лазик виновато улыбнулся: хорошо, он не будет валяться. Он же ученый, он знает, что такое раздавленное насекомое не смеет задерживать движения.

Что это за старая беседка? Наверное, в ней никто не живет. Там он никого не будет раздражать своим неприличным видом.

Лазик дополз до каменного шатра. Внутри было темно и прохладно. Он увидел бородатого еврея в картузе и пышную даму. На даме было столько бриллиантов, что Лазик зажмурил глаза: как звезды сияли они вокруг тусклой свечи. А этот скрипучий шелк! А это перышко на шляпе! Задыхаясь от гордости и от астмы — немудрено, жиры так и валились на пол,— дама говорила бородатому еврею:

— Вы прочтете самые шикарные молитвы, потому что у меня, слава богу, есть еще чем заплатить. Я приехала сюда из Нью-Йорка, и у моего мужа там самый шикарный ресторан. Я приехала поглядеть на землю предков, пусть эти патриархи видят, что вовсе не все евреи стали несчастными попрошайками, нет, некото-

рые таки вышли в люди. Я хочу порадовать моих предков. Это что-нибудь да значит — увидеть самую шикарную еврейку.

Бородатый сторож лебезил:

— Я прочту десять таких молитв, что все патриархи в раю ахнут. Но скажите мне ваше драгоценное имя и, может быть, имя вашей незабвенной мамочки. Я их напишу на бумажке, и я кину бумажку за этот камень, прямо к самой Рахили.

Дама раскрыла ридикюль.

— Я могу даже пожертвовать мою визитную карточку. Пощупайте зад — это не буквы, это гравюра, это же самые шикарные карточки. Меня зовут по последней моде Виктория, но моя мамочка еще торговала селедками, и я вам скажу по секрету, что ее таки звали Хаей.

Сторож кинул бумажку за камень и, раскачиваясь, принялся бормотать молитвы. Но дама прервала его:

— Уже хватит с предков! Потому что пора к обеду, и меня ждет автомобиль.

Только что она ушла, сторож обратил внимание на лежавшего возле двери Лазика. С презрением оглядел он его лохмотья. Да, этот не сверкает бриллиантами!..

— Спрашивается, что ты здесь делаешь?

— Я? Я — уже.

— Что значит «уже»?

— Уже — умираю.

Тогда сторож начал кричать:

— Вы видели такого второго нахала? Ты знаешь, где ты? Это вовсе не место для подобных попрошаек, это могила самой Рахили. Ты понимаешь, что это за замечательная святыня, или ты вообще оглох? Здесь вовсе не умирают, здесь дают мне немножко денег, и я кидаю записку, и я читаю несколько молитв. А потом отсюда уходят. Ты понял? Что же ты не двигаешься? Как зовут тебя и твою, скажем, мать? Отвечай скорей, пока никого нет, и я тебе устрою это по самому дешевому тарифу.

Лазик печально улыбнулся.

— Вы напрасно волнуетесь. Скажем, что меня зовут «Горе», а мою мать «Печаль». Что же дальше? Вам незачем шевелить губами. У вас и так, наверное, на губах мозоли. Я вовсе не глухонемой, чтобы вы за меня разговаривали с природой, и я не эта американская свинья, у меня нет ни одного пенса, так что перестаньте волноваться. Я через час, наверное, умру.

— Нахал! Богохульник! Последняя собака! Сейчас же убирайся отсюда, не то я тебя истерзаю! Если каждый нищий вздумает умирать на таком святом месте, то что же это будет? Уходи умирать на помойку! Этот гроб Рахили вовсе не для тебя устроен. Он устроен для порядочных людей.

Лазик не двигался с места.

— Вы можете кричать сколько вам вздумается, но я отсюда не уйду, раз я сказал вам, что я умираю. Когда я еще мог жить, все кричали: «Нахал Ройтшванец, как ты смеешь здесь жить?» И меня терзали. И я уходил, потому что я еще хотел жить. А теперь мне совсем все равно. Хотите терзать меня — терзайте. Действительно, какой скандал: Лазик Ройтшванец смеет умирать на таком шикарном месте! Но примиритесь с фактом. Я и при жизни вовсе не выбирал себе подходящие места. Нет, просто дул ветер, и я садился в жесткий вагон. Так и теперь. Я полз, пока я мог, и я приполз. Вы думаете, я знал, что здесь живет этот «гроб Рахили»? Нет, я думал, что здесь никто не живет. Я хотел вежливо умереть, чтобы никого не обидеть последним вздохом. Я ведь знаю, что громко вздыхать нельзя. Но вот я дополз, и вы здесь. Так не кричите на меня за пять минут до последней точки. Будьте оригиналом, скажите мне: «Пожалуйста, милости просим...» Я же никогда не слышал таких неожиданных звуков!

Сторож, однако, упорствовал:

— Здесь вовсе не принято умирать, и кто же будет платить за твои дурацкие похороны?

Тогда Лазик сказал ему с необычайной строгостью:

— Знаете что, еврей, вы мне надоели. Вы мне мешаете умереть. Я должен сейчас подумать о чем-нибудь высоком, а вы ко мне пристаете с пошлыми деньгами. У меня нет денег, и вы можете выкинуть мое мертвое тело хоть в яму, мне все равно. Но сейчас, когда все во мне гудит, я хочу думать только о самом высоком.

Сторож расхохотался:

— Подумаешь, что за важная птица!.. Я еще понимаю, когда умирают какие-нибудь ученые цадики, или министры, или щедрые господа с большим капиталом, так им есть на что оглянуться, у них позади пышная жизнь. А над чем ты можешь философствовать, если ты жалкий попрошайка, неуч, нахал с улицы?

— Да, я не ученый секретарь, и я не Ротшильд. Я только гомельский портной. Но все-таки перед смертью

мне нужно подумать. Вот я вижу всю мою бурную жизнь. Она кипит внизу, как наш Сож. Мне самому смешно, когда я вспоминаю печальные факты. Это даже не похоже на жизнь. Это просто постыдный анекдот нашего Левки. Я вспоминаю, и я улыбаюсь, может быть, за пять минут до последнего вздоха. Наверное, солидные люди умирают совсем иначе. Они считают, сколько они книг написали, когда устраивали шумные перевороты или почем продавали разный товар. Вы правы, господин гробовой сторож, я умираю, как откровенный дурак. Можете поднести сюда вашу драгоценную свечку, и вы увидите, что мои ноги уже не двигаются, я начинаю кончаться с ног, но на моем лице самая отъявленная улыбка. Я улыбаюсь, потому что я все-таки думаю о самом высоком, и, хоть вы грубый крикун, я сейчас расскажу вам мою последнюю историю. Это будет история о дудочке.

Вы, конечно, знаете, кто такой Бешт. Он ведь выдумал всех хасидов. Для вас такие вещи — это дважды два, раз вы кормитесь с мертвого места, а для меня они только красивый предрассудок. Я вижу насквозь ваш дурман, но умные люди всегда остаются умными людьми, даже когда они играют в прятки. Нечего говорить — Бешт был большой головой, и все евреи его почитали. От одного разговора с ним они сразу вырастали на целый вершок. Я уже не говорю о том, какое у него было сердце. По-моему, он был куда справедливей, чем его выдуманный Бог, потому что от Бешта никто не видел зла, ну а от Бога... Впрочем, я не хочу вас на прощанье чересчур огорчать.

Значит, город, где жил этот Бешт, был прямо-таки избранный, хоть в нем не было, наверное, никаких бронзовых фигур. Это был смехотворный городишко между Гомелем и Бердичевом, не Париж и не Берлин. Зато в нем жили самые умные и самые набожные евреи, а среди них этот Бешт. Хорошо. Настает иом-кипур. Евреи собираются в синагогу. Они должны каяться в грехах. Они каются. Конечно, они вовсе не грешили. Разве могут грешить такие порядочные люди? Они, скорей всего, каются для приличия. Посмотрите на эту публику! Вот где ваши цадики и щедрые господа. Этот знает наизусть весь Талмуд, этот пожертвовал триста рублей на новый свиток, этот всегда постится, этот день и ночь молится, словом, они даже не евреи, а готовые ангелы.

Но что же происходит? Бог наверху раскрывает Книгу Судеб, и он вешает разные грехи. Набожные

евреи хотят у него выпросить пощаду. Они бьют себя в грудь, они плачут, они кричат, но нет им никакого облегчения. Каждый чувствует, что у него в сердце камень, и напрасно лить слезы, ничего не поможет, слишком много в этом праведном городе грехов.

Вы себе представить не можете, какая тоска охватила всех! В синагоге стоял такой вопль, что даже птицы, которые летали над крышей, падали вниз от печали. День был для осени на редкость жаркий, набрались тучи, и хотел уже грянуть гром, и не мог. В ужасе думали евреи: «Мы погибли, Бог не отпустит наших грехов, вот-вот уже скрипит его перо, вот-вот он выписывает нам самую черную смерть. Может быть, придет на всех холера или случится новый погром и будут пороть животы, насиловать наших жен и топтать наших деток. Ой, горе нам! Нет нам пощады! Чем ужасным провинились мы?..»

И все умники каялись в разных напечатанных грехах, но своих грехов они не помнили, и как они могли помнить разную человеческую мелочь? Тот, кто знал наизусть весь Талмуд, не знал ни одного простого слова. Он не мог утешить какого-нибудь горемыку, не мог приласкать ребенка, не мог посмеяться в праздник с бедняками. А тот, кто выложил тысячу рублей на пышный свиток, не знал, что значит обыкновенная нужда. Он подавал две копейки на улице признанным нищим, но он не поднес бедному портному, у которого к субботе не было ни свечи, ни булки, чудесного подарка. Он думал, что все люди обходятся красивым свитком. И тот, кто молился, не умел прощать. И тот, кто постился, не умел накормить голодного. И вся их справедливость была на два часа. Они ее напяливали на себя, как шелковый талес. А теперь выдуманному Богу надоел этот маскарад. И вот кричат евреи, но нет дороги их крикам. Тогда они поворачиваются к Бешту: «Раз Бешт с нами, мы не можем пропасть. Он же свой человек у Бога, он выпросит нам полное прощение!»

Бешт стоит и молится. Но ужасная скорбь на его лице, так что больно глядеть. Он же не просто умник, он видит сердца евреев. Он берет на руки их грехи, и у него опускаются руки: таких грехов никто не выдержит. Он хочет заплакать, но у него нет слез. Он — как это небо перед грозой: столпились тучи, нечем дышать, должен пролиться дождь, должен ударить гром, но нет, не может. Тихо и жутко в такой день на земле. Страшно старо-

му Бешту. Он просит выдуманного Бога: «Дай мне слезы, и я вымолю у тебя прощение всем евреям». Но Бог оглох. Он хочет быть справедливым. Он заткнул себе уши, чтоб не растрогаться. И напрасно хлопочет Бешт.

Все страшней и страшней евреям. Они видят, что Бешт терзается. Они видят, что сам Бешт им не поможет. Они уже не кричат больше. Они уже прокричали все голоса. Тихо в синагоге, так тихо, как перед самой смертью, так тихо, сторож, как сейчас у меня на душе. Кажется, слышат евреи шелест страниц; это там, наверху, Бог переворачивает новую страницу Книги Судеб. Сейчас грянет гром. Сейчас захлопнет он тяжелую книгу, и конец, конец всем!

Вдруг среди этой скорбной тишины происходит полное неприличие. Куда только не пролезают разные нищие нахалы? Я вот попал прямо на гроб Рахили, а в ту синагогу, где столько было богачей и знаменитостей, тоже прошмыгнул бедный портной. Его звали Шулимом. Он пришел со своим маленьким сыном, которому было года три или, самое большее, четыре. Шулим пришел молиться, а у ребенка в голове, конечно, не философия, там скорей всего детские проказы. Ему в синагоге скучно. Все стоят и молятся. Ну, час, ну, два, и ребенку надоело. Он дергает отца: «Я хочу к маме»,— но Шулиму не до него: бедный Шулим тоже вздумал разговаривать с Богом. Ребенок не знает, что бы придумать, и тогда он вспоминает, что у него в кармане жестяная дудочка. Мама ему купила вчера на базаре за пять копеек этот богатый подарок. Он вынимает себе дудочку и хочет подуть, как отец, слава Богу, замечает:

«Иоська, сейчас же спрячь эту глупость! Сегодня иом-кипур, и надо плакать, а не играть на трубе».

Но этот Иоська упрямый. Он не хочет плакать. Он хочет обязательно дуть в дудочку. Уже все видят, какой полный скандал. Мало и так они согрешили, а здесь еще это безобразие в синагоге! Понятно, что Бог обижается... Они даже обрадовались. Может быть, все дело не в их грехах, а в этом нахальном портном? Как он сюда затесался? И они гонят Шулима. Но тут вмешивается Бешт. Конечно, во время молитвы нельзя разговаривать, но все-таки Бешт говорит:

«Оставьте этого ребенка! Если он хочет дуть в дудочку, пусть дует».

Иоська, конечно, задул. Он дул в полное свое удовольствие. И грянул гром, и брызнули из глаз Бешта живые слезы, и сразу стало легко всем евреям. Не

успели они опомниться, как настал вечер, вспыхнули звезды, кончился пост. Со слезами радости обнимали они друг друга: «Вот Бог и простил нам все наши грехи. Мы недаром молились и недаром постились. Когда с нами Бешт, как же может Бог на нас сердиться...» Почтительно обступают они Бешта:

«Ребе, вашей молитвой мы все спаслись».

Но Бешт качает головой:

«Нет. Было темно на небе, и там шла смертельная борьба. Ваши грехи весили столько, что их не могли перевесить никакие покаянные слезы. Бог закрыл себе уши. Бог запретил мне плакать. Бог не слышал больше моих молитв. Но вот раздался крик этого ребенка. Он дунул в дудочку, и Бог услышал. Бог не выдержал. Бог улыбнулся. Это же была такая глупая забава, ровно за пять копеек, и это было такое неприличие в великий пост!.. Но я скажу вам одно, умные евреи, вовсе не ваши доводы и не мои молитвы спасли наш город, нет, его спасла жестяная дудочка, один смешной звук от всего детского сердца... Поглядите скорее, как этот Иоська улыбается!..»

Лазик замолк. Он слишком много говорил. Он еле дышал. Непонятно, как досказал он до конца историю о дудочке. Пот покрыл его тело. Сторож ворчал:

— Это все-таки не порядок, в иом-кипур позволить себе такие выходки! Ты это попросту выдумал, чтоб заговорить мне зубы. Но теперь ты поговорил, и ты можешь убираться. Слышишь?..

Лазик ничего не отвечал. Он даже не вздыхал. Тихо и легко умирал он.

Сторож понюхал табак, почесал бороду, потом, не понимая, что же приключилось с этим нахальным нищим, взял свечу и поднес ее к лицу Лазика.

— Ну, что это за поведение?..

Лазик лежал неподвижно. Он больше не дышал. На его мертвом лице была детская улыбка. Вот так улыбался маленький Иоська, когда ему позволили дунуть в дудочку. И, увидев улыбку Лазика, сторож обомлел. Он забыл о деньгах за похороны. Он не повторял привычных молитв. Нет, выронив на пол свечу, он заплакал живыми слезами.

Спи спокойно, бедный Ройтшванец! Больше ты не будешь мечтать ни о великой справедливости, ни о маленьком ломтике колбасы.

Париж
Апрель — октябрь, 1927

День второй

роман

Да будет твердь среди воды.
И стало так. И был вечер, и
было утро: день второй.

Бытие

1

У людей были воля и отчаянье — они выдержали. Звери отступили. Лошади тяжело дышали, забираясь в прожорливую глину; они потели злым потом и падали. Десятник Скворцов привез сюда легавого кобеля. Кобель тщетно нюхал землю. По ночам кобель выл от голода и от тоски. Он садился возле барака и, томительно позевывая, начинал выть. Люди не просыпались: они спали сном праведников и камней. Кобель вскоре сдох. Крысы попытались пристроиться, но и крысы не выдержали суровой жизни. Только насекомые не изменили человеку. Они шли с ним под землю, где тускло светились пласты угля. Они шли с ним и в тайгу. Густыми ордами двигались вши, бодро неслись блохи, ползли деловитые клопы. Таракан, догадавшись, что не найти ему здесь иного прокорма, начал кусать человека.

На дороге сидел Захар Силкин, которого односельчане называли Халабруем, бывший кулак Веневского уезда, ныне переселенец и строитель шамотного цеха. Он сидел нагишом и злобно щипал свою рваную рубаху, стараясь уничтожить несметных врагов. Он сказал Ваське: «Эти граждане заведутся — от них не избавишься». Но Васька ничего не ответил, он только уныло почесался.

В редакции газеты «Большевистская сталь» Шольман, торопясь, дописывал статью о дезинфекции: «В бараке № 28 на столе можно увидеть «Анти-Дюринг», но там кишмя кишат клопы. Когда мы положим конец подобной некультурности?» В бараке № 28, как и в других бараках, люди выкидывали из тюфяков сено и забирались в полосатые мешки. Начесанные бока горели.

Но люди не звери: они умели жить молча. Днем они рыли землю или клали кирпичи. Ночью они спали.

Когда люди пришли сюда, здесь было пусто и дико. Кривой Артем из деревни Бессоновки пас здесь коров. Он сидел на пне и не то пел, не то кричал: «Э-э-э!» Его визгливый голос больно въедался в тишину степи. Иногда приходил сюда фельдшер Злобин из Кузнецка. Фельдшер собирал травы для лечебных настоек. Завидев Артема, он всякий раз лениво спрашивал: «Пасешь?» И так же лениво Артем отвечал: «Ага». Фельдшер сгонял Артема с пня и начинал рассказывать о тайнах Апокалипсиса: у фельдшера была своя страсть — он любил непонятное. Он говорил про число зверя, и, слушая его, Артем недоверчиво зевал.

В стороне был город — Кузнецк. Над городом белели развалины крепостной церкви. Когда партизан Рогов взял Кузнецк, он спалил церковь и повесил попа. Возле развалин люди останавливались по нужде. Здесь был чудесный вид и на реку Томь, и на перепуганные домишки кузнецких мещан, но воздух здесь был трудный.

Иногда в ясный день показывались горы, голубые, как вымысел. Там жили шорцы. Никто не знал толком, как они живут. Они уходили из своих улусов в тайгу, били медведей, выдр и белок. Шаман ударял в большой бубен и на непонятном языке разговаривал с духами. Духи любили мясо и пушнину. Охотник пел песню: «Птицы, птицы! Не клюйте моих мертвых глаз!» Шорка кормила длинной свисающей грудью пятилетнего мальчугана, и тот урчал, как медвежонок.

Когда пришли сюда люди с машинами, шорцы смутились. Машины бегали по степи и рычали. Пришельцы начали рубить тайгу. Тогда шорцы ушли прочь. Они передавали из одного улуса в другой: «Казаки идут!» «Казаками» они называли русских. Как от лесного огня, неслись прочь шаманы, дети, медведи и выдры. В августе то и дело горела тайга. Шаманы говорили, что злые духи разгневаны.

Люди пришли сюда со всех четырех концов страны. Это был год, когда страна дрогнула. В Москве не хватало бумаги, шла в ход папиросная и оберточная. Из старых лабазов вытаскивали конторские книги прошлого века. Люди с фантазией, безудержной, как стихия, старались писать бисерным почерком, чтобы сберечь четвертку листа. Бумага нужна была для проектов, для смет, для таблиц. Трещали одуревшие «ундервуды». Как бешеные бегемоты, ворочались ро-

тационные валы. На заседаниях от цифр першило в горле и захватывало дух. Члены коллегий заболевали грудной жабой от исторического пафоса. Счетоводы и регистраторы начали пить чай вприкуску; засыпая, они теперь мечтали о плюшках. В Москве это называлось «пятилеткой», Москва планировала, и Москва крепко стояла на месте.

В стране надрывались паровозы. Из их груди исходил мучительный свист: они никак не могли поспеть за людьми. За одну ночь на вокзальных перронах, как сказочные горы, выросли тюки, корзины, узлы — все вшивое и пестрое добро. Оседлая жизнь закончилась. Люди понеслись, и ничто больше не могло их остановить. Среди узлов вопили грудные младенцы. Старики отхлебывали суп из ржавых жестянок. Здесь были украинцы и татары, пермяки и калуцкие, буряты, черемисы, калмыки, шахтеры из Юзовки, токари из Коломны, бородатые рязанские мостовщики, комсомольцы, раскулаченные, безработные шахтеры из Вестфалии или из Силезии, сухаревские спекулянты и растратчики, приговоренные к принудительным работам, энтузиасты, жулики и даже сектанты-проповедники. Все эти люди неслись куда глаза глядят. Они не знали, куда они несутся. Но все они неслись на восток, и это знала Москва.

По базарам Украины ходили вербовщики: они набирали рабочих. Глухие деревни севера всполошились, узнав, что в Кузнецке людям дают сапоги. В Казахстане раскулаченные баи успели вырезать скот. Казахи угрюмо щерились: они не знали, как им жить дальше. Они никогда не видали ни заводов, ни железнодорожного полотна. Им сказали, что где-то на севере еще можно жевать и смеяться. Тогда, подобрав полы своих длинных халатов, они пошли. Женщины тащили на спине ребят. Плевались измученные верблюды. Потом запыхтело железное чудовище, и у казахов замерли сердца. Они приехали на стройку, полные вшей, восторга и ужаса. Их повели к бараку, где сидел заведующий рабочей силой. Они не вошли в барак. Они сели на землю, скрестив худые ноги.

На стройке было двести двадцать тысяч человек. День и ночь рабочие строили бараки, но бараков не хватало. Семья спала на одной койке. Люди чесались, обнимались и плодились в темноте. Они развешивали вокруг коек трухлявое зловонное тряпье, пытаясь

оградить свои ночи от чужих глаз, и бараки казались одним громадным табором.

Те, что не попадали в бараки, рыли землянки. Человек приходил на стройку, и тотчас же, как зверь, он начинал рыть нору. Он спешил — перед ним была лютая сибирская зима, и он знал, что против этой зимы бессильны и овчина и вера. Земля покрылась волдырями: это были сотни землянок.

Люди жили как на войне. Они взрывали камень, рубили лес и стояли по пояс в ледяной воде, укрепляя плотину. Каждое утро газета печатала сводки о победах и о прорывах, о пуске домны, о новых залежах руды, о подземном туннеле, о мощи моргановского крана. Люди глядели на кран, который шутя подхватывал огромные болванки, и они понимали, что победа обеспечена. Они забирались в свои землянки. Крохотные печурки дымили. Находила зима. Мороз выжимал из глаз слезы, и от мороза плакали бородатые сибиряки — красные партизаны и староверы, не знавшие в жизни других слез. В трепете припоминали мечтатели из Полтавщины вишенники и темный, как сказка, юг. Ясными ночами на небе бывало столько звезд, что казалось, и там выпал глубокий снег. Но небо было далеко. Люди торопились с кладкой огнеупорного кирпича. Они устанавливали, что ни день, новые рекорды, и в больницах они лежали молча с отмороженными конечностями.

«Почему ты приехал сюда?» — в сердцах спросил Васька Смолин рыжего Ястребцова. Тот, усмехнувшись, ответил: «Будто ты сам не знаешь. Вот получу спецовку и смоюсь». Тогда Васька Смолин, отчаянно сплюнув, отошел в сторону и громко сказал: «Гады! Мы строим гигант, а они пользуются...»

На стройку приезжали летуны. Они получали сапоги и одежду. Потом они уезжали на другую стройку. Они увозили с собой казенное одеяло и презрение к человеческой вере. Они готовы были запрезирать весь мир. Но Васька Смолин их презирал — он отказался от премиальных: он строил гигант.

Бригада мостовщиков побила рекорд. Ее чествовали с музыкой. На эстраде сидел начальник строительства, два американца, секретарь ячейки и фотограф с большущим аппаратом. Фотограф все время приговаривал: «Отвратительное освещение». Трубачи надували щеки; без передышки они играли «Интернацио-

нал». На эстраду поднялся Антип Сорокин. Это был старый мостовщик, владимирец. Всю жизнь он мостил мостовые тихих, степенных городов. Когда большевики надумали мостить сибирские болота, кряхтя, он поехал в Сибирь. Он взошел на эстраду, хитро щурясь: он всегда хитро щурился, когда чего-нибудь не понимал. Председатель прочел по списку: «Товарищ Антип Сорокин». Играла музыка, и кто-то дал Антипу книгу. Тогда старый мостовщик заплакал: он не выдержал света, звуков и счастья. Он не мог прочесть эту толстую книгу — он читал по слогам. Но он слышал, как молодые говорили: «Мы строим гигант»,— и он сочувственно мычал. Потом он вспомнил о своей собственной жизни: нет валенок, Красникову дали гармошку, а гармошку легко загнать на базаре, это не книга, и, вытерев рукавом мокрые глаза, он снова принялся хитро улыбаться.

Варя Тимашова кончила в прошлом году педтехникум. Она учительствовала на стройке. Ей было девятнадцать лет, и она любила переводные романы. Она думала, что она похожа на Ингеборг Келлермана. Она могла бы любить столь же глубоко и красиво, но у нее нет для этого времени... У Вари не было времени даже для мечтаний. Романы она читала только на каникулах. Она занималась в ФЗУ, и у нее каждый день было по десяти или по одиннадцати уроков. Из школы она возвращалась ночью. До Верхней колонии, где она жила, идти надо было добрый час. Не было ни тротуаров, ни фонарей. Варя вязла в глине. Иногда вода приходилась ей по колено, и Варя сердито ругалась: «Сволочи!» Она никак не походила на Ингеборг. Это была курносая русая девушка, с крепкими икрами и с добрым сердцем. Придя домой, она валилась на койку как мертвая, но вдруг приподымалась и, схватив тетрадь, что-то писала — она должна была записывать свои мысли. Она писала: «Надо объяснить ребятам наглядно отличие спор от семян. Чернов ужасный прохвост. У нас с 21-го объявлено соцсоревнование. Все-таки до чего прекрасна жизнь, и как я счастлива!..» Не в силах дольше бороться со сном, Варя совала тетрадь под подушку.

Летуны приезжали, чтобы сорвать спецодежду. Приезжали также крестьяне из ближних колхозов — «подработать на коровку». Приезжали и комсомольцы, товарищи Васьки Смолина: они строили гигант.

Одни приезжали изголодавшись, другие уверовав. Третьих привозили — раскулаченных и арестантов, подмосковных огородников, рассеянных счетоводов, басмачей и церковников.

На пустом месте рос завод, а вокруг завода рос город, как некогда росли города вокруг чтимых народом соборов.

Из других стран приезжали специалисты. Они жили здесь, как на полюсе или как в Сахаре. Они удивлялись всему: энтузиазму, вшам и морозам. Жили они отдельно от русских, у них были свои дома, свои столовки и своя вера. Они верили в доллары, в долларах им и платили.

Американцы щеголяли в широкополых шляпах. Они походили на ковбоев с экрана. Им казалось, что это Аляска и что они ищут золото. Они бодро хлопали по плечу русских инженеров и улыбались комсомольцам. По вечерам они заводили патефоны и танцевали друг с другом.

Англичане жили сухо и загадочно. Они ничего не осуждали и ничему не радовались. Они ели утром пшенную кашу с молоком. Вечером они пили водку с нарзаном. Они рассказывали друг другу детские анекдоты и время от времени громко смеялись. Их лица при этом оставались невеселыми, и смех был страшен.

Немцы жили с семьями. Они копили деньги, ругали уборщиц и при любом случае говорили русским, что в их прекрасной Германии нет ни вшей, ни эпизоотии, ни прогулов. Им хотелось добавить, что в их прекрасной Германии нет и революции, но они дорожили хорошим местом и дружно привскакивали, когда оркестр исполнял «Интернационал».

Итальянцы ставили турбины. Они пели романсы и писали на родину длинные письма с орфографическими ошибками и с доподлинной поэзией. По вечерам они волочились за русскими девушками, соблазняя их и пылкостью чувств, и мармеладом, который отпускали в распределителе для иностранных специалистов.

Все иностранцы говорили: постройка такого завода требует не месяцев, но долгих лет. Москва говорила: завод должен быть построен не в годы, но в месяцы. Каждое утро иностранцы удивленно морщились: завод рос.

В тифозной больнице строители умирали от сыпняка. Умирая, они бредили. Этот бред был полон

значения. Умирая от сыпняка, люди еще пытались бежать вперед. На место мертвых приходили новые.

Однажды рухнули леса. Инженер Фролов и двадцать строителей обсуждали сроки работы. Настил не выдержал. Люди упали в ветошку и задохлись. Их торжественно похоронили. Каждый день с запада неслись длинные поезда. Люди высаживались возле маленькой будки, которая называлась «станцией». Ветер кидал летом пыль, зимой снег, и, болезненно щурясь, люди шли через пустыри туда, где шумела стройка.

Так 4 апреля зажглись огни первой домны. Небо стало оранжевым, а воздух наполнился скрежетом и смрадом. По проводам понеслась короткая «молния»: «Москва, Кремль. Выдали первую плавку чугуна в 64 тонны. Чугун бесперебойно принят разливочной машиной. Чугун прекрасного качества, 4 процента кремния. Все агрегаты и самая домна работают совершенно нормально».

2

В тот день, когда начальник строительства послал «молнию» о пуске первой домны, на площадке было шумно: люди праздновали победу. Из драгоценного чугуна отлили дощечку. На дощечке значилось: «Товарищу И. В. Сталину». В клубе итээров, всклокоченные от счастья, специалисты говорили речи и пили ячменный кофе с печеньем «Пушкин». В землянке Сидорчука, которую шутя называли «рестораном «Порт-Артур» стоял дым коромыслом: Сидорчук тайно торговал водкой. Кто лез к сонливой жене Сидорчука, кто, перепив, тут же блевал. В красном уголке комсомольского барака Васька Смолин читал доклад: «Первый форт взят». После доклада состоялись коллективные игры. Манька визжала: «Не тронь! Я щекотливая!..» Смолин вышел с Верой на улицу Ночь была холодная, и Вера вздрогнула. Васька сказал: «Так, Вера, делается история...» Вера в ответ тихо погладила его руку. В столовой для иностранцев косой Смитс пил пиво и кричал, что он выиграл у Хайнца пари: он говорил, что домну пустят в срок. Словом, в тот день все волновались.

Колька Ржанов улыбался. На его лице нельзя было ничего различить, кроме одной огромной улыб-

ки. Впрочем, улыбались в тот день двести двадцать тысяч строителей. Улыбались моргановские краны и пестрые платочки киргизок. Улыбалось апрельское небо — оно сулило шумные ливни, зелень, всю горячую неразбериху сибирского лета. В тот день можно было и не заметить Ржанова, спутать его с Федоровым или с Чеборевским. Улыбка съедала и щеки и глаза. Но у Кольки Ржанова было свое лицо. Несмотря на его молодость, у него была и своя жизнь.

Отец Кольки работал в Свердловске (тогда говорили — Екатеринбурге) на Верхнеисетском заводе. Колька помнит, что отец любил пить пиво. Когда приходили товарищи, отец подолгу с ними спорил. Мать, раздосадованная, говорила: «Опять они наследили...» Отца расстреляли белые. Глотая слезы, мать шептала: «Тише, Колька! Услышат...» Возле пруда Колька увидел офицера. Офицер смеялся и ел конфеты. Колька тотчас же подумал, что этот усатый человек убил его отца. Он уже умел ругаться, как взрослые. Он подошел к офицеру и громко крикнул: «Ирод!» Офицер не побил Кольку. Он и не рассердился. Смеясь попрежнему, он дал мальчику карамель. Колька зажал конфету в кулак и бросился бежать. Потом он остановился. Растерянно поглядел он на карамель. Бумажка была красивая. Он знал, что конфету следует бросить, но он поддался искушению: он засунул ее в рот. Он долго сосал. Его лицо выдавало не счастье, но смятение. Ночью он испугал мать внезапным плачем. Мать думала, что ему жаль отца, и тихо она проговорила: «Может быть, и умереть легче, чем так жить...» Но Колька не думал об отце. Он ненавидел себя. Он бил себя маленькими розовыми кулаками. В ту же ночь он узнал, что жизнь не легка. Ему было тогда семь лет.

Он рос быстро и неровно, то гнулся в сторону, то поникал. Его мать была верующая, и в углу висела икона. Колька был пионером. Икону он снял. Он попробовал объяснить матери, что все это неправда. Христос воскрес только потому, что народы весной сеют, а у кита крохотная глотка и кит никак не мог проглотить Иону. Он говорил наставительно и долго. Мать заплакала. Тогда Колька растерялся. Он не любил слез. Он сказал: «Можешь повесить свою икону. А насчет кита — это факт».

Он учился в заводском училище. Из уроков он любил военизацию и родной язык. Он маршировал,

стрелял и жадно повторял принципы стратегии. Он знал, что нет большей радости, нежели побеждать. На уроках родного языка он пропускал мимо ушей скучный синтаксис. Зато, как завороженный, он слушал стихи Пушкина. Он даже выучил наизусть две первые песни «Руслана». Его записали на черную доску за нарушение дисциплины. Он признал: «Правильно!» Когда был субботник по учету скота, он работал больше всех. Он видел, что счастье в труде, но у него было горячее сердце, и труд казался ему скучным. На уроках алгебры он читал романы Джека Лондона. В мастерских он затевал игры. Потом он кончил училище, и его послали в цех ширпотреба. Он вынимал из-под пресса кастрюли, и он тосковал.

Как-то в заводском клубе показывали картину «Вечный грех». Это была старая американская картина. К ней приделали русские надписи, и надписи поясняли, что бессердечный хозяин решил для забавы погубить одинокую конторщицу. Колька жадно глядел на красавицу с голыми плечами, на молодого шалопая, который пил ликер, на гонку автомобилей. Нельзя было угадать: догонит ли отец Джона или не догонит? Они мчались так быстро, что болели глаза и голова шла кругом.

После этого вечера Коля зачастил в клуб нарпита. Там танцевали польку и вальс. Коля танцевал с девушками и пристыженно улыбался. Ему казалось, что он танцует хуже всех и что девушки над ним смеются. В душе он был растерян. Он часто спрашивал себя: должен ли комсомолец танцевать? Он не знал, как ему жить. Кругом люди работали день и ночь. Они не умели веселиться. Чтобы найти полузапретное веселье, нужна была сноровка. У Кольки появился учитель — некто Сотов. Этот Сотов числился комсомольцем, но он только и делал, что гулял с девушками или резался в карты.

Сотов спросил Кольку: «Ты куда ходишь с девчатами?» Колька густо покраснел. Он хотел было соврать: «В рощу». Но он не умел врать. Он признался Сотову, что он еще не знал в жизни женщин. Сотов долго смеялся. Из его огромного рта вылетали брызги, а зеленые глаза весело туманились.

Несколько дней спустя Сотов сказал Коле: «Приходи сегодня к Павлику». Потом он помолчал и многозначительно добавил: «Будет весело». Колька понял

и взволновался. Долго пытался он щеткой пригладить чуб, но чуб упорствовал.

У Павлика была настоящая пьянка. Выпив три стопки, Колька охмелел. Он, однако, продолжал и видеть и понимать. Сотов прижимал к себе Аньку из упаковочной. Колька подсел поближе — ему хотелось послушать, о чем говорят влюбленные. Сотов, который был груб и насмешлив, с Аней говорил непривычным голосом. Он говорил о своих чувствах, о том, что у Ани «глаза, полные сердечности», о том, что любовь теперь свободна, «не как в романах Толстого». Говоря это, он смотрел за тем, чтобы Аня пила, и, поднося ей рюмку, каждый раз приговаривал: «За самое большое одну малюсенькую...» Аня, пьянея, бессмысленно хохотала. Когда она на минуту отошла от Сотова, тот, не забывая своей роли опекуна, деловито сказал Кольке: «Ты, Колька, не зевай. Вот Маруська не у дел. Подпои, а потом — в рощу. Будет отбиваться — ничего: это они всегда так, а потом сами рады...»

Колька послушно выполнил все предписанное. Он дал Марусе большую стопку. Когда та сказала, что у нее кружится голова, он вежливо предложил выйти на свежий воздух — проветриться. Маруся ему не нравилась: у нее были коровьи глаза, и она преглупо улыбалась. Когда он нагнулся, чтобы поцеловать ее в губы, он услышал запах духов. От этого запаха его начало мутить. Он подумал — вроде как клопами... Почему-то он сказал: «Комсомолка не должна душиться». Маруся перепуганно улыбнулась и ответила: «Это не духи, это одеколон, и плохой...»

В роще Колька вспомнил: надо бы поговорить о чувствах, вот как Сотов... Но слов у него не было; а когда он понял, что слова надо придумывать, ему стало скучно, как в школе на уроках немецкого. Неожиданно, не только для нее, но и для себя, он повалил девушку на мокрую траву, Маруся закричала: «Пусти! Я не хочу!» Колька виновато съежился. Он сказал: «Это я пошутил. А теперь пора и по домам. Сыро здесь — ты простудишься...»

Потом, припоминая эту ночь, он неизменно морщился, как от приступа зубной боли. Он стал избегать Сотова. Он больше не ходил на пьянки. Он забросил и танцульки. Он понял, что жизнь, которая на экране ему показалась веселой и стремительной, так же скучна, как алгебраические формулы или как станки мастерской.

Он работал теперь исправно. По вечерам он ходил на собрания. Он много читал. Но в душе он был холоден ко всему: и к числу выпускаемых кастрюль, и к борьбе с оппортунистами, и к стихам Безыменского. Его глаза цвета светлой резеды глядели на мир печально и отчужденно. Они ни на чем не задерживались. Это были глаза слепого.

Шаров сказал ему: «Знаешь, я записался на ускоренные. Заниматься придется по ночам. Зато через четыре года буду инженером». Колька удивленно посмотрел на Шарова. Он не понимал этой воли. Зачем напрягаться, хитрить, зачем пробиваться вперед, отталкивая других, как будто жизнь — это набитый до отказа трамвай... Колька молчал, пока Шаров с восторгом рассказывал ему о своем будущем. Тогда Шаров, желая, чтобы его счастье разделили все, сказал: «Почему бы и тебе не налечь? Подготовиться можно за лето...» Колька ответил равнодушно: «Не всем быть инженерами. Нужны и рабочие». В его голосе не было ни зависти, ни обиды. Но вечером он отбросил роман Шолохова, судорожно зевнул и подумал: «Везет же такому Шарову! А я?.. Нет, мне уже поздно начинать...» Колька решил, что он неудачник, и это его несколько успокоило.

Умерла мать. Умерла она в больнице. Перед смертью она захотела причаститься. Одна из сиделок согласилась сходить за священником. Поп пришел в пиджаке, робко поглядывая на служителей. По утрам он сидел в санитарном тресте и регистрировал исходящие. Но перед умирающей он вспомнил свой сан и величественно помахал грязными жилистыми руками. Сиделки отвернулись. Мать Кольки блаженно улыбалась. Эту улыбку и застал Колька. Он знал, что мать с двенадцати лет работала на прядильной. Двое детей ее умерли, мужа убили, а Колька вырос чужой и неласковый. Она не видала в жизни ни отдыха, ни участия. Но она верила в своего Бога, и она была счастлива. Колька пренебрежительно морщился, но в душе он завидовал матери, как он завидовал и Шарову.

Ему было девятнадцать лет, но он думал, что это — старость.

После смерти матери он жил в общежитии. Как-то он не вышел на работу: поранил палец. Он оказался вдвоем с уборщицей Нюшей. Нехотя читал он статью в «Известиях» о черной металлургии. Нюша подошла

к нему и, пахнув на него щами, засмеялась. Она была веселая, ее так и звали «Нюшка-хохотушка». У Кольки помутнело в глазах, как будто он залпом выпил стакан водки. Он приподнялся и пробубнил: «Вот что...»

Потом он ничего не мог припомнить, кроме запаха щей и этого смеха на «о». Он выбежал на улицу. Была оттепель. Пахло гнилью, весной и лекарствами. Черные пятна на снегу казались болячками. Колька глубоко дышал. От сырого тумана кололо в груди. Он растерянно глядел на небо, на дома. Возле него висела афиша — поверх старой газеты было написано чернилами: «Боевик! «Пламя любви». С ненавистью поглядел Колька на расплывшиеся буквы. Снова закололо в груди. Отстегнув ворот, он положил руку на грудь, но тотчас же ее отдернул: ему было ненавистно собственное тело. Он долго бегал по улицам. Торчали остовы домов. Старый город был наполовину снесен, новый еще только строили. Между железными скелетами гнил снег. Люди радовались весне, и они ругались, попадая в глубокие лужи. Колька бежал по талому снегу, ничего не замечая, полный глубокого, непонятного ему страха. Он думал, что его жизнь закончилась, и в этом тяжелом разложении зимы он видел нечто себе родственное.

Он еще выходил каждое утро на работу, но его преследовала одна мысль: уехать! Может быть, распростившись с этими родными ему местами, он освободится от сердечной пустоты. Долгачев, глядя на Кольку, говорил: «Парень-то наш заскучал».

Весна шла быстрая и расточительная. В одну ночь она смыла ливнем снег, который еще прятался от солнца. Она взломала лед на пруду. Она начала швырять на грустный город, в котором не было ни реки, ни тенистых садов, ни бульваров, то какие-то желтые цветочки, запестревшие среди щебня, то душистый вздор черемухи, то беспричинные улыбки. И эти улыбки развязно вмешивались в порядок дня очередных заседаний.

В шумное яркое утро Колька Ржанов понес на вокзал маленький сундучок. В сундучке лежали три рубашки, старые сапоги и пестрый галстук, купленный еще в те времена, когда Колька шлялся по танцулькам. Он ехал на стройку.

Всю дорогу он молчал. В окно глядеть было скучно: с утра до ночи тянулась все та же степь. Кругом

люди без умолку говорили. Говорили они только о стройке: какие там харчи, правда ли, что дают по два кило сахара, не холодно ли зимой в бараках. Какой-то вертлявый человечек каждому повторял с глубоким восторгом: «Ровно на шестой день выдадут спецовку, честное мое слово!» В углу дремала бледная женщина. Она ехала к мужу. Выходя на минуту из забытья, она неизменно спрашивала соседей: «Вы мне скажите, а не страшно в Сибири? Я ведь по сложению слабая...» Колька трясся в такт колесам и сосредоточенно молчал. Он не знал, зачем он едет, он не знал, что с ним будет на новом месте, да, сказать правду, он и не волновался. Его светлые глаза хранили все ту же отрешенность.

Но когда локомотив, облегченно вздохнув, остановился среди поля, когда из грязных прокуренных вагонов, которые казались людям уютными, как родной дом, выкатились на землю сундуки, корзины и узлы, когда обдал приезжих острый беспокойный ветер, Колька болезненно вздрогнул.

3

Вместе с Колькой Ржановым на стройку приехали и другие. В тот день приехало двести сорок новых строителей. Позади у них были разная жизнь и разное горе.

Егор Шуляев приехал прямо из колхоза. Он говорил: «В деревне теперь не житье. То — «сдавай картошку», то — «красный обоз», то — «коллективный хлев строим». Нет человеку спокойствия! Прошлой осенью у нас раскулачили тридцать восемь дворов. А какой же это кулак Клумнев, когда у него только и было добра, что две коровы? Здесь никому до тебя нет дела. Отработал, получил пропуск в столовую, похлебал щей — и гуляй». Егор Шуляев привез с собой двести целковых. На стройку он приехал с женой. Оба стали на работу как землекопы. Вечером они пошли подыскивать себе кров. В деревне говорили, будто за две сотенных можно купить теплую землянку.

Инженера Карпова прислали из Москвы. С тоской он думал о жене, о друзьях, о премьерах в Художественном театре, о залитой огнями Тверской. Он, однако, храбрился. «Конечно, работа здесь интересная. Можно

сказать, внимание всего мира сосредоточено... Это вам, Сергей Николаевич, не проекты разрабатывать, это настоящее дело!..» Ему казалось, что он у себя в Столешниковом и что он спорит с Сергеем Николаевичем. Но он сидел один в столовке итээров. Он пил жидкий чай и нервно постукивал ложечкой о стакан. Кругом него люди спеша засовывали в рот картофельное пюре. Никому не было дела до Карпова. Допив чай, Карпов пошел на работу — он был специалистом по монтажу рольгангов.

Три сестры Кургановых прятались одна за другую: они никогда не видали столько людей. Они жили в деревне Игнатовка и продавали молоко. Когда началась коллективизация, коров отобрали. Потом пришло письмо Сталина о «головокружении». Коров развели по дворам. Две коровы Кургановых без присмотра околели. Девушки попробовали работать в колхозе, но с непривычки им было тяжело. Они вырабатывали мало трудодней. Тогда они решили уехать на стройку. Услыхав пыхтение экскаватора, они в перепуге заметались. Младшая — Таня — со страха начала икать. Но Варвара, заглянув в барак, восхищенно сказала: «Чай-то у них фамильный...» Двух Кургановых послали на кладку кирпича — подавальщицами. Таня была определена уборщицей в барак № 218.

Старый партизан Самушкин приехал на стройку, потому что его грызла тоска. Десять лет он рассказывал всем, как он гонял по Алтаю белых. «Только мы подходим, а они уже ставят на колокольню пулемет. Я говорил: «За кровь товарищей вы безусловно ответите». И действительно, трудно сосчитать, сколько церквей мы спалили. Попов, разумеется, на дерево...» Самушкин рассказывал об этом односельчанам и случайным попутчикам, сотрудникам ОНО в Бийске и бабам на базаре. Вначале слушатели охали, поддакивали, волновались. Но мало-помалу гражданская война становилась историей. Самушкина перебивали: «Да ты об этом уже говорил!..» Он сидел в ОНО и писал бумаги: «Сельсовет Михайловского, несмотря на директивы центра, отказывается отпустить для школы дрова...» Как-то вузовец, услышав в десятый раз рассказ о пулеметах и колокольне, насмешливо спросил Самушкина: «Может, ты и при Бородине сражался?..» Самушкину стало в жизни неуютно: не было ни опасности, ни побед. Тогда он ушел со службы, сославшись на бо-

лезнь: старая рана, ревматизм. На самом деле он решил посмотреть, что такое стройка. Он попал сразу в какую-то канцелярию. Молоденькая девушка, даже не глядя на него, закричала: «Что же вы стоите? Надо сейчас же позвонить Шильману — на мартене только что сняли шестьдесят землекопов...» И, не переспрашивая, Самушкин кинулся к телефону.

Гришке Чуеву в Москве пришлось туго. Он продавал на Сухаревке сахар, который получал от заведующего распределителем Булкина. Этого Булкина недавно накрыли. Гришка понял, что пора менять местожительство. Четырнадцать лет революции он прожил кочуя. Он торговал контрабандным сукном в Батуме. В Ростове он работал на госмельнице, отпуская любителям крупчатку «по себестоимости». Потом его занесло на Днепрострой. Там он сводил инспецов с машинистками. В Харькове он подыскивал комнаты. Теперь он приехал в Кузнецк. Опытным взглядом он оглядел бараки: здесь много людей, значит, здесь найдется дело и для Гришки! Он решил покупать у американцев крепкие напитки. Вечером он уже доказывал Дорану, что два червонца за коньяк «Конкордия» красная цена.

Писателю Грибину надо было написать новый роман. Критики его донимали. Они утверждали, что Грибин уклоняется от современных тем. Грибин взял в журнале аванс под роман о стройке и заказал место в международном вагоне. Он стоял возле управления заводом и рассматривал проходящих. Рядом с ним какой-то клепальщик перематывал портянки. Грибин, морщась, вспомнил, что жена забыла вложить в саквояж одеколон. Он подумал о жене, о своем кабинете с портретом Пушкина, о далеком уюте, и он загрустил. Но надо было работать. Он вынул из кармана записную книжку и записал: «Большая постройка. Зовут «кауперы». Грандиозное впечатление. Вставить в главу, где ударник влюбляется». Утомившись, он зевнул и поплелся в столовую для иностранцев.

Шорец Мукаш приехал из улуса Сары-Сед. В улусе было четыре имама. Мукаш был охотником. Пушнину он отвозил русским в «Интеграл». За хорошую выдру ему давали до восьмидесяти рублей. В улус Сары-Сед приехал русский. Этот русский сказал, что стройка находится в стране шорцев и, следовательно, шорцы должны вместе с русскими строить гигант. Подумав,

шорцы послали Мукаша — Мукаш был младший. Мукаш не понимал, что именно строят русские: дом, крепость или город. Он привез с собой трубку и божка. Трубка была из березового дерева с медной покрышкой. Ее сделал дядя Мукаша хромой Ато, который считался лучшим стрелком. Кто сделал бога, Мукаш не знал. Бог висел над люлькой, вместе с крохотным луком. У бога были короткие руки и большая круглая голова. Бог охранял Мукаша от пули и от мух. Мукашу сказали, что он должен ехать в Тельбесс на копи. Там добывают руду, и там работает бригада шорцев. Ему сказали также, что он у себя дома, что эта страна — Шория и что большевики строят в Шории гигант. Мукаш ничего не ответил. Он запел. Русские не знали, о чем его песня,— он пел на своем языке.

Елена Александровна Гарт приехала на стройку как переводчица. Она знала английский и немецкий. Она работала в Тяжпроме, но Маня Королева ей написала, что на стройке работать куда интересней. Правда, в Кузнецке нет театров. Но иностранцы скучают, и вечера они проводят с переводчицами. В распределителе для инспецов можно достать все: шелк, береты, даже дамские туфли. Вдруг какой-нибудь американец влюбится в Елену... Мечтая, Елена зажмурилась. Тогда инженер Гармин в нетерпении крикнул: «Переведите — блюмсы сечением триста на триста отсюда направляются к шпеллерам...» От страха Елена похолодела.

Все эти люди приехали на стройку вместе с Колькой Ржановым; эти и другие, много других. Их записали в книгу. Никто не спросил, как они жили раньше и какая страсть привела их сюда. Их сосчитали, чтобы не ошибиться при выдаче хлеба. Людей распределили по цехам. Кольку Ржанова послали в доменный.

В тоске Колька оглядел барак. Люди лежали на койках не разувшись. Воздух был густой, как масло,— от махорки и от человеческих испарений. В углу без умолку кричал грудной младенец. Колька попробовал было читать, но лампочка была тусклая, и у него быстро заболели глаза. Тогда он прошел в красный уголок. Два котельщика играли в шашки. Они чесались и однообразно приговаривали: «А я через нее сигану...» На стене висел старый номер стенгазеты. Колька прочел: «Галкин предается азартным играм, а на просьбы прекратить дебош отвечает бурным матом минут на двадцать. Когда же мы сразим огнем

пролетарской самокритики это безобразие, унаследованное царизмом?»

Колька подумал: зачем он сюда приехал? В Свердловске было чище и спокойней. По вечерам он мог читать. Скучно? Но скучно повсюду... Разве можно жить в таком хлеву... Колька прочел все в той же стенгазете: «Мы строим гигант!» Он недоверчиво усмехнулся: он видел вокруг себя усталых и несчастных людей.

Дня три спустя Колька пошел в клуб. Там он встретился с Васькой Смолиным. Смолин начал ему рассказывать про ударную бригаду комсомольцев. Колька улыбался. Нельзя было понять, радуется он словам Смолина или насмехается. Потом, все так же улыбаясь, он сказал: «А вот я видал в распределителе — конфеты только для ударников. Как же это: с одной стороны — энтузиазм, а с другой — кило карамели?..» Смолин не смутился. «Премии или чествования — это ерунда. Вся штука в том, что мы строим. Это как микроб. По-моему, доктора могут найти такую болезнь: «кузнецкая лихорадка». Ты на себе это почувствуешь. В жар и холод кидает. Люди не едят, не спят. Помыться и то нет времени». Колька больше не улыбался. Задумчиво постучал он папиросой о коробку и ответил: «Может быть. Я такого еще не видал».

Колька попал в бригаду Тихонова. Рабочие из других бригад смеялись над тихоновцами: «Они кауперы к сороковому году закончат...» Их звали «тихоходами». Кольку это злило. Он вспоминал школьные годы. Его группу дразнили «кувыркалы» за то, что при состязании в беге они сплоховали. Мальчишки из пятой группы даже сочинили песенку: «Кувыркала фыркала». Колька тогда не вытерпел: он отлупил обидчиков.

Слыша, как рабочие смеются над «тихоходами», он досадливо пожимал плечами. Он глотал обиду, как глотают слезы.

Он говорил с инженером Соловьевым. Тот объяснил, как надо прикреплять листы. Тогда подошел Богданов. Это был краснощекий веселый парень. Улыбаясь, Богданов сказал Соловьеву: «Вы, Иван Николаевич, на них не полагайтесь. Эти тихоходы уже месяц как валандаются, и все без толку». Колька даже сгорбился от обиды. Он хотел обругать Богданова, но сдержался. Он отошел к товарищам и вдруг каким-то очень тонким, не своим голосом сказал: «Что ж это

такое, ребята?.. Чем мы хуже других?..» Он сказал это и покраснел от стыда. Ему казалось, что рабочие в ответ засмеются: «Конфетки захотелось?..» Но рабочие молчали. Только Фадеев проворчал: «Кормить не кормят, а тут еще рекорды ставь».

Отступать было поздно. С минуту постояв в нерешительности, Колька полез прикреплять лист к колесу. Он работал до изнеможения. Ночью он долго не мог уснуть. В ушах гудело, и, забываясь, он конвульсивно вздрагивал, как будто кто-то его будил.

Так началась борьба. Колька не думал ни о гиганте, ни о стране, ни о революции. Он думал о цифрах: обогнать! Он шел на все хитрости. Он соблазнял Фадеева: «Премировать будут сапогами». Он льстил молоденькому Крючкову: «Ты у нас первый». Он подзадоривал Тихонова: «Тебя выдвинут». Для себя он не хотел ни сапог, ни похвал, ни курсов. Он хотел одного: перегнать обидчиков.

В третью декаду бригада Тихонова выполнила задание на сто девять процентов. Впереди шли только богдановцы.

Увидав цифры на доске, Колька вспыхнул. Он вспомнил полотно экрана, мигание и гонку двух автомобилей.

В Свердловске у Кольки были товарищи, которые увлекались спортом. Телемисов играл в футбол. Он только и говорил о том, что они обязательно побьют челябинцев. Колька тогда над ним подтрунивал. Теперь он жил той же страстью. Каждое утро, просыпаясь, он думал: «Сегодня, может быть, и перегоним...»

В июле Тихонов слег. Бригадиром выбрали Кольку. Фадеев подсунул ему бутыль — спрыснуть. Колька не хотел спорить с Фадеевым — он отхлебнул. Он даже не почувствовал едкости спирта: он был пьян другим. Ночью он проснулся. В тревоге он подумал: «Неужто я пьян?» Он встал. Кружилась голова. Он разбудил Крючкова и жалобно спросил: «Скажи, Мишка, я пьян, что ли?..» Крючков со сна выругался. Колька, застыдившись, вышел из барака. С утра он был на работе.

Перегнать богдановцев было не просто. Но Колька достиг своего: в сентябре его бригада стала первой.

Тогда неожиданно для себя он загрустил. Казалось, он должен быть счастлив. Он может теперь спокойно глядеть на краснорожего Богданова. На собрании ак-

тива Кольку поздравляли. Соловьев с гордостью сказал: «Это наши — ржановцы». Что же дальше?.. В душе Кольки обозначилась давняя пустота. Глаза были готовы вновь отстраниться от жизни. Несколько дней он проходил молчаливый и скучный.

Соловьев его спросил: «Когда же мы закончим восьмой каупер?» Тогда Колька как-то сразу очнулся. Он понял, что его жизнь теперь неразрывно связана с жизнью этих больших и грубых чудовищ. Когда писатель Грибин, обходя цехи, сказал, что мартеновские трубы «куда изящней», Колька обиделся: для него кауперы были самыми нужными и самыми прекрасными.

Он забыл теперь обо всем, о самолюбии, о цифрах, о красной доске, о богдановцах, которые снова ухитрились перегнать Колькину бригаду. Он работал только ради кауперов. Он видел, как они растут, и с волнением беременной женщины, с ее причудами и страхом следил за их таинственным ростом. Кауперы для него были не кирпичами и железом, не печами для нагревания воздуха, не сложным сооружением, которое позволит людям плавить чугун. Они жили своей отдельной жизнью. В «Порт-Артуре» землекопы пили водку и буянили. Старая киргизка искала вшей на голове дочери. Строители ругались: «За ноябрь еще не выдали сахара». Кругом шла обычная жизнь. Но над этой жизнью жили кауперы.

В январе стояли лютые морозы. Термометр показывал минус пятьдесят. Даже старые сибиряки приуныли. Прежде чем выйти из теплого, вонючего барака на улицу, люди сосредоточенно замолкали: их брала оторопь. Работа, однако, не затихала. Газета каждое утро повторяла: «Стране нужен чугун»,— и каждое утро люди шли на стройку — они торопились. Были в этом отвага, задор и жестокость — сердца людей полнились той же неистовой стужей. Когда рабочий касался железа, он кричал от боли: промерзшее железо жгло, как будто его накалили. Люди строили не с песнями и не со знаменами. Строя, они не улыбались. Их подгонял голод и колонки цифр. Они валились без сил. Но они продолжали строить, и революция снова жгла сердца людей, как в годы Чапаева, сибирских партизан и Конармии: теперь она жгла их так, как жжет пальцы металл при пятидесятиградусном морозе.

В один из самых жестоких дней Коля стоял возле каупера. Он увидал, что канат на мачте застрял: нельзя

подымать листы. Тогда, не задумываясь, Колька полез наверх. Наверху было еще холоднее. Колька с трудом дышал. Большие круги света поплыли перед его глазами. Ему показалось, что он падает. Но он не испугался: в ту минуту для него не было смерти. Потеряв на миг равновесие, он успел ухватиться за канат. Перед ним была вся стройка: кауперы, тонкие трубы мартена, бесконечно длинный блюминг, экскаваторы, краны, лебедки, мосты. Все это дрожало в холодном, как бы искусственном свете. Воздуха не было. Были трубы и машины. Над стройкой висел крохотный человек. Он должен был выпрямить канат. Он это и сделал.

Он оставался наверху свыше часа. Когда он спустился вниз, он больше ничего не понимал. Люди толпились вокруг. Кто-то крикнул: «Качать!» Его несколько раз подкинули вверх. Он молчал. Партизан Самушкин, стараясь скрыть волнение, выругался, а потом крепко сжал руку Кольки. Соловьев проворчал: «Да ты, брат, того — герой». Колька не улыбался. Он глядел наверх — теперь все в порядке!

Так работал Колька Ржанов. Так работали и другие. Их называли «ударниками». Одни из них надрывались, чтобы получить леденцы к чаю или отрез на штаны. Других подгоняло честолюбие: они не хотели остаться позади. Третьи работали так, как обычно играют в железку: это был свой, строительный азарт. Четвертые мечтали выйти в люди: стать обер-мастером, попасть на курсы в Свердловск, променять кирку или кувалду на портфель красного директора. Пятые боготворили завод. Машины для них были живыми. Они звали домну «Домной Ивановной». Они звали мартеновскую печь «дядей Мартыном». Шестые верили, что стоит достроить этот завод, как людям сразу станет легче: будут рельсы, а по рельсам понесутся сахар, чай, сукно и сапоги. Ударников было много — чистых и нечистых. Но все они работали скорее, нежели могли. Они работали скорее, нежели могут работать люди.

На кладке огнеупорного кирпича французские специалисты говорили: «Человек может положить в день полтонны». Каменщик Щеголев выслушал переводчицу и ничего не сказал. Его бригада вышла на работу в шесть утра. Щеголевцы работали до ночи. Они не курили, чтобы не потерять ни минуты. Когда они сдали работу, на человека вышло по полторы тонны.

В январе месяце строили ряжевую плотину. Запальщики взрывали лед. Рабочие стояли в ледяной воде. Беляев простоял в воде одиннадцать часов. Термометр показывал минус сорок восемь.

Бригада Гладышева торжественно обещала закончить клепку кауперов в двадцать дней. Рабочие не ходили в столовку. Они жевали хлеб и работали. Они простаивали на работе по восемнадцать часов без передышки. Они закончили клепку в четырнадцать дней.

У строителей были лихорадочные глаза от бессонных ночей. Они сдирали с рук лохмотья отмороженной кожи. Даже в июле землекопы нападали на промерзшую землю. Люди теряли голос, слух и силы.

По привычке в душной темноте бараков строители еще обнимали женщин. Женщины беременели, рожали и кормили грудью. Но среди грохота экскаваторов, кранов и лебедок не было слышно ни поцелуев, ни воплей рожениц, ни детского смеха. Так строился завод.

Жизнь Кольки Ржанова едва начиналась. Он почувствовал на себе доверчивые взгляды товарищей, и впервые он поверил в себя. Его походка стала живой и точной, зрачки как бы сгустились, голос погрубел. Прежде ему казалось, что он ничего не может: ни работать, ни учиться, ни любить. Теперь он ощущал, как живет и растет его тело. Иногда, работая, он вскрикивал «ого» только затем, чтобы услышать свой голос. Когда он выходил из темного барака, радовался не только он, радовались его глаза, зрачки сужались, весело они облетали мир — абрис труб, нестерпимую белизну снега, крохотных, как жучки, людей и желтое зимнее солнце. Он понял, что он силен, что ему ничего не стоит поднять тяжелую полосу железа, что его ноги ловко обхватывают канат, что он может карабкаться, прыгать и при этом улыбаться.

Он теперь чувствовал в себе глубокое веселье. Он перестал чуждаться товарищей. В те скудные часы досуга, которые оставались после дня работы, он шутил и смеялся. Его забавы были несложны. Он пел с другими глупые частушки: «Сашка в красном уголке с Машей обнимается. На строительстве прорыв его не касается...» Он пел, не думая о том, что он поет, и он смеялся.

Как-то после доклада в комсомольском бараке были игры. Колька поймал Варю Архипову. Они оказались возле стены. Варя тяжело дышала — она

запыхалась. Не думая ни о чем, Колька крепко поцеловал ее в губы. Варя не отняла своих губ; губы у нее были розовые и горячие. Кто-то сзади крикнул: «Ай да Колька!..» Тогда Варя побежала снова в круг. Больше ничего и не было между ними, кроме этого случайного и в то же время необходимого для обоих поцелуя. Только на следующее утро, работая, он вдруг набрал в рукавицу снега и прижался к снегу губами. Снег был сухой и обжигал. Колька задумчиво усмехнулся. Больше он никогда не вспоминал о поцелуе возле беленой стены.

Как-то Колька проходил возле мостового крана. Он знал, что этот кран отличался огромной грузоподъемностью. Он глядел на него, как глядят на собор или на скелет мамонта. Ему хотелось понять ход колес и рычагов. Он жадно выслушал объяснения инженера. Ему показалось, что он понял. Но несколько дней спустя, когда он вздумал объяснить Крючкову, как работает кран, он сразу запутался. Он загрустил: до чего это трудно! Вот его выбрали бригадиром. Но разве он понимает, как движутся эти сложные машины? Он готов был пасть духом.

Вечером он увидел у Смолина книгу — там были рисунки различных кранов. Колька просидел над этой книгой две ночи, и наконец-то он понял. Он даже улыбнулся — как это просто! Он начал присматриваться к другим машинам. В нем проснулось огромное любопытство.

В доменном цеху работал немец Грюн. Этот Грюн до войны живал в России. Вернувшись в свой Эльберфельд, он только и рассказывал что о русских диковинах: «Россия куда богаче Германии, да и русские не варвары — они скоро нас переплюнут». Когда он оказался без работы, он поехал в Сибирь на стройку. Беседуя с русскими, он неизменно расхваливал Германию: «Там люди умеют работать». У него были две родины, и его душа двоилась. Он обижался на молодых рабочих: они скалили зубы, когда немец начинал ворчать. Он никому не мог прочесть длинную нотацию, а без этого он не умел жить. Он весь просиял, когда Колька робко спросил его о работе на немецких заводах. Он обстоятельно рассказал Ржанову о различных способах коксования угля и об использовании колошникового газа. Колька решил, что нет ничего увлекательнее химии. Он подосадовал на себя, что

в училище он не налег на химию. Он раздобыл учебник и решил каждый день проходить одну главу.

Грюн пошел с Колькой на электрическую станцию. Учебник химии долго лежал с закладкой на тридцать четвертой странице: Колька увлекся электричеством.

Он понял, как мало знает. Он сразу хотел узнать все. Это было чувство острое и мучительное, как голод. Он спрашивал Грюна: как по-немецки мост? А уголь? Какие в Германии прокатные станки? Ну, могут они прокатать болванку в пять тонн? Как одеваются немецкие рабочие — вроде наших или по-другому? А у вас много театров? Правда, что среди немецких рабочих много фашистов? Почему Грюн эсдек, это ведь значит — предатель? Почему же он работает на нашу пятилетку? В газете было, что ученые нашли в Берлине синтетический глицерин — это правда? Зачем за границей учат латынь — кому это нужно? А почему рецепты пишут по-латыни?.. Он спрашивал сбивчиво и несвязно — он торопился узнать.

Его любопытство не довольствовалось этими беседами. Каждый вечер он уносил из библиотеки новую книгу. Он спал теперь не больше четырех-пяти часов — по вечерам он читал. Он кидался от одного к другому: от Петра Великого к анатомическому атласу и от путешествий Нансена к «Вопросам ленинизма». Он разыскал в клубе товарищей, которые могли бы ему объяснить, каково положение японского крестьянина, как работают муфеля на беловском заводе, что такое фресковая живопись и о чем писал Сен-Симон. С жаром он говорил о полетах в стратосферу и о цветном кино. Он видел перед собой тысячи дверей, и он метался, не зная, куда раньше всего кинуться. Он не хотел стать химиком или инженером. Он просто жил, и он хотел понять эту жизнь. Он думал, что можно узнать все.

Он продолжал с прежним упорством работать на стройке. Но мир его вырос. В этом огромном мире кауперы казались маленькими кустиками. Он понял, что нужно много кауперов и много домен, много заводов, машин, рук и лет, что путь к счастью долог. Но длина этого пути его не смущала. Он даже радовался ей. Он не понимал, как можно перестать строить. Он только-только открыл занимательную книгу, и он радовался, что в этой книге много страниц и что ее нелегко дочитать до конца.

Теперь он искал уединения. Но он не чувствовал себя одиноким. Он видел товарищей: как он, они сидели по углам бараков с растрепанными, зачитанными книжками. Та же лихорадка трясла и других. Это не была редкая болезнь. Это была эпидемия.

Из деревень приходили новички. Перепуганно они косились на американские машины. Когда инженер говорил: «Нельзя дергать за рычаг»,— они недоверчиво ухмылялись: инженер казался им врагом.

Потом люди шли в плавку, как руда. Воздуходувки нагоняли раскаленный воздух, и металл отделялся от шлака. Одни продолжали жить, как они жили раньше. Они уныло работали — клали кирпич или копали землю. Они подолгу скручивали цигарки. Они препирались друг с другом. Они старались выиграть на этом пять или десять минут. Они жаловались: «Щи в столовке жидкие», «Сил нет — клопы заели», «Нельзя ходить по этакой грязище без сапог», «Ударники — истинная чума, из-за них и мучаемся»... Иногда эти люди казались Кольке преступниками. Он думал, что их надо судить, отобрать у них хлебные карточки, послать их на принудительные работы. Иногда в смущении он сам себя спрашивал: может быть, это обыкновенные люди? Может быть, и впрямь нельзя требовать от людей, чтобы они так страдали ради будущего?.. Это были минуты упадка и усталости. Тогда Колька глядел на мир глазами виноватыми и несчастными. Он походил на загнанную лошадь. Он старался отделаться усмешкой: он называл это «ликвидаторскими настроениями». Но усмешка не помогала. Помогала молодость. Помогали также другие люди: не все жаловались и не все ругались.

Когда плавят руду, шлак, который легче чугуна, плавает поверху — его выплескивают. На стройке росли не только кауперы, росли и люди. Курносая Шура зубрила азбуку. Стыдясь, она спрашивала Кольку, правда ли, что самолет летает без пузырей. Васька Смолин готовился в вуз, и ночи напролет он просиживал за тригонометрией.

Колька знал, что главный инженер строительства Бардин умен и знаменит. В «Известиях» о нем была большая статья с портретом. Смолин рассказал Кольке, что американцы, которые над всем подсмеиваются, о Бардине говорят почтительно. Этот инженер, на вид скромный и застенчивый, для Кольки был человеком,

который знает все. Но вот Кралец из управления рассказал Кольке, что Бардин получает кипы иностранных журналов. По ночам он читает. Он следит за всеми изобретениями в области металлургии — он боится отстать. Колька понял, что и главный инженер продолжает учиться. Это его испугало и обрадовало. Он вспомнил, как он впервые взобрался на верхушку каупера — кружилась голова, мир сверху казался игрушечным. Колька взволнованно дышал: перед ним открывалось самое большое.

Как-то в комсомольском клубе был литературный вечер. Из Новосибирска приехал актер Лаврушин. Он читал стихи Некрасова и Маяковского, а потом рассказы Зощенко. Колька со всеми аплодировал, когда Лаврушин кричал: «Левой, левой», и он до упаду смеялся над «Аристократкой». С тех пор как он приехал на стройку, он не читал больше ни романов, ни стихов. Он думал, что это забава и что на забаву не стоит тратить времени. Как-то, еще в Свердловске, он пошел в театр, но пьеса ему не понравилась, и он клевал носом. Теперь все его занимало: гримасы актера, рифмы, смешные словечки.

После Лаврушина два комсомольца читали собственные стихи. Один из них клялся, что Кузнецк не уступит Магнитогорску. Другой был лириком, он восклицал: «Твои физкультурные губы!» Обоим много аплодировали.

Час был поздний, но комсомольцы не расходились. Они упрашивали Лаврушина почитать еще. Шура крикнула: «Что-нибудь покрасивей»,— и покраснела от смущения. Лаврушин достал из портфеля книжку и начал читать. Кольке показалось, что он уже читал это. Может быть, в школе?.. Сначала было очень смешно. Потом Колька услышал слова странные и необычные. Он знал эти слова. Он даже часто слышал их: «дорога, душа, пыль, грусть». Но никто перед ним не повторял этих слов в столь неожиданном и прекрасном сочетании. Казалось, что это написано на чужом языке. От волнения захватывало дух. Колька не видел больше ни товарищей, ни Лаврушина, который то закатывал вверх глаза, то, багровея весь, ударял кулаком по столу. Колька слушал.

Все шумно зааплодировали. Колька не мог шевельнуться. Он хотел спросить, что же с ним приключилось, откуда берется такая сила, какой человек мог

написать эту книгу? Но он еле слышно пробормотал: «Что это?» Чапылов, который сидел рядом с Колькой, ответил: «Не знаю». Потом Чапылов подошел к Лаврушину, заглянул в книжку и вернулся с обстоятельным ответом: «Сочинения Н. В. Гоголя». Колька не слушал его. Рассеянный, он прошел в свой барак. Он лег, но не мог уснуть. Он продолжал слышать странные слова. Они заполняли мир, и Колька растерянно прислушивался к их гуду. Он понял, что кроме вещей, есть слова и что эти слова живут отдельной жизнью. Мир, который и прежде казался ему необъятным, снова вырос.

В ту ночь он не спал. Он много думал. Мысли его были путанны. Он вдруг догадался, почему в роще он не мог ничего сказать большеглазой Марусе. Кроме знания, существовало другое: звуки, беспричинная боль и огромная непередаваемая радость.

Когда начало светать, он вышел на улицу. До работы оставался час. В воздухе было нечто смутное и беспокойное. Все мягчало, капало, гудело. Была оттепель. Значит, скоро год, как он здесь... Весна, с ее двоением, с дыханием, полным слез, цветочного сока и карболки, с ее зудом, гулом и глубокой немотой теперь не показалась Кольке мучительной. Она шла на него как счастье. Когда в голубоватом тумане показались кауперы, Колька подумал: домна будет пущена к сроку!

Так строят завод. Так строят и человека.

4

Революция одних людей родила, других убила. Колька Ржанов рос и радовался: он только начинал жить. Курносая Шурка из Криводановки ходила как именинница: она сразу получила все — и азбуку, и городские туфельки, и кино, и собрания. На собраниях, вместе с другими, она решала, как быть и что делать. Васька Смолин поступил в институт черной металлургии. Их было много — Колек, Васек и Шурок. Неуклюже и весело они вступали в жизнь.

В Свердловске Колька часто встречал нищего, который приговаривал: «Гражданин, подайте отверженному!» Это был Иван Гаврилович Благонравов, бывший профессор Духовной академии. Он был стар, не-

мыт и нечесан. Когда ему удавалось набрать несколько рублей, он жадно тянул из горлышка горькую. Его тощие ноги дрожали. Он спал в подвале развалившегося дома. Он был болен и мочился под себя. Никто за ним не смотрел. Когда-то он любил открытки с видами Крыма и «Осеннюю песню» Чайковского. Он забыл об этом. Его воспоминания были несвязны и назойливы: он видел то пол детской, натертый воском, то стерлядку на длинном блюде, то пухлые руки покойного ректора. Он еще дышал и двигался, но он был мертв.

Сын предводителя дворянства Станевич молодость провел в Оксфорде, он изучал английское право и высшую школу верховой езды. Теперь он промышлял извозом. Он кряхтел, сквернословил и старался ни о чем не думать.

Любимица Екатеринбурга Ася Муратова, которая лучше всех пела «Поцелуем дай забвенье», в «Деловом клубе» мыла сальные котлы. Она уносила с собой пшенную кашу в платочке.

Среди пригородных лачуг по ночам шлялся человек в лохмотьях. Он кричал как птица. Это был адвокат Сташевский. Он дважды сидел в тюрьме и лишился рассудка.

Так умирали те, которые не могли больше жить.

На стройке работали комсомольцы. Они знали, что они делают: они строили гигант. Рядом с ними работали раскулаченные. Их привезли издалека: это были рязанские и тульские мужики. Их привезли с семьями, и они не знали, зачем их привезли. Они ехали десять суток. Потом поезд остановился. Над рекой был холм. Им сказали, что они будут жить здесь. Кричали грудные дети, и женщины совали им синеватые тощие груди.

Они были похожи на погорельцев. Называли их «спецпереселенцами». Они начали рыть землю: они строили земляные бараки. В бараках было тесно и темно. Утром люди шли на работу. Вечером они возвращались. Кричали дети, и все так же измученные бабы приговаривали: «Нишкни!»

На осиновских рудниках работали заключенные: они добывали уголь. Руда с углем давала чугун. Среди заключенных был священник Николай Извеков, тот, что перед смертью причастил мать Коли Ржанова. Когда Извекова вычистили из санитарного треста, он

начал проповедовать «близость сроков». Он переписывал послания апостола Павла и продавал списки по пяти целковых. Он также служил тайные панихиды по усопшему государю. Его послали в концлагерь сроком на три года. Он грузил в шахте уголь. Рядом с ним работал Шурка Турок. Шурка прежде торговал кокаином. Извеков говорил Шурке: «Нечестивцы будут брошены в озеро, кипящее огнем и серой». Он говорил это, но он больше ни во что не верил. Он только припоминал тексты Писания. Шурка в ответ гадко ругался. Зловеще посвечивал уголь.

В Топольниках в однодневном доме отдыха молодые казачки играли с комсомольцами. Они весело повизгивали. Петька Гронцев стоял над микроскопом: он глядел на каплю воды. В воде неведомые существа трепетали и росли. Капля воды была огромным миром, и Петька Гронцев задыхался от непомерной радости узнавания. Ирина Травина, работница механического цеха, читала товарищам стихи Маяковского. Ирина недавно вступила в «бригаду Маяковского» — работники этой бригады читали на вечерах стихи любимого поэта. Волнуясь, Ирина декламировала: «Наш бог — бег, сердце наш барабан». Она не понимала смысла этих слов, но они ее веселили, как весенний ветер. Колька Ржанов стоял на берегу Томи. Он глядел на ледоход. Огромные льдины, скрипя и торопясь, надвигались одна на другую. Казалось, не река это движется, но мир, и Колька, раскрыв широко глаза, не слыша ни шуток товарищей, ни суматохи — из прибрежных домиков выносили добро,— глядел на реку — река шла.

Одних людей революция сделала несчастными, других счастливыми: на то она была революцией.

Судьбу людей разделили и города. Когда-то города рождались, отстраивались, копили добро и не спеша старились. Революция прошла над городами. Тогда одни из них выросли, как в сказке. Другие смутились, примолкли и стали рассыпаться, как будто они были сделаны из снега или из песка.

Был уездный городок Новониколаевск. Люди в нем жили тихо и нехотя. Пристав Глашков пил зубровку, а директор прогимназии Клосовский признавал только померанцевую — собственной настойки. На главной улице чесались свиньи. Дома были низенькие и все деревянные. Сапожники в праздники буянили.

Чиновники играли в преферанс. Ученики прогимназии читали Леонида Андреева и рисовали на заборах похабные картинки. Это был город как тысячи других. Потом настала революция. Город брали белые и красные. Потом революция победила. Город переменил имя: он стал Новосибирском. Он переменил не только имя: он начал другую жизнь.

Отовсюду пришли в Новосибирск новые люди. Жилья для них не было. Они строили лачуги и копали землянки. Их поселки называли «Нахаловками». Новые люди и впрямь были нахальны: они хотели во что бы то ни стало жить. Новосибирск стал областным центром. Из Москвы приехал товарищ Зак. На нем были модный френч и сапоги из шевровой кожи. Он носил немецкий портфель с двойными ремешками. Появились в городе «форды». Сотрудницы ОНО и Лесотреста ходили теперь с ярко-малиновыми губами. В театре ставили пьесы Шекспира и Киршона. Приехал из Харькова Кронберг и начал по знакомству поставлять заграничный коверкот. В клубе имени Ленина состоялось совещание красных эсперантистов. Открылся «ресторан повышенного типа» с водкой и с музыкой. Из Иркутска прибыли братья Фомичевы — знаменитые по всей Сибири взломщики.

Старые дома сносили. Улиц больше не было, и весь город превратился в стройку. Он был припудрен известкой. Он пах олифой, нефтью и смолой. Автомобили прыгали по ухабам, вязли в грязи и, тяжело дыша, вырывались на окраины. На окраинах было ветрено и пыльно. На окраинах люди рыли землю, и редактор «Советской Сибири» острил: «В Америке небоскребы, а у нас землескребы».

Город мечтал о новой Америке. Начали строить большие дома: это был Новый Свет — каким его показывают на экране. Жители говорили о своем городе: «Это сибирский Чикаго» — и, желая даже в шутке соблюсти стиль, они поспешно добавляли: «Сибчикаго». Дома были сделаны по последнему слову моды. Они казались выставочными павильонами, но в них жили люди. Их строили второпях, и через год они покрывались старческими морщинами.

Гордостью города была новая гостиница. Ее назвали «Динамо». В номерах расставили громкоговорители и самый лучший из номеров назвали «наркомовским». В гостиницу как-то приехал настоящий нарком из Мо-

сквы. Он смущенно оглядел комнату: в ней не было ни зеркала, ни полотенца. Жизнь в Сибчикаго начиналась с большого: с громкоговорителей. В вестибюле гостиницы сидели чистильщики сапог. Ветхие ботинки, привезенные из Старого Света, начинали блестеть, как новорожденные. Но у дверей гостиницы была непролазная грязь. Калоши оставались в грязи, и люди их привязывали бечевками. При гостинице имелся большой зал. Там собирались съезды и совещания. Делегаты из глухих сел Алтая слушали доклады об апатитах и о лицемерии Лиги Наций. Имелся при гостинице и ресторан. На двери висел грязный листочек, карандашом было выведено: «Сиводни вужен». Заведующий не был тверд в правописании, зато он умел достать на ужин рыбу — нельму или муксуна, и он был полон энтузиазма.

В город приезжали тунгусы, остяки, ойраты. Они требовали дроби, керосина, учебников. Дул холодный ветер. Товарищ Ишамов бодро говорил: «В полосе вечной мерзлоты скоро зацветут яблони!» Раскосые люди просиживали часами на заседаниях. Они молчали. Потом они начинали говорить. Они говорили о величии коммунизма и о том, что в их поселки надо поскорее послать врачей.

Возле города строили большой завод, чтобы изготовлять комбайны. Вокруг завода колосилась пшеница. Город распределял, наставлял и правил. Не переводя дыхания, днем и ночью город повторял: «Слушали — постановили». Даже сны его были протоколами. В городе было не менее тысячи машинисток. В городе были обком и облисполком. Город все рос и рос. По переписи в нем значилось двести пятьдесят тысяч жителей.

Приезжали мечтатели из Иркутска, из Барнаула, из Тобольска: они искали удачи. Из Москвы приезжали лекторы, певцы и жокеи. Появились гербы иностранных консульств. Еще больше разрослись разные «нахаловки» и «порт-артуры». Люди слетались из окрестных деревень на яркий свет управлений, трестов и кино.

Такова была судьба одного города.

У другого города позади была долгая жизнь. Томичане издавна гордились своей родиной. В те времена, когда люди любили не Америку, но классический стиль и велеречие, они шутя называли Томск «сибирскими Афинами». В этом городе декабрист Батеньков

строил замысловатые дома с бельведерами. Польские ссыльные читали стихи Мицкевича и Словацкого. Когда в Томске венчался бунтарь Бакунин, посаженым отцом был губернатор, а посаженой матерью местная мещанка Бардакова. В Томске проживал старец Федор Кузьмич — бродяга, наказанный плетьми. Народная молва превратила царя в бродягу, как не раз она превращала бродяг в царей. В томском монастыре содержалась невеста Петра II, Катя Долгорукова, девица семнадцати лет от роду, постриженная по приказу императрицы Анны Иоанновны. Имелись в Томске свои масоны. Они образовали ложу «Восточное светило». Томичане мечтали о справедливости и о просвещении. Их арестовывали и посылали на рудники. Просветитель Сибири, краевед, историк и писатель Потанин был приговорен к пяти годам каторги. Серафим Шашков поместил в «Томских губернских ведомостях» статью: он говорил, что в Томске надлежит создать университет. Серафима Шашкова обвинили в государственной измене. Он был присужден к двенадцати годам каторжных работ.

Университет все же был создан. В нем читали профессора с европейским именем. При университете имелась обширная библиотека. Она получила в дар книги графа Строганова. В библиотеке хранились французские книги, которых не было даже во Франции. Ученые приезжали из Парижа в Томск, чтобы ознакомиться с сочинениями Жан-Поля Марата, который до революции писал труды об электричестве. Томские студенты устраивали тайные кружки. Они читали Маркса и Михайловского. В городе было несколько тюрем: для каторжан, для пересыльных, для подследственных. В тюрьме сидели студенты и рабочие из депо. Осенью 1905 года черносотенцы подожгли дом томской железной дороги: там шел митинг. Люди выскакивали из горящего здания. Их били дубинами и нагайками. Напротив пожарища, в кафедральном соборе епископ служил благодарственный молебен.

До постройки сибирской магистрали через Томск проходил тракт. По первопутку люди возили в Москву китайский чай и шелка. Сибирь посылала золото, масло, пушнину. Москва слала чиновников и конвойных: между конвойными звенели кандалами каторжники. У каторжников была выбрита половина головы.

Томские купцы богатели на золоте. Федот Попов открыл прииски на реке Закроме близ Томска. Его брат

Степан оборудовал первый в России свинцовоплавильный завод. Сын Степана, получив наследство, умилился и пожертвовал в томский собор крест, украшенный ста двадцатью шестью бриллиантами и ста десятью яхонтами. Купец Горохов построил дом с садом. Один сад обошелся ему в триста тысяч рублей. В саду были статуи, бельведеры, беседки: «Храм любви» и «Убежище для уединения». Горохов намывал в год золота на два миллиона рублей.

Губернатор Лерхе требовал, чтобы ему приводили ежедневно девушек. Особенно он любил гимназисток. Начальник тюрьмы был знаменит тем, что, глядя, как порют на кобылке какого-нибудь Ивана Непомнящего, он повторял: «Богородица Дева, радуйся!» Были в Томске и знаменитые грабители. Они катались в кошевках и крючьями стаскивали с прохожих шубы. В нижней части города жили татары, они были лошадниками, и Томск славился лихачами.

В театре играли «Детей Ванюшина» и «Синюю птицу». Жены профессоров увлекались стихами Бальмонта. Они повторяли: «Будем как солнце». В садах цвела персидская сирень. Летом томичане перебирались на другой берег Томи — там, среди кедровника, были расположены дачи.

Имелись в Томске депо, спичечная фабрика, литейный завод, мыловарня, несколько типографий. В казармах, где жили рабочие, большевики подолгу спорили с меньшевиками.

Потом началась революция. Вырос Новосибирск. Покряхтев, Томск сдался.

В голодные и холодные годы люди разбирали заборы и дома на топливо. Новых домов не построили. Построили только новый цирк. Дома гнили и падали, старые кондовые дома с резными воротами и затейливыми ставнями. Вместо тротуаров были деревянные настилки. Они истлели. Когда человек ступал на доску, доска подпрыгивала. Это было забавно, но томичане предпочитали ходить по мостовой. В домике Федора Кузьмича догадливые люди устроили отхожее место: русский человек любит по естественной надобности ходить не туда, куда полагается. В верхнем городе сломали заборы: там предполагали устроить общественный сад. Но сада так и не устроили — остался пустырь. На кладбище, где были похоронены Потанин и другие сибирские мечтатели, года два сряду рез-

вились беспризорники. Они посбивали все памятники. Лошади лихачей, отощав без овса, стали походить на допотопных чудовищ. Люди понаходчивей и пободрей уехали из Томска в Новосибирск, в Кузнецк или в Москву. Остались растяпы, чудаки и лишенцы. Лишенцы, прикрыв плотно ставни, зажигали лампадки перед иконами. В собор свезли картошку, но картошка сгнила. В церкви Вознесенья тощий попик аккуратно служил панихиды по «убиенным».

Жил в Томске купец Макушин. Он был известен как поборник просвещения и благотворитель. Он построил технологический институт. После революции его выбрали почетным председателем Общества ликвидации безграмотности. Он работал в томском наробразе. Потом он умер. Он завещал похоронить его не на кладбище, но во дворе построенного им института, а на могиле, вместо креста, поставить памятник: кусок рельса, лампочка и надпись — «Путь к знанию». Завещание было в точности выполнено. Лампочку, однако, вскоре стянули: все в городе знали, каков путь к знанию, но лампочек в городе не было. Рельс еще стоял на месте, но некто Шегиц уже выдвинул проект использования старых рельсов для ширпотреба: из рельсов, по его словам, можно было изготовлять превосходные утюги.

В Томске имелось несколько фотографов. Над их заведениями значилось: «Друг детей» — часто выручку фотографы отдавали на содержание детских колоний, этим они откупались от суровости времени. В театре зимой было холодно, но, когда ставили «Коварство и любовь», зрители согревались аплодисментами и чувствами. В театральном буфете можно было получить чай без сахара, славянскую минеральную воду и красивые коробки для конфет.

Судьбу различных городов легко было распознать на вокзале: достаточно было поглядеть, какой хлеб едят местные жители. Там, где люди строили гиганты, хлеб был светло-серый и нежный. В Томске хлеб был черный, мокрый и тяжелый: пятилетка обошла Томск, и Томск умирал.

Томичане, не зная, чем им гордиться, с нежностью поглядывали на новый цирк. Изредка приезжали в Томск столичные эквилибристы и наездники. Они попадали сюда после гастролей в Свердловске и в Омске. Однажды приехал укротитель львов, старый

немец из Бреславля. Весь день он бегал из одного учреждения в другое: он искал корма для львов. По договору львы должны были получать каждые три дня лошадь. Наконец укротитель раздобыл какую-то клячу. На бойне, однако, лошадь отказались убить: она еще годилась для работы. Во время представления старый лев, обычно кроткий, как пудель, кинулся на укротителя. Лев был голоден, и он не понимал, что Томск — это не Новосибирск. Он начал грызть руку укротителя. Его загнали в клетку холостыми выстрелами.

Профессора университета между лекциями становились в очередь возле распределителей: они ждали, когда привезут хлеб. На базаре мальчишки продавали грязный сахар по кускам, и старые бабки глядели на этот сахар глазами, полными умиления.

Так жил город, который должен был умереть. Его не могли спасти ни шумная история, ни строгановская библиотека, ни рвение томичан, которые проектировали постройку завода дорожных машин. Томск был в стороне и от магистрали и от жизни. Он был осужден.

Но революция была своенравна и богата на выдумки. Она спускала в ту же шахту раскулаченного и комсомольца. Она золотила купола Архангельского собора, и она уничтожала соборы Углича. Она признавала только два цвета: розовый и черный, и эти два цвета она клала рядом.

В Томске жил раввин Шварцберг из Минска. Его привезли сюда с женой и с маленьким сыном. Жена шила платья, а раввин с утра до ночи проклинал мир. Он проклинал жену, сына и себя. Он проклинал Минск и Томск. Он проклинал революцию и жизнь. Он ел черный мокрый хлеб, и он выл от боли. У него была язва желудка, и он чувствовал, что он скоро умрет. Его жена работала и плакала. Ее слезы лились безостановочно, как дождь в осенние дни. Она старалась не залить слезами платья, но слезы лились и лились. «Да будет проклят день, когда он увидел свет»,— говорил раввин Шварцберг, глядя на маленького Иосика. Иосик не понимал отцовских проклятий, он улыбался. Накануне праздника Рош-гашана жена раввина весь день бегала по городу: она искала свечу. Она достала свечу и зажгла ее. Тогда Иосик спросил: «Почему свеча, когда сегодня горит электричество?» Иосик знал, что электричество в Томске часто гаснет, но в тот вечер станция работала, и он не мог понять, почему

мать зажгла свечу. Мать ответила: «Завтра праздник». Иосик обрадовался: «Значит, завтра все будут ходить с флагами?» Старый раввин не слыхал этого, он молился своему злому и ненавистному Богу. Мать сказала Иосику: «Нет, Иосик, завтра другой — еврейский праздник». Но Иосик не унимался: «А почему евреи не ходят с флагами?» Он не понимал скорби матери. Резвясь, он задул свечу. Он был весел, и он хотел вместе с другими ребятами ходить по городу и махать флагом. Ему было пять лет, и он доверял миру.

Томск мог умереть, но в Томске был университет. В Томск приехали десятки тысяч студентов. Они не знали истории города. Им были безразличны и причуды купца Горохова, и страдания Потанина, и деревянная резьба на воротах старых усадеб. Они приехали, чтобы изучать физику, химию или медицину. Они читали, как Евангелие, «Основную минералогию», «Расстройство пищеварения» или «Болезни злаков». Они ели тот же мокрый и тяжелый хлеб, но он им казался вкусным, как пряник: у них были крепкие зубы, здоровые внутренности и голод молодых зверей. Они заполнили Томск грохотом и гоготом. Они забирались в дома, где доживали свой век несчастные лишенцы. Они делились с лишенцами паечным хлебом и сахаром, и лишенцы их пускали в свои каморки, полные пыли, моли и плесени. Они могли спать на козлах, на нарах, на полу. Они спали тем сном, о котором говорят, что он непробуден. Но рано утром они вскакивали и бежали к рукомойнику с ледяной водой. На ходу они повторяли химические формулы или названия черепных костей. Их было сорок тысяч. Среди них были буряты, остяки, тунгусы и якуты. Они знали, что через несколько лет они будут управлять страной, лечить и обучать, строить заводы, налаживать совхозы, буравить горы, чертить планы мостов и, забираясь в самую глушь необъятной страны, весело тормошить сонных людей, как тормошит их яркий день, своими лучами взламывая ставни.

Так зажил Томск второй жизнью.

5

Васька Смолин приехал в Томск, чтобы учиться: он мечтал стать специалистом по постройке доменных печей. Илья Саблин записался на физическое отделение: он хотел разыскивать новые залежи цинка

и меди. Коренков предполагал по окончании медицинского факультета уехать на Крайний Север и там бороться с цингой. Ажданов изучал различные породы корнеплодов. Они не занимались ни философией, ни поэзией. Они изучали точные науки, и они в точности знали, зачем они их изучают.

Они не знали, что с ними станет через несколько лет. Жизнь всей страны менялась из года в год, это была жизнь без быта. Но все они знали, что в этой текучей и переменчивой жизни им обеспечено верное место. Оттого их смех был весел, а сны спокойны.

Были, однако, и среди вузовцев отщепенцы. Они не умели искренне смеяться. Невольно они чуждались своих товарищей. Они не были ни смелей, ни одаренней других, но они пытались идти не туда, куда шли все. Их легко было распознать по беглой усмешке, по глазам, одновременно и презрительным и растерянным, по едкости скудных реплик, по немоте, которая их поражала, как заболевание.

Таким был и Володя Сафонов. Профессор Байченко сказал Сафонову: «Вы типичный изгой». Володя заглянул в словарь. Там значилось: «Изгой — исключенный из счета неграмотный попович, князь без владенья, проторговавшийся гость, банкрот». Володя усмехнулся — профессор прав. Сафонова надлежит исключить из счета. Только по недосмотру он еще состоит в жизни. Он, например, не верит, что домна прекрасней Венеры. Он даже не уверен, что домна нужнее, нежели этот кусок пожелтевшего мрамора. Он — неграмотный попович. Он сдал, как и все, диамат. Но если просмотреть его мысли так, как просматривают школьную работу, придется подчеркнуть красным карандашом любой день. Все его существо — ошибка. Он не объясняет скуки доктора Фауста особенностями периода первоначального накопления. Когда на дворе весна и в старых садах Томска цветет сирень, он не ссылается на Маркса. Он знает, что весна была и до революции. Следовательно, он ничего не знает. Он туп и неграмотен. Он даже сомневается в том, что он попович: у него подозрительное происхождение, его отец читал Мирбо и Короленко.

Сафонов — князь без владенья. Князь теперь не титул. Это скорее клеймо. Мотыльки не помнят ни тяжелого копошения гусеницы, ни того, как замирал кокон, — мотыльки весело порхают. А у князя избыток

памяти. Он помнит за себя и за других. Он хил, тщедушен и, говоря откровенно, ничтожен. Трудно перечислить его наследственные болезни. Он готовится к параличу, и, однако, он сиятелен. Сафонов — князь не по родословной, он князь по несчастью.

Какие же у него владения? Койка в общежитии? Книжка Пастернака? Дневник? Разумеется, его владения необозримы. Он недавно беседовал с Блезом Паскалем во дворе парижского Пор-Рояля. Он может оседлать коня и отправиться с поручиком Лермонтовым в самый дальний аул. Ему ничего не стоит подарить любимой Альгамбру или Кассиопею. Но эти владения не признаны законом. Перед людьми он нищ. У него нет комсомольского билета. У него нет даже завалящей надежды.

Вернее всего, он — проторговавшийся гость. Не пора ли признаться, что они банкроты? Они торговали верой, сердечным жаром, передовыми идеями. Они торговали и проторговались. Мечтая о справедливости, они не забывали о сложных рифмах. Невинности они не соблюли. Что касается капитала, то он был достаточно условен. Этот капитал ликвидировали заодно с капитализмом. Говорят, будто могила Кюхли в Тобольске разворочена. От Достоевского остались только переводы на немецкий да каторжный халат. Последний, разумеется, сдан в Музей революции. Змею «Медного всадника» остается сдать в зоопарк. Что же добавить? Обезумевшего старика на станции Астапово? Стриженых курсисток? Декадентов? Земских врачей?

Блок во что бы то ни стало хотел услышать «музыку революции». Услышав ее, он умолк. Ему повезло: он вовремя умер. Другие еще живут. Когда-то банкротов сажали в долговую тюрьму. Теперь одних вывели в расход. Другие сбежали в Париж: они лечат больную совесть на французских водах. Третьи? Третьи еще валяются: это мусор на стройке. Они даже ухитряются размножаться. Они размножаются не любовью, как прочие млекопитающие, но при помощи спор, как папоротники или мухоморы.

Почему Володя Сафонов должен повторять монологи давно истлевших персонажей? Он не Онегин, не Печорин и не Болконский. Ему двадцать два года. Он не помнит былой жизни, и он о ней не жалеет. Он учится на математическом отделении. Он мог бы

весело гоготать, как его товарищи. Что же ему мешает? Какая спора проросла в нем? Чем объяснить его мучительную иронию — историческим материализмом или переселением душ?

Он знает, что он не один. В Томске можно сыскать еще десяток-другой столь же печальных чудаков. В Москве их, наверно, несколько тысяч. Профессор Байченко называет их «изгоями», Васька Смолин — «классовыми врагами», Ирина — «обреченными». Они все правы: и профессор, и Смолин, и Ирина.

Так думал Володя, валяясь на койке в общежитии «Смычка». На соседних койках лежали его товарищи. Одни готовились к зачету, другие читали, третьи, отдыхая, курили и глядели в окно. В окно был виден кусок синего неба. По небу неслись озабоченные облака.

Кто знает, что так всполошило Володю? Разговор с профессором Байченко? Ирина, которую он встретил утром на улице Фрунзе? Или, может быть, бег облаков, их хаотичность и поспешность, передававшая всю тоску весеннего дня? Володе захотелось услышать живой голос. Тоскливо он оглядел комнату. Вот Петька Рожков, вот Шварц, вот Гришка, вот Коробков. Он знал всех. Он знал, как они учатся, какой у кого голос, кто любит ходить в кино, кто играет в футбол. Он знал, в каких девушек они влюблены. Но с тревогой он подумал, что он их не знает. Вокруг него были незнакомцы.

Он решил поговорить с Рожковым. Он не знал, с чего начать. Он сказал: «Вот, Петька, и весна...» Это вышло неожиданно для него самого. Он поморщился: до чего глупо! Рожков на минуту оторвался от книги. Перед его глазами пронеслись облака. Потянувшись, он сказал: «Не будь этого зачета, я поехал бы в Городок...» И он снова взялся за физику.

Володя подошел к Коробкову. Тот читал «Войну и мир». Володя спросил: «Нравится?» Коробков подобрал под койкой окурок, закурил и, недоверчиво глядя на Володю, сказал: «По-моему, ерунда».

Гришка ничего не делал. Он только сладко позевывал. Володя сел на его койку. Он не выдержал, и Гришке он сказал напрямик: «Поговорить хочется. Что называется — по душам».

Гришка был веселый кудластый мальчик. Он любил петь частушки и дразнить девушек. Как-то Маня Шест-

кова, за которой Гришка приударял, подошла к нему в садике перед университетом. Маня думала, что Гришка ей скажет что-нибудь ласковое. Но Гришка загорланил: «Не гляди, красавица, на меня в упор! Я тебе не Гарри Пиль, не багдадский вор». Потом все долго смеялись над Маней.

Услышав признание Володи, Гришка растерялся. Он начал несвязно бубнить: «Ты что это придумал? Здрасте пожалста! Как в романах, честное слово! «По душам»! Мы с тобой, кажется, не девахи...» Он долго еще огрызался. Володька попросту ошалел! Это от весны! Ему бы с девчатами погулять!.. Гришка шутил, но глаза у него были беспокойные. Махнув рукой, Володя вернулся к себе на койку.

Ему казалось, что он возвращается в осажденную крепость; вылазка не удалась. Он осужден на вечное одиночество. Нельзя разговаривать с колесами крана. Они способны потеть, как потеют люди. Но у них нет чувств: они передвигаются согласно плану.

Глаза Володи на одну минуту столкнулись с глазами Гришки, и Гришка первый отвернулся. Володя увидел, что Гришка встревожен, но он не попытался возобновить беседу. Томление Гришки показалось ему томлением глухонемого, который смутно чувствует, что есть на свете нечто, для него недоступное.

Тогда Гришка запел. Пел он частушку: «Коммунисты юные, головы чугунные». Другие товарищи подхватили: они любили петь хором. Володя зарылся в подушку. Потом он вытащил из сундучка тетрадку и начал лихорадочно писать. Рожков спросил его: «Ты что это сочиняешь?» Володя покраснел и, покрывая собой тетрадку, как наседка выводок, пробормотал: «Это работа по механике». Рожков оставил его в покое. Рожков забыл сейчас и о своем зачете, и о больших пушистых облаках: он пел. Ему нравилось, что его голос попадает в общий гул и этот гул растет. Хорошо идти в ногу со всеми: тогда не чувствуешь усталости! Хорошо и петь хором: это громкая песня! Хорошо знать, что ты не один, что у всех те же мускулы, то же дыхание, та же воля. «Ну, ребята, еще разок!..»

Володя писал: «Вновь убеждаюсь в том, что они не способны разговаривать. Они могут говорить о практике, о зачетах, о столовке. Девчата, кроме того, говорят о платьях, парни о том, что хорошо бы устроить пьянку. На собрании заранее известно, кто что скажет

Надо только заучить несколько формул и несколько цифр. Но говорить так, как говорят люди, то есть ошибаясь, косноязычно, с жаром, говорить о своем, личном они не умеют. Я где-то читал, что обезьяны из породы шимпанзе иногда пытаются подражать человеческой речи, но у них ничего не выходит, от ярости они ломают ветки. Гришка глядел на меня, как затравленный зверь. Но ведь они — строители новой жизни, апостолы, призванные вещать, диалектики, неспособные ошибаться. Они, а не я. Я только изгой. Затравлен я, а не они. Откуда же это беспокойство?.. Потом Гришка запел, и все тотчас же подхватили. Я заметил, что, когда они не могут друг с другом разговаривать, они начинают петь. Очевидно, пение избавляет от необходимости думать. Я недавно прочел книгу одного военспеца. Кажется, автор — Свечников — бывший генерал. Он вспоминает, как во время империалистической войны он приказывал солдатам, которые шли в бой, петь. Он говорит, что солдат, который поет, ни о чем не думает. Наши ребята в точности следуют этому совету. Они берут с боя дифференциалы или химические формулы. Когда они строят плотины или мосты — это как на фронте, и они стараются ни о чем не думать. Но очевидно, думать присуще человеку. Тогда они начинают петь: они хотят отогнать искушение. Говорить друг с другом они не могут, хотя бы потому, что им не о чем говорить: все известно заранее. Притом у них нет слов. Слова рождаются в муке. Они идут изнутри. Ребенок видит улыбку матери, солнечный луч на стенке, большую кудластую тень. Тогда он произносит первое слово. В изумлении он прислушивается к нему. Он озадачен и внезапной музыкой, и глубоким значением. Он понимает, что стоит сказать «мама», и мать покажется. Он заклинает. Он исповедуется в сокровенных чувствах. Слова заставляют его думать. Каждое слово вводит его в мир. Но стоит ли ему расти? Дикарь обходится тремя сотнями слов. Сколько слов нужно Петьке Рожкову? Иногда мне хочется завыть, завыть, как воют звери, от тоски, от одиночества, от сознания, что никогда не выскажу того, о чем я все время думаю. Может быть, услыхав этот звериный вой, они на минуту смутятся».

Вечером того же беспокойного весеннего дня Гришка сидел на берегу Томи с Варей Шустовой. Он говорил: «Раньше я тоже думал, что любовь — это предрас-

судки. А теперь я вижу: это вот здесь сидит. Шутками от этого не отделаешься. Вот ты мне нужна, ты, Варя, а не Катя и не Шура. Я и сам не знаю почему, но только это — правда. Вчера ночью проснулся, вспомнил, как ты улыбаешься, и сердце будто с петли сорвалось. Я при тебе другим человеком становлюсь. Мне хочется найти особенные слова. Я не так с тобой говорю, как со всеми. Кажется, умей, я стихи писал бы. Мне, например, хочется тебе показать, как я могу работать. Я ведь не лентяй. Я сейчас весь мир готов перевернуть. Вот попаду на стройку — увидишь. День и ночь буду работать. Ты меня, Варюша, приподымаешь...»

У Гришки были глаза серые и нежные. Он не шутил и не смеялся. Даже его чуб, пристыженный, лег на сторону. Вечер был светлый и прохладный. На другом берегу огоньки то вспыхивали, то гасли: там работали колхозники. Токовали бекасы. Их крик был похож на нежное блеянье. Они не боялись ни огней, ни грохота трактора. Казалось, они все забыли, кроме звуков и полноты жизни. Варя поцеловала Гришку в щеку. Поцелуй был неловкий: Варя никогда еще не целовала мужчины. Тогда Гришка вскочил и завертелся. Чуб его снова привстал. Он крикнул: «Давай бросать камни в воду — кто дальше! Да ты не по-бабьему, ты снизу...»

Васька Смолин был в театре. Давали оперу «Евгений Онегин». Выйдя из театра, Смолин растерянно поглядел на толпу, на базарную площадь с забитыми ларьками, на ржавую вывеску кооператива. Ему казалось, что его разбудили. Он жил другой жизнью. Он страдал, как Ленский. Потом он усмехался вместе с Онегиным. Он поздно понял, в чем счастье: он так рвался к этой Татьяне!..

Васька Смолин остановился — что за галиматья? Какое ему дело до этих людей? Это люди не его класса. Это чужие и к тому же мертвые люди. Но вот они ожили. Они звучат. У каждого свой звук. Голова Васьки заполнена звучанием. И Васька сказал Иваницкому, который шагал рядом: «Большое дело искусство! Без него нам никогда не разобраться — что и как. Головой понимаешь, но это надо прочувствовать. Конечно, мы строим новую жизнь. Но мы должны взять у них самое лучшее. Красота-то какая! Я не знаю, как ты, а я — будто меня осчастливили. Может быть, я преувеличиваю, все равно! Я теперь на собраниях

буду отстаивать, чтобы ребята налегли на искусство. Эх, Егорка, сколько у нас еще впереди! Подумаешь — и голова идет кругом».

Коробков в общежитии спорил с Шварцем о Толстом. Шварц говорил, что Толстой устарел. Коробков горячился: «Что же ты думаешь, теперь нет такой Наташи? Сколько угодно! Даже среди наших вузовок! Надо уметь различать чувства и обстановку. Возьми Машкову. Вот тебе, с одной стороны, активная комсомолка, а с другой — материнство. Будь у нас Толстой, он так ее описал бы, что — не оторваться. Когда Петька спутался с Кошелевой, она хотела аборт сделать. Отказали — четвертый месяц. Сколько она намучилась: «Не хочу я ребенка! Куда мне одной»,— ну и так далее. Говорила, что сейчас же его отдаст. А вот я зашел к ней вчера насчет проведения кампании — сидит, кормит. Меня и то проняло. Ничего здесь нет плохого! Мы, кажется, комсомольцы, а не монахи. Какого черта нам отмахиваться от жизни? Я Толстого ценю не за идеи. Идеи — это особая статья. А Толстой — он для меня как учебник. Не химии. Жить я у него учусь. Чувствовать. Понимать чужую жизнь. Я теперь, может быть, и с девахой буду по-другому разговаривать. Я вот Володьке Сафонову ничего не ответил. Задается он: дескать, все знает. А я могу те же книжки прочесть. И чувствовать могу. Как он. Только бы времени хватило, а жить мы и сами научимся».

Петька Рожков сидел в библиотеке и читал стихи Пушкина. Он хотел было почитать историю Покровского. Но неожиданно для себя он взял Пушкина. У него был тяжелый день. Таня сказала ему напрямик, что в Козулино она поедет не с ним, а с Чистяковым. Петька впервые узнал, что такое ревность. Морщась, он припоминал лицо Чистякова, зеленые глаза, веснушки, бесшабашную улыбку. Такому Чистякову на все наплевать. Может быть, этим он и понравился Тане?.. Что же, Петька проживет и без любви! Теперь время горячее: зачеты. А потом на практику — в Кузнецк. Так он уговаривал себя, но сердце не сдавалось. Весь день он проходил как в чаду. Он старался работать. Вечером ребята пошли в кино. Он не пошел: он хотел жить сурово и трудно. Он хотел победить свое чувство в открытом бою.

Перед ним оказалась книжка стихов. В десятый раз он перечитывал: «Для берегов отчизны дальной...» Он

думал при этом о Тане. Он понимал, что все это — вздор. Таня ушла от него не ради какой-то «отчизны», но ради быстроглазого Чистякова. Стихи, однако, передавали его грусть. Он никогда не смог бы сказать об этом так хорошо. Он вновь и вновь повторял полюбившееся ему стихотворение. Мало-помалу музыка стихов вытеснила из сердца обиду. Выходя из библиотеки, он улыбался, рассеянный и счастливый. Он был так счастлив, как будто он сам сочинил эти необычайные стихи.

Володя Сафонов не был с товарищами. Он не знал ни их восторгов, ни их сомнений. Он не слышал, как в напряженной тишине пыльных уличек рождались мысль и слово. Он был один, со своей отверженностью и со своей немотой.

Желая уйти от себя, он пошел в кино. Он ждал, что мелькание и зыбкость, манишки, улыбки, горы, автомобили, что вся эта бестолочь если не утешит, то хотя бы оглушит его, подготовит его к тому тяжелому, глухому сну, который один помогал ему справляться с жизнью. Но на этот раз даже пестрядь экрана не могла отвлечь его от унылых, назойливых мыслей.

Показывали заграничную картину. В ресторане люди танцевали фокстрот. Володя не раз читал об этом, но увидел это он впервые. Люди прижимались друг к другу и подолгу тряслись. Так на экране мелькали кошмары Володи. Перед ним были не люди, но колеса, шестеренки, приводные ремни. Это показалось ему низким и оскорбительным. Зачем они это делают? Наверное, чтобы не думать. Значит, и там мысль людям не под силу. Они тоже пытаются жить так, как живут машины или заводные игрушки. Они не поют хором. Они танцуют фокстрот.

С гримасой отвращения Володя вышел из кино. Холодный ветер, доходивший с реки, показался ему враждебным. Он ежился. Жить становилось все труднее.

Вернувшись в общежитие, он снова вытащил тетрадь: это был единственный друг, с которым он еще мог разговаривать. Он начал писать: «Паскаль назвал человека «мыслящим тростником». Одно из двух: или он был визионером, или человечество с тех пор выродилось. Во всяком случае, из тростников делают дудки. На дудке можно сыграть все: интернационал, «камаринского мужика», фокстрот и реквием. Это дело вкуса.

Но лучше всего прижать дудку к губам и не дышать. «Тишина, ты — лучшее из всего, что слышал...»

На соседней койке лежал Петька Рожков. Его губы едва заметно двигались: он все еще повторял прекрасные стихи. Он повторял их про себя, и Володя не мог догадаться, о чем думает его сосед, отходя ко сну.

Между ними были один метр и вся жизнь.

6

Отец Володи Сафонова был врачом в Тамбове. Лечил он главным образом бедняков. Люди с достатком к нему не обращались: у него была плохая слава. Он как-то публично признался, что благодаря неправильному диагнозу погубил вдову Шерке. Он часто говорил пациентам, что от их болезней медицина не знает средств, и больным это не нравилось.

Он сказал счетоводу Соловьеву, который жаловался на кашель: «Лекарства вам не помогут. Вам, голубчик, надо в Крым. Будь у меня деньги, я вам дал бы. А у меня у самого шиш. Вот и судите, как мне вас лечить?» Соловьев недоверчиво посмотрел на Сафонова. Он пошел к другому врачу, и тот выписал ему длиннущий рецепт.

Жене прокурора Власьева доктор Сафонов сказал: «Ваш супруг — сифилитик. Родить от такого ребенка — это, сударыня, преступление». В Охотничьем клубе прокурор Власьев ударил доктора Сафонова по лицу. Доктор подобрал с пола разбитые очки и печально улыбнулся. Он сказал своему молодому коллеге, доктору Гринбергу: «Себе я могу поставить диагноз: у меня гипертрофия того предполагаемого органа, который обычно зовут «совестью».

Революцию доктор Сафонов встретил с улыбкой неуклюжей и виноватой. Эта улыбка проясняла его отекшее печальное лицо, когда он в больнице глядел на красное тельце новорожденного или когда, ранней весной, выходя из дому, он щурился от солнца и пробовал ногой в огромном ботинке пробить слабеющий лед на лужах. Сафонов не знал, что ему думать об этой революции, но безотчетно он ей радовался.

Он легко сносил и лишения, и грубость сиделок, и тесноту. В его квартиру вселили братьев Крапницких. Крапницкие шумели, играли на гармошке, выпи-

вали, а встречаясь с Сафоновым, ухмылялись: «Товарищ доктор, вы бы нам выписали спирта, а то у нас бессонница!»

Сафонов проходил мимо мелких бед и ничтожных обид. Он строго сказал доктору Яшмину: «Напрасно вы все переносите с больной головы на здоровую. Если они невежественны, в этом виноваты мы». И он работал не покладая рук.

Но порой сказывалась его давняя и, видимо, неизлечимая болезнь. Он вмешивался в то, что его не касалось. Так было, например, когда арестовали преподавателя реального училища Фомина. Сафонов размахивал руками и кричал: «Вы поймите, товарищ Васильев, нельзя человека сажать в тюрьму за то, что он пятнадцать лет тому назад состоял в этой, черт бы их всех побрал, кадетской партии! Может быть, это тогда героизмом было. А теперь мальчишка его револьвером пугает. Да я его великолепно знаю. Он ни хера не понимает, кроме своей зоологии. Ему седьмой десяток пошел. Это, товарищ Васильев, уже не революция, это безобразие!..»

Вначале на выходки Сафонова никто не обращал внимания. Он слыл чудаком. Но время было тяжелое. Со всех сторон наседали белые. В городе не было хлеба. Обыватели шушукались: «Скоро им крышка!» По ночам раздавались выстрелы. Люди перестали доказывать, они начали расстреливать.

Как-то в больницу пришли два человека. Они потребовали, чтобы им указали, где здесь находится Михайлов. Сафонов, вспылив, закричал, что больница не митинг, что у Михайлова паратиф и что в палату он никого не пустит. Тогда люди нахмурились. Они сказали Сафонову: «Вы, гражданин, собирайтесь». Он просидел пять недель. Потом его выпустили. Он стал прихварывать. Он дышал с трудом: казалось, нет больше горючего. Он умер весной двадцатого года. Володе тогда было одиннадцать лет.

Отца Володя любил отнюдь не сыновьей любовью. Он его жалел. Он говорил отцу: «Ты как медведь на цепи». Он считал, что отец живет невпопад. Он не понимал, почему отец так волнуется за судьбу больных. Володя с ранних лет понял, что больные умирают. Смерть ему казалась простой и естественной, как конец считалки: «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять». Но когда он вошел в мертвецкую при

больнице и увидал отца, он вскрикнул: отец был необычно суров. Потом Володя увидел волосатые руки отца, пальцы, желтые от табачного дыма, и расплакался.

От отца осталась меховая шапка, которую отдали Володе, и несколько слов, глубоко засевших в голове мальчика. Он часто вспоминал, как отец говорил: «Эх, Володька, тот же блин, да подмазан!..»

Володю взяла тетка. Ее муж, ветеринар Соколов, вскоре после Октября ухитрился пролезть в партию. Он даже прочел публичную лекцию «О классовом подходе к борьбе с эпизоотией». Дома ветеринар распоясывался и, хитро щурясь, бормотал: «С волками жить, по-волчьи выть — это и есть правильная установка».

Тетка не любила Володю: он был чересчур вежлив и замкнут. Он еще ходил в коротких штанишках, но держал себя как квартирант. Тетка шипела: «В папашу»,— она не любила и своего покойного брата. О докторе родные говорили, что это был вздорный человек, он ни с кем не мог ужиться: ни с губернатором, ни с большевиками. Не будь Соколовых, мальчонок пошел бы в беспризорные!..

У Соколовых был сын Миша, ровесник Володи. Мальчики учились в той же группе. Миша был краснощеким веселым мальчуганом. Он играл в городки, во время демонстраций носил знамя пионерского отряда, продавал значки Доброхима и выменивал перья на яблоки.

Володя тоже был пионером. Он никогда не задумывался, почему он пионер. Ребята должны быть пионерами. Это было для него очевидным, как правила орфографии: надо писать «в течение» через «е» — так все пишут. Он выступал на собраниях и писал статьи для стенгазеты. Когда пионеров мобилизовали для работы в совхозе, он работал с таким усердием, что не выдержал и слег. Он делал это искренне, но нерадостно: сомнения уже начинали его томить. Он склонен был подмечать нелепое и смешное. Он трунил над стенгазетой: «Скатываем из «Правды». Он не верил в искренность товарищей: «Аля для базы написала поэму об английских горняках. А что она пишет подругам в альбомчики? «Розу алую срывала, слезы капали на грудь...» Он возмущался непорядками в совхозе: «На свинарне большущий плакат, а внутри такая грязища, что свиньи и те сдохли».

Но именно эти сомнения и заставляли его работать с двойным усердием: он как бы чувствовал, что его место в жизни зыбко, и он старался его сохранить. Пионеры были для него раскрытым окном — в окно дул ветер.

Окно вскоре закрылось. Володьке было четырнадцать лет, когда он вышел из пионерской организации. На один день в вежливом и молчаливом мальчике проснулась беспокойная душа доктора Сафонова.

На собрании Миша Соколов предложил исключить из организации Сашку Власьева за то, что Сашка скрыл от товарищей свое происхождение: он — сын царского прокурора. Миша говорил, как настоящий оратор. Он стучал по столу и кричал: «Кто знает, сколько революционеров повесил его отец!..» Сашка сидел в углу и молча грыз ногти.

Володя не любил Сашку. Он никогда не слыхал о пощечине в Охотничьем клубе, но он считал Сашку «подлизой». Кроме того, у Сашки на голове была противная парша. Володя сидел в классе позади Сашки и, глядя на голову, покрытую струпьями, морщился: он был очень брезглив. Но теперь он неожиданно взбеленился. Всегда бледный, даже зеленоватый, он покраснел. Он поднял руку: он просил слова. Он произнес речь горячую и сбивчивую. «По-моему, никто не может отвечать за родителей. Чем Сашка виноват, если его отец был прокурором? Что Сашка соврал, это нехорошо. Но в этом виноват не он. У меня есть своя теория. Я хочу сказать об этом. Если человек врет, то не для своего удовольствия. Только больные врут для своего удовольствия. А если человек врет, значит, его заставляют врать. Говорят, что таковы обстоятельства. Но я не верю в обстоятельства. Это глупый фатализм. Это придумано, чтобы успокоить себя. Человека заставляют врать другие люди. Значит, он побоялся, что мы его не поймем. Если его исключить, он пойдет к врагам, а мы должны его успокоить. Я, товарищи, решительно выступаю против подобной меры».

Речь Володи не произвела никакого впечатления. Шрамченко крикнул: «Довольно болтать! Мишка, ставь на голосование!» Против голосовал только Володя. Сашка был исключен из организации. Начали обсуждать вопрос о первомайском спектакле. Тогда Володя снова встал и сказал: «Ввиду принципиальных разногласий я выхожу из организации. Я хочу вам еще

сказать, что вы не пионеры, а трусы». Он быстро выбежал на улицу.

Дома дядюшка, которому Миша успел рассказать о выходке Володи, злобно сказал: «Ты еще за охранников начни вступаться». Володя поглядел на него и спокойно ответил: «Я, дядя, не знаю, может быть, и вы в этой охранке состояли. Папа мне говорил, что вы — черносотенец». Ветеринар побагровел от злобы, но он ничего не ответил. Он только шепнул жене: «Змею растим. Такой побежит и донесет».

Володя всю ночь метался. Он не заметил, как упала на пол подушка. Он был в жестоком полусне. Он задыхался от лжи и лицемерия, от подлости дядюшки, от трусости товарищей. Он начинал понимать, что правда смешна и неуместна. Среди черной духоты этой долгой ночи он учился молчанию и одиночеству. Он встал наутро с синяками вокруг глаз и с новой, невеселой улыбкой.

Он остался один. Вокруг него шла жизнь: люди верили, спорили, притворялись и гибли. Захолустный город казался ему полным скрытых шумов и борьбы. Так уничтожают друг друга огромные осьминоги где-то глубоко под водой. Он слышал глухое сердцебиение города. Он видел, как набухают его жилы и как показывается пот возле створок рта. Одни хотели стать первыми, другие спасали свою шкуру. Это были годы нэпа, и жизнь была лихорадочной, полной аффекта. Прикидывались и люди, и вывески лавок, и газетные статьи, и дома. Старые купеческие домишки почему-то заново покрасили. Они стали нежно-розовыми и голубыми. Никто из обитателей этих домов не знал, где закончит он день: в кабаке или в остроге. Но никогда еще люди не были так падки на жизнь, как в те годы, прозванные «передышкой». Володя томился: его мудрость еще не могла справиться с возрастом. Он хотел кинуться в жизнь, как в веселую свалку.

Тогда он организовал литературный кружок при школе. Он читал доклады: о Есенине, о формализме, о «Шоколаде». Он мог теперь говорить обо всех сокровенных обидах. Он клеймил ханжество и малодушие. Он вносил в жизнь поправки: он требовал «революции быта». Он призывал на помощь Маяковского и молодость.

Об одном из его докладов была заметка в местной газете. Его тщеславие было ребяческим: он долго носил при себе вырезку из газеты. Но важнее газетного

отчета было сознание, что в кружке он — первый. Ни Башкирцев, ни Вайскопф не могли с ним тягаться. Когда они выступали с докладами, Володя легко их разбивал. Он говорил о Башкирцеве: «Тургеневская сентиментальность». Вайскопфа он выслушивал с усмешкой: «Вульгаризация марксизма».

Члены кружка не любили Володю: он был заносчив и неуступчив. Он слишком много читал и слишком ловко спорил. Рядом с ним другие казались глупыми и невежественными. Володя не замечал этой неприязни. Он готов был принять молчание за восторг. Он не умел разбираться в человеческих чувствах, и беда застала его врасплох.

Казалось, ничто не могло сблизить Башкирцева с Вайскопфом. Башкирцев, сын бывшего инспектора гимназии, был вял и беспечен. В каждой тамбовской девушке он видел Дженни или Асю. Он писал тайком стихи, и, влюбляясь, он всякий раз думал, что это его первая и последняя любовь. Вайскопф приехал в Тамбов недавно: его отца прислали сюда для партийной работы. Это был тощий прыщеватый мальчик, признававший в жизни только химию и революцию. Он презирал стихи. Он говорил: «Настоящая литература — это социальные полотна». С Башкирцевым его сблизила общая нелюбовь к Володе. Башкирцев не мог простить Сафонову унижения: Володя в присутствии Глаши Дурилиной пренебрежительно сказал о нем: «Так можно тренькать на балалайке, а стихи так не пишут». Глаша обидно смеялась. Поэтому, когда Вайскопф сказал, что Сафонов «вредный элемент», Башкирцев тотчас же поддержал его.

На очередном собрании кружка Володя объявил: «Сегодня я сделаю доклад о «Конармии». Вайскопф его прервал: «Прошу слова к порядку дня. Я считаю, что работа кружка ведется в корне неправильно. В течение трех месяцев мы выслушали семь докладов Сафонова и всего четыре доклада других товарищей. Это — во-первых. Во-вторых, темы, которые выбирает Сафонов, помечены враждебным нам подходом. Он, например, ни разу не говорил о настоящих пролетарских поэтах. Все свое внимание он сосредоточил на представителях буржуазной литературы. Поэтому я предлагаю произвести перевыборы, и от имени группы товарищей я вношу список кандидатов: Башкирцев, Коровин, Чижевский, Вайскопф»

Володя сложил листки, которые он приготовил для доклада. Он был спокоен и даже улыбался. Он спросил Башкирцева: «Ты, значит, тоже думаешь, что у меня буржуазный подход?» Башкирцев смутился, но все же ответил: «Да, я согласен с Вайскопфом». Тогда Володя сказал: «Я сам хотел просить, чтобы меня освободили от моих обязанностей — у меня теперь слишком много работы». Он высидел до конца собрания. Он голосовал за предложенный Вайскопфом список. Больше на собрания кружка он не приходил.

Он пережил второе свое поражение легче и спокойней. У него был опыт. Кроме того, он знал теперь утешение: книги. Он читал запоем. Кончая книгу, он тотчас же принимался за новую. Он забывал не только об уроках, но и о еде. Ночи напролет он проводил с книгой, и голубоватый рассвет сливался в его сознании с позорным или прекрасным эпилогом длинного повествования. Мир настоящий понемногу бледнел и редел. Он напоминал о себе только назойливыми подробностями: надо сделать задачи, отлетела пуговица, если не сходить в кооператив за сахаром, тетка будет браниться... Он жил тысячами чужих жизней, и каждая из них казалась ему необычайной и увлекательной.

Так прошли школьные годы, и так настал день, когда Володя столкнулся с настоящей жизнью, упрямой и грубой; ее нельзя было перелистать, как книжку,— она была рядом и требовала дел.

Миша Соколов больше не бегал по пыльным улицам. Он увлекался радио: он даже смастерил приемник. Он работал в комсомоле. Его выбрали делегатом на конференцию. Его будущее не смущало ни его, ни близких. Ветеринара при одной из чисток выставили из партии. Он был уже стар и хлопотал о пенсии. Он не унывал: «Теперь за Мишкой черед — Мишка меня вывезет...»

Володя задумался: что же с ним будет? Он не хотел слышать о службе: это была пыль канцелярий, исходящие, рубашки дел и скука, серая, как вата между двойными рамами. Думая о службе, Володя неизменно вспоминал заведующего ОНО, которого он называл Товарищ Кувшинное Рыло.

Володя хотел учиться. Он любил историю и стихи. Но изучать он хотел математику. Он не верил ни рифмам, ни подвигам. Тысячи книг оставили в нем

ощущение неудовлетворенной жажды. Он пил залпом, но во рту было по-прежнему сухо. Он полюбил математику за ее отчужденность, за ту иллюзию абсолютной истины, которая другим открывалась в газетном листе или в живых людях. Он видел перед собой аудиторию университета, цифры и одинокое служение суровой, но пламенной науке.

Попасть в вуз было, однако, не столь просто: вся страна рвалась в эти старенькие, тесные аудитории, как на пышные пиршества. У Володи не было никаких прав на знание, он мог представить только справку о том, что доктор Сафонов сидел в тюрьме за контрреволюцию.

Миша сказал Володе со всей вескостью человека, который знает государственный аппарат ничуть не хуже смастеренного им радиоприемника: «Два года у станка. Когда поработаешь на заводе — сразу все двери раскроются».

Володя не удивился и не опечалился. Он отнесся к этому просто, как к воинской повинности. С легким сердцем он покидал родной город. Только разлука с Верой Сахаровой его несколько огорчала. Вера когда-то приходила в литературный кружок на его доклады. Они подружились. Она верила в то, что Володя — необычайный человек. Вероятно, она была в него влюблена. Но она никогда ему не говорила об этом. Это была высокая некрасивая девушка с добрыми туманными глазами. Узнав о том, что Володя решил уехать на завод, она всю ночь проплакала.

Последний вечер они провели вместе. Они сидели в садике, полном теплой сырости, желтых листьев и зарниц: в тот год была жаркая осень. Вера говорила: «Володя, ты не должен подчиниться!.. Таких, как ты, немного. Ты можешь стать великим ученым. Нельзя потерять два года зря. Поезжай в Москву. В Москве ты чего-нибудь да добьешься. Я могу продать мамино серебро. Если б ты знал, как я страдаю от невозможности тебе помочь!» Володя ей отвечал: «Не стоит. Ничего страшного не предвидится. Два года — пустяки. Я еще молод. Потом — к чему ломаться — я не герой. Когда мне было четырнадцать лет, я пробовал бунтовать. А теперь мне восемнадцать, и я научился хитрить. Я обхожу препятствия. Значит, я поступаю, как все. Значит, из меня ничего не выйдет. Но только ты, Вера, не убивайся!..» Он говорил долго, и все же он

чувствовал, что не может утешить Веру. В темноте он видел, как ее глаза полнятся слезами. Тогда он замолк. Они несколько раз поцеловались. Эти поцелуи были долгие и грустные: они что-то должны были выразить, может быть, боль разлуки, может быть, страх перед жизнью. Они сидели, прижавшись друг к другу. Потом теплый ветер кинул в лицо охапку мокрых листьев. Открылось окно, и мать Веры закричала: «Веруся, где же ты? Ветер какой! Сейчас гроза начнется». Тогда они молча расстались.

Прокочевав несколько недель, Володя осел в Челябинске. Он стал шлифовальщиком. Он работал исправно, но без увлечения. С товарищами он был обходителен, никого не задевал и ни на что не жаловался. Когда у него бывали деньги, он угощал товарищей пивом. Они смеялись или пели, а он молча улыбался. О нем говорили: «Хороший парень. Только любит играть в молчанку». Никто не знал, о чем он думает, стоя у станка или забираясь вечером в свою тесную комнату.

Вторая, подпольная жизнь Сафонова продолжалась. Ее не могли заглушить ни шум машины, ни шутки товарищей. Он читал. Когда же усталые глаза закрывались, среди горячей ночной тишины он думал. Его мысли были воспаленными, как у человека, больного горячкой. Эта горячка длилась годы.

Как-то товарищ Володи Чадров спросил его: «Почему ты, Володька, не в комсомоле?» Чадров знал, что Володя мечтает о вузе, и эта мечта была понятна Чадрову: он сам записался на ускоренные курсы. Все в жизни Володи казалось ему понятным, все, кроме одного,— Володя не был комсомольцем.

Володя ответил не сразу. Он глядел в сторону. Видимо, он подбирал слова. Он давно научился молчать, но ему трудно было лицемерить. Он ответил Чадрову: «Видишь ли, прежде всего я со многим не согласен...» Чадров рассмеялся: «Брось дурака валять! Ты вот думаешь, что без общественной нагрузки скорее выбьешься. А по-моему, времени для всего хватит. Конечно, можно и беспартийному работать, даже на передовых постах...»

Володя не возражал: он решил, что уместней всего промолчать. Но, придя домой, он не смог взяться за книгу. Он жалобно глядел на лампочку, на обои, на портрет усатого вояки, вероятно, родственника квар-

тирной хозяйки. Сколько он дал бы за живого собеседника. Он не мог разговаривать с обоями или с усами!..

На столе лежала тетрадка: Володя занимался немецким. Здесь же, под спряжениями, он начал быстро писать — перо едва поспевало за мыслями: «Чадров мне не поверил. Они не могут допустить, что существуют люди, которые думают иначе, нежели они. Чадров считает, что я беспартийный потому, что это мне выгодно. Он не упрекнул меня за это. Он даже улыбнулся. Так, наверное, улыбались священники грешникам. Они принимают грех. Зато они никак не могут принять ереси. До чего утомительна история человечества! В каком-то романе имеется герой, который не может объясниться в любви, потому что до него те же слова произносили миллионы. Причем каждый из миллионов думал, что эти слова произносятся им впервые. Этот герой, конечно, сумасшедший. Нормальных людей повторность не пугает. Отец говорил: «Тот же блин, да подмазан». Впрочем, к чему хитрить? Есть две правды. Одна — временная. Она у них. Другая — вечная, и другой нет ни у кого. Она не во времени и не в пространстве. О ее существовании можно только догадываться по совокупности отрицаний. Что касается меня, то у меня ничего нет, кроме пошлых сравнений и кукиша в кармане».

Он в ярости отшвырнул тетрадку. Но час спустя он перечел написанное. Он перечел и удивился: никогда раньше он не думал о других людях как о чем-то цельном и отличном. Теперь он написал: «они» — «они принимают грехи», «у них правда». Значит, он — это он, а против него люди. Володе стало страшно. Как в детстве, он натянул на голову одеяло и вобрал в себя ноги: он боялся жизни.

Его мечта исполнилась раньше, нежели он предполагал. Он был принят в Томский университет. От Тайги он ехал с другими вузовцами. Там он впервые увидал Петьку Рожкова. Рожков несколько лет тому назад пас в деревне баранов. Быстро прошел он путь от букваря к вузу, и жизнь казалась ему быстрой: она неслась, как курьерский. Володе жизнь казалась нерасторопной и глупой. Зачем-то он работал на заводе. Зачем-то поезд без конца стоит на несчастных полустанках. Зачем-то он будет завтра ходить на лекции и хлебать щи. Он вез дневник и глубокую скуку.

Петька Рожков весело спросил: «Где вылезать? На Томске-Первом или Втором?» Володя виновато улыбнулся: «Вот уж, право, не знаю...»

7

В стране было много неизведанных богатств: руды, меди, угля, золота, марганца, нефти и платины. Много древнего невежества таилось в ее глубинах.

Кузнецкий завод люди строили в сердце Азии. Земля промерзла на три метра. Ломы ее не брали, строители шли с клиньями. Часовая стрелка двигалась слишком быстро. На заснеженных полустанках цепенели обессиленные паровозы. Вокруг были болота и тайга. Людям приходилось бороться с природой.

Людям приходилось также бороться с людьми. Это была жестокая борьба. Человек оставался человеком: он зажигался на час или на два, но он не хотел гореть тем высоким и ровным пламенем, которым горят доменные печи.

В метельные ночи, казалось, можно было слышать, как стонет страна. Новый мир требовал мук и крови. Так строили Магнитогорск и Караганду, Коунрад и Анжерку, Бобрики и Хибиногорск. Так строили и Кузнецк. Среди строителей были герои. Среди строителей были полудикие кочевники и суеверные бабы. Среди строителей были воры и рвачи. Но больше всего среди строителей было обыкновенных людей. Они были способны на стойкость и мужество. Но они еще дорожили своей жизнью, теплой и кудластой, как овчина.

Их отцы знали только тупой подъяремный труд и то горькое вино, в котором они топили муку. На силу они отвечали хитрой уверткой. Они прикидывались юродивыми и полоумными. Они крестились на иконы, но уважали расстриг, плутов, беглых каторжников и великодушных разбойников.

Они говорили друг о друге: «Орловцы голову раскроят», «Елец всем ворам отец», «С вятчанами ночевали — онучи пропали», «Хлыновцы краденую корову в сапоги обули», «Валдайские горы, любанские воры», «Ржевцы отца на кобеля променяли», «Шуйский плут хоть кого впряжет в хомут», «Нижегородец — либо вор, либо мот, либо пьяница», «Костромичи на руку нечисты», «Казанской сиротой прикидывается», «В Сибири человека убить, что кринку молока испить».

Они говорили друг о друге: «ухорезы», «головотяпы», «ротозеи», «слепороды», «сажееды», «гробокрады».

Они говорили о жизни: «Как ни мечи, а лучше на печи», «Работа не медведь — в лес не убежит», «На мир не наработаешься», «Что ни двор, то вор», «Правдой жить — живым не быть», «Доброму вору все впору», «Кок да в мешок», «Что плохо положено, то брошено», «Пускай будет по-старому, как мать поставила».

Крали министры и карманники, форточники и губернаторы. Инженеры, строившие железные дороги, брали взятки с купцов. Околоточные требовали осетрового балыка и почтения. Прокуроры были картежниками и хабарниками. Штабс-капитаны выбивали по десяти зубов у вестовых. Солдат пороли розгами. Погромщикам выдавали наградные: красненькую или часы из накладного золота. Сановники купали в шампанском шансонеток и ползали на брюхе перед образами Святой Параскевы или Святого Пантелеймона. Во дворце сидел бородатый мужик и, щекоча сальной бородой придворных, бормотал молитвы — он камлал, как камлает шаман в шорском улусе. Студентов загоняли нагайками в манеж. Жандармы насиловали курсисток. Нижние чины становились во фрунт. Они лихо рявкали: «Рады стараться!» В одну ночь богатели подрядчики и интенданты. Сторожа обыскивали работниц и залезали под юбку. Слепли в деревнях сифилитики, и сочились кровью десны цинготных. Так жила страна.

Потом настала революция. Горели усадьбы. Мужики резали племенной скот. По Украине носились десятки «батьков» с головорезами. Они жгли и грабили. На Кавказе англичане выдавали пулеметы и золото беспардонным ребятам. Горели нефтяные вышки, и на дорогах стонали умирающие. В Туркестан ворвались басмачи. В Сибири разбоем промышляли семеновцы. В стране был голод, и на Волге люди ели друг друга.

Прошли годы. Страна начала строиться. В Кузнецк приехал Колька Ржанов. Вместе с товарищами он строил кауперы. Но на стройке было много людей. Люди помнили дедовы наказы, и люди хотели жить.

В селе Горбуново сдохли все овцы. Это были овцы колхоза «Красная Сибирь». К овцам был приставлен колхозник Болдырев. Болдырев не поехал за ветеринаром. Он почесал затылок и сплюнул: «Пущай их...» Он считал, что овцы принадлежат колхозу, следовательно,

они ничьи. Он не хотел ради ничьих овец ехать в город. Он хитро ухмылялся: ему казалось, что он перехитрил всех.

Колхозник Клюев ехал в Кузнецк: он вез молоко для яслей. В семи километрах от Кузнецка телега сломалась. Клюев бросил телегу и поплелся назад. Он сказал Ваньке Хмарову: «Надо бы за телегой съездить. Теперь ты поезжай. А мне надо картошку копать». Хмаров ответил: «Ты сломал, ты и вытаскивай. А мне недосуг». Хмаров пошел в избу и лег спать. Клюев не поехал за телегой. Он и не пошел копать картошку. Он сидел возле избы на лавочке и скучал. Он глядел, как кобели бегают за сукой, и кидал в собак камнями.

На деррике работал некто Добромыслов. Он приехал из Ленинграда. Ему дали двух комсомольцев, Медведева и Федорова, чтобы он научил их работать на деррике. Добромыслов купил в старом Кузнецке водку. Он сказал комсомольцам, что работа потерпит, а человеку надо и порадоваться. Комсомольцы вначале отнекивались, но Добромыслов умел спаивать. Комсомольцы напились вдрызг и пробастовали три дня. Это было в самое горячее время.

В бараках по вечерам степенные землекопы вели задушевные беседы. Они говорили о том, что Матюшин здорово надул всех: «Получил спецовку и смотал удочки». Они говорили также о рыжем Иванове, который стащил четыре одеяла. Они говорили об этом эпически, как о подвигах богатырей. Потом они пели воровские песни: «Шел с дамой шикарный пижон...» Это были не воры, но обыкновенные крестьяне из Славгородского района.

В двенадцати километрах от стройки нашли труп строителя Радакова. Сначала думали, что он убит кулаками. Но когда осмотрели труп, выяснилось, что убийца отрезал у Радакова срамные части. Товарищи вспомнили, что Радаков был падок на баб и что крестьяне жаловались: «Девочек портит».

Четыре строителя шамотного цеха избили до крови казаха Кайрактова. Они кричали: «Киргизы проклятые! Хуже жидов! Мы работаем, а они в столовке для ударников жрут!» Четырех обидчиков судили за хулиганство и за шовинизм. Один из них на суде стал юродствовать. Он говорил: «Да что вы, товарищи! Я и не отличу, какой это казах, а какой русский...»

Секретарь Гордеев призвал плотника Акулова. Гордеев мрачно сказал: «Тебя обвиняют в попытке изнасилования кучера, товарища Марьи Сидоровой. Я тебя сейчас могу застрелить как собаку». Акулов икнул и ответил: «Это мы, товарищ Гордеев, шутили». Ячейка решила: «Поставить товарищу Акулову на вид его нетактичное поведение».

В доменном цехе собирали кожухи. Строители установили мачту. Они ее закрепили. Ночью злоумышленники разобрали мачту. Мачта упала и придавила двух строителей.

В коксовом цехе строители домкратом вытаскивали сваи. Тогда они увидали, что в машину насыпан песок. Они потеряли рабочий день. Ночью они тревожно думали — кто среди них враг?

Строитель Петров, приехавший недавно из колхоза, попробовал повернуть рычаг. Рычаг не поддавался. Петрова взяла злость. Он решил переупрямить машину. В деревне, серчая, он хлестал мерина. Он налег на рычаг, и рычаг поддался. Но машина была испорчена. В цехе работал спецпереселенец Воронков. Подозрение пало на него. Воронков сначала божился, что он ни в чем не повинен. Потом он примолк. Петров злобно глядел на Воронкова: Петров твердо верил, что машину испортил Воронков. Он сказал ему: «Гадина»,—и он вытер рукавом мокрый лоб.

Секретарь ячейки Лукьянов праздновал свадьбу: он женился в шестой раз. Он буянил в бараке и бил посуду. Зайцев строго спросил его: «Как ты, член партии, столь безнадежно разложился?» Лукьянов ничего не ответил, он лег на койку и захрапел. Его исключили из партии. Зайцев предложил выбрать в секретари товарища Горохова: «Хоть он малограмотен и знания получил по тощему пайку, но он умеет работать». Лукьянов тем временем шумел в землянке Сидорчука: «Вот возьму и застрелюсь! Тогда-то они увидят, что Ваня Лукьянов был честный боец».

В бараке № 29 был объявлен культпоход: барак решили вычистить, выбелить и подвергнуть дезинфекции. Работница Шакирова села на койку и закричала: «Только через мой труп перейдете!..»

Клепальщик Паршин подбил ребят: они не вышли на работу. Они кричали: «Даешь спецуру!» Партизан Егоров сказал: «Товарищ Паршин, стране нужна сталь! Неужели мы истекали кровью на всех фронтах, чтобы

теперь бузить из-за какой-то спецовки?» Паршин не смутился. Он помолчал, а потом, не глядя на Егорова, он крикнул осипшим голосом: «Даешь спецуру!» Три дня спустя он получил спецовку и тотчас же уехал в Караганду.

Люди, которые строили Кузнецкий завод, не были слепыми: они видали темноту, равнодушие и косность. Но они знали, что стране нужна сталь. Они знали, что здесь будут построены четыре коксовых батареи, четыре доменных печи и пятнадцать печей мартена. Они знали, что Кузнецкий завод будет выпускать ежегодно миллион четыреста тысяч тонн стали.

Шор следил за пуском деревянной галереи на Томи. Работали всю зиму. Ковш замерзал. Тогда люди обмазывали паклю мазутом и зажигали паклю, чтобы отогреть ковш. Галерею на ночь подымали.

Шор жил в Верхней колонии, далеко от реки. Както он проснулся под утро. Он проснулся от непонятного рева: была пурга, и барак перепуганно скрипел. Шор в ужасе подумал: что же будет с галереей? Он поглядел на часы: без четверти пять. Значит, на реке — никого. Вокруг электрического фонаря в бешенстве носились белые стаи. Шор быстро оделся. В темноте он побежал к Томи. Метель сбивала его с ног. Спускаясь вниз, он упал, и сугроб на минуту проглотил его. Но он тотчас же выбрался из-под снега. Он растерянно шарил руками вокруг — он искал шапку. Но, боясь потерять время, он побежал к реке без шапки. У него была одна мысль: вдруг галерея опустилась?.. Он не чувствовал, как мороз жжет его уши. Он бежал. Он добежал до реки. Здесь для метели был простор, и метель здесь была страшна. Но галерея стояла на месте. Шор улыбнулся. Он побрел в ближний барак. Горело лицо, и мысли путались. Кто-то тер ему уши снегом. Он чувствовал необычайную слабость. Он едва проговорил: «Скажите, чтобы прислали лошадь».

Приехав домой, он лег. Он не мог дышать. Сердце замирало. Левое плечо томительно ныло. Шор знал, что он болен. В Москве доктор Шведов строго сказал Шору: «Сердце никуда не годится. Так, голубчик, вы долго не протянете. Поезжайте сейчас же в Кисловодск!» Шор поехал не в Кисловодск, но в Кузнецк. Как он мог думать о каких-то сердечных клапанах? Его голова была полна мыслями о чугуне.

Он расстегнул ворот рубашки и подумал: сегодня проваляюсь! Но в девять затрещал телефон. Шор привскочил: неужто с галереей? Звонил Гордин: с клепкой неладно — все время останавливается компрессор. Шор ответил: «Сейчас приеду». Он робко пощупал свою грудь. Он как бы просил беспокойное сердце повременить с развязкой. На ходу он хлебнул какое-то горькое лекарство.

Полчаса спустя он шутил с клепальщиками: «Мороз-то настоящий ударник!» Он вспомнил, как он бежал к реке, и вдруг закричал: «Что за безобразие! Сейчас же ступайте отогреться! Так можно и замерзнуть, черт бы вас всех побрал!» Он всегда чертыхался, когда хотел сказать людям что-нибудь ласковое.

Он пошел в управление. Разумеется, он никому не рассказал о своей ночной тревоге. Но кучер Василий доложил Чернышеву, и Чернышев строго спросил Шора: «Что же это, Григорий Маркович? Вы бы себя поберегли». Шор растерянно улыбнулся. Он бормотал: «Ничего особенного. Очень просто — могла и опуститься. А тогда как прикажете — начинать сызнова? И при чем тут «беречь себя»? Это даже полезно. Это, что называется, моцион».

Вряд ли Чернышев смог бы объяснить, почему Шор работал с таким ожесточением. Он часто забывал поесть. Он уходил на работу, не помывшись. Когда приехали американцы, Геринг отвел его в сторону и шепнул: «Григорий Маркович, вам нужно того — побриться». Шор подозрительно дотронулся до своей щеки, которая поросла неровной щетиной, и закивал головой: «Обязательно, обязательно! Они еще, чего доброго, подумают, что мы дикари».

Он работал над кауперами или над мартенами так, как в старину люди любили девушек или молились Богу. На советы взять отпуск он отвечал раздосадованно: «Ну и глупо! Вам самому надо полечиться — у вас цвет лица нехороший. А я здоров как бык. Потом, если все начнут отдыхать, кто же будет строить? Партия — это не Иван Иванович, с партией нельзя шутить».

Трудно было молодым понять то, как Шор выговаривал это слово «партия». Для Чернышева партия была государственным аппаратом. Она делилась на области и районы. В ней были умницы и дураки. Она отпускала средства на строительство, и она

определяла сроки пуска домен. Он говорил «партия», как «управление заводом». Партия для него была огромным управлением многими заводами и многими шахтами.

Геринг вступил в партию два года тому назад: он понял, что без партбилета трудно и работать и жить. Он не задумывался над принципами. Он любил свое дело. Он легко связывал эстакады с пунктами программы, а резолюции съезда с тоннами чугуна.

Колька Ржанов был членом комсомола потому, что он был рабочим. Это было просто и очевидно: если рабочий умеет глядеть и думать — он в партии. Вне партии либо враги, либо шкурники.

Для молодых партия была чем-то абсолютным и общим, воздухом, которым они дышали, хлебом, который они ели, чугуном, который они отливали. Для Шора партия была понятием настолько близким, что порой, говоря о своей работе, он краснел, как человек, который рассказывает о подробностях своей интимной жизни.

Когда Шор вступил в партию, партия казалась ему крохотным кружком. Они собирались на квартире у Фишберга: товарищ Егор, товарищ Варя, товарищ Смирнов. У них были пальцы, запятнанные чернилами: они наливали в противень желатин и тискали бледные листочки. Мысли были ясные, но буквы туманились, как будущее. Это было двадцать четыре года тому назад. Теперь партия казалась Шору огромной, как мир. Она строила комбинаты, распахивала степь, гнала нефть по трубам и зажигала огни мартенов. Она пестовала полтораста миллионов. Путь партии был длинен. Этот путь был жизнью Шора.

Его жизнь была величественна и ничтожна. Он сидел в тюрьме по делу о смоленской организации РСДРП. Его товарищем по камере был некто Чайков — эсер. Днем Шор неизменно доказывал Чайкову, что крестьянство — не класс: «В деревне можно опереться только на беднейшие элементы». По вечерам, когда тюрьма замирала, когда с воли доходили сырая весна и детские крики, Чайков читал вслух стихи: «Я звал тебя, но ты не оглянулась, я слезы лил, но ты не снизошла». Шор слушал молча. Потом Шор ворчал: «Вздор! Декадентство! Распад! Как вам может нравиться этакая ерунда? Ну-ка, прочтите еще разок — я вам докажу, что это — ерунда». Чайков снова читал

стихи. Шор ничего не доказывал. Он вбирал в себя грусть слов. Она сливалась с синевой вечера и с голосами ребят. Когда сторож зажигал лампу, Шор прятал свои глаза: они были полны умиления.

Он убежал из тюрьмы. Он очутился в Париже. Неприязненно он косился на роскошные магазины, на огни кафе: он вспоминал явки, собрания, рабочие казармы с их запахом махорки и пота — он тосковал. Он вклеивал в картон тонкие листочки — так партийная газета проходила в Россию. Он ходил с лесенкой и с ведрами: он мыл стекла — это был его заработок. Потом он грыз жареную картошку, протирал платком очки и садился за книги. Он читал Бебеля, Каутского, Лафарга и Плеханова. Один раз случайно ему попалась под руку книга Мопассана. Он прочел ее, не отрываясь. С удивлением он почувствовал, что его горло сжимается: ему хотелось плакать. Он ненавидел людей, которые оскорбили Пышку. Потом он обругал себя: можно ли тратить на это время? Он взялся за Энгельса. Ему было некогда жить.

Иногда вечером он заходил к Наташе Ляминой. Он недоверчиво осматривал комнату. На столе был букетик фиалок. Наташа не умела жить. Шор строго спрашивал: «Вы обедали?» Наташа молчала. Тогда Шор уходил. Он возвращался с бо́льшим свертком. Он угрюмо приговаривал: «Вот колбаса, кажется, не собачья, настоящая...» Наташа спрашивала: «А вы?» Шор сердился: «Я фиалок не покупаю. Я уже обедал. В ресторане. Четыре блюда и вино. Вот как!» Он говорил неправду: на деньги, которые ему уплатили за мытье стекол, он купил две марки и еду для Наташи. Но он не дотрагивался до колбасы — он боялся, что колбасы мало.

Один раз он даже принес букетик фиалок. Он принес его в кармане: он стыдился нести цветы в руке. Это был тяжелый для него вечер: Наташа заговорила о чувствах. Тогда Шор начал доказывать, что всему свое время. «А работа?..» Он говорил и сердито кашлял. Он чувствовал, что с каждым словом он слабеет, что когда он глядит на Наташу, его горло сжимается — как тогда, когда он читал рассказы Мопассана. Наташа молчала. Шор помял и без того мятую шляпу и пошел к себе.

Революция застала его в Туруханске. Он вскочил на какой-то ящик и загрохотал: «Не время радоваться!»

Он поехал в Петербург. Он говорил в цирках и в казармах, на грузовиках и на цоколях императорских памятников. Он был с солдатами возле Зимнего дворца. Потом его отправили на фронт.

Возле Чернигова они поймали белого. Допрашивал его Шор. Это был высокий ушастый мальчишка. Сначала он отвечал стойко: он за Россию, против предателей. Но потом он не выдержал. На вопрос Шора, давно ли он у деникинцев, он ответил невпопад: «Мне восемнадцать лет. Я в Первой гимназии, в седьмом классе. У меня в Киеве мать и две сестры: Ольга, а младшая Надя». Тогда Шор вскочил и зарычал: «Ах ты сволочь. Туда же лезет. Застрелить тебя мало! Снимай-ка шинель. Все снимай, сукин сын! Вот тебе штаны и рубаха! Хватит с тебя и этого! Воин! И сейчас же проваливай к черту! К этой самой матери! Чтоб я тебя больше не видел! А попадешься — застрелю, как собаку. Понял?»

Его послали в Лондон: продавать лес. Он встретился с крупным английским инженером. Англичанин спросил Шора: «Как вы работаете в столь мизерных условиях? Я читал, что в России редко у кого из специалистов ванна, не говоря уж об автомобиле. Может быть, вы мне скажете, сколько у вас зарабатывает такой специалист, как вы?» Шор поглядел на англичанина, и в глазах Шора показалось глубокое веселье. Он ответил: «Это называется — партмаксимум. Ерунда! Меньше, чем этот швейцар. Может быть, как дипломат, я должен говорить иначе. Но, по-моему, правда куда лучше. У меня, например, нет машины. Иногда я жду трамвая полчаса и, не дождавшись, иду пешком. Мыться приходится в бане: два часа потеряны. Наша страна еще очень бедная. Вы меня спрашиваете, сколько я получаю. Я мог бы вам ответить: столько-то — в рублях. Перевести на фунты трудней. Но и не в этом дело. Я получаю радость. А сколько, по-вашему, стоит настоящая радость — ну, хотя бы в фунтах?..» Англичанин вежливо улыбнулся.

Когда Шор вернулся в Москву, все только и говорили что о коллективизации. Шор тоже высказался. Кто-то из товарищей, не дослушав, махнул рукой: «Это, брат, недооценка наших сил». Шор увидал, что генеральная линия не такова, и он не стал спорить. Он считал, что спорить можно с людьми, но не с партией.

Он поехал на хлебозаготовки. Крестьяне ночью накрыли его мешком и избили. Он провалялся с месяц

в пензенской больнице. Он говорил врачу: «Они не понимают, в чем их выгода. Но они скоро это поймут. Я видал в одном колхозе бабу — умница! Всем заправляет. Пчельник устроила. Она мне жаловалась: «Церковь у нас не прикрыли. Звонят. Не могу я этого слышать — душу они из меня звоном вытряхивают...» Я слушал эту бабу, как Пушкина. Скажите, доктор, долго я еще буду валяться? Вы должны меня выписать — я не умею отдыхать».

Шор вышел из больницы прихрамывая. В Москве он попал на заседание, посвященное Урал-Сибирскому комбинату. Он запросился в Кузнецк. Он говорил: «Большое дело!» Он никому не говорил о том, что это дело увлекает его своей трудностью. Он знал, что такое Сибирь. Он знал также, что такое люди.

Такова была эта жизнь, похожая на справку из партархива. Но за жесткой, как бы металлической, жизнью был еще сутулый человек, близорукий и добродушный, который то и дело поправлял плохо повязанный галстук, который с восторгом нюхал резеду в станционном садике и спрашивал девочку: «Девочка, это что за цветок, то есть как он называется»,— который кричал, что Горбунов «лентяй и разиня», а потом шел в ЦК и упрашивал, чтобы Горбунову дали отпуск, так как он «совсем зашился». Если вместо стройной жизни у Шора были только разрозненные улыбки, шутки или невыплаканные слезы, в этом повинно время: Шор не успел обзавестись биографией, как другие не успевают обзавестись квартирой.

Когда он приехал в Кузнецк, он ничего не смыслил в металлургии. В такой-то раз он брался за новое дело. Он осилил когда-то политическую экономию и шифры. Потом он узнал международную политику и тюремную азбуку — он перестукивался с соседями. Он научился стрелять из винтовки и говорить прибаутками. Он стал разбираться в стратегии. Он различал, какой лес годен для верфей. Он очутился в деревне. Он не мог отличить пшеницы от овса. Месяц спустя крестьяне говорили: «С очкастым держи ухо востро — это дошлый...»

Он приехал на стройку. Он должен был сразу понять, что такое блюмсы, фурмы, деррики, грейферы и скрубберы. Он взялся за работу. Он забыл о диалектике, о лесе, о стратегии. Ему казалось, что всю свою жизнь он только и делал, что строил заводы. Он знал

теперь в точности, сколько кирпича могут выложить рабочие, когда закончат клепку, как вычерпывать грунт для галереи и как ставить болты.

В комнате Шора висела небольшая акварель — он привез ее из Москвы. Кто знает, почему он таскал с собой двадцать лет подряд эту картину. Отрываясь на минуту от работы, он глядел на акварель: это был Париж, крыши домов, трубы, а над ними немного неба, едва голубоватого. Небо было положено художником с болезненной осторожностью, оно ничего не весило, глаза скорее догадывались о нем, нежели его видели. Глядя на акварель, Шор улыбался. Он не мечтал о городе, в котором когда-то прожил несколько лет. Он с трудом мог себе представить, что этот город еще существует: для Шора существовал только завод. Но, глядя на крыши и на легкое небо, Шор улыбался.

Кроме этой картины, ничто не выдавало прошлой жизни Шора. Когда к нему заходили товарищи по делу, он открывал шкаф и подолгу в нем рылся: он искал коробку с конфетами. Он угощал инженеров карамелью и ласково посмеивался. В шкафу все лежало вместе: белье, доклады, лекарства и, где-то среди носков, старая, пожелтевшая фотография. На фотографии вихрастый юноша в косоворотке улыбался. Рядом с ним стояла девушка в большой шляпе — такие шляпы носили до войны. От шляпы легла густая тень, и лица девушки не было видно. Шор никому не показывал карточки, да и сам никогда на нее не смотрел. Он только время от времени, хмурясь, проверял, лежит ли она под книгами или под бельем.

Инженер Шалов спросил Шора: «Вы читали «Гидроцентраль»? Это, знаете, удивительно!» Шор покраснел от смущения: «Как-то времени не хватает. А в общем — распущенность. Спасибо, что надоумили. Теперь я обязательно прочту».

Он действительно взял книгу и начал читать. Но вдруг он вспомнил, что в шамотном цехе рабочие ворчат из-за сапог, и кинулся к телефону: «Нельзя ли раздобыть сапоги? Это безобразие!» Он так и не прочел романа.

Когда Колька Ржанов взлез на каупер, чтобы выправить канат, Шор пришел в цех. Все решили, что он пришел поздравить Кольку. Но Шор зарычал: «Что это за головотяпство? Ты мог замерзнуть или, того,— сорваться. Что у нас, много таких рабочих? Надо, черт

возьми, беречь себя!» Он говорил и улыбался. Он видел глаза Кольки, полные смущения и радости. У Шора никогда не было детей. Когда он приходил к семейным товарищам, он ползал с ребятами по полу и смешно хрюкал. Теперь он глядел на Кольку, как на своего сына. Он был горд и умилен. Потом он побежал в управление и забыл о Кольке.

Колька не забыл о Шоре. Он говорил: «Ну и старик!» Шору было сорок восемь лет, но Кольке он казался очень старым. Когда Кольку охватывали сомнения, когда он видел вокруг себя корысть или малодушие, он вспоминал «старика». Тогда работа спорилась, и Колька снова веселел.

В то самое утро, когда Шор, обезумев, побежал к реке поглядеть, не упала ли галерея, рабочие Колькиной бригады обсуждали — выходить ли на работу? Фадеев говорил Кольке: «Андрюшка был в управлении. Говорит: на градуснике ничего не видать. Нет больше градусов — спрятались. Значит, пятьдесят или того холодней. А по контракту мы обязаны работать до сорока пяти. Умирать, милый, никому не хочется». Колька спокойно ответил Фадееву: «Нам не о градусах надо думать, но о сроках. Вторая декада февраля, а домну обещали пустить к апрелю. Вы, ребята, как знаете. Можете здесь валяться. Я и один пойду». Он опустил наушники шапки и, не глядя на товарищей, пошел к выходу. Тогда Васька Морозов сказал: «Что ж это, ребята? Неужто одному ему мерзнуть?» Он вышел вместе с Колькой. Вслед за ними пошли и остальные.

Это был тревожный день: кто-то подпустил лебедку. Листы упали. Рабочие мрачно глядели друг на друга: в их бригаду затесался враг. Они жили дружно, вместе работали, пели песни, старались обогнать богдановцев, иногда выпивали и балагурили. И вот кто-то подпустил лебедку, и сразу они оказались друг другу чужими. Они приехали сюда с разных концов страны. Фадеев думал, что виноват Андрюшка: эти сибиряки хитрые, говорит: «Бывает, бывает»,— а сам нож точит. Тихонов был сибиряком, и он считал, что лебедку подпустил Панкратов: кулаки убежали из России, а здесь вредительствуют.

Они подымали листы молча, среди метели и вражды. Молча они вернулись в барак. Андрюшка попробовал запеть, но никто не подхватил, и голос его затонул в душной полутьме барака.

Колька думал: кто же?.. Он перебирал в мыслях всех товарищей: этот, этот, этот?.. Перебрав всех, он решил, что лебедку подпустил чужой. Когда они уходили в обеденный перерыв, он и пробрался. Мало ли на площадке вредителей?

Колька подумал вслух: «Нет, это не наш». Фадеев в ответ проворчал: «Зачем так далеко искать?..» Колька строго сказал ему: «Если думаешь на кого — скажи. А зря болтать нечего. Только людей мучаешь, да и себя». Фадеев никого не назвал. Колька продолжал: «Нет, ребята, это не наш. Надо охрану ставить, вот что». Мало-помалу все успокоились. На следующее утро они работали, как всегда, дружно и бойко.

Происшествие с лебедкой имело, однако, неожиданные последствия: Маркутов решил проверить, кто работает на кауперах. Тогда-то и выяснилось, что Васька Морозов подчистил свои документы. Он говорил, что он батрак. На самом деле он был сыном кулака Николая Морозова.

Когда Фадеев узнал о прошлом Морозова, он затрясся от злобы: «Так я и думал! Лебедку это он подпустил. Все ходил и допрашивал: как да что? Вредитель несчастный!» Васька сидел на койке, опустив низко голову. Он молчал. Потом он не выдержал и крикнул: «Не я это сделал! Меня там и не было. Я со всеми в столовку ходил. Вот тебе мое слово комсомольца, что не я». Фадеев засмеялся: «Хорош комсомолец! Ты вредитель. Вот кто ты. Змея ты, а не товарищ!» Фадеев теперь не смеялся. Его лицо было искривлено злобой, а глаза под лохматыми бровями горели, как угли. Он подошел вплотную к Ваське и сказал: «Трус поганый! Уходи отсюда, чтобы чего не вышло. Я человек горячий. Я тебя прикончить могу».

Васька медленно встал. Он ни о чем не думал. Он вышел на мороз и остановился возле отхожего места. Была ясная ночь. Звезды были крупные, как в сказке. Прошла в уборную старуха Сидорова. Она злобно провыла: «Ты что, паренек, заглядываешь?..» Потом из барака вышел Тихонов — его вызвали в ячейку. Васька стоял не двигаясь.

Когда Фадеев ругал Ваську, Колька молчал. Но потом он задумался: неужели это Васька подпустил лебедку! Он вспомнил, как Васька улыбался, когда они обогнали богдановцев, как он первый пошел за Колькой, когда ребята бузили. Нет, лебедку подпустил не

он!.. Колька весь просветлел: он понял, что он связан с товарищами и что эта связь глубока. Он оделся и пошел за Васькой.

Он помнил о том, что Васька подделал документы. Он подошел к Ваське и сурово сказал: «Ты чего здесь стоишь?» Васька не откликнулся. Тогда Колька потряс его за плечо: «Ну?..» Не глядя на него, Васька сказал: «Лучше бы мне в бараке остаться! Вот Фадеев грозился, что убьет. А зачем мне такому жить?» Колька прикрикнул: «Нечего языком трепать. Ты мне прямо скажи — почему ты это сделал?»

Тогда Васька вышел из себя. Он смолчал Фадееву. Но вот и Колька с ними. Васька гордился тем, что он работает в бригаде Ржанова. Он говорил: «Погодите — Колька красным директором станет». Он считал, что Колька умней всех рабочих. Ради Кольки он готов был пойти в огонь и в воду. И теперь Колька — заодно с Фадеевым. Васька закричал: «Если ты на меня думаешь, я и разговаривать с тобой не желаю. Ты мне тогда не товарищ. Я над этими кауперами, как ты, работал. Я, кажется, жизнь отдам за них. А ты говоришь мне, что я вредитель. Как же мне после этого жить? Уйди от меня, Колька! Не верю я больше в товарищей. Все только и ждут, чтобы съесть человека живьем».

Колька в душе радовался этим злобным словам: они укрепляли его веру. Он снова подумал: нет, это не Васька! Он сдержался, чтобы не улыбнуться. Он строго сказал: «Я тебя не о лебедке спрашиваю. Я тебя о документах спрашиваю. Почему ты обманул партию?»

Васька недоверчиво поглядел на Ржанова: «Ты мне сначала ответь — ты веришь, что это не я подпустил лебедку? Если веришь, я тебе все расскажу. А нет — уходи! Лучше мне тогда молча погибнуть, чем с тобой разговаривать».

Они прошли в барак. Койка Морозова находилась в углу. Рядом спал старик Зарубов. Васька говорил тихо, и никто, кроме Кольки, не слыхал его слов:

«Мы сами тульские. Здесь, в Сибири, у крестьян по пяти лошадей было, и не раскулачивали — говорят: «Середняки». А у отца было две лошади и корова. Только деревня наша бедная. Он, значит, и оказался в кулаках. Я не спорю, он в душе был настоящий кулак. Я сначала этого не понимал — мальчишкой был. А потом и я возмутился. Приходит к нему Жданова. Ее муж в Красной Армии служил. Она говорит:

«Иван Никитович, разреши ты к тебе хлеб ссыпать». Отец сейчас же прикидывает: «Вот тебе муженек подарки привез. Мне бы ситчика на рубашки». Жданова — в слезы: «Нет у меня ситца». Но отца слезами не разжалобишь. Он говорит: «Тогда и ссыпай куда хочешь». Вот он где, настоящий кулак! Но я только спрашиваю: откуда он мог другого набраться? Разве это его вина?»

Колька прервал Морозова: «Мы с тобой не попы. Незачем в душу залезать. Так ты скажешь, что и царь не виноват — он, дескать, родился царем, только то и знал, что стрелять в народ. Мы не рассуждать должны, а бороться. Ты, Васька, это оставь. Ты мне скажи про себя: почему ты подделал документы?»

«Я отца и не защищаю. Я тебе сразу сказал, что это настоящий кулак. Его четыре месяца в тюрьме продержали. Потом отправили на Магнитку. Он теперь, наверно, на стройке работает. Землю копает. Конечно, жаль мне его, но я сам понимаю — ничего другого и не придумаешь. Если он плачет, то и Жданова плакала. Я только хотел сказать, что это его судьба. Если кто-нибудь здесь подпускает лебедку, он сознает, что он делает. Это безусловный враг. А мужики жили, как жилось. Взяли помещичью землю и обрадовались. Потом отец купил мерина, и сразу душа у него перекосилась. Начал он людей мучить. Очень много зла в человеке! Ты меня спрашиваешь — почему я подчистил документы. Я тебе прямо скажу: со страха. Можешь меня запрезирать. Скажи, как Фадеев, что я трус. Только не такой уж я трус. Помнишь, когда на каупер лезли и ты сказал: «Держись»? Андрюшка говорил: «Боязно». А я — ничего. Скажут мне завтра: «Защищай революцию от японца», — я не испугаюсь. Но одно дело умирать со всеми. А здесь сиди и жди, пока тебе не скажут: «Ах ты, кулацкое отродье!..» Вот я и струхнул. Я на стройку приехал без мыслей. Шкуру спасал. А потом присмотрелся, и как-то все во мне проснулось. Я только тут и понял, зачем мы это строим, за что мучаемся. А ночью лежу, думаю: вдруг узнают?.. Я боялся, что меня из комсомола вычистят. Куда я тогда денусь? Я, Колька, одну семью потерял. А теперь меня из второй гонят. Да еще такое на меня возвели, как насчет этой лебедки. Я вчера себя чувствовал героем труда, а сегодня на мне клеймо. Сегодня я жалкий вредитель. Как же мне после этого жить?..»

Васька долго говорил. По многу раз он повторял те же жалобы и упреки. Колька дал ему наговориться. Он понимал, что Васька не может молчать, что его страшит одиночество. Когда же Васька, измученный, наконец-то умолк, Колька потрепал его по плечу и сказал: «Ложись спать. Завтра что-нибудь да придумаем. А теперь мне надо в горком, на заседание».

Колька пошел к Маркутову: он хотел отстоять Морозова. Он говорил: «За Морозова я отвечаю. Поговори с ним — никогда ты не скажешь, что это сын кулака. Он на стройке переродился. Не бузит. Только спросишь: «Кто за это возьмется»,— сейчас же — Васька. Я тебя, Маркутов, не понимаю. Конечно, кулаков надо держать на цепи. Но Морозов не кулак. Он настоящий комсомолец».

Маркутов постучал карандашом по столу, и карандаш сломался. Тогда он стал подписывать бумаги пером. Перо было ржавое, оно скрипело и плевалось: листы были покрыты лиловыми брызгами.-Маркутов не глядел на Кольку. Он подписывал бумаги и говорил: «Ты, Ржанов, молодчина! Только ты еще здорово молод. Не разбираешься в людях. Откуда ты знаешь, что это не Морозов подпустил лебедку? Кто у нас вредительствует? Именно такие. За спецпереселенцами смотрят. Они ничего не могут поделать. А вот — просачиваются. Как этот Морозов. В комсомол, в партию. Им доверяют, а они вредительствуют. Если Морозов один раз обманул, почему ты думаешь, что он и теперь не обманывает?»

Колька глядел на серые листы, покрытые лиловыми брызгами, и он злился. Он понимал, что Маркутов говорит резонно и что возразить ему трудно. Однако по-прежнему он твердо верил, что лебедку подпустил не Морозов. Он так и сказал Маркутову: «Я Морозову верю». Маркутов усмехнулся: «Верят верующие, а коммунисты рассуждают».

Маркутов не верил людям. В своей жизни он видал много лжи и обмана. Он был подкидышем и детство провел в омском приюте. Заведующая говорила ребятам: «Разнюнились, нюнечки?» Голос у нее был нежный, как будто она все время пела. Потом она схватывала ухо мальчика и начинала его мять, крутить и дергать.

При Колчаке Маркутов был партизаном. У него был друг Красицкий. Этот Красицкий выдал Маркутова

белым. Маркутова били в разведке. Отбили ему легкие — с тех пор он кашлял и покрывался болезненным потом. Он жалел об одном: когда пришли красные, не он расстрелял Красицкого.

Он работал в деревне по раскулачиванию. В Михайловском кулаки убили учительницу. Они говорили, что учительница пишет в газете, сколько у кого коров. Они раздели труп, отрезали груди, а голову вымазали калом. Потом они взвалили все на слабоумного Антипку. Маркутов нашел труп в овражке.

Он работал упорно и угрюмо. Он доверял только ЦК партии и хорошо выверенным машинам. Он видел, как вокруг него люди крали, отлынивали от работы, портили машины и пьянствовали. Он думал, что завод нужно строить с людьми, но против людей.

Маркутов сердито сказал: «Савченко до тебя приходил. Сволочи, в хлеб запекают гвозди! Не понимаю — вредительство это или разгильдяйство? А рабочие ворчат: «Хлеб пожевать и то страшно...» Маркутов нажал в сердцах на перо. Перо не выдержало. Он прижег огромную кляксу папиросой и замолк. Потом он снова начал ругаться: «Для жалости теперь не время. Это как на фронте. Только тогда мы знали: здесь свои, здесь белые. А теперь все перепуталось. Надо глядеть в оба. Не возись ты с этой дрянью. Он на словах коммунист, а сам только норовит что поджечь или сломать. Я это племя знаю!»

Колька попробовал возразить: «Я его вовсе и не жалею. Я с тобой о деле говорю, а не о глупостях. Нет в нем никакого кулацкого духа. Парень перестроился. Мы кирпичи и то бережем. Как же людьми швыряться?» Прервал Кольку телефонный звонок. Маркутов схватил трубку. «Да. Я самый. Это какой же Окунев? Из Свердловска? Машинку? В ГПУ звонил? Я сейчас приду.— Бросив трубку, Маркутов сказал Кольке: — Вот полюбуйся! Приехал будто бы инженер. Конечно, документы сам сделал. Стянул восемьсот целковых и машинку».

Колька поглядел на Маркутова. Он увидел, что глаза у Маркутова серые и грустные. Они вышли вместе и тотчас же распрощались. Колька подумал: Ваське — крышка!

Колька растерялся от незнакомого ему чувства. Прежде он был уверен, что легко объяснить любую вещь: ход машин, резолюции съезда, поступки людей.

Каждая книга ему открывала новую правду. Когда книга была написана врагом, Колька читал ее, насторожившись, и он понимал, в чем ее ложь. Но вот он говорил с Маркутовым. Маркутов партиец. Он знает куда больше Кольки. Почему же он не понял, что Колька прав? Колька старался говорить толково, но выходило, что прав Маркутов. А здесь еще этот телефон помешал... Нет, телефон ни при чем. Дело ясно: подчистил Морозов документы? Подчистил. Правда, это было давно. С тех пор он изменился. Но об этом знает Колька. Маркутов об этом не знает. А Колька знает и не может доказать.

Колька дышал сосредоточенно и часто. Был сильный мороз. Воздух казался твердым. Колька остановился. У костра грелись строители. Они перетаптывались на месте. Снег был как камень. Колька подумал: ну и холодище! Он чувствовал себя одиноким. Он повернул к бараку, но сейчас же снова приостановился: Васька-то, наверное, не спит!.. Ну хорошо, пусть накажут за документы! Но ведь с лебедкой — это не он. Неужели никто этого не поймет?..

Колька вспомнил о «старике». Шор все понимает. Он — старый большевик. Потом, глаза у него добрые. Он и ругается — как будто шутит. Может быть, попробовать?

Так Колька очутился в комнате Шора. Испуганно поглядел он на акварель, на кипу чертежей. Шор не ругался и не шутил. Кольке показалось, что Шор его плохо слушает: он поглядывал по сторонам и шевелил губами, как будто он что-то жевал. Когда Колька кончил говорить, Шор буркнул: «Ты его завтра пришли. Я с ним потолкую. Только я боюсь, что Маркутов прав. Уж очень много этой шпаны развелось. Листы-то вы подняли? Я у вас три дня не был. А теперь ступай. Мне еще работать надо. Я вот на двенадцать разговор с Москвой заказал».

Возвращаясь в барак, Колька думал: нет, и «старик» не поверил. Но на душе у него было спокойно. Может быть, его утешило обещание Шора поговорить с Васькой, может быть, глаза «старика», серьезные и ласковые.

Шор позвонил в горком: «Что за история с этим... Как его?.. Да, Морозовым?..» Потом Шор говорил с Москвой. Было плохо слышно. Он кричал: «Транспорт!.. Понимаете? Транспорт! Ведь это не паровозы,

это черт знает что!» Потом он сел за проекты подземного туннеля. Он лег только под утро. Засыпая, он вспомнил Кольку, и, как тогда, возле каупера, его сердце наполнилось нежностью. Он подумал: хорошие у нас ребята! Теперь и умереть не страшно. А этот... Как его? Да, Морозов... Черт его знает! Может быть, Маркутов и перестарался. Конечно, если не мы — их, они — нас. Только этот еще молод. Он мог и вправду перемениться. Страшное это дело: отец, сын — как веревка! Может быть, отец такого Кольки тоже кулак?..

Шор вспомнил своего отца. Отец Шора был лавочником. Когда Шора арестовали, отец сказал матери: «Я прокляну его самым страшным проклятием!» Потом он побежал в тюрьму с колбасой, и колбасу выбрал самую большую: «Чтобы хватило на всех мерзавцев». Шор засыпал, и мысли его путались. Он видел отца, Кольку, кулаков, которые напали на Шора, тюрьму. В тюрьме сидел Шор. Потом в тюрьме оказался кто-то другой. Шор едва успел подумать: как его?.. Кажется, Морозов... потом он уснул.

Когда на следующее утро к нему пришел Морозов, он встретил его ревом: «Хорош! Эх ты, Батрак Батракович! Здесь тебе нечего делать. Здесь люди завод строят. А ты спец по другой части. Тебе бы на Сухаревку — там для таких раздолье. Ну, чего ты рот разинул? Никто тебя здесь не держит. Можешь хоть сейчас убираться ко всем чертям».

Морозов стоял, не двигаясь. Шор громко высморкался и спросил: «Деньги на дорогу есть?» Морозов не ответил. Тогда Шор подошел к нему вплотную и снял очки. Его глаза стали сразу бессильными и добрыми. Он сказал: «Ну, чего тебе еще надо?» Тогда Васька, ободренный и голосом Шора, и его глазами, начал говорить. Он говорил долго и несвязно. Он клялся, что это не он подпустил лебедку. Он объяснял, что ему некуда ехать: он хочет работать на стройке. Он не вредитель, он честный комсомолец. Шор молчал. Васька тоже замолк, а потом, глупо выпятив нижнюю губу, сказал: «Я без партии — как без дома».

Шор не вытерпел, он даже отбежал в угол. Слова Васьки его потрясли. Он понял, что этот парнишка говорит о партии так, как о ней думает сам Шор, что и для него партия не государство, не тактика, не строительство, но нечто бесконечно близкое, что разлука с ней — это разлука с жизнью. Чтобы скрыть свое

волнение, Шор еще раз высморкался и проворчал: «Мальчишка!» Потом он позвонил Маркутову: «Морозова я возьму к себе, на галерею». Он прикрикнул: «Только у меня, брат, смотри! Я этих штук не люблю.— Потом он крепко сжал руку Васьки и, рассердившись на себя, вслух заметил: — Рукопожатья, что называется, отменены».

Когда Морозов рассказал Кольке о своей беседе с Шором, Колька просиял. Он радовался не только потому, что он спас товарища, он радовался и потому, что жизнь снова ему казалась ясной и глубокой. Он увидал, что, помимо книг и слов, существуют еще глаза и что глаза способны разговаривать. Его силы удвоились. Он как бы получил право на чувствования.

Он сказал Ваське: «Я видал в управлении плакат: Кузнецк три года тому назад и Кузнецк теперь. Красота! Сначала — голое поле. Потом все эти кауперы, батареи, мартены. Вот если бы нарисовать такой плакат: Колька Ржанов три года тому назад и теперь. Я ведь тогда ничего не понимал. А думал, что все знаю. Мне жизнь казалась скучной-скучной. Я теперь на жизнь другими глазами гляжу. Хорошо быть настоящим человеком. Как старик. Он действительно все знает: и насчет галереи, и как туннель рыть. Я у него на столе такие чертежи видел, что кажется, всю жизнь учись, и то не разберешься. А ко всему еще, он человек. Я, Васька, думаю, что при коммунизме все такими будут». Он улыбнулся и уже шутя добавил: «Разве что помоложе и без очков».

8

Была северная весна, как всегда громкая и неожиданная. Шумели ливни, и от яркого солнца люди хмурились. Тайга наполнилась новым шумом. Тетерева бормотали. Глухари охали. Еще в оврагах было много снега, но снег хирел, и над ним смеялись даже трясогузки.

В улусе Кады слегла старая шорка Мара. Ее сын пошел за шаманом. Шаман сначала не хотел идти: он боялся комсомольцев. Потом шаман все же пришел: он помнил, что у Мары имеется черный баран, и он хотел мяса. Он пришел отощавший, но величественный. Его одеяние звенело побрякушками: это были

звери, птицы и рыбы. Шаман, камлая, посылал зверей, птиц и рыб, чтобы они расспросили духов. Звери ломали лесную чащу, птицы неслись к небу, и глубоко ныряли медные рыбы. Духи потребовали черного барана. Сидя на корточках, шаман ел баранину. Он вытер сальные руки о священное одеяние. К вечеру Мара умерла. Тогда шаман сказал ее сыну: «Духи не смягчились. Весной жизнь как река: одни переходят через реку, другие остаются. Мара была очень стара. Ты не должен доносить на меня в комсомол! Я тоже очень стар. Я чувствую, что эта весна для меня последняя».

На стройке люди пели и ругались. Они пели потому, что им хотелось счастья, и они вязли в грязи. Земля как будто задумала проглотить людей. Проваливаясь в желтую глину, строители ругмя ругали и товарищей, и стройку, и весну.

Землекопы нашли скелет мамонта. Он был древен, как мир. Увидев находку, Колька вспомнил, как Смолин говорил: «Мы строим гигант». Ему стало весело и страшно. В его голове прошлое смешивалось с будущим. Жизнь казалась ему непрерывной, и эта жизнь была полна чудес.

Землекопы нашли скелет мамонта. Рабочие возле Томи нашли цветы: первоцветы, одуванчики, куриную слепоту. Переселенец Яшка Крючков вспомнил заливные луга возле своей деревни, и он сердито отвернулся от цветов. Комсомолки в выходной пошли на реку. Они визжали, аукали, а Груша Тренева сплела всем веночки.

Зимой на стройке любовь была бессловесной и тяжелой. Ванька Мятлев как-то привел в барак смешливую Нюту. Нюта не смеялась. Она робко глядела на спящих людей. Сосед Ваньки, рыжий Камков, не спал. Он почесывал голый живот и сквернословил. Ванька боялся, что Нюта уйдет, и шепотом приговаривал: «Только на четверть часика!» Потом Ванька прикрыл их головы пиджаком. Они не могли запрятать свою любовь от людей, но они прятали свои глаза. Это было воспоминанием о стыде. Сильней стыда была страсть. Ванька сказал: «А теперь тебе пора домой!» Нюта закуталась в овчину и убежала.

На постройке ГРЭС, возле чадных жаровен по ночам скрещивались руки, спецовки, юбки и сапоги. Люди любили жадно и молча. Вокруг них была жестокая зима. Они строили гигант. Они хлебали пустые щи. Они не знали ни нежности, ни покоя.

Весна была шумлива, и она сразу потребовала слов. Люди заверещали, как птицы. Весна раскрывала людям глаза. Люди щурились, но глядели. Парни уводили девушек за реку. Там щекотала щеки трава, и по ночам там кричали совы. Ванька Мятлев увидел грудь Нюты. Грудь у нее была крутая и смуглая. Ванька хотел пошутить, но осекся. Его лицо стало светлым и сосредоточенным. Он тихо сказал: «Ты, Нюта, красивая».

Вечерами строители обнимали женщин, и женщины становились тяжелыми.

Работа на стройке шла вовсю. Никогда еще люди так не торопились. Строитель Демьянов кричал в бреду: «Подавай кирпичи! Да, мать твою, скорей!..» У Демьянова было воспаление легких. Он умер на третий день.

В тот же день умер американский инженер Герл. Его тело отправили в Москву. Иностранцы провожали гроб. Они надели цилиндры и котелки. Они чинно ступали по грязи, и они глядели то на эту жестокую грязь, то на мальчишески синее небо с облаками, которые играли в перегонки. Иностранцы думали о том, что жизнь здесь не легка, что Герл был еще молод и любил играть в футбол, что смерть подкрадывается к человеку внезапно, как весна на севере. Они думали о высоком и постоянном, как и подобает думать на похоронах. Позади шли комсомольцы с красными флагами. Герл умер на боевом посту, и ему отдавали революционные почести. Комсомольцы пели похоронный марш, но он выходил у них бравурным. Гроб положили в товарный вагон. На вагоне значилось: «Срочный возврат».

Из Москвы приехали корреспонденты газет и кинобригада. Все готовились к торжеству. Строители работали исступленно. В этой лихорадочности, помимо плана и сроков, помимо голода и веры, была еще воля весны, ее поспешность и размах, ее тоска, которая днем подготовляла огромную домну к пуску и которая ночью наполняла утробы женщин семенем.

Так впервые заскрежетала воздуходувка. Этот скрежет с непривычки был страшен, но строители улыбались: завод начал дышать. Услышав ужасные звуки, смутились старые казашки и шорки: они припоминали камланье шаманов. В крохотное оконце можно было увидеть нутро бога, но глядеть на него человек не мог: огонь слепил, как солнце. Чтобы следить за

утробной жизнью домны, люди вставили в оконце синее стекло. Домна дышала с трудом, и, вдыхая доменный газ, люди задыхались. Из печи вытекали струи расплавленного металла. Это было величественно и просто. Ради этого люди страдали, как страдают женщины, обливаясь кровью и проклиная любовь.

Кузнецку весна принесла спешку, эпидемию, любовь за рекой, пуск первой домны, празднества и грохот. Весна заглянула и в старенький Томск. Она смыла несколько прогнивших домиков, и на фасадах правительственных зданий она развесила несколько вылинявших от непогоды флагов. Про запас у нее были ливни, солнце и смех сорока тысяч томских вузовцев. У вузовцев была горячая пора: они сдавали зачеты. В курсы химии или физики вмешивались непрошеные советчики: то запах черемухи, то зайчик на стене, то веселый смех: «Это Женька...»

Сады сразу расцвели, и Томск наполнился цветочными запахами, зеленой пылью, вздохами. Вздыхали и старые лишенцы, припоминая прошлое, и курносые стриженые вузовки — они чувствовали, что подходит любовь. Вечерами все смешивалось: «Я сегодня у Королькова перехватила зачет», «Послезавтра поедем в Городок», «Со звуком плохо, ничего не знаю», «Ты почему гулял вчера с Аней?», «Вот поеду на практику, пришлю тебе подарок», «Ну, раз дай поцеловать, тоже недотрога», «Милый ты мой, как я с тобой счастлива», «В столовке ни черта не дают, жрать совершенно нечего», «Как у тебя с ботаникой?», «Помнишь Есенина: «Все пройдет, как с белых яблонь дым»?», «Шурка, давай с тобой поженимся», «Ну куда ты, ну как же, ну, милый...» Весна не обошла Томск, и старый город, весь изношенный и злосчастный, сиял наново. Его глупая каланча с шарами встречала солнце, не смущаясь своего ничтожества, как будто и не каланча это, но кузнецкая домна.

Перед университетом устроили цветник и фонтан. Это было культурным достижением, и на открытие фонтана собрался народ. Милиция не позволяла лежать на траве. Тунгусы глядели на фонтан и одобрительно вздыхали. Старый профессор Ивашов сказал раздраженно: «В Европе такие фонтаны на каждом шагу, а здесь это мировое событие». Профессор был болен печенью. Он страдал от плохой пищи и от

невежества вузовцев. Он презирал фонтан. Тунгусы ели с восторгом щи, и фонтан им казался затейливым, как сон.

На собрании взаимной чистки Петька Рожков произнес горячую речь: «Мы должны помнить о темпах! Стране нужны специалисты. Каждый день, потерянный нами, отразится на успехах второй пятилетки. Товарищи, вузы — это та же стройка, и перед нами примеры героев Кузнецка!..» Петька Рожков больше не думал ни о стихах Пушкина, ни о Тане. Он думал только об органической химии и о великом строительстве.

Рабфаковец Сенька Крамов сказал Ирине: «Я тебе открою мою тайну». Ирина печально вздохнула. Они сидели в роще, вокруг цвела шальная черемуха, и Ирина думала, что Сенька будет говорить о любви. Ирина не хотела слушать признаний: она сама знала, что такое любовь. Она не спала по ночам, и мысли у нее путались. С тех пор как она познакомилась с Володей Сафоновым, она жила растерянно и беспокойно. Но Сенька Крамов не хотел говорить о любви. Ирина ему сказала, что она любит стихи, и Сенька решил раскрыть ей свою тайну: «Я тоже пишу стихи. Но я не знаю, может быть, это ерунда. Я работал в Прокофьевске на шахтах. Туда прислали одного англичанина-специалиста. Я как-то услышал — этот англичанин говорил с переводчицей. И вот тогда мне захотелось так же писать стихи, то есть пронзительно и красиво. Ты не подумай, что по-английски. Нет, по-русски. Но не так, как все говорят. Иначе. Я искал неожиданного сочетания звуков. У нас был кружок рапповцев. Я прочел им. Лашков мне ответил, что это «буржуазный футуризм». Я очень горевал, но стихов я не бросил. Я тебе как-нибудь почитаю. Когда вот такое кругом, меня распирает. Приду в общежитие и пишу, пишу. Кажется мне, что замечательно, а может быть, ерунда. Только нет сил, чтобы остановиться...»

Ирина с удивлением поглядела на Сеньку. Она его много раз видала. Они занимались вместе немецким. Но ей показалось, что она видит его впервые. У него были большие глаза, светло-синие, и чуть приоткрытый рот, как у ребенка. Она почувствовала к нему большую нежность, и она тихо сказала: «Ты настоящий поэт. Так только поэт может говорить. «Внезапное сочетание звуков» — это уже стихи». Они помолчали. Потом Сенька проводил Ирину до дому: она

торопилась. Прощаясь, он крепко пожал ее руку и, не выпуская руки, заглянул в ее глаза. Тогда Ирина снова смутилась: Сенька в нее влюблен, он понял ее слова как ответное признание. Вся покраснев, она сказала: «Я, Сенька, очень несчастна. Я люблю одного человека, а он меня не любит. Впрочем, и это вздор. Надо заниматься — завтра зачет».

Ирина спешила домой потому, что к ней обещал зайти Володя Сафонов. Они встречались теперь каждый вечер. Они никогда не говорили о любви. Они говорили о стихах, о весне, о жизни. Володя все знал, он казался Ирине большим и мудрым. Она робко его слушала. Иногда она прерывала его вскриком: «Вот хорошо!» Иногда она начинала смеяться, и смех ее был звонкий, веселый. Володя не умел смеяться. Когда Ирина смеялась, он пробовал улыбнуться, но улыбка у него выходила грустная. Казалось, он сейчас заплачет. Тогда Ирина неожиданно говорила: «У тебя на рубашке нет пуговицы. Ты, наверное, и нитку вдеть не умеешь... Дай я на тебе пришью».

Когда Володя бывал с ней, она ни о чем не думала. Ей было хорошо, и она отдавалась счастью. Но, оставаясь одна, она начинала терзаться. Она думала о том, что она глупа. Ирина как-то сказала: «Я не умею думать об отвлеченном». Брат Лелька потом ее дразнил: «Философ!» Конечно, она дура, и Володе с ней скучно! Зачем же он приходит к ней? Может быть, ему нравится ее лицо? Ирина недоверчиво гляделась в зеркало. Круглое лицо, скулы, маленький носик. Лелька ее звал «Курнофейкой». Как она может понравиться Володе? Володя сказал: «Красота — вещь условная. Для нас это обычно — греческие каноны». Ирина видела в томском музее гипсовую Диану. Ирина на нее никак не похожа. Позавчера Володя гулял с Варей Калинниковой. Варя куда красивей ее!..

Так Ирина терзалась, когда она поджидала Володю. Но после разговора с Сенькой она чувствовала себя приподнятой. Слова Сеньки ее настроили на иной лад. Володя сразу заметил, что Ирина чем-то взволнована. Он спросил: «Ты что это рассеянная? Приключилось что-нибудь?» Ирина молчала. Тогда Володя почувствовал себя одиноким. Он сел на стул и, покачиваясь, начал говорить: «Надоело. Все надоело. Самокритика. Взаимная чистка. Тунгусы в роли спасителей цивилизации. Ну и так далее. Как видишь, я не из

приятных собеседников. Данте, изображая ад, многого не предвидел. Например: обыкновенный взрослый человек среди торжествующих недорослей. Вариации: человек среди патефонов, человек среди попугаев и так далее. Ну, а вы что изволили делать? Самочистились? Или стояли в череду за хлебом?»

Ирина ответила: «По-моему, ты не прав. Почему ты надо всем смеешься? Конечно, ты умней других. Но все-таки ты не прав. Я сегодня разговаривала с Сенькой Крамовым. Ты его, кажется, не знаешь. Это рабфаковец. Шахтер из Кузбасса. Он, оказывается, стихи пишет. Я знаю, что ты снова будешь смеяться. Но он меня совсем растрогал». Ирина повторила Володе слова Сеньки.

Сафонов нахмурился, его рука с окурком долго шарила по столу — он думал. Потом он начал говорить. Он говорил медленно и мучительно, как будто он убеждал себя: «Еще одна иллюзия! Конечно, такой Сенька умнее рапповских критиков. Но почему я, Владимир Сафонов, обязан умиляться? Когда ребенок начинает говорить, все стоят и ждут: что это он скажет? Он, разумеется, говорит: «Ма-ма». Обождите, но кто умиляется? Та же мама. Или папа. Или бабушка. А здесь должны умиляться все. После Платона, после Паскаля, после Ницше — не угодно ли: Сенька-шахтер заговорил! Причем, ввиду столь торжественного события, обязаны тотчас же и навеки замолчать все граждане, которые умели говорить до Сеньки. Бернард Шоу от восхищения давится икрой, а потом спешит в Лондон. Там он сможет говорить, не считаясь с Сеньками. Разрешите задать еще один вопрос. Хорошо. Сенька говорит. Он на рабфаке. Он будет красным профессором. Он научится носить галстуки и цитировать Маркса по первоисточнику. Его сын будет выбирать галстуки, сообразуясь с цветом пиджака, и цитировать не только Маркса, но даже Канта. Спрашивается, что будет делать его внук? Писать поэмы о галстуках? Опровергать Маркса с помощью Ницше? Нюхать кокаин от мировой тоски? Или, может быть, подготовлять новую революцию? То, что меня раздражает, Ирина, это не жестокость революции, но ее бессмысленность».

Ирина не сдавалась: «Ты не о том. Ты всегда стараешься обобщить. А это живой человек. Он говорил как настоящий поэт. Ты подходишь к нему с готовым

мнением. Чем ты лучше критика, который ему говорил о «буржуазном футуризме»?»

Володя досадливо отмахнулся: «Я не об этом Сеньке говорю. Какое мне до него дело? Допустим, что он гениальный поэт. Тогда он через пять лет замолчит. Или сойдет с ума. Или повесится. Можешь почитать историю русской поэзии: она началась с двух трупов и двумя трупами кончилась. Скучно, Ирина, так скучно, что, кажется, встал бы и завыл, как собака!..»

Володя с отвращением поглядел на большой букет черемухи — весна его преследовала повсюду. С детских лет он боялся весны: она его выгоняла из норы. Сердце билось неровно, он судорожно зевал или задыхался, то его клонило ко сну, то он без толку слонялся по мокрым крикливым улицам. Весной он не мог читать: книга с первой же страницы казалась ему знакомой, как будто он ее читал прежде. Особенно смущали его весенние запахи. Он не мог удержаться от соблазна: он зарывался лицом в ворох сирени и тотчас же отбегал прочь. Он сам дивился, почему он не может, как все, понюхать, поискать «счастье», а потом сесть за книгу. Цветы для него были пыткой. Так было и с букетом черемухи, который Ирина притащила утром, думая им приукрасить полутемную грустную комнату. Он понюхал и мучительно отвернулся. Тогда он увидел перед собой глаза Ирины. Он понял, что на этот раз весна его перехитрила.

Он вдруг стал послушным и пустым. Он ни о чем не думал. Он только глядел на Ирину и радовался. Мир, который всегда казался ему страшным и враждебным, сузился, он вошел целиком в глаза Ирины, в глаза, полные такой печали и доброты, что Володя, глядя на них, улыбался. Кажется, впервые за долгие годы его улыбка не сбивалась на гримасу. Так мальчиком он улыбался отцу, когда отец сажал его на колени и говорил: «Ну, коза-егоза, скучно тебе с доктором Сафоновым?..» Глаза Ирины стали очень большими. В них была воля, не самой Ирины, не Володи — чужая, и, подчиняясь этой чужой воле, Володя подходил все ближе и ближе. Он шел, как лунатик, выставив руки вперед. Крохотное расстояние между ним и Ириной казалось ему непреодолимым. Он испуганно остановился. Его руки неловко коснулись плеча Ирины. Она не отодвинулась. Он прижался губами к ее губам. Губы Ирины были горячие и слабые. Она вся как-то поникла. Он обнял ее, чтобы она не упала. Потом он вздрог-

нул, как будто кто-то его окликнул. Он бережно посадил Ирину на стул, а сам отошел к окну.

В голове его появились мысли неясные и жестокие. Они походили на первые мысли человека, которого разбудили непривычно рано. Сейчас она спросит: «Хорошо тебе?..» Так спросила Таня. Так и в романах спрашивают... Он снова почувствовал знакомую ему тоску, как от букета черемухи. Он робко ждал, что скажет Ирина. Но Ирина молчала. Он заставил себя оглянуться. Ирина плакала. Володя растерялся. Он подумал со всей неуклюжестью мужчины: может быть, ей воды дать?.. Потом он подошел к ней и, виновато дотронувшись до ее руки, забормотал. «Ну чего ты? Я ведь искренне. Да ты сама знаешь. А если тебе неприятно, я больше не буду. Только не плачь. Ну, перестань!»

Ирина сказала: «Ты не обращай внимания! Я сама себя не понимаю. Глупо — разревелась, как девчонка. Но ты не подумай, что это от горя. Я еще никогда не была так счастлива! Слышишь меня — никогда!» По ее лицу все еще бежали большие частые слезы. Но, говоря с Володей, она улыбалась. Володя ничего не мог понять. Он несколько раз пробежался по комнате. Ему было страшно: никогда прежде он не думал о том, что для него Ирина. Теперь, глядя на ее лицо, затуманенное и слезами и радостью, он вдруг догадался, что он приходил к Ирине совсем не потому, что она охотно выслушивала его рассказы. Ирина не Таня. Это не случайная связь. Кажется, никогда он не сможет от нее уйти!.. В его голове не было слов: он не пытался взвесить или определить. Он только чувствовал, что нечто очень важное неожиданно приключилось.

Он снова подошел к Ирине. Он начал ее целовать. Он целовал мокрые щеки, глаза, лоб. Потом он поцеловал ее в губы. Он откинул ее голову назад, и он целовал отрывисто, жадно, с каким-то веселым отчаяньем. На минуту высвободившись, Ирина прошептала: «Замолчи! Ну, замолчи, милый...» Володя ничего не говорил — она путала поцелуи со словами. Она была без сил.

Володя сразу выпрямился. Он стоял посередине комнаты, высокий и нескладный. Он вынул папиросу, но не закурил. Он подумал: «Вот и катастрофа!» Он попытался отделаться шуткой: «Знаешь, Анатоль Франс говорил, что...» Не досказав, он выбежал из комнаты. В палисаднике на него сразу обрушился душ-

ный запах сирени. Он прикрыл лицо горячими сухими ладонями.

Он долго бегал по улицам. Улицы назывались по-разному, громко и торжественно: Красноармейская, Пролетарская, Интернациональная. Все они походили одна на другую: те же деревянные домики, те же лавочки у ворот, та же теплая пыль. В домиках кряхтели лишенцы: они терли мазью поясницу и заправляли лампадки. В домиках вузовцы зубрили оптику или патологию. Они украдкой читали стихи и писали любовные цидулки. Гришка спрашивал Рожкова: «Единственная — через два «н»?..» Навстречу Володе кидались то флаги, то черемуха, то парочки. Влюбленные шли, как на экзамен. Но глаза их не умели прикидываться. В этих глазах был ворох нежных кличек и вздохов, задыхание поцелуев, запах примятой травы, несколько рифм и несколько торопливых слезинок — все, чем жив обыкновенный весенний вечер. Володя бежал по улицам, а за ним бежала весна. Он чувствовал, что его глаза полны того же смятения. По его глазам всякий может догадаться, что он сдался на милость счастью, что он не одинокий чудак, не советский Печорин, но попросту вузовец, который целуется и сдает зачеты, который должен работать, жениться и жить. Так вот почему он боялся цветов!..

Он остановился, измученный, и присел на лавочку. Он хотел привести в порядок не только глаза, но и мысли. Он хотел понять, что с ним. Он думал, что мысли будут сложными и путаными. Но первое, что пришло в голову, было простым и в то же время решительным: он любит Ирину. Разгадка испугала его своей точностью. Но потом он вспомнил глаза Ирины и улыбнулся.

Однако не зря он готовился к мучительным мыслям: они пришли с небольшим запозданием. Они не касались ни его чувств, ни чувств Ирины. Он не гадал о том, любовь это или не любовь. На него накинулись другие мысли. Они снова погнали его по улицам: вниз, наверх, на горку, к реке. Старые татарки таинственно верещали. Овраг был заполнен огоньками, которые метались, как светлячки. Кто-то сказал: «Наденька, вот тебе слово, что не я!» Потом крестьянин в лаптях гнусаво провыл: «Гражданин, копеечку!» Потом звонили в церкви. Потом громкоговоритель зарычал: «По выполнению хлебозаготовок...» Володя все бежал и думал. Он думал не о любви, он думал о себе.

Когда наконец он осмелился свалиться на койку и вытащить из сундучка тетрадь, он уже знал все. Он сам прочел себе приговор, и, выслушав этот приговор, он прикусил губу, чтобы не расплакаться. Он старался сохранить спокойствие. Когда он раскрыл тетрадку, ему захотелось тотчас же выписать имя Ирины — тогда он услышит рядом ее тихое и нежное дыхание. Но он не поддался соблазну. Он писал, не отрываясь до поздней ночи.

«Сегодня, в итоге некоторых событий, выяснилось, что я осужден. Началось все с разговора о каком-то поэте-рабфаковце. Тема сама по себе незначительная. Но она послужила проверкой многого. Если Ирина после этого разговора не прогнала меня, но даже сказала о своем счастье, это доказывает, что любовь лежит в ином плане. Конечно, Ирина живет чувством. Я старше ее, и я обязан думать за нас обоих. Разговор о рабфаковце принимает первостепенное значение. То, что мне рассказала Ирина, действительно трогательно и даже глубоко. Я ей ответил чересчур резко. Возможно, что это от ревности: меня обидело, что такой рабфаковец мог ее взволновать чуть ли не до слез. Но дело не в тоне. От главного я не отрекаюсь: я глубоко безразличен к такой жизни. Что для меня этот Сенька? Нечто вроде Рожкова, который сейчас лежит рядом со мной. Разве я могу поручиться, что Рожков не пишет стихов? Отнюдь нет. Это вовсе не звери. Это люди. Но это люди иного класса, а следовательно, иного душевного возраста. В чем я их упрекаю? Только в том, что они младенцы. Официально им двадцать лет, и они «строители новой жизни». По моим соображениям, им от трех до семи лет, и они учатся грамоте. Это не мои сверстники, и мне с ними нечего делать.

Тетка говорила, что отец тоже не мог ни с кем ужиться. Он все время ругал губернатора, чиновников, купцов и пр. Но он жил среди подобных себе. Он был несколько честней их и поэтому возмущался несправедливостью. Он мог работать. Он мог не соглашаться и спорить — ему было с кем спорить. Я работал на заводе. Учусь. Буду, наверно, честным спецом. Но все это навязано мне извне. Сердцем я никак не участвую в окружающей меня жизни. Искренне я пишу только дневник.

Живи я сто лет тому назад, я был бы вполне на месте. Я тоже презирал бы людей. Но это были бы существа моей породы. Нельзя презирать пчел или

дождь. Притом я не имею никаких прав на презрение. Будь у меня поэтический талант или хотя бы воля, достаточная, чтобы совершить какой-нибудь безрассудный поступок, я был бы вправе презирать всех этих Рожковых. Но, видно, я заурядный человек. По классовому инстинкту, или по крови, или, наконец, по складу ума я привязался к культуре погибающей. Значит, для стройки я непригоден. В горном деле это, кажется, называется «пустой породой». Она не стоит разработки. Конечно, в иную эпоху человек мог любоваться горными вершинами, не думая, выйдет ли из этого ландшафта хороший чугун. Лермонтов на Кавказе отыскал не руду, но демона. Что же, для всего свое время! Владимир Сафонов осужден историей как несвоевременный феномен. Ему остается ждать другого суда, менее эффектного. Во всяком случае, впереди у меня мрак. Отсюда прямой вывод: я не имею права губить Ирину.

Я говорю не о моральном праве. Какой-нибудь Рожков верит в пролетарскую мораль (причем эта мораль меняется в зависимости от последнего съезда). Профессор Шологин ходит в церковь из протеста: он считает, что революция поставила у власти хамов, что хамы отобрали у него дом и что поэтому он должен класть поклоны перед каким-то плюгавым попиком. Нечто вроде тунгусов! Я понимаю, что мораль христианства по-своему высока. Но для меня это такой же вздор, как телефонный справочник на 1916 год. Говорят, что профессор Шологин бережет этот справочник и читает его, как Евангелие. Однако по старым номерам никого не вызовешь: ни культуру, ни господа Бога, ни городового.

О какой же морали может идти речь? Отец не верил ни в Бога, ни в Маркса. Но у него еще что-то получалось. Он говорил: «Нехорошо». Следовательно, он подозревал, что именно хорошо. Это была интеллигентская мораль: смесь Льва Толстого и либеральных газет. Мне даже этого не досталось. Если у меня имеются единомышленники, мы вправе претендовать на звание «беспризорных».

Когда я говорю, что не имею права губить Ирину, я не исхожу из каких-то абсолютных норм. Дело много проще. Мне неприятно об этом писать: я ведь начал дневник для борьбы с обязательным младенчеством, а вовсе не для сентиментальных излияний. Но все же

следует признать, что речь идет о чувствах. Будь на месте Ирины Таня или еще кто-нибудь, я спокойно проделал бы все, а потом ушел бы. Ну было бы неприятно, и только. В конечном счете я не скопец и это, увы, не первое увлечение. Но сегодня я понял, что Ирина мне бесконечно дорога. Говоря откровенно, это единственное, к чему я привязался. Некоторые слова очищены долгим молчанием. После «Собачьих переулков» и «девах» Рожкова, я могу, не стыдясь, сказать, что я Ирину люблю. Именно любовь запрещает мне быть счастливым. Конечно, Ирина куда тоньше других девушек, которых я здесь встречал. Она любит Блока, а не Жарова,— это уже достаточно, чтобы почувствовать одиночество. Но все же Ирина веселая, живая девушка. Она прекрасно уживается со своими товарищами. Ее может растрогать какой-нибудь Сенька. Никто ей не скажет, что она «изгой». Она крепко стоит в жизни. Неужели я потащу ее туда, где я сам вижу только смерть, даже без красивого жеста? Если бы я был туберкулезным, я никогда не осмелился бы ее поцеловать. Но ведь моя болезнь еще страшней. От туберкулеза лечат, а от этого нет лекарств. Ирина мне доверяет. Я никогда не забуду, какими глазами она сегодня смотрела на меня. Она сама на грани — нельзя безнаказанно читать дневники Блока, а потом идти на взаимную чистку! Мне легко передать ей мою болезнь. Возможно, что в социальном плане я негодяй. Но в любви я постараюсь быть честным. Никогда я еще не писал так глупо! Это сбивается на дневник влюбленной девчонки. Недостает только поставить инициалы или нарисовать пронзенное сердце. Но от таких вещей никто не защищен.

Прощай, Ирина! Прощай, любимая!»

Володя провел три дня, ни с кем не разговаривая. Он сидел над учебниками или бродил один по окраинам. Он не вынимал из сундука тетрадки. Он решил пережить испытание сухо и молча.

На четвертый день случайно он встретил Ирину. Она его окликнула: «Володя, ты что же не приходил?» Он смутился: «Очень занят был — сразу два зачета...» Ирина позвала его к себе: «Я иду домой». Володя подумал: отказаться глупо. Надо побороть чувство, даже оставаясь с ней.

Они пили чай. Володя пробовал шутить. Ирина один раз засмеялась, но тотчас снова стала серьезной.

Она чего-то ждала. Володя это чувствовал и пуще всего боялся молчания. Он говорил без умолку. Казалось, все в тот день его занимало. Он говорил не только о пьесе «Швейк», которую ставили в местном театре, но даже о пуске кузнецкой домны. Он рассказывал Ирине, как смешивают кокс с рудой. Говоря это, он вспомнил о пустой породе и невпопад заметил: «Получается шлак».

Ирина его не прерывала. Она не попробовала заговорить о другом. Но она чего-то ждала, и, не вытерпев паузы, Володя вскочил: «Мне пора заниматься». Ирина его не удерживала. Она проводила его до двери. Неожиданно в сенях они заговорили. Они говорили так долго, что на голоса выбежала соседка Ирины Гвоздева. Тогда они вернулись в комнату Ирины. Говорил Володя. Ирина иногда подсказывала слова, иногда, вбирая в плечи голову, она тихо переспрашивала: «Разве?» Володя поспешно отвечал: «Разумеется».

Это был странный разговор. Не его ждала Ирина. Его не предвидел и Володя. Он начался с вопроса Ирины: «Когда же ты теперь придешь?» Володя увидал перед собой глаза Ирины, как в вечер их первого объяснения. Ему захотелось поцеловать Ирину. Это желание было внезапным и острым. Володя понял, что он слабеет. Тогда-то он резко ответил: «А зачем приходить? Глупо! Когда я тебя поцеловал, ты расплакалась. Ты меня прости, но я все же мужчина».

Потом Володя сам не мог понять, почему он это сказал. Он хотел резкостью оттолкнуть от себя Ирину. Но чувство оказалось достаточно сильным. Он был сбит с толку. Он думал, что грубыми словами он ее расхолодит. Выходило наоборот: он настаивал на любви. Ирина робко положила свою руку на его ладонь: «Ты не должен на меня сердиться. Я не потому плакала. Я сама не знаю, как тебе объяснить. Может быть, это инстинкт. Во всяком случае, это глупо. Ты знаешь, все эти дни я так ждала тебя!..»

Володя вздрогнул. Он чувствовал себя разбитым. Он не отдернул своей руки. Он готов был здесь же, среди ящиков и щеток, поцеловать Ирину. Но он совладал с собой: «Напрасно ты мне доверяешь. Возможно, что с моей стороны это только минутное увлечение. Если я расскажу тебе про мой донжуанский список, ты сразу меня прогонишь. Я не умею любить. У меня с одной стороны философия, а с другой живот-

ное чувство. Мне гораздо лучше спутаться с какой-нибудь «девахой», как говорит Рожков. Я буду для нее двадцатым, а она для меня двадцать первой». Он долго говорил. Он старался очернить себя. Он уверял, что он никого не любит. Но неожиданно он сказал: «Если я эти дни и думал о тебе, то только потому, что я тебя ненавижу». Тогда-то выскочила Гвоздева, и Ирина сказала: «Пойдем ко мне. Здесь неудобно разговаривать». Володя спросил: «Стоит ли? Кажется, договорились...» Но Ирина взяла его за руку и повела по темному коридору. Она не знала, что ей думать о словах Володи. Она готова была поверить, что он ее не любит, что он любит Варю или другую женщину, что в тот вечер он просто над ней посмеялся. Но когда Володя сказал, что он ее ненавидит, она вздрогнула и в темноте едва приметно улыбнулась: ей показалось, что она спасена. Володя говорил ей неправду только потому, что он очень горд.

Володя продолжал говорить с той же злобой. Теперь он доказывал, что любовь устарела. «Кто еще способен влюбляться? Разве что профессор Шологин. Или твой рабфаковец: они ведь подражают античным образцам. Человеку теперь не до любви. Он отливает чугун, а время от времени совокупляется».

Ирина наконец не выдержала. Она была измучена непонятной ей жестокостью. Она тихо сказала: «Володя, да ты не то говоришь. Я ведь знаю, что это не так. Я не могу с тобой спорить. Я очень устала за все эти дни». Тогда Володя собрался с силами. Он нарочито медленно закурил папиросу и совсем спокойно, так, как он обычно разговаривал с товарищами, сказал: «Ты совершенно права. Все мои разговоры о ненависти — аффектация. Просто со скуки. Когда-то были ряженые. Теперь приходится довольствоваться монологами под Шекспира. На самом деле я к тебе равнодушен. А так как ты ждешь другого, нам лучше не встречаться. По крайней мере, в ближайшее время. Советую взять себя в руки. Заняться чем-нибудь другим. Например, стихами Сеньки. Или, еще лучше, вопросом о выплавке чугуна».

У него хватило сил договорить это до конца, пожать холодную руку Ирины, спокойно выйти на улицу, даже медленно дойти до угла. Он шел, как заводной,— ему казалось, что Ирина еще смотрит на него. На углу его походка сразу переменилась. Он побежал. Лицо

теперь выдавало муку. Он забыл бросить папиросу, и он размахивал рукой с окурком. Он бессмысленно повторял: «Ирина, ну, Ирина, ну!..» Он производил впечатление пьяного, и какой-то прохожий брезгливо на него покосился. Он не помнил, как он прошел к себе, как без сил свалился на койку. Он подумал в чаду: может быть, уснуть?.. Но тотчас же он привскочил и снова начал бормотать. Впервые он не замечал, что вокруг него люди. Он забыл о гордости. Он сидел на койке, обняв руками колени, и медленно раскачивался. Может быть, движениями он хотел утишить боль. Его лицо то и дело скашивала судорога.

Петька Рожков сначала прикинулся спящим. Он знал, что Володя скрытен, и старался не глядеть на соседа. Но вскоре Петька услышал бормотание. Он привстал и поглядел на Сафонова. Он увидал глаза, мутные от горя. Тогда он тихо подсел к Сафонову и сказал: «Брось, Володька! Если с девахой что — не стоит, уладится. Ну перестань ты! Нечего расстраиваться!» Слова едва доходили до Володи. Он ничего больше не понимал. Но когда Рожков дружески хлопнул его по спине, он не выдержал и заплакал.

9

«Володя, дорогой мой! Я сама не знаю, зачем я тебе пишу. Я уже тебе писала много раз, но рвала письма. Не знаю, отправлю ли это. А вот нет сил удержаться — когда я пишу тебе, мне кажется, что ты рядом. Не смейся — это не от меня зависит! Я стараюсь быть сдержанной и не вспоминать о прошлом. Я и сейчас решила писать тебе обо всем, только не о любви.

Прежде всего я хочу рассказать тебе о моих планах. Я, наверное, скоро уеду из Томска. Я хочу учительствовать где-нибудь на стройке. Это вместо «чистой науки», о которой ты мне говорил как о единственном достойном. Представляю, как ты сейчас иронически улыбаешься. Может быть, ты даже вспомнишь, что сказал об этом Анатоль Франс?.. Только, пожалуйста, не думай, что я ухожу в работу от несчастной любви, как тургеневские героини уходили в монастырь. Я иду навстречу жизни, и я никак не обольщаюсь насчет того, что мне предстоит. Это не тихая обитель, но настоящее пекло. Работа трудная и неблагодарная. Но

все же я склоняюсь к этому решению. Я тебе расскажу все, что я передумала за это время. Ты выслушай, а потом скажи, глупо это или нет.

Ты знаешь, я часто думаю — в какое великое время мы живем! Это не слова из газеты, но мое чувство. Когда я в кино увидала «Турксиб» — как старый киргиз встречает паровоз, я чуть было не расплакалась: так это прекрасно! Ты всегда издевался над «чугуном». Недавно я познакомилась с одним комсомольцем. Он проработал год на стройке. Хороший парень, толковый, не хвастается, видит все как есть. Он рассказал мне о Кузнецке. Это как сотворение мира. Все вместе: героизм, рвачество, жестокость, благородство. Страшно подумать, в каких условиях они работают! Почему ты можешь понять красоту этого, когда ты об этом читаешь в книге как о далеком прошлом, а того, что рядом с тобой, ты не видишь?

Есть у нас такие блаженные (или ловкачи) — они замечают только хорошее. Читают в «Известиях», сколько тонн чугуна отлито, и улыбаются. Возьми Вадима — ты его тоже знаешь. Его считают прекрасным спецом. А по-моему, он дурак или прикидывается. Я с ним как-то шла вечером, попала в лужу — вода по колени. Я, конечно, выругалась: «Черти, досок не могут положить!» А он говорит: «Как вы можете обращать на это внимание? Если у нас грязь, то ведь это потому, что мы строим». Как дятел! Забыл даже, что он не в Новосибирске, а в Томске и что здесь ничего не строят. Или я рассказала при нем о Федотове. Это возмутительный случай! Он влюбился в девушку из детдома. Девушке этой 18 лет. Они решили пожениться. А Павченко приревновал и объявил, что Федотов в качестве инструктора «развращает малолетних». Федотова вычистили из комсомола. Два месяца просидел. Потом все от него отшатнулись. Словом, зарезали парня. Так вот я рассказываю об этом, а Вадим говорит: «Почему вас интересуют подобные мелочи? Что представляет один такой случай рядом с ростом миллионов?» И пошел, пошел. Я таких презираю. Это, по-моему, не борцы, но настоящие оппортунисты.

С другой стороны — ты. Ты умней других. Больше знаешь. Но ты ничего не делаешь, чтобы жизнь стала лучше. Ты замечаешь только плохое и насмехаешься. Ты думаешь, я сама не вижу, сколько вокруг безобразия? Наша стройка происходит не в прекрасной

чистой лаборатории, но, скажу прямо, на скотном дворе. Малодушие, двурушничество, мелкие интересы! Минутами мне страшно становится за все и за всех. Вот именно поэтому я и считаю, что мы должны бороться, а не только усмехаться или рассказывать шепотом какие-то глупые анекдоты.

Ты пойми — меня возмущает несоразмерность. С одной стороны, эпоха требует от нас чего-то большого. Я убеждена, что внуки нам будут завидовать. С другой стороны, я вижу ужасные будни. О чем мечтает такой Вадим? Получить заграничную командировку и накупить в Берлине разного тряпья. Гвоздева говорит: «Вот поеду в Кузнецк — там у итээров замечательная столовая: каждый день мясо». На занятиях девчата только о том и толкуют, что Женьке муж прислал из Москвы шелковое платье и т. п. Это отвратительно! Но по-моему, ты делаешь то же самое. Только ты культурней, тоньше и тебя занимают не галстуки и не столовка, а твои собственные переживания. Есть у нас люди, которые брезгают есть в столовке. Это легко понять — такая грязь, я и сама до сих пор не могу привыкнуть. Но вот ты брезгаешь не есть с другими, а жить. Это, Володя, страшно!

Ты скажешь, что я повторяю чужие слова, что меня завели, как патефон, и т. д. Но посуди сам — кто мог мне это внушить? Ребята сами не успевают все как следует продумать. Если я пришла к таким мыслям, то в этом повинна только жизнь. Да еще, может быть, ты. Смеешься? Возмущен? Бегаешь по комнате и бормочешь: «Ну-с, еще что?..» Милый, я тебя представила, и так захотелось хоть немного побыть с тобой! Ведь я тебя не видала четыре месяца, если не считать того раза, летом, возле библиотеки. Но погоди, я теперь говорю о другом. Это не шутка — в моем повороте отчасти повинен и ты. Ты, наверное, не подозреваешь, скольким я тебе обязана. Когда ты рассказывал, я чувствовала, как я расту. Ты дал мне куда больше, чем школа или книги. Ты научил меня ненавидеть все пошлое и низкое, как ты это сам ненавидишь. Тогда я и задумалась — откуда такая тоска?..

Ты ответишь, что люди всегда пошляки, что прекрасны только исключения и что «нельзя строить общества на подчинении меньшинства большинству». Так ты мне сказал в роще, когда мы говорили о стихах в «Красной нови». Тогда я ничего не сумела отве-

тить — ты меня застал врасплох. Но теперь я знаю, что ты не прав. Людей можно переделать. Все то низкое, что творится вокруг, происходит от невежества одних, от трусости других. Гордина с утра до ночи полирует ногти — она убеждена, что это и есть культура. Лена объявила мне, что Маяковский «ерунда на постном масле». Бривцов хвастается, что он умеет «срывать зачетики», а сам «ни в ус». На пьянке у Чистяковых хотели изнасиловать Егорову. Причем Чистяков доказывал, что Егорова — дочь служителя культа и «не понимает пролетарской установки». Примеров можно привести тысячи. Но отчего это? Оттого, что низка социалистическая идея? Или оттого, что люди еще полны старой низости? Здесь не может быть двух ответов! Я хочу со всеми бороться и со всеми ошибаться, но только что-то делать, а не сидеть сложа руки!

Когда я тебе рассказала про Сеньку, ты начал издеваться. Потом я нашла у Пастернака, в той книге, которую ты мне подарил, замечательные стихи: «Так начинают. Года в два от мамки рвутся в тьму мелодий...» Помнишь? Почему ты понял это в книге, а когда это приключилось рядом с тобой, в городе Томске, ты счел нужным сказать с иронией: «Сень-ка по-эт?..»

Это первое письмо к тебе без клякс. Я пишу и не плачу. Прежде не могла: только подумаю о тебе — как будто кран открыли. Теперь я нашла в жизни какую-то опору. Я не скажу тебе, что я счастлива,— зачем врать? Я очень страдаю, и я не могу отделаться от моего чувства. Но я увидела, что нельзя замкнуться в своем горе,— это смерть. Отсюда мое решение заняться общественной работой и пр. Но, конечно, я еще не стою крепко, то и дело шатаюсь. Надеюсь, что стану умней и выдержанней. Пока во мне все двоится. Я вот начала это письмо чуть ли не с барабана, а сейчас сбиваюсь на есенинскую гитару. Обещала вначале ничего не писать о любви, а возвращаюсь к тому же. Но что тут поделаешь? Это, как говорит наша уборщица Шура, «бабьи слезы». Может быть, для вас это легче. Я вот после того разговора в сенях целый месяц ходила как потерянная. Девчата спрашивают: «Ты что это все шепчешь?» Я не понимаю и смеюсь. Хочется плакать, но гордость мешает, говорю: «Смешно!»

Я тебе скажу откровенно, Володя, что меня мучает. Минутами я начинаю во всем сомневаться. Мне кажется, что в последний вечер ты передо мной ломался. Ты

прости это грубое слово. Но как иначе определить? Когда я думаю, что, может быть, ты ко мне не так равнодушен, как сказал, я совсем теряю голову. Мне тогда хочется побежать к тебе и сказать: «Вот видишь — я все поняла!» Конечно, я не имею на это никакого права. Я знаю, что ты меня не любишь. Иначе, как бы ты мог встать и уйти? Потом — ни слова. Когда встретились возле библиотеки, притворился, что не узнаешь. Все это так. Но иногда мне кажется, что ты ко мне немного привязался. Ты ведь очень одинок! Как же я могу тебя оставить? Конечно, с моей стороны это сумасшествие, после того, как ты определенно заявил, что я тебе «ни к чему». Но я в данном случае не рассуждаю. Я говорю только то, что у меня на сердце. Если бы я могла угадать твои мысли!.. Я согласна на обиды, на издевку, на все, что угодно, только чтобы отогреть тебя. Да, Володя, с любовью это не так просто!..

Я перебираю в памяти все, о чем ты тогда говорил, и я никак не могу успокоиться. Вот ты рассказал о каком-то «списке» — что у тебя было много любвей. Я не знаю, правда ли это или ты нарочно придумал, чтобы меня обидеть. Но знаешь — мне это все равно. Я не отрицаю, что я способна на ревность. Это ужасное чувство, но оно еще крепко в нас сидит. Когда ты одно время часто встречался с Варей, я у себя втихомолку плакала. И все же, какая это ерунда по сравнению с самой любовью! Потом, как я могу тебя ревновать к прошлому? Ты всего на два года старше меня, но, когда я с тобой, мне кажется, что я маленькая девочка. Я знаю, что у тебя позади целая жизнь. Если ты любил других женщин, я не понимаю только одного. Ты мне сказал, что ты не умеешь смеяться. Неужели ни одна из этих женщин не смогла тебя утешить, обрадовать, развеселить? Здесь что-то не так! Может быть, ты их любил, а они тебя не любили. Или наоборот. Но только я убеждена, что настоящая любовь сильнее и твоей иронии, и даже самого мрачного характера.

Сильней любви разве что жизнь... Я тебе никогда не говорила про Юру Шестакова — это мой «список», как видишь, он недлинный. Когда мне было пятнадцать лет, я была влюблена в Юру. Мы вместе учились в семилетке. Когда мы оставались с ним вдвоем, мы или готовили уроки, или играли в такие игры, где надо

ответить, «кого любишь». Один раз на лестнице он меня поцеловал в губы и сам перепугался. Мы оба были детьми. Потом мы кончили школу и больше не встречались. Юра умер прошлой весной от тифа. Я случайно узнала. Прибежала на похороны. Мне казалось, что я потеряла самого близкого человека: у меня до тебя никого не было. Даже подруг. Потом я часто приходила на могилу Юры — там мне легче было о многом думать. Вот позавчера я шла с вокзала мимо кладбища и вдруг вспомнила, что с тех пор, как я с тобой познакомилась, я не была на могиле Юры. Я пошла на кладбище. У Юры вместо креста на могиле сердце — это его мать так захотела. Я увидала сердце, и мне стало не по себе. Я запрезирала любовь — это только красивое слово или вот сердечко из дерева. Но потом я подумала о том, что детство прошло, что надо учиться, жить, работать, — и тогда мне показалось, что я перед Юрой не виновата. Я даже подумала о тебе, и когда я заплакала, я сама не знала почему: оттого, что мне жаль Юру, или оттого, что я вспомнила, как ты мне сказал: «Человек теперь не может любить».

Володенька, ведь это неправда. Человек теперь может любить, и он может любить еще лучше, чем раньше. Конечно, не потому, что легко развестись, или потому, что девушки стали «сговорчивей», как у нас думают некоторые. Все это низость! Но жизнь теперь такая тяжелая, такая напряженная, такая большая, что и любовь растет. Трудно, очень трудно теперь любить! Наверное, куда трудней, чем раньше. Но зато и любовь эта выше.

Вот ты говорил: «Теперь не любовь, а чугун», — и повторял «чугун, чугун» — тебе это почему-то смешно. А это вовсе не смешно. Скажи сам, что сейчас важнее: читать твоего Франса или отливать рельсы, чтобы наконец стало в стране немного больше хлеба или ситца? Но люди сейчас не только отливают чугун. Или нет, они действительно только отливают чугун, но в этом чугуне не только кокс и руда, в нем еще что-то другое. Вот как Сенька «рвется в тьму мелодий», так сейчас рвутся все — выше и выше! Это и домны, и стихи, и любовь. Я не знаю, сумела ли я это тебе высказать, но я это глубоко чувствую. Мне кажется, что, поворачиваясь к грубой работе, я не изменяю любви. Нет, я еще больше тебя люблю! Я так люблю тебя,

мой бедный мальчик, так люблю, что сейчас я, кажется, готова...»

Это письмо не было ни дописано, ни отослано.

10

Они познакомились на докладе профессора Зарьялова: «Перспективы черной металлургии». Ирина слушала доклад внимательно, но ей трудно было сосредоточиться. Зарьялов иногда пробовал шутить, однако Ирина ни разу не улыбнулась. Ее лицо выдавало напряжение. Ей казалось, что профессор говорит о вещах загадочных и далеких.

Ирина полагала, что она обязана интересоваться всем. Она не пропускала ни лекции Горнштока о проблеме жизни на других планетах, ни очередного диспута о целесообразности изготовления бумаги из водорослей, ни доклада Белоусова о введении латинского алфавита в обиход ойратов. Она смутно надеялась, что эти старые и мудрые люди расскажут, как надо жить.

Она аккуратно читала газеты. Она читала и книги. Но эта напечатанная правда была для нее слишком общей. В ней не чувствовалось ни дрожи человеческого голоса, ни возможности снисхождения, ни понимания того, что люди отличны друг от друга и что жизнь — это не прямое шоссе, но миллионы троп, которые идут через густую тайгу.

Правда, помимо книг у Ирины был живой учитель — Володя. Но она боялась его слов: Володя надо всем смеялся. Как-то он написал в ее тетради: «Ты меня спрашиваешь — как жить? Спроси лучше об этом Луначарского. Или гадалку. Что касается меня, то я постараюсь ответить тебе вполне серьезно: живи невсерьез! Лучше обкрадывать анонимного автора, нежели Безыменского. Поэтому, если ты должна комунибудь подражать, я тебе советую подражать соловью, а не граммофону. Кто придумал соловья — ты не знаешь. Но граммофон придуман американцем Эдисоном и достаточно распространен как в цивилизованных, так и в полуцивилизованных странах».

Ночью Ирина долго не могла уснуть: она думала о том, что Володя написал в тетрадке. Ей казалось, что она погружается в какую-то горячую темную жизнь. Странные, сбивчивые звуки — это и есть птичий язык,

который непонятен человеку. В испуге она повторяла привычные ей слова: «Володя... уснуть... лекции... Лена...» Но это ее не успокаивало. Тогда она встала, зажгла свет и недоверчиво взяла в руки тетрадь. Она увидала не слова, но почерк, ровный и все же напряженный. Только концы строк, неожиданно спадавшие вниз, выдавали волнение. Ирина не перечла написанного — она знала все наизусть. Она вытянула листок из тетради и немного замешкалась. Но потом она его разорвала. Так вечером она выносила из комнаты черемуху или жасмин, выносила с жалостью и с опаской, зная, что от цветов болит голова и что ночью человек беззащитен. Она легла успокоенная и быстро заснула. Это было давно — тогда Володя еще приходил к ней.

Профессор Зарьялов долго говорил о будущем Кузнецка. На юг от Тельбесса находятся еще малообследованные пространства. По данным разведки, там имеются огромные залежи руды. Возможно, что через несколько лет Кузнецк перестанет нуждаться в уральской руде. Дальше Зарьялов приступил к характеристике пород, и здесь-то Ирина, на минуту забывшись, потеряла нить его слов. Произошло это потому, что Зарьялов упомянул о «пустой породе». Ирина вздрогнула: об этом говорил и Володя в тот последний вечер!.. Она досадливо нахмурилась: ей показалось недостойным и унизительным во время серьезной лекции думать о своих мелких невзгодах.

Она снова внимательно слушала, но теперь она плохо понимала. «Четыре процента кремния представляют собой...» Ирина вдруг почувствовала, что она зевает. Она покраснела от смущения. Невольно она вспомнила о том, что сегодня она встала в шесть: надо было приготовиться к немецкому. Она, наверное, не выспалась.

Рядом с Ириной сидел Блюм. Он что-то писал. Ирина решила, что он записывает доклад, и поглядела. «Как будто я не вижу, как ты вешаешься на шею Левке!..» Тогда Ирине стало снова стыдно за свою слабость. Она тоже думала о Володе!.. Для кого же говорит Зарьялов?.. Растерянно она оглянулась. В заднем ряду она увидела лицо, которое ее поразило. Вернее было бы сказать, что поразили ее глаза, радостные и возбужденные,— лица разглядеть она не успела. Она тотчас же отвернулась и до конца доклада просидела не шелохнувшись, как пристыженная школьница.

Когда доклад кончился, она сразу узнала человека, глаза которого ее так поразили. Он теперь с жаром говорил соседу: «Вот и в Темиртау много руды...» У выхода слушатели долго толпились. Ирина оказалась рядом с незнакомцем. На улице было темно и тепло: стояла пригожая сибирская осень. Под ногами уютно бормотали листья, а звезды были ясные, раздельные и сосредоточенные.

Он спросил Ирину: «Товарищ, как мне на Красноармейскую пройти?» Ирина ответила: «Направо. Да и мне туда же. Я вам покажу». Они разговорились. Он сказал, что он комсомолец. Работает в Кузнецке. Приехал сюда на десять дней — партийное совещание. Потом, вспомнив о докладе Зарьялова, он начал рассказывать, какие в Кузнецке замечательные домны.

Он говорил, захлебываясь от счастья. Все его волновало: и то, что профессор сулил Кузнецку великое будущее, и то, что рядом с ним идет милая девушка, которая внимательно его слушает, и то, что вокруг него большая строгая осень, звезды, голоса расходящихся по домам вузовцев, огоньки в окнах, теплый ветер, молодость. Больше всего его волновало новое чувство: он как будто попал в иную страну. Он не слышал скрежета воздуходувки. Он не видел перед собой оранжевого зарева. Здесь не было ни кранов, ни землянок, ни напряжения. Люди здесь листали толстые книги, слушали в аудиториях лекции, бродили по роще и о чем-то подолгу спорили. В этом странном и чужом мире он чувствовал себя послом Кузнецка. Это происходило не от скромного мандата, который он сдал для прописки, но от сознания, что он — один из кузнецких строителей. Ему хотелось рассказать этим спокойным людям о кауперах и о бараках, но он был застенчив: начиная говорить, он тотчас же замолкал. Сегодня вечером ему выпало двойное счастье. Сначала перед притихшей аудиторией знаменитый профессор восторженно говорил о Кузнецке, о домнах, о чугуне. Потом, в темноте этой теплой ночи, он наконец-то нашел человека, способного его выслушать и понять.

Они дошли до Красноармейской. Ирина сказала: «Вы очень интересно рассказываете. Хотите, дойдем до того угла?» Они прошли и до того угла и до следующего. Они ходили взад и вперед по пустой и тихой улице. Он говорил о жестоком холоде и о воле

людей: «Пятьдесят мороза...» Хоть и тепла была ночь, Ирина ежилась: не то она чувствовала на лице холод железных листов, не то ее пугали слова о людях, которые умеют так бороться. «Наш бригадир влез на каупер. Все думали — сорвется. В такой-то холод! Шапка у него упала. Значит, без шапки. Целый час он там пробыл. У него сначала голова закружилась. Удержался. И так, знаете, ему было весело наверху, так весело, что и не расскажешь...» Ирина остановилась. При мутном желтом свете, едва доходившем из окошка, она пыталась разглядеть глаза собеседника. Это были те же глаза, которые ее смутили во время доклада. В тревоге она спросила: «А это не вы были? То есть я хотела спросить — это не вы тот бригадир?..» Ему стало не по себе. Он сразу превратился в хвастунишку, который рассказывает девушке о своих подвигах. Он ответил сухо: «Ну, что вы! Это Андрюшка. Мой товарищ. Да я вам вовсе не о людях рассказывал. Я вам хотел объяснить про кауперы. А теперь, знаете, поздно. Пора и по домам!»

Попрощавшись, он вдруг вспомнил, что не спросил даже, кто она. Он усмехнулся: зачем ему это?.. Но все же он окликнул Ирину, которая еще стояла на крыльце. «Вот, товарищ, я и не знаю, как вас звать? Я не из любопытства. Но только я здесь еще останусь деньков шесть или семь. Может быть, и увидимся...» Ирина поспешно сказала: «Обязательно! Вы в котором часу освобождаетесь?.. Вот и приходите. Я вам Томск покажу. Особенно глядеть нечего, но все-таки интересно. Это номер восемь. Третий дом от угла. А зовут меня Ирина Коренева. Запомните?» Он широко улыбнулся: «Значит, до завтра! Я вам и не сказал, кто я, то есть имя. Ржанов. Колька».

На следующий день Ирина повела его по горбатым улицам Томска. Она говорила важно, как директор музея: «Здесь был дом декабриста. Я забыла имя. Он недавно сгорел. Вот поглядите, какой смешной мезонин! А здесь в пятом году помещалась большевистская типография. Доску хотели прибить. Мне вот нравятся такие старые домики. Как старушки. Сгорбились. Кажется, подуешь — и упадет. Я люблю вечером заглядывать в окна. Это, конечно, не очень-то похвально. Но трудно удержаться. Кажется, поглядишь — и сразу станет понятно, как живут люди. Только обыкновенно — тоска. Сидят, зевают, пьют чай или еще ссорятся.

Иногда страшно от бедности. А иногда даже бедности не замечаешь, только скука. Какая-то бессмыслица!..» Колька усмехнулся. «Этого у нас на стройке нет. То есть бедности сколько угодно. Даже не понимаешь, как еще люди держатся. А скуки вы у нас не найдете. Чаю попить и то не успеваешь. А если уже выпадет свободная минута, это такое наслаждение!.. Вот как я здесь. Мне ваши говорят: «В Томске со скуки все мухи сдохли». А мне весело. Я даже с вами согласен, что эти домики очень хорошие. Конечно, надо бы построить что-нибудь поновей. Но пока стоят — интересно и на них поглядеть. Это оттого, что для меня такая жизнь как выходной день. Для меня Томск и не город, а сплошной университет. Вузовцы вчера жаловались: «Тесно, шумно». А по-моему, тишина прямо как на лекции. И места много. А времени — сколько хочешь. Я здесь за три дня столько передумал, сколько в Кузнецке и за год не передумаешь. Но, правду сказать,— не сидится. Хочется туда. Вот я утром проснулся, и сразу — как это там ребята?.. Ведь у нас скоро должны вторую домну пустить...»

Он не вытерпел и снова начал говорить о своем любимом деле. С удивлением Ирина чувствовала, что рассказы Кольки ей кажутся увлекательными, что ей хочется самой поглядеть на эту необычайную жизнь. Она несколько раз бывала на спичечной фабрике возле Томска. Там все ей казалось понятным, даже приветливым: запах свежераспиленного дерева, большие печи, похожие на те, в которых пекут пироги, этикетки, пестрые, как переводные картинки. Батальоны спичек послушливо передвигались, потом они надевали шапочки. Проверяя спичку, мастер искоса глядел на крохотный огонек. Дерево было Ирине родным и близким. Но когда Володя ей рассказывал об уральских заводах, она сразу становилась грустной. Она чувствовала, как в ее глаза летит черная пыль, как уши заполняются грохотом, как жжет лицо ужасный огонь. Когда она была еще маленькой, соседка Иванова повела ее в церковь. Ирина увидала на стене огонь и чертей. Она расплакалась. Ей казалось, что плавильные заводы похожи на тот ад. Ее смущало и то, что она не могла себе представить вещей, ради которых столько страдают эти люди. Когда же она их представляла, они ее не радовали, но пугали. Это не были ни спички, ни ситец, ни чашки. Она видела то снаряды, то рельсы

с их визгливым напоминанием о близкой разлуке, то листы толя, стальные кубы и жестокую, неумолимую проволоку.

То, чего не могли сделать газеты, сделал Колька. Когда он упомянул о Магнитогорске, Ирина шутливо его перебила: «Да ваш Кузнецк — это и есть магнит. Я уже чувствую, как меня тянет...»

Ирина по-прежнему думала о Володе, но встреча с Колькой укрепила в ней волю к жизни. Может быть, она и написала последнее письмо Володе только потому, что почувствовала в себе новую силу. Из-за Кольки она написала это письмо. Из-за Кольки она его и не отправила. Она не хотела жить прошлым. Она начала готовиться к переезду: она решила стать преподавательницей в кузнецком ФЗУ. Володя оставался «любимым» — засыпая, Ирина все еще говорила с его тенью. Но он не был больше учителем. Она теперь сомневалась и спорила. Шепот был нежен, но она не уступала.

Она каждый день встречалась с Колькой. Они уже говорили друг другу «ты». Ее удивляла его сила. О чем бы он ни говорил, в его словах всегда была уверенность. Он не прикидывался всезнайкой. Он охотно признавал, что он не прав. Но даже когда он говорил: «Этого я не знаю» или: «Ну и сел в лужу»,— в его голосе слышалось веселье. Все ему было интересно, и все он воспринимал не так, как Ирина. Она ему пересказала некоторые истории, которые она услыхала от Володи. Ей казалось, что эти рассказы грустны и безвыходны. Но Колька, слушая, усмехался: «Здорово!..» Тогда она вдруг начинала сомневаться: да полно, правда ли, что все это так мрачно?..

Володя как-то сказал Ирине, что его преследует биография одного немецкого композитора. Ирина забыла имя. Этот композитор написал замечательную симфонию. Он был беден и продал симфонию какому-то бездарному дилетанту. Когда симфонию исполняли впервые, зал безумствовал: люди плакали от счастья. Они вызывали автора. Дилетант застенчиво улыбался. Старик поцеловал его руку. Женщины кидали ему цветы. Он вышел из зала с красивой девушкой. А в темном зале все еще плакал бедный композитор. Служители думали, что он плачет, умиленный гармонией. Но он плакал оттого, что он увидел, до чего жестока жизнь. Ирина сказала Кольке: «Правда — настоящая трагедия?» Но Колька пожал плечами:

«Конечно, свинство, что надули. А трагедии я здесь не вижу. Трагедия была бы, если бы тот негодяй изорвал ноты. А ведь композитор своего добился: он хотел что-то рассказать людям, и он рассказал. По-моему, это главное. А кому руку поцеловали — это ерунда. Это вопрос самолюбия. Возьми Кузнецкий завод. Разве дело в том, кто составил проект? Важно, что завод по этому проекту построили. Ты, Ирина, все усложняешь!..»

Ирина была озадачена. Ответ Кольки ей казался и чересчур детским, и в то же время чересчур умным. «Ты все как-то странно берешь. Я не могу тебя понять: ты фанатик или ты правда по-другому видишь?.. Вот мне интересно, что ты на это скажешь. Мне один знакомый сказал, что лучше подражать неизвестному автору, чем Безыменскому. Или, говоря иначе, лучше подражать соловью, чем машине». Колька рассмеялся. «Почему тебе приспичило подражать? Машина — это машина. Это для дела. А соловью пусть соловьи подражают. Есть такие охотники: они даже привозят голосистого. Вроде как соловьиный вуз. Кому же человеку подражать, как не человеку? Вот ты сказала — Безыменский. Конечно, живи теперь Пушкин, он не стал бы подражать Безыменскому. А наоборот, по-моему, не мешало бы...»

Он немного помолчал, а потом, улыбаясь, уже совсем по-другому сказал: «Я соловьев люблю. Знаешь, когда гусачком или лешевой дудкой... У них все колена замечательные. Я и вообще птиц люблю. Какой-нибудь щеглячий напев — что это за прелесть!..» Он долго рассказывал о птицах, столь же восторженно и подробно, как о домнах. Ирина сбоку поглядывала на него и смеялась. Ей казалось, что вокруг нее раскричались все эти соловьи, щеглята и малиновки.

В детстве Ирина была веселой, но Володя отучил ее смеяться. С Володей она боялась и пошутить, и признаться, что она ночью всплакнула над книжкой, и похвалить какую-нибудь новую подругу. Володя молча выслушивал, а потом начинал говорить. Выходило, что ничего нет смешного, что книжки дрянь, а Таня или Лиза — «образцовые дуры».

Ирина пошла с Колькой в кино. Показывали какую-то глупую картину: ударники в новеньких рубашонках строили завод, совсем так, как играют в мяч,— «раз-два». Они пели хором и, не прерывая песни, «утирали нос» очкастому американцу. Колька насупился:

«Халтурщики! Ведь они и не нюхали, чем пахнет стройка...» Но когда показали поле со скирдами, он вздохнул: «Красота!» Ирина подумала: «А ведь и правда красиво... Володе не понравилось бы...» Володя сказал бы: «Мармелад для советских барышень, чтобы не скучали о настоящем мармеладе...» Она поймала себя на ужасной мысли: она радовалась, что рядом с ней не Володя, но этот простой и веселый человек. Она готова была встать и уйти. Она ненавидела себя. Она не глядела больше на экран. Она была благодарна темноте, которая покрывала ее позор. Когда вспыхнул наконец свет, она поспешно отвернулась от Кольки.

Они вышли молча. Колька не улыбался. Его светлые глаза были несколько темнее обычного. Он тоже досадовал на себя: почему он не радуется? Ведь завтра он едет в Кузнецк. Там его ждет настоящее дело. Почему же грустно ему расставаться с этим никчемным, тихим городом?.. Он не сразу ответил себе. Он не сразу догадался, что дело не в отдыхе, не в лекциях, не в золотых печальных садах. Когда же он дошел до правды, он откровенно перепугался. Он был один в непроходимой тайге, и он не знал, куда идти, что делать. В его голове толпились тысячи слов, нежных и оскорбительных. Но он не знал, уместны ли здесь слова. Да и как говорить? Хорошо поэтам — они вроде щеглов. Но каково обыкновенному человеку?.. Уж очень это нескладно: будто говорил о деле — какие кауперы или еще что, и вдруг, ни с того ни с сего,— любовь. Колька подумал: как же другие?.. Он вспомнил Андрюшку с крепкой веснушчатой девушкой. Они сидели возле барака. Андрюшка говорил: «Ты того...» Она в ответ смешно фыркала. Потом Андрюшка сказал Кольке: «Теперь-то хорошо — на травке можно. А зимой я намучился...» Кто же научит Кольку? Как это Ирина говорила: соловей? машина?.. Интересно — со «стариком» это бывает? Ну, не теперь, прежде — ведь наверно бывало. Но «старик» говорит глазами — у него такие глаза, лучше всяких слов. А у Кольки глаза большие и глупые — они ничего не могут рассказать. Да Ирина и не хочет на него смотреть — идет рядом, а как будто она далеко-далеко...

Колька наконец придумал нечто очень сложное и важное. Он хотел сразу высказать все: и свое смятенье, и радость, и то, как они будут вместе работать на стройке, и еще, что у Ирины очень смешные губы, когда она дуется,— совсем как у ребенка. Но вместо

длинного признания, густо покраснев, он едва-едва вымолвил: «Вот я и уезжаю. Ты что же, приедешь в Кузнецк?»

Ирина снова почувствовала, что этот человек имеет над ней непонятную власть. Она обрадовалась вопросу. В мыслях она уже завязывала старенький мамин чемодан, бежала запыхавшись на вокзал, протискивалась в темный вагон, чтобы лечь на верхнюю полку и, сжавшись вся, ждать, когда же покажутся огни этой сказочной стройки... Ирина удивилась — вот он, магнит!.. Потом она рассердилась, как тогда в кино. До чего она ветрена! Любовь в жизни одна. Как она могла забыть о Володе? Нет, Колька — это минутное увлечение. Она любит Володю. Кузнецк для нее не радость, не чувства, не Колька, но работа. Вот как она писала в письме: «Грубая работа...» Она ответила Кольке сухо, почти неприязненно: «Приеду. Работать». Она сделала ударение на последнем слове, чтобы Колька не принял ее готовности за измену тому, другому. Но Колька и не знал о другом. Он не вникал в оттенок слов. Он был полон своим внезапным смущением. Он шел молча, большой и непривычно слабый. Никогда его ноги еще не касались земли с таким печальным недоверием. Казалось, он плывет. Его щеки горели. Кружилась голова. Он был как в жару.

Кругом была осень, яркая и лихорадочная. В пестроте раскраски, в особой прозрачности воздуха, в птичьей суматохе, во всем была тоскливая приподнятость разлуки. Казалось, не только люди, но и тополя в рощице понимали, какое им предстоит испытание. Неумолимость зимы, ее хруст и скрип, ее ночная тишина, ее отчаянные метелицы — все это придавало последним теплым дням особую грусть, способную растрогать даже седого деда, который торговал на площади кедровыми орешками. Он время от времени поглядывал на небо и что-то бормотал в желтую бороду. Девка купила орешков, погрызла, поплевала и вдруг крикнула усатому своему кавалеру: «Вот возьму и кинусь в воду! Тогда будешь смеяться!..» Крикнула и снова взялась за орешки.

Ирина и Колька по-прежнему шли молча. Они с трудом прокладывали путь среди густой, как сон, тишины. Наконец Колька не выдержал. Он стыдливо дотронулся до рукава Ирины: «Ирина, ты что это загрустила?» Может быть, он смутно надеялся, что Ирина ответит: «А ты?» Тогда окажется, что у них

одна тоска и одна жизнь. Но Ирина сказала: «Вздор! Я тебе об этом ни разу не говорила. Но если ты спрашиваешь, я скажу. Лучше без недомолвок. Видишь ли, у меня большая беда. Я полюбила одного парня. Только он особенный. Я сейчас сказала «парень», как обо всех, и самой смешно. Конечно, с виду он как другие. Вузовец. Но только он не парень. Он и не человек. Иногда мне кажется, что он черт. А иногда мне его жалко, как маленького мальчика. Впрочем, дело не в этом. Когда любишь, не выбираешь. Я, вероятно, была бы с ним счастлива. Хоть он очень страшный — не с лица, душой. Только он мне сказал, что он меня совсем не любит. Понимаешь — вот никак. Сказал и ушел. Может быть, он другую любит. А может, никого — он такой, что я поверю — ни-ко-го! Вот я и осталась. Ты, пожалуйста, не подумай, что я скулю. Я умею с этим бороться. Я тебе сказала, что приеду в Кузнецк, и это правда. Но только когда я о нем думаю, мне так больно, что и жить неохота».

Колька ждал всего, кроме этого. Он впервые понял, что значит «не судьба». Здесь никто не мог ему помочь: ни книги, ни люди. Он сразу похолодел и сжался. Его глаза стали темными. Даже со щек слезла краска. Он не походил на себя. Только где-то внутри еще барахтались нежные слова. Там, далеко, под всей видимостью разумного человека, Колька еще просил, жаловался и негодовал. Так внутри чугунной болванки, застывшей на холоду, еще краснеет разгоряченное сердце.

Ирина, высказав все, почувствовала облегчение. Она теперь не боялась измены. Она не стыдилась, что идет рядом с Колькой. Она даже поглядела ему в глаза — они стояли возле ее дома. Она увидала, что глаза Кольки переменились. Он где-то далеко, как будто они уже расстались. Робко она спросила: «Что с тобой, Коля?..» Тогда Колька очень просто ответил: «Со мной? Не знаю. Наверно, то же самое. Понимаешь? А теперь до свиданья. Встретимся на стройке».

11

В старой книге сказано, что всему свое время: время кидать камни, и время их собирать. У революции было мало времени и много сил. Она все делала разом. Гудели экскаваторы среди степи, и печальная

трава покрывала площади бывших губернских городов. В селе Криводанове из шестисот домов сто двадцать пустовали. У них были выколотые глаза и на боках раны. Это были хорошие, крепкие дома, но хозяева их бросили, и дома гнили, как трупы. Одних хозяев раскулачили, другие ушли на стройку. Криводаново умирало. В десяти километрах от села находился совхоз. Там с утра до ночи люди строили: они строили свинарни и крольчатники, амбары и бараки. Там было шумно и тесно. Люди жили в землянках, и они говорили о перевыполнении плана.

Люди научились кидать камни и убегать от камней. Каждый спасал то, что ему было дорого. Бывшая томская мещанка Баранова спасала свою жизнь. Когда в Томск пришли белые, она натерла маслом иконы. Когда город взяли красные, она сняла иконы и начала всем рассказывать, как ее покойного мужа в пятом году избили казаки. Когда объявили принудительные работы, она достала у доктора свидетельство с большой печатью. Когда по ее карточке перестали выдавать хлеб и подсолнечное масло, она уговаривала племянника Мишу вступить в партию: «Ты, Мишенька, за меня похлопочешь!..» В годы нэпа она пекла пирожки с мясом и продавала их на базаре. Когда Широкова посадили, она прокляла торговлю и поступила на службу. Она была курьершей в санитарном отделе. Она ползала по полу с тряпкой и думала, где бы ей раздобыть сахар. Она сносила все в свою нору, как зверь перед зимой: старые газеты, соль, веревки и яблоки. В сундуке у нее были запасы монпансье и спичек. Она боялась, что завтра ничего не будет, и она отстаивала свою жизнь. Потом ее решили сократить. Она тихонько помолилась перед иконой Троеручицы и пошла в комиссию. Она заявила, что Маслов говорит за царя и крадет мыло. Она не чувствовала к Маслову никакой злобы, но она хотела жить. Она продержалась на службе еще год. Потом ее все же сократили. Она ходила к Розенфельдам мыть полы. Там ей давали крупу и масло. Когда открыли торгсин, она понесла туда колечко. Она принесла из торгсина муку. Она положила муку в сундук и облегченно вздохнула. Она ела мало, но она спала на сундуке и, просыпаясь ночью, с радостью думала, что муки хватит до осени и что она отстояла свою жизнь.

Розенфельд оказался в Томске случайно: он ехал в Нарым. Он вовремя заболел не то воспалением

легких, не то острой неврастенией. Он вцепился в Томск, и он остался. Он говорил, что его преследует «злой рок». В бумаге значилось куда суше, что Розенфельд выслан из Москвы за злостную спекуляцию. У Розенфельда были свои вкусы. Он не хотел ни чистить улицы от снега, ни жить на скромное жалованье, ни строить кузнецкий гигант. Он торговал с ранних лет, и он хотел торговать. Он был ловок и недогадлив. Он понимал, как надуть фининспектора, но он не мог понять, что на дворе революция. Встречая человека с портфелем, он пугливо озирался, но жил он бурно и бесстрашно. Он торговал всем: государственным имуществом и улыбками дочери, партбилетом сына и заграничным коверкотом. Он сидел в Чека четыре раза. Каждый раз он прощался с жизнью и плакал навзрыд. Но никогда он не забывал о главном: он спасал добро свое и своей семьи. Его сын поместил в газете объявление: «Настоящим заявляю, что с 1926 года порвал всякие отношения с моим отцом, Наумом Розенфельдом». Он прочел объявление и усмехнулся. Он не обиделся на сына. Он сказал рыжему Кану: «Я должен работать, чтобы мои дети вышли в люди». Его дочка вышла замуж за партийного. Она отказалась взять у отца сорок червонцев и браслет. Розенфельд на минуту призадумался. Но потом он сказал жене: «Рая взбесилась! Но ты увидишь — она придет ко мне через месяц. Или через год. Я должен работать, чтобы ты и наши дети жили хорошо».

Он жил в Томске убого, но полный надежд. Он продавал касторку, электрические лампочки и мармелад. Он купил у Барановой золотую брошку, он отнес брошку в торгсин, в торгсине он купил сахар, сахар он продал на базаре, и на вырученные деньги он купил у Шелгунова портсигар с золотой монограммой. Ложась спать, он стонал от десяти болезней, и, однако, он улыбался: у него были припрятаны восемь английских фунтов, два бриллианта и ящик со столовым серебром.

Партизан Чашкин спасал революцию. Он спасал ее с винтовкой и с ржавым пером. Он гонял по Алтаю белых. Он поджег вокзал. Он расстрелял охранника. Он командовал отрядом — у него было сорок отчаянных ребят. Когда красные победили, он начал писать бумаги. Он устраивал субботники. Он учил тунгусов новой жизни. Он ездил по деревням и уговаривал крестьян сдавать хлеб. Он шел впереди красного обоза,

состоявшего из семи телег, запряженных клячами, как он шел некогда во главе отряда, который брал города. Он сидел и думал о том, как бы улучшить жизнь. Он увидел на заводе железные обрезки, и он придумал, как из этих обрезков делать вилки. Он написал об этом статью в газете «Красное знамя». Когда его жена купила у Розенфельда стеганое одеяло, он угрюмо сказал: «Если ты будешь способствовать спекуляции, я не посмотрю, что жена...» Он кричал на своего сына: «Ты должен быть сознательным пионером, а ты что же — перышки выменивaешь?..» У него было хорошее место и квартира из трех комнат. Он бросил все и уехал в Кузнецк. Он чувствовал, что там идут бои, и он хотел вместе с другими идти на приступ. Он знал в жизни одно: он спасал революцию.

Наталья Петровна Горбачева не спасала ни свою жизнь, ни добро, ни революцию. Она спасала книги. Она была одинока, немолода и некрасива. Никто не знал даже, как ее зовут — говорили: библиотекарша. Глядя на нее, люди думали, что она похожа на книжного жучка и что в ее голове только номера каталога. Они не знали Натальи Петровны. На самом деле ее жизнь была шумной и полной героизма.

В начале революции она ошеломила город. На заседании Совета обсуждался вопрос, как отстоять город от белых. Чашкин, надрываясь, ревел: «Товарищи, мы должны умереть, но спасти революцию!» Тогда на эстраду вскарабкалась маленькая, щуплая женщина в вязаном платке и закричала: «Сейчас же уведите этих солдат! Они сидят внизу и курят. Каждую минуту может начаться пожар!..» Председатель сурово прервал ее: «Товарищ, вы говорите не к порядку дня». Но женщина не унималась. Она подняла руки вверх и закричала: «Разве вы не знаете, что в нашей библиотеке десятки инкунабул!» И хотя никто не знал, что такое эти «инкунабулы», люди, обмотанные пулеметными лентами, смягчились: они вывели из библиотеки красноармейцев.

Не одну ночь Наталья Петровна провела на боевом посту. Ей казалось, что она может отстоять книги и от людей и от огня. Она молила бородатых крестьян: «Это народное добро! Это такое богатство!» Она кричала на щеголеватых офицеров: «Вы не смеете так говорить! Это не казармы! Это строгановская библиотека!» Она старалась понять, как нужно разговаривать

с этими несхожими людьми. Они стреляли друг в друга. Они хотели победы. Она хотела спасти книги.

Город зябнул и голодал. Наталья Петровна получала восьмушку мокрого хлеба и спала в большой, насквозь промерзшей комнате. Весь день она просиживала в нетопленной библиотеке. Она сидела одна — людям в те годы было не до книг. Она сидела, закутанная в какое-то пестрое тряпье. Из тряпья торчал сухой острый нос. Глаза тревожно посвечивали. Изредка заходил в библиотеку какой-нибудь чудак. Увидев Наталью Петровну, он шарахался прочь: она походила не на человека, но на сову.

Как-то Наталья Петровна повстречалась с профессором Чудневым. Профессор стал жаловаться на голод и холод. Он жаловался также на грубость жизни: «Это ли Томск?.. Вы только вспомните: художественное училище, четыре музыкальных школы, концерты, выставки. Вместо этого — цирк, дурацкие афиши и невежество. Иногда я завидую тем, которые уехали. Конечно, на чужбине трудно. Но они спасли себя. Они все-таки живут среди культурных людей. А здесь... Вот вы, Наталья Петровна...» Наталья Петровна его прервала: «Что же, я очень счастлива! У меня интересная работа. Я вас не понимаю, Василий Георгиевич! Значит, по-вашему, я должна была все бросить и уехать в Париж? А что стало бы с библиотекой?»

Она раскрывала старые книги и подолгу любовалась фронтисписами. Музы показывали дивные свитки, и они играли на лютнях. Титаны поддерживали земной шар. Богиню мудрости сопровождала сова. Могла ли Наталья Петровна догадаться, что она похожа на эту грустную птицу? Она рассматривала гравюры: сон в летнюю ночь или подвиг Орлеанской девы. Иногда ее волновало начертание букв. Она прижимала к груди книжку и повторяла, как завороженная: «Эльзевир!» Когда она брала с полки первое издание стихов Баратынского, ей казалось, что это не книга, но письмо от близкого человека. Баратынский ее утешал. Потом ее веселил лукавый Вольтер. Рядом с ней были газеты Французской революции. Они чинно стояли на полках в красивых сафьяновых переплетах. Она заглядывала в эти газеты, и газеты кричали: «Нет хлеба! Нет топлива! Мы окружены врагами! Мы должны спасать революцию!» Она слышала голоса людей. Это говорил Чашкин. Он уже жил когда-то.

Тусклые пожелтевшие листки помогали ей понять ту, вторую жизнь, которая шумела вокруг здания библиотеки. Когда же, измученная, она готова была пасть духом, она раскрывала «Лоджи» Рафаэля, и она замирала в темной холодной библиотеке перед той красотой, которую не вмещали ни громкие годы, ни маленькое человеческое сердце.

С тех пор прошло немало времени, и библиотека наполнилась гулом. Сотни вузовцев поспешно листали книги: они хотели узнать все. Наталья Петровна могла бы радоваться: самое трудное было позади. Она отстояла библиотеку. Чашкин полушутя-полувсерьез сказал: «Вы, товарищ Горбачева, молодчина! Вам нужно выдать орден Красного Знамени». Наталья Петровна смущенно покраснела: «Глупости! Но я хочу вас попросить об одном: достаньте дрова. Библиотеку то топят, то не топят. Я привыкла, но книги от этого очень портятся».

Она по-прежнему не знала покоя. Внизу, под библиотекой, устроили кинематограф. Как некогда, призрак пожара преследовал Наталью Петровну. Она боялась, что книги погибнут от сырости. Она боялась также, что приедут люди из Москвы и увезут самые ценные книги. С недоверием она поглядывала на новых читателей: они слишком небрежно перелистывали страницы. Она подходила к ним и жалобно шептала: «Товарищи, пожалуйста, осторожней!» Она страдала оттого, что никто из этих людей не чувствовал к книгам той любви, которая переполняла ее сердце. Они брали книги жадно, как хлеб, и у них не было времени на любование.

Иногда Наталья Петровна спрашивала себя: неужто никто не может разделить ее чувства? Среди людей, которые сидели над раскрытыми книгами, она искала одного, как она, влюбленного в эту рябь букв, в этот шелест листов, в пыль и в блеклое золото. Она проверяла глаза, движение рук, улыбки и почерк. Требовательные записки ее волновали, как письма. Она знала теперь читателей так же хорошо, как и книги. Она знала, что читает каждый из них, что он оставляет, не дочитав, и что перечитывает.

Когда она наконец нашла того, которого так долго искала, она не сразу ему поверила. В течение нескольких месяцев она за ним неотступно следила. Она заметила, как его взволновал Сенека. Она заметила также,

что, читая Свифта, он нервно усмехался. Она знала все, что он брал в библиотеке. В списке значилось: «Чаадаев, Святой Августин, Розанов, Дидро, Кальдерон, Тютчев, Жерар де Нерваль, Хомяков, Гейне, Ницше, Паскаль, Соловьев, Анненский, Бодлер, письма португальской монахини, Пруст, история Византии, Джемс, апокрифы, дневники Талейрана, словарь Даля, д'Оревильи, «Декамерон», Библия».

Как-то он взял «Похвалу глупости». Наталья Петровна видела, что он делал пометки на листочке. Он при этом морщился, как будто книга причиняла ему боль. Уходя, он забыл листок в книге. Наталья Петровна долго колебалась: вправе ли она посмотреть?.. Может быть, это что-нибудь личное? Но соблазн был велик, и она достала записку. На листочке стояла выписка из Эразма: «Мудрая природа окутала младенцев покровом глупости, который, чаруя родителей и воспитателей, награждает их за труды, доставляет малюткам любовь и опеку». Тогда Наталья Петровна поняла, что этот человек мог страдать от книг, как другие страдают от неудачи или от обиды. На требовательной записке значилось: «Владимир Сафонов», и Наталья Петровна несколько раз повторила это имя.

Она теперь встречала его улыбкой. Она находила, что его глаза свидетельствуют о высоком уме и о глубине чувствований. Он казался ей одним из тех титанов, которые на старых фронтисписах поддерживали мир. Ее не смущали ни его тщедушность, ни очки. Очки ей даже нравились. Она делила все вещи на свои и враждебные. Враждебными были: винтовки, калоши, мяч, снег, коньки, телеги и огонь. Своими были: стол, лампа, тетрадки и очки. Ей было сорок шесть лет, но, думая о Сафонове, она краснела, как школьница.

Она решила заговорить с ним, заговорить сразу о самом главном: не о себе, не о нем, но о книгах. Она улучила минуту, когда Володя остался один: библиотеку закрывали. Он еще сидел, сгорбившись над Плотином. Наталья Петровна бесшумно подошла к нему и, задыхаясь от волнения, сказала: «Я заметила, что вы не как другие. Вы любите книги, и вы...»

Володя вздрогнул от неожиданности. Никогда прежде он не замечал лица библиотекарши. Она показалась ему большой уродливой буквой. Ее голос походил на шорох листов. В библиотеке никого не было, и на минуту Володе стало страшно. Он стоял молча.

Молчала и Наталья Петровна. Она хотела сразу спросить его обо всем: почему его смутил Свифт, что означает выписка из Эразма, какие переплеты он больше любит, видал ли он ранние издания Шекспира... Но она ни о чем его не спрашивала. Она только еще раз сказала: «Вы ведь любите книги?» Тогда Володя усмехнулся — вот так он усмехался, читая Свифта. «Вы думаете, что я люблю книги? Я вам скажу откровенно: я их ненавижу! Это как водка. Я не могу теперь жить без книг. Во мне нет ни одного живого места. Я весь отравлен. Что же вы мне прикажете делать после Плотина? Строить домны? Гулять с «девахами»? Я спился. Вы понимаете, что значит спиться? Только алкоголиков лечат. А от этого нет лекарств. Бессмыслица, но факт. Будь это в моих силах, я поджег бы вашу библиотеку. Вот принес бы керосина, а потом — спичкой. Ах, как это хорошо было бы! Представьте себе...» Он не докончил фразы: он поглядел на Наталью Петровну и сразу замолк. Она дрожала как в лихорадке. Володя спросил: «Что с вами?» Она не ответила. «Вам воды надо... Пожалуйста, успокойтесь!..» Наталья Петровна молчала. Тогда Володя крикнул: «Эй, товарищ! Вы бы воды дали!..» Служитель Фомин принес кружку, полную доверху. Он бормотал: «Довели! Паек-то у нее — кот наплакал. Граммы! Поглядеть страшно: кожа да кости». Наталья Петровна, опомнившись, сказала: «Уберите воду — вы можете замочить книги». Потом она строго поглядела на Сафонова: «Уйдите! Вы хуже всех. Вы варвар. Вы поджигатель». Володя неловко помял кепку в руке и вышел.

Для Натальи Петровны настали мучительные дни. Она приходила в библиотеку, просматривала списки, тревожно проверяла градусник и возмущалась кинематографом. Но все это она делала по привычке. В ее душе было смутно и неспокойно. Кажется, ничего не изменилось. По-прежнему вузовцы читали книги. На третий день она увидела Сафонова. Он снова сидел над Плотином. Проходя мимо нее, он отвернулся. Но Наталье Петровне он был теперь безразличен. Она думала не о нем. Она думала о книгах: впервые она усомнилась в их правоте.

Студенты занимаются: они готовятся к зачетам. Но кому нужны те, другие книги, тени Гамлета и Дон-Жуана, летописи и рифмы, ворохи слов, то нежных, то жестоких? Эти книги утешали Наталью Петровну в го-

лодные годы. Но, может быть, она больна, как тот сумасшедший в очках? Может быть, ей нужны эти книги только потому, что у нее нет ни дома, ни семьи, ни живой теплой работы? Она в страхе проводила рукой по лбу, как будто желая понять, что происходит в ее голове. Она больше не раскрывала любимых книг. Она готова была погибнуть, и Фомин, глядя на нее, уныло сморкался. Он бормотал что-то о «бесчувственных людях».

Наталья Петровна вечером проверяла шкафы. К ней подошла крепкая девушка с крутыми скулами и с деревенским румянцем. Наталья Петровна уныло подумала: химия или медицина? Они сдают зачеты. Что им Шекспир или Лермонтов? Девушка, смущенно переминаясь, сказала: «Товарищ заведующая, можно мне с вами поговорить наедине?» Наталья Петровна удивленно пожала плечами: должно быть, снова кто-нибудь крадет книги... Она ответила: «Хорошо. Только обождите, пока закроют».

Когда они остались вдвоем, Наталья Петровна присела на табурет и, глядя в сторону, спросила: «Ну, в чем дело?»

«Вы меня простите, что я вас занимаю такими глупостями. Но мне не с кем посоветоваться. Мне вот придется вам рассказать целую историю. Только вы мне скажите — вы, может быть, торопитесь?» Наталья Петровна никуда не торопилась. Дома ее ждали холодная постель и чай без сахара. Но она была в размолвке с книгами и с людьми. Она хотела ответить: конечно, тороплюсь. Но она посмотрела на девушку. Она увидела доверчивые глаза и рот, чуть приоткрытый от смущения. Она ответила: «Можете говорить. У меня времени много». Она забыла сказать посетительнице, чтобы та села. Девушка говорила стоя, она волновалась и теребила полу пальто.

«Я, знаете, из Чернышевки. Отец сначала вошел в колхоз. Потом поссорился и вышел. Ну, а хлеба все равно не было. У старшей сестры муж работал на стройке, в Кузнецке. Он написал: «Пусть Валя приезжает сюда. Здесь хоть сыта будет». Я и поехала. Меня поместили уборщицей в бараки. Потом пришел Гроль-ман и заметил, что чисто. Он спросил меня: «Как тебя звать?» Я сказала. А на следующее утро меня вызвали и сказали, что я буду теперь в служебном вагоне как проводник. Я сначала очень обрадовалась: в вагоне

чисто. Да и работа легкая. Но до меня там работала Шаболова. Она вышла из вагона на станции размять ноги, а здесь-то все стянули. Одеяла, даже тарелки. Мне сказали: «Ты смотри не отлучайся». Так я и оказалась вроде как в тюрьме. Даже когда в Кузнецке стояли, я не выходила. Разве что попрошу кого-нибудь покараулить и сбегаю к сестре. Вот в этом вагоне я и начала читать. Я прежде только что грамоту знала. А которые ездили, они оставляли в вагоне разные книжки. Романы я не любила: роман прочитаешь, и все уж известно — неохота перечитывать. А книг было мало. Я каждую с жалостью дочитывала. Но там один инженер забыл книжку. Я сначала ничего не понимала. Раз сорок я ее прочитала и наконец поняла. Это «Диспетчерское руководство движением поездов». Для втузовцев. Один товарищ ехал из Томска. Я ему показала. Он рассмеялся: «Да ты ничего в этом не понимаешь! Это по специальности». Но я ему по чертежам все показала: рычаги, лампочки, пусковую кнопку. Он очень удивился и сказал, что мне надо готовиться в транспортную школу. Написал на листочке, какие книги читать. Я некоторые достала в Новосибирске. Начала зубрить математику. За лето очень много успела. Грольман ко мне очень хорошо отнесся. Сказал: «Мы тебя выдвинем для начала в рабфак».

Я здесь уже два месяца. Столько узнала, что самой страшно! Я даже не думала раньше, что можно столько знать. А я ведь еще ничего не знаю, если меня сравнить с профессором или с вами. Я все время занимаюсь. Но только нет у меня полной удовлетворенности. Я, конечно, понимаю, что на первом месте должна быть специальная подготовка. Но вот и товарищи говорят, что нельзя быть узким специалистом. Мне хочется понять очень многое до самой глубины. Я знаю, есть книги, которые не по программе, но они очень развивают. Я вот читала сочинения Пушкина, и они мне очень помогли. Только я сама не знаю, что мне читать в свободное время. Вот я и решила вас спросить, как заведующую. Очень много здесь книг! Сама я никогда не разберусь. Вы мне, товарищ, помогите!»

Наталья Петровна вскочила и обняла девушку. Хотя она была куда ниже ростом, ей казалось, что она обнимает свою дочь. Не раз ее спрашивали: «Что мне читать?» В этих вопросах она чувствовала любопытст-

во, скуку или корысть. Люди брали книги, чтобы подготовиться к зачетам или чтобы развлечься. Но эта девушка хотела от книг правды и глубины. Наталья Петровна глотала слезы. Наконец-то она увидела, что не зря она трудилась, что стоило охранять эти книги от огня и от людей. Пришла девушка из какой-то Чернышевки, и она поняла, зачем здесь собраны все эти старые темные книги.

Нескладно всхлипывая, Наталья Петровна говорила: «Книги — большая вещь! Он это зря сказал, их нельзя сжечь, их надо хранить. Вы, товарищ... Как вас зовут? Валя? Вы, Валя, идете к настоящей правде. Я вам сейчас покажу замечательные книги. Пойдемте туда, наверх!»

Она повела девушку на верхний этаж. Там хранились самые ценные книги, и Наталья Петровна никогда не пускала туда посетителей. Она сразу хотела показать Вале все: и Баратынского, и Французскую революцию, и Минерву с совой. Она говорила: «Вот возьмите эту большую. Вы сильней меня. Я не могу поднять — я очень ослабла. Хлеба мало. Но это пустяки. Я ни на что не жалуюсь. Наоборот, я так счастлива! Вот эту... Дайте сюда, скорей! Это — «Лоджи» Рафаэля. Посмотрите — какая красота, какая красота!..»

12

В Кузнецк часто наезжали иностранные посетители. Они глядели на домны и на землянки. Они снимали раскосых шорцев. Они спрашивали: «Где здесь ударники?» Потом, удовлетворенные, они садились в спальный вагон. Они ехали дальше: в Шанхай или в Москву. К чудесам, достойным обозрения, к снегам Монблана и к египетским пирамидам бюро путешествий приписали еще одно: советскую стройку.

Томск лежал в стороне, и редко кто из чужестранцев добирался до Томска. В Москве имелись кремлевские соборы и Мавзолей Ленина, в Свердловске — небоскребы, а также подвал ипатьевского дома, в Новосибирске — соцгород и «нахаловки». В Томске ничего не было: ни древних церквей, ни образцовых яслей, ни бараков. Это был город без достопримечательностей.

Случалось, однако, судьба заносила и в Томск непоседливых чудаков. Они приезжали с большим

путеводителем и с мясными консервами. Они глядели на томичан, и томичане глядели на них. Понять друг друга они не могли — здесь были бессильны и словари и переводчики.

В Томск приехал профессор Йенского университета Плихтер. Он изучал камлание шаманов. Он брал у шорцев и ойратов деревянных божков или бубны. В обмен он давал немецкое мыло. Он подружился с профессором Черницким. Они беседовали о костюмах тунгусов и о гончарном искусстве монголов. Черницкий сказал Плихтеру: «Тунгусы — франты. У нас говорят: «Тунгусы — Сибири французы». Плихтер долго хохотал; он стал весь лиловый от смеха, и, смеясь, он приговаривал: «Вот так французы!»

Накануне отъезда Плихтер пришел к Черницкому. Они пили чай, и Черницкий угостил гостя коржиками с черемухой. Плихтер пил чай вприкуску: он успел ознакомиться с бытом Томска. Черницкий вдруг сказал: «Ну и жилет у вас — прелесть! В таком не замерзнешь». Тогда Плихтер расчувствовался: «Разрешите, я вам его оставлю?» Черницкий поспешно ответил: «Что вы! У меня такой же. Я не ношу только потому, что очень жарко в нем». Плихтер с грустью оглядел Черницкого: он был плохо одет, на локтях блестели неуклюжие заплаты, а коржики он ел бережно и углубленно, как ребенок ест конфету. Плихтер сказал: «Вы работаете в ужасных условиях». Черницкий промолчал. «За границей вы могли бы куда больше сделать, даже в вашей области». Черницкий снял очки и удивленно заморгал: «Конечно, здесь не жизнь, а черт знает что. Но ведь это мелочь. Зато какие у нас возможности! Я вот привык к моим тунгусам. Сначала они меня побаивались, а теперь я у них вроде как свой. Мне удалось кое-что сделать для борьбы с суевериями. У них, знаете, насчет гигиены — беда! Женщина рожает — ужас берет. Мы здесь как-то поневоле распыляемся. Вот сказал: «Поневоле»,— и глупо. По самой что ни на есть воле. Так что вы меня не жалейте. Я замечательно живу. Дайте я вам налью еще стаканчик. Только, позвольте, я сахар положу, а то вы не привыкли...»

Когда профессор Плихтер читал в Йене доклад о верованиях сибирских народов, он вдруг вспомнил Черницкого. Он сказал невпопад: «И вообще, я должен отметить, что все население Советской России, включая даже передовые умы, охвачено мистицизмом, ко-

торый абсолютно непонятен для европейского сознания».

У Давида Гольдфильда был в Нью-Йорке меховой магазин. Он объезжал Сибирь, прельщенный советской пушниной. Его сопровождал сотрудник «Интеграла». Гольдфильд был родом из Белой Церкви. Он с удовольствием ел селедку и объяснялся, не прибегая к помощи переводчика. Он говорил вместо «билет» — «тикет», а секретаря горсовета называл «мистером Хоршковым». Он любил слушать русские песни. Он подошел в парке к Петьке Рожкову и сказал: «Если вы споете про ухаря, я подарю вам доллар». Петька едва сдержался, чтобы не прыснуть. «Я пою, как немазаное колесо. Вы лучше пойдите в «Коммерческую столовую» — это рядом с цирком. Там за этот доллар не только что споют, но кубарем завертятся». Гольдфильд обиженно поморщился: «Я не люблю, когда вертятся. Я люблю, когда красиво поют».

Он побывал в музее. Увидев картину Венецианова, он громко вздохнул от восхищения и спросил: «Сколько — в валюте?» Над ним тихонько посмеивались, но сотрудник «Интеграла», памятуя о долларах, говорил: «Мистер Гольдфильд известен как тонкий ценитель искусства». Мало-помалу Гольдфильд и сам начинал верить, что он в душе не скорняк, но художник. Он купил в торгсине две иконы и, коверкая непривычные слова, хвастал: «Это уникумы! Одно покрывало Девы и одна Параскевья!»

Он ходил в «Коммерческую столовую» и слушал цыганские романсы. Там он встретил Фадея Ильича. Это был сибиряк с большой бородой и с хитрыми глазенками. Фадей Ильич налил водку в чайные стаканы. Гольдфильд замер, но все же попробовал улыбнуться. Он даже сказал: «Ваше здоровье». Тогда Фадей Ильич, лукаво прищурясь, ответил: «А чо нам болеть?» Гольдфильд в тоске подумал, что Россия страшная страна.

Его утешила Шура Карцева. Она сидела в «Коммерческой столовой» за кассой. Она сказала Гольдфильду: «Здесь теперь не люди, а животные. Все только и думают, что о хлебе. У вас, Давид Исаевич, музыкальная душа!» Он готов был прослезиться от умиления. Он дал Шуре два доллара. Шура побежала в торгсин за мукой, а Гольдфильд, вспомнив о выдрах и песчаниках, отбыл в Новосибирск.

Немка Эллен Штейн изучала постановку в Союзе ритмической гимнастики. В Омске она выступила с докладом о необходимости гармоничного развития тела. Она презирала традиции, брак и семью. Она искала нового человека.

В Томске она первым делом пошла к Постникову. С жаром она говорила: «Вы не гнилые европейцы, вы мудры, как звери. Товарищ Постников, я чувствую, что вы — новый человек! У вас суровый взгляд, и вы ходите как медведь. Вы должны меня научить не только постановке воспитания, но настоящему чувству!» Толмачом был бывший преподаватель гимназии Перепелкин. Он привык переводить доклады о блюмсах или о соломке для спичек. Однако он не смутился. Он перевел слова Эллен. Постников поглядел исподлобья на немку и сказал: «Переведите ей, что я женат. У меня трое детей. У меня нет времени для такой ерунды. Я занят. При чем тут звери?.. Она может посмотреть ФЗУ и Дом матери». Он не выдержал и отвернулся: у этой женщины глаза были нетерпеливые и ласковые. Никогда в жизни Постников не видал таких ярко-красных губ. Он закричал: «Знаете что, уберите ее отсюда! Мне вот надо разместить четыре тысячи вузовцев. Голова идет кругом. А тут еще эта баба!..»

Эллен попробовала завести знакомство с вузовцами. Она подозвала Ваську Смолина. Васька спросил: «У вас в Германии какие автомобили — Форда или свои?» Эллен раздраженно ответила: «Я ненавижу машины! Они убивают чувство. Мне куда милее ваши лошадки». Тогда Васька не стал с ней разговаривать. Она пожаловалась Перепелкину: «У вас очень грубая жизнь». Тот ответил: «Да». Эллен подумала и шепнула: «Приходите вечером ко мне». Перепелкин сначала обрадовался. Потом он пошел домой. Он поглядел на рваную рубашку — другой у него не было. Подойдя к зеркалу, чтобы побриться, он увидел большую уродливую плешь. Он уныло подумал: «Волосы лезут, а все потому, что мало жиров...» Он зевнул и не стал бриться. Он был приписан к плохому распределителю и ненавидел жизнь. Он не пошел на свидание.

Эллен Штейн уехала в Красноярск, так и не разыскав нового человека.

Трудно сказать, почему приехал в Томск Джексон. Это был сухопарый, печальный англичанин. Войдя в номер гостиницы, он спокойно оглядел его: так он

оглядывал океан или джунгли. Он увидал колченогую кровать и пузатую купеческую конторку. Над конторкой висел плакат: «Плевать воспрещается». Джексон спросил: «Клопы есть?» Дежурная загадочно вздохнула: «Не жаловались». Тогда Джексон отослал переводчика и начал читать книгу, длинную и утомительную. Всю ночь он боролся с героями какого-то романа, а также с насекомыми. Наутро переводчик предложил ему осмотреть тюрьму, превращенную в редакцию газеты, спичечную фабрику и цирк. Но Джексон ответил, что все это его никак не интересует. Он мрачно шагал по дощатым тротуарам, и тротуары в страхе подпрыгивали. При виде его широчайших штанов вузовцы весело прыскали. Но он не обращал на них внимания.

Он пробыл в Томске четыре дня. Потом он попросил счет. Он взял потрепанный чемодан, весь покрытый наклейками, и направился к выходу. Его остановили, потребовав пропуск. Увидав, как уборщица проверяет, не вынес ли он чего-нибудь из номера, он впервые улыбнулся. На вокзале переводчик спросил его: «Простите нескромность, но почему вы сюда приехали?» Джексон помолчал, а потом ответил: «Я всегда делаю не то, что надо».

Иностранец, с которым столкнулся Володя Сафонов, не был случайным ротозеем. Он твердо знал, зачем он приехал в Томск. Это был журналист Пьер Самен. В Сибирь его послала большая парижская газета. Он не хотел ехать: с детских лет при слове «Сибирь» он ежился — ему казалось, что в Сибири холодно даже летом. Но газета платила хорошо, а Самен недавно купил новый автомобиль и залез в долги. Он поворчал и согласился.

Он любил жену, маленький пляж близ Бордо, весь поросший соснами, марсельские анекдоты и вечера в скромном ресторанчике «У Венсена», где после бутылки хорошего бургундского полушутя-полувсерьез он доказывал осоловевшим приятелям, что кто-кто, а он-то знает жизнь. Он говорил: «Погодите! Автомобиль Форда можно сделать и в Париже — раз-два. А вот посадите-ка в Америке бургундскую лозу. Получится не вино, но бурда». Потом он говорил: «Кстати, со вчерашнего дня собакам разрешается ездить в трамваях. Это — сто сорок лет спустя после Великой революции. Спрашивается, стоило ли делать для этого

революцию?..» Хотя приятели давно знали все сентенции Пьера, они все же, стряхивая дрему, смеялись — Пьер был «славный малый».

Самен считал, что человечество заслуживает презрения. Он говорил: «Смерть от заворота кишок, после хорошего обеда, куда достойней смерти на баррикадах. К счастью, с баррикадами дело кончено: у полиции теперь пулеметы и газы. Кто говорит о спасении человечества? Жулики. Или идиоты. Жуликов легко подкупить. А идиотов следует посадить в Общество покровительства животным. Или сослать на необитаемый остров. Тогда сразу кончится весь коммунизм». Левая газета его отправила в Италию. Он возмутился страданиями рабочих и написал: «В стране, которая родила Дантона, нет места для Муссолини!» Потом он перекочевал в другую газету. Ему поручили доказать, что большевики куда страшнее кризиса. Он был толковым журналистом, и он знал заранее все, что напишет.

Он успел побывать в Новосибирске и в Кузнецке. Он видел повсюду то, что и хотел увидеть: невежество, гнет, нищету. В Томск он приехал, чтобы написать статью о советской школе. Он искал студента, с которым мог бы поговорить без переводчика. Ему указали Володю Сафонова.

Они разговаривали в саду перед университетом. Самен прежде всего спросил: «Может быть, вам неудобно говорить со мной? Вы мне скажите откровенно. В Свердловске одна дама рассказала мне много интересного: про хищения и как коммунисты кутят. Но если бы вы видели, до чего она боялась!.. Мне пришлось тряхнуть стариной — когда-то я встречался «конспиративно» с одной замужней женщиной, конечно, при других обстоятельствах... Если у вас имеются сомнения, мы можем отложить наш разговор...» Володя поморщился: «Глупости! Мы ко всему привыкли. А мне интересно с вами поговорить».

Самен закидал Володю вопросами: «Сколько раз в месяц ваши товарищи едят мясо? Как обстоит дело с квартирами? Наверно, студенты развратничают? Потом, я хотел спросить вас о школе — как поставлено преподавание общеобразовательных наук, например древней истории? Допустимо ли объективное изложение идеалистической философии? Но ведь студенты должны страдать от такого деспотизма!..»

Володя отвечал кратко, как бы нехотя: «Мясо я ел в последний раз месяца два тому назад. Суп, каша. Сплю в общежитии. Нас шестнадцать человек. Страшная скученность. Разврата никакого: все ясно и просто. Древней истории вовсе не преподают. Все освещается с точки зрения диамата. Вы не понимаете? Это диалектический материализм. Вузовцы, по-моему, отнюдь не страдают. Что касается меня, то я не типичен. Я — островитянин. Товарищи, те всегда веселы. Вероятно, от этого я и страдаю».

Эти ответы были столь скудны и неинтересны, что Самен еще раз спросил: «Может быть, вы мне не доверяете?» — «Я уже сказал вам, что я не боюсь. Я вам ответил, как мог. Но, по-моему, вы не о том спрашиваете. Если вы хотите говорить о вузовцах, надо забыть о древней истории. А если вас интересую я, то при чем тут мясо или жилплощадь? Мои лишения — несколько в иной области. Я так рад, что я вас встретил! Я знаю Францию только по книгам. Вы для меня — человек «оттуда». Вы не сердитесь, что я вас задержу с расспросами...»

Володя спрашивал горячо и сбивчиво. Он не подготовился к этой беседе. Боясь забыть о главном, он прерывал себя. Он иногда замолкал, выжидая, что скажет его собеседник. Но тот слушал молча. И Володя снова начинал говорить: «Я вот читал о «беспокойстве». Это, кажется, основная тема ваших молодых писателей. Что их тревожит? Механизация жизни? Окостенение? Гибель культуры? Я не могу уловить чего-то главного. Мне кажется, что я слышу тревожные сигналы, но я так и не знаю, в чем дело — пожар, наводнение, обвалы?.. Хотя бы сюрреалисты... С одной стороны — культ сна, утверждение некоторой сверхреальности. В философском плане это чистейший идеализм. С другой стороны, они тяготеют к коммунизму. Может быть, это в виде протеста?.. Я не знаю, понимают ли они, что такое коммунизм?.. На земле. Скажем, в Томском университете. Наши ребята — и фрейдизм! Это нелепость! Отсюда я никак не могу в этом разобраться. Я хотел достать новые сборники стихов. Но здесь опять — непонятное: у меня создалось впечатление, что во Франции больше не пишут стихов. Это так? Почему?.. Какова же роль Валери?.. В особенности интересно, каково его влияние на молодежь. Если бы я мог перенестись туда на один час! Вы,

наверное, знаете что-нибудь о философских кружках среди студенчества. Какие течения сейчас доминируют?..»

Самен был раздосадован: ему казалось, что этот студентик хочет щегольнуть перед иностранцем случайными и поверхностными знаниями. Он сердито ответил: «Вы видите не Францию, но карикатуру. «Беспокойство»! Это все болтовня! Это выдумали несколько снобов. А сюрреалисты — мальчишки. Притом добрая половина из них иностранцы. При чем тут французская культура? Конечно, Валери знаменитый поэт. Его вот в Академию выбрали. Но если на то пошло, я вам скажу откровенно: я его никогда не читал. Да и не собираюсь читать. Его никто не читает. Это такая скучища! Похуже Пруста. Бросьте вы эту канитель! Наши студенты, право же, куда разумней. Учатся так учатся. Диплом так диплом. Но зато они умеют и повеселиться. Когда я здесь, в вашем Томске вспоминаю Буль-Миш, тоска берет. Буль-Миш — это улица. Латинский квартал. Там кафе, и все сплошь студенты. Ну и девочки. Посмотрели бы вы на «мономы» — это они устраивают шествия и поют...»

Володя встал. Не глядя на Самена, он проговорил: «Петь и у нас умеют. Спасибо за информацию. От меня, я думаю, вы все уже узнали. Если хотите еще спросить, пожалуйста... Мясо чрезвычайно редко. Вы так и хотели? Значит, все в порядке. О Гомере слыхали только редкие идиоты. Их зовут «изгоями», но я затрудняюсь перевести — это архаизм. Что касается идеализма и прочего, я вам расскажу смешную историю. Вам, наверно, понравится. К тому же — лестно для национального самолюбия. Здесь в позапрошлом году несколько вузовцев устроили кружок. Назвали «Ша нуар» — в честь парижского кабаре. Читали вслух стихи. Про красоту. Как вы сказали, «скучища» — вроде Валери. Ну, их и вызвали для внушения. Теперь вам еще сильнее захочется на веселый Буль-Миш. Что же, счастливой дороги!» Он вежливо откланялся.

Он шел, как всегда угрюмый и отчужденный. Он не мог понять, почему разговор с французом настолько смутил его. Вероятно, где-то в глубине его сознания жила робкая надежда, что он не одинок, что далеко отсюда, на другом конце света, у него имеются неведомые друзья. Он часто пытался представить себе этих далеких единомышленников. Он видел усмешку и пыт-

ливый взгляд. Он знал, что жизнь и там лишена пафоса. Он равно презирал и Форда, и неокатолицизм, и демократию. Но отчаяние того, другого мира ему казалось настолько глубоким, что оно переходило в надежду. Как любитель у радио, он ловил звуки. Над миром стояла тишина. Ее прерывали только вскрики отчаявшихся и мяукание саксофона. Прислушиваясь к этой тишине, Володя верил, что она может сгуститься в новое слово.

Он понимал, что журналист, с которым его свела судьба, пошл и ничтожен. Но все же эта встреча его обескуражила. Он увидел, до чего мал тот мир, в котором еще живут и дышат его воображаемые друзья. Он шел и думал о спертости. Сам того не замечая, он что-то напевал. Он поймал себя на этом — он пел дурацкую песенку: «Смотрите здесь, смотрите там...»

Тогда он собрался с мыслями. Он забыл о французе. Его голова была занята другим. Он чувствовал, что не можеть дольше молчать. После разрыва с Ириной он не произнес ни одного живого слова. Молчание настолько пугало его, что порой он начинал разговаривать сам с собой, косясь, нет ли кого-нибудь поблизости,— ему казалось, что он сходит с ума.

Неделю тому назад он увидал в столовке объявление о собрании вузовцев, посвященном «культурному строительству». Предстояло еще одно, десятое или сотое собрание с бесхитростным докладом и с путаными прениями, похожими то на зазубренный школьный урок, то на горячую, сбивчивую исповедь. Теперь он решил пойти туда и выступить с речью. Это решение пришло внезапно. Однако он верил, что оно медленно в нем вызревало, что его дневник был только подготовкой к этому неизбежному объяснению, что уже в Челябинске, под грохот машин, он впервые репетировал речь, которая должна была походить на выстрел.

Когда он почувствовал, что наконец-то заговорит, он облегченно улыбнулся. Он понимал, до чего жалок и унизителен сарказм его дневников. Не будучи трусом, он был обречен на осторожное юродство, на проглоченные угрозы, на эти насмешки под замком, на двойное существование. Как все, он слушал лекции, читал книги, обедал в столовке, пытался шутить с товарищами. Он был обыкновенным вузовцем. О другой жизни знали только тетрадки в сундуке. С завистью он

глядел на своих товарищей: они мало говорили, но они что-то делали. Как бы ни были повторны и заимствованны их поступки, они могли осуждать, радоваться, надеяться. Они готовились к живому делу: сложные теоремы или загадочные термины включались в план строительства. Усваивание истины становилось процессом, родственным коксированию угля или плавке чугуна.

Володя был обречен на бездействие. Все, что он делал — от работы на заводе до математических формул,— было только отдачей чужой жизни. С неприязнью он оглядывал свое прошлое. Он видел все превосходство отрочества: тогда тормоза еще не работали. Он начал хорошо — только дураки могут смеяться над Дон Кихотом. Не все ли равно, что Миша или Васька Башкирцев не заслуживали таких страстей? Ветряные мельницы — те же враги. Они ничтожней людей, но их еще трудней уничтожить. Они встают на пути и требуют поединка. Они похожи на историю.

Он только и делал, что уклонялся от боя. Он боялся встретиться с жизнью глаз на глаз. Он лгал и в ответах на анкеты, и в разговорах с товарищами. Он уступил Ирину какому-то Сеньке. Даже Ирине он лгал: он играл в благородство, как будто он не человек, а герой романа. С кем он осмелился быть откровенным? Да только с этой несчастной библиотекаршей. Он почему-то ее обидел. Она ни в чем не виновата... Она только буква. А книги?.. Книги — ничьи.

Они хотят из книг построить заводы. Это плохой кирпич. Это тонны бумаги. При соприкосновении с некоторыми чувствами они превращаются во взрывчатые вещества. Он, однако, не поднес спички. Он шел к гибели, не пытаясь уничтожить хотя бы частицу враждебного ему мира. Он выше окружающих. Почему же свое превосходство он превратил в проказу? Почему даже Ирину — после того вечера, после черемухи и губ, после сеней,— почему и ее он не отстоял, не схватил, не отнял? Он вздумал спасать ее от заразы. Это самый трусливый поступок во всей его жизни. Петька Рожков или Шварц вправе его презирать. Он выбрал трезвость. Он даже написал в дневнике: «К чему донкихотствовать?» Следовательно, он записался в двурушники. Он — один из многих. Другие двурушничают ради куска мяса, ради новых ботинок, ради карьеры. А он? Ради приличия? Ради законов

истории? Или, может быть, ради подражания литературным предшественникам? Не для того ли он осудил Дон Кихота, чтобы повторить Печорина? Как Печорин, он болен тем бессильным отчаянием, которое прикрыто любезной улыбкой.

Эта суровая оценка и продиктовала решение: он скажет все. Он заранее вдохновлялся враждебными криками. Он был счастлив, что наконец-то окажется один против всех. Они увидят, кто он. Они заревут в злобе. Может быть, они кинутся, чтобы стащить его с эстрады... Продлевая удовольствие, он заглядывал дальше: его вычистят из университета. Могут и посадить. Мысль о расплате его приподымала. Он даже изменился с лица: стал живей и моложе. Исчезла болезненная вялость. Он глядел на мир если не с задором, то с той незнакомой ему отвагой, которая внезапно сказывалась в беглой усмешке, в блеске раздразненных глаз, в румянце, набегавшем на щеки при одной мысли о предстоящем. Впервые он думал об Ирине без приниженности. Он не давал себе отчета в том, что ее образ, память о неловких и горьких объятиях, что вся эта история неудавшейся любви придавала ему силы для бессмысленного и в то же время необходимого выступления.

Он вытащил дневник и попробовал набросать черновик речи: «Вас, наверно, удивят мои слова. Вы привыкли к молчанию. Одни молчат потому, что вы их запугали, другие потому, что вы их купили. Простые истины теперь требуют самоотверженности. Как во времена Галилея, их можно произносить только на костре. Вы хотите обсуждать вопрос о культуре. Но вряд ли кто-нибудь из вас понимает, что такое культура. Для одних культура — это сморкаться в носовой платок. Для других — это покупать книжки «Академии», которых они все равно не понимают, да и не могут понять. Вы устранили из жизни еретиков, мечтателей, философов и поэтов. Вы установили всеобщую грамотность и столь же всеобщее невежество. После этого вы сходитесь и по шпаргалке лопочете о культуре. Но это еще не основа культуры. Вы можете построить тысячу домен, и все же вы не преодолеете вашего невежества. Муравьиная куча — образец разумности и логики. Но эта куча существовала и тысячу лет тому назад. Ничего в ней не изменилось. Существуют муравьи-рабочие, муравьи-спецы и муравьи-

начальники. Но еще не было на свете муравья-гения. Шекспир писал не о муравьях. Акрополь построен не муравьями. Закон тяготения нашел не муравей. У муравьев нет ни Сенек, ни Рафаэлей, ни Пушкиных. У них есть куча, и они работают. Они носят прутики, кладут яйца, едят друг друга, и они счастливы. Они много честнее вас: они не говорят о культуре».

Володя остановился и перечел написанное. Он подумал: все это литература! Надо говорить проще, прямей. Он решил не писать черновика, но довериться чувству. Его голова была наполнена едкими сравнениями. Он скажет все, как сложится. Это будет куда сильнее приготовленной заранее речи. С отвращением посмотрел он на исписанные листочки: они напомнили ему о годах молчания.

Он сказал Петьке Рожкову: «Я сегодня приду на собрание». Петька радостно улыбнулся: «Вот это хорошо! А то у нас мало кто может работать на культфронте. Васька правильно говорит, что надо налечь на искусство. А из ребят никто не знает, с чего начать».

Когда Володя вошел в аудиторию, он увидел лампу и много лиц. У него закружилась голова. Он понял: сейчас это должно произойти!.. Он машинально прошел к трибуне и записался в список ораторов. Он не помнил сейчас ни об Ирине, ни о муравьях, ни о разговоре с французом. Только когда председатель назвал одного из докладчиков: «Товарищ Валерьянов», в голове Володи встало: Валери — «скучища», Буль-Миш... Он тотчас же отогнал от себя эти мысли. Он хотел сосредоточиться и наметить хотя бы начало своей речи. Тогда он почувствовал, что в голове у него пусто. Он растерянно хватался за обрывки несвязных фраз. Как перевести «изгой» по-французски?.. Конечно, все это не случайность, но исторические законы... А стихов у них все-таки не пишут... Может быть, Ирина здесь — она ведь ходит на собрания... Как странно — стоят и слушают... О чем они говорят?..

Володя попробовал прислушаться к речам. Говорил Васька Смолин. «Некоторые товарищи высказывались против оперы. Я вот знаю, в Новосибирске целый диспут высказался против «Майской ночи»: будто там показывают обнаженные тела, и это классовый враг. Но я видел здесь две оперы: «Евгений Онегин» и «Кармен». Это большие вещи. Это, что называется, отражает всю эпоху, и потом это так приподымает, что

с двойной энергией садишься за работу. Мы не должны отказываться от такого мощного орудия, и поскольку здесь идет речь о создании музыкальных кружков, я в первую очередь предлагаю...» Володя отвернулся. Он больше не мог слушать. Почему-то он вспомнил противный фильм и фокстрот. Он растерянно усмехнулся: тоже отражает эпоху! Как все это непонятно!.. Нет, Ирина, видно, не пришла... А это кто? Уж не ее ли Сенька?..

Он внимательно оглядел нового оратора. Это был деревенский паренек. Он с жаром говорил о поэзии: «Я вот сначала Маяковского сам не понимал. Как начну читать — будто язык ломается. Это оттого, что у него необыкновенные размеры. Теперь я вижу, что это настоящая поэзия. Я вот и Пастернака понял. Трудно было — кажется, голова разломится. Неожиданно он переходит, скажем, с чего-нибудь отвлеченного на посуду или на стулья. Но только это так захватывает, что я каждому скажу: надо это понять, надо!..»

Володя снова задумался. Он вспомнил стихи Пастернака: «И никого не трогало, что чудо жизни — с час...» Эти слова его увели куда-то далеко. Он с болью подумал: хоть бы Ирина пришла!.. Он всполошился: с час. Всего только с час! Кому же нужно другое: споры, муравьи, подвиг? Все это пыль. А жизни под ней нет. С Ириной — кончено. Ирина с таким. Или с его товарищем. Как все глупо сложилось! Он не подумал раньше... Прозевал. А может быть, так и надо: оттенять счастье других. Вот этот — он счастлив? Почему нельзя подойти и прямо спросить: «Ты вот читал о чуде? У тебя есть? Настоящее? Задыхаешься? Плачешь? Сходишь с ума?» Да нет, у них это — самообразование, и только. Все-таки странно, что такой читает Пастернака. Вот бы выпустить его на Буль-Миш... Смешно! Все в мире перепуталось: Пастернак, муравьи, Валери, Володя...

Он снова заставил себя прислушаться к речам. Он увидел девушку. Она очень стеснялась и прятала большие красные руки. Она говорила: «Библиотекарша мне показала некоторые иллюстрации. Это помогает многое понять. Например, трагедии Шекспира — огромный мир! Я как будто увидела живых людей и все их страсти...»

Володя подумал: «Кажется, я записан после девушки... О чем же я буду говорить? Начну так: «Чтобы

вырастить плодовые деревья, нужны века. Их скрещивают, прививают дичкам новые ветки, оскопляют, оплодотворяют. Тогда...» Он не закончил фразы: председатель сказал: «Слово принадлежит товарищу Сафонову».

Когда Володя поднялся на трибуну, он сразу понял, что не знает, о чем ему говорить. Это не был страх перед толпой: он ощущал теперь спокойствие, огромное и приятное. Ему казалось, что он под водой. Но у него не было ни мыслей, ни слов. В одно мгновение он пережил все события дня: разговор с журналистом, улыбку Петьки Рожкова, тетрадку с муравьями, речи говоривших перед ним вузовцев — Кармен, Пастернака, остроносую библиотекаршу. Он начал, как и предполагал: «Плодовые деревья выращиваются веками...» Он запнулся. Ему показалось, что в глубине зала стоит француз. Он досадливо поморщился: наблюдает! Он отвернулся. Тогда он увидел Петьку. Петька, приоткрыв рот, внимательно слушал: он ждал, что скажет Сафонов.

Володя заговорил. Ему самому казалось, что это говорит не он. С удивлением он прислушивался к своему голосу. Голос был взволнованным и полным чувства, но для Володи он был чужим. Он говорил, не останавливаясь, как будто он заранее знал все, что он скажет. Он больше не видел раздражавших его глаз. Смутно проплыла в дыму восторженная улыбка Петьки. Потом все слилось в одно: это был желтый масляный свет. Он зажмурился, но продолжал говорить.

«Деревья долго выращивают. Потом они дряхлеют и гибнут. У дичков богатая кровь. Им прививают черенки. Впрочем, все это дело садоводов. Я хотел сказать о другом. Я сегодня говорил с одним французом. Это журналист. Он мне рассказал, что во Франции студенты не читают стихов. Они хотят развлекаться. Они учатся ради диплома. Они много знают, но они ничего не могут. Есть во Франции поэт Валери. Его трудно понять. Он иногда темен, как Пастернак. Это настоящий поэт. Француз сказал мне, что Валери никто не читает, потому что это «скучища». Валери где-то написал: «Чтобы действовать, надо многого не знать». Я прежде тоже так думал. Я думал, что вы можете строить заводы потому, что вы не знаете Данте. Это звучит как парадокс. Но это не так глупо. Однако я думаю, что Валери не прав. Он живет без воздуха. Можно знать и действовать. Есть знание,

которое обрекает на бездействие,— я его хорошо знаю: это мертвое знание. Чтобы построить завод, надо что-то знать: это точное, ограниченное знание. То, к чему вы стремитесь, это живая вода. Я скажу прямо: вы очень мало знаете. Но вы уже знаете куда больше, чем эти французские студенты с их дипломами и Буль-Мишем. Я не сравниваю программ. Я говорю о подходе к знанию. Они знают то-то и то-то. Для них важно занять место в готовой жизни, а вы хотите эту жизнь создать. Поэтому вам важно знание как таковое. Можно ли сомневаться в том, за кем будущее? Я это чувствую особенно остро, потому что лично я, скорей всего, обречен. Я хочу быть со всеми. Я стараюсь хорошо работать. Но надо мной висит какое-то проклятье. Только не подумайте, что я говорю со стороны. Я действительно пойду со всеми на этот приступ. Но мое знание не нужно. У профессоров вы учитесь. У Шекспира, у Пастернака. Это и есть те черенки, которые прививают. А я просто ветка. Ее можно отрезать. Листья на ней есть, поэтому и кажется, что я молод. Но плодов не будет. Впрочем, и это вздор! Надо уметь быть смелым. Дело не во мне, дело в нас. Я твердо говорю это слово: «Мы». «Мы» это означает — против них. Мы должны победить. Мы должны взять у них самое ценное, и не как боевые трофеи, но как нашу жизнь, нашу силу, нашу кровь. Культура не рента: ее нельзя хранить в шкафу. Она создается ежечасно — каждым словом, каждой мыслью, каждым поступком. Я здесь слышал — вы говорили о музыке, о поэзии. Это и есть рождение культуры, ее рост, мучительный, трудный рост. Поглядите, что там я сегодня увидел. Музеи и несколько одиноких чудаков. Это смерть. А жизнь? Жизнь здесь...»

Когда Володя кончил, к нему подбежал Петька Рожков. Он схватил руку Володи и закричал в ухо: «Это ты, брат, замечательно!» Потом подошел Смолин и сказал: «Это ты хорошо сказал. Такая самокритика поможет и нам, и тебе. Это большое дело — суметь перестроиться. А теперь я хочу тебя спросить о другом: может, ты войдешь в наш литкружок? Надо помочь ребятам разобраться...» Володя ничего не ответил. Перед ним по-прежнему был густой желтый туман. Он пошел к выходу.

У двери кто-то остановил его. Он вздрогнул, почувствовав на своей руке чью-то руку. Он не узнал этой

руки. Он узнал голос. Ирина тихо сказала: «Володя, я так рада за тебя...» Тогда он поглядел на нее и как будто проснулся. Слова Ирины его оскорбили. За ними ему почудились хлопки какого-то Сеньки. Он, вероятно, ревновал. Впервые за долгое время он увидел Ирину, и он сразу понял, что ничего не изменилось. Губы оставались губами. Он был бессилен перед этим клубком теплых путаных чувств.

Он мучительно морщился. Все происшедшее казалось ему тяжелым и постыдным сном. Он говорил, как Петька. Потом Петька жал руку. Смолин сказал: «Самокритика». Наверное, они думают, что он хочет примазаться. Ему предложили войти в литкружок. Конечно, что же ему теперь остается? Как он кричал: «Мы, мы»! Кто это «мы»? Пастернаки? Шекспиры? Сафоновы? Муравьи? Он ни слова не сказал о муравьях. Он сам залез в кучу.

Он раздраженно ответил Ирине: «Почему ты, собственно говоря, радуешься? Может быть, ты думаешь, что я стал Сенькой? Просто двурушничаю. Как все. У меня две жизни: думаю одно, а говорю другое. Я тебе никогда не говорил, что я герой. Ты даже можешь сказать, что я трус. Я не обижусь. Только, пожалуйста, не спутай меня с твоим Сенькой!..»

Ирина вся похолодела. Ей показалось, что Володя говорит это, только чтобы ее обидеть. Она слышала его речь, и она знала, что перед всеми он говорил искренне. Она в тоске подумала: «До чего он меня ненавидит!» Она попробовала улыбнуться, но улыбка вышла виноватая. «Прощай, Володя! Я послезавтра уезжаю в Кузнецк». Он вдруг приостановился, внимательно на нее посмотрел и шепнул: «Хоть бы там ты была счастлива!» Он сказал это с такой болью, что сам изумился. Ирина крикнула: «Володя, погоди!..» Но он уже бежал прочь от нее.

Придя к себе, он нашел спокойствие. Он как-то окаменел. Он больше не испытывал ни ревности, ни подъема, ни сожалений. Он раскрыл книгу, как будто ничего и не произошло. Он ответил Петьке, что в кружок войти не сможет, так как очень занят. Может быть, потом...

Поздно ночью он вынул тетрадку. Он нетерпеливо улыбался: так пьяница нюхает водку. Он перечел еще раз черновик предполагаемой речи и написал под ним: «То, что не было сказано». Потом он начал писать.

«Самое любопытное, что я говорил искренне. Во всяком случае, не от страха. Но я говорил не то, что думал. Или: то, да не то. За меня как будто говорили другие. Я наблюдал этот феномен и прежде. Например, в литературе.

Я говорил так на собрании не потому, что я трус, но потому, что я калека. Трусость еще можно преодолеть, но нельзя приделать половинку души, которая отмерла. Видимо, я быстро приближаюсь к развязке. Что же сказать в дополнение? То, что Ирина уезжает в Кузнецк? Этого одного достаточно для развязки. Но я обещал себе не писать больше о любви. Что касается возможного эпилога, то револьвер — не перо, и за револьвер не бывает стыдно».

13

Школа встретила Ирину неласково. Когда она пришла на первый урок, ребята закричали: «Теперь не родной язык, а школьное собрание!» Она не хотела показаться придирчивой. Она села на заднюю скамью. Какой-то рыжий мальчуган произнес речь: «Во-первых, мы должны поставить вопрос насчет пищи. Почему это мне дают суп, а там червяк? Потом, уборщицы швыряются тарелками, как будто мы собаки. А насчет уроков я тоже выражаю протест. У нас увеличили на три часа математику, а от этого происходит переутомление. В прошлом году пятая группа вовсе не проходила немецкий, а нас заставляют. Кому это нужно? Два умывальника, такая очередь, что нельзя помыться. Мыла не дают, а Марья Сергеевна нахально сказала, что мы все равно сопрем. Потом, Иван Николаевич проходит предмет, как безусловный вредитель. Почему он нас заставляет прорабатывать историю, как будто это может нас интересовать? Я предлагаю для протеста сегодня не заниматься».

Рыжего мальчугана звали Костей. Это был, видимо, коновод. Его слушали. Но когда одна девочка начала говорить, что на школьном собрании нельзя обсуждать программу, ее тотчас же прервали дружными криками: «Манька, утри нос!.. Учи сама, если хочешь!.. Эх ты, дердидас!.. Она в Ивана Николаевича втюрилась!..» Девочка покраснела и крикнула: «Прогульщики вы!» Миша, который сидел на задней скамье,

рядом с Ириной, встал и пробасил: «Я предлагаю устроить общее нарушение дисциплины». Больше и не было никакого собрания. Миша измазал мелом спину Маньки. Потом в Ирину полетела грязная тряпка. Откуда-то ребята притащили кота. Кот фыркал и кричал. В углу малыш ревел: «Мои чернила пролили!» Костя строго сказал Ирине: «Можете идти домой. Урока сегодня не будет».

На стройке было много тысяч детей. Они жили с родителями в бараках или в землянках. Отец и мать уходили на работу: они строили завод. Ребята носились по грязи и по снегу. Они кидали камни в автомобили, дразнили старых казахов: «Киргиз прокис», таскали доски и жестянки, дрались и сквернословили.

Пашка, сын землекопа, кричал: «Кротов завел Анютку в барак, и он ее...» Отец говорил Пашке: «Замолчи, пащенок! Убью я тебя за такие разговоры!» Но Пашка его не боялся. Он приехал сюда из Владивостока. Он считал, что мир мал, как землянка, и что он, Пашка, нигде не пропадет. Вместе с Темкой Челышовым они стянули у немца Гюнтера большую колбасу и четыре бутылки пива. Они выпили пиво и, охмелев, пошли купаться в прорубь. Когда Темка подрался с косым Павликом, Павлик пырнул его перочинным ножиком. Темка не почувствовал боли. Он и не заметил, что у него на животе кровь. Он только кричал возмущенно: «Паскуда! Он мне полушубок порезал!..»

Темка изводил грабарей. Он пугал коняг. Он шел и пел: «Эй, ты, царь-грабарь!..» Но Темка любил стройку, и когда в январе месяце, из-за сильных морозов, наружные работы были частично приостановлены, он пошел к Соловьеву и сказал: «Вот дурачье — хотят бетон заморозить! Я могу с ребятами пойти на грелки — у меня пимы во какие».

Дашка Игнатова пристала к американцу Лайнсу с мартеновского цеха: «Вы напишите записочку в американский распределитель, чтобы отпустили карамель — кило, будто для вас, а деньги будут мои». Костя хвастал, что он в столовке получает каждый день два обеда — такой он ловкий. Ваня, которого звали «Ежиком», забрался в Топольники на спортивную площадку и гвоздем пробил два мяча.

Тот же Ваня, когда пионеры постановили принять активное участие в постройке ФЗУ, две недели подавал кирпичи, не отрываясь ни на минуту от работы. Когда

Леша сказал ему: «Пойдем, я тебе покажу скворца»,— он прикрикнул на Лешу: «Отстань ты! Здесь дело делают, а ты вон с чем!..» Он не поддался искушению, хотя он давно мечтал поймать скворца.

Учителя были перегружены работой: с утра до ночи они сидели в школе. Родителям было не до ребят. Мать Даши, приходя с работы, стонала, ругалась и стирала белье. Отец Пашки пил водку и в тоске кричал на сына: «Откуда ты взялся такой мордастый?» Дети росли быстро и как придется. Стройка для них была джунглями. Они глядели на американские краны и на оравы разноплеменных людей. Они мечтали как можно скорее стать инженерами и чертить диковинные планы. Но в возмущении они отвертывались от скучных теорем. Они хотели найти знание среди листов толя, среди казахов, среди глины и угля.

Они дрались из-за гнилого яблока. Иногда кто-нибудь из самых отчаянных выменивал теплую шапку на две коробки папирос. Они терялись, когда преподаватель обществоведения спрашивал их о революции пятого года: это казалось им глубокой стариной. Зато они хорошо знали все марки автомобилей. Они знали также, кто записан как ударник, а кто как прогульщик. Они уважали стройку, но им казалось, что взрослые строят завод слишком медленно. Они пренебрежительно усмехались, глядя на бородатых землекопов или на жалкие тачки. Они признавали только экскаваторы.

Ругаясь, они кричали: «Эх ты, подкулачник!» Девчонок, которые любили стихи и пестрые ленточки, они называли «твердозаданками». Они строили игрушечные самолеты. Начиная драку, они сурово оговаривали: «Не ладошами — кулаками». Они презирали иностранных специалистов, но всякий раз, увидев ковбойскую шляпу или короткую трубку, они замирали в восторге. Они набирали песок в карманы и на уроке немецкого языка устраивали «газовую войну». Особенно любили они уроки военизации. Они мечтали о том, как бы пробраться в кино без билета. Они знали все фильмы. Они говорили о Гарри Пиле: «Этот что надо!» Они в точности знали все столовки и кооперативы. Без запинки они могли ответить, где что дают. Они знали, почем на базаре яйца. Они знали также, как работает домна. Писали они с ошибками и в душе не признавали бесспорности орфографии.

Костя сказал англичанину, который работал на ГРЭС: «Вот вы угнетаете индусов, а когда индусы станут сознательными, от вашей Англии ни черта не останется». Англичанин улыбнулся и спросил: «Откуда ты это знаешь?» Костя не оробел. Он ответил: «Я читаю «Комсомольскую правду». А когда я кончу школу, я поеду в Индию, чтобы бороться против англичан». Косте было одиннадцать лет.

Иван Николаевич, измученный ревом, сказал: «У вас, ребята, совести нет». Мишка ему преспокойно ответил: «Нет так нет! Можно прожить и без совести даже очень хорошо». Когда Ольга Владимировна предложила ребятам издавать стенгазету, Мишка просидел над газетой всю ночь. Утром он сказал матери: «Если коллектив от меня требует, значит, я должен это выполнить».

Среди них были изобретатели, любители похождений, драчуны, поэты и чудаки. Когда учителя находили слова, которые доходили до их сердца, они забывали и о камнях и о базаре. Они сосредоточенно слушали и цыкали, если кто-нибудь шепотом спрашивал, скоро ли кончится урок. Это была третья смена революции, и это были обыкновенные дети.

Ирине еще не было двадцати лет. Она хорошо помнила, что такое лукавый язык весны, которая забирается в раскрытые окна школы. Она еще сама любила коньки, ауканье в лесу и карамель. Может быть, о Кузнецке она мечтала так же, как мечтал рыжий Костя об Индии. Увидев ребят, она растерялась. Она была слишком взрослой, чтобы говорить с ними как равная. Посмотреть на них со стороны она еще не умела. Она по-детски на них обиделась. Как они смеют говорить о вредительстве?.. Надо объяснить им...

Она растерянно оглядывалась. Она попробовала сказать: «Ребята!..» Но Костя, взобравшись на плечи Мишки, заорал: «Собрание закрыто за исчерпанным порядком дня!» Ребята смеялись. Они сразу оценили все: и носки, и румянец смущения, и дрожь голоса. Они поняли, что Ирина их боится. Они прыгали вокруг нее и пели: «Мишка во как скаканул, Иру обнимает, оттого такой прогул — угля не хватает». Ирина стояла посередине комнаты, прижимая к груди тетрадку. «Ира» — значит, они уже знают, как меня зовут... Но почему они хотят меня обидеть?..» Она почувствовала, что не выдержит и расплачется. Тогда она быстро вышла.

В тот день у нее больше не было уроков. Она бродила по площадке. Она говорила себе, что смотрит на стройку. Но весь день она думала об одном: что же ей делать?.. Она упрекала себя: до чего она легкомысленна! Какой нужен опыт, чтобы работать с такими ребятами! Это не Томск. Здесь и дети другие. Напрасно она сюда приехала — толку не будет. Она даже подумала: может быть, сразу уехать?

Все здесь казалось ей непонятным и страшным: скрежет воздуходувки, ругань строителей, воздух, полный зловония, черная пыль, землянки. Не было ни деревьев, ни спокойных людей, ни места, где можно было бы отдохнуть и собраться с мыслями.

Но тотчас же она возмутилась своим малодушием. Конечно, это не Томск! Это — война. Восторженно и робко она поглядела на струи расплавленного металла: это и есть чугун, тот чугун, которого слишком мало, о котором, что ни день, пишут в газетах, ради которого все теперь столько мучаются? Да, здесь трудно. Товарищи Ирины предпочли Новосибирск: там и снабжение сносное, и спокойно. Она предпочла Кузнецк. Она знала, что жизнь — здесь. Надо только увидеть, где эта жизнь, увидеть не уголь или чугун, но людей.

Она вспомнила улыбку Кольки. Ей захотелось тотчас же разыскать его: он успокоит, поможет, скажет, как быть. Но она пристыдила себя. Колька знает свое дело. Он строит кауперы. Он не прячется за спины других. Она не может пойти к нему с жалобами. Она должна сначала справиться с работой. Потом она пойдет к Кольке.

Вокруг нее люди работали. Они справлялись с землей и с камнями, с рудой, с углем, с огромными машинами и с водой, которая проступала из-под земли. Она им завидовала: она не знала, как ей справиться с сердцем этих суровых и шумных детей.

Когда стемнело, она сразу почувствовала, до чего она устала. Но она не хотела идти к себе. Ее поместили временно с какой-то старой учительницей. Та, не умолкая, плакалась: «Дети нахальные... ботинки продрались... ноги болят — сыро здесь...» Вчера Ирина спокойно ее слушала. Теперь она боялась, что не сможет вытерпеть причитаний. Несмотря на усталость, она продолжала ходить.

Она спросила рабочего: «Это что за место, товарищ?» Тот уныло ответил: «Сад-город». Ирина

жалобно посмотрела вокруг: та же пыль и землянки. Она подумала вслух: «Почему сад?..» Тогда позади кто-то весело рассмеялся. «Названия у нас глупые. Это, говорят, подрядчик был Садов, в его честь. А насчет садов здесь слабо». Ирина оглянулась и увидела Кольку. Она даже рассмеялась от радости. Быстро схватила она его широкую руку. То, что она встретила Кольку случайно, среди тысяч и тысяч людей, не пошла к нему, решила не идти и все же встретила,— показалось ей редкой удачей. Это позволило забыть всю тяжесть дня. Колька спросил: «Ну, как тебе у нас понравилось?» Ирина ответила: «Очень. Я так рада, что приехала». Она не лгала: в ту минуту она и вправду радовалась.

Завод вечером был прекрасен и страшен. Пламя печей рвалось наружу. Это походило на пожар. Казалось, огонь, зажженный людьми с такими усилиями, всесилен и его теперь не погасить. Там, возле печи, стояли люди в синих очках. Светились окна управления— другие люди проверяли цифры. Для них огонь был тоннами чугуна. Но издали огонь был только огнем. То в человеке, что некогда заставляло его боготворить степной костер, подымалось до мучительного восторга. Это было не только удовлетворением за месяцы непосильного труда, но почти телесной радостью. Поэтому, когда Колька сказал: «Здорово»,— Ирина не смогла даже ответить: как завороженная, она глядела на огонь.

Потом она сразу вспомнила рыжего Костю и перепугалась. Завтра у нее шесть уроков. Что она им скажет? Вдруг они снова будут кричать и петь? Она не знает, с чего начать, как их приручить, как сделать, чтобы они ее приняли. Она стала грустной, и Колька заметил это. «Ты чего приуныла? Не ладится что-нибудь? Я и не спросил, как у тебя с ребятами?» Ирина поспешно ответила: «Я весь день проходила, устала. А с ребятами все в порядке. Сегодня у них было собрание, так что не пришлось заниматься, а завтра начну».

Она старалась говорить весело, чтобы Колька не почувствовал лжи. Она не могла признаться в позоре. Что он о ней подумает? Он ее запрезирает. Она почувствовала, до чего это важно, сказать — «я свое сделала». Даже не сказать — подумать про себя. Как Колька в тот первый вечер, когда он рассказал про кауперы.

Она ведь сразу догадалась, что это он лазил... Он не сказал по скромности. Другое дело теперь — ей нечем похвастать. Надо сказать прямо: сплоховала. Но этого Ирина не могла сделать. Ее удерживал страх: что, если она потеряет Кольку? Тогда она останется одна на свете. Она не спрашивала себя о чувствах. Спроси ее об этом Колька, она, вероятно, ответила бы, что любит Сафонова. Но за весь день она ни разу не подумала о Володе. Как ей хотелось разыскать Кольку! Она сама не знала — почему. Но она чувствовала, до чего он ей дорог. Поэтому она и ответила, что «с ребятами все в порядке».

Колька сказал: «Я так и думал. Ребята здесь хорошие. Конечно, стервецы они ужасные, но молодчаги. Я смотрю в оба, чтобы они чего не попортили. Но, знаешь, весной ко мне пришел один: «Дай-ка я заместо тебя полезу. Ты не смотри, что я маленький, я на дерево какое хочешь взлезу и без веток — прямо». Нет, ребята славные! Только болтаются они, вроде как беспризорники. Придется тебе с ними повозиться. Но если сказать: это, ребята, дело! Это завод строят, а не то чтобы собак гонять,— они поймут».

Больше они не говорили о школе. Ирина расспрашивала Кольку о его работе. Он отвечал нехотя: встреча с Ириной настолько его обрадовала, что он не мог говорить о привычных вещах. Ему казалось, что они идут по тихим улицам Томска. Он хотел говорить о другом, о чем, он и сам не знал.

«Я недавно прочел несколько книг. «Герой нашего времени» — я прежде знал Лермонтова только стихи. Потом один французский роман. Автор—Стендаль. Очень хорошо! Я как кончаю такую книгу, мне кажется, что я еще одну жизнь прожил, уж не просто Колька Ржанов, но еще кто-то. Замечательно написано! Но читаю — не могу оторваться, а в душе все время возмущение. По-моему, о смерти они писали правдиво. Я видел, как мать умирала. Я это хорошо чувствую. Что у них, что у нас — одно. Но про жизнь они говорят как-то сторонкой. Все это сильно выражено. Самый ничтожный человечек становится огромным. Но чего-то не хватает. Мне кажется, что эти люди не едят, не работают, не любят. Столько все время чувств, что я читаю и спрашиваю: где же чувство? Понимаешь? Я сам не могу это толком выразить. Вот, погляди, какая у них любовь. Если — несчастье, тогда

я им верю, я понимаю: над этим можно плакать, у меня у самого в горле стоит. А без несчастья они не могут. Или он чересчур самолюбивый, или она скрытная, или плохо друг друга поняли, или кто-то третий затесался. Иногда мне даже кажется, что они нарочно старались подбавить несчастья, чтобы было красивей. Счастье у них какое-то приспущенное, и если люди радуются, то им самим стыдно. О счастье щегленок и тот лучше расскажет. Вот ты мне скажи — почему это?»

Ирина вспомнила рассуждения Володи: «Животные страдают от недостатка в корме или оттого, что им не дают случаться. Это относится и к двуногим разновидностям». Ирина тогда спросила его: «А люди?» Володя ответил: «Люди страдают не от того-то, но для того-то. Только страдая, человек становится непохожим на других». Так думал Володя. Наверно, так думали и старые писатели. Ирина ответила Кольке: «Должно быть, они стыдились простых чувств. А у нас другой подход. Да и любовь теперь другая».

«Это, конечно, верно. Мораль у нас не та. Для них труд был проклятьем, а я вот от этого «проклятья» ожил. Но мне все-таки кажется, что они писали не о живых людях. В любви все похожи друг на друга. Как когда умирают. Я думаю, что и тогда люди любили просто. Знаешь, без разговоров, но так, что дохнуть и то трудно. Только об этом нельзя написать...»

Ирина почему-то перепугалась. Она тихо сказала: «Говорить тоже нельзя». Она боялась, что Колька начнет спорить, но он молчал. Тогда она огорчилась: почему же он молчит?.. Она сказала: «Холодно! Дни хорошие, а ночью здесь холодно. Я совсем замерзла. Ты меня проводишь? Я живу наверху».

Они шли молча. Прощаясь, Колька спросил: «Скоро увидимся?» Он почувствовал, что у Ирины рука совсем захолодела. Заботливо он сказал: «Ну ложись скорей, отогрейся». Ирина послушно ответила: «Да».

На следующее утро, проснувшись, она сразу подумала: «Чего я испугалась?» Она весело пошла в школу. Ребята ее встретили молча, но недоверчиво. Она читала главу из «Войны и мира». Читала она хорошо, и дети внимательно слушали. Но когда она кончила, Костя злобно сказал: «А все-таки это ни к чему!» Ирина была довольна, что ей удалось довести урок до

конца, но она понимала, что ничего еще не сделано: между ней и ребятами была стена.

Она начала работать медленно и упорно: так осаждают крепость. Она вспомнила о рукомойниках. Она пошла в управление. Там на нее сердито прикрикнули: «Не до вас!» Но Ирина настаивала. Ей удалось заполучить ордер на четыре рукомойника. В Стандартстрое сказали: «Пришлем рабочего». Ирина отказалась.

Как будто мимоходом она сказала Косте: «Это ты бузил насчет рукомойников? Я вот достала — четыре штуки. Только рабочих не дают. Может быть, ты за это возьмешься?» Костя был польщен тем, что столь ответственное дело доверили ему. Он тотчас же набрал «бригаду строителей». На следующий день он гордо заявил Ирине: «Рукомойники будут поставлены в трехдневный срок». Это было не дружбой, но началом примирения.

Вскоре после этого Ирину послали в Гурьевск: надо было показать в ФЗУ, как применяются тесты для определения профессиональных способностей. Ирина поехала на день. Она взяла с собой несколько ребят, в том числе Костю и Мишку.

По грязным улицам Гурьевска бродили плешивые куры, но улицы назывались возвышенно, например «Творческий проезд». На заводских воротах значилось: «Чугуноплавильный и железоделательный завод». Это было почтенно и комично. Завод был построен в начале прошлого века. Сто лет тому назад люди раздули первую домну. Они клали в нее древесный уголь — кругом была тайга.

Завод был обнесен крепкими острожными стенами с башнями для часовых. Внутри еще можно было различить следы колец: на заводе прежде работали каторжники. Отцеубийцы и государственные преступники, злодеи и мечтатели стояли у неуклюжей печи: они плавили чугун. Об одних писал стихи Пушкин: «Не пропадет ваш скорбный труд!» О других пели блатные песни в ночлежках и на больших дорогах.

За сто лет завод мало переменился. Начальники горного округа знали, что русские руки куда дешевле заморских машин. Вместо вагонеток двигались старые клячи. На паровых машинах, как на памятниках, стояли солидные даты: «1859». Деревянный кран подымал болванки. Стены были толстые, окон вовсе не было, и в мастерских стояла темь, как под землей. На дворе,

заваленном мусором и шлаком, добродушно пыхтел старенький паровоз. Какой-то находчивый инженер приделал к нему длинную трубу, и паровоз шел за машину.

Ребята глядели на лошадей и на деревянный кран. Они весело смеялись: они помнили машины Кузнецка. Как скучный урок, выслушали они рассказ о каторжниках. Недавно им показывали скелет мамонта... Они не верили в труд мертвых людей. Им казалось, что жизнь началась вместе с ними. Тогда-то среди степи родился Кузнецкий завод.

Ирина, поглядев на кран, невольно улыбнулась. Она представила себе рядом два крана: вот этот, деревянный, и моргановский. Она почувствовала, как быстро идет жизнь. Не успеешь опомниться, и мир уже другой. Непонятно, как люди прежде жили? Потом она задумалась: почему же вещи меняются быстрее людей?.. Нет, и люди меняются. Разве можно сравнить этого инженера с невежественным начальником, который кричал на каторжников?.. Только меняются не все вещи, да и не все меняется в людях. Конечно, автомобиль не похож на телегу, а вот колесо осталось колесом. Нельзя без смеха глядеть на эту печь. Но разве смешон Пушкин? Колька не мог оторваться от Стендаля. А ведь Стендаль — ровесник этого завода.

Ее смущала неравномерность развития: как будто у человека росла только одна рука, или плечи, или голова. Жизнь менялась, как на экране: вот прошло десять лет — не узнать Сибири, и жизнь оставалась настолько той же, постоянной и непрерывной, что становилось страшно. Колька сказал ей: «Люди и тогда любили просто». Значит, тоже любили, рожали ребят, радовались, умирали. Нет, лучше об этом не думать! Это та жизнь, которая идет сама собой — вне мыслей, вне плана, вне истории. Думать надо о другой жизни, быстрой и понятной: о работе, о кранах, о школе.

Она сказала ребятам: «Смешной завод? А вот вы не знаете, что он поработал на Кузнецк. Мне инженеры говорили, что без Гурьевска трудно было бы управиться. Здесь отливали для Кузнецка различные части. Да и теперь много заказов. Все, что здесь делают, — это для Кузнецка. Конечно, потом завод сломают или перестроят. Но свое он сделал: старик, а помог молодому».

Она сказала это просто, как будто невзначай. Никто не мог бы догадаться, что ради этих слов она привезла сюда ребят. По тому, с каким вниманием выслушали ее дети, она поняла, что, может быть, впервые они почувствовали уважение к труду их предшественников. Костя сказал, показывая на деревянный кран: «Крепкий-то какой — держится!»

Когда они возвращались в Кузнецк, Мишка тихонько сказал Косте: «Она — ничего. Конечно, девчонка, но свое дело знает. Это не Марья Сергеевна». Костя неопределенно хмыкнул.

На уроке Костя сказал Ирине: «Почему вы все время говорите — «так нельзя сказать»? Кому они нужны, эти правила?»

Ирина стала объяснять, что такое язык. Она сама увлеклась. Она говорила о том, как трудно найти слова простые и точные. Потом она упомянула о музыке. Она повторяла различные слова, и дети, насторожась, слушали: слова пели. Их было много, как деревьев в лесу. Одни старились и умирали, другие рождались, но лес шумел, лес оставался лесом. Волнуясь, она прочитала стихи: «И если туча оросит, блуждая, лист его дремучий, с его ветвей уж ядовит стекает дождь в песок горючий». Волнение Ирины передалось ребятам. Они сами не понимали, почему их так увлекли эти стихи. Они даже не думали о страшном дереве. Они были смущены силой слов. Так прошла минута-две. Потом Манька робко сказала: «До чего это красиво!» Ирина в изнеможении села на стул.

Дня три спустя после урока к Ирине подошел Костя. Он что-то хотел сказать, но мялся и переступал с ноги на ногу. Наконец он сунул в руку Ирины тетрадку и тотчас же убежал прочь. В тетрадке были переписаны два стихотворения Кости. Одно называлось «Гигант стали», другое — «Александр Пушкин». Ирина много раз перечитала неуклюжие строки. Она не могла сдержать свою радость. Она все время улыбалась: улыбалась в школе, в столовке, улыбалась и когда шла к Кольке.

Она не видела Кольку с того вечера. Как-то они столкнулись в клубе, но Ирина сразу ушла. Она не хотела его видеть, пока не добьется своего. Она постучала в окошко, Колька высунулся. Не вытерпев, она закричала: «Есть, Колька!» Она весело вбежала в комнату. «Я теперь знаю, что могу работать. Я говорю

и чувствую — слушают. Не так, как раньше. Я тебе не говорила... Но это было здорово трудно. Такой Костя... Он хороший мальчишка. Только сначала я думала, что я от него повешусь. А теперь он стихи пишет. Нет, ты ничего не понимаешь! Я вздор мелю — все вместе. Но ты пойми, я так счастлива!..»

Она не могла больше говорить. Она взяла Кольку за руки, и Колька начал ее кружить вокруг себя. Они оба смеялись, и оба не знали, почему смеются. Они хотели о чем-то заговорить, но разговор не вышел.

Ирина сказала: «Пойдем ко мне, я тебя антоновкой угощу». В комнате Ирины было темно. Она не зажгла света. Она выбрала самое большое яблоко и дала Кольке: «Вот тебе». Он не взял. Он подошел к Ирине и крепко поцеловал ее. Тогда Ирина строго сказала: «Ешь яблоко!» Колька в темноте не мог разглядеть ее лица. Она улыбалась. Он только догадывался об этой улыбке. Он послушно грыз яблоко и тоже улыбался. Потом Ирина сказала: «А теперь иди! Мне нужно работать — в шестой группе трудный урок. Я завтра за тобой зайду».

Она просидела еще часа два за книгой. Иногда она глядела в сторону и улыбалась. Она не вспоминала при этом Кольку и ни о чем не думала. Она просто радовалась.

В соседней комнате жила Варя Тимашова. Она преподавала в ФЗУ природоведение. Это была та самая Варя, которая мечтала об Ингеборг и записывала в тетрадку свои мысли. Иногда ночью она заходила к Ирине. Они терли глаза — глаза закрывались: обеим хотелось спать. Но еще сильнее обеим хотелось говорить, и, борясь со сном, они говорили о книгах, о ребятах, о жизни.

Варя пришла из школы в десять вечера. Ее провожал инженер Глотов. Всю дорогу он говорил о деррике. Потом он зашел в комнату Вари, и Варя забеспокоилась. Она сказала: «Я живу не одна. Здесь еще Марья Сергеевна живет. Она должна сейчас прийти». Глотов молчал. Варя сказала: «Вот вы говорите, что на этом деррике...» Она не докончила — Глотов больно сжал ее плечи. У нее потемнело в глазах, и она сама к нему придвинулась. Потом она в страхе крикнула: «Да ты с ума сошел! Сейчас Марья Сергеевна придет!» Она оправила волосы и тихо сказала: «Завтра я весь вечер одна». Глотов ушел. Варя хотела выбежать и сказать ему, чтобы он вернулся: насчет Марьи Сергеевны она выдумала — Марья Сергеевна уехала на шесть дней

в Новосибирск. Но она не позвала Глотова. Она даже с улыбкой подумала: здорово я сочинила!.. Потом ей стало грустно. Она попробовала было вынуть тетрадь и записать мысли, но мыслей не нашлось. Тогда она пошла к Ирине.

Она спросила Ирину: «Ты не знаешь, что такое в точности этот деррик?..» Ирина начала объяснять, но Варя ее прервала: «Я тебя об этом завтра спрошу, а то сейчас ничего в голову не лезет». Она помолчала, а потом, сев рядом с Ириной на кровать, тихо сказала: «Когда читаешь романы, так все красиво, и любить они умеют. А у нас ни на что нет времени. Вот и остаются эти деррики... Ты знаешь, я хотела бы жить на каком-нибудь острове. Чтобы деревья и никого. Только он. Вот тогда это настоящая любовь...» Ирина тоже вздохнула. Они еще долго о чем-то говорили, сами забывая, о чем говорят, взволнованные и растерянные. Потом, доверясь друг другу, они тихонько поплакали. Они не понимали, откуда эти слезы. Им казалось, что они плачут оттого, что жизнь страшна и непонятна. Но это были легкие слезы, и они плакали от счастья. Они уснули с мокрыми щеками. Сон был ровный, глубокий — сон до утра.

На следующий вечер Ирина зашла, как обещала, к Кольке. Они не шутили и не смеялись. Они пошли к Ирине. Шли они, торопясь, хотя торопиться было незачем. Над трубами мартена висела луна, большая и близкая. Казалось, что и луна — это только диск расплавленного металла. Ирина поглядела на нее и недовольно отвернулась: она не хотела ничего видеть. Когда они пришли в комнату, она первая обняла Кольку.

В комнате было темно и тихо, и это длилось долго, так долго, что нельзя было поверить свету, голосам и памяти. Ничего и не было до этой ночи: жизнь только начиналась. Эта жизнь не спешила, она была горячей и неподвижной, она признавала только мельчайшие движения: вот Ирина вздохнула, вот Колька бережно поцеловал ее в плечо. Они прислушивались к дыханию; как неведомый мир, они открывали выпуклость лба, мускулы рук и горькую сухость кожи; они срастались, как сращиваются деревья, и много времени прошло, прежде нежели человеческий голос решился вмешаться в эту сосредоточенную тишину. Колька тихо сказал: «Ирина!..» Она не ответила. Она не могла говорить, не могла даже шелохнуться — до краев она была полна спокойствием.

Они вышли на улицу под утро: Ирина сказала, что хочет проводить Кольку. Она боялась остаться одна в этой комнате. Уходя, она настежь раскрыла окно.

Они шли теперь медленно и рассеянно. Навстречу прошли рабочие с ГРЭС. Один из них крикнул: «Что, Колька, гуляешь?» Колька не откликнулся. Вдруг Ирина поскользнулась. Она чуть было не упала в яму. Колька ловко подхватил ее и рассмеялся. Засмеялась и Ирина: «Совсем как пьяная...» Оба обрадовались этому происшествию: все сразу переменилось, стало простым и ясным, похожим на день. Они могли теперь болтать о пустяках. Они и не обмолвились о том, что было. Возле мостика Ирина сказала: «А теперь я пойду домой. Еще два часа до школы — попробую соснуть».— «Может, проводить тебя?» Ирина отказалась: ей хотелось остаться одной.

Она пошла назад. Она ни о чем не думала. Она только повторяла про себя последние слова Кольки: «Значит, завтра...» Она снова была спокойна и счастлива.

Подымаясь в гору, она услыхала позади шаги. Сначала она подумала, что это случайный попутчик. Но потом ей стало не по себе, она приостановилась. Остановился и человек. Она услышала, как чиркнула спичка,— наверно, закуривает... Она пожурила себя: что за трусость? Здесь и нет никаких грабителей. Но она все же не успокоилась. Она хотела заставить себя оглянуться, но не могла. Она то останавливалась, то шла очень быстро. Человек не отставал. Она тревожно поглядывала на темные бараки. Кругом никого не было. Что же это такое?

Теперь она остановилась потому, что не могла идти дальше: сердце колотилось — вот-вот разорвется. Она прислонилась к стене барака. Тогда человек подошел к ней вплотную. Она поглядела и тихо вскрикнула — это был Володя.

14

«Я видал однажды в кино смешную картину: весенняя лужица была заснята первым планом. Все думали, что это бурный водопад, Ниагара. Труднее показать другое: до чего каждая капля бушующего океана живет скучной и мизерной жизнью! Конечно,

издали все это весьма величественно. Вблизи — стоячая вода: распределители, карьера, сплетни. Поэтому я затрудняюсь сказать, что я решил «переменить жизнь». Это слишком громко. Вернее — я решил переменить местожительство. Я подал заявление о переводе на отделение черной металлургии. Придется приналечь на физику и химию, но это легко — уровень, разумеется, низкий. В математике я сильнее всех. Словом, особых трудностей, к сожалению, не предвидится.

Итак, капитуляция! Ирина с полным основанием скажет (как после знаменитого «выступления»): «Я за тебя рада». В поединке между чугуном и Сафоновым победил чугун.

Вполне возможно, что я ищу примирения с жизнью или, выражаясь менее возвышенно, пробую приспособиться. Мне надоело переть против рожна. Кому нужна сейчас какая-то абстрактная наука? Конечно, они гордятся Павловым, но это оттого, что у него мировое имя. Это как памятник старины — пусть все видят, что и мы не варвары! Павлову могут дать замечательную лабораторию, двойной паек. Но молодому ученому не стоит обольщаться — его задача ясна: это все тот же тришкин кафтан. Один сидит и думает, чем бы заменить гуммиарабик, так как это импортный продукт. Другой ищет суррогат глицерина. Третьему поручено добиться изготовления бумаги из водорослей (дерева сколько угодно, но с целлюлозой возня — нельзя ли попроще?). Я читал в газете, что какой-то прохвост придумал, как изготовлять валенки из человеческих волос.

Я охотно признаю, что они правы. Когда человеку нечего жрать, он плюет на логарифмы. Если сейчас какой-нибудь советский астроном откроет новую планету, я первый усмехнусь: нашел что открывать! Какое нам дело до планет, когда нет штанов? При таких обстоятельствах «чистая наука» становится не только подвигом, но зачастую и свинством, как чистая поэзия и пр.

Я не могу уехать на другую планету. За границу мне и самому не хочется, особенно после разговора с тем французиком. Значит, я собираюсь жить в стране, именуемой СССР. Вывод ясен: этой стране нужен чугун и ей совершенно не нужна абстрактная математика.

Я хочу быть прежде всего честным. Можно ли презирать инженера, который работает на заводе? Он — тот же землекоп или каменщик. Это настоящая

работа. Если у нас ее делают хуже, чем в Германии, то это зависит от средств, а не от людей. Бедности нечего стыдиться. Но как только отступаешь от этого прямого дела, начинается фиглярство. Поэты пишут стихи о домнах, художники изображают театральных ударников, историки литературы объясняют романтизм справками о развитии паровой машины и т. д. Я лично предпочитаю чугун.

Помимо этих общих соображений, мной, по-видимому, руководит страх — желание спастись, ухватиться хотя бы за щепочку. Я столько слышал про эти стройки — все ими захвачены. Вдруг и Володя Сафонов, после Сенек, уверует в св. Домну?.. Если это массовый психоз, то почему я не могу ему поддаться? Во всяком случае, я поеду туда с искренним желанием разделить чувства других.

Я перечел все написанное, и мне самому смешно. Конечно, все это так. Это — мои мысли. Но позвольте, товарищ Сафонов, поставить маленький постскриптум: отделение черной металлургии, как вам известно, находится в Кузнецке. Там же находится Ирина. Вы говорите, что вас влечет к себе чугун? Всякое бывает!.. Но не думаете ли вы, что это весьма напоминает скверный бульварный роман?»

Володя записал это еще в Томске. С тех пор прошло два месяца. Он приехал в Кузнецк. Он познакомился с разными людьми: с инженером Костецким, с Толей Кузьминым, с Соловьевым. Он не встречал Ирины. Он не знал, как ее разыскать, и в душе он радовался этому. Он боялся встречи. Он хотел убедить себя, что он приехал в Кузнецк отнюдь не ради Ирины.

Он попробовал увлечься металлургией. Ему показалось, что это живое дело. Он провел вечер в беседе с Костецким. Костецкий рассказывал об американских заводах. Когда они расстались, Володя подумал, что наконец-то он врастает в жизнь. Тогда с еще большей силой ему захотелось увидеть Ирину.

Он теперь часто видел ее во сне. Тогда все менялось — Володя был настойчив, даже груб. Он так крепко обнимал Ирину, что та кричала, и Володя просыпался. В столовой или в клубе он жадно вглядывался в лица женщин. Но Ирины не было.

Он увидел ее поздно ночью, возвращаясь с работы. Она стояла возле мостика с каким-то незнакомым ему человеком. Володя подошел настолько близко, что

услышал шепот: «Значит, завтра...» Они его не заметили. Володя сразу понял, что он опоздал. Это было просто, как с комнатой или с калошами,— его место занял другой.

Он хотел было просто уйти. Он не любил борьбы: счастье либо сразу давалось, либо оно вовсе и не было счастьем. Но он не ушел, он поплелся вслед за Ириной. Он понимал, до чего это глупо, но он не мог ни окликнуть ее, ни отстать. Он шел как лунатик, ничего не соображая, полный горя.

Когда Ирина, увидав его, вскрикнула, он бросился прочь. Он бежал, как воришка, которого накрыли с поличным. Он понял, что Ирина его боится, и ему самому стало страшно. Зачем он ее преследовал? Он ненавидел себя, и, если бы человек умирал от одного нежелания жить, он, наверно, умер бы среди этих жалких землянок, с глупой гримасой страха и с лицом, мокрым от бессмысленного бега. Он хотел вытереть лицо; дотронувшись рукой до лба, он брезгливо вздрогнул. Он обрадовался дневному свету и рабочим, которые шли на стройку. Впервые с признательностью он подумал о чугуне, который обещал ему несколько часов передышки.

Вечером снова встало все: испуг Ирины, потный лоб и простая короткая мысль: «Опоздал!» Он вдруг всполошился: может быть, Ирина попросту испугалась? Ведь она не знала, что он в Кузнецке. Но тотчас же он вспоминал широкие плечи того, третьего. «Значит, завтра...» Вот оно и наступило это «завтра»! Сейчас они вместе. Почему-то Володе показалось, что это должно происходить в Томске, в комнате Ирины. Он видел, как тот, с широкими плечами, обнимает Ирину. А на столе — черемуха... Но ведь это уже было с Володей. Он усмехнулся: по требованию публики спектакль повторен. Сенька или Петька. Такой, конечно, не ведет дневников. Ему и в голову не придет разыгрывать благородство. О чем тут говорить? Он потерял Ирину — это просто и ясно. Ирина ушла к чугуну, и не так, как Володя,— без позы, без снисхождения, без страха. Утром — в школу, вечером — с этим... Через год-другой можно будет поздравить социалистическое отечество с новым гражданином, который пригодится для пятой пятилетки. Вот и все.

Кругом него люди жили, как прежде. Они жили, сжав зубы. Они строили завод.

Инженер Костецкий выписал из Москвы жену, и жена, приехав, сказала: «Какой ужас!» Костецкий спокойно ответил: «Никакого ужаса. Мы вот вторую домну пустили. В столовке сносно — да ты сама увидишь. А одному трудно — пуговицу пришить и то некому. Хожу как босяк. Ну пока! Я побегу на заседание».

Толя Кузьмин сочинил стишки о безобразии на кухне: «У поваров Федьки, Мани и — Романа вино ни-ни — не выводится — приблизительно — и при окончании работки — у ребяток наших робких — ни капли не осталось водки — утешительно». Эти стихи были помещены в стенгазете.

Шор взялся теперь за блюминг. У него был жестокий припадок, но, провалявшись два дня, он прибежал в цех и весело крикнул: «Ну-ка, пристыдите прогульщика, покажите, что вы тут понаделали». Немец Вагнер сказал Шору: «Мой контракт кончается, но я хочу остаться. Я буду работать как русский». Шор крепко пожал руку Вагнеру. Тогда Вагнер осмелел. Он спросил Шора о том, что давно его смущало: «Когда я говорю: надо выписать то-то из Германии, — русские смеются. Один раз я понял — они сказали: «Это немецкие штучки». Они отвечают, что это можно сделать руками. Конечно, можно, но сколько сил тратится зря! Ведь человек что-нибудь да стоит!» Шор улыбнулся ласково и чуть грустно. «В Германии мы должны расплачиваться валютой. У нас другая экономика. Да и нервы другие. А главное, помимо расчета, у нас имеется... Как бы вам это объяснить?.. Официально это называется «энтузиазмом». Одним словом, замечательная страна! Поживете еще год-другой, тогда и поймете!» Шор сказал и схватился за грудь — доктор строго-настрого запретил ему двигаться. Потом он побежал дальше.

На стройку понаехало самотеком много разного народа: казахи, чуваши, мордва. Молодой тунгус, увидев велосипед Фадеева, обмер. Он сказал: «Автомобиль мы видали. Самолет тоже видали. Они идут потому, что внутри машина. Но эта штука идет сама собой!»

Ударная бригада шорцев приняла резолюцию: «Так как гигант строится на нашей шорской земле, мы даем торжественную клятву перевыполнить задание, чтобы помочь совхозам, а также защитить советское отечество от хищников международного империализма». Бри-

гадир, шорец с хитрыми глазами и печальной улыбкой, пососал трубку, а потом сказал Соловьеву: «Отпусти меня на два месяца! Теперь время идти на охоту. Теперь время бить выдру и соболя. Я пойду в тайгу. Железо может ждать, а зверь не ждет». Тогда выступил комсомолец Морич, и он сказал: «Ты говоришь не как сознательный. Ты говоришь как зажиточный. Мы строим этот гигант. Страна не может ждать, стране нужно железо. Если ты уйдешь, я первый скажу, что ты дезертир». Бригадир вздохнул и остался.

Выпал снег, и наступила еще одна зима. Одни говорили — третья, другие — четвертая: никто не знал, когда началась стройка.

Варя Тимашова как-то ночью зашла к Ирине и сказала: «Черт знает что! Прибавили еще два урока. Сегодня у меня было одиннадцать. Я говорю с ребятами и чувствую, что засыпаю. Васька написал работу об уме собак. Так здорово, что я думаю послать в Москву. Он три года был подпаском: знает все об овчарках. А у тебя как?»

Варя постояла еще несколько минут, а потом, повернувшись к стене, сказала: «Кстати, ты знаешь Глотова? Высокий. На деррике. Так мы с ним поженились. Вчера. Пожалуйста, не смейся!» Вся красная, она выбежала из комнаты.

Ирина по-прежнему работала в школе. Мишка спрашивал, что такое ямб. Ребята писали: «Задание третье. Тема: «Неделя» Либединского. Целевая установка: осознать, как показывает автор героическую борьбу коммунистов в период военного коммунизма. План проработки: чтение произведения, краткий доклад бригады, анализ содержания».

Костя писал: «Коммунисты совсем забывали личную жизнь. Они все внимание сосредоточивали на революционной борьбе. Например, Робейко. Он был болен туберкулезом, и ему трудно было говорить, но он делал доклады о заготовке дров».

Потом Костя говорил Ирине: «Интересно они жили! Наши парни все норовят получить путевку в дом отдыха. Но когда начнется война с империалистами, будет куда веселей». Ирина, улыбаясь, показывала ему на рвы, насыпи и землянки: «Чем тебе не война?»

Ирина быстро оправилась после встречи с Володей. Иногда она еще плакала, но она стыдилась этих слез: она не хотела жить прошлым. Томск теперь ей казался

детством — уютным и никчемным. Володю нельзя было пожалеть — тотчас же она вспоминала насмешливый голос: «Се-нька по-эт...» Он не хотел, чтобы Ирина жила как все. Он хотел ее запрятать в душное подполье, где только он и книги. Думая так, Ирина радовалась, что она не с Володей.

Она теперь много работала. Колька записался на вечерние курсы. Их встречи были короткими и напряженными: столько надо было вместить в один тесный час! Но они были счастливы: они твердо знали, что это и есть та «простая любовь», о которой говорил Колька, прочитав Стендаля.

Ирине казалось, что все в ее жизни ясно и понятно. Но когда, среди редких хлопьев снега, как бы рассеянно падающих сверху, она увидала лицо Володи, она сразу растерялась. Растерялся и Володя. Он теперь не пробовал убежать. Они стояли друг против друга в нерешимости. Потом на лицах проступила улыбка: еще ни о чем не думая, они попросту обрадовались. Ирина почувствовала, что эти серые глаза — не чужие. Она робко попросила: «Володя, может, зайдешь ко мне? Надо нам поговорить».

Володя покорно пошел с ней. Они шли молча. Они больше не улыбались, и, когда они пришли к Ирине, Ирина с испугом подумала: а ведь говорить не о чем!.. Она спросила: «Хочешь чаю?» Володя вежливо отказался. Они снова помолчали. Потом Ирина сказала: «Ну, как тебе здесь живется?» — «Спасибо. Как всем. Обучаюсь. Строю, конечно, гигант. Хворал гриппом. В общем, ничего особенного». Он говорил нехотя, как будто его клонило ко сну. Ирина не поверила ни словам, ни голосу. «Ты это для стиля... Хорошо, что ты сюда приехал. Это не Томск. Для тебя это не просто переход с одного отделения на другое. Это шаг к жизни».

Володя усмехнулся, и сразу все напомнило Ирине Томск: глаза Володи, которые никогда не смягчались улыбкой, голос — злой и в то же время трогательный, докучливые рассуждения, подлинная боль и вся откровенная нелепость его жизни. Она подумала: «Милый...», но тотчас же спохватилась и поправила себя: «Бедный... бедный и чужой».

«Я здесь говорю исключительно о руде, о сере, о процентах кремния. Эти дни я был так занят, что не было времени даже подумать. Но я попробую тебе

ответить. Это не шаг к жизни. Если ты хочешь обязательно, чтобы я шагал, это скорее шаг к смерти. В Томске еще были вещи, которые меня привязывали: библиотека, деревья в садах, профессора, собаки на улицах. Словом, хлам. А здесь никуда не запрячешься. Это прекрасная школа — я говорю, конечно, не о втузе. Я здесь с каждым днем избавляюсь от глупой привязанности к жизни. Конечно, в этом отношении сегодняшняя встреча — ошибка. Но это не важно — я ведь никак не обольщаюсь...»

Он помолчал. Ирина увидела, как он злобно изорвал окурок. Она боялась с ним заговорить, боялась, что любое слово будет ложью. Заговорил снова Володя. Он посмотрел на Ирину и спросил: «Как его зовут?.. Да ты понимаешь, кого... Се-нька? Или Петька?»

Ирина вскочила. Она была вне себя от гнева. Впервые Володя увидел ее такой. «Ты не смеешь так говорить! Уходи! Сейчас же уходи! Ты думаешь, что они ниже тебя? Они на сто голов выше! Ты хочешь поглядеть свысока, а выходит низко, очень, очень низко...»

Володя прикрыл лицо рукой. Он тихо сказал: «Ты что же хочешь сказать? Что я его презираю? Куда там! Я ему завидую. Всему. Что у него вот такие плечи. Что он с тобой сумел по-другому, не как я. Что его, наверно, всерьез интересует, сколько процентов кремния в чугуне. Я и злюсь оттого, что завидую. Я совсем не герой, Ирина. Скорей ничтожество. Даже хуже...»

Гнев Ирины прошел, остались усталость и какое-то глубокое удивление, она как будто впервые увидела Володю. Она спрашивала себя: «Неужели я его любила? Ведь это не человек, это труп! О таких прежде писали в романах... Если и есть в нем живое чувство, то одна только ненависть. Он ненавидит меня, ненавидит Кольку, всех ненавидит. Он и себя не любит. О чем он еще говорит?..» Она заставила себя прислушаться к словам Володи. Он сидел по-прежнему, закрыв руками лицо, и разговаривал скорее с собой, нежели с Ириной.

«Религия вообще нелепость. Но все же Христос на кресте — это не дядя Мартын. Я понимаю, что можно строить заводы. За границей тоже строят. Ну, не теперь, теперь не строят — кризис, чересчур много понастроили. Но там печь — это печь. Нельзя в двадцатом веке ввести примитивный фетишизм. Как-никак мы

не шорцы! Ты думаешь, что история — это прогресс, а это попросту толчея — как на базаре: взад и вперед. Все, конечно, меняется, только никому от этого не легче. Иллюзия движения, иллюзия цели, иллюзия...»

Он не докончил фразы — в дверь постучали. Нехотя он отдернул руку от глаз. Он увидел человека с широкими плечами. Он хотел сразу уйти: пускай воркуют о чугуне! Удержало его самолюбие: вдруг Ирина подумает, что он испугался? Он первый протянул руку: «Сафонов». Колька приветливо улыбнулся, и эта улыбка еще больше разозлила Володю: чем не американцы?..

Колька даже не задумался — кто этот человек: преподаватель ФЗУ, вузовец, инженер. Он был занят своим. Он, волнуясь, рассказывал: «Двух землекопов сегодня пришибло. Насмерть. Они тащили из котлована щит. Деревянный. Они его на себе таскают. Один повернулся неловко — и бац. Черт побери, ведь какое безобразие!..»

Ирина молчала. Она видела двух бородатых людей в меховых шапках. Они лежали на снегу. Над ними голосили бабы. Бороды были гладкие и расчесанные, а лица измараны кровью. Она видела это так ясно, как будто была там. Весь день стал ей страшен: кровь, болтовня Володи и вой ветра за окном — начиналась метель.

Володя, выслушав Кольку, сказал: «Я не понимаю, чему вы удивляетесь? Конечно, Кузнецкий завод — чудо техники и прочее и прочее. Но строят его так, как строили пирамиды. Нагнали мужиков и успокоились — мужичок вывезет. Имеются экскаваторы, деррики, грейферы, но землю они таскают на себе. Месят ногами. А грабари — видели? Словом, с одной стороны моргановский кран, с другой — даже не Петр, но допетровская Русь».

Колька пристально поглядел на Володю: «Вы кто же, товарищ? Из ФЗУ? Или так, проездом?..» — «Я втузовец. Работаю здесь». Тогда Колька нахмурился: «Я вас не понимаю. Так только враги могут рассуждать. Конечно, у нас мало средств. Этого нет, того нет...» Володя его перебил: «Могло бы все быть. За границей не так строят. Да и живут там иначе...»

Колька возмущенно поглядел на Ирину, как бы спрашивая: откуда такой взялся? «Конечно, могло бы быть все. Только нас бы тогда не было. То есть сидели бы здесь господа из какого-нибудь «Копикуза», а мы

бы на них работали. Может быть, поставили бы еще десяток грейферов. По-моему, лучше землю руками таскать. Теперь, по крайней мере, мы знаем, что это для нас. Разве в самом заводе дело? Вы думаете, я не знаю, что в Америке и не такое еще строили? Для меня это — как крепость взять. Конечно, у нас многого не хватает. Но ведь мы только-только начинаем. Красный директор, а он пять лет тому назад свиней пас. Или казахи — ведь это дикари, азбуке их надо учить. За каждую заграничную машину мы чем платим? Очень просто — голодом. Да вы это сами знаете. Нечего митинговать. Я о другом хочу вас спросить. Вот вы втузовец. Вы мне можете помочь. Я, видите ли, что надумал — надо землекопов выручить. Если нет настоящих кранов, почему бы не смастерить деревянный? Чтобы щиты подымал. Сразу полегчает. Да с краном не может быть такого безобразия — ведь задавило их!.. А сделать, по-моему, нетрудно. Вот посмотрите — я нарисовал...»

Володя поглядел на чертеж и рассмеялся. «Каменный век! Вы не сердитесь, но только это очень смешно. Теперь вечную спичку изобрели. Вот и представьте себе, что является советский изобретатель: «Я придумал усовершенствованный трут».

Колька не смутился. Он спрятал чертеж в карман. «Что ж, если нет спичек, и трут придумаешь. Это вопросы практические. Нечего тут спорить о принципах. Я вот увидел, как людей зашибло, и подумал — почему бы не устроить такое?.. А не хотите, я другого спрошу. Или сам попробую».

Ирина молча слушала спор. Но, увидав все ту же снисходительную улыбку Володи, она не вытерпела: «Сейчас как раз время поглядеть на мир свысока. Что людей задавило, на это тебе наплевать. И вообще на все наплевать. Ты, Колька, его не слушай! Он сам мертвый и не хочет, чтобы другие жили...»

Володя тихо ответил: «Я, собственно, не о том думал... Впрочем, это не важно. Я вот засиделся, пора за работу!» Он неловко простился и вышел. Тогда напряжение Ирины сразу спало. Она заплакала. Колька растерянно спросил: «Что с тобой?» Она не ответила. Он понял, что это не случайный посетитель. Он вспомнил, как в Томске Ирина ему сказала, что любит другого. Никогда прежде он ее об этом не спрашивал. Теперь, нагнувшись к Ирине, Колька спросил: «Он?» Ирина ответила: «Да».

Колька отошел в сторону. Он сам не понимал, что с ним. Вдруг он решил, что Ирина его не любит. Колька ненавидел этого втузовца — как он смеялся над его рисунком! Нарочно — при Ирине. А Ирина — как все девчата. Только другие падки на красоту, а Ирина увлеклась разговорами: «каменный век», «допетровская Русь»... Конечно, если она любит такого...

Ирина подошла к нему сзади и руками обняла его шею. Оглянувшись, он увидел, что Ирина улыбается. Тогда он сразу забыл обо всем. Он виновато пробубнил: «Странный он — задается». Ирина покачала головой: «Нет, он просто несчастный. Но я не хочу о нем больше думать. Покажи мне, что ты там нарисовал — какой это кран?»

Они долго сидели над рисунком. Колька объяснял: «Вот это хвост, здесь — лебедка...» Потом, на минуту оторвавшись от чертежа, он сказал: «А знаешь, Ирина, я ведь приревновал. Ужасно глупо! Ты меня можешь презирать — вот говорим то да это, а сколько у нас внутри старья!.. Ну скажи, очень презираешь?» Ирина спокойно ответила: «Нет, очень люблю».

Володя не пошел работать, как он сказал Ирине. Он не знал, куда ему деться. Он отгонял мысли об Ирине, но все время он возвращался к тому же — противно! Почему он возмутился? Пора бы привыкнуть! Никто его не преследует. Он не в Чека. Он и не лишенец. Государство выдает ему науку, хлеб, даже штаны. Он не может сказать, что он жертва.

А жить он тоже не может. Все теперь ясно. Он мог быть философом. Он занят чугуном. Он мог говорить о поэзии с людьми, равными ему. Он говорит с Петькой о пользе туалетного мыла. Он мог любить Ирину. Но Ирину они отобрали. Это в порядке вещей. Это, наверно, вытекает из так называемого истмата. А засим?..

Он увидал Толю Кузьмина. Машинально спросил он: «Ты куда?» Толя шепнул: «В Кузнецк — за водкой». Тогда Володя быстро сказал: «Я с тобой! Выпьем...» И Толя весело загоготал: «Да еще как! С огурчиком! Чтобы все завертелось...»

15

О Толе Кузьмине Маркутов сказал: «Шут его знает! Не то он анархист, не то просто летун». Никто не знал толком, откуда он взялся. Васька, услыхав его

разглагольствования, в злобе сказал: «Ты незаконченный тип». Толя усмехнулся: «Конец — делу венец, а теперь и венцов нету — только серп и молот».

Он любил глупые прибаутки и пиво. Он осторожно отодвигал губами пену и полоскал рот горьким пойлом. Он сыпал в пиво соль. Щипало в носу, он пил и улыбался. Он умел танцевать все танцы: барыню, матлоты, коробочку, даже фокстрот. Па-де-труа он называл «под утро». Танцевал он залихватски, глядя хитро в сторону и приговаривая: «А еще, а еще!» Он вытирал лоб и кричал музыкантам: «Ну-ка, поджазбань матлота!» Он умел плеваться тонким плевочком, не шевеля при этом губами. Он умел также, набрав в рот пива, пускать дым кольцами. Ругался он неожиданно: «Эх ты, Перегиб Емельянович!» Если в трамвае какая-нибудь гражданка просила его: «Станьте, пожалуйста, боком»,— он пренебрежительно отвечал: «Сама ходи конусом». Выпивая, он мрачно горланил: «Товарищ, товарищ, за что мы боролись!» Он никогда ни за что не боролся, но ему казалось, что он страдал и узнал разочарование.

Он был прежде доверчив и растерян. Прочитав «Цемент», он растрогался и решил строить новую жизнь. Всю зиму он аккуратно ходил на собрания. Секретарь ячейки Розен говорил: «Необходима квалификация». Розен был худ, бледен и близорук. Он никогда не смеялся. То и дело он глотал какие-то пилюли: у него были боли в желудке. Толя зашел к Розену. Он увидел, что Розен пишет. Толя спросил: «Сочиняешь?» Ему показалось, что Розен тайком ото всех пишет замечательный роман, вроде «Цемента». Но Розен писал письмо в редакцию «Комсомольской правды». «В номере от 14 мая я прочел: «марксизм-ленинизм» — через дефис. Я прошу ответить, разделяет ли редакция такое толкование, и если да, то...»

Толя рассмеялся. «Тебе, брат, в попы надо. Или — как это по-вашему — в раввины!..» Розен обиделся: «Меня интересует теория». Толя продолжал смеяться: «Разве ты человек? Ты знак препинания, вот что ты! Сидишь, пишешь, мог бы цельный роман написать, а ты о дефисе...» Розен возмутился: «Такая вещь важнее десяти романов...» Толя в досаде махнул рукой. Он вдруг почувствовал, до чего ему надоели и Розен, и собрания, и красные доски, и политграмота.

Он влюбился в Лизу Аксюнину. Лиза была красивой рослой девушкой. Она чуть косила. Голос у нее был

глухой, и, когда она говорила самые обыденные слова, казалось, что она говорит о чем-то сокровенном. Она любила пестрые платочки и духи. Увидев ее, Толя опешил. Он не знал, как к ней подойти. Он попробовал заговорить о «Цементе», но Лиза сказала: «Я книг не читаю. Я молодая, мне жить хочется. Вот пойдем завтра в клуб танцевать». Так Толя научился матлотам. Он шепнул Лизе: «У меня квалификация — во какая!..» Лиза прогуляла с ним несколько дней. Потом она сказала: «Здесь немка туфли продает. По случаю. Настоящие заграничные. И номер мой». Толя испуганно спросил: «Сколько?» — «Восемнадцать червонцев — это недорого». Толя сплюнул: «Да ты с ума спятила?» Он решил, что Лиза перебесится. На следующий день Лиза ему сказала: «Я сегодня иду с Петрицким в цирк». Толя разозлился: «Я с таким спекулянтом и разговаривать не стану». Лиза повела своими раскосыми глазами: «Не разговаривай. Я и сама сговорюсь». Так кончилась первая любовь Толи.

Он тосковал и хотел как-нибудь утешиться. Рядом с ним работала Настя. Ее дразнили «соней» — она сладко зевала и терла кулачком зеленые ласковые глаза. Настя была комсомолкой. Она сказала Толе: «Очень мне нравится Жаров — как он пишет про наш нахальный комсомол». Слово «нахальный» она произнесла с гордостью. Толя подумал: эта тертая!.. Он поймал ее в темном коридорчике. Настя вдруг стала высокой и строгой. Она сказала: «Не смей! Я тебе не Лиза. Я с Ильей живу». Толя выругался и, мрачный, пошел домой. Жизнь не давалась ему в руки.

Он был слесарем-инструментальщиком, и свое дело он знал. Говоря с девушками, он любил щеголять непонятными словами. Настя о нем сказала: «Этот паршивец все знает». Но Толя не любил читать. Когда он видел книгу, ему сразу становилось скучно. Его знания были случайны и спорны. Он знал, что Пушкин ревновал свою жену, а та кокетничала с Николаем, что в Мексике было много революций, что организм требует витаминов, что за границей правят фашисты или социал-предатели, но магазины там набиты товарами и можно повсюду танцевать фокстрот.

Прочитав какую-то старую книжицу, Толя важно сказал товарищам: «Главное — это индивидуальность». С тех пор за ним установилась репутация анархиста. Недостаток знаний он покрывал находчивостью. Его

трудно было переспорить. В душе, однако, он часто смущался. Он ждал, что кто-нибудь надоумит его, как жить.

Он сидел в пивной с Мухановым. Об этом Муханове все говорили, что он человек «отпетый». Толя давно собирался с ним побеседовать: он верил теперь только людям, которых другие осуждали. Муханов сразу сказал Толе: «Вот если бы этот Карла дожил бы до нашего времени, интересно, что бы он сказал? Он-то жил — дай бог всякому! Детям костюмчики покупал. Да и выпить был не дурак. Поглядел бы он на эти распределители».

Толя внимательно посмотрел на Муханова и спросил: «Вы что же — меньшевик?» Муханов рассмеялся: «Ну и дурак ты, Толька! Наплевать мне, что большевики, что меньшевики. Я жить хочу, и не как-нибудь, но по первой категории. Значит, по-ихнему, я шкурник. Мне вот пятьдесят стукнуло. При таких темпах я скоро, что называется, сдохну. Очень мне интересно, что после моей смерти будут всякие кисели. Нет, ты мне сейчас подай этого киселя! Можно день подождать, ну год, а здесь всю жизнь только и делай, что жди. Тогда получается, что это вовсе не жизнь, а очередь. Я сегодня был в кооперативе — три сорта кофе: из японской сои, из гималайского жита, еще из какого-то ванильного суррогата — так и напечатано. Спрашиваю: «А нет ли у вас, гражданочка, кофе из кофе?» Погляди на себя — самое тебе время гулять. Работаешь по шестому разряду. Только спрашивается, что делать с этими бумажонками? Разве что сою жрать. А ты мог бы галстучек купить, барышню в ресторан повести, покатать ее на резвых. Вот тебе и вся история. Помню, пришли ко мне — это еще в двадцатом было — говорят: «Подавай излишки!» Взяли, одним словом, самовар и подстаканники. Я спрашиваю: «Это как же у вас называется?» — «Называется это у нас реквизиция». Разве в самоваре дело? Научились и в чайниках кипятить. Но только они не самовар реквизнули, а, что называется, жизнь».

Толя внимательно слушал Муханова. Он вдруг понял, почему ему так скучно. Вот и Лиза ушла... Он пробормотал: «Это гибель индивидуальности». Муханов ответил: «Правильно». Потом они молча тянули пиво — за бутылкой бутылку.

На стройку Толя приехал, соблазнившись деньгами. Он зарабатывал пятьсот, а то и шестьсот рублей. Он

говорил: «Я работаю ради денег, как настоящий пролетарий». Он доставал в Кузнецке водку и пиво. Жил он ото всех в стороне, работал исправно, но без рвения, а в душе по-прежнему тосковал. Он больше ничего не ожидал от жизни.

Тогда жизнь неожиданно вспомнила о нем. На строгальном станке работала Груня Зайцева, и, взглянув на нее, Толя понял, что он еще хочет жить.

Груня приехала на стройку прямо из деревни. Она была из села Михайловского. Это было старое сибирское село. Когда-то михайловцы были ямщиками. Потом троечные кошевки заснули в сараях: провели железную дорогу. Крестьяне хлебопашествовали и промышляли извозом.

При Колчаке свыше восьмидесяти человек ушли в партизаны. Они попали в отряд Несмелова. Этот Несмелов говорил, что он большевик, но коммунистов у себя не потерпит. Партизаны пускали под откос поезда. Они храбро дрались с белыми, но при виде чужого добра они слабели душой. Они тайком приволакивали в деревню пачки царских ассигнаций, купеческие дохи и пузатые портсигары. Многие поднакупили овец и поставили новые крыши. Село разбогатело.

Нагрянул карательный отряд. Белые повесили шесть человек за то, что они были родственниками партизан. Потом белых прогнали из Сибири.

Крестьяне с гордостью говорили: «Мы красные партизаны, у нас и билеты с печатью». Они жили крепко и стойко. Они говорили, что Ленин был великим человеком, а городских рабочих ругали «дармоедами». Они не хотели давать городу хлеб.

Когда началась коллективизация, в село приехал Вася Шишкин. Он боялся, что кулаки убьют его, и все время хватался за револьвер. Он произнес речь: «Государство выдаст колхозам тракторы и прочий инвентарь. Значит, кто хочет добровольно идти в колхоз, тот будет строить социализм. А кто не хочет, тот в полном праве. Но я скажу, что с такими наш разговор короткий — душу вон, кишки на телефон». Дня через три в овраге нашли труп Васи Шишкина. Арестовали шесть кулаков. Из Томска приехал Никитин, он начал раскулачивать. Среди раскулаченных было сорок восемь бывших партизан. Их увезли неизвестно куда. Бабы голосили.

Марья Ефимовна, увидав, что пришли за ее коровой, начала кричать как оглашенная: «Хоть до утра

оставьте! Ведь и скотина чувствует. Куда вы ее на ночь ведете?» Громов сказал: «Дура! Своей пользы не понимаешь. Может быть, ей прививку от болезни привьют». Марья не унималась. Тогда Громов прикрикнул: «Вот тебя раскулачат, тогда будешь орать!» Марья мигом примолкла. Два дня спустя она исчезла вместе с ребятами.

Мужики поразъехались — кто в Новосибирск, кто в Кузнецк, кто в Прокопьевск. Остались бабы. Бабы ходили сердитые и ругались матом. В колхозе «Красная заря» работал Шахотин. Он был прежде столяром в Иркутске и не знал крестьянских распорядков. Когда начался падеж скота, Шахотин поехал в город за ветеринаром. Тем временем Архипов надумал лечить скотину огнем. Он подпалил общественный двор и сено. Архипова судили за поджог. Он плакал и клялся, что хотел уберечь коров.

На Шахотина ночью напали. Убийцы вспороли ему живот и всунули туда солому. Сельсовет принял резолюцию: «Постановляем обеспечить семью борца революции Шахотина, а от пролетарского суда ждем беспощадного наказания преступников».

Марья Ефимовна прислала сестре письмо. Она работала в большом совхозе неподалеку от Новосибирска. В письме она жаловалась на харчи, но жизнью была довольна. «Детишкам здесь хорошо. За ними смотрят, и даже приехала учительница из Томска. Я зашла в ихний барак, а они все лежат и спят, мои тоже спят, а она сказала, что это называется мертвый час и что дети,безусловно,отдыхают. Я очень радуюсь, что приехала сюда. Здесь теперь купили пятьсот свиней и берут на работу всех, кто только приходит. Так что, дорогая сестрица, приезжай скорей!» Сестра Марьи усмехнулась и начала вязать в узлы добро.

Из города прислали Бакулина. Бакулин нахмурился и сказал, что надо подписать контракт и всем идти на лесозаготовки. Работа была тяжелая. Людей донимала мошкара. Бабы не выдерживали и сбегали.

Груня работала с отцом в колхозе «Могучий комбайн». Потом отец поссорился с Громовым. Он принес газету и сказал: «По газете выходит, что я могу выйти из колхоза, и никто меня за это не может преследовать». Он повесил в избе портрет Сталина, а когда предсельсовета спросил его: «Ты что это мутишь?» — он гордо ответил: «Я по закону одноличник».

В сентябре кто-то поджег стога. Сгорело триста пудов хлеба. Калачев, который уже двадцать лет как был в ссоре с Зайцевым, сказал Громову: «Никто другой, как Зайцев! Он вышел из колхоза и злится. Он это в отместку поджег». Громов позвал к себе Зайцева, отослал всех и глухо сказал: «Признавайся!» Зайцев сначала божился, что это не он поджег, а потом, глядя злыми глазами на Громова, прошептал: «Убить тебя мало, гад ты этакий!» Зайцева куда-то возили, допрашивали, а потом сказали, что он ни в чем не повинен: стога поджег Фомка Матюшин.

Зайцев возненавидел односельчан. Он сказал жене: «Нет мне здесь житья!» Кряхтя, понес он сундучок на станцию. Потом пришло письмо: Зайцев писал, что он работает в Осиновке на рудниках. Семью он к себе не звал: «Живу в бараке, а работа тяжелая». Жена Зайцева запросилась назад в колхоз, но ее не приняли. Тогда она сказала Груне: «Уезжай! Бог даст, я с ребятами и одна управлюсь. А ты молодая. Зачем тебе здесь погибать? Заклюют они тебя». Так Груня попала в Кузнецк.

Сначала она дичилась людей. Она привыкла к тому, что люди — враги. Она боялась, что ничего не сможет сделать и что за любой проступок ее отдадут под суд. Еще больше людей ее страшили машины. Она не понимала, зачем они и как к ним подступиться. Ее голова была полна вопросами, но заговорить с кем-нибудь она не решалась. Выручил ее старый слесарь Головин.

Он как-то посмотрел на Груню и, покачав головой, сказал: «Да ты, девушка, не бойся!..» Он ласково улыбнулся. Никогда еще Груня не видала такой улыбки. Она подошла к нему и доверчиво спросила: «Можно листы класть налево?» В первый день она увидала, что Федотов клал листы направо, и она решила, что иначе нельзя. Головин рассмеялся, но смех его был необидный.

С этого дня они подружились. Груня его спрашивала о рычагах, о людях, о непонятных ей словах, о чугуне, о партии. Головин охотно объяснял. Он както сказал: «У меня дочка, как ты. Тоже беленькая. Она теперь в университете — вот как!..»

Груня быстро росла. Она поступила на курсы по повышению квалификации. Головин сказал ей: «Ты что же в комсомол не идешь?» Груня ответила: «Глупа

я — ничего не понимаю». Но несколько дней спустя она сказала секретарю ячейки, что хочет записаться в комсомол. С волнением она пошла на первое собрание: ей казалось, что она идет в университет, как дочка Головина.

Вскоре она познакомилась с Колькой Ржановым. Колька дружески улыбнулся и дал ей книгу: «Вот почитай, а не поймешь чего, скажи,— может, я смогу объяснить». В тот вечер она написала письмо матери. Она писала: «Теперь я вижу, что мы несправедливо ругали коммунистов. Если такой Громов плохой человек, это не потому, что он коммунист. Я теперь многое поняла и, когда я приеду, расскажу тебе. Но ты не должна говорить против коммунистов, если твоя дочь тоже член комсомола и этим гордится».

Она уверовала в коммунизм твердо и страстно. Коммунизм для нее был букварем: по нему она училась читать. Те небольшие поручения, которые ей давали, она выполняла немедленно и тщательно. Она никому не говорила о том, как она счастлива. Только раз ни с того ни с сего она сказала Головину: «Спасибо тебе, Иван Никитович!..» Ее голос выдал волнение, и Головин смущенно забормотал: «Ну, чего там...»

Ничто не могло поколебать ее веру. Она знала, что Ванька — рвач, когда ему предложили остаться на сверхурочные, он ответил: «Очень нужны мне ваши три рубля!» Ловцович в доме отдыха завел ее под дерево и там начал тискать, она в гневе сказала: «Подлец ты, а не комсомолец...» Комсомольцы могли быть плохими. Комсомол оставался комсомолом, и за него Груня была готова отдать свою жизнь.

Она не гуляла с парнями, и в ее жизни был пробел, который напоминал о себе только внезапным румянцем и минутами тоски, когда Груня спрашивала себя: кому я нужна такая?.. Тогда ей казалось, что она соскучилась по матери, что она глупа и необразованна, что никто не хочет с ней знаться. Она не понимала, откуда эта тоска. Она никогда не думала о любви. Она была хороша собой, и парни часто ее задевали, но она отругивалась. Ее звали «нетрожкой», потому что на заигрывания она отвечала: «Не трожь!» Она видела, как легко девушки сходились с парнями, но она считала, что это — темное, дикое дело: так можно было жить в Михайловском, но так не может жить работница и комсомолка.

Толя Кузьмин ей сразу понравился. Он не рассказывал скверных анекдотов, не хвастал, что гуляет с девушками, не пробовал ее целовать. Он только нежно глядел на нее и говорил. Она охотно его слушала. Он умел рассказывать: он говорил о Пушкине, о неграх, о кино. Он сказал как-то: «Пойдем в клуб танцевать». Она заупрямилась: «Нехорошо это — я ведь комсомолка». Он сказал: «Мало комсомолок танцуют?» Груня возразила: «Это не танцы, а физкультурная пляска. Если коллективные игры, я это понимаю». Толя начал над ней смеяться — не все ли равно, какие танцы? Тогда Груня рассердилась и сурово сказала: «Бесстыдные эти танцы, жмутся друг к другу — не хочу я...» Она вся покраснела, и Толя, неожиданно сам для себя, сказал: «Может быть, ты и права».

Толя не понимал, что с ним. Он не пил пива, не балагурил, не думал о «реквизированной жизни». Он пробовал образумить себя: «Втюрился в дуру!..» Но и это не помогало. Он теперь жил только в те часы, когда бывал с Груней. Головин работал до позднего вечера: надо было спешно сдать части для Водоканалстроя. Груня ему помогала. Толя говорил: «Я тоже останусь на сверхурочные». Он добавлял: «Надо на табачок заработать!» Но оставался он только для того, чтобы выйти вместе с Груней — он ее провожал до дому.

Груня его спросила: «Неужели ты это ради денег остаешься?» Толя поглядел на нее и ответил: «Нет!» Она обрадовалась: «Я так и знала. Ты все смеешься над ударниками, а ты сам ударник — понимаешь, что это дело чести». Толя остановился и сказал: «Наплевать мне на вашу честь! Не верю я в такие разговоры. А если остаюсь, только ради тебя». Груня растерялась: ей сразу стало и обидно и весело. Она возмутилась словами Толи, но то, что он остается ради нее, ее удивило и обрадовало.

На следующий день они снова начали спорить. Груня сказала: «Столько ты знаешь, а не в комсомоле». Толя ответил: «Знал бы меньше, может быть, и пошел бы, как баран. Это я тебя должен спросить — почему ты пошла в комсомол? Тебя это унижает. Как перерыв, берешь анкету и сейчас же — агитировать. Глядеть и то неприятно». Груня сказала: «Если работать только ради денег, жить скучно. Так у нас в деревне жили. Водку пили, дрались. А я теперь знаю, зачем я живу. Вот мы

строим социализм, и это такое великое дело, что даже кто кирпичи кладет, чувствует: совсем он другой человек». Толя притворно зевнул: «Эх ты, балалайка! Ты даже не способна по личному вопросу поговорить. Объелись вы политическим винегретом! Слушаю тебя, а как будто это Нюша говорит или Манька — все на один голос. А ведь ты, Груня, другая. Сердце у тебя нежное. Я тебе скажу стихи. У меня книжка есть «Чтец-декламатор» — старая, с ятями. Там стихи — читаешь, и красота! Вот ты послушай: «Хочу я зноя атласной груди! Мы два желанья в одно сольем!» Вот это жизнь. Я, Груня, не как-нибудь — побаловаться. Если я такое говорю, это от чувства. Я тебе вот что скажу — давай поженимся!»

Он говорил это среди покрытых снегом землянок. Вокруг никого не было, и, остановившись, он крепко поцеловал Груню. Впервые Груня не стала отбиваться. Она сама подставила Толе губы. Потом она пошла в барак, и тотчас же она поняла, что поступила плохо. Ей хотелось выбежать на улицу, нагнать Толю и сказать: «Я это по глупости, а больше — никогда! Если ты такое говоришь про комсомол, я тебе не товарищ. За честного пойду, а не за рвача!»

На следующий вечер, когда Толя пошел с ней, она сказала: «Ты, Толя, на меня не рассчитывай. Я комсомолка. Ты меня стихами не заговоришь. Я сама знаю, как нужно жить. А провожать меня ни к чему».

Толя продолжал идти рядом. Он чувствовал, что Груня от него уходит, и он терял голову. Он снова принялся ругать комсомольцев. «Знаю я этих героев! Говорят, как попугаи: «Дело чести»,— а сами обыкновенные шкурники. Продались за тряпки. Какие же это герои, если они работают ради карточек? Так и при капитализме рабочие работают: чтобы побольше выгнать». Груня возмутилась: «У меня вот карточка ударника, а я ею не пользуюсь. Я понимаю, что мы строим».— «Ну, значит, дура. Это всегда так: на сто жуликов один дурак. Ты вот посмотри на других — кто ради сапог, кто ради гармошки, а если девахи, то — подавай им тряпки...»

Груня ничего ему не ответила, но когда, прощаясь, он хотел поцеловать ее руку, она руку вырвала и закричала: «Отстань от меня, рвач ты несчастный!» Она закричала потому, что вспомнила, как Толя ее поцеловал и как ей тогда было хорошо: она испугалась себя.

Прошло еще два дня. Головин сказал: «Надо, ребята, налечь, чтобы сдать все к двадцатому». Толя заворчал: «Успеется». Тогда Груня громко сказала: «Мы это сделаем — наша бригада, а рвачей нам не нужно». Вечером было собрание, и Груня говорила о том, что надо обязательно выполнить работу к двадцатому. Она сказала: «Это для нас вопрос чести. Вот Толька Кузьмин говорит, что мы продались за тряпки. Мы должны показать, что мы не рвачи, а настоящие ударники». Груне аплодировали. На следующее утро Федюшин отозвал в сторону Толю. Он сказал: «Ты что же это, сволочь, баламутишь? Кто тебе платит за такую контру?..»

Поздно вечером Груня возвращалась домой. Вдруг она увидела Толю — он ее караулил. Толя сказал: «Я всегда говорил, что у нас надо хвост держать пистолетом. Скажи слово, голову раскроят». Груня спокойно ответила: «Не раскроили. Мало ты болтаешь?» — «А ты хочешь, чтобы меня сейчас же прикончили? Очень это с вашей стороны деликатно! Я с тобой интимно разговаривал. О любви. Душу открыл. А ты на собрание побежала. Как же мне после этого жить?» Он долго упрекал ее, жаловался и грозился. Наконец Груня сказала: «Замолчи! Ты думаешь, мне легко? Я ведь и правда хотела за тебя замуж выйти. Я до тебя никогда не целовалась — не такая. Если бы ты на меня сказал, я бы спустила, а ты комсомол оскорбил. Я перед этим ночь не спала, все думала: сказать или нет? А потом поняла — если не скажу, я себя запрезираю. Значит, я тогда не комсомолка, а баба. У нас в Михайловском кулак человека зарезал, а жена его штаны пошла стирать, чтобы кровь отмыть. Скажут — застрелить тебя, застрелю. Таким людям у нас не место. Не говори ты со мной больше!» Толя схватил Груню за плечи: «Погоди!» Но она сказала: «Пусти, я людей позову!»

С этого дня Толя совсем отбился от рук. Он начал пить водку. Три дня он вовсе не выходил на работу. Его не рассчитали только потому, что он числился хорошим рабочим, а слесарей было мало.

Он познакомился на работе с одним втузовцем: это был Володя Сафонов. Толя сразу подумал: этот не как все. Он почему-то вспомнил Муханова, но сейчас же усмехнулся — Муханов был темным человеком, до революции он торговал скобяным товаром, а это — настоящий студент, наверно, профессором будет. Он прислушивался к каждому слову Володи. Володя его

спросил: «Ну как вы здесь, довольны жизнью?» Тот ответил: «Извиняюсь, но жизни у нас нет. Жизнь, что называется, реквизнули. Остались только ставки и распределители, а на это я не жалуюсь». Володя с удивлением посмотрел на него, потом он тихо сказал: «Вы не философствуйте. Это вредно для здоровья. Куда лучше не думать». Толя в восторге рассмеялся: «Совершенно правильно! В санитарных целях думать теперь запрещено. Можно даже дощечки поставить, вроде как «запрещается плевать».

Володя подумал: любопытный парнишка! Вот только смех у него неприятный — будто он нарочно смеется... Толя стал к нему захаживать. Он приносил с собой пиво, рассказывал анекдоты о пятилетке и все ждал, что Володя объяснит ему, как надо жить. Но Володя отмалчивался.

Толя не забыл Груню, он чувствовал, что жизнь без нее пуста. Он теперь понял, что никогда не любил Лизу. Он ходил как в чаду. Он и с лица изменился — похудел, а глаза стали красными и припухшими. Когда он проходил мимо Груни, Груня отворачивалась. В ее сердце злоба еще боролась с тоской.

Груня переживала трудные дни. После разрыва с Толей она почувствовала свое одиночество. Мать написала ей, что дети хворают, нет ни хлеба, ни картошки. Отец не шлет денег. Мать писала также, что она плакала над письмом Груни — зачем это Груня пошла к комсомольцам! Груня послала матери два червонца, а на письмо не ответила.

Она встретила Кольку. Колька спросил: «Как работа?» Она ответила, что в ячейке работа идет хорошо, у них теперь кружок — двенадцать ребят, изучают историю партии. Потом, помолчав, она, неожиданно для себя, добавила: «Только жить трудно!» Эти слова взволновали Кольку. Он не знал истории Груни, но он попробовал ее утешить. Он говорил о Томске, о хороших книгах, о Шоре: «Старик все понимает!» Груня его плохо слушала, но она ему была благодарна за то, что он говорит с ней. Она сказала: «Товарищей много, а иногда поговорить не с кем». Колька крепко пожал ее руку: «Есть у меня девушка. Она в ФЗУ работает. Хорошая. Ты приходи — я тебя с ней сведу. Вот и потолкуете. Я ведь знаю, что с нашим братом вам не сговориться». Сказав это, он рассмеялся. Рассмеялась и Груня. Потом они распрощались.

Они не видели, что сзади шел Толя: он теперь неотступно ходил за Груней. Толя не слышал, о чем они говорили, но ему казалось, что так можно говорить только о любви. Он сразу возненавидел Кольку — вот кто подбивал Груню!

Когда Груня осталась одна, он ее нагнал. Он говорил, как в бреду: «Груня! Грунечка! Не могу я без тебя! Оставь ты его! Он, как все ребята,— побалуется, а потом бросит. Я тебе честно говорю — поженимся! Я пить не буду. Я и пью с горя, видишь, вся морда распухла... Ну, скажи мне хоть слово!» Груня ускорила шаг. Она ничего не отвечала. Тогда Толя сказал в гневе: «Не хочешь? Что ж, тогда я с ним поговорю. Убью я его! Вот тебе слово — убью! Я знаю, где он живет. Подкараулю — и трах! С ним у меня разговор короткий...»

Груня вспомнила Михайловское — как нашли Шатохина. Живот ему вспороли... Она повернулась к Толе и сказала: «Не убьешь! Вот не убьешь! Я ему скажу. Всем скажу. В ГПУ пойду! Тебя под замок посадят. Собака ты бешеная, а не человек!»

Она не помнила себя от возмущения. Взглянув на нее, Толя отвернулся. Он сразу поник. Прошла ярость, осталась только тупая, назойливая боль. Он оставил Груню и пошел назад. Лениво он подумал: донесет, обязательно донесет! Ну, значит, крышка... А теперь бы выпить!..

Он повернул к Томи: он решил сходить в Кузнецк за водкой. Не доходя до моста, он повстречал Володю Сафонова. Они пошли вместе.

16

Улицы старого Кузнецка были тихи и безлюдны. Маленькие домики скрипели под снегом. Стоял метельный ноябрь, и что ни день росли сугробы. Городишко походил на медведя, который сосет свою лапу. Жили в Кузнецке по большей части старики — ремесленники или лишенцы, жили плохо, без сахара и без надежды. Только и было радости, что опрокинуть стопочку. Закусывали огурцом или ломтиком сухого хлеба. Выпив, приободрялись, крякали, неуклюже переваливались с ноги на ногу, а потом засыпали.

На стройке продажа крепких напитков была запрещена. За водкой строители ходили в Кузнецк. Они

презрительно поглядывали на деревянные домики, на кряхтящих или крякающих обывателей, на гору мусора, которая осталась от разрушенной церкви, на жизнь незатейливую и сонную. Засунув бутыль за пазуху, они шли назад в шумные бараки.

Одна из улиц Кузнецка называлась улицей Достоевского, но об этом не знали и люди, которые на ней проживали. Как-то приехали со стройки немцы. Из домов повысыпали разные людишки — поглазеть на красивый автомобиль и на людей, одетых по-заграничному. Вышел и Одинцов. Когда-то у Одинцова была богатая вывеска: «Военный и штатский портной». Теперь он шил «из материала заказчиков». Но никакого «материала» у лишенцев не было, а Одинцов клал заплаты и угрюмо хлебал пустые щи. Одинцов подошел к немцам поближе и сказал: «Вот это фасончик!» Немцы его спросили, где здесь находится дом Достоевского. Одинцов обиделся. Он сказал, что живет в Кузнецке тридцать четыре года, но такого человека не знает и не знавал. Одинцов подозвал Тихомирова, бывшего псаломщика, который теперь выводил по домам клопов. Тихомиров, подумав, сказал: «Ага, инженер со стройки? Как же, он в том доме живет, на углу. Только сейчас его нет». Немцы рассмеялись. Тихомиров вежливо улыбнулся и шепнул Одинцову: «Вот что значит иностранцы — веселые!» Немцы долго бродили от одного дома к другому. Впереди бежали мальчишки и кричали: «Иностранцы писателя спрашивают».

Потом из кривого дома вышел старичок. У него была желтая борода, а говорил он тихо и задыхаясь. Он сказал: «Это третий дом отсюда. Я сейчас проведу вас. Здесь проживал Федор Михайлович. Он приехал сюда из Семипалатинска и был в большом волнении. Может быть, вы знаете, что здесь его дожидался предмет его воздыханий? Когда пьяница Исаев умер, Мария Дмитриевна никак не могла решиться, с кем ей соединить свою судьбу. Федор Михайлович повстречал здесь учителя Вергунова, а этот Вергунов сделал предложение Марии Дмитриевне. Вот у этого окна Федор Михайлович писал о несчастненьких». Потом старик показал на кучу мусора и добавил: «В этой церкви Федор Михайлович венчался». Один из немцев, прижав к глазу фотографический аппарат, спросил: «Где же церковь?» Старик виновато зашамкал: «Стар я, забываю, что говорю...»

Самый главный из немцев сказал приятелям: «Не зная Достоевского, трудно понять душу этого народа». Они вошли внутрь дома. На маленькой печурке старуха готовила оладьи, и в комнатах стоял чад. Казалось, ничего здесь не изменилось за семьдесят лет: те же лапчатые кресла, те же фикусы и фуксии. На стене, среди старых картин, изображавших крестьянскую свадьбу и охоту на волков, немцы увидели портрет Ленина. Ленин был в кепке. Он стоял и говорил.

Старичок объяснил, что теперешние хозяева — внуки ссыльного; ссыльный был приятелем Достоевского — часто они проводили вечера в спорах. Немцы посмотрели на внуков: это были два мальчика, погодки, лет тринадцати — четырнадцати. Они сидели у того самого окна, у которого Достоевский писал свои повести. Они тоже писали: они готовили уроки. Немец, который знал русский язык, взял тетрадку и прочитал: «В Америке на семь душ приходится один автомобиль, но к концу второй пятилетки мы, безусловно, перегоним Америку». Он спросил мальчиков: «А вы читали Достоевского?» Мальчики ответили: «Нет». Из писателей они знали только Пушкина, Горького и Безыменского. Немец еще раз повторил: «Без Достоевского здесь нельзя ничего понять». Мальчики выбежали на улицу и, как завороженные, замерли перед автомобилем. Немцы погудели и уехали. Одинцов, глядя им вслед, сказал: «Жирные какие! А пальтишко видел? Настоящий коверкот! Вот и бесятся».

Не будь немцев, кто бы подумал, что эта улица чем-нибудь примечательна? Люди шли на базар, там поблизости была и лавка, где продавали вино, и фотограф, который снимал подвыпивших парней на фоне самолета, украшенного надписью «Ударник». На улицу Достоевского никто из посторонних не захаживал. Но в тихий зимний вечер среди сугробов показались две тени. На одном человеке были очки и шапка с наушниками. Он шел медленно и задумчиво. Другой, в полушубке, все время бегал вокруг первого, размахивал руками и гримасничал.

Никто, впрочем, за ними не следил: час был поздний и люди спали — спал Одинцов со своей старухой, спал Тихомиров, покрывшись рваной шубенкой, спал и старичок с желтой бородой, один возле печи, спали лишенцы, дети и столяры из трудовой артели, спала вся улица Достоевского. Кто скажет, что снилось этим

людям? Жирные пельмени? Весна? Первая любовь? Или та чепуха, которая чаще всего снится человеку: пропасти, пустые орехи, приблудная собака и какой-нибудь доморощенный упырь с мордой сварливой соседки?

Пробежал инженер Каринский. Он работал на стройке, а жил здесь, спутавшись с одной разбитной вдовушкой. Любовь заставляла его каждый день бежать по снежным полям и пустырям. Он бежал и что-то мурлыкал под нос. Он думал об использовании доменного шлака для мостовых и о пухлых плечиках своей Машеньки. Он даже не посмотрел на двух полуночников.

Приятели уже успели побывать у кривого Медведева, который пускал загулявших строителей к себе на кухню. Медведев выставил бутыль водки и грибков. Хлеба у него не было, но гости и не потребовали хлеба. Они пили водку из больших стаканов жадно и сосредоточенно, как будто их мучила жажда. Медведев поглядел на них и тихо сказал жене не то с удовлетворением, не то с завистью: «Ишь как лакают!» Гости мало разговаривали, а допив бутылку до донышка, сейчас же встали. Они сказали Медведеву: «Надо голову проветрить». Водка приятным жаром доходила до кончиков пальцев. В голове гудело. Они шли, не глядя, куда ступают, и ныряя в сугробы. Кое-где в окнах желтели слабые огоньки, но ярче их были густые зимние звезды.

Толя, бегая вокруг Володи, говорил: «Если я пью, то от любовной катастрофы. Что меня обижает — это полное отсутствие глубины. Я, можно сказать, душу обнажил, страдал, хотел даже застрелиться. А она, простите меня, все это обратила в вульгарную анкету. Честное слово! Теперь меня посадят. Будто бы я на убийство покушаюсь. За такие дела могут и к стенке приставить. Только мне наплевать! Я давно с жизнью простился. Важен голый факт — почему она меня обидела? Зазубрила, как дятел: «Комсомол и комсомол». Я понимаю, можно человека бросить ради чего-нибудь возвышенного. Я видел оперу «Демон» — я это очень хорошо чувствую. Но что ей этот комсомол? На черную доску записывать? Или — сидят и лопочут: «Промежуточные элементы колеблются». А вот вы спросите их — они даже не знают, что такое элемент. Со стороны глядеть

и то противно! У меня была любовная трагедия, а у нее строгальный станок. Если вы пописываете, вы об этом можете интересный роман написать. Почище «Цемента»! Только не напечатают — побоятся. Бездны побоятся, потому что такая жизнь — это и есть настоящая бездна!»

Голос Толи срывался. Он говорил то патетически, как оратор на трибуне, то жалостливо, со слезой, будто перед ним Груня. Володе было тяжело его слушать. Ему вдруг показалось, что и нет никакого Толи. Все это скверный сон, выпил — вот и померещилось. Он в досаде пробормотал: «Ты что юлишь?» Толя обиженно ответил: «Я не юлю, а иду с вами рядышком». Потом Толя снова начал говорить: «Это такая драма, такая драма!..»

В голове Володи мелькнуло: «Что за ерунда? Как будто нарочно, чтобы меня высмеять... Даже с Ириной... Вот эта тоже... А может быть, он выдумал? Я не хочу, чтобы надо мной смеялись! Ирина не такая. Да и все у меня не такое...» Он прикрикнул на Толю: «Замолчи!»

Толя испуганно поглядел на Володю и ответил: «Довольно я на моем веку молчал. Я только одного жажду: свободы...»

Володя съежился, как будто его ударили. Вот и о свободе говорит!.. Ну, чем не Сафонов? Наверно, и книжки почитывает... Голос у него противный... Впрочем, какое мне до него дело? Значит, деревянный кран, чтобы поднимать щиты?.. Что ж, наверно, этот Колька прав: надо сделать кран. Вообще все правы. Они правы потому, что они могут жить. Сейчас он у Ирины... Целуются... Честный отдых после трудового дня. Не то что он: напился и разговаривает с этим вьюном... Каждому свое! Только напрасно он у Ирины погорячился. Она поняла, что он ревнует. А это подло и ни к чему. Он должен был тоже улыбнуться, как Колька. Он ведь хочет, чтобы она была счастлива. Но он не умеет улыбаться, пробовал — не выходит... Надо обязательно научиться...

Володя больше не слушал Толю. Он шагал, отрешенный от всего. Каждый раз, когда его нога погружалась в мягкий снег, ему казалось, что он тонет, и он смутно радовался. Он подошел к забору, чтобы закурить. Машинально он прочел: «Улица Достоевского». Он никогда еще не был здесь. Несколько раз он повто-

рил про себя: «Достоевского, Достоевского». Все внезапно переменилось, эта пьяная ночь среди сугробов оказалась продолжением других ночей, столь же темных и диких.

Когда он читал Достоевского, он заболевал. Это были не книги, но письма от близкого человека. Он негодовал, усмехался, разговаривал сам с собой. Иногда, измучившись, он бросал книгу. Он давал себе слово никогда больше этого не читать. Час спустя, с виноватыми уловками, он раскрывал книгу на той самой странице, которая его так возмутила. Он облегченно вздыхал — час передышки был вдвойне трудным. Он зарывался в чащу нелепых сцен, истерических выкриков и вязкой горячей боли. Иногда ему казалось, что вот-вот и он сам забьется в падучей. Он однажды сказал Ирине: «Есть писатель, которого я ненавижу,— это Достоевский. Это самое постыдное из всего, что у нас было. От Достоевского пошли все эти мировые масштабы, батальоны смерти, Рамзины, словом, расейская белиберда». Это было после того, как он прочел «Идиота». Он был убежден, что только один человек сказал всю правду о людях. Это та правда, которая бесспорна и смертельна. С ней нельзя жить. Ее можно выдавать умирающим — так прежде давали святые дары. Для того чтобы сесть к столу и пообедать, надо о ней забыть. Чтобы родить ребенка, надо прежде вынести из дома все эти приложения к старой «Ниве» в коленкоровых переплетах. Чтобы построить государство, надо запретить даже повторять это имя.

Прочитав надпись на дощечке, Володя не то проснулся, не то погрузился в новый грубокий сон, и тот монолог, который он произнес на заснеженной улице, перед Толей и сугробами, был сказан как бы во сне.

«Итак, вы не побоялись назвать улицу его именем. Вам нельзя отказать в смелости. Впрочем, что значит это имя для какого-нибудь Сеньки? Я помню, как в тридцатом году вы отобрали в заводской библиотеке несколько чересчур зачитанных книжек. Вы унесли их на чердак. Это вполне резонно. Вы оставили их для Володи Сафонова. Следовательно, вам нечего бояться: вы великолепно знаете, что володи сафоновы — резонеры и трусы. Сопоставление прекрасно: улица Достоевского, а рядом «гигант стали». Между ними несколько километров и мост. Причем я не забываю о культурных достижениях. Достоевского в Омске выпороли.

Теперь никого не порют. Были тюремщики, взяточники, холуи. Теперь — инженеры, Ирина — преподавательница в ФЗУ. Я все это знаю. Я готов вас приветствовать. Я хочу только сделать маленькую сноску — для неисправимых чудаков. Я хочу продолжить сопоставление. С одной стороны человек, обыкновенный человек — борода, рулетка, патриотические вирши, любовные неурядицы, болезни, ссоры с издателями. С другой — все грандиозно: самый большой в мире блюминг, не картишки, но диамат, не вшей искать, но взаимная чистка, рекорд кладки кирпича, наилучшая сталь, конвейер и прочее. Какой апофеоз человека в тысяча девятьсот тридцать втором году! Стыдитесь, Федор Михайлович! О чем вы мечтали? О доброте? Об участии? О жалости? У вас была слабость — пожалеть «несчастненького». Вы выгоняли чахоточную женщину на улицу, чтобы она била в игрушечный барабан. Это прием ярмарочного шарлатана! На жалости вы составили себе мировое имя. Мой отец, доктор Сафонов, попался на вашу удочку. Он говорил: «Такого надо пожалеть!..» Но ведь это архаизм! Это и есть «промежуточные элементы». Вместо жалости у нас классовая солидарность. Мы уничтожаем не личностей, но класс. Конечно, при этом гибнут и людишки, но разве это важно? Раньше гибло куда больше — посмотрите на статистику. Важно то, что мы перегоним Америку. Федор Михайлович, вы напрасно презирали теплые клозеты. Мы научились их ценить. Мы хотим, чтобы у нас были первые в мире клозеты. Как в Чикаго. Не улыбайтесь в вашу бороду! Она пахнет нафталином. Ее можно сбрить — кисточки для бритья подвергаются теперь дезинфекции. Мысли тоже. Никаких микробов! Раньше в тюрьму сажали петрашевцев, а теперь спекулянтов и валютчиков. Значит, вредных мыслей больше нет. Это уже достижение. Ваши письма выходят в издании «Академии». Будет много, много книг и домен много, мы обязательно перегоним американцев. Мы не будем жевать резинку. Мы будем заниматься диаматом. Мы начнем даже...»

Он запнулся, потеряв нить мыслей. Пристыженно, по-детски он сказал Толе: «Зачем ты мне столько подливал». Но Толя, который с восторгом слушал Володю, ответил: «При чем тут водка? Я тоже пьян. Но мне наплевать, сколько я выпил. Я Достоевского не читал, но я вас прекрасно понимаю. Я то же самое чувствую. Я вас давно хочу спросить, что же мне теперь делать?»

«Что делать? Не знаю. Пей водку. Если ты веришь в Господа Бога, запрись в нужнике и клади поклоны. Можно еще написать в тетрадке: «Протестую во имя свободы мысли», а тетрадку запереть. Словом, лучше всего быть сволочью, как я. Я ведь болтаю, болтаю, а все это слова. Просто прочитал книжки и повторяю. А перед кем я говорю? Разве можно какую-нибудь домну пронять словами? Машина сама знает, что ей делать. Если сказать: «Я не согласен», она не смутится. А если повернуть рычаг в другую сторону, тогда она сломается, вот и все...»

Толя весь просветлел, как будто что-то его озарило. Он цыкнул на Володю: «Тише! Не кричи!» Но Володя снова не замечал его. Он говорил теперь об отце, о каких-то пионерах, о тетрадке в сундуке, и Толя его не понимал. «Ирина, родная! Ты меня не слушай! Я все это — от зависти. Он крепкий. Да и все вы крепкие. Только мне надо убираться восвояси...»

Выждав, когда Володя замолк, Толя подошел к нему вплотную. Он прижался губами к его уху. Володю замутило от запаха сивухи и духов: у Толи были жесткие волосы и он их мазал какой-то душистой помадой. Толя шепнул: «Это ты правильно сказал — повернуть в другую сторону. Только ты, Володька, помалкивай!»

Володя посмотрел на него ясными, бессмысленными глазами. Он никак не мог понять, о чем это говорит Толя. Но слово «Володька» его раздражало, как запах помады. Он строго сказал: «Есть Петьки и Сеньки. А я Володя. Или Сафонов».

Толя вдруг расчувствовался. «Я, наверно, скоро умру. Грунька ужасная сволочь, а кавалер ее со связями. Он к Маркутову ходит. Так мне пожить и не удалось! Ты, Володя, моей тоски не понимаешь. Я вот стихи люблю. Я знаю на память много и красивые. Вот я тебе почитаю — это, может быть, всю мою трагедию выражает...»

Он стал в позу возле сугроба и хриплым, пьяным голосом начал декламировать: «Я хочу горящих зданий! Я хочу кричащих слов!»

Володя не дал ему дочитать до конца. Он снова почувствовал страх перед этим человеком. Он закричал: «Почему у тебя голова воняет?» Толя ничего не ответил. Тогда Володя мучительно поморщился: он хотел что-то вспомнить. Ему показалось, что все это

уже было: и сугробы, и стихи, и противный запах. Наконец он сказал: «Я, по-твоему, умный человек?» Толя ухмыльнулся: «Комплиментов захотелось? Ну, умный. Это слов нет — умный».— «Стой! А со мной приятно разговаривать?» — «Если говорю, значит, приятно».— «Вот теперь повтори: с умным человеком и поговорить приятно». Толя растерянно моргал. Володя больно сжал ему руку. Тогда Толя послушно, как урок, повторил: «С умным человеком и поговорить приятно». Володя оттолкнул его. «Это ты нарочно подстроил! Смеешься надо мной? Смердякова разыгрываешь?..»

Он бросился бежать прочь. Толя попробовал его догнать. Добежав до угла, Володя услышал, как он кричал: «Погоди! Да куда же ты?» Володя побежал еще быстрей. Он падал в сугробы и снова подымался, он скользил, его лицо было в снегу, горели руки, но, не помня ничего, он все бежал и бежал.

Он остановился, только увидав перед собой огни стройки. Тогда он сел прямо на снег и, наклонив низко голову, пробормотал: «Вот я и выпил...» Он просидел так с час. Потом он почувствовал, что ему холодно. Он встал, кротко стряхнул с себя снег и поплелся домой. Он больше не думал ни о Достоевском, ни о Толе, ни о своем позоре. Он шел, как будто его завели, с пустой головой. Но все время ему казалось, что кто-то глядит на него и ласково, неуклюже улыбается. Сначала он подумал — Ирина! Но потом он вспомнил: нет, не Ирина, это отец, только отец так и улыбался...

17

Оставшись один, Толя припомнил все обиды этой сумбурной ночи. Володя над ним посмеялся. Почему он заставил Толю повторять какие-то слова? Конечно, он много знает. Насчет рычага он правильно сказал, но только он трус!

Хмель начинал выветриваться, и Толя приуныл. Что же с ним будет? Груня, наверно, уже все рассказала Ржанову. Тот побежит к Маркутову. Вызовут, станут допрашивать. Разве они поверят, что он просто хотел припугнуть девчонку?

Толя не хотел сознаться, что он сам трусит. Он уверял себя: наплевать! Но вместе с морозом в него

забирался страх. Он бегал по пустым улицам, как будто за ним гнались. От холода гудели ноги. Наконец, не вытерпев, он постучался к Медведеву.

Сон у Медведева был крепкий, и Толя успел закоченеть прежде, нежели раздалось в сенях шарканье. Перепуганный голос спросил: «Кто тут?» Толя ответил: «Свои». Медведев выругался: «Вот черт, напугал! Ты что это придумал человека среди ночи будить? Не пущу! Ни за что не пущу». Толя сказал: «Два червонца». Медведев помолчал, а потом начал отодвигать тяжелые засовы.

От тепла Толя сразу размяк. Он клевал носом. Вдруг, сквозь сон, он вспомнил: расскажет, обязательно расскажет! Сон сразу прошел. Умоляюще он посмотрел на бутыль: только она и могла ему помочь. Он выпил залпом стакан. Внутри жгло. Сидя на сундуке, он ругался долго и вязко.

От Медведева он ушел часов в пять, и, когда он подходил к стройке, рабочие уже спешили на работу. Гаврюша спросил Толю: «Ты что это — на именинах был?» Толя приостановился и визгливо крикнул: «Не болтай! Нет теперь никаких именин! Теперь у нас октябрины!» Гаврюша строго сказал: «Иди ты спать. Лодырь ты несчастный!» Но Толя в ответ выругался.

Он дошел до горкома и спрятался за будку. Ему казалось, что все люди заняты теперь одним: преступлением Толи Кузьмина. Он увидел, как приехал Маркутов. Глаза у Маркутова были серые и злые. Он долго соскребал снег с сапог. Пока он топотал возле двери, Толя в ужасе думал — вот сейчас раскроет папку и скажет: «Где этот Кузьмин?» Ждать было так трудно, что Толе захотелось подойти к Маркутову и сказать: «Вот я! Допрашивай!» Но он спрятался подальше за возок.

Он подумал: «Может быть, Груня не скажет?..» Тогда он уедет на Магнитку. Там его никто не знает. Но тотчас же он усмехнулся: черта с два! Так его и выпустят! Он вспомнил ночь, сугробы и тихий голос Володи: «Если повернуть рычаг...»

Он громко вздохнул. Бывает — задумаешь что-нибудь, и не выходит. Так и его жизнь не вышла. Стихи об этом хорошие: «Сны мимолетные, сны беззаботные снятся лишь раз». А впрочем, и стихи ерунда! Кто это придумал — слова в ряд, а потом рифма?.. Беззаботные, мимолетные, безработные... Еще что?.. Животные... Глупо! Да и все глупо! Вот один раз

поцеловался с Груней, а потом она побежала — доносить. Лизка, та спуталась с рвачом — туфельки ей потребовались! Даже выпить хорошенько не дали. Как это очкастый говорил? У Достоевского мировое величье, а у нас сортир. Тьфу! Медведев — жулик: не водка у него, а дерьмо. Тошнит от нее.

К возу подошел рабочий. Толя отбежал в сторону. Он постоял еще немного посредине площади, а потом поплелся, будто бы на работу. Он сам не понимал, что с ним. Он еще пытался себя образумить. Тупо он повторял: «Вот тебе мостик, вот это мартен, а вот и Васильев!..» Он хотел быть трезвым и спокойным. Так же безразлично он сказал: «Вот тебе рычаг!» Тогда в его голове снова встали слова Володи. Он оглянулся. Кругом никого не было. Он даже успел подумать: ну и бездельники! Потом от злобы у него потемнело в глазах. Он подкрался и, как будто перед ним человек, навалился на рычаг. В ту минуту рычаг для него был живым: Груней, Ржановым, комсомольцами.

Рычаг не поддавался. На лбу Толи вспухли жилы. Он не помнил себя. Он напрягся, и рычаг наконец уступил. Тогда Толя радостно ухмыльнулся: он был теперь с жизнью в расчете.

Он хотел было уже побежать прочь, как кто-то вцепился в его плечи. Он стал вырываться, но человек не отпускал его. Они оба упали. Они катались по земле, хрипели и давили друг другу горло.

Сын кулака Васька Морозов, которого прошлой весной обвинили в том, что он подпустил лебедку, увидал, как Толя ломал рычаг. В ярости он бросился к нему. Впервые в своей жизни он видел живого вредителя, и вся та злоба, которая была в нем, сказалась теперь. Он не только спасал машину, он сводил счеты со своим старым врагом.

Он был крепок, но неповоротлив. Опасность сразу протрезвила Толю. Он выскальзывал из рук Морозова, как угорь. Привскочив, он ударил его по лицу. Морозов его повалил. Толя изловчился и укусил Морозова в ухо. Тот закричал и выпустил Толю. Толя побежал, но Морозов быстро нагнал его и снова начал душить.

Подбежали рабочие. Их едва разняли. У Морозова лицо было в крови. Улыбаясь, он приговаривал: «Вот и поймал!» Он в упор глядел на Толю, которого держали два рослых парня. Не вытерпев, он плюнул в него и закричал: «Вот тебе, вредитель!»

Сергеев сказал Морозову: «Брось, Васька! Теперь в ГПУ разберут». Но Морозов не мог оторвать глаз от Толи. Он глядел на него и все что-то говорил. Слов не было слышно, только губы шевелились. Толя дрожал, как в лихорадке, и Сергеев, усмехаясь, сказал: «Ишь, дрожит!» Рабочие стояли кругом, молчаливые и злые. Только Головин проворчал: «А еще слесарь!..» Морозов все так же глядел на Толю. Он даже лица не вытер. У него были мокрые губы, а глаза темные и горячие.

Толю наконец-то увели. Тогда Морозов в изнеможении сел на ящик. «Меня товарищ Шор к себе вызывал. Раз я кулацкий сын, я должен оправдать доверие пролетариата. У меня вот отец на Магнитке. Он, может быть, за чужие грехи страдает, если он от рождения кулак. А этот подлец сбоку приполз. Кусаться полез. Как собака. И зачем с таким разговаривают? Перебить их надо!..» Морозов в тоске закрыл глаза. Сергеев ласково ему сказал: «Не расстраивайся! Ты свое сделал. Его по головке не погладят. Ах, подлец, два дня из-за него простоим!..»

Час спустя уже все на стройке знали, что в механическом цехе поймали вредителя. Это слово было полно значения. Прошлой зимой, когда стояли сильные морозы, Павченко кричал: «На колоннах бетон заморозят, вот что! Тогда все начинай сначала». Сергеев ему угрюмо ответил: «Вредители!» Летом не хватало воды. Шибаев, который недавно приехал на стройку, рассказывал: «На Бобриках вредители начали строить нарочно подальше от воды. Приперли их к стенке, тогда они признались...» Вредители задерживали поезда, сыпали песок в машины, кидали на шоссе битое стекло, запекали гвозди в хлеб, не давали людям ни строить, ни жить.

Комсомольцы помнили процесс Промпартии. Они говорили: «Это классовый враг». Землекопы, которые недавно пришли из деревни и которых пренебрежительно называли «пимошниками», никогда не слыхали о Промпартии. Но они смутно чувствовали, что вокруг них таятся хитрые вредители. Старик Мологин думал, что вредители загоняют машины, как прежде он думал, что домовой загоняет лошадей. Андрюшка не верил ни в Бога, ни в черта, но он знал, что такое пятилетний план и что такое хищники мирового капитализма. Иностранцы давали вредителям деньги. Они никак не походили на иностранных специалистов,

которые жили в Верхней колонии и по вечерам заводили патефоны. Это были другие иностранцы, незримые и страшные.

Утром строители в тревоге оглядывали краны и лебедки. Часовые у ворот проверяли пропуска. Вредители были изворотливы. Федька поклялся, что он поймает вредителя. В газете были напечатаны имена инженеров, уличенных во вредительстве. Федька принес газету и сказал: «Я инженеру ни на грош не верю, потому что это скрытый буржуй...» Колька на него прикрикнул: «Кто вредители, тех судят. А у нас честные спецы работают. Ты, Федька, не бузи!» Федька обозлился: «Это мой священный долг — поймать такого на булавочку!» Узнав, что Морозов словил Кузьмина, Федька проворчал: «Сколько их еще бегает!..»

Колька Ржанов обрадовался за Морозова: теперь все увидят, что Васька честный парень. Да и «старик» будет доволен... Он пошел к Морозову, но Морозова увезли в больницу: к вечеру у него сделался жар. Подумав о Кузьмине, Колька почувствовал, как в нем подымается злоба. Он никогда не видел этого человека, но он думал о нем как о своем личном враге. Вот они кладут кирпичи, роют землю, ставят машины, а потом приходит такой и портит!.. Колька знал, что его чувство разделяют все, и это его радовало. Он радовался силе и простоте чувства: здесь не о чем было думать, это была борьба насмерть, и будь на месте Морозова Колька, он с той же яростью душил бы ненавистного врага.

Груня узнала о вредительстве Толи позже других. Головин знал, что Толя приударял за Груней, и он не торопился с рассказом. Рассказала обо всем Груне рыжая Танька — ей давно хотелось поддеть «нетрожку». Она спросила: «Ты, говорят, с ним путалась?» Груня ей ничего не ответила. Но Головину она сказала: «Я себя во всем виню. Он мне вчера сказал, что хочет убить Ржанова. Я ему ответила, что расскажу всем. А потом я подумала, что он меня запугивает. Не поверила я, что он на такое способен. А он вот что придумал!» Она не выдержала и заплакала. Плакала она громко, подвывая, как плакала ее мать, когда отца повели на допрос. Головин ее утешал: «Ты-то при чем? Ты, можно сказать, первая его разоблачила. На собрании выступила». Груня вытерла лицо и взялась за работу. Но она не успокоилась. Это ее вина! Она

должна была сейчас же рассказать Ржанову или Головину. В душе она упрекала себя за другое: за поцелуй возле барака, за глупые свои мечты, за то, что ей тогда было хорошо и радостно. Засыпая, она подумала: хоть бы его пристрелили! Эта мысль ее облегчила — ей показалось, что Толя уже неживой, и его глаза, которые весь день ее преследовали, погасли и пропали в темноте барака.

Одного человека все происшедшее должно было особенно взволновать: борьба с рычагом была прямым продолжением ночной беседы среди сугробов. Но Володя весь день проспал. Никто не видел, как он вернулся. Под вечер к нему заглянул Костецкий. Володя сказал, что у него, должно быть, грипп. Про историю с Толей он узнал только на следующее утро, развернув газету. В первую минуту он смутился. Он хотел что-то припомнить, но его мысли путались. Он никак не мог восстановить час за часом пьяную ночь в Кузнецке. Он вспоминал только сугробы, отдельные слова Толи и рябую морду Медведева. Кажется, они ходили по улице Достоевского. От этого Толи скверно пахло. Потом Володя чего-то испугался и убежал. Наверно, и Толя был пьян. Он это сделал с пьяных глаз...

Володя не верил во вредительство. Он считал, что все это выдумки людей, которые хотят свалить вину на чужую голову. Он не поверил и в то, что этот напомаженный паренек нарочно сломал какую-то машину. Нет, это чересчур глупо!.. Потом он снова вспомнил Толю и поморщился: голос у него неприятный... Наверно, пьянчужка и любит юродствовать. Мало ли таких? Интересно проследить, как герои Достоевского приспособились к диамату... Володя с удовлетворением почувствовал, что он думает теперь о чем-то важном: он не любил думать о живых людях. Он больше не вспоминал о Толе вплоть до суда.

Суд над Толей устроили показательный в клубе «Красный металлист». Большой барак был набит до отказа. Володя сначала не собирался идти на суд, но в последнюю минуту он передумал: этот нелепый человек его чем-то привлекал. Володя помнил, как Толя приходил к нему с бутылками пива и с глупыми анекдотами — это была смесь пошлых словечек, наивных рассуждений и почти нестерпимой тоски. На процесс Володя пошел с тревогой и с отвращением.

Он теперь чувствовал себя все более и более растерянным. Он понимал, что на стройке ему больше нечего делать — последняя карта оказалась битой. Надо было на что-нибудь решиться. Он походил на слепого щенка. Он вдруг останавливался и прислушивался к чужим разговорам. Бородатый итээр сердито ворчал: «Я масла на рынке не покупаю — совесть мне этого не позволяет». Володя бессмысленно повторял про себя: «Совесть... а что это — совесть?» Он всполошился: почему он не подумал об этом раньше? В Томске Ирина его любила. У них могли бы быть дети. Час спустя он издевался над собой: Володя Сафонов с пеленками. Его неуверенность росла с каждым днем. Она начинала походить на душевное заболевание. Порой с опаской он присматривался к себе: вероятно, так сходят с ума!

Он пошел посмотреть на Толю. Ему вдруг показалось, что этот напомаженный философ сумеет пристыдить и судей, и публику, и Володю.

Но Толя на суде держал себя трусливо. Он уверял, что ничего не помнит: «Напился, простите, как стелька». О Володе он и не заикнулся, боясь, что стоит ему рассказать про ночную беседу, как его объявят «идейным вредителем». Он сказал, что в Кузнецк пошел еще днем, купил литровку и все время пил; что было потом, не помнит, помнит только, как под утро он встретил Гаврюшку и Гаврюшка его спросил: «Где это ты так нализался?»

Груня выступила как свидетельница. Она сказала, что Толя — классовый враг. Он ругал комсомольцев. Он грозился убить Ржанова. Потом, помолчав, она добавила: «Я хочу перед всеми сказать, что я очень плохо поступила. Пускай меня из комсомола вычистят. Я вот сразу увидала, что он рвач. Он мне говорил, что у нас нет свободы пролетариата, и ругался, как кулак. Я этих кулаков в деревне видала. Они у нас Шахотина убили. Я должна была сразу его отшить. А я поступила, как несознательная. Он мне сказал, что хочет на мне жениться. Я, товарищи, с ним целовалась, перед всеми это говорю. Меня надо за это наказать. Только я скажу, что без комсомола мне теперь не жизнь. С родителями я порвала на политической почве. Ничего у меня теперь не осталось, кроме комсомола. А вот и этого не смогла уберечь!»

Пока Груня говорила, все примолкли, председатель прикрыл лицо листом бумаги, даже Маркутов и тот

отвернулся. Горе Груни дошло до всех, и все облегченно вздохнули, когда председатель сказал: «Вы ни в чем не виноваты. Вы себя показали честной комсомолкой».

Тогда Толя вскочил и завизжал: «Вот она, любовная трагедия!» Он хотел еще что-то сказать, но вдруг запнулся и уже другим голосом, тихим и жалостным, пробубнил: «Я ничего такого и не говорил. Шутил, вроде как частушки. Я болтаю по глупости, а потом выходит, что это идеи. Идей у меня нет. То есть есть, но как у всех».

Председатель брезгливо поморщился: «Напрасно вы от всего отнекиваетесь. Скажите откровенно, что вас на это толкнуло? Пьянство еще ничего не объясняет. Пьяный может поскандалить. Но вы сами знаете, что сломать рычаг не так-то просто».

Толе вдруг показалось: придумал! Он заговорил с пафосом: «Толкнул меня вроде как дух. Я, конечно, в духов не верю как убежденный материалист. Но это было мое заболевание. Я прочитал книжку писателя Достоевского, и там написано, что это мировое величье, то есть люди, а машины никому не нужны и если повернуть рычаг, значит, так надо. Я, конечно, читаю такие книги критически. Но когда эта деваха меня, можно сказать, смертельно обидела, я был в нервном потрясении и потерял тормоза. Потом я увидел, как она гуляет с Ржановым, и здесь-то началась драма. Я это говорю вполне откровенно пролетарскому суду. Я напился, и вот здесь я слышу этот голос: «Поверни рычаг!» Это, товарищи, как настоящая галлюцинация. Я согласен, чтобы меня доктор осмотрел. Все слова этой книжки я слышал подряд. Я говорю себе: «Стыдно, Кузьмин! Ты слесарь-инструментальщик. Ты строишь этот завод, как честный пролетарий». А он мне и нашептывает: «Поверни! Поверни!» Так я и пошел на это преступление. Я прошу только об одном: дайте мне загладить вину работой! Потому, что это не вредительство врага, а исключительно личная трагедия».

Восемьсот человек жадно следили за лицом Толи: они ему не верили, они ждали, что он сорвется и признается: «Подкупили». Володя стоял в толпе строителей. Когда Толя заговорил о духе, он весь побелел. Это было внезапным прояснением: перед ним встала ночь в Кузнецке и сумасбродный монолог. Он не помнил в точности, что он тогда говорил, но в словах Толи он услышал искаженный отзвук тех признаний;

о которых знала только тетрадка в сундуке. Первой мыслью Володи было: надо сказать! Он стал протискиваться вперед. Кто-то прикрикнул на него: «Не толкайся! Всем интересно!»

Володя вдруг задумался. Первый порыв прошел. Он говорил себе: необходимо выступить! Я трус и двурушник, но я не подлец. Я должен подойти к председателю и сказать: «Дух — это я. О Достоевском говорил тоже я. Он никогда не читал этих книжек. Я ему сказал, что человек важнее машины. Он ничего не понял. Он не виноват. Виноват я. Меня зовут Сафонов, и вы можете меня судить. Я не вредитель. Я вообще слишком труслив для поступков. Я только рассуждаю. Он оказался глупее и смелее. Я никогда не мог бы сломать машину, хотя бы потому, что я презираю машины. Бороться с ними так же глупо, как и поклоняться им. Вы воспитали машинопоклонников. Следовательно, вы воспитали и машиноборцев. Я книжная крыса и скептик. Я человек другого круга и, наверно, другого класса. Я знаю, что Достоевский выше этого рычага, но рычагу нет никакого дела до Достоевского. Следовательно, все в порядке, и вы можете меня торжественно осудить».

Он повторил про себя эту речь. Он даже увидал себя на трибуне. Почему-то он подумал: надо снять очки, без очков лучше... Но тотчас же он усмехнулся: рядом с таким пошляком!.. Он теперь не мог без отвращения смотреть на Толю. Наверно, и председатель думает: почему от него воняет?.. Он весь какой-то напомаженный... Значит, Сафонов будет осужден вместе с этим юродивым за вредительство. После Сенеки — рычаг. До чего это глупо!

Володя забыл приготовленную речь. Он теперь чувствовал только страх: вдруг Толя назовет его? Он боялся не наказания, но позора. Он сказал себе: «Трус», — и сейчас же попробовал оправдаться: нельзя отвечать за чужие поступки. Представив себе, что его могут посадить рядом с Толей, он покраснел от стыда. Он решил уйти. На него зацыкали, но он протиснулся к двери. Остановила его мысль: если Толя назовет — отложат... Лучше уж сразу!..

Председатель сказал Толе: «Насчет Достоевского вы оставьте, это не литературный диспут. А если вы говорите, что вас подговорил «дух», то у этого «духа» имеется имя. Кто же ваши сообщники?»

Все замерли: вот, сейчас назовет! Кто они? Монархисты? Эмигранты? Шпионы? Толя ответил не сразу, и Володя пережил тяжелую минуту: он видел, как губы Толи складываются, чтобы выговорить «Сафонов». Он готовился пройти вперед и ответить: «Владимир Сафонов, родился в 1909 году, сын врача». Он теперь не произнес бы никакой речи. Он ответил бы на вопросы председателя послушно и тихо, как школьник.

Наконец Толя сказал: «Сообщников у меня нет. Разве что водка и жизнь. Очень меня жизнь озлобила. Еще Груня. А потом я чересчур много думал о глупостях, вроде как о философии. Вот и результаты...»

Напряжение спало. Володя вынул из кармана платок и осторожно вытер лоб. Он сказал соседу: «Очень жарко». Тот ответил: «Ну и сволочь этот Кузьмин!» Потом говорили какие-то люди. Володя их не слушал. Толя просил о снисхождении. Наконец председатель прочитал приговор: пять лет.

Володя вышел из клуба вместе со всеми. Он теперь радовался, что стоял позади и что Толя его не увидел. Он подумал: а ведь Толя герой — он так и не назвал Володю. О себе Володя старался не думать. Его мутило от страха и от гадливости. Но надо было что-то делать: идти в столовку или на занятия. Тогда он отчетливо понял, что он не может больше оставаться на стройке. Он должен уехать, все равно куда. Он зашагал по направлению к станции. Потом он вспомнил про тетрадку и пошел домой. Он взял сундучок и сказал Костецкому, что едет в Томск на неделю. Он назвал Томск — это было первое, что пришло в голову.

Столь же машинально он спросил бородатого железнодорожника: «Когда поезд на Томск?» Поезд шел через час, и Володя этому обрадовался. На станции было много народу: провожали какую-то делегацию. Володе показалось, что среди провожающих — Ирина. Он подбежал, чтобы проститься, но оказалось, что это не Ирина: он ошибся.

Он подумал об Ирине. Он подумал о ней просто и ласково, как о чем-то очень далеком. Он хотел, чтобы ей было хорошо. Он жалел, что не повидал ее, не сказал: «Спасибо, Ирина!» Только это и мог он теперь ей сказать: она была давно, в другой жизни. Тогда Володя еще мог радоваться. Она была с ним очень добра. Когда он отчаивался, она его утешала. Но как давно это было! Теперь все кончено, все, все. Вот и поезд!

На стройке не было ни театров, ни деревьев, ни улиц, но стройка числилась городом, и в этом городе были: горком, бюро красных партизан, техникум овощеводства, литконсультация по поэзии, клуб нацменов и фотоартель. Стройка, однако, оставалась стройкой. Как прежде, клепальщики на морозе клепали кауперы, а в душных бараках строители ругали харчи и говорили о большевистских темпах.

На третьей домне стал электромотор. Бригадир Антомонов сказал: «Снова прорыв!..» У него оборвался голос, и он уныло махнул рукой. Мотор подали к вечеру. Тогда Антомонов собрал рабочих: «Ребята, не уйдем, пока не кончим!» Его бригада проработала три смены подряд. Первый каупер третьей домны был закончен. В тот же день ударные бригады бетонщиков начали фундамент под новую домну; это была домна четвертая, и она рождалась так же напряженно и мучительно, как первая.

Когда зажгли первую печь мартена, строители стояли вокруг в молчаливом восторге: колхозники, монтажники, казахи, мордва, спецпереселенцы и втузовцы. Шор от волнения отвернулся. Но сейчас же он закричал: «Что вы делаете, черт бы вас побрал? Надо нагреть изложницы».

Инженер Гаврилов диктовал Ластовой: «Сегодня выдана десятая плавка: 155 тонн». Ластова, отстучав, улыбнулась — она радовалась победе. Потом она тихо шепнула Загребиной: «Кажется, завтра будут выдавать монпансье».

Маркутов выступил на пленуме с докладом. Он говорил: «Необходимо форсировать газопровод! Наш лозунг: бить морозы в лоб!» Потом Осицкий сказал: «Предлагаю почтить вставанием память товарища Ромашовой, которая погибла на боевом посту». Все встали. У Маркутова глаза были еще серее и грустнее обычного. Ромашова была его женой. Она умерла от плеврита, простудившись на ночной работе. Маркутов снова попросил слова и сказал: «Морозы нас не могут остановить. Мы должны закончить в этом квартале пятьдесят тысяч кубометров бетонных работ».

Куликова представила доклад о постройке детской площадки на семьдесят человек. Тапчаев положил резолюцию: «Категорически нет средств». Куликова не

успокоилась. Она поехала на лесозавод и произнесла горячую речь. Рабочие постановили сделать сверх плана стулья, столы и кровати. На торжественном открытии площадки выступил Батиков. Он сказал: «У нас многие работницы не выходили на работу — не на кого было оставить ребятишек. Теперь семьдесят работниц смогут принять активное участие в стройке. Я предлагаю выбрать товарища Куликову ударницей коксового цеха». Куликова взяла на руки двухлетнего мальчугана и зачмокала: «Тю-тю!» Мальчуган от страха заревел. Девочка постарше подошла к Куликовой и деловито спросила: «Когда будут давать кашу?»

На вечере, посвященном культурному строительству национальных меньшинств, выступил казах Имамбаев. Он сказал: «Когда я приехал сюда, меня поставили землекопом на стройдоменном цехе. Я не знал, что такое цех. Были здесь казахи, которые приехали до меня. Я их спрашивал, что такое цех. Они мне отвечали: «Это сек». Сек по-нашему — это баран. У баранов разная шкура, и у нас в деревне говорят: «Красный сек и доменный сек». Они говорили мне: «Здесь коксовый сек и доменный сек»,— они думали, что цех это сек. Они ничего не понимали. Я спросил комсомольцев, и комсомольцы мне объяснили. Я понял, что такое цех, и я рассказал другим казахам. Теперь они хорошо понимают, что такое цех, и никто из них не поедет домой. У нас, когда нет дождя, нет хлеба и казахи сидят голодные. Зачем гонять скот, когда можно работать на цехе? Мы теперь только начинаем жить». После Имамбаева говорила молодая казашка: «Мы прежде жили хуже скотины. Мужчины ели мясо, а женщины стояли позади и ждали, когда им кинут кость. А теперь я в ударной бригаде. Я вчера на курсы записалась...» Она смутилась и больше ничего не могла вымолвить. Ей много аплодировали. В углу сидел старый бородатый казах. Он хитро щурился. Он сказал: «Ну и бесстыдники»,— а потом начал аплодировать.

Зубаков сказал Путилову: «Необходимо устроить театр. Вот в Анжерке замечательная труппа: четыре заслуженных артиста». Путилов помолчал и вдруг сказал Зубакову: «Знаете, я ведь приехал сюда в апреле двадцать девятого. Тогда здесь ничего не было, ровно ничего. Нас приехало сто сорок человек. Два шофера. А дорог никаких. Теперь я гляжу и глазам не верю.

Смешно?» Зубаков сказал: «Грандиозно! Но как же насчет театра?»

Возле стройки находились Осиновские рудники. Прежде там была деревня Осиновка. Деревню снесли. Осталось кладбище: на нем хоронили рабочих. Кладбище было занесено снегом, и только один крест повыше других торчал из-под снега. В солнечное утро на кладбище пришли два инженера: Власов и Ройзман. Власов подошел к деревянному кресту и снял шапку. Он сказал Ройзману: «Здесь похоронен доменный мастер Курако. Это очень странная история. Давно, еще до войны, Курако мечтал о постройке Кузнецкого завода. Он работал над проектами. Я видал один из проектов — это гениально. Никто не хотел его слушать. Он жил в бедности. Он умер от сыпняка в девятнадцатом году. Тогда людям было не до стройки...» Ройзман поглядел на лицо Власова, которое сразу стало суровым, и тоже снял шапку. Он не знал, что ему сказать. Тогда Власов неожиданно его спросил: «Почему у вас перебои с углем?» Они заговорили о работе.

Вербовщики продолжали вербовать крестьян. За одну декаду прибыло девятьсот тридцать человек завербованных и сто восемьдесят четыре самотеком. Из Чехо-Словакии приехали безработные шахтеры. Жена Франца Кубки, вздохнув, сказала: «Франц, как же мы будем здесь жить? Здесь нет ни кофе, ни сливок, ни масла». Франц Кубка обозлился и закричал: «Мало я намучился? Здесь есть работа, и то хорошо».

Засыпало землей четырех землекопов. Резанова откопали живым. Тарасов его спросил: «Куда же вы, дураки, полезли?» Резанов не ответил. Он молчал час, два. Иногда он хватался за голову и начинал мычать. Пришел доктор и сказал, чтобы Резанова тотчас же отвезли в лечебницу. Тарасов насупился: «Вот тебе — человек языка лишился! Не хочу я здесь работать! Это не работа, это черт знает что!» Панасенко ему ответил: «Что же, если ты приехал за длинным рублем, уезжай! А я останусь. Я приехал сюда, чтобы строить».

Шумели бураны, и пронзительно кричала воздуходувка. Люди продолжали строить. Они строили новые кауперы, туннели, мосты, газопроводы и шахты. Как прежде, они строили день и ночь.

Колька Ржанов ходил хмурый и молчаливый. Он был занят теперь одним: он хотел построить свой кран. Все свободное время он что-то чертил. Ирина его

спросила: «Ты завтра пойдешь в кино?» Он невпопад ответил: «Если под углом, обязательно подцепит...» Ирина рассмеялась, рассмеялся и Колька. Он в смущении крепко ее расцеловал, а потом проворчал: «Все-таки я его построю!»

Колька показал чертежи Соловьеву, но тот рассмеялся: «Кому это теперь нужно?» Так говорили и другие инженеры: они знали, что существуют настоящие краны, и чертежи Кольки им казались игрушкой. Только слесарь Головин внимательно выслушал Кольку и сказал: «Попробуем. Может, и выйдет».

Три недели спустя Колька и Головин подтащили к яме диковинное сооружение из бревен. Деревянное чудище вытянуло шею над ямой. Колька закричал Головину: «Верти за хвост!» Лебедка тотчас же подняла щит. Землекопы сначала недоверчиво глядели на кран, но, когда они поняли, что кран и вправду подымает щит, что больше им не нужно таскать этот щит на плечах, они весело заулыбались. Головин сказал: «Ребята, качай Кольку!» Колька подлетел высоко, чуть ли не до морды своего деревянного зверя.

Подошел инженер Херсонский. Сначала он иронически прищурился: «Что это за белиберда?» Ему показали, как кран подымает щит. Херсонский проворчал: «Да, конечно... А все-таки лучше было бы поставить настоящие краны...» Он не завидовал успеху Кольки, но он знал свое дело, и он никак не мог понять это дикарское изобретение.

Однако, встретив Шора, он сказал: «Ну, у нас теперь не только моргановский кран, но и свой, доморощенный. Посмотрите, все-таки интересно, простой рабочий, а додумался». Шор возле крана застал Кольку. Он сразу узнал его и вспомнил разговор о Морозове.

Кто знает, сколько людей перевидал на своем веку Шор? Он тотчас же забывал их имена, но он помнил лица. Он помнил лица лавочников, тюремщиков, парижских консьержек, солдат, английских дипломатов, крестьян, он помнил тысячи лиц. Все чаще и чаще, среди ночной тишины, эти люди обступали Шора, и он мучительно морщился: у него не было времени для воспоминаний.

Шор, посмотрев на кран, закричал: «Здорово! Ведь подымает, да еще как!» Потом, задумавшись, он сказал Соловьеву: «Конечно, это выпадает из стиля —

американщина, а рядом такое. Но ничего не поделаешь: из курной избы в небоскреб сразу не прыгнешь. Лучше уж эта штуковина, чем на спине таскать». Он подозвал к себе Кольку. Колька, волнуясь, следил за глазами Шора — глаза улыбались. Тогда Колька робко сказал: «У меня никакого технического образования...» Шор прикрикнул: «Сразу видно! Но вот голова у тебя на плечах — это самое главное. Образование пригоним. Ты что, на курсах? Ну вот и хорошо. А с осени мы тебя в Томск пошлем. В техникум. Я сейчас запишу. Голова у меня дурацкая: помню, что не нужно». Он крепко пожал руку Кольки, и Колька готов был запрыгать от радости. Но он сдержался и простоял не двигаясь, пока Шор не ушел.

Потом он побежал к Ирине — на счастье, у нее был выходной день. Он вбежал в ее комнату и закричал: «Старику понравилось! Сказал, что меня в техникум пошлют. В Томск. Сказал, что хорошо придумано. Четыре раза при нем проверяли. Он и в книжку записал». Он хотел все сразу рассказать Ирине, но он не мог рассказать о самом важном: о том, как ласково светились глаза «старика», когда он глядел на Кольку. Он только, смущаясь, добавил: «Он со мной хорошо говорил, очень хорошо».

Они долго и шумно радовались, и все, что они делали, было праздничным. Пили чай, как в гостях, с медом: Ирина достала где-то банку. Колька обсасывал ложечку и смеялся. Потом Колька показал, как Херсонский разговаривает с немцами, и это было очень смешно, а может быть, и ничего смешного здесь не было, но они смеялись. Ирина сказала: «Вот ты в Томске увидишь профессора Ивашева. Он в пенсне и вдруг забывает, что говорил, и говорит: «Господа», честное слово!..» И они снова рассмеялись.

Колька сказал: «В Томске хорошо заниматься. Тихо. Только скучно мне будет без стройки. Зато научусь. Буду инженером. Тогда-то начнется самое интересное. Построим завод раза в два больше этого. К тому времени у нас только и начнут строить по-настоящему. Ведь еще ни черта не сделано. Я на Урале видал эти старые заводишки — все надо сломать. Или в Восточной Сибири — какая там дичь! Вот туда и пошлют. В разведку. Я сделаю проект...»

Он снова размечтался. С его лица теперь не сходила улыбка. Ирина ему рассказывала о Томске, о профес-

сорах, о зачетах. Он слушал внимательно и в то же время рассеянно, как слушают дети сказку. Он не мог себе представить, что скоро это будет его жизнью, и что эта прекрасная жизнь в больших светлых аудиториях окажется только вступлением к другой, с чертежами, эстакадами и мостами. Он сказал: «Чудно — Колька, и вдруг инженер...»

Потом Ирина неожиданно сказала: «Значит, осенью расстанемся, и надолго». Колька перестал улыбаться. Он постарался как можно беспечней ответить: «Ничего, я на практику сюда приеду!» Но это не утешило ни Ирину, ни его самого. Тогда он сказал: «Зачем теперь думать о том, что будет осенью! До осени далеко!» Они сразу развеселились: полгода для них были целой жизнью. Колька признался: «А трудно будет без тебя!..» Ирина просияла — если так, значит, они никогда не расстанутся! Она сказала, улыбаясь: «Ничего, привыкнешь». Но Колька ответил: «Ты, Ирина, не смейся! Это всерьез». Больше они не могли разговаривать, они сидели молча друг против друга и улыбались.

Вдруг Колька снова рассмеялся: он вспомнил свой кран. «Ты знаешь, Ирина, и во сне такое не приснится! Я видал в атласе жирафа. Вот если сделать жирафа из спичек... Твой Сафонов правильно сказал: «Каменный век». Скажи, Ирина, ты с ним видишься?..»

Ирина удивленно посмотрела на Кольку. Он смутился. «Ты что это думаешь? Я и забыл. Вскипятился тогда, и все... Я это просто спросил. Он, кажется, умный парень. С таким поговорить интересно. Мы в тот раз сцепились. Я-то знаю почему. А он принципиально. Хотя, может быть, и он из-за этих чувств. Это ведь как по голове трахнут — ничего не понимаешь. Меня что обижает — вот вы встречаетесь, говорите, наверно, о книгах, о людях, мне ведь тоже интересно... Неужели через такое нельзя перешагнуть?» — «Может быть, когда-нибудь. Но тогда и не на земле люди, а парят. Вот если бы ты полюбил Варю, разве я могла бы сидеть и слушать, как вы разговариваете? Не так это просто переделать. Может быть, через сто лет... А пока что трудно. Я Володю с того вечера не видала. Мне это самой странно. Я думала: сжились по-человечески — настоящая близость. Но и это не выстояло. Он не приходит. Наверно, так лучше. Все-таки обидно — я даже не знаю, что он теперь делает. Он мне

сказал, будто приехал, чтобы окончательно во всем разувериться. Но это слова. Он из-за меня приехал. А когда встретились, оказалось, что и говорить не о чем. Вот как нарочно: он — в одну сторону, я — в другую. Если рассуждать логически, выходит, я его обманула. Только в этих делах нельзя рассуждать. Я когда о нем думаю, сердце сжимается: не может он жить, никак не может!..»

Колька еще никогда не видел Ирину такой печальной. Он быстро поддался ее чувству. Он не думал о Сафонове. Он был полон беспричинной грусти. Он боялся что-либо сказать, боялся неосторожным словом еще больше огорчить Ирину. Наконец он робко проговорил: «Может быть, и не так это. Может быть, он увлечется работой...»

«Я его прежде понимала. Не совсем, но все-таки понимала. Теперь — не знаю: я сильно переменилась. А он не меняется. Он весь готовый. Один только раз я почувствовала, что я старше его. Я не могу тебе рассказать, как это было. Но я тогда расплакалась, а он ничего не понял. Впрочем, это чепуха. Он не то старше, не то старей. Я хочу тебе объяснить и не могу: у меня для этого слов не хватает. Я себе сейчас представила, как он усмехается. Вроде гримасы. Но это не от злости. Мне всегда в такие минуты казалось, что он задыхается. Знаешь, как рыба, когда ее вытащат. Он говорит, что теперь безобразная жизнь. А я вот думаю — как жила моя мать? Училась в гимназии. Танцевала. Ходила в театр. Потом вышла замуж. Папа работал в депо. Он с утра уходил. Она сидела дома или ходила в лавки или к сестре. Нянчилась с нами. Скучно это, так скучно, что страшно подумать! А что будет через сто лет, я не знаю. Может быть, будет замечательно. А может быть, тоже скучно: все построят, наладят, научат всех думать. Это, конечно, хорошо. Только куда интересней теперь. Все приходится делать своими руками. Как ты — этот кран. Я говорила Володе, а он отмахивался. Может быть, он не вовремя родился. Раньше такие люди были счастливы. То есть счастливы они не были, наоборот. Но тогда всем казалось, что быть несчастным — это очень благородно. Он был бы в своей среде. А это для человека главное. Его горе в том, что он честен, ни за что не хочет приспособиться. Сколько у нас таких — в душе на все плюют, а публично распинаются! Володя не умеет обманывать. Он

и себе не врет. А верить — он ни во что не верит. Как же ему тогда жить? Иногда мне кажется, что мы все перед ним виноваты, виноваты тем, что живем, работаем, веселимся. А иногда меня злоба берет. Посмотришь кругом: ужас, вши, люди надрываются, надо дело делать, минуту потерять и то страшно, а он ходит с цитатами. Тогда я, кажется, сама готова сказать: «Уж лучше стреляйся!..»

Ирина выговорила это залпом, и, выговорив, она сразу успокоилась, как будто ее освободили от чего-то очень мучительного. Она часто вспоминала Володю, но только теперь, рассказав о нем Кольке, она поняла, как много времени утекло с Томска, как отошла она от того, что ей казалось тогда жизнью.

Колька сидел молчаливый и сумрачный. Он был силен, когда приходилось сталкиваться с жизнью лицом к лицу, но, попадая в чащу сложных чувствований и противоречий, он неизменно терялся. Он не понимал, что происходит в душе Ирины. Почему она так безжалостна к этому Сафонову? Он сказал: «Здесь, Ирина, что-то не так. Если даже он чужой, он может перестроиться. Возьмем Ваську Морозова. Его не узнать. А ведь это кулак, темнота, у него жизнь и не в голове, а в крови. Сафонов другой. Он думает. Он и не похож на врага. Я это тогда зря сказал. У врагов зубы. А он какой-то неприкаянный. Выпал, а на место не поставили. Вот я тебя слушал и все время думал: может быть, это наша вина? Очень быстро мы людей отшиваем: раз-два, и прощай! Я буду с тобой говорить откровенно. Ты пойми: с моей стороны это не любопытство. Я никогда не спросил бы... Но вот вы, что называется, друг дружку любили. Ты хорошо видишь жизнь. Я с тобой душевно вырос. Два человека мне так помогли: ты и «старик». Почему же ты его не выволокла? Это легко сказать: стреляйся. Но я в это не верю. Человеку надо помочь. Да и ребята у нас неплохие. Только заняты все по горло, некогда, спешат. А потом человек и вправду стреляется. Это, Ирина, не дело!..»

Ирина спокойно его выслушала. Ее лицо стало сразу строже и взрослей. Она сказала: «Вот всегда так — в жизни вы умные, а как дело доходит до чувств, девчонка и та скорей поймет. Ты что думаешь, если я тебе сказала, это значит, мне сейчас в голову пришло? Я и сказала потому, что — кончено. Не о чем больше толковать! Может быть, останься я с ним, он

был бы на столько-то счастливей. Но ты с твоим Морозовым поговорил по душам, и все. А здесь надо не по плечу хлопать, но жизнь отдать. На это я не согласна! Не могу. Просто я не такая. У меня это выйдет, как в театре. В этом все дело. Для него наша жизнь — пошлость. А для меня он ненастоящий. На сцене — можно, а здесь, в Кузнецке,— нельзя. Ты подумай, как это звучит просто: краны, школа, выходные дни, столовки. Если так перечислить, получится ерунда. Да и у нас с тобой: ну, встретились, ну, любят. Даже романа об этом не напишешь. Вот Варя все время жалуется: «В романах хорошо, а у меня ничего не выходит». Я слушаю и смеюсь — может быть, у нее с Глотовым куда лучше, чем в романе. Только нет таких фраз. Времени не хватает. А может быть, и охота у людей прошла. Я думаю, что и жизнь у нас замечательная, и любим мы друг друга по-настоящему. Но трагедии, конечно, не поставишь — «Ирина и Колька». Для трагедии я курносая...»

Она вдруг рассмеялась. Улыбнулся и Колька, улыбнулся нерешительно, как будто стыдясь своей улыбки. Потом он встал, обнял Ирину и сказал: «Я тоже так думаю». Это показалось ему глупым. Он пробормотал: «Ну и положил резолюцию!» Обоим теперь было весело и легко.

Они подошли к окну. Из окна была видна вся стройка. Трубы и огни говорили остальное: Ирина и Колька были на своем месте. Они твердо знали, что им делать.

Колька посмотрел на часы и заторопился: у него была ночная работа. Ирина сказала: «Да ты застегнись — простудишься». Он весело ответил: «Никогда!»

19

Кладбище находилось по соседству с исправительной тюрьмой. Новых покойников хоронили возле главных ворот, и редко кто из посетителей забирался в глубь кладбища. Там было дико и неприятно. На земле валялись деревья, вырванные бурей, и сбитые с могил кресты.

Пятнадцать лет революции изменили население города. Мало в нем осталось старых томичан. У покойников больше не было ни родственников, ни друзей, ни

врагов. Это было кладбище древнего племени, заселявшего некогда город. Могильные эпитафии казались сделанными на чужом языке. Только Володе и могло прийти в голову расшифровывать эти имена и даты.

Могила купца первой гильдии Феофана Санникова была некогда пышной. Часовню окружала чугунная решетка екатеринбургской работы, с ангелочками и вензелями. Решетка была поломана, а в часовенке валялись осколки бутылок. На двери было написано: «Блаженны плачущие!»

Рядом с Санниковым был похоронен классный надзиратель Виссарион Крачевский. Его могила была украшена эмалированной фотографией. Володя увидел густые усы, выпуклые рачьи глаза и высокий воротничок с углами. Над фотографией значилось: «До свиданья там! Твоя безутешная супруга».

Среди кустарников торчал старый восьмиконечный крест. Имя на нем стерлось, сохранились только стихи: «Прохожий, не гордись, мой попирая прах. Я дома, ты в гостях». Володя долго простоял возле этого креста. Он как будто обрадовался, среди скучных имен и лицемерных клятв разыскав эту грустную сентенцию. На минуту ему показалось, что он сидит в библиотеке. С недоумением он поглядел вокруг: солнце, снег, кресты. Он еще, кажется, в гостях. Да и нет у него никакого дома!..

Потом он задумался: что они делали, эти вздорные мертвецы? Супруга педеля, наверно, вскоре утешилась. Она носила большие корсеты. Может быть, купцу первой гильдии и довелось расстегнуть ее корсет? У купца была бакалейная лавка, где-нибудь на Воскресенской горке, и доходный дом. Он драл семь шкур. Никогда в жизни он не плакал. После обеда он храпел на весь Томск. Когда наконец-то он умер, его сыновья на радостях напились до положения риз: сколько лет они молились, чтобы господь прибрал этого скупердягу! Потом они заказали памятник: «Блаженны плачущие!»

А этот философ? Что он поделывал в гостях у жизни? Чем торговал — воском или белорыбицей? А может быть, он просто валялся на оттоманке и бил по щекам краснорожую Груньку? Ведь глубина мысли определяется степенью безделья. Тогда не было темпов. Тогда ставили самовары... Володя поморщился и повернул к выходу.

Кругом высились столбики, украшенные пятиконечными звездами: это были могилы коммунистов. Кой-где лежали рыжие замерзшие цветы. Рабочий поплевал на ладонь: земля не поддавалась. Кладбище сразу ожило: здесь оно сливалось с городом.

Накренился последний крест: «Здесь упокоился раб Божий, красный партизан Иван Медведев». Вокруг креста было много звезд: «Здесь покоится Василий Перлов. Член ВКП(б) с 1918 г.», «Здесь похоронен Марк Гольвиц. Ударник».

Володя усмехнулся: что же переменилось? Они говорят: «энтузиазм». Прежде это называлось верой. Она родилась в тот самый год, когда палили иконы и потрошили мощи. «Член ВКП». «Марк, ударник». Так хоронили бессребреников. Но эти не были в гостях. Они были у себя дома. Наверное, они строили кауперы или крольчатники. Вроде Кольки. Потом они надорвались. Как это величественно и как глупо! Володя пожал плечами: суета стройки продолжалась. Он еще раз пробормотал: «Величественно и глупо».

Он собирался было уйти, когда его остановил старичок в плешивой шапчонке. «На могилку пришли?» Володя ответил нехотя: «Гуляю».—«Ну, это и лучше. А я вот пришел посмотреть, не стащили ли чего. Сын у меня здесь. Комсомолец. Хотел я его похоронить по-православному, товарищи не дали. Вот и звезду поставили. Я политики не касаюсь, но крест, по-моему, куда чувствительнее. Вот вы — человек молодой, интересно, как вы на этот счет думаете?» Словоохотливый старичок раздражал Володю. Он ответил сухо: «По-моему, все равно. Умер и умер». Старичок не унимался: «Ну а все-таки, что, по-вашему, больше соответствует человеческому чину?» Тогда Володя повернулся к нему и крикнул: «Ни креста, ни звезды! Поняли? Просто кол. Осиновый». Он быстро убежал прочь.

Он больше не давал себе отчета в своих поступках. Зачем он пришел на это кладбище? Зачем полдня просидел на вокзале, среди чайников и узлов? Зачем, наконец, приехал в Томск?..

Всю дорогу он пролежал, прикидываясь спящим. Он не пошел в общежитие. Увидев издали Петьку Рожкова, он бросился прочь. Потом подошел вечер. Надо было где-нибудь приютиться. Володя растерянно оглянулся и побрел к Фадею Ильичу.

Фадей Ильич когда-то был конским барышником. Он любил с гиканьем носиться на резвых. После революции он присмирел, но не увял. Он заведовал конюшнями горсовета. Когда на него находила тоска, не задумываясь, он шел в «Коммерческую столовую». Водку он пил из чайных стаканов и называл ее «водицей». Выпив бутыль, он багровел и начинал говорить о тщете жизни. Он говорил о том, что зря обидел покойницу Машу, что прежде были кони, а теперь пошли коняги, что все мы окочуримся и что не стоит человеку парить в небесах, если все равно из него вырастет лопух.

Фадею Ильичу оставили его маленький домишко возле самой Томи. Володя робко сказал: «Я теперь в командировке. На несколько дней. Вы меня пустите, Фадей Ильич. Я вам заплачу». Фадей Ильич посмотрел на Володю и буркнул: «Ладно! Только баб ко мне не води. Я человек нравственный. Не могу я бабья видеть — кровь во мне играет. Мигом отобью!» Он загоготал. Володя напряженно подумал: кажется, надо улыбнуться... Ему все казалось, что он в клубе «Красный металлист» и что Толя говорит: «Дух — это Сафонов».

Ночью он плохо спал. Лезли в голову глупые мысли. Может быть, уехать в Китай и поступить там в какую-нибудь армию? Все равно в какую, лишь бы не знали, кто он. Потом он решил отправиться утром в милицию. Он скажет: «Меня следует задержать — это я подбил Толю Кузьмина». Он вспомнил сугробы и Достоевского. Прежде легко было каяться: выслушивали, жалели, романы об этом писали. А теперь? Пошлют к черту: «Не мешайте, гражданин, работать». Или скажут: «Ладно! Виноват так виноват». Отправят на рудники. Снова уголь. Потом чугун. Потом сталь. Потом прокат. Блюминг еще не пустили... Зачем же книги? Зачем Достоевский? Одно из двух. Приходится отметить: духа в окрестностях не замечено. Вот только Толя увидел... Дух — это Сафонов. Злой дух. Нет, слишком громко сказано. Просто чертик. Такого можно носить в кармане, никто не заметит. Можно с ним пойти на собрание. Даже выступить: «Товарищи, жизнь только здесь!» Смолин одобрит. Кстати, как звали этого Смолина? Кажется, Васька... А Толя? На каком основании он — Толя? Самозванство. Он попросту Толька. Достоевский — и рычаг ломать — какая гадость!..

Он вышел из дому рано утром. Фадей Ильич шутил и смеялся. Володя молча прошел мимо. Ржали лошади. Он пошел, не думая ни о чем, к библиотеке. Но у ворот он остановился. Наталья Петровна еще тогда крикнула: «Уйдите! Вы хуже всех!» Она первая догадалась, что он преступник...

Володя не пошел в библиотеку. Он долго бродил по молчаливым улицам. Он старался не замечать ни домов, ни людей: он боялся вспоминаний. Он купил газету и прочел ее от начала до конца. Он даже подумал: здорово! На мартенах Кузнецк обгонит Магнитку...

Под вечер он очутился на улице Фрунзе. Там жила Ирина. Он вспомнил, как он тогда ломался: закурил папиросу, медленно дошел до угла. Он своего добился: Ирина его ненавидит. Что же, так лучше! Если есть кто близкий, страшно умереть. А у Володи никого нет. Почему же все-таки страшно?... Страшно от одиночества. Хоть бы попался кто-нибудь знакомый! Все новые лица. Общежитие переехало. «Товарищ, вы не знаете Рожкова? Петьку? Или Шварца? Ну, кого-нибудь с математического?» Вузовец, которого Володя остановил, ответил: «Я в педтехникуме». Володя тоскливо подумал: как Ирина. Ирины теперь нет. Ирина в Кузнецке. Он один. Совсем один.

Он увидел огни и людей. Он кинулся туда — это был цирк. Он старался улыбаться и аплодировать. Когда эквилибрист прыгнул с трапеции, он смутно подумал: вот так бы!.. Он больше не глядел на арену. Он погрузился в мысли, вязкие и жадные. «Поставить точку» — это Маяковский когда-то написал. Что же, он поставил. Отец лежал в покойницкой. У него лицо было твердое и суровое. Значит, он успел обо всем подумать. Какие сугробы были в Кузнецке! Никогда он не видал таких сугробов. Скоро стают. Это ужасно: тогда начнется самое глупое. Например, черемуха. Ирина любила... Нельзя нюхать цветы! Почему никто не понимает, что это провокация? Впрочем, никого и нет... «Тишина, ты — лучшее из всего, что слышал...» Вокруг Володи шумела толпа. Но ему казалось, что он один, с тишиной. Он старался понять: о чем это он думает? Потом он догадался. Он кинулся к выходу, расталкивая людей. Он повторял про себя: об этом нельзя думать, нельзя, нельзя!..

В тумане мелькнула борода Фадея Ильича, противные разводы на обоях, шнурки ботинок. Почему-то

Володя долго не мог развязать шнурки. Он лег и с отвращением подумал: нет, я на это не гожусь. Когда застрелился Чернов, говорили — трусость. А сколько для этого нужно сил! В голове все путалось. Он вдруг рассердился на себя: даже шнурки развязать не умею! Потом на него нашло оцепенение. Он робко подумал: может быть, это и не так страшно? Одуреть — и раз-два. Он машинально добавил: «Три, четыре...» Он уснул, считая.

Утром он очутился на кладбище, а после кладбища — перед домом профессора Грима. Он сам удивился: почему он пришел сюда? Растерянный, он сел на лавочку и все старался понять, что его привело к этому дому с резными воротами? Прошлой весной Грим сказал ему: «Как-нибудь зайдите, потолкуем». Это было давно. В другой жизни. Если позвонить, Грим спросит: «Что вам угодно?» Как ему объяснить? Да и нужно ли еще объяснять? Кажется, все досказано, исписана тетрадка, пережит позор суда, Ирина сдана по назначению, остается тот конец, который почудился ему вчера за ловким прыжком эквилибриста.

Володя знал труды Грима. Он знал, что Грим не педагог средней руки, застрявший в провинции, но крупный ученый. Грим не ходил на собрания, не подписывал деклараций, не говорил о диамате, и в своем дневнике Володя называл его «непримиримым». Прежде, когда Володя еще мечтал о научной работе, он думал: буду как Грим! Один раз ему довелось поговорить с профессором. Он проводил Грима до дому. Он говорил о релятивизме. Грим улыбался, и Володя никак не мог понять, что означала эта улыбка. Потом он жадно всех расспрашивал: «Вы его знаете?» Но Грима мало кто знал: он жил замкнуто. В Томске о нем говорили, что это замечательный математик, однако большой дурак. Верней всего, его не замечали, как не замечали старых домов. Ему было шестьдесят два года.

Грим не любил говорить о том, что он называл «посторонними вещами». Эти «посторонние вещи» были всей жизнью. Охотно Грим разговаривал только о математике. Он думал, что он ничего не понимает ни в политике, ни в любви, ни в людях. Жена сказала ему: «Вот Муся хочет выйти замуж за Кольчугина, а по-моему, этот Кольчугин негодяй». Грим, смущенно поморгав, ответил: «Я его мало знаю. Мусе видней — раз

хочет, значит, он ей нравится». Жена хлопнула дверью и, не вытерпев, сказала заплаканной Мусе: «Твой отец не человек!» Это было давно, еще до войны. Муся вскоре развелась с Кольчугиным и вышла за Каплана. У нее было трое детей. Когда она спросила отца, куда лучше отдать Гришу — в девятилетку или в ФЗУ, Грим все с той же виноватой улыбкой ответил: «Я вот не знаю. Да это все равно. Он потом сам разберется...»

Вокруг Грима шла твердо налаженная жизнь. Жена требовала в распределителе, чтобы «ученому с мировым именем» выдавали балык. Муся собирала у себя всех дам Томска. Они танцевали фокстрот или играли в преферанс. Каплан носился с проектом новой стройки. Хитро щурясь, он приговаривал: «А мы назовем завод именем Орджоникидзе!» Гриша играл с товарищами в мировую войну. Они вырезывали из газеты противогазы и били японцев. Орали ребята, гнусаво скулил патефон, Каплан размахивал руками, Муся разгуливала в заграничной пижаме, жизнь в доме кипела. Вся эта жизнь держалась на одном: в маленькой комнате сидел Грим и работал.

Он работал с утра до ночи, и жена, вздыхая, приговаривала: «Как машина!» Грим скрывал от близких, что он очень болен. Доктор, измерив давление крови, покачал головой, и Грим понял, что ему осталось немного. Он торопился: он хотел закончить свою основную работу. Об этой работе знали в Москве. Два года тому назад Грим выступил с докладом в Московском математическом обществе. После этого в Томск было послано специальное распоряжение: обеспечить Гриму сносные условия для работы. Домашние тотчас же ожили. Жена кинулась в распределитель: «Вы обязаны выдавать три кило масла!» Каплан стал приговаривать шепотом: «Я, знаете, зять Грима — того самого». Даже Гриша в школе заявил: «Я задачи не сделал — со мной дед разговаривал». Грим не думал ни о бумаге из Москвы, ни о распределителе, ни о проделках Каплана. Он продолжал работать.

Когда в его комнату провели Володю, он печально вздохнул — сколько раз он просил никого не пускать!.. Наверно, насчет зачетов... Мог бы в университете спросить!.. Он тихо сказал: «Что вам?» Володя приготовился к этому вопросу. Он быстро заговорил: «Вы как-то позволили зайти к вам. Помните, я говорил тогда о релятивизме. Я вас не хотел отрывать от

работы. Но сегодня у меня действительно важное дело. Я вас называл про себя «непримиримым». Это, конечно, наивно, но это выражает мое отношение. Я теперь совсем запутался. Не знаю, как из этого выйти. Да и стоит ли? Я пришел, чтобы задать вам дурацкий вопрос: как по-вашему, я могу еще жить или нет?»

Грим сказал: «Прежде всего, сядьте. Давайте поговорим спокойно. Почему вы не можете жить? Что вы такое наделали?» — «Собственно говоря, ничего. Можно, конечно, придраться. Я, например, говорил перед одним сумасшедшим о Достоевском. Он ничего не понял и пошел ломать машину. Это похоже на бред, но это так. Впрочем, об этом и говорить не стоит. Это деталь! Еще с Ириной... но это тоже деталь. Главное вот что — я не могу так жить! Вы не подумайте, что я какой-нибудь контр. Я прекрасно понимаю, что они правы. Но мне-то от этого не легче. Вы, наверно, и не знаете, что такое Домна Ивановна! Зато моих сверстников вы знаете — это ваши ученики. Я их зову «Петьками». Они учатся культурно сморкаться. От этого можно сойти с ума! Я все перепробовал. Я бросил математику — кому это теперь нужно? Конечно, вас признают, но вы мировая слава. Я уехал на стройку. Не помогло. Что же мне теперь делать?»

Грим сердито барабанил мундштуком по столу: «Должно быть, я и вправду выжил из ума. Я вот ничего не понимаю. Моим дамам теперь тоже не нравится: «На базаре грубияны», или: «Таким мылом нельзя мыться». Но ведь вы говорите о другом. У вас, например, Достоевский. Почему вы так озлоблены? Я, правда, вижу только кусочек жизни. Но студентов я знаю. Чем они вам не нравятся? Подготовка, конечно, слабая. Зато какая энергия! Я помню старых студентов. Были и среди них идеалисты, но много было дельцов. Вроде моего зятя. Я лично предпочитаю теперешних. Они с таким жаром кидаются, что даже страшно. Вот вы говорите насчет стройки. По-моему, если строят, значит, так нужно — вопрос статистики. Теперь все говорят об этом чугуне. Вероятно, потому, что ничего нет. Построят, будет вдоволь гвоздиков или еще чего, тогда заговорят о другом. О поэзии, что ли. Я во время войны читал, что немцы все сады превратили в огороды. Роза от этого не стала картошкой. У них в это время такой Эйнштейн работал. Наверно, и поэты были. А о чем, собственно говоря,

жалеть? О томских купцах? Для науки это не подходит. Теперь в ОНО сидит... забыл фамилию — рабочий, слесарь. А в каком-то плане я или слесарь — это одно и то же. Я и не хочу, чтобы на меня смотрели иначе. Все эти приказы из Москвы — меня лично это стесняет. Не будь семьи, я бы от всего отказался. В чем дело? Грим такой же рабочий. Просто область более отвлеченная. Главное, что они теперь работают, и не только для себя. Был бы я помоложе, обязательно пошел бы с ними работать».

Володя слушал его спокойный, но очень бледный. Он сказал: «Хорошо. Что же мне делать? Мне — вот такому, как я есть? Это глупо, что я вас спрашиваю. Я ведь сам знаю... С моей стороны это трусость. Но вы куда меня старше. Вы это верней чувствуете. Скажите мне прямо, как по-вашему, это очень страшно?»

Грим не понял, придвинув к Володе большое волосатое ухо, он переспросил: «Что?» Володя ответил: «Умереть».

«Я об этом никогда не думал. То есть о смерти я часто думаю. Но в связи с работой: страшно, что кончить не успею... А потом? Кажется, это просто. Как и все в жизни. Можно, конечно, накрутить: так и этак. А можно без фокусов. Но почему вы об этом говорите? Вы мне во внуки годитесь. Вам о зачетах надо думать, а не о смерти».

Грим внимательно поглядел на Володю. Володя попробовал улыбнуться. Тогда Гриму стало его жалко. Он вытер платком очки, пожевал воздух и забормотал: «Ну, ну! Хватит! Я вот старик. Нагляделся. Жить приходится, как говорят, сжав зубы. У меня-то зубов нет. Все равно, сжимаю. Со стороны кажется, все замечательно. Бумага из Москвы. Внуки. А поговорить не с кем. Спросите их — они скажут: «Из ума выжил». В карты играют. Патефон. Такая тоска берет! Вот и умру за этим столом. Да и с работой бывает трудно. Вот-вот, а не дается. Ничего, держусь. Даже доволен. А вам совсем грех. Я вам завидую. Вы-то увидите, как это кончится. Нехорошо, когда каждый только о себе думает. Вот и наука — тоже самопожертвование. Такой слесарь — он в математике ничего не понимает, а подход у него правильный. Я как-то спросил его: «Трудно?» Он засмеялся: «Мы не увидим, дети увидят». Вот и выходит, что это для вас мы работаем».

Володя встал и глухо проговорил: «Нет, Иван Эдуардович. Для них, но не для меня. Их детей вы вывели

в жизнь, а своих собственных вы выдали с головой». Грим вспылил. На крик прибежала Муся, но он замахал руками: «Уйди!» Он кричал: «Кто это вас выдал? Предатели за границу убежали. Я вот ни одной лекции не пропустил! Стыдно вам, молодой человек! Старика обижаете. А только потому, что я в этих вещах ничего не понимаю...»

Когда Грим умолк, Володя тихо сказал ему: «Вы меня не поняли. Я вас не хотел огорчить. Конечно, вы никого не предали. Хорошо, что я к вам пришел. Я в жизни видел много чудовищного. Дядю. «Классовая эпизоотия». Наверно, он был охранником. Потом другой дядя — Мартын. Потом — Толя. Вы — настоящий человек. Хотя бы напоследок... Но почему вы сравниваете меня с собой? У вас был фундамент. Наука. Вы можете их учить. Они вас слушают. А я? Я должен с ними жить. Вы даже не понимаете, что это такое! У меня тетрадка в сундуке, а у них хоровое пение. Они отобрали Ирину, и это вполне естественно. С кем я оказался в итоге? С юродивым. Он помадится. Повернул рычаг. А потом — суд в клубе. Я себя чувствую сообщником. Это уже безумие. Знаю, знаю: история, неизбежность, смена культур. Это — в библиотеке. Вы знаете, я так напугал эту несчастную женщину. С моей стороны свинство! Но вы все же поймите, что мы остались ни к чему. Почему вы не запретили выдавать нам книги? Того же Сенеку. Надо было сразу сказать: «Готовьтесь к чугуну!» Не теперь — десять лет тому назад. Я прочел и свихнулся. С одной стороны — князь Мышкин, с другой — агрегаты. В мыслях я жил с какими-то «персонажами», а рядом храпел Петька. Он очень славный, добряк, он меня утешать пробовал. Вообще по отношению к ним я негодяй. Но что же мне делать? Для меня они не люди. Все, как один. Называется «коллектив». Проще говоря — стенка. Вот я и расшиб себе голову. На них я не могу сердиться. Они из другого теста. Например, Колька. У него вот этакие плечи... А вы — как отец. Он Чехова читал. У него была гипертрофированная совесть. Отец умер. Я, должно быть, о нем вспомнил — оттого и пришел. Все на вас выместил. Как ребенок. Ужасно глупо! Но я больше не буду. Я вас очень прошу: не сердитесь! Я теперь постараюсь все уладить. Тихо, без шума. Больше я не хочу никого обижать. Хватит! Надо вот, как они говорят, смыться...»

Голос Володи задрожал. Он быстро выбежал из комнаты. Грим крикнул: «Погодите! Муся, да не пускай его! Нельзя его так отпустить!.. Пусть он с нами чаю попьет. У тебя валерьянка есть?» Муся презрительно ответила: «Вот ты всегда с такими психопатами нянчишься!..» Грим сам побежал вниз, но у него дрожали ноги, и, когда он добежал, Володи не было. Грим увидал в конце улицы согнутую спину. Тогда он поднялся к себе и снова сел за работу.

Вечером пришли гости. Муся хвасталась: «У меня зубровка — замечательная!» Патефон визжал: «Пей, моя девочка!» Каплан рассказывал еврейские анекдоты и, захлебываясь от смеха, повторял: «Понимаете — Мойша!..» Грим сидел у себя, закутав ноги в одеяло, и все еще работал. Потом, прислушавшись к голосам, он зевнул и впервые подумал: «Хоть бы скорее все это кончилось!..»

В тот вечер в «Коммерческой столовой» было как всегда шумно и чадно. Фадей Ильич пришел около одиннадцати. Официант сразу подлетел к нему и, фамильярно улыбаясь, спросил: «Водочки?» Фадей Ильич мрачно кивнул головой. Официант шепнул кассирше: «С гнедым-то сорвалось — не в духе». Фадей Ильич молча опорожнил бутылку. Потом он подозвал гитариста Сашку: «Пей!» Сашка попробовал рассказать, какой вчера приключился скандал: «Он, значит, сказал: «Это моя деваха»,— и как заедет Боткину! Васька за милицией побежал...» Фадей Ильич прикрикнул: «Помолчи!» Он налил Сашке еще стакан. Он сердито подсапывал. Присела Маруся Чикова, но Фадей Ильич отмахнулся: «Иди! Не до тебя!»

К полночи посетители начали расходиться. Официанты уже сдвигали столы. Фадей Ильич крикнул: «Нука, еще водицы!» Он залпом выпил стакан. Наконец-то он заговорил. Он сказал Сашке: «Подлец, как он меня обидел! Ну пустил — живи. Не надо мне твоих червонцев! А он такое со мной выкинул! К вечеру приходит и спрашивает: «Что, Фадей Ильич, коня покупаете?» Я даже удивился: с чего он такой разговорчивый? Два дня прожил — слова не сказал, а тут о коняге. Я ему отвечаю: «Это, милый мой, не конь, а коняга». Ты-то знаешь — гнедой. Мы у депо купили. Для водокачки. На осмотр мне его привели. Он меня выслушал и улыбается. К себе пошел — наверх. Я повозился внизу и подымаюсь — у него в шкафу книги лежат. Надо,

думаю, записать конягу. А он висит на веревке и язык высунул. На меня смотрит. Да будь он живой, я бы его на месте раздавил! Подлец этакий! Мне, Сашка, что обидно? Почему он меня о коняге спросил? Если у него такое в голове было, какого черта ему о коняге спрашивать? Пятьдесят шесть лет живу, а никто меня еще так не обидел!»

Фадей Ильич вытащил большущий старый кошелек. Там лежали медяки, гвоздики, квитанции и всякая дребедень. Он порылся в кошельке и вынул кусочек веревки. «Вот смотри! Отрезал. Ты думаешь — на счастье? Не верю я в счастье! Нет, это чтобы себя помучить...» Сашка весь побледнел. Он жалобно пролепетал: «Фадей Ильич, закрывают, а вы вот такое на ночь».

20

Шли дни и дни. Гудели грейферы. Молча работали люди. В коксовом цехе монтеры проложили электрическую линию слишком близко к дереву. Тепляк сгорел. Он горел быстро, и люди не успели остановить огонь. Тогда они начали строить новый тепляк. В шамотном цехе сорвалась вагонетка и придавила шесть строителей. В Прокопьевске засыпало шахту, и четыре дня не было угля. Потом на лесозаготовках рвач Огранов подбил рабочих: они потребовали сапог и сахара. У крепильщиков не было леса, и Шор кричал в телефонную трубку: «У нас нет угля! Понимаете, уг-ля!» Доменная печь № 1 простояла двадцать девять часов. В шахте «Коксовая № 1» шахтеры работали,стоя в воде. Когда они шли домой, одежда на них замерзала. Шахтер Семенов сказал: «В Кузнецке стоит домна. Надо, ребята, налечь!» Шахтеры проработали две смены поряд. Домна № 1 снова пошла полным ходом. Газета печатала сводки: 806 тонн чугуна.

На пуск третьей домны приехали делегаты из Америки. Для них был устроен торжественный обед. Повара Купрясова в давние времена приглашали на купеческие свадьбы. Он решил показать американцам, что и мы не лаптем щи хлебаем. Он приготовил мороженое в виде домны, бисквиты были облиты пылающим ромом, а из окошечек вытекал малиновый сироп.

На обеде Шор сидел рядом с американским журналистом, который громко жевал, а между двумя

блюдами, тупо глядя на Шора, спрашивал: «Все это хорошо, но где же у вас квалифицированные рабочие?..» Шор кротко отвечал: «Наши рабочие учатся». Американец снова принимался за еду.

Шор с трудом разговаривал. Еще утром он почувствовал недомогание: кололо в груди, а ноги отмирали. Он даже подумал: может быть, взять отпуск? Но сейчас же он вспомнил о блюминге — надо раньше закончить блюминг. У нас сталь отстает... Пока американец жевал, он думал о газопроводе: налечь бы на газопровод!

Американец удивленно посмотрел на Шора: «Аппетит у вас плохой». Шор застеснялся: неудобно, еще подумают, что мы не умеем принимать. Он заставил себя проглотить кусок мяса. Когда принесли мороженое, американец улыбнулся. Он сказал Шору: «У русского народа артистическая душа. Такие штуки вы делаете куда лучше, чем настоящие домны». Шор рассердился. Он ответил: «Плохо или хорошо, но мы теперь что-то строим, а не только разрушаем...» Американец не понял иронии и примирительно сказал: «Мороженое замечательное!»

В это время к Шору подошел Соловьев: «Григорий Маркович, на домне что-то неладно. Будто пожар». Шор хотел вскочить, но сейчас же подумал, что надо скрыть переполох от американцев. Он шепнул Соловьеву: «Никакой паники! Через пять минут я буду там». Потом, беспечно улыбаясь, он повернулся к американцу и загрохотал: «Вот у вас мороженое едят вместе с содовой. Я пробовал — интересно». Он высидел несколько минут, а потом сказал соседям по столу, что должен отлучиться на четверть часа — необходимо проверить работу домны. Он обещал вернуться к кофе.

На домне люди потеряли голову. Иванников кинулся к телефону, но станция не отвечала. Тогда он крикнул Кольке Ржанову: «Беги скорей!» Колька бежал так быстро, что в ушах гудел ветер. На станции он увидел сразу Бачинского. Бачинский был весь белый. Он едва пролепетал: «Здесь тоже горит... кто-то поджигает...» Колька услышал запах гари. Вспыхивали сигнальные лампочки. Дежурные метались из угла в угол — никто не работал. Какая-то рыжая женщина валялась на полу без чувств. Колька закричал: «Что же вы, сволочи, не соединяете?» Никто на него не поглядел. Тогда

он кинулся к Бачинскому: «Давай револьвер!» Он отобрал у Бачинского револьвер и крикнул: «Все по местам! Стрелять буду». Телефонистки побежали к аппаратам. Только рыжая женщина по-прежнему валялась на земле. Звонили отовсюду: стройка волновалась — пожар? где пожар? Бачинский, немного успокоившись, начал осмотр здания. Огонь оказался вздорным: загорелся ящик с бланками. Пожар погасили до того, как приехали пожарные. Колька вытер рукавом лоб и сказал: «Рыжую облейте!»

Когда Шор подбежал к домне № 3, он на мгновение закрыл глаза. Он успел отчетливо подумать: тогда все к черту!.. Потом он закричал на Баренберга: «Где пожарные?» Баренберг улыбнулся: «Ничего нет. Ложная тревога. Это Иванникову показалось. А на телефонной — чепуха. Уже погасили». Тогда Шор начал бессмысленно приговаривать: «Здорово! Вот так здорово! Вот так штука...» Он стоял, неуклюже расставив ноги, и улыбался.

Потом он собрался с мыслями. Он стал ругаться. Он ругал всех: Иванникова, Соловьева, Баренберга, даже американцев, ругал крепко, настойчиво, как будто он делал серьезное дело. Колька прибежал со станции. Он рассказал, как Бачинский струсил. Шор даже не поглядел на Кольку, он принялся ругать Бачинского: «Сукины дети! На минуту нельзя оставить! А еще ударники! Черт бы вас всех побрал!» Потом Шор замолк: он вдруг почувствовал, как утром, дурноту. Захотелось прилечь и вытянуться.

Подошел Соловьев — он прежде не решался показаться. Заикаясь, Соловьев спросил: «Григорий Маркович, вы к американцам поедете?» Шор сердито отмахнулся: «А ну их!.. Там и без меня обойдутся. Не могу я сейчас с ними разговаривать. Не до этого...» Соловьев поглядел на него виновато и недоуменно: «Может, поедете?» Тогда Шор тихо сказал: «Мне что-то нездоровится. Я к себе пойду». Соловьев предложил, что он отведет Шора домой. Но Шор снова рассердился: «Вы вот идите скорей к американцам! А меня оставьте. Сам дойду. Я, кажется, еще не умираю!»

Соловьев знал, что Шор упрям, и не стал настаивать.

Шор стоял, как прежде, расставив ноги. Под ногами скрипел уголь. Мимо него прошел Колька. Шор его

остановил: «Ну, как твой кран?» Колька успел позабыть о своем изобретении. Он ответил: «Хорошо». Шор усмехнулся: «Что же, скоро будем клепать кауперы для четвертой?» Колька сказал: «Скоро». Тогда Шор схватился рукой за грудь. Колька перепугался: «Позвать кого?..» Шор слабо проговорил: «Не нужно. Со мной это часто бывает. Ты меня доведи до дому. Да не так — ходить я и сам могу. Просто вместе пойдем — веселей...» Шор ни за что не хотел сдаться. Он не оперся на руку Кольки. Он старался бодро шагать. Он даже улыбался. Только глаза у него были мутные и больные.

Шор жил неподалеку от доменного цеха. Они быстро дошли до дому. По дороге Шор иногда спрашивал: «Как с рудным краном?.. Я вот не знаю бетонщиков на четвертой. Там теперь Ногайцев, он что же — толковый?» Колька подробно отвечал. Потом Колька сказал: «Теперь вы отдыхайте!» Он хотел уйти, но Шор его удержал. Это было неожиданной для самого Шора слабостью: он побоялся остаться один. Он сказал Кольке: «Ты подымись. Я тебе книжку покажу о подъемных кранах». Они вошли в комнату Шора, но Шор забыл о книжке. Он сразу скинул и меховую куртку и пиджак. Он расстегнул ворот рубашки. Колька, не вытерпев, сказал: «Я лучше доктору позвоню». Шор прикрикнул: «Никаких докторов! Я сам знаю, что со мной. Я вот лягу, а ты посиди. Поговорим. Ты, значит, в Томск едешь?..»

Шор лег. На минуту ему стало легче. Он сказал: «Паникер я. Вроде Иванникова. Еще четвертую пущу — вот что...» Он поправил подушку. «Ко мне американец приставал: где у нас квалифицированные рабочие? Ему бы тебя показать. У них на заводах — «бюро изобретений». Долларами соблазняют. Нет того, что у нас... А теперь ты мне расскажи про этого Ногайцева. Как они — управятся с фундаментом?» Колька ответил: «Я вам уже говорил».— «Ну, еще раз скажи, я прослушал». Колька начал рассказывать о бригаде Ногайцева. Вдруг он заметил, что Шор его не слушает. Глаза Шора стали еще мутней. Он с трудом дышал. Колька подошел к кровати и сказал: «Может, воды дать?» Шор ответил не сразу. Кольке показалось, что из груди Шора идет свист. Наконец он прошептал: «Дай лекарство... вот там, в шкафу... отсчитай — двадцать капель...»

Шор теперь лежал тихо и глядел на стену. Перед ним была все та же старая акварель: крыши и бледное небо. Когда Колька поднес ему чашку, он сказал: «Не нужно». Потом он напрягся и внимательно посмотрел на Кольку. Он спросил: «Как тебя зовут?.. Вот по имени не помню... Колька? Ну, прощай, Колька! Ты не волнуйся. Это дело конченое. Чувствую — крышка... А ты того... Ну как это?.. Бетонщиков подгони! Дышать не могу... Ты иди! Зачем тебе это?..»

Колька побежал к телефону. Он кричал: «Скорей доктора!» Когда он вернулся к кровати, Шор лежал не двигаясь. Колька нагнулся, но сердце Шора теперь молчало. Тогда Колька сел на пол возле кровати и закрыл голову руками. Он вспомнил, как умирала его мать. Поп что-то бормотал... Она крестилась... А «старик» про бетонщиков спрашивал!.. Колька не выдержал и заплакал.

На следующее утро газета сообщила о скоропостижной кончине товарища Шора. Рядом с черной каемкой стояли цифры: домна № 3—382 тонны.

21

Весна в тот год была необычно ранняя: с середины марта зима стала поддаваться. Стояли теплые пасмурные дни. Снег набухал водой и темнел. Шорцы, которые работали на рудниках в Тельбессе, нюхали воздух и пели свои непонятные песни. Руда шла в Кузнецк через Монды-Баш. В Монды-Баше строили обогатительную фабрику. Поликарпов злобно глядел на серый, болезненный снег. Жена ему сказала: «Вот, Федя, и весна! Дождались!..» Она стосковалась по теплу: это была молодая смуглая армянка. Поликарпов раздраженно ей ответил: «Ты лучше подумай о котлованах. Как хлынет эта водица, все пойдет к черту». Он еще почертыхался, а потом побежал на стройку: надо было обносить котлованы земляной насыпью.

Торопились люди, торопилась и весна. Снег не выдержал. Все покрыла вода. Она бежала, шумела и кружилась.

Старый шорец сказал Маслову: «Мы из толокна абырху варим. Выпьешь — и веселей». Маслов замахал

руками: «Вот черт, надоумил!» Маслов сразу понял, что тоска у него от весны, что он не может забыть Сокольники и Наташу, что надо поскорей достать водки, тогда-то и развеселится. Он побежал к Чюмину, но Чюмин сказал, что с плотиной плохо, надо сейчас же ехать. Маслов забыл и про весну, и про печаль. «Ты набери ребят, мы это мигом уладим!»

Ариша Колобова писала мужу в Кузнецк: «Дорогой Ваня! Я хочу тебе сказать, что мы с Глашкой не управимся, и ты приезжай скорей, а то у нас весна, и я не знаю, кто будет работать». Колобов прочел письмо, задумчиво свистнул и пошел на работу. По дороге он вспомнил, как пахнет вспаханная земля, как хорошо весной в Ивановке, какая Ариша теплая и ласковая. Он еще раз свистнул и повернул назад. Вечером он уехал к себе, в деревню.

Ройзман морщил лоб. Он спросил Соловьева: «Ну как их удержишь?» Соловьев ответил: «Говорят, на Березняках — ударникам в качестве премиальных давали дубовые стулья. Думали — пожалеют бросить. А они, черти, все равно смылись». Тогда Ройзман махнул рукой: «Аграрная страна! Шут с ними! Вылезем и так...»

Дрыгин погиб во время несчастного случая на электрической станции: он зазевался, и через него прошел ток. Дрыгина хоронили с музыкой. Четыре комсомольца несли раскрытый гроб. Дрыгин лежал, покрытый красным кумачом. На его лице осталась гримаса, но в светлый весенний день эта гримаса казалась улыбкой. Семка Хомутов изо всех сил дул в трубу. Маня ему сказала: «Здорово вы заяриваете!» Семка весело посмотрел на Маню и, оторвавшись от трубы, сказал: «Потому боевой гимн». Им было весело, и они не думали о Дрыгине.

Немец Шрейдер обсуждал с Броницким проект моста. Броницкий говорил, что мост надо сделать из бетона. Шрейдер спорил: «Бетонный мост — это на пять лет...» Броницкий усмехнулся: «Зато его можно сделать сразу. А металлический останется на бумаге. Пять лет для нас большой срок. Через пять лет мы построим другой, настоящий...» Тогда Шрейдер, отложив чертежи, сказал: «Я здесь ровно ничего не понимаю. Я привык рассуждать логически. Когда я приехал в Москву, мне показалось, что я сошел с ума. Штейнберг повел меня в ресторан. Я спрашиваю, что это

такое? Официант отвечает: «Петушиные гребешки». У нас даже Крупп этого себе не позволит. Потом прихожу к тому же Штейнбергу. Жена его месит глину. Она очень культурная женщина, она меня спрашивала о театре Рейнгардта. Я заинтересовался, что она делает,— мне показалось, что она занимается скульптурой. Оказалось, что она приготовляет мыло из мыльного порошка для бритья. Вы это, например, понимаете? Возле моего отеля был почтовый ящик. Я поглядел, когда вынимают письма. Написано: «Двенадцать часов двадцать девять минут». А когда я ехал сюда, наш поезд запоздал чуть ли не на сутки. Проводник говорил: «Может, завтра к вечеру и доедем». Но ведь это абсурд! Почему не привести все к одному знаменателю?» Броницкий, смеясь, сказал: «Петушиные гребешки, должно быть, из распределителей — срезают, это результат коллективизма. А проводник — это результат отсталости. Но вы не отчаивайтесь! Это не так трудно понять. Просто у нас другой подход: мы должны торопиться». Немец вспомнил, как утром он чуть было не потонул в весенних лужах. Со страхом поглядел он в окно: ручьи неслись отовсюду, бесстыдные и крикливые. Он сказал: «У вас и природа какая-то нетерпеливая. Ну, давайте посмотрим проект...»

В одну из землянок возле Верхней колонии, кряхтя, вошел землекоп Алтынов. Он принес с собой все пожитки. Девочка лет четырех, увидав его, заплакала. Алтынов сказал: «Не плачь, девочка! Скажи, как тебя звать? Я тебе конфету дам». Девочка продолжала всхлипывать. Алтынов, осмотрев по-хозяйски землянку, начал расставлять козлы. Он постелил одеяло. Потом он сказал девочке: «Я теперь здесь жить буду. С мамкой. Вот мамка скоро придет, спечет оладьи. У меня масло в бутылке. Ну что же ты разрюмилась? Девочка! А девочка!»

Люба говорила Егоровой: «Боря, значит, и сказал: «Буржуазка ты, а не комсомолка. Понятия у тебя отсталые». А я скажу прямо: страшно! Он со сколькими гулял! Как с гуся вода. А мне потом расхлебывать. Я не об алиментах говорю. Но что же это, если ребенок без отца! Сразу вроде сироты. Ты мне скажи, Маша, что мне теперь делать?» Егорова ответила решительно: «Отшей!» Вечером Боря поджидал

Любу возле столовки. Ухмыльнувшись, он сказал: «Айда!» Люба грустно вздохнула, но тотчас же пошла за ним.

Болтис допрашивал Степку Жукова: «Вы признаете, что вы с ней сожительствовали?» Степка насмешливо улыбался: «Сожительствовать не сожительствовал, а за речку, конечно, ходили». Болтис рассердился: «Шутки вы оставьте! Дело касается алиментов». Степка фыркнул и, выпятив свою широкую грудь, сказал: «Десяток у меня — наработал. Откуда же я столько денег выгоню? Они гуляют, значит, это ихнее дело — должны за собой следить».

В больницу прибежал кочегар Харламов. Он был весь черный от сажи. Поглядев на сиделку в белом халате, он застеснялся и тихо проговорил: «Харламова Аксинья». Сиделка ушла куда-то, а потом вернулась довольная. «Сегодня утречком, и мальчика». Харламов на радостях хотел схватить ее руку, но вовремя вспомнил, что пришел немытый, и сказал: «Вот баба — молодец!.. Это у меня пятый — все мальчонки. А теперь побегу — работать. Вы уж ей скажите, что муж приходил...»

В яслях при мартеновском цехе пол блестел от весеннего солнца. Ребятишки ползали по полу, кувыркались и визжали. Заведующая яслями, нацепив на нос пенсне, писала: «Если не будет налажена регулярная доставка молока, я снимаю с себя...» Вдруг она услышала крик. Она побежала к ребятам. Кричал Мишка: он ударился о косяк двери. Она взяла Мишку на руки и быстро затараторила: «Сорока-ворона...» Мишка схватил пенсне и засмеялся.

У Вари Тимашовой был выходной день. Она не пошла ни в клуб, ни к Ирине. Она сидела у себя и писала письмо Глотову. Ее губы при этом смешно двигались, а не находя нужного слова, она то и дело морщила лоб. Она писала: «Дорогой мой Петька! Бегемот ты несчастный! Что же ты мне не отвечаешь? Я совсем замучилась. Рассказываю ребятам про разных перепончатокрылых (понял? ну чем это не твои деррики?), а сама все думаю: будет сегодня письмо или нет? По-моему, с твоей стороны это даже некрасиво! Ты можешь понять, как я к тебе привязалась. У нас в Кузнецке совсем весна. Грязь непролазная — тонем, но зато весело. Началось сразу, 12-го у меня был выходной, и был такой холод, что я чуть нос не

отморозила. Мы ходили с Ириной на лыжах. А три дня спустя все потекло.

Ты, наверно, читал в «Известиях» про смерть Шора? Я была на похоронах. Сначала говорил Маркутов, он говорил очень хорошо: о том, что Шор старый большевик. Он был в Сибири в ссылке, много перенес, а потом приехал сюда строить, и он так описал его жизнь, что я подумала: какие это были люди! После должен был говорить Ржанов — помнишь, тот, что к Ирине ходил. Он выступил от комсомола. Но он был очень расстроен и только сказал что-то о старике и о том, что надо торопиться с фундаментом. Я стояла далеко, так что, может быть, и не все расслышала. Но говорил он с таким чувством, что у меня слезы подступили к горлу — чуть-чуть не разревелась. Было очень, очень красиво! Цветов не достали, но Ирина пошла с ребятами в лес, и они сделали красивые гирлянды из елки. В школе мы посвятили два часа рассказу о жизни Шора. Ребята слушали хорошо, а один мне даже сказал: «Таким бы быть!» Вот тебе и все кузнецкие новости. Хотят к Первому мая пустить блюминг. Тогда, наверно, приедут разные делегации, и мы заживем совсем как в Москве.

Представляю себе, как ты там наслаждаешься. Уж одно то, что можешь увидеть настоящие театры! Мы как-то с Ириной просидели до трех ночи и все переживали по газетным объявлениям, какие в Москве постановки. Я не могу себе даже представить, как это у Станиславского? Егорова говорила, что в театре многие плачут, так это жизненно, например «Дни Турбиных» или «Страх». А Ирина все мечтает о Мейерхольде. Я ей давно сказала, что она «футуристка». Она вот из поэтов признает только Маяковского и Пастернака. Вообще у нее странные вкусы, но она очень хорошая, и без нее я совсем бы раскисла. Вот когда мы говорили о театрах, она сказала: «Тебе, наверно, Глотов все опишет». А я ей сказала: «Он пять недель как уехал, а прислал только одну открытку, что очень занят и что скоро выступит с докладом». Она перепугалась, что меня обидела, и начала доказывать, что все это — правда, теперь столько работы — не до театров, вот даже на письмо не хватает времени. Я ей, конечно, ничего не ответила. Но я-то знаю, что просто ты меня не любишь.

Вот написала, и сразу клякса. Черт знает что! На себя поглядеть противно — разве можно так

привязаться к одному человеку? В особенности если это не человек, а Бегемот! Кому ты теперь говоришь «лисонька» или что-нибудь в этом роде? Скажи прямо! Ты не сердись — я это не всерьез. Я недавно всю ночь продумала и твердо решила никогда больше не ревновать. Это унизительное чувство, и оно никак не подходит к нашим понятиям.

Словом, все написанное можешь не читать. Главное, не огорчайся! У тебя, должно быть, и без этого много неприятностей. Я все ждала сообщения, как прошел твой доклад, а ты мне так и не написал. Попросила у Грольмана «Экономическую жизнь», но там ничего не было. Я даже не знаю, как ты устроился. Когда ты уехал, ты был совсем простужен, я боюсь за тебя — теперь и в Москве, наверно, оттепель, это самое опасное время. Если ты не купил себе новых ботинок, то очень прошу, отдай эти в починку, день или два можешь проходить и в сапогах. Что они некрасивые, это не важно, ты и в сапогах сможешь обольстить какую-нибудь московскую красавицу, честное слово!

Я тебе сейчас пишу, Петька, о пустяках, потому что не знаю, как написать самое главное. Я даже не знаю — радоваться мне или плакать? Логически выходит, что надо радоваться, а я вот реву как белуга. Дело в том, что вышла неприятность. Помнишь, в тот вечер, когда ты пришел после разговора с Броницким о командировке и мы сначала ссорились?.. Я, кажется, никогда не была так счастлива, как в тот вечер! Я давно почувствовала, что со мной неладно. Вскоре после твоего отъезда. Но не хотела подымать панику. Очень меня тошнило, но это, понятно, ерунда. Пошла наконец к врачу, тот сейчас же все установил. Сказал: «Все вполне нормально». Я скажу тебе откровенно, что совсем потеряла голову. Тебя нет, и не с кем даже посоветоваться. Первое, что пришло в голову,— это: немедленно аборт. Я спросила врача. Он объяснил, что необходимо пройти через комиссию. Вряд ли утвердят. Тогда придется сделать платный в Новосибирске. Это, конечно, трудно, но я все-таки сумею наскрести восемь червонцев. Я хотела купить себе пальто, не куплю, это не важно.

Но когда я совсем было решилась, я вдруг начала сомневаться. Зачем я это делаю? Ведь это не случайно! Понимаешь меня? С моей стороны это настоящая

любовь. Может быть, я никогда в жизни не переживу таких минут! Конечно, я еще молодая, но когда становятся старше, больше рассуждают, а любят не то чтобы меньше, но как-то тише. Я это вижу на других. Я подумала о мальчике. Мне почему-то кажется, что обязательно будет мальчик. Тогда я увидела, как он похож на тебя. Пожалуйста, не смейся! Но я увидела: маленький, а морщит лоб, как ты, когда ты говоришь о разных твоих дерриках. Вот я сижу и мучаюсь: не могу ни на что решиться!

Я тебе об этом не писала, не хотела волновать. Все-таки это наше бабье дело, а у тебя и так много забот — вот даже мне не можешь написать двух слов. Как же я полезу к тебе с моими глупостями? Но сегодня вдруг стало невтерпеж. Кто-то прошел по коридору, и мне показалось, что это твои шаги. Я сразу вспомнила, как ты приходил, и тот вечер вспомнила. Ты не думай, что я закрываю глаза на все трудности. От тебя я не хочу ничего брать, тебе самому нужно. А я теперь получаю 112 рублей, причем вычти займы и пр. Маме посылаю 10 рублей в месяц. Картина, как говорят, яркая. Даже принимая во внимание ясли и т. п., с деньгами плохо. Потом — работа. Но все это на втором плане. Главное, меня пугает, что тебе это совсем ни к чему и что ты возмутишься. Тогда я, конечно, сейчас же сделаю аборт. Напиши мне немедленно, что ты обо всем этом думаешь. Не расстраивайся: я здорова и весела. Но только напиши! Без твоих писем я схожу с ума. Мне кажется, что ты болен или попал под автомобиль. Егорова говорила, что в Москве очень много автомобилей, они несутся не глядя и столько несчастных случаев. Я гляжу на твою карточку, знаешь, та, с трубкой, и плачу. А здесь еще это ужасное состояние: тошнит, спать не могу, все в голове путается. Надо держать себя в руках: вчера было тринадцать уроков, пришлось заменить Сахарову, у нее ангина, словом, нелегко! Но ты не думай, что я ною. Я вполне спокойна. Завтра иду с Ириной в кино — прислали новый фильм «Путевка в жизнь». Все говорят, что замечательно. Видишь — живу хоть куда! Смотри береги здоровье! Не забудь про ботинки, хуже всего — это промочить ноги. Крепко, крепко целую пасть дорогого моего Бегемота! Как поживает марксистская бородка — подстриг? Не обращай внимания на кляксы и прочее — лень переписывать. Я тебя очень

люблю, мой родной! А ты? Забыл, вот наверно знаю, что забыл! Ну, не сердись, лучше обними меня, как раньше. Я лягу и засну у тебя на руке. Знаешь, стоит только вспомнить... Нет, не буду больше! Прощай, мой любимый! Твоя *Варя*».

Три дня спустя Варя объясняла ребятам, что такое полынь: «Это многолетнее растение, сорняк, на вкус она очень горькая...» У Вари вдруг закружилась голова, и она села на скамейку. Костя поднял руку: «Про полынь я знаю. У нас в деревне такую песню пели: «Я полынь не сеяла, сама уродилась...» Варя сказала: «Вот, вот... В окрестностях Кузнецка много полыни, будем гулять, я вам покажу...» Раздался звонок. Ребята понеслись к двери. Варя по-прежнему сидела: она боялась шелохнуться. Но пришел Сидоров и сказал: «Для вас письмо». Тогда Варя сразу вскочила и, обгоняя ребят, понеслась вниз. Письмо было, конечно, от Глотова. Варя вдруг поняла, что не может его прочитать на людях. Она решила, что помучает себя и не будет читать письма до самого вечера. Если написал, значит, все благополучно: здоров и не забыл. Начался новый урок. Варя весело рассказывала ребятам про белок и бурундуков. Она забыла о своих хворостях. Время от времени она заглядывала в портфель: там, среди тетрадок, лежал тонкий конверт.

Из школы Варя вышла, окруженная ребятами. Мишка Калинников начал ей рассказывать, как он словил бурундука: «Он, Варвара Васильевна, ручной был, орехи у меня грыз». Варя машинально повторяла: «Да, да». Она все ждала, что Мишка сейчас повернет в сторону, тогда-то она распечатает конверт. Возле фонаря можно прочитать... Но Мишка, увлеченный своим рассказом, проводил ее до дому.

Она быстро пробежала к себе и начала читать. «Дорогая Варя! Прости, что не ответил тебе на твои ласковые письма. Я был очень занят в связи с докладом. Доклад прошел хорошо, после этого мне предложили остаться в Москве в Тяжпроме. Конечно, обидно, что не увижу теперь, как все у нас достроят. За два года я сжился с нашей стройкой. Но, с другой стороны, работа здесь тоже увлекательная: планируем, а масштаб грандиозный! Отсюда видно, что таких Кузнецков много и что не стоит придавать столько значения нашим будничным неудачам. Теперь — о тебе. Я не думаю, чтобы тебе стоило сейчас перекочевы-

вать в Москву. Прежде всего, здесь беда с квартирами. Я приютился временно у Гавриловых. Все-таки неудобно: они молодожены, и я их очень стесняю. Ищу хотя бы угол. Потом, работы по специальности ты здесь не найдешь. В Кузнецке тобой дорожат, а здесь нужна совсем другая квалификация. Ты сама понимаешь, как мне больно расставаться с тобой! Но я не думаю, что мы должны связать нашу жизнь. То, что было,— для меня священно! Но мы оба молоды. У нас все еще впереди. В одном из писем ты говоришь, что любовь в жизни одна. Это очень трогательно, но прости меня, Варя, до чего это звучит по-детски! Как мужчина, я привык все анализировать. Что такое вот эта «любовь»? Для меня существует или увлечение, или привычка. Увлечения проходят... А привычка?.. Какое счастье, что мы свободны от такого тупого, мещанского чувства! Я помню все хорошее, Варя, и только хорошее! Верю, что судьба когда-нибудь сведет нас и мы встретимся как настоящие друзья.

Я буду рад, если ты будешь время от времени мне писать. Не хочу порывать связи ни с тобой лично, ни с Кузнецком. Не переутомляйся и будь здорова! Крепко тебя обнимаю. Твой *П. Глотов*».

Варя легла на кровать, повернулась к стенке и закрыла глаза. Она не плакала. Она не пробовала разобраться в том, что случилось. Тихо и медленно она переживала свое горе. Так она пролежала всю ночь. Утром она пошла в школу. Она улыбалась, как будто ничего и не произошло. Увидев Сахарову, она спросила: «Поправилась?» Сахарова поглядела на Варю и вздохнула: «Что это с тобой? Хворала-то, кажется, я». Варя ответила шуткой. Она спокойно рассказывала ребятам о ластоногих. Мимоходом она спросила заведующую, сможет ли она получить отпуск на десять дней: «Мне надо обязательно съездить в Новосибирск». Заведующая ответила: «Что же, Сахарова вас теперь заменит».

Когда Варя пришла домой, она раскрыла чемоданчик и стала зашивать рубашку. Постучала Ирина. Варя не ответила: она побоялась, что Ирина начнет расспрашивать, куда Варя едет, зачем. Тогда Варя не выдержит и расплачется.

Потом ей стало так тоскливо, что она сама пошла к Ирине. Она сразу сказала: «Я завтра в Новосибирск

еду»,— и отвернулась, чтобы глаза ее не выдали. Но Ирина не стала ее допрашивать. Она рассказывала о детской площадке при коксовом цехе: «Знаешь, эта Куликова — молодец! Я думала, что она не справится. Ты ее видала? Такая морда, что поглядеть страшно. Вроде носорога. А сама добрющая. Сначала ребятишки ее пугались, а теперь души не чают. Я сегодня смотрела, как она играет с ними, и знаешь, один малыш начал ее передразнивать, наморщил лоб — вот так...» Тогда Варя неожиданно заплакала.

Ирина села рядом с ней, обняла ее и тихо шепнула: «Ну, не горюй! Напишет. Вот увидишь, что напишет». Варя заплакала еще сильней. Все ее тело вздрагивало, а слезы лились и лились. Наконец она сказала: «Написал... Кончено это! Оказывается — увлечение. Он-то в Москве остается. В гору пошел... А я, наверно, для Москвы не гожусь... У них там ногти полированные... Словом, о чем тут толковать? Главное, что не любит...»

Она говорила глухо и несвязно. Ирина дала ей выплакаться. Только когда Варя притихла, она спросила: «Куда же ты едешь?» Тогда Варя снова заплакала. Она постыдилась рассказать обо всем Ирине. Она ответила: «Не скажу!» Они молча поплакали.

Потом Варя все же не вытерпела. Она шепнула: «Не хочу я ехать! Сама знаю — нужно, а не хочу. Знаешь, Ирина, наверно, мальчик, я это чувствую...»

Ирине стало страшно. Она еще никогда об этом не думала. Вот, значит, что!.. Может быть, завтра это случится и с ней? Конечно, Колька не Глотов. Он не станет говорить об «увлечении». Он ее любит. Она улыбнулась про себя, вспомнив смущенный голос Кольки: «Я тоже так думаю». Но в этих делах и Колька не советчик. Если его спросить, растеряется. Одно дело рассуждать. А здесь — ложись и кричи. Что же Варе делать? Трудно как!.. Ирина сконфуженно вытерла глаза и сказала: «Я-то, дура, разревелась...» Но Варя ее не слушала. Она говорила, как будто сама с собой: «Это ведь не случайно, не на пьянке. У него, может быть, сто раз было. А я так все пережила, до глубины... Почему эта операция?.. Я не хочу! Это все равно что себя зарезать. Мама говорила: если сильно тошнит, значит, мальчик... Я с ума сойду!..»

Тогда Ирина стала сразу спокойной. Она еще крепче обняла Варю и начала ей тихо рассказывать: «Я недавно зашла к Рыбиной. Мальчик ее у меня. Смотрю — живот. Оказывается — четвертый. А муж уехал в Иркутск, с кем-то спутался и не шлет ни копейки. Я ее спрашиваю: «Почему вы, в таком случае, аборта не сделали?» Она как рассвирепела: «Вот еще что придумали! Бабы-то на что-нибудь годятся». Я ей ответила, что теперь женщины работают, как все, одним словом — равноправие. Она на меня закричала: «Я сама работаю в шамотном цехе. Ты что мне о правах рассказываешь? Я свои права знаю. Делегаткой была на конференции. А рожаю, значит — нравится. Ты вот учительница. Сама должна понимать — с ребятами веселее». Вот такая не боится... Варя! А Варя! Ведь не так это страшно... Как-нибудь да вылезем... Я сейчас подумала, что и не нужно тебе ехать. Если над какой-нибудь домной столько людей мучаются, надо, чтобы было для кого. А то что же это получается? Строим, строим — и потом?.. А с деньгами выкрутимся. У меня каждый месяц остается — не знаю, на что тратить, времени нет. Сложимся. Чем я хуже Глотова? Я с Куликовой поговорю. Знаешь, она прямо мировой педагог. И чисто у них. Зато как это весело, Варя! Ты представь себе — расти начнет. А потом вдруг возьмет и заговорит. Вот как ты — девчонка».

Варя сидела согнувшись. Ирина в страхе думала: да она и не слушает!.. Но когда Ирина сказала «девчонка», Варя упрямо наморщила лоб. «Почему ты говоришь — девчонка? Я ведь тебе сказала, что мальчик». Ирина рассмеялась: «Да, да, мальчик. Обязательно мальчик». Тогда улыбнулась и Варя.

Ирина подошла к окну — вот и ночь прошла! Апрельское утро озорничало, и, хоть не было на стройке ни березок, ни грачей, ни всего, что полагалось ему по чину, оно все же веселилось. Так хлюпали лужи под сапогами рабочих, так усмехались эти неуклюжие бородатые рабочие, столько кругом было синего неба и нежной, взволнованной воды.

Ирина сказала: «В школу пора!» Она начала натягивать на ноги большие рыжие сапоги — это был подарок Кольки. Она не посмела улыбнуться своему счастью и только тихо-тихо пробормотала: «В сапогах теперь хорошо!..» Потом они пришли в комнату Вари — Ири-

на хотела вскипятить чай. Там все еще говорило о вчерашнем вечере. Посередине комнаты лежал раскрытый чемодан. Ирина заметила возле подушки конверт,— наверно, письмо Глотова... С тревогой поглядела она на Варю. Но Варя отпихнула ногой чемодан и стала мыться: надо было отмыть следы ночных слез. Она намылила лицо и вдруг сказала: «Все-таки в романах это куда красивей! А впрочем, ерунда! Как-нибудь да вылезу. У меня сегодня в пятой группе минералогия. Надо их заинтересовать...» Она посмотрела в окошко на огромные лужи и засмеялась: «Ирина, иди сюда, скорей! Посмотри — Соловьев-то... Он калоши в руке несет, честное слово!»

22

В два часа ночи Маркутова разбудил телефонный звонок. Говорил Скворцов из Монды-Баша: «Очень много воды. Боимся за дамбу...» Маркутов потер сонные глаза и крикнул: «Сейчас мобилизуем!» Два часа спустя комсомольцы заполнили смехом и песнями станционный барак. Поезд их довез до широкой долины, затопленной водой. Здесь кончалась железнодорожная ветка, дальше надо было ехать верхом. Лошади недоверчиво ступали в воду. Дул резкий ветер. Колька Ржанов показал Антипову на огромное дерево, вырванное с корнем: «Здорово!» Антипов зевнул. «Я здесь с августа. Ста шагов нельзя пройти. Грязь, бурелом, тоска».

Тайга была упряма: она не подпускала людей. Она смыкалась глухой стеной. Навстречу пришельцам она швыряла гигантские стволы. Она вцеплялась в них едким кустарником. Она слала в разведку быстрые потоки, и эти потоки сносили все. Зимой тайгу сторожил снег, летом — свирепая мошкара. Тайга чувствовала, что люди хотят ее уничтожить, и она не сдавалась.

Тайга была упряма, но упрямей тайги были люди. Приехал геофизик Щукин. Он привез с собой восемь вузовцев. Они разбили палатку и по ночам пели частушки. Они ели рыбные консервы без хлеба и пили морковный чай, который пах дымом. Пришел шорец Ато. Он спросил Щукина: «Медведя не боишься?» Щукин засмеялся: «Только нам этого не хватало. Я с кула-

ками ночевал, когда раскулачивали, а ты меня медведем пугаешь!» Потом Щукин вспомнил, что шорцы отсталый народ, и он стал рассказывать о руде, которая скрыта в этих горах. Ато его молча выслушал, и он снова сказал: «Медведь здесь сердитый — неужто не боишься?»

Разведчики уехали назад в Кузнецк. Щукин с утра до ночи составлял отчеты. Потом он шел к Леле Ластовой и жаловался: «Я ведь говорил, что на юг от Темира, а Мацкевич не верил. Анализ сделали: не руда — прямо золото! Надоели мне эти комиссии! Скоро снова поедем. Там, Лелька, лафа! Живем как Робинзоны. Я теперь ружье возьму. Жрать, конечно, нечего. Зато смешно! Ну, чего ты расстроилась? Боишься, что меня медведь съест? Эх ты, дурашка! Давай лучше целоваться!»

В тайгу понавезли рабочих. Падали старые деревья. Пищали пилы. Люди сколачивали бараки. Копылин написал стишки и, послюнявив листок, прилепил его к стенке: «Вот тебе и стенгазета!» Приехал Маркутов и прочел доклад о международном положении. Соколова закричала мужу: «Гляди — тараканы!» Она не то сердилась, не то радовалась: без тараканов жилье ей казалось нежилым. Жизнь в тайге становилась крепкой и ясной. У людей были синие карты с белыми прожилками. Они не глядели ни на верхушки деревьев, ни на белок, которые проворно лазили по стволам, ни на бледно-голубое небо. Они глядели только на землю, они рвались в глубь земли: под их ногами было железо.

Далеко окрест были слышны громкие взрывы. Бригадир подрывной бригады Костя Андрианов упал с горы и сломал себе ногу. Шухаев сказал: «Ну, Костя, поедешь теперь в Кузнецк. Там спокойно». Костя стал спорить: «Это, товарищ Шухаев, совершенно неосновательно. Я себя знаю — через три дня поскачу. Зачем я поеду на эксплуатацию? Мое дело другое». Он поморщился, чтобы не закричать от боли. Раздался взрыв — это работали товарищи Кости. Костя отвернулся к стенке и в тоске забормотал: «Как это я оступился?..»

Стройка ширилась, как весенняя вода. Из Кузнецка люди прошли в Монды-Баш. Из Монды-Баша одни двинулись к Темиртау, другие повернули на Тельбесс. Людей в стране было много, и тайга что ни день

уступала несколько саженей. Это был поход на тайгу. Снова шли строители: колхозники, казахи, бабы, комсомольцы, летуны и раскулаченные. Снова женщины вязали узлы, на кошевках брякали ржавые чайники и вопили разбуженные ребята.

Торжественно открыли новую ветку на Темиртау. Шухаев произнес речь: «Большевики переменили лицо Сибири!» Он проработал на стройке два года. Прошлой осенью его жена умерла от брюшного тифа. Ее похоронили в лесу. На похоронах Шухаев сморкался и, стыдясь своей слабости, говорил Крицбергу: «Идите домой! Здесь здорово сыро». Шухаев много раз ездил по этой ветке на дрезине. Он увидел наконец паровоз. Паровоз был украшен красными ленточками, как игрушка. Он выразительно свистнул. Затрубили музыканты. Пронесся Ванька Клюев: ему сказали, будто всем строителям дают ситец и сало. Когда празднество кончилось, Шухаев пошел в лес. Он виновато оглядывался: он боялся, что кто-нибудь его увидит. Он дошел до могилы жены, постоял, сердито посопел, а потом сказал: «Вот и достроили!..»

Кассирша, широко улыбаясь, выдала первый билет до Темиртау. Билет купила Маша Крашенникова. Она села в вагон и замерла. Вокруг нее люди говорили о пятилетке, о бригадах, о руде. Они говорили о том, как трудно было проложить эту дорогу и как страшно менять спокойный Кузнецк на новую стройку, среди гор, рек и тайги. Они говорили о том, что в Темиртау плохо с хлебом, на колхозном базаре пусто, придется, видимо, подтянуть животы. Маша не принимала участия в этих разговорах. Сапожкова спросила Машу: «Ты что, на работу или к кому?» Маша сказала: «Я-то? Я к Вяткину. Может, вы слыхали — Гришка Вяткин? Он прежде в Кузнецке работал. На мартене». Сапожкова ответила: «Нет, не знаю. Много их на мартене. А он что, муж тебе?» Тогда Маша заплакала: «Я и сама не знаю. Говорил: «Давай поженимся». А потом в Темиртау уехал. Я ему писала. Не отвечает. А мне скоро рожать. Одной страшно. Верхом-то я не могла. А теперь поезд пустили — вот и поехала...» Сапожкова рассердилась: «Что ты — несознательная? В Кузнецке больница, а ты рожать в лес едешь». Потом она посмотрела на Машу, вспомнила свою молодость и ласково сказала: «А плакать нечего!

Там тоже доктор есть. Найдешь твоего Гришку. А не найдешь, так и не надо. Ты баба хорошая — не пропадешь».

В долинах текли бурные реки, они текли испокон веков: Томь, Кондома, Тельбесс. Весной они росли, а в долгую зиму тяжело дышали под толстым льдом. У каждой реки было свое русло. Реки текли среди леса. Они знали перелетных птиц, выдр и белок. Они знали токование глухарей, течку медведицы, звериную страсть и гогот диких гусынь, которые выводили свои крикливые выводки. Людей реки не знали. Люди пришли в спокойные долины. Они угрюмо глядели на светлую воду. Они мерили, чертили, высчитывали. Потом инженер Лиговский пососал погасшую трубку и сказал: «Придется отвести».

Люди отодвинули от себя тайгу. Они захотели также переменить ход рек. Кондома текла не на месте. Надо было построить два моста. Люди решили убрать Кондому в сторону. Лиговский поехал в Кузнецк. Его план был одобрен. Строители начали насыпать дамбу. Эта дамба была длиной в километр.

В весеннюю ночь зазвенел лед, а час спустя зазвенел телефон над ухом Маркутова. На дамбе гудел колокол. Бежали отовсюду люди, и, как вспугнутые светляки, метались среди гор сотни фонарей.

Утром рабочие стояли на берегу. Они угрюмо переминались. Федоров сказал: «Полезть-то просто, а ты попробуй — лед! Умирать никому не хочется...» Тогда подошел Колька с товарищами.

Кондома рвалась в свое старое русло. Весна принесла ей силы. Она отыскала лазейку и начала промывать себе путь.

Колька первый полез в воду. За ним пошли и другие. Петька Ножнев не выдержал и закричал: «Ой и холодная!» Колька сказал: «А ты не стой на месте! Подавай мешки!» Они выстроились цепью и стали передавать мешки с землей.

С комсомольцами работал партизан Самушкин. Он сидел в конторе, когда пришел Шухаев и сказал, что с дамбой неладно. Самушкин сейчас же побежал к реке. Всю ночь он, угрюмо поругиваясь, таскал мешки с землей. Увидев комсомольцев, он просиял. Он стоял в ледяной воде и мурлыкал под нос старые партизанские песни. Колька сказал ему: «Ты это, Самушкин, зря!

Нам ничего — мы молодые...» Самушкин усмехнулся. Ему было за пятьдесят, но он никогда не думал о своих годах. Он ответил Кольке: «Старые на печи лежат. А если я здесь, значит, и я молодой».

К вечеру люди победили реку. Река смирилась, она пошла туда, куда ее пускали люди.

Колька позвонил Маркутову: он обещал ему дать подробный отчет. От холода Колька охрип и с трудом говорил. Он сказал Маркутову: «Сделано. Ты меня хорошо слышишь? Ну вот, значит — сделано. Шухаев мне сказал, что надо остаться здесь. Черт их знает! Здесь оползни. Ребята не управляются. Понимаешь, для зарядки. Народу здесь много, а с комсомольцами ерунда. По-моему, Ванюшин совершенно разложился. Я-то хорошо слышу. А ты? Это я осип — говорить трудно. Ну, ладно, завтра еще позвоню. Слушай, Маркутов, к тебе дело. Личное. Ты Ирину знаешь? Нет, нет, мою. Коренева. В ФЗУ. Так ты ей скажи, что все благополучно. А то я уехал ночью — не успел проститься. Значит, завтра еду в Темир. Пришли газеты. Да смотри не говори Ирине, что я без голоса, она, чего доброго, испугается. Ну пока!»

Шухаев, ухмыляясь, сказал Крицбергу: «Я этого Ржанова отвоевал. Пусть он теперь у нас поработает. У них в Кузнецке благодать. Прямо тебе Москва. Концерты устраивают. Честное слово! А здесь настоящего народу мало. Чуть что — сразу паника. Пусть он наших ребят поджучит».

К Первому мая начали готовиться задолго. Колесникова обещала выступить с революционной декламацией. Она становилась в коридоре и неожиданно начинала повизгивать: «Мировой Октябрь, ты раздул огни!..» Сема Плихов набрал бригаду гармонистов. Они репетировали по вечерам возле бараков, и Шухаев мучительно морщился: «Ну и уши у них!..» Овсянникова раздобыла белой муки, масла, яиц. Она сказала мужу: «Я кулич испеку». Овсянников рассердился: «Что это тебе, Пасха? Это день пролетариата! Здесь надо речи говорить, а ты с куличами...» Овсянникова ответила: «Речь речью, а кулича поесть каждому приятно. Раз теперь нет Пасхи, значит, самое время куличи печь». Овсянников подумал и тихо сказал: «А изюма-то нет...»

Строители собрались на опушке леса. Рядом была тайга, огромная и непроходимая — такой она слыла прежде. Строители знали, что они пройдут и через эту тайгу.

Колька посмотрел вокруг себя: на деревья, на первую траву, на кустарник, покрытый пухом. «Черт возьми, вот и весна!..» Все эти недели он работал не покладая рук: он боролся с весной. Теперь впервые он ей улыбнулся. Он сказал Лешке: «Здесь, наверно, птиц много. Вот бы послушать!..»

Тогда вышел Сема Плихов с гармонистами. Они поклонились и сыграли «Интернационал». Пришла Овсянникова со всеми своими детишками. У ребят на груди были большие красные банты, и Николаева в зависти зашептала: «Это она флаг стибрила в красном уголке, честное мое слово!» Чернобаев пришел в новеньких калошах, хотя на дворе было сухо. Сема спросил: «Ты что это, одурел? Или ревматизм у тебя?» Чернобаев презрительно сплюнул: «Это для самого шика, потому — праздник. В Москве все так ходят».

С докладом выступил Шухаев. Он сказал: «Мы должны помнить слова Ленина: Ленин говорил, что железо — главный фундамент нашей цивилизации. Необходимо обеспечить кузнецкий гигант нашей сибирской рудой!»

После Шухаева на трибуну поднялся Самушкин. Он не умел произносить речей, он путался, заикался и вытирал рукавом потный лоб, но говорил он с чувством, и строители его слушали: «Я, как красный партизан, когда-то ходил с ребятами по этой самой тайге. Здесь мы прятались от белых. Здесь вот погиб товарищ Сергеенко. Это был железный боец. Он ходил с раной, а потом его схватила лихорадка. Он пролежал весь день, а вечером подозвал меня, отдал мне свой маузер и сказал: «Прощай, Самушкин». Мы его здесь и похоронили. Тогда здесь живой души не было. А теперь, товарищи, мы здесь празднуем наше Первое мая. Я, как старый партизан, скажу вам, что смертельный бой еще продолжается, потому что надо построить социализм. Вы все помните, как мы боролись с этой проклятой Кондомой, чтобы отстоять дамбу. Товарищ Шухаев правильно сказал, что по Ленину выходит: это и есть главный фундамент. Это святые слова. Поглядите на Кольку Ржанова

или на других ребят. Я с ними сражался в Кузнецке, когда был прорыв на кауперах. Я с ними боролся за эту дамбу. Я вам скажу, что это и есть наш главный фундамент. С такими людьми мы добудем и железо, потому что они крепче железа. Я, как старый партизан, скажу, что я могу теперь спокойно умереть, потому что есть у нас, товарищи, настоящие люди».

Декабрь 1932 — февраль 1933
Париж

Книга для взрослых

роман

1

Конечно, Кроль изменился — лет двадцать, как мы не видались. По-прежнему любит шагать из угла в угол, размахивая короткими руками, похожими на ласты. Но вот я подошел к нему, слышу — задыхается.

— Что это у тебя? Астма?

Он посмотрел искоса.

— Нет. Просто задумался над одной штукой...

Помню, как он приехал в Париж. Это было в 1912 году. Он перед этим просидел два года в Бутырках; потом работал в Смоленске. Был он весь в новеньком, только сапоги русские. Я говорю: «В сапогах здесь неудобно». Он рассердился: «Ты что же — по модной картинке меня оденешь?» Потом отошел: «Конечно, неудобно, только шпиков за собой водить». Мы зашли в магазин обуви. Он ткнул пальцем куда-то в сторону. Ему дали ярко-рыжие ботинки с узкими носами. А ноги у Кроля как медвежьи лапы. Продавщица спрашивает: «Не жмет?» Он почему-то сконфузился, поджал пальцы ног в штопаных носках: «Нет, что вы!» Конечно, ботинки жали; он весь день ходил на цыпочках, останавливался, подымал то одну, то другую ногу.

На Больших бульварах было людно; зеваки толпились возле рождественских бараков, продавцы расхваливали машинку для гофрировки моркови или карманный стереоскоп. Кроль остановился возле одного барака, он долго смотрел на бой игрушечных петушков. Когда мы отошли, я спросил: «Как в Бутырках было?» Он ответил нехотя: «Средне». Потом вдруг оживился, поднес палец ко лбу и сказал: «А ты понимаешь, в чем дело с петушками? Они у него на ниточках».

Мы прошли через Люксембургский сад. Кроля поразила зеленая трава, он долго потом приговаривал:

«Нет, скажите пожалуйста, это в декабре!» Я спросил: «Нравится тебе Париж?» — «Очень». И тотчас же начал рассказывать о Смоленске: «В депо народ хороший. С литературой слабо, приходится кустарничать. Шрифта у нас пуда два, только шрифт особенный. Понимаешь, «о» не хватает, то «а» ставим, то «р». Жандармы, наверно, думают: ну и профессора!»

Вечером я хотел уложить его на мою кровать. Он упирался. Положили тюфяк на пол. Он наконец-то снял рыжие ботинки и блаженно улыбнулся: «Что и говорить, город замечательный! Завтра пойду разыскивать наших». Он лег, повернулся к стене; мне показалось, что он уснул. Вдруг он привстает: «Когда через границу переправляли, там — старик еврей, ну и дочка. Я с мороза; все гудит. Водки дали, еще какой-то штуковины, говорят «рыба», вроде как порох с хреном. А дочка — красота! Старик мне говорит: «Вы, господин, правительство опровергаете, а почему вам о себе не подумать? Я теперь старый человек, и я себя спрашиваю: что ты на свете откушал? Если на вас поглядеть одну минуту, вы самый настоящий жених. Фенечка, правду я говорю?» А Фенечка смотрит на меня и улыбается. Понимаешь, какая ерунда?» — «Ну, а ты что?» Он рассердился: «Что «что»? Разве такие штуки для меня? И вообще без больших драм этого не бывает. Спать надо, завтра с утра пойду к Сергею».

Все это вспомнилось мне, когда я увидал Кроля. Я его знаю с гимназических лет. Мы дразнили его «Кроликом», хотя он походил скорее на ежа, топал, да и стригся «ежиком». Теперь у него такая же прическа. Он машет ластами и кричит:

— Понимаешь, какое безобразие — ты Шестова знаешь?

— Обожди... Я встретил Шестова в Париже...

— Он самый! Мы с ним разработали новый метод получения аммиака. Отпадает очистка газа, понимаешь, какой заворот? Весь вопрос в высоком давлении. Надо было проверить, как эта штука у французов обстоит, там над этим Бассэ работает. Я не могу выбраться — весь завод на мне. Решили послать Шестова. Затяжка была с командировкой: Наркомфин тормозил. Поехал и, не угодно ли, приезжает больной. Прямо с вокзала в больницу отвезли. Ты мне скажи, как может человек этак перемениться? Помнишь его — богатырь. Я не сдержался: «Что это с тобой?» Смеется:

«Большой город Париж, ходить много пришлось, вот и спустил лишний пудик». И сейчас же о делах. Врач меня выпроводил. Его сегодня просвечивать будут. Я в этом ни черта не понимаю, только не понравилось мне, как доктора разговаривают — что-то чувства у них слишком много. Я его жену хочу вызвать, она сейчас на опытной станции, возле Мезени. Молодая, а, говорят, среди агрономов на первом месте. Живут они как-то нескладно: то он в командировке, то она. Я думаю, они не очень друг к другу привязаны. Так оно и лучше... Хорошо все-таки, что он съездил. Понимаешь, не строя новых заводов, увеличим добычу азотной кислоты минимум вдвое...

Он замолк, недоверчиво оглядел мою комнату, взял со стола книгу, пошевелил губами и сказал:

— Романы пишешь? А я вот с аммиаком вожусь. Только, понимаешь, старею.

— С сердцем у тебя как?

У него под глазами были большие отеки, и глаза казались утомленными, как будто они должны пробиваться сквозь пласты лилового мяса.

Он улыбнулся:

— Я не про это. Я людей начал замечать; по-моему, это от старости. Приходит ко мне парнишка, а я вместо дела начинаю с ним черт знает о чем говорить. Он, подлец, чувствую — расходится: как в театре было или что у него с Машей. Какая это Маша, скажите, пожалуйста? Ерунда! А вот мне интересно. Плохо только, что разбрасываешься, надо жить одним. Помнишь, я в Париже тебе говорил: «Ты для нас пропащий — стихи пишешь». И беда должна быть у человека одна. Я, понимаешь, залез в этот аммиак по горло. Интересно, что начинаем, придумываем. Когда давление в тысячу атмосфер пустили, тоже казалось удивительным. А теперь при давлении в пять тысяч атмосфер мы получим все сто процентов — даже подумать страшно! Я сколько ночей над этой историей просидел. С Шестовым. Ты, наверно, это знаешь, раз ты твои романы придумываешь. Надя говорит: «Пойдем в театр». Не могу — ничего не доходит...

Он вдруг осекся.

— Ты что на меня смотришь? Понимаешь, снова женился. Тогда в Париже думал: баста! Но как-то не вышло. То есть все замечательно вышло. Она у меня особенная, понимаешь — все может. Энергетический

институт кончила, скульптурой занималась, у нас на заводе голова Серго — это она вылепила, теперь стихи пишет. Я тебе покажу. По-моему, непонятные. Только я в этом ничего не смыслю. Она вроде тебя: какие-то вы все особенные. Может быть, я с ней и говорить не умею...

Он отошел к окну и зачем-то порылся глазами в улице. Как всегда, двигалась плотная толпа, в меху, твердом от мороза, прямоугольная, полная воли и решимости.

Вдруг Кроль спросил меня:

— Гронского не знаешь? Это по твоей части — кино.

Я ответил, что не знаю Гронского.

Я помню первую жену Кроля. Кажется, ее звали Ольгой. Она училась в Сорбонне. Кроль всегда торопился: лекции, лаборатория, партийная работа, чертежи — он по ночам работал для какого-то агентства. Не обедал — «времени нет». Проглотит у стойки стакан кофе, схватит бутерброд и убежит. Как-то я увидал его в парке Монсури. Сидит на скамейке и шевелит губами. Я сбоку подошел, он меня не заметил. Оказывается, он своей Ольге Пушкина читает. Поженились. Я встретил Кроля — тащит диван с толкучки: «Понимаешь, хозяйством обзавожусь». Ребенок у него родился, Юра. (Мне прошлым летом говорили, что сын Кроля погиб в Таджикистане при автомобильной катастрофе.) Жена вскоре от него ушла. Она сказала общим знакомым, что Кроль ей смертельно надоел: приходит домой поздно ночью и то обличает ошибки эмпириокритицизма, то клянется в вечной любви.

Помню — поздно уже было, часов одиннадцать,— я зашел к Кролю. Сидит на кровати в белье, руками обхватил колени. Болтаются тесемки — тогда такие кальсоны носили. Я спрашиваю: «Ты это что?..» — «Ерунда! Читать хотел, не вышло. Попробовал уснуть, тоже не получается. Вот и сижу». Больше я от него ничего не добился. Это было вскоре после его разрыва с женой.

Я гляжу на его спину — все-таки он постарел.

— Андрей, как у тебя все?..

— Замечательно! Конечно, не все верят. Вот Субботин из Института высокого давления, он повсюду кричит, что мы кидаем деньги на ветер, ничего из этого не выйдет, пяти тысяч атмосфер никакой матери-

ал не выдержит и так далее — шарманщик этакой!.. Ну, а мы при проверке докажем. Мы это дело только-только начинаем. Ты с нашими ребятами поговори — каждый сам себе Эдисон, честное слово! Одно обидно...

Что можно увидать в это окно, кроме серого дома с вывеской Мосторга, с пузатым балконом, на котором скопился снег, кроме мальчонка в огромной ушанке, кроме плотной суровой толпы!.. Кроль прилип к стеклу. Наконец он договаривает:

— Обидно, что до конца не дотянем. Вот Шестов... Мы с ним сидим ночью, работаем, вдруг он хлопает меня по плечу: «Андрей, а ведь это только начало!..» И смеется. Понимаешь, увидать бы это лет через двадцать! Мне иногда кажется, что воробей — видишь, обыкновенный московский воробей, и он как колибри будет...

Теперь Кроль смотрит на меня. Глаза у него не в лад словам грустные.

— Андрей, а ты давно женился?

— Не так чтобы очень. Это все ерунда! Вот мы должны с тобой насчет аммиака поговорить. Ты роман сможешь написать — такая это поэзия. Удобрения, можно что хочешь вырастить, а полезут они сюда, это — оборона, понимаешь?

Вдруг он весело смеется и тычет пальцем в стекло:

— Ты посмотри, какой воробей, нахохлился, важный-важный...

Вскоре Кроль ушел на завод. Мне надо было идти в суд. Разбиралось дело одного бандита. В деревне он сломал руку председателю колхоза. В Москве, на фабрике, воровал шерстяные платки. Пил, буянил. Жена от него ушла; она жила с родителями. Как-то ночью он пришел к жене: «Будешь со мной жить?» Она ответила: «Нет». Тогда он ударил ее колуном по голове. Об убийстве он рассказал спокойно и обстоятельно. Председатель спросил: «Почему вы ее убили?» Он ничего не ответил. Лицо у него было смутное и недоступное, как будто это камень, случайно принявший форму человеческого лица. Когда его спросили, хочет ли он что-либо добавить в свое оправдание, он угрюмо забормотал: «Платков было не сто восемьдесят, а сто пятнадцать. Остальные — это Матюшенко забрал». На вопрос, кто такой Матюшенко, он ничего не ответил. Казалось, он не понимает, что его ждет. Но вдруг он приподнялся, нервно зевнул и сказал: «Курить можно, раз все равно мне крышка?..»

Я вышел на улицу. Снег скрипел под ногами. Это был долгий и сложный разговор. У остановки трамвая стояла женщина с младенцем. У него были нежные пузыри на губах; он вдохновенно теребил пуговицу на пальто матери. Я подумал: наверно, Эдисон! Прошла девушка с молодым рабочим. Он, смеясь, говорил: «Вот и поставлю рекорд затяжного прыжка, очень просто...» Она грызла твердое, замерзшее яблоко; глаза у нее были счастливые. Я вспомнил слова Кроля о колибри, и мне особенно сильно захотелось жить.

2

Критики ставят мне в вину недостаток скромности: я говорю за моих героев; страницы романа я заполняю моими рассуждениями; как чересчур нервный режиссер, я готов выбежать на сцену, не считаясь с ходом действия. Все это, может быть, верно. Сейчас, однако, я пишу не роман: я хочу рассказать о жизни некоторых людей, также о моей жизни.

Трудно погрузиться в прошлое: это подводный мир; цвета и звуки в нем меняют свое привычное значение. Как всякий человек, я часто думаю о времени. Его голоса преследуют меня, когда полусознание стремится перевести на разумный язык смутные звуки: тикание часов, лепет капель в кране умывальника, звон в трубах радиатора, биение сердца, наконец, те вовсе непонятные шорохи, которыми полна ночь. Но, думая о времени, я неизменно думаю о будущем; в любом лице, даже в любой вещи, я начинаю чувствовать наброски неизвестных мне форм, слов, ощущений. Как я хотел бы услышать язык, который через сто лет будет языком будней!

Прежде я писал стихи. Я влюбился в прозу: это жизнь в глухом лесу; деревья так тесно обступают, что трудно пройти; впереди — ничего, кроме плотной зелени. Воздух, сырой и горячий, образует ту духоту, которая хорошо знакома всякому прозаику: работа граничит с задыханием. Ноги вязнут, и, когда начинаешь новую книгу, топь кажется смертельной. В этом увязании, может быть, скрыта одна из наибольших радостей нашего ремесла.

Иногда я все же завидую поэтам. Мы едва вытаскиваем ноги из трясины. Их походка похожа на прыжки,

показанные замедленной проекцией: они плывут в воздухе. Я заметил, что, читая стихи, они судорожно выбрасывают руки: это жесты пловца. Их тротуары не ниже второго этажа. Для нас запятые — мясо, страсть, глубина; они обходятся даже без точек. Ритм стихов переходит в ритм времени, и поэтам куда легче понять язык будущего.

Я еще раз выписал это слово. Говорят, что в окружающем нас мире легко увидеть распад, износ, одряхление. Сколько раз писатели отмечали, что лицо молодой женщины в минуты усталости позволяет увидеть, какой она будет в старости. Люди одеваются и причесываются согласно эпохе; возможно, что согласно эпохе они и чувствуют. Грузный, неповоротливый корабль теперь переменил курс: путь лежит к молодости. Я знаю, что молодая женщина, которая с недоверчивой улыбкой слушает меня, через двадцать лет будет моложе, нежели теперь. Пока человек дышит, он жаден, лют и весел. Что больше позволило приблизиться мне к будущему: долгие беседы с комсомольцами или несколько минут среди развалин Акрополя? Я оглядываюсь назад только потому, что хочу идти вперед. Я не пишу книгу мемуаров. Есть многое, о чем я могу рассказать лишь близким друзьям, есть многое, о чем я не скажу и себе.

Я был недавно в яслях. Малыши занимались шведской гимнастикой. Кажется, они даже спорили друг с другом. Я им позавидовал: наше детство было душным, с двойными рамами, с ночными горшками, с эфирно-валериановыми каплями, с шепотом, с тысячами страхов. Как дети кенгуру, появившись на свет, мы еще продолжали жить в материнской утробе.

Детство я провел на границе между сном и преступлением. Я кинулся с ножом на дворника Илью; я пытался поджечь дачу моего деда; я пробовал убежать к бурам. Я дерзил родителям и читал запретные книжки. Я мечтал о парижских шансонетках. Я ненавидел арифметику. Был один человек, которого я слушался беспрекословно. Его звали Михаилом Яковлевичем; он готовил меня к экзаменам. Он никогда меня не наказывал, и, однако, с ним я решал все задачи на проценты. Иногда он давал мне тянучки: я был сластеной. Я кидал бумажки на пол. Потом он спрашивал: «А бумажки где?» Я глядел на пол — бумажек не было; Михаил Яковлевич смеялся. Я никому не говорил об этих таинственных тянучках.

Я боялся Михаила Яковлевича, и я его ненавидел. Родители считали, что он превосходный педагог. Ему приглянулась подруга сестры. Он ее усыпил и внушил ей, что она должна приехать вечером на дачу. Помню негодование домашних. Меня повезли к профессору по нервным болезням: кто-то сказал матери, что я могу навсегда лишиться воли. Профессор прописал мне бром. Бром был соленый, но я утешался тем, что Михаила Яковлевича больше нет и, следовательно, никто не заставит меня решать задачи на проценты. Потом мне объяснили, что Михаил Яковлевич меня гипнотизировал. Я не мог, однако, забыть, что тянучки, которые он мне давал, были вкусны, как и все тянучки.

Года два спустя, в третьем классе, я рассказал об этом Кролю. Он ответил: «Ерунда!» Помолчав, он добавил, что гипнотизм существует, но его это никак не занимает. Я не мог ему объяснить, почему воспоминание о тянучках так волнует меня.

Мы с трудом понимали друг друга. Он был сделан из добротного материала; он в жизни неизменно приобретал; мне кажется, я только то и делал, что освобождался от иллюзий. Как будто я родился не голый, но в сложном костюме, с теми хорошо мне памятными пуговками лифчика, которые я никак не мог отстегнуть.

Так и со стихами. Кроль читал Ольге Пушкина. Теперь его вторая жена пишет стихи, и он этому радуется. В ранней молодости я стихи ненавидел, Лермонтов приводил меня в болезненное состояние. Я лечился от поэзии сначала микроскопом, потом «Положением рабочего класса в Англии». Я помню, как Надя Львова, которая входила в нашу гимназическую организацию большевиков, прочитала мне стихи Блока. Я ей сказал: «Выкиньте! Этого нельзя держать дома — это страшно...»

Два года спустя я сам начал писать стихи.

Надя Львова любила стихи и революцию. Ей не удалось удержаться в жизни. Кроль говорит: «У человека не могут быть две беды». Надя встретилась с Брюсовым. У нее были глаза школьницы и волосы, гладко зачесанные назад. Она еще помнила начатки политической экономии. Она переводила стихи Жюля Лафорга. Жюль Лафорг написал поэму о школьнице, которая неизвестно почему кидается в реку. Эту поэму он назвал: «Воскресная скука». Брюсов посвятил Наде Львовой сборник стихов. Она раздобыла револьвер и застрелилась. Может быть, это было в воскресенье.

Я знаю одну испанскую песню:

Утром в Иванов день
К озеру приехал граф Арнальдос.
Он увидел большой корабль.
На нем были паруса из шелка,
На нем были мачты из серебра,
На нем были мачты из золота.
На палубе стоял моряк,
И пел он чудесную песню.
И слыша, как поет моряк,
Затихали бурные волны,
И слыша, как поет моряк,
Опускались птицы на мачты,
И слыша, как поет моряк,
Выскакивали из озера рыбы.
Граф Арнальдос спросил моряка:
«О чем твоя чудная песня?»
И ответил моряк ему,
И слышал ответ граф Арнальдос:
«Я скажу это только этому,
Кто со мною вместе отчалит».

Впрочем, об этом писал Лермонтов; да и Маяковский писал о том же. Я боюсь поэзии, как сгущенного воздуха; она жжет. А для Кроля поэзия — раскрытое настежь окно. В этом большая правда: кто-то должен задыхаться, чтобы другие могли дышать. Жалеть здесь некого. Я хочу только сказать о воздухе. Людей со слабыми легкими посылают в горы. Для людей с повышенным кровяным давлением горный воздух опасен. Для горцев горы не режим, но жизнь. Я родился отнюдь не в горах. Я родился в девятнадцатом веке, живописном и тщеславном, в буржуазной еврейской семье, среди плюшевой мебели и сонат Чайковского. Но я не хочу больше думать о тянучках Михаила Яковлевича; я знаю, что их не было.

Шестова вчера просвечивали. У него рак желудка. Он не может есть даже кашицу. Врачи говорят, что он долго не протянет. Умрет он от голода.

3

Кроль дал мне стихи своей жены. Восемь стихотворений: вокзал, колеса, станционный буфет, громкие клятвы, чересчур яркая листва осени и снова звонки, гудки, суматоха, лихорадочный глаз семафора. Кажется, эта женщина только и делает, что уезжает.

Кроль свел меня с комсомольцами азотного завода. Особенно он расхваливал Павлика Журавлева:

— У него каждая колонна дает не тридцать пять запроектированных, а пятьдесят.

Потом, виновато улыбаясь, добавил:

— Над ним ребята посмеиваются. Он, понимаешь, оригинал.

Один из товарищей Павлика рассказал мне:

— Мы с ним прошлой зимой вместе жили. Приходит он как-то вечером мрачный. Может, на работе у него неприятности вышли или с девушкой разругался. Спрашиваю: «Проработали?» Молчит. Потом шапку взял. А время позднее. Я говорю: «Ты это куда?» — «На вокзал. Под поезд». Я сначала рассмеялся, а потом думаю: шут его знает, разве такого поймешь? Светает, а его нет. Решил пойти на розыски. Только вышел — здравствуйте, навстречу Павлик. «Что же, передумал?» Смеется: «Поезд опоздал».

Павлику на вид лет двадцать пять. Он все время улыбается, но улыбка у него смутная. Глаза как будто не принимают участия в разговоре: рассказывает он что-нибудь смешное, а глаза спокойные, даже грустные. Зато уморителен задранный вверх нос.

Павлик пришел, когда я читал стихи жены Кроля. Мне понравились две строфы; я прочитал вслух:

Так умирать, чтоб бил озноб огни,
Чтоб дымом пахли щеки, чтоб курьерский:
«Ну, ты, угомонись, уймись, нишкни», —
Прошамкал мамкой ветреному сердцу,

Чтоб — без тебя, чтоб вместо рук сжимать
Ремень окна, чтоб не было «останься»,
Чтоб, умирая, о тебе гадать
По сыпи звезд, по лихорадке станций...

Павлик выслушал и рассмеялся.

— Почему вы смеетесь?

— Смешно.

Помолчав, он добавил:

— Мне всегда смешно. Вам про Комарика ребята рассказывали?

— Это еще что за Комарик?

— Лошадь. Вместо осла; хотя я скорей всего Санчо Панса. Конечно, героем быть каждому лестно, но я человек практический. Теперь все газеты пишут: «Уважайте родителей». Я это предугадал. Я тогда во флот направлялся. Думаю — как же старики останутся? Из-

бы у них нет. Поехал. Гляжу — в лесу материала хоть отбавляй. Направился в леспромхоз. Говорю: «Лес у вас зря пропадает». Они спрашивают: «А вы что — бригадир?» Вздохнул я, но отвечаю с достоинством: «Разумеется». Да по правде сказать, отец, мать, я, сестренка — чем не бригада? Только как его таскать — лес? Пошел на базар. Тогда кулачья много шлялось, и все с лошадьми. Держит один конягу на веревке, будто собачку. Лошадь прямо из анатомического музея: каждая косточка обозначена. Поторговались; за два червонца, злодей, отдал. Веду ее и думаю: сейчас сдохнет! Глядеть на нее страшно, особенно сзади — от хвоста три волоса осталось, ноги расползаются; совсем как портрет английской королевы Виктории накануне упокоения в бозе. Вдруг спохватился: а как ее звать? Неудобно все-таки: «Эй ты, лошадь!» Вернулся, разыскал кулака. Он смеется: «Ты ее как хочешь зови, все равно она к ночи сдохнет». Я его даже за шиворот схватил. Говорит: «Ну, Комариком зовут». Что же, я Комарика выходил. Он у меня как на ипподроме бегал; ржал от удовольствия. Построили избенку. Время мне уезжать. Конечно, я этого не отрицаю — я Комарика прирезал. Сами знаете, пищевая промышленность у нас несколько отставала. Пирогов напекли. Товарищам привез, рассказываю, а они жрут и меня ругают. Я им говорю: «Кто Комарика выходил? Может быть, я эти пироги с двойным чувством ем?..»

Павлик позвал меня в клуб. Хотели поехать трамваем, но погода соблазнила: снег мягкий, легкий. Пошли пешком. Вдруг я слышу — Павлик что-то бубнит. Я прислушался:

— «Валящим снегом с ног гагар сносимый жаркий пух...»

— Почему же, когда я читал стихи, вы смеялись?

Он смотрит на меня, и глаза по-прежнему расходятся с улыбкой.

— Я девушек не люблю. То есть не принципиально, практически. Они внимания требуют, а у меня голова другим занята. Я, может быть, контактную колонну предпочитаю.

Когда мы переходили через Зубовскую площадь, Павлик поскользнулся. Я помог ему встать. Вижу, у него с ногой что-то неладно. Я спросил, не ушибся ли он.

— Это с тридцать первого — когда коллективизацию проводили. Черкесов со мной был. Хороший парень, только горячий, начал с речей, как будто он в Большом театре. А нас, между прочим, двое, да на двоих один револьвер. Пришли ночью: «Давай чернявого! Тебя не тронем, а ему камень на шею, да в реку». Что тут делать? Отвечаю: «Хорошо, сейчас приведу». Пошел, говорю Черкесову: «Вот тебе револьвер — и смывайся». Там был другой ход — через огороды. Вернулся: «Сейчас выйдет». А они в дом лезут. Я боюсь: может, он замешкался, не пускаю. Они — на меня. Я даже удивляюсь, как это я выжил? Живучий, должно быть, вроде Комарика. Ногу сломали, чуть что, подлая, подгибается. Глупая история!

— Может, поедем?

— Нет, мне идти не больно.

Идем минут десять, вдруг я вижу, что Павлик переменился в лице, даже улыбка исчезла.

— Нога?

Три раза я его переспросил. Наконец он пришел в себя и тотчас же улыбнулся.

— Соседи. Вузовец. А Васса у нас работает лаборанткой.

Женщина была высокая, красивая. На морозе чувствовался жар щеки. Над светло-серыми глазами с легким изумлением приподымались темные брови. Я видал таких женщин на Севере — учительниц, рыбачек, доярок. Ее спутник был худ, бледен, чуть сутулился; нервно размахивал рукой с согнутой углом папиросой. Они завернули в переулок.

— Вот вы Володю Сафонова описали. Это тоже тип. Он раньше на астрономическом отделении учился. Как-то объяснил мне, почему бросил: «Нельзя глядеть в телескоп, а потом волноваться, удастся ли пятилетка». Он всегда так выражается — вроде как в пьесах Олеши. Теперь пошел по нашей части. Только его не поймешь — что ему интересно, что нет. Так и с девушками — кажется, во всех сразу влюблен. Вчера Галя мне говорит: «Жора сказал, что покончит с собой. А что мне делать, если я его не люблю?» Я не знаю, искренн он это или настраивает себя? Да и с Вассой... Она ради него все терпит. Мне через стенку все слышно... Теперь последняя новость — приходит ко мне и шепотом, как будто он чем-нибудь заразился: «Ребята говорят, что я индивидуалист». Я ему прямо сказал: «Никакой ты

не индивидуалист, просто неврастеник». Мне за Вассу обидно...

Снег стал крупным, лохматым. Когда идет такой снег, все кажется смутным, неопознанным. Я иду рядом с Павликом и думаю о болезни Жоры. Почему в сознании этого человека звезды не уживаются с огнями Кузнецка? Может быть, он хотел найти на карте звездного неба ту точку, где находимся мы: он, Васса, Павлик?.. Есть другая карта, я часто вижу ее в полусне, на ней можно разыскать и умирающего Шестова, и звезды, и аммиак, и улыбку моего спутника.

— У Жоры чуть что — драма. Но тогда здесь две драмы: каково Вассе с ним?

Мне хочется сказать: «Павлик, здесь три драмы». Но я только спрашиваю:

— А какая она, Васса?

— Разве можно с таким носом говорить о высоких предметах?

Мы идем молча. Свисток паровоза вдалеке. Павлик говорит:

— Как это она написала? «Чтоб вместо рук сжимать ремень окна...» Смешно! Я скоро в Бобрики уеду — там контактный цех отстает. Хорошо бы опоздать на поезд...

— Кажется, неврастеник не только Жора.

Он смеется.

— Какой же я неврастеник, я скорей бегемот: непромокаем для чувств. Конечно, иногда я выдаю себя за человека чрезвычайно чувствительного. Мы с Волковым перед октябрьскими праздниками пошли в баню. Гляжу — очередь. Помыться по случаю светлого праздника совершенно необходимо, но и в хвосте стоять унизительно. Без диалектики тут не обойдешься. Подхожу к кассе, начинаю кричать: «Я псих! Я псих!» Публика, естественно, шарахается. Кассирша и та побледнела, сует мне билетик. Но как же я Волкова оставлю? Тащу два. Здесь люди опомнились: «Почему два?» Вижу — дело плохо, как топну ногой, да заору: «Я — два психа!» А вы говорите «неврастеник»!..

Мы идем по улице Кропоткина. Прежде она называлась Пречистенкой. Здесь была церквушка. На паперти богомаз изобразил Страшный суд. Каждое утро, проходя мимо, я глядел на грешников, которые корчились в огне. Старушки испуганно крестились, а мне хотелось быть чертом.

Здесь помещалась женская гимназия Арсеньевой. Я приходил сюда к трем часам и терпеливо поджидал какую-нибудь девочку: Мусю, Асю или Надю. Потом я нес книжки, завернутые в клеенку. Я говорил о том, что самодержавие позорный пережиток и что женщина должна уметь свободно отдаваться. Мне было тринадцать лет. Где они теперь, Муси, Аси, Нади? Умерли? Работают делопроизводительницами в Жиркости? Шьют на дому бюстгальтеры?

На улице Кропоткина еще можно увидать старух в манто, сделанных из бархатных портьер. Они пугливо озираются. Они тащат в кошелках картошку или крупу. Когда я был мальчиком, они своей красотой не давали мне уснуть. Они были для меня «женщинами». Они танцевали на балах в Охотничьем клубе, играли в шарады, кричали Собинову «душка» и носили корсеты, патетичные, как латы средневековья.

Волхонка, Моховая. Здесь были жалкие постройки: книжные лавки, рыбная торговля, писчебумажный магазин, букинисты. Теперь здесь пусто: это площадь. Площади новой Москвы неожиданны и загадочны, они еще похожи на пустыри. Город непонятен — он меняется по ночам. Кажется, когда люди спят, под мохнатым снегом камни ходят, перебегают через площади, растут вверх, как кедры. Здесь нет старух в бархатных рубищах: они боятся света, автомобилей, большевиков. Люди здесь тверды и упрямы. Огромная молодость ночью подымается над городом, как оранжевый пар. Впрочем, города нет, город будет. Его строят так, как никогда еще не строили ни один город: для бурь и счастья. Так строят корабли. Так, может быть, люди строили ковчег, когда над миром уже набухали огромные синие тучи. Можно прийти на улицу, где ты родился, где ты вырос, где месяц назад ты спорил с приятелем, прийти и заблудиться: нет улицы — огромный дом, леса, пустырь, щебень. Улицы бродят, как люди. Заросль домишек, где жили церковные старосты, писаря, лабазники, вдруг пробивает луч прожектора: это каменная аллея, просека, проспект. Снег вывозят за город, как трупы. Среди лютого мороза особенно ярко сверкают огни, они гудят. А люди все движутся. Никто не стоит на месте, кроме поэта, в такой-то раз поседевшего и, несмотря на бронзу, на седину, на славу, по-прежнему запальчивого, отчаянного, готового вмешаться в уличную неразбериху, повести рыкающих

львов с ворот в зоопарк, галок переместить с крестов на небоскребы, а потом взять под руку сконфуженного Павлика и напомнить:

И всюду страсти роковые
И от судеб защиты нет.

4

В низких комнатах было жарко натоплено. Блестели крашеные полы, и блестели красные потные лица. Тишину раздирали то громкие зевки, то визг маленьких злых мопсов. На комодах фарфоровые китайцы до одурения кивали головой. В эмалированных кружках — память о Ходынке,— украшенных царскими вензелями, смутно розовели гофрированные розы. Варенья были разные: крыжовник, ананасная клубника, райские яблочки, кизил, смородина. Чай пили из больших пузатых чашек.

Они говорили:

— Не суйся, середа, наперед четверга.
— Поспешишь, да людей насмешишь.
— Погоди — в старом походи.
— Не под дождем — постоим, подождем.
— Родился — не торопился, и теперь незачем.
— Лежи на боку да гляди на реку.
— Живем да хлеб жуем, спим да небо коптим.
— Отчего кот гладок? Поел да на бок.
— Больше спишь, меньше грешишь.
— Кто долго спит, тому Бог простит.
— Сон милее отца и матери.

Это было сонное царство. В Большом театре шел балет «Спящая красавица», и, околдованные феей, балерины искусно замирали на носках. В глубоких ложах подагрические старики потчевали внучатых племянниц шоколадными конфетами. Наверху лежал кусочек ананаса и серебряные щипчики. В коридорах цепенели пышные капельдинеры. Горничные в вязаных платках держали шубы, и шубы казались зверями: сибирская тайга подходила вплотную к бархату и к бронзе театра — выдры, лисицы, еноты, соболя.

На улице, поджидая господ, спали кучера. У них были неимоверные ватные груди и бороды, белые от инея. Их звали Егорами, Захарами, Никифорами. Лошади на морозе седели, как в сказке. Иногда кучера

вздрагивали, они начинали ударять несгибающимися рукавицами свои ватные груди. Мороз был единственным живым существом в этом заколдованном мире; он забирался под тулупы, грыз сердце; он заставлял людей бить в ладоши и плакать слезами равнодушия.

В казармах Хамовнического пивоваренного завода, шелкопрядильни Жиро, парфюмерной фабрики Ралле спали рабочие. Они спали на нарах. Казармы пахли человеческой испариной, кожей, капустой. Люди отрыгивали, ворочались, ругались. Коптила под потолком керосиновая лампа. Кто-то шлепал босыми ногами по полу и набирал воду в ковш.

На углах переулков спали извозчики. Они могли сойти за памятники. Порой, просыпаясь, они глядели на мир мутными, незрячими глазами и, полные густого сна, приговаривали:

— Барин, подвезу?..

Они бубнили: «сорок копеечек», «тридцать», «извольте двугривенный» и недоуменно хлестали бока коняги. Начинался загадочный путь через Москву. Спали дворники в подворотнях. Чуть желтел фонарь: «Дом И. В. Неговорова». В церковных садиках нарастали сугробы. Кричал пьяный хитровец. Городовой в башлыке недоверчиво харкал. Казалось, все спят: и седок, и извозчик, и лошадь, и мир.

Они везли седоков на Болото, на Трубу, в Мертвый переулок, в Штатный, в Николопесковский или в Николоворобьинский, на Зацепу, на Живодерку, на Балчуг, на Разгуляй. Странные имена, будто это не улицы города, но вотчины удельных князей или перечень церковных приходов.

У Спасских ворот извозчик и седок машинально снимали шапки. Весельчак мороз не зевал, торопясь, он щипал уши. Потом извозчик поворачивался к седоку и начинал свою длинную повесть.

О чем говорили московские извозчики? Наверное, о многом: о нищете и о морозе, о барских затеях и о своих зловонных дворах, о хвори жены, о том, что недавно забрили сына. Жизнь была страшна и пуста, как Кремль ночью, с его сугробами и воронами. Впрочем, никто не слушал этих рассказов. Они текли, как время, и только одно проступало из этого обязательного небытия: «Овес». Да, они говорили об овсе. Они говорили, что овес очень дорог. Надрываясь от душевного горя, они пришептывали: «Надбавить бы гри-

венничек»,— этого требовал овес. Они жаловались, мечтали и сквернословили, но из всех слов, нежных и горестных, только одно доходило до ушей седока, слово простое и таинственное, лейтмотив пути через Москву — от Лефортова до Дорогомилова: «Овес».

Потом, в годы революции, извозчики начали исчезать, как церкви, как розовые домики с палисадниками. Они исчезали не сразу. Какие-то люди уже вычерчивали планы метро, а извозчики в своем споре с историей все еще ссылались на тот же исконный овес.

Недавно я видел одного из последних представителей этого племени. Без своего ватного панциря он казался не человеком, но скелетом; скелетом казалась и старая мудрая кляча; скелетом была и пролетка, которую едва прикрывали клочья истлевшей покрышки. Я спросил его: «А как с овсом?» Он ничего не ответил. Скорей всего, он разучился говорить. Мне странно, что это мой современник, что в детстве он мне казался ковром-самолетом, что вместе с ним я пришел в новый мир из тихого, сонного века.

Мне многое странно. В одном из переулков я разыскал деревянный домишко. Я не скажу сейчас, почему он мне дорог. Случайно он еще стоит на месте. Вероятно, через год и его снесут. Я хорошо помню, что когда-то на этом домике значилось: «Свободен от постоя». Теперь на нем дощечка: «Берегись автомобиля!»

Летом пролетки дерзили: их грохот врывался в раскрытые окна розовых и шоколадных домишек. Он заставлял апоплексических купцов просыпаться и тянуться, кряхтя, к жбанчику с квасом. Возле некоторых домов, украшенных колоннами, мостовые были залиты асфальтом; колеса, как бы различая табель о рангах, сразу переходили на почтительный шепот.

В маленьких переулках из-за заборов высовывалась любопытная сирень, и, вдыхая сладкий запах, прохожий останавливался: это были лирические отступления после продажи дегтя, после взятки околоточному, после расстегаев в «Славянском базаре».

Возле Шаболовки был большой пустырь, кое-где поросший жалкой травой.

Там, как мусор, валялись рабочие. Мастеровой пел песню о далеком Трансваале. Скептик в калошах на босу ногу пил водку и хныкал. Там я собирал десяток рабочих с обойной фабрики Сладкова. Мы говорили

о резолюциях Стокгольмского съезда и о том, что рабочие требуют хозяйского мыла. Рыжий веснушчатый Васька караулил. Иногда он свистел. Тогда мы расходились якобы лениво и беспечно; навстречу шел свирепый городовой по прозвищу «Шило».

Мы собирались также на татарском кладбище. Среди старых плит, положенных как попало, весной цвели желтые курослепы. Излюбленным местом собраний были Воробьевы горы. Наверху владельцы чайных палаток зазывали публику. Дым самоваров ел глаза. Булькала утешительница водка. Кудрявые парни засыпали, не дожаловавшись гармошке. «Отчего эта ночь та-ак была хороша!..» Мы собирались внизу, на склоне холма, поросшего лесом. Мы не знали, что здесь будет Парк культуры, а там станция метро, и что все вместе это будет столицей советской республики. Мы говорили о новом кружке из восьми человек, о прокламациях, оттиснутых на гектографе, о том, что Макар «провалился» с адресами. Внизу была большая сонная Москва.

Я учился в Первой гимназии. Там была огромная сборная, в ней висели сотни шинелей; в ней происходили бои между «персами» и «греками»; в ней били доносчика, покрыв его шинелью и приговаривая: «Фискал кишки таскал!» Наверху был актовый зал с портретами четырех императоров. В актовом зале висела доска с именами лучших учеников, и директор Иосиф Освальдович Гобза, показывая на доску, говорил нам, что в стенах Первой гимназии воспитывался министр народного просвещения господин Боголепов. Любимым местом гимназистов была уборная. Там мы отсиживались, чтобы не отвечать на уроках; там второгодники, которых называли «камчадалами», рассказывали о своих любовных похождениях, приготовишки там обменивались перышками, а циники из третьего или четвертого класса открытками с изображениями голых шансонеток. Стены были покрыты непристойными рисунками и стихами: «Подите прочь, теперь не ночь!..» Но во время большой перемены мы неслись в столовую. Кто-нибудь наспех прочитывал молитву, после чего начиналась «биржа» — мы выкрикивали: «Меняю пирог с морковью на голубец!» Эконома звали «Артем — сопливый индюк».

Я редактировал журнал «Новый луч». В этом журнале мы говорили о том, что «знание победит мрак

невежества». Пуще всего мы боялись, что журнал попадет в руки учителей. Я никогда не думал, что гимназия может быть связана с тем самым «знанием», о котором я писал в тайном журнале. В первом классе на уроках я скатывал шарики из жеваной бумаги и пускал их в учителя арифметики. В третьем классе на уроках латыни я читал «Что делать?». Учитель русского языка называл меня сокращенно «Эрен». Он говорил: «Эрен-мерин, из тебя выйдет сапожник». Хотя я не знал в точности, что такое мерин, я с ним соглашался.

В сквере, напротив моей гимназии, по вечерам гуляли гимназисты и гимназистки. У гимназистов, которые считали себя революционерами, был заведомо непочтительный вид. Они выламывали гербы на фуражках, а форменные куртки носили как пиджаки — поверх косовороток. Любовные монологи перебивались справками о роли личности в истории или язвительными нападками на меньшевиков, которые хотят ограничиться муниципализацией земли.

Другие гимназисты были эстетами. Они презирали родителей за то, что родителям нравились стихи Надсона и пьесы Найденова. Они говорили гимназисткам: «О да, вас, женщины, воззвал я сам!..» Но гимназистки плохо разбирались в высотах брюсовского стиха, а сирень сладко пахла, и эстеты были молодыми. Дело кончалось победой традиций, а именно поездкой в Сокольники, где баритон Шевелев пел «Люблю ли тебя, я не знаю» и где в аллеях, среди фонариков, влюбленные забывали о трагической судьбе скорпиона.

Больше всего в сквере бывало гимназистов с широкими фуражками нежно-голубого тона: эти не утруждали себя ни меньшевиками, ни декадентами. Они говорили об «этуалях» Омона, о скачках, о балах.

Сидя в Колонном зале на Съезде писателей, я вспомнил, как я попал впервые в этот зал. Он тогда назывался «Большим залом Благородного собрания». Я пошел на вечер «В пользу недостаточных учеников московской Первой гимназии». Сначала Шаляпин пел про блоху. Гимназисты старших классов относились к этому сдержанно, они уверяли, что Шаляпин всегда поет про блоху, но я был второклассником, и я с восторгом повторял: «Ха-ха, блоха!» Потом были танцы. Я не умел танцевать и взобрался на хоры. Танцевали шакон, миньон,

падепатинер, падекатр, вальс, кадриль. Увидав помощника классного наставника, я по привычке встал и рявкнул: «Здравствуйте, Иван Никитыч!» Помощник классного наставника рассердился: он был с какой-то тучной барышней. Барышня неистово обмахивала себя китайским веером, приговаривая: «Ужасно жарко!» Помощник классного наставника отвечал: «Поедем в Петровский парк». На следующий день Иван Никитыч сказал мне: «Стыдно шуметь на уроках». Я был оставлен на час.

В Петровский парк ездили на лихачах. Сани были узкие, и кавалер начинал с того, что обнимал даму. Потом холодные губы касались холодной щеки. Лихачи никогда не оборачивались и не говорили про овес: они знали свое дело. Летом они ездили на пролетках с шинами, это придавало их манерам известную деликатность.

Светские люди любили также розвальни. В январе начинался сезон балов. Костюмерные давали напрокат старые театральные костюмы. Помощник присяжного поверенного становился тореадором, а дочь инспектора страхового общества неаполитанской рыбачкой. Ряженые ездили с одного бала на другой. Я запомнил одну компанию. Это было в январе 1900 года — тогда все говорили о «конце века». Они были одеты в опереточные костюмы различных народов. Испанка щелкала кастаньетами, на англичанине были яркие клетчатые штаны. Все они обступали какого-то господина, наряженного китайцем, хватали его за косу и вопили: «Долой боксеров!» Потом вместе с китайцем они пили шампанское: «За новый век!» Вряд ли кто-нибудь из них догадывался, какой это будет век и за что именно они пьют среди тишины припудренных крещенским снегом переулков.

О чем тогда говорили московские либералы? О том, что у сестер Кристман в «Лакме» изумительная колоратура, о том, что во Франции адвокат Лабори произнес замечательную речь в защиту невинного Дрейфуса, о том, что в Москве открылся ресторан с отдельными кабинетами в мавританском стиле, о том, что мадам Мальбранш привезла из Парижа новые модели шляп. Говорили о премьере комедии Зудермана, о бороде президента буров Крюгера, о красноречии Плевако, способного добиться оправдания самого жестокого убийцы. Говорили о фельетонах До-

рошевича, который высмеивал «отцов города», о «сумасшедших декадентах», которые воспевают бледные ноги, о сыне пивовара Кара, который, желая подарить московской львице колье, убил колуном мать и двух сестер. Пивовар Кара жил рядом с нами, я помню обрывки фраз: «Плавают в крови... хотел взять пятьсот рублей...» Иногда самые смелые шептали друг другу: «Лев Толстой написал государю императору неслыханно дерзкое послание».

Мое детство я провел в Хамовническом переулке, рядом с домом Толстого. Я недавно пошел поглядеть, уцелел ли деревянный дом, связанный для меня со столькими воспоминаниями. Он казался мне огромным; теперь я увидел, что это маленький скверный домишко.

Я помню, как Толстой пришел на Хамовнический завод. Он расспрашивал моего отца о производстве пива: он думал, что пиво поможет трезвенникам бороться с водкой. Он шел по двору, широкий и сутулый. Я бежал сзади, как любопытная собачонка. Одни рабочие говорили: «граф», другие добавляли недоверчиво и смутно: «писатель».

По вечерам рабочие пили кислое, испорченное пиво. На Девичьем поле были масленичные балаганы. Пожилой человек, с лицом, обсыпанным мукой, кривлялся и кричал: «Я американец, танцую всякий танец!..»

Иногда на заводе начиналась тревога: говорили, будто студенты идут к Толстому. Возле ворот выставлялась охрана. Я тихонько выбегал на улицу и поджидал таинственных студентов. Но тихо было в переулке, только гармошка неустанно твердила все о той же, мнимо «хорошей» и опостылевшей всем ночи.

Со студентами я познакомился несколько лет спустя. Университет стал одним из штабов революции. В аудитории пришли те рабочие, которых я знал по Хамовникам или Дорогомилову. Они говорили речи, пели «Варшавянку». Курсистки раздавали прокламации. По рукам ходили барашковые шапки с запиской: «Жертвуйте на вооружение!»

Я шел по Моховой. Вдруг студенческие фуражки закружились, как листья. Кто-то крикнул: «Охотнорядцы!» Мы заперлись в университете и начали готовиться к осаде. Нас разбили на десятки; я мелом поставил на гимназической шинели номер. Мы таскали камни

наверх в аудитории. Мы развели костры, жевали колбасу и пели: «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою!..» Мне было четырнадцать лет, и теперь можно признаться, что в моей голове Карл Маркс мешался с Фенимором Купером.

За гробом Баумана шли победители. Когда рабочие и студенты возвращались с кладбища, в них стреляли. Потом был декабрь, баррикады, зарево. Всякий, кто пережил в Москве Рождество 1905 года, не забудет особенной тишины улиц — после выстрелов, после песен, после слез. Зловеще чернели развалины Пресни. Сапоги семеновцев и преображенцев щемили снег, и снег жалобно поскрипывал. Люди молчали. Молчали Сокольники, Симонова слобода, Замоскворечье, Лефортово. Те, что должны были веселиться, веселились.

Вместо миньона барышни разучивали перед испуганными мамашами кекуок и матчиш. Эстеты говорили, что революция — грубое дело и что важнее всего душа. Начиналась эпоха богоискательства, Леонида Андреева, скандинавских альманахов, постановок Метерлинка, споров о том, можно ли изнасиловать красивую девушку, эпоха Саниных, карательных экспедиций, виселиц.

Охранники по ночам раздирали тюфяки, шарили в еще теплых печах и перетряхивали шестьдесят томов Брокгауза и Ефрона. Вши заедали рабочих кирпичных заводов. Свободолюбцы кричали заспанным Дашам или Лушам: «Поставь самовар!» — и до хрипоты спорили о Некто в сером или об антихристе.

Как странно, что я уже жил в это время! Я думаю сейчас не о людях — о Москве: жизнь этого города кажется мне глубоко загадочной. Я не жил в эпоху Ивана Грозного. Я не был на Красной площади, когда Петр рубил головы стрельцов. Я не видал пожара 12-го года. Я даже не был знаком с Наташей Ростовой, которая жила в том доме, где писатели Чувашии и Азербайджана теперь говорят о социалистическом реализме. Я родился в 1891 году. Но то, что я видел, кажется мне древним и непонятным, как боярские пиры или езда на перекладных. Мне трудно себе представить, что я был близким другом деревянной каланчи, что моя жизнь была связана с этой нелепой башенкой. На каланче вывешивали шары, когда приключался пожар, а я любил пожары. На той же каланче

вывешивали флаг, когда термометр показывал двадцать пять мороза,— это означало, что не нужно идти в гимназию, а я не любил гимназии.

Весной все двигались на дачи, по улицам громыхали высочайшие возы. На возах лежали буфеты, пуфы, туалетные столики, сковородки, самовары, а на самой верхушке сидела обычно кухарка с птичьей клеткой. Рядом с возом бежал пес и, лая, делал вид, что сейчас он укусит лошадь.

На даче были гамаки, колпаки на свечах от мошкары, медные тазы для варки варенья. Взрослые играли в карты, пили клюквенный морс и читали «Русское слово». Студенты и гимназистки вечером уходили на «площадку» — там танцевали. Иногда все направлялись в лес и, подстелив одеяла, чтобы не простудиться, ложились на пыльную траву. Разносчики по утрам кричали: «Куры-молодки!» или: «Смо-ро-дина!» В воскресенье приезжали гости, они ели кулебяку, говорили о красоте природы и засыпали.

Пожалуй, всего загадочней для меня конка. Я столько ездил на этой конке, но теперь я думаю о ней как о далеком ледниковом периоде. Я ехал из гимназии домой — вверх по Пречистенке. Конку тащила одна кляча. На подъеме в конку впрыгивал мальчонка. Он держал вожжи другой клячи и дико гикал. Казалось, это мощная римская колесница. На конке можно было проехать по всем Садовым: это был очень долгий путь. На разъездах конка останавливалась, поджидая встречную. Пассажиры выходили и тупо смотрели — не покажется ли вдалеке желанный вагончик. Извозчики не то с глумлением, не то с надеждой кричали: «Подвезу?» Впрочем, никто не спешил: это был живорыбный садок, в нем медленно кружились жирные скользкие рыбины.

Нас было несколько человек в гимназической большевистской организации: Бухарин, Сокольников, Астафьев, Членов, Неймарк, сестры Львовы. Астафьева сослали, он вскоре умер. Валя Неймарк был застенчивым, тихим мальчиком. После ареста он попал в Сибирь, а оттуда убежал во Францию. Он работал на часовой фабрике и мечтал о революции. Его повесили белые. Львов был мелким почтовым служащим; он думал, что его дочки тихо выйдут замуж. Когда Надю Львову арестовали, ей не было семнадцати лет. Ее хотели выпустить на поруки отца. Она

ответила следователю: «Я буду продолжать мое дело». Сокольников был старше меня. Он казался мне стратегом: мало разговаривал, почти никогда не улыбался, любил шахматы. Бухарин был весел и шумен. Когда он приходил в квартиру моих родителей, от его хохота дрожали стекла, а мопс Бобка неизменно кидался на него, желая покарать нарушителя порядка. Боевик Дмитрий учил нас, как стрелять из револьвера.

Я хорошо помню светловолосую девушку с крутым лбом. Ее звали Егоровой. Она ввела меня в большевистскую организацию. Сначала я таскал «литературу». Потом меня сделали «организатором». Я работал в Замоскворецком районе. Мы проводили забастовку на фабрике Сладкова; я собирал среди студентов деньги и выступал на рабочих собраниях. Я скрывал от товарищей, что мне шестнадцать лет. Я ходил на явки. У меня была папиросная бумага, чтобы записывать адреса, и частенько мне приходилось глотать листочки. Я жадно искал «связи» — так мы называли знакомство с рабочим, который мог подобрать у себя на заводе новый кружок.

Я помню Макара, Варю, Тимофея, Егора Моргуна. Однажды на собрание пришел человек с усталыми ласковыми глазами. Его звали Иннокентием; он был членом Цека. Он внимательно разговаривал с каждым из нас. Одному товарищу он сказал: «Плохо выглядите, надо отдохнуть...» Это было для меня коротким прозрением: на одну минуту я увидел то, что сейчас стало азбукой жизни.

Я подружился со столяром-краснодеревцем Василием Ивановичем Чадушкиным, с механиком Тимофеем Ивановичем Илюшиным. У них я учился веселью. Они жили плохо, работали тяжело, и все же они шутили. Революция для меня была освобождением от условностей, от лжи, от смерти. Для них революция была кровным делом, работой, радостью. Я еще помнил о сухой морали Базарова; а им уже снились сады советской Москвы.

Я встречался с товарищами в чайных. Для конспирации мы кидали медяки в нутро горластых органов. В чайных подавали колбасу, нарезанную кубиками, и вилки с обломанными зубьями. Колбаса воняла, приходилось каждый кубик макать в горчицу. В чайных было шумно и невесело: люди приходили сюда отогреваться, и домашняя жесткая тоска не покидала их.

Однажды я попал в ночную чайную для извозчиков. Я был перед этим на собрании в Марьиной роще. Нас накрыли. Мне удалось убежать. Я зашел в чайную, чтобы спрятаться. Кругом сидели извозчики, сонные и жаркие. Хотя я много думал о конспирации, я в точности походил на классического «смутьяна», который снился всем московским околоточным. Я пил чай, как все,— с блюдечка, даже пробовал кряхтеть. Извозчики не обращали на меня внимания. Только один из них, щуплый и седой, с шумом встал и, глядя на меня хитрыми подслеповатыми глазами, сказал: «Разве это жизнь?..»

Несколько месяцев спустя я ехал на извозчике по знакомым улицам. Рядом со мной сидел жандарм, он вез меня на Малую Никитскую, где помещалось жандармское управление. Жадно я вглядывался в лица прохожих: я искал друзей. Но по улицам шли равнодушные люди. Извозчик сердито хлестал лошадь; он не говорил ни об овсе, ни о жизни.

Мне везло. Как-то вечером меня задержали возле Бутиковской мануфактуры. На мне были прокламации. Меня повели в участок. Околоточный шел рядом и сопел. Я изловчился и, когда мы переходили через улицу, выбросил пачку с прокламациями. Раз на нас донесла жена одного из рабочих: она ревновала мужа и решила ему отомстить. Мы пили чай, когда в комнату вошел городовой. Он зачем-то пошарил под кроватью, выругался и ушел.

Нас выдал гимназист Медведниковской гимназии Шура. У него было лицо нежное и задумчивое. Много лет спустя я встретил его в Париже. Он сидел в кафе с девушкой. Увидав меня, он не отвернулся. Мне рассказали, что он стал художником.

При обыске у меня нашли печать военной организации большевиков (я работал среди солдат) и мой доклад «Два года единой партии». Жандармский полковник Васильев сказал мне: «Перо у вас острое. Следовательно, вы против объединения с меньшевиками? Что же, в принципе я с вами согласен, но что вы предлагаете взамен?» Я молчал. Он предложил мне папиросу, я отказался. Он сказал: «У меня сын вашего возраста, только это балбес, он ничем не интересуется. А с вами приятно поговорить. Как вы расцениваете политическое положение?» Я по-прежнему угрюмо молчал. Тогда полковник встал и выругался.

Сначала меня поместили в участке. На коротком диванчике ночью спал околоточный. У него было большое бельмо на глазу. Когда приводили пьяного, околоточный просыпался, потягивался и широкой ручищей ударял арестованного по лицу. Тот кричал. Пьяных держали в деревянной клетке; она называлась «пьянкой». Иногда городовой, сжалившись надо мной, говорил: «До ветру»,—и выводил меня на заснеженный дворик.

Я узнал несколько тюрем. В Мясницкой части начальник отобрал у меня книгу Гамсуна, сказав: «Про кнут не полагается». Когда мы стучали, чтобы нас выпустили в уборную, надзиратель Беляков сонным голосом отвечал: «Ничего, подождешь!» В Сущевской части начальник пил запоем, он не признавал никаких бумаг, за свидание он требовал красненькую. Мы проломали стену. Семь человек убежали. Меня после этого отправили в Басманную часть. Начальник встретил меня рыком: «Снимай портки». Мы голодали пять дней. Я попросил товарища плюнуть на хлеб: мне хотелось есть, и я боялся себя. Оттуда меня перевели в Бутырки. Я жалел о банях: из Сущевской части нас водили в «семейные бани». Мы нежно сжимали мочалки: это напоминало обыкновенную жизнь. В Бутырках я провел несколько месяцев среди тишины и зловония параши.

Меня выпустили до суда под надзор полиции. Из Москвы меня выслали. Я поехал в Киев, меня выслали и оттуда. Я очутился в Полтаве. Там меня прежде всего посадили в каталажку. Потом я снял комнату у портного Браве. Портной Браве недели две спустя сказал мне: «Я семейный человек. Меня мучает полиция. Я тоже против самодержавия, но я должен жить». Что ни день меня таскали в участок. Я боялся встречаться с людьми; за мною ходили шпики. Иногда городовой заходил ко мне, чтобы отогреться. Он читал мои письма и уносил в участок мои книги. Как-то, замучив шпика четырехчасовой ходьбой по сугробам и убедившись, что он наконец-то отстал, я быстро повернул к вокзалу.

Приехав в Москву, я стал искать ночевку. Меня направили к одной «сочувствующей». Она оказалась акушеркой. Уснуть она мне не дала: она бегала по комнате, шурша нижними юбками, шептала: «Идут», и залпом пила валерьянку. На следующий вечер я по-

шел к приятелю. Он сказал: «К экзаменам готовлюсь. Если тебя найдут здесь... Понимаешь?..» Я понял и не стал настаивать. Всю ночь я проходил по улицам Москвы. Был декабрь, стояли сильные холода. Я ходил по городу, который я привык считать родным и где больше для меня не было места. Спали люди в натопленных комнатах, среди фикусов и мопсов, спали извозчики, спали лошади, спали галки. В ту ночь я понял, что означает этот сон.

Я уехал в Париж несколько дней спустя — накануне 1909 года. Павлик сказал мне, что он родился в 1910 году. Я назвал одну главу моего старого романа «Все это нужно для того, чтобы птицы запели» — это глава о зиме.

5

— Черт знает что! Человек умирает, а мы...

Кроль возмущенно размахивал ластами. Самсонов дал ему успокоиться, потом сказал:

— Второго человека мы в Париж не пошлем. А ему это повредить не может.

— Да что ему теперь может повредить? Человек умирает, а ты с ним о колоннах хочешь разговаривать...

Самсонов строго посмотрел на Кроля:

— Брось! Ты что — Шестова не знаешь?

Самсонов худощав и крепок. Черные очки на его лице кажутся сложным оптическим прибором. Аккуратно выбрит, точен. Когда улыбается, большие, широко расставленные зубы выпирают вперед. На все отвечает: «хорошо». Придет кто-нибудь мокрый, зло отряхаясь и ворча: «Ну и погодка»,— а Самсонов улыбается: «Дождь? Хорошо!» Все он хвалит: набитый трамвай, соседей, пригоревшую кашу. На заводе его прозвали «Мистер Хорошо».

Кроль и Самсонов пришли в клинику около трех. Самсонов сказал: «Здравствуйте, Борис Петрович!» — как будто они видались вчера. Кроль старался быть веселым. Он притопывал вокруг постели и бормотал:

— А ты сегодня куда лучше выглядишь... Скоро, значит, встанешь.

Шестов хотел достать бумаги; портфель лежал рядом на тумбочке. Он приподнялся, но не рассчитал

сил: портфель упал на пол. Кроль сразу перестал улыбаться. Не сводя глаз с тощих рук Шестова, он сказал:

— Тебе спать надо, вот что. Болит?

— Ничего не болит. А спать я ночью буду. Давайте о деле говорить. Я ведь, наверно, с месяц проваляюсь, жалко время терять. Я говорил с Бассэ, мы правильно рассчитали. Берут светильный газ, и сто процентов получается... Вся суть в методе: система концентрических кругов. Я сейчас это объясню...

Он говорил два часа, не умолкая. Самсонов и Кроль увлеклись. Исчезли чересчур белые, неприязненные стены, запах лекарства, худоба Шестова. Кроль часто переспрашивал. Самсонов записывал. Когда Шестов сказал: «Даже до десяти тысяч атмосфер», Самсонов выпятил вперед зубы и хмыкнул: «Хорошо!» Потом он спросил:

— А вы проверили вторично содержание?

Шестов ничего не ответил. Кроль поглядел и увидел, что Шестов лежит с закрытыми глазами. Желтая рука вырисовывалась на отвороте пододеяльника. Кроль дернул Самсонова за рукав. Самсонов поднял голову, снял очки и медленно стал протирать стекла. Шестов тем временем пришел в себя; виновато улыбаясь, он сказал:

— Значит, мы остановились на вопросе о катализаторах...

Кроль его прервал:

— Завтра договорим. Ты чертовски устал.

— Ничего не устал, весь день без дела валяюсь. Я три раза присутствовал при проверке и каждый раз...

Здесь вмешался Самсонов:

— Борис Петрович, а на сегодня как будто хватит, у меня голова больше не работает.

Шестов пробовал еще протестовать.

— Глупо вышло с этой болезнью! Я доклад обдумал, только записать не удалось. Все — в голове. Я сейчас вам доскажу насчет...

Однако разговор доконал его. Он теперь с трудом шевелил губами. Кроль строго сказал:

— Если хочешь быстро на ноги стать, надо беречь силы. Вот когда у меня тиф был, ты что думаешь, я доктора во всем слушался. Он мне сказал: «Черт побери, лежите как труп»,— я и лежал, как...

Он не досказал. С минуту все молчали. Потом Шестов рассмеялся.

— Чепуха! Это я здесь аппетит потерял, наверно, в дороге какую-нибудь гадость слопал, а посмотрели бы вы на меня в Париже. Я их объел, прямо объел! Едят они замечательно — какой-нибудь горшок с бобами, а там всякая ерунда, одним словом, как у Флобера, тетушка из провинции... Я с одним инженером обедал, он говорит: «Вы, может быть, не привыкли к таким тяжелым блюдам?» Я ему только подмигнул, два горшка одолел. Он мне хотел медаль выдать...

Он рассказал все это скороговоркой, точно боясь, что не хватит голоса.

Самсонов встал:

— Ну, мы пойдем.

Прощаясь, Кроль сказал Шестову:

— Белова знаешь — из Наркомзема? Он мне говорил, что твоя Наташа скоро приедет. Они телеграмму получили. Значит, семейный уход...

Шестов помолчал, а потом тихо ответил:

— Она волноваться будет. А чего здесь волноваться? Наверно, аппендицит или еще какая-нибудь чепуха.

Кроль и Самсонов прошли к врачу Гольдбергу. Кроль робко спросил:

— Как?

— Утомили вы его. Надо теперь дать передышку, дней пять.

Кроль оживился, он даже схватил Гольдберга за рукав халата:

— То есть как это пять? А вы говорили, что он и недели не протянет. Значит, не рак?

— Натура у него атлетическая. Вчера кашу ел. Организм сопротивляется. Может затянуться, недели две, даже три. Но вы его все-таки не утомляйте.

Они вышли на улицу. Самсонов поднял воротник пальто и проскрипел:

— Холодно как! Насквозь проходит.

На углу Садовой они расстались: Самсонов спешил на завод, Кроля вызвали в Цека.

Вечером я зашел к Кролю. Он сидел, обложенный бумагами. Жены его не было дома. Среди папок лежали женские перчатки; сдернутые наспех, они походили на две руки. Кроль, почему-то смущенно улыбаясь, убрал их прочь. Он рассказал мне о разговоре с Шестовым.

— Понимаешь, сижу, работаю, а в голове вот это... Надя со мной пробовала разговаривать — не могу, не

слышу. Конечно, Самсонов прав, надо получить от него все данные, но как-то страшно это получается. Будто живого потрошим... Хуже всего, что он и не подозревает. Он мне сказал: «Скоро встану». Понимаешь, какая ерунда?

Кроль дал мне отчет о культработе среди комсомольцев завода:

— Посмотри, интересно, как это люди растут.

Я начал читать, но вскоре я забыл о комсомольцах, которые играют Шекспира. Я вспомнил знойный парижский день. На бульваре Сен-Жермен я встретил приятеля из торгпредства. Он шел с рослым красивым человеком. Я сразу увидел — этот только что из Москвы: одет он был во все новое, пиджак на нем сидел чересчур официально, а крахмальный воротничок казался нарисованным. Он представился: «Шестов». Мы пошли вместе по площади Конкорд, потом по Елисейским полям. Казалось, он не замечает Парижа. Он шагал очень крупными шагами и рассказывал о каком-то Митьке, который наловчился ловить рыбу руками. Вдруг он рассмеялся:

— Нравятся мне они, стервецы! Нет, вы посмотрите — целуются среди белого дня, и никаких. Они счастья не стыдятся.

Он заставил меня оглянуться. На террасе маленького кафе сидела парочка. Перед ними стояло мороженое, давно растаявшее. Он вытирал рукой лоб. Она сконфуженно улыбалась. Шестов ласково смотрел на них.

Потом мы были на ярмарке в Нейи. Он катался на карусели и визжал, как девчонка. Стрелял в цель, причем поразил всех французов: десять раз попал без промаху. Ему даже выдали премию — какую-то куклу. Он быстро сунул куклу девочке, стоявшей сзади, а потом на плохом французском языке объяснил:

— Ничего удивительного. У нас все так — ворошиловские стрелки.

Мы снялись на фоне нарисованной Эйфелевой башни. У меня сохранилась карточка, Шестов стоит и вовсю улыбается. Он боксировал с каким-то автоматом и снова поразил всех — силой. Потом застыл, как младенец, перед ларьком, где продавали пряничных свиней с именами, выписанными цветным сахаром. Продавщица спросила:

— Вам какое имя написать?

Он смутился и проворчал:

— Наташа.

Потом сказал мне:

— Наверно, спутают — имя больно русское. А я отвезу Наташе — пускай посмеется.

Два месяца спустя мы снова с ним встретились. Он показался мне осунувшимся, сказал, что много работал, теперь скоро едет в Москву. Был осенний дождливый вечер. Огни расплывались на мокром асфальте. Старая женщина сиплым голосом пела: «Ты помнишь, Лю, как мы с тобою встречались!..» Шестов сказал:

— Город какой необыкновенный! Никак не пойму — весело здесь или наоборот? Все серое-серое... Скажите, сколько такому дому лет?

— Двести. Может быть, триста.

— Удивительно! Стоял до нас да еще столько же простоит. Они говорят быстро и ходят, как в балете, а жить не торопятся. Не то что мы. У нас, по-моему, глупее, но лучше: выпалил свое и уходи. Я, видите ли, лошадник: бега люблю. Здесь я в Венсен ездил, только бега хуже наших. У них и ораторы такие — с пафосом, они предпочитают скачки. К чему это я?.. Да, вот посмотрите на кобылу, ее три года готовят, это ради одного дня — чтобы добежала. А потом — на завод, то есть к черту...

Он исчез среди ночи, сиплого пения и ярко-оранжевых хризантем.

Все это я вспомнил, машинально перелистывая доклад, который мне дал Кроль. Вдруг я заметил, что Кроль на меня искоса поглядывает.

— Может, я тебе мешаю?

— Нет, погоди. Я вот что хотел спросить: ты вообще над этим думал?..

Я не знал, что ответить, и промолчал.

— Понимаешь, я раз десять был, как говорят, на волоске. А подумать времени не было. Здесь что-то не так получается... То есть пока дрались, это понятно... Тогда было не до философии, да и теперь не время... Только, понимаешь, глупая мысль... Я даже не знаю, как сформулировать... Но ведь и при коммунизме это будет. Свинство какое, тридцать восемь лет ему! Мне вот все кажется, что он как подымется да как крикнет: «Не хочу, понимаете, не хочу!..»

От Кроля я пошел в редакцию «Известий». По бульварам плыли один за другим трамваи. Сквозь

промерзшие стекла мелькали желтые клочья света и туманные блики голов. Из прачечной на улицу вырвалось облако пара: оно напоминало о тепле. Я вдруг понял, что, как Кроль, я над многим никогда не задумывался.

Зимой 1919 года на торговом судне я плыл из Мариуполя в Феодосию. На вторую ночь белый офицер, рослый человек с голубыми, очень наивными глазами, потащил меня на палубу. От него несло спиртом: весь день офицеры в кают-компании пили водку. На палубе было темно. Кто-то гнусавил:

Ты будешь первый,
Не сядь на мель...

Я спросил:

— Что вы хотите?

Он глупо ухмыльнулся:

— Сейчас я тебя крестить буду.

Мы боролись на обледеневшей скользкой палубе. Вероятно, это длилось минуту, две. Тогда мне казалось, что это длится очень долго. Я не думал ни о смерти, ни о моем прошлом, ни о близких. Я думал об одном: в воду мы свалимся вместе. Это меня успокаивало и возмущало. Мне удалось зацепиться ногами за канат. Кто-то показался на палубе и крикнул: «Стой!» Офицер разжал руки, удивленно поглядел на меня и пошел пить водку. Из кают-компании попрежнему доносилось:

Чем крепче нервы,
Тем ближе цель!

Я долго искал шапку.

Полгода спустя я удирал из Крыма. Нас спрятали на барже, груженной солью. Хозяин боялся за свой товар, и мы сразу повернули в открытое море: у Новороссийска были красные. Ночью начался шторм. Баржу захлестывало. Мы лежали на палубе: я, жена — ей тогда было двадцать лет, Ядвига — ей не было и двадцати. Я раздобыл кусок брезента, мы прикрылись. Наша баржа могла налететь на буксир. Хозяин находился на буксире; он решил, что жизнь дороже товара. С буксира крикнули в рупор:

— Сейчас канат перережем!

Мы лежали, покрытые брезентом. Нам хотелось есть; я говорил о бифштексах, о колбасах, о пирогах.

Вероятно, мы были чересчур близко от смерти, чтобы ее заметить. Может быть, это было ребячеством или малодушием, не знаю. На следующее утро мы увидали солнце, светлые брызги воды и вдалеке Сухуми.

Я вспомнил еще тиф, войну, Аррас, Киев.

Потом я пришел в редакцию. Мы говорили о постановке Мейерхольда. Варя рассказала мне, что на летучке «проработали» мой фельетон. Я больше не думал о словах Кроля.

Это было 23-го. 27-го и 29-го Кроль и Самсонов снова ходили к Шестову. Я встретил Самсонова. Он показался мне, как всегда, веселым. Приговаривал: «Хорошо!» Но Гольдберг нажаловался на него Кролю:

— Все время звонит, спрашивает: «Как?» Я ему сказал, что это не грипп, а он начал ругаться: «На кой черт тогда ваша медицина?» Вы за ним присмотрите, не то его лечить придется.

Кроль попробовал заговорить с Самсоновым, но тот отрезал:

— Ничего подобного. Все в порядке.

В выходной я пошел к Кролю. В дверях я столкнулся с Надей. Такой я представлял ее по стихам: большие, как будто незрячие глаза, тихий голос, строптивые локоны. Она сказала: «Андрей Миронович работает»,— и сейчас же ушла.

Кроль не работал. Правда, на столе лежала кипа бумаг, но Кроль стоял посередине комнаты, коренастый и сутулый. Он не оглянулся, когда я вошел.

— Что это ты?..

Он ответил не сразу:

— Ерунда! Как говорится, бытовая неувязка.

Я знал, что расспрашивать бесполезно. Я пробовал заговорить с ним о статье Радека, потом о нашем товарище по гимназии, который накануне получил орден Ленина. Кроль глухо отвечал: «Да». Голова его, видимо, была занята другим.

Он спросил:

— Ты с Надей на лестнице не встретился?

— Здесь, в передней.

Ему хотелось еще что-то спросить, он даже начал: «Как ты думаешь»,— но сразу оборвал. Теперь мы оба молчали. Наконец я спросил его о Шестове. Он почесал голову и внимательно поглядел на меня. Мне показалось, что он просыпается.

— Плохо. Вчера у него были. Едва говорит; когда уходили, глазами попрощался. Черт знает что! Сегодня от него записку принесли. Видишь?

Карандашом на листке было написано:

«Андрей! Я вчера не успел дорисовать. Посылаю рисунок — это колонна катализатора. Помечаю штриховкой ту часть, которая подлежит проверке, как я тебе говорил. Твой *Борис*».

Кроль стоял рядом и, шевеля губами, перечитывал.

— Вот чертеж, погляди, все как на ладони. Я даже не понимаю, откуда у него силы берутся? Об одном думает — как бы все передать...

Быстро стемнело. Кроль не зажег света. Я сидел возле окна и глядел на фонарь — фонарь судорожно мигал. Так мы просидели, наверно, с полчаса. Заговорил он:

— Понимаешь, как-то все вяжется вместе... Одно к другому... Впрочем, ты меня не слушай. Ерунда! Меня что в Шестове потрясает — не задумывается. Скажи мне — откуда такой человек?

Я не понял, почему Кроль говорит «одно к другому», но в ту минуту его судьба показалась мне близкой судьбе Шестова. Я вспомнил различных людей, с которыми я встречался в Москве, в Кузнецке, на Севере. Все они громко смеялись, а жили, крепко сжав зубы. Я ответил Кролю:

— Это не человек, это время.

Он крикнул:

— Стой! Не то я петь начну или еще что-нибудь выкину... Нельзя об этом говорить! Когда мы к Ростову подходили...

Он не договорил, подбежал к стенке и повернул выключатель. У него были глаза, как будто он много пил, — мутные и далекие; наверно, оттого, что мы сидели впотьмах.

— Теперь я за работу сяду. Решено, пускаем новый цех. И пять тысяч атмосфер, понимаешь?..

6

Я был на читательской конференции в Ленинской слободе. Разбирали мою книгу «Не переводя дыхания». Меня спрашивали: «Почему вы послали Геньку к моржам?»; «Почему ваш ботаник разговаривает с собаками?»; «Почему в романе нет настоящих

концов?» Выступила девушка, фамилии я не расслышал. Мне запомнилось лицо: широкие скулы, зеленые смешливые глаза, они чуть косили (может, это только казалось). Когда кто-то крикнул: «Ты что, по себе судишь?» — она насупилась; над смешливыми глазами оказались упрямые брови.

Она говорила:

— В книге Эренбурга девушки легко сходятся с парнями. Он наших девушек не знает, у нас все куда сложней. Потом, у него девушки плачут, наверно, это для романа нужно; но я думаю о Нине Камневой или о Дусе Виноградовой — разве такие станут плакать?

Рядом со мной сидел Павлик. Я спросил:

— Кто это?

— Галя. У нас работает. Жора к ней подбирался, но она его отшила.

Он почему-то рассмеялся.

Потом мы вышли. Огромные заводы. Пустыри, залитые едким светом; груды кирпичей, как зерна. Корпуса домов; к вечеру они становятся стоглазыми. В них кричат грудные дети: здесь много детей. По ночам они заполняют своим криком пролеты лестниц: они растут. Пустыри — для них. Для них также стратосфера: иногда мне кажется, что небо давит Москву, как низкий потолок. Деревянный домик — он случайно уцелел, стекло заклеено бумагой, широкий облупившийся подоконник. Здесь жил купец второй гильдии; он торговал позументами. Можно заглянуть внутрь — чубастый парень бормочет: «Инфракрасные лучи обнаруживаются при помощи болометра...»

Здесь бедная Лиза кляла свою злосчастную жизнь. Теперь здесь Галя, стоит у манометра. Потом она летит с парашютом вниз и, будто просыпаясь, громко смеется.

Во Дворце культуры артисты Театра революции играют «Ромео и Джульетту».

Моя как море безгранична щедрость
И глубока любовь...

Старый механик долго сморкается.

В кафе сидят две девушки с завода «Шарикоподшипник».

— Я когда в Туле была, два года одного мутила; думала, что люблю. Он поехал на летчика учиться. Приезжает культурный, но развязный, все «я» да «я».

Конечно, не в этом дело, только я вижу — не люблю его. Так и сказала. Он говорит: «От этого умереть легко». А я слушаю и смеюсь. Или говорю: «Чего ты глупости болтаешь? Ты о перелетах должен думать, а не о такой чепухе». Ну, а здесь я с одним человеком познакомилась. Ты его не знаешь, он пешеход из Киева — рекорды ставит. Три недели мы с ним гуляли. Он говорит: «Могу жениться». А я ему ни чуточки не верю. Жениться он, может, и женится, только разве в этом счастье? Я на него спокойно смотреть не могу, а он хоть бы что... Улыбается. На других девчат смотрит. Мне говорит: «Что, Таня, вот та дивчина ничего себе?..» Я теперь понимаю, если над этим хорошенько призадуматься, можно действительно умереть...

— А ты не думай.

Симонову монастырю пятьсот лет. Он прекрасен и жалок: его засмеяли окрестные заводы. В зимнем соборе помещается клуб «Динамо». Там читают лекции о Солнечной системе. Человек в косоворотке, усмехаясь, говорит: «Через пятьдесят миллионов лет осколки Луны могут упасть на нашу планету...» Шура Васильев декламирует: «Наш бог — бег...»

Перед монастырем разбит небольшой сквер. Там и приключилось то, о чем я хочу рассказать. Галя сидела с Шурой Васильевым в клубе. Познакомились они летом в доме отдыха. Шура играл в волейбол, по вечерам читал стихи. Галя говорила: «Хорошо, что бодрые, я Есенина не люблю». Вместе ходили в горы; раз заночевали, чтобы посмотреть восход солнца. Шура покрыл Галю своей курткой. Он увидал, что она сидит на камне и смутно улыбается. Он подошел и хотел ее обнять, но не решился. Галя это поняла, она подумала: какой он хороший. Ей даже стало обидно, что Шура ее не обнял. Потом взошло солнце; оно казалось не круглым, а продолговатым; они весело затараторили. Теперь, встретившись в клубе, они говорили о работе. Галя рассказывала:

— До чего интересно! Когда начинаю вести реакцию, я смотрю, чтобы дать поменьше оборотов насоса. Девять атмосфер даю. А если увеличить обороты, больше соды уйдет. Приятно, что весь процесс держу в моих руках.

Потом они вышли. Был мягкий зимний вечер. Шура сказал: «Я тебя провожу». Возле дома, где жила Галя, они повернули назад. Они шли мимо огромных

заводов, мимо пустырей, домов. Они молчали, но им казалось, что они говорят о чем-то важном, этот разговор нельзя было оборвать на полуслове. Они снова пришли в сквер напротив монастыря. Там никого не было. На снегу виднелись следы птиц. Они остановились возле стены. Шура сказал:

— Знаешь, Галя?..

— Что знаю?..

Он ее поцеловал. Он был выше, и казалось, что Галя тянется к нему. У нее были сухие холодные губы.

— Знаешь?..

Она приоткрыла глаза, чуть улыбнулась и быстро поднесла ладонь к его губам.

— Молчи!

Они пошли к ней. В коридоре спала старуха, она проснулась, что-то пробормотала. Это было четыре дня спустя после читательской конференции.

Я сразу вспомнил Галю, но она, краснея, сказала:

— Не узнаете? Я тогда выступала...

Она говорила быстро и сбивчиво.

— Вы должны это понять. Вы — писатель. Он мне тогда не сказал... Да я и не спрашивала. Разве можно в такую минуту думать? Я вам правду скажу: не в этом дело, знай я, все равно... Сложней это, чем кажется. Вы, может быть, думаете, что я теперь к нему переменилась? Ничуть. Что ж это такое?..

Я молчал. Теперь я тоже молчу. Я пишу книгу, в которой рассказываю о моей жизни: говорят, что на чужих ошибках учатся. Но об этом я не могу ничего рассказать: это просто и удивительно. Я могу рассказать о том, как я учился, как сидел в тюрьме, как писал стихи. Есть имена, которые я свободно выписываю: это встречи. Сейчас я думаю о других именах; я не могу их отделить от себя. Я не знаю, кто нес за пазухой прокламации, кто бродил по узеньким улицам Флоренции, кто сейчас пишет эту книгу. Я могу только сказать о том, как бьют на дороге камень, как взрывают динамитом скалу, как темнеют зрачки. Но об этом знают все. Я ничего не ответил Гале. Она снова заговорила:

— Карточка... Спрашиваю: «Чей?» Он сначала молчал. Потом говорит: «Мой». Я теперь ничего не понимаю... Жена у него, ребенок... Зачем ему я? Кажется, просто: уйти. Но я не знаю, как это вам объяснить?.. Когда его нет, я голову теряю. Хочется себя потрогать: я это или не я? Кричать хочется — так

пусто, будто все неживое. Не могу я от него уйти. А с ним тоже нельзя. Он жену любит, я это знаю — сказал: «Ася»,— и отвернулся. Что же мне делать? Я его спрашиваю, а он или злится, или сам заплакать готов. Конечно, это мое дело: я должна распутать. Главное, что — ребенок. Так я этого хотела!.. По-моему, это значит — до конца, так что и не думаешь, даже не то, не умею объяснить. Что же мне теперь делать? Сегодня опять всю ночь проревела. На заводе спрашивают... Жалеют. Вот как нехорошо! Вы писатель, вы это знаете. Вы один можете мне помочь...

— Слушайте, Галя, я не знаю, что вам сказать. Я был как-то в сумасшедшем доме. Отстал от врача. Подходит ко мне человек, представляется: «Ипатов. Старший ассистент. Невролог». Он говорит: «Сейчас я вам все покажу». Водит меня по палатам, объясняет: «Вот интереснейший случай — параноик, считает себя Наполеоном. Ту женщину видите? Она не хочет есть, думает, что уже умерла; мы ее кормим через нос. А здесь буйные». Решительно про всех рассказал. А потом подбегает ко мне тот врач, который привел меня, и шепчет: «Осторожно! Это один из из самых опасных. Он вообразил себя врачом, очень тяжелый случай. Вы еще дешево отделались, а то он кидается — начинает силой лечить». Не сердитесь, что я рассказываю вам глупые истории. Я похож, Галя, на этого сумасшедшего. Что я вам могу сказать? Про это писали все, и никто, вы слышите меня — никто вам ничего не скажет. Не глядите, что у меня седые волосы, сейчас мы с вами ровесники...

Она сидела, опустив голову. Не было больше ни упрямых бровей, ни смешливых глаз. Я взял ее за руку:

— Я вам не говорю, что это «ерунда», я знаю, какая это сила. Кажется, никогда не выпутаешься... Только знаете что, Галя, мы еще сильней. Это как с вашими реакциями, вы хорошо говорите — «держу процесс в моих руках». Давайте условимся: жить.

7

Приятель Павлика Волков рассказал мне:

— Я недавно прочитал книгу «Обрыв», сочинение Гончарова. Очухаться не мог. Мне так это представляется: жил я в низенькой комнате, голова в потолок

упиралась, а теперь вышел на воздух. Описывает он лес или речку. Кажется, это-то я знаю, не в Москве вырос. А вот прочитал и как будто впервые увидел. Или еще прочитал я книгу «Преступление и наказание», сочинение Достоевского. Как дошел до места, где он убивать идет, бросил — не могу читать, страх берет. А вот в тридцатом я двух бандитов застрелил, и хоть бы что. Объясните мне, товарищ Эренбург, почему это, когда в книге — все другое и не то чтобы выдуманное, нет, как на самом деле, только еще сильнее?..

Я ответил без убеждения:

— Искусство.

Вечером я пошел в «Метрополь». Это было под выходной. Официанты вызванивали блюдами, свистели саксофоны, детские шарики на подожженной ниточке, ударяясь о потолок, грохотали, как бомбы. Ради этого шума я и пришел туда: тишина иногда бывает чересчур отчетливой. За мой столик подсели трое: женщина лет тридцати, с лицом красивым и усталым, двое мужчин, на вид незначительные. Один из них сказал:

— Только ради вас, Лидия Ильинишна... Так бы никогда сюда не пришел. Значит, развлекаемся?..

Мужчины пили водку быстро и с легким отвращением. Женщина ела мороженое. Приподымаясь, она глядела на танцующих. Погасили свет; пары колыхались среди розового тумана.

— Не видно отсюда ничего...

У нее был грустный голос. Кругом сидели женщины с ярко-пунцовыми губами, и ее рот казался неестественно бледным. Она попросила у одного из своих спутников (видимо, это был ее муж) пудреницу и, сконфуженно отвернувшись, начала пудриться. Потом спросила второго:

— Иван Григорьевич, я вас не толкаю? Хочется на танцы поглядеть.

— Пожалуйста. Ради вас страдаем...

Подошла продавщица с шариками. Человек, которого звали Иваном Григорьевичем, купил зеленый шарик и привязал его к столику.

— Можете пустить — очень эффектно получается.

Допив водку, мужчины мрачно огляделись. Им было скучно. Они начали разговаривать. Сначала они говорили шепотом, до меня доходили отдельные

слова. Вскоре они увлеклись; муж Лидии Ильиничны басил:

— Я вчера говорю Яковлеву — пожалуйста: бесцентровые станки освоили, раз, станки Вандерера освоили, два, теперь осваиваем шлифовальные станки нового типа, три. Если ты на своих наляжешь, мы в этом квартале на сто тридцать перевыполним...

Они сразу изменились: глаза стали живыми, голос наполнился. Они вытащили какие-то бумаги, и серые листочки среди пробок, среди виноградин казались загадочными. Я смотрел на этих людей, как сообщник, — я тоже не умею отдыхать.

Женщина не слушала разговоров, — видимо, ей давно надоели все станки мира. Она и не глядела больше на танцующих. Она сидела, положив голову на руки.

Иван Григорьевич сказал:

— Что же вы шарик не пускаете?

Тогда она тихо спросила мужа:

— Скажи, если я шарик Петьке отнесу — можно это или неудобно?..

Я не слышал, что ей ответил муж: меня окликнул Шик, маленький человек, весь обсыпанный пеплом и перхотью. Он сотрудничает в «Литературной газете», с утра до ночи сидит в «Метрополе» и называет себя «советским Бернардом Шоу».

— Вы что, в компании? Один? Тогда присаживайтесь...

Мне казалось, что я стесняю трех людей, жизнь которых на минуту мне раскрылась, и я пересел. За столиком Шика сидел человек, одетый изысканно и в то же время небрежно, с очень выразительными, тонкими руками, с лицом привлекательным, однако неуловимым: что ни минута, менялись его черты.

Шик прошипел:

— Вы не знакомы? Пожалуйста — надежда советского Голливуда, Миша Гронский. Скоро Васильевых переплюнет.

Я вспомнил ремень окна, тот, что можно сжимать вместо руки, тень в передней, дамские перчатки. Невольно я сравнил ласты Кроля и эти изумительные руки. Гронский говорил о картине, над которой он сейчас работает: подполье, матрос, поля, тюремные нары, волчок, сугробы. Он хорошо рассказывал; я видел, как ветер проходит по ниве. Матрос, грустно усмехаясь, шагал между конвойными; звон цепей сливался с зво-

ном бокалов. Я подумал — какова сила искусства! Гронскому, наверно, не больше тридцати, но он услышал то, чем была полна наша молодость.

Из раздумья меня вывел Шик:

— Одним словом, не Миша Гронский, но святая дева эпохи второй пятилетки. Во-первых, зачал от святого духа, во-вторых, рожает абсолютно безболезненно. Кстати, как зовут святого духа по отчеству?..

Гронский отмахнулся. Мы заказали еще вина. Я хотел слушать Гронского. Он заговорил о рентабельности картин, о вкусах публики. Я молчал. Тогда он переменил тему: Соня хорошо танцует танго, Золотарева одета со вкусом — муж недавно съездил в Париж, Балашова... Шик нагло подмигнул. Я по-прежнему молчал. Красное вино было терпким и теплым, Гронский говорил о стахановцах. Он знал все: сколько тракторов выпускает Челябинский завод, сколько пшеницы сняли с га в Кабарде. Я сказал:

— Вы не человек, а находка. За ваше здоровье!

Он усмехнулся и снова заговорил о своей работе. Теперь я слушал его с раздражением: он был слишком легок, слишком удачлив.

— ...Идет по дороге. Один. Согнутая спина. Кругом плетни — чужое счастье...

Я сухо заметил:

— Чаплин.

— ...Большие тени, как у Гойи. Гроб. Огни...

— Эйзенштейн.

— ...Его принимают за вредителя, а он рискует жизнью...

— Голливуд.

— ...Песенка... Увлекательная интрига... Сделать возможно скорей — без простоев...

— Последнее производственное совещание. Бросьте, Гронский! Вы куда лучше, чем говорите,— я ведь слышал вас час назад. Вы делаете хорошие фильмы. Скажите, чем вы живете?

Гронский молчал. Я понимал, что я несправедлив, но я не мог дольше глядеть на эти вдохновенные руки.

Шик хихикал:

— Вы не знаете Гронского — это луна. Я ничего не имею против луны, без луны не было бы поэзии. Но, говоря откровенно, луна паразит.

Гронский наконец ответил мне:

— Тем, чем живут другие.

Он нервно зевнул и закрыл глаза.

Я оглядел зал. На ниточках дрожали шарики, зеленые, красные, желтые. Когда официант пробегал с шашлыком, шарики испуганно шарахались. Я привстал, чтобы увидать лицо женщины, с которой недавно сидел за одним столиком. Ее уже не было, я остался без союзников. Я сказал Гронскому:

— Когда Фра Беато писал свои фрески, он перед ними молился. Он умел водить кистью, но то, что он писал, для него было не композицией, не фактурой, не мазками, а святыней. Когда Бальзак описывал смерть Горио, у него не было пульса. Вы думаете, просто далась Чаплину его спина? Вы лгали, рассказывая о матросе. О пшеничном поле вы тоже лгали — этого не было в вашей жизни. Мы достаточно выпили, чтобы говорить откровенно. За все приходится расплачиваться. Вы не плагиатор, вы честный человек. Вы можете сделать одну изумительную картину: аквариум, подводные растения, морские звезды, раковины. Я знаю, как пишут книги: хочется кричать; тогда еще не время браться за работу; это сидит вот здесь, месяц, год, десять лет; слова приходят потом. Неужели вам никогда не хочется кричать? Я вас спрашиваю в упор потому, что я не верю в Балашову. Я вам вообще не верю. Вы действительно талантливый человек: вы способны встревожить.

Он посмотрел мне прямо в глаза. Его лицо, скорее женственное, стало суровым.

— Хорошо, будем говорить всерьез. Я сделаю этот фильм, потому что я его пережил как художник. Когда я услышал рассказ одного старого большевика о тюрьме, я весь загорелся. Не все ли равно, что через год я буду равнодушно слушать рассказы всех подпольщиков мира? Мою картину я узнаю и через двадцать лет: по тому, как заснята нива, по тому, как смонтирован звон кандалов. Я часто закрываю глаза; тогда я вижу зыбь. Как на воде. Если хотите, как на той же ниве: легкая, смутная зыбь. Это — не сделанные мной картины. Все остальное — вздор. Вы спросили меня, чем я живу. Этими минутами, зыбью. Помимо этого у меня ничего нет. Я и сюда пришел, чтобы не торчать глаз на глаз с пустотой. Почему я болтаю о какой-то Балашовой? Вздор! На самом деле...

Он замолк. Он сразу устал, веки стали тяжелыми и сизыми. Все черты лица, дотоле беглые и нераспо-

знаваемые, застыли, выступили: капризный рот, узкие заносчивые брови, серо-синие глаза.

Шик пришептывал:

— Луна! Честное слово, луна!

Я понял горе Кроля. Мне захотелось издали ему улыбнуться, пожать его широкую грубую руку, разыскать женщину, которая унесла своему Петьке зеленый шарик, и сказать ей, что все — чепуха, что она бесконечно счастлива с человеком, который любит свои станки. Да, в ту минуту даже станки Вандерера казались мне глубоко человечными: я ненавидел искусство.

Под утро, лежа у себя, я снова вспомнил руки Гронского, вдохновение, зыбь, зеленые и красные шарики. Мне стало страшно за ту женщину, которую я едва успел разглядеть в передней Кроля. Она живая, она может плакать, может играть в горелки, родить ребенка. Большой стеклянный бокал, а в нем рыбка... Я сказал вслух:

— Надя, а ведь ласты теплые...

Потом я уснул.

8

Летом 1920 года я жил в Коктебеле на даче Максимилиана Волошина. Этот человек остался для меня загадочным. Если бы не его тучность, я сказал бы, что он походил на Гронского: он тоже жил зыбью. Он любил Вилье де Лиль-Адана и мистификацию. В жизни он играл, как ребенок. Он разыскал в Париже один из тридцати сребреников, полученных Иудой. Он не ел бананов, потому что они росли на дереве познания. Он строил в Дорнахе антропософское капище. Он писал стихи о развоплощении. При белых он спрятал на чердаке большевика; тот вылез до времени, его схватили. Волошин в этом деле рисковал своей жизнью. Он не был коммунистом, но ценил мужество. Я думаю, что за свои стихи он пошел бы на костер, но костра не оказалось: людей в те годы убивали за все, только не за стихи. Он жил впроголодь, читал кому мог свои поэмы и чертил карты астральных миров.

По ночам я сидел и думал о ходе истории. Днем я бродил по берегу, собирал щепки, выброшенные морем, и разжигал «мангалку». Когда бывала крупа, я варил ячневую кашу. Жена заболела сыпняком. Не было камфоры. Потом я достал камфору, но не было

шприца. К нам приходил Вересаев, он лечил жену, он даже постриг ее: в кладовой Волошина нашлась машинка для стрижки пуделей.

Я устроил детскую площадку. Мне платили: кто яйцо в неделю, кто бутылку молока. Крестьяне хотели, чтобы их дети научились городским манерам, но они были скаредны. Когда я ходил в деревню, они отмахивались от меня, как от нищего. Подражая своим родителям, ребята у меня на глазах ели хлеб с брынзой или с салом и говорили: «А тебе ничего не будет!» Я отворачивался, чтобы не уронить своего достоинства: как-никак я был педагогом. Меня мутило от голода: мы ели суп, сваренный на стручках перца или на луке.

В первые годы революции у меня было много профессий: я учил желающих писать ямбы и хореи, был дипкурьером, сочинял мистерии. Но почему-то больше всего я возился с детьми. В Киеве я осматривал детские дома и составлял доклады о воздействии музыки на невропатов. В Москве я заведовал секцией детских театров. Я сидел, окруженный фребеличками. Как-то я пришел в больницу к Мейерхольду: он был моим начальником. Он лежал с забинтованной головой, неистовый и загадочный. Я рассказал ему о педагогическом значении кукольного театра. Вдруг он приподнялся на локте и захохотал: «Вы в роли заведующего детскими театрами республики? Нет, Диккенс не придумал бы лучше!..»

Каждое утро я отправлялся на площадку. На мне была пижама, купленная еще в Париже. Деревенские собаки изодрали штаны, пришлось их отрезать до колен. Я был тощ, нестрижен, небрит. Я прыгал по садику в коротких штанишках. Вероятно, со стороны это было страшно. Когда я прочитал ребятам «Крокодила» Чуковского, меня объявили чекистом. Еще хуже вышло с лепкой: один мальчуган вылепил из глины черта. Тогда поп взял крест и пошел по дворам. Он говорил: «Детишек в сатанинскую веру перегоняют!» Площадку пришлось закрыть.

Я думал об одном: как бы пробраться в Москву? В деревне было несколько человек, которые сочувствовали красным. Я встречался с ними. Один из них — это было накануне моего отъезда — рассказал мне:

— По дороге в Отузы собрались. Из Симферополя приехали, из старого Крыма. Кто-то донес. Нагрянули. Один опоздал. Наши уже в овраге сидят, а он

шагает по шоссе. Белые его увидали: «Документы!» Он дурачком прикинулся: «Документов нет, а иду на большевистское собрание». Они обрадовались: «Веди». Они не знали в точности — где; думали, что возле экономии Юнге. Он их повел сначала к морю, потом по камням; часа три проходили. Мне стражник рассказывал: «Бьем подлеца, хоть бы что...» Здесь тоже били, возле дач, я сам видел. Здоровенный он, но шатался. Наши-то все разбежались: услыхали, как едут. Так никого и не взяли. А этого пешком погнали в Феодосию.

Теперь я узнал, что это был Кроль. Мы могли бы с ним встретиться. На нем не нашли никаких бумаг. Его допрашивал ротмистр, мечтатель и кокаинист. Он лениво уговаривал Кроля дать показания. Кроль молчал. Потом ротмистр задумался и неожиданно спросил:

— Скажите, почему вам жизнь не дорога?

Кроль ответил:

— То есть как это не дорога? Это вас пожалеть можно: что вам с ней делать, с вашей жизнью? А нам она даже очень дорога. Только-только жить начинаем.

Ротмистр лениво приподнялся и ударил Кроля наганом по голове. Семь недель Кроль ждал, когда его повесят. Контрразведчики, видимо, надеялись, что он заговорит. Его несколько раз избивали; он молчал. Потом пришли красные.

Недавно мы просидели с Кролем до утра. Он мне рассказывал о своем прошлом. Чего только он не делал в жизни! По образованию он химик, но ему приходилось и взрывать мосты, и строить бараки, и ведать ремонтом паровозов. Когда мы с ним говорили, он, кажется, заново переживал все свои страсти: махал руками, долго объяснял, какие бараки теплые, какие нет, добрый час проговорил о паровозах. Насчет военных дел я уж не говорю: он следит за специальной литературой; от меня требовал описания последних моделей французских пулеметов.

Он мне сказал: «Ты романы пишешь — психолог. А я в людях ни черта не понимаю. Мне вот все кажутся хорошими...» Он действительно каждому человеку подносит такое, что тот потом из кожи вон лезет, лишь бы не оказаться хуже. Павлик мне рассказал смешную историю. Кроль как-то говорит Беляеву: «В английском журнале интереснейшая статья об очистке газа. Кроме вас, этого никто не может использовать...»

Сказал, махнул ластами и скрылся. Беляев не знал ни слова по-английски, теперь он сидит и тихонько зубрит глаголы.

Кроль — веселый, это тоже подкупает людей. Возле Березников он жил в палатке с рабочими. Время было трудное, иногда по нескольку дней сидели без хлеба, мерзли, табака не было. Кроль брал ружье: «Иду за провиантом». Стреляет он плохо, но при каждом промахе он так радовался, что люди забывали про голод. Придет в управление молоденькая женщина, Кроль поглядит на нее искоса и обязательно вздохнет. Кругом все хохочут, но он не обижается. С виду он похож на медведя; кажется, если такой обнимет, все кости затрещат. Голова тяжелая, лохматая; огромный лоб с двумя шишками. Когда он снимает очки, видны глаза, темные и участливые. С утра до ночи пыхтит трубкой. Самсонов говорит: «Сам себе завод».

Он долго сидел над новыми методами получения аммиака. Его высмеивали, он молчал. Прошлой весной он придумал систему колец, позволяющую употреблять давление в пять тысяч атмосфер. Он сделал доклад. Старые химики пренебрежительно заявили: «Мечтатель!» Они продолжают вышучивать Кроля. Он молча вытряхает пепел из трубки, снова набивает ее, причем только большой палец, которым он приминает табак, выдает его ярость.

С Надей он познакомился у Коровиных. Ей тогда было двадцать четыре года, она незадолго перед этим кончила энергетический институт. Кроль был не в духе, молча пыхтел трубкой, потом сел играть в домино с семилетней дочкой Коровина. Он вышел вместе с Надей. Они молчали. Надя спросила его про аммиак. Он сразу оживился. Он рассказывал о давлении в пять тысяч атмосфер как о чуде: пробовал, не удавалось, снова возвращался к тому же, наконец нашел.

— Во Франции этим Бассэ занимается, но методы несколько другие... А мы это наладим по-своему, куда экономней...

Надя не понимала, почему с таким увлечением слушает рассказ об аммиаке. Прощаясь, она вдруг пожаловалась:

— Вот вы сколько успели!.. А мне скоро двадцать пять, и я еще жить не начинала. Даже не знаю, правильно ли сделала, что пошла в институт. Плохой инженер из меня выйдет...

Он замахал руками:

— Замечательный! Я по вашим вопросам вижу: голова у вас здорово работает. А дело интереснейшее!..

Он продержал Надю с час на морозе: он рассказывал, какая удивительная работа ее ждет. Она не чувствовала холода, а когда он наконец-то распрощался и она очутилась на знакомой лестнице с обледеневшими ступенями, ей захотелось смеяться, прыгать, кричать.

Они стали встречаться. Как-то Кроль предложил Наде пойти на концерт:

— Чертовски музыку люблю. В Париже, бывало, три часа под дождем стоишь, называется «фер ля ке», только бы попасть...

Играли Баха. Надя повернулась к Кролю и вздрогнула: она его не узнала. Он снял очки, глаза у него были горячие и сухие. Они вышли молча. Потом Кроль сказал:

— Вот, говорят, некоторые слушают и вспоминают. Ерунда! Когда слушаешь, тебя нет. И вообще ничего нет. Вроде как архитектура, понимаете? Колонны, колонны, а где-то высоко купол. Непонятно, как держится...

Он замолчал и потом другим, веселым голосом добавил:

— На ниточке.

Вскоре после этого он уехал в Бобрики. Надя вдруг почувствовала, что он ей необходим: жить стало неинтересно, с работой ничего не клеилось. Как-то она пошла на вечеринку. Сначала спорили о книгах, танцевали под патефон. Потом все примолкли: среди собравшихся оказалось много влюбленных пар. Надя осталась одна. К ней подсел инженер Фомин. Когда все уходили, на темной лестнице Фомин ее поцеловал. До того она не раз целовалась — с Борей, с Шрамченко, с Ковалевским. Но поцелуй Фомина почему-то обидел ее до слез. Она комкала в руке носовой платок и шептала: «Какая гадость!» Потом вспомнила Кроля и улыбнулась.

Кроль не позвонил Наде. Она от Коровина узнала, что Кроль в Москве. Она надела берет, потом сняла его, даже закинула в сердцах на шкаф. Все же два дня спустя она пошла к Кролю.

— Что же, Андрей Миронович, вы меня совсем забыли?..

Кроль молчал. Потом он отбежал подальше от нее и начал ворчать:

— Даже наоборот, поэтому и не звонил — понимаете? Я в Бобриках все время о вас думал. Не по чину, не полагается: вы девушка молодая, красивая и так далее. Одним словом...

Он стукнул трубкой о стол.

Дней десять спустя они поженились. Надя увидала нового, незнакомого ей человека. Кроль умел любить до отчаяния, до немоты, до потери себя. По вечерам она прислушивалась к его шагам; он работал, она часами, молча, глядела на него. Все стало другим: прежде, когда она думала о жизни, жизнь казалась ей прозрачной, как вода бассейна; теперь Надя ныряла в черную всклокоченную реку, вода яростно кружилась на месте, дна не было.

Прошлым летом умер сын Кроля Юра. Это был молоденький студент с тонкой шеей и с голубыми доверчивыми глазами. Он погиб при автомобильном пробеге. Когда Кроль бывал где-нибудь с Юрой, их принимали за двух товарищей. Они часто спорили. Юра говорил отцу: «Нет, Андрей, все это не так...» Кроль кипятился: «Очень даже так, понимаешь?..» Когда пришла телеграмма о смерти Юры, Кроль сидел над цифрами: испытания в присутствии представителей Института азота. Он удовлетворенно ухмылялся. Надя дала ему распечатанную телеграмму и отошла к окну. Он ничего не сказал, только положил голову на руки и так просидел до ночи. Два дня он не был на заводе. Когда он пришел, Самсонов начал: «Как?..» Он быстро ответил: «С колонной великолепно».

Развязка наступила вскоре после моей встречи с Гронским. Кроль должен был выступить в клубе инженеров с докладом о своем методе. Он готовился всю ночь. Днем был на заводе, потом в наркомате. Он забежал домой, чтобы взять папку с материалами, и увидал Радимова.

— Там все уже в сборе. Я с машиной.

Кроль засуетился: где же папка? Вдруг он увидал на столе письмо. Ему показалось, что почерк знакомый. Он сунул письмо в папку: надо было торопиться. Когда они сели в машину, Радимов спросил:

— Отчет проверочной комиссии взял?

Кроль ответил:

— Семнадцатого пустим.

Он не слушал Радимова, тупо и мучительно он думал: от кого письмо? Он вытащил конверт. Когда они проезжали по Таганке, он успел разглядеть — почерк Нади. Потом они ехали темными улицами. Кроль буркнул: «Ерунда»,— и засунул письмо в карман.

Когда он взошел на трибуну, ему показалось, что он не скажет и двух фраз: он не мог забыть про письмо. Но знакомые слова быстро увлекли его. Он говорил о самом важном: об аммиаке. Потом начались прения. Кроль закурил. Он вынул из кармана письмо. Почитать? Может быть, и впрямь ерунда?.. Но на него смотрят сотни глаз, он не сможет скрыть волнение, письмо прочтут все... Почему-то он не положил письмо назад в карман; оно лежало на столе, покрытое грудой записок: «Какой процент выхода аммиака?»; «Сколько серы в газе коксовых печей?»; «Нужно ли при этом способе очищать газ от серы?» Он обстоятельно отвечал. То и дело он смотрел на часы; но если бы его спросили, который час, он не смог бы ответить.

Наконец Радимов сказал: «Ну, отработал! Теперь идем ко мне ужинать...» Кроль ответил, что у него болит голова: наверно, грипп. Он пробежал несколько улиц, оглянулся и, убедившись, что позади никого нет, поднес письмо к освещенной витрине. Ему бросились в глаза розовые колбасы и свиная голова из гипса.

Надя писала:

«Все это время я как во сне. Хорошо, что ты меня ни о чем не спрашивал, я не смогла бы тебе ответить — сама не понимала. А теперь все решено — буду жить с Гронским. Я это письмо пишу, как самоубийца. Я столько проплакала за эти дни! Никогда я так не плакала. Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Я ничего не могу сделать — это сильней меня. Никакого счастья не может быть, да я его и не жду, счастлива я была с тобой. Но так надо. Тебе это покажется бредом, но я пишу совсем искренне. Я сейчас мучаюсь за всех, он тоже совершенно слепой. Я знаю, какое это для тебя горе, особенно теперь, когда ты в таком состоянии из-за Шестова. Но что же мне делать? Все это ужасно! Очень прошу тебя — следи за собой».

На следующее утро Кроль, как всегда, пришел в управление. Товарищи заметили, что он не шутит, они приписали это переутомлению. Когда я зашел к Кролю, он сказал:

— Кончилось, понимаешь? Ну, вот и все.

Потом я узнал, что по ночам он писал письма Наде. Он покрывал серые листы бумаги большими, раскиданными буквами.

«Надя, что ж это ты сделала? Какая ерунда! Понимаешь, не могу без тебя. Хожу, ищу, как собака. Я знаю, что тебя нет,—это машинально. Но все это глупости. Ты правильно поступила. Начнем с того, что я старый дурак. В работе я еще, может быть, молодой, но это не лаборатория. Получается, понимаешь, огромная разница в возрасте. Почему я об этом прежде не думал? Теперь я вижу, что тебе было здорово скучно со мной. Когда переваливаешь за сорок—это не шутка! Потом он—человек искусства, это очень важно, это такая область, которая для меня вообще закрыта. А ты, по-моему, для этого создана. Я теперь часто перечитываю твои стихи; кажется, начинаю понимать.

Так умирать, понять, что гам и чай,
Буфетчик, вечный розан на котлете,
Что это—смерть, что на твое «прощай»
Уж мне никак не суждено ответить.

Это здорово у тебя! Стою ночью и декламирую, как актер. Понимаешь, у всех нас узкая специальность. Кого может заинтересовать аммиак? Другое дело стихи или, как у него, кино. Это всех потрясает. Только я за тебя боюсь. Как он все повернет? Тебе ведь каждое слово больно. Мне иногда кажется, что ты без кожи живешь, да и письмо твое такое. Я, Надя, одного хочу, чтобы тебе было хорошо, понимаешь? Вот и все.

Твой *Андрей*».

Он не отослал этого письма. Он написал другое:

«Не знаю, что со мной. Кажется, я его ненавижу. Пусть говорит что хочет или снимает тебя, слова в этом не играют роли. Но я не могу себе представить, что он тебя обнимает. Понимаешь? От этого все в голове мутится. Ты мне написала, что сходишь с ума, а сошел с ума я. Я теперь себя боюсь. Ничего не понимаю: мысли одни, чувства другие. Головой понимаю, что ты правильно поступила, а хочется кинуться, отобрать. Черт знает что!..»

Он не послал Наде и этого письма. Он написал третье—аккуратно выводя каждую букву:

«Дорогая Надя!

Прошу тебя, не огорчайся. Все как-нибудь утрясется. Обо мне не тревожься, за мной присматривает домработница Коровиных, и вообще я здоров и бодр. Крепко тебя обнимаю.

Твой *Андрей*».

9

Писатель — это тот Север, к которому неизменно поворачивается магнитная стрелка. Он помогает определить, где твердая земля. Люди рассказывают ему о своей жизни: это данные задачи; от него они ждут решения.

В этой книге, кроме Кроля, кроме Гронского, кроме других людей, жизнь которых я описываю, имеется еще один герой: автор. Мне не к кому обратиться за советом; я должен сам найти направление. Я предпочел бы о многом промолчать: как Кроль на трибуне, я не хочу жить вслух. Однако мой жизненный путь тесно связан с путями людей, которых я к себе притягиваю. Я говорю о нем сбивчиво, нарушая порядок: это клубок тропинок, мне нелегко его распутать.

Павлик сказал мне: «Вы пережили империалистическую войну, революцию...» Мне хотелось добавить: «Я пережил также Париж». Когда я приехал в этот город, мне не было восемнадцати лет. Я был молод; это я твердо знаю. Потом возрасты в моей жизни перепутались: я заболел Парижем.

Я отчетливо помню декабрьский день, когда я вышел из Северного вокзала на грязную шумную площадь. Меня удивил ветер: в нем чувствовалось море. Мне сразу стало весело и тревожно. Я зашел в бар. У цинковой стойки стояли краснолицые кучера в цилиндрах. Они пили загадочные напитки — багровые и зеленые. Я заказал кофе. Хозяйка переспросила, я ее не понял. Мне дали черный кофе в бокале и рюмку рома. Я испугался, но выпил. Потом я взобрался на империал омнибуса. Рядом со мной сидел кучер с длинным бичом. То и дело он засыпал. На его нижней губе дрожал погасший окурок. Иногда, просыпаясь, он начинал петь: «Сердце цыгана — это вулкан...» Ему было под шестьдесят. На углах улиц стояли певцы с нотами. Они пели что-то грустное. Зеваки кругом

подпевали. На тротуарах громоздились кровати, буфеты, шкафы: это были мебельные магазины. Меня удивило количество писсуаров; на них было написано «Шоколад Менье»; снизу торчали ярко-красные штаны солдат. Ветер был холодный, но люди не торопились. Что ни шаг, они останавливались: они не шли, но гуляли. На улицах продавали рыбу, посуду, мимозы. На террасах кафе чадили жаровни, возле них сидели почтенные старики. Омнибус ехал медленно. На бульваре Себастополь я увидел паровой трамвай, он трагически свистел. Кучера гикали. В каретах влюбленные целовались. Лошади, еще не привыкшие к автомобилям, часто шарахались прочь. Я дал кондуктору серебряную монету; он попробовал ее на зуб и улыбнулся. Никогда дотоле я не видал столько людей: Москва показалась мне детством. Отчаянно кричали газетчики: «Ля пресс»!»; «Ля патри»!» Я подумал, что приключилось какое-нибудь важное событие. Один из газетчиков на ходу вскочил в омнибус; я купил газету. На первой странице был изображен неизвестный мне человек. Он убил свою любовницу, положил туловище в сундук и послал сундук малой скоростью в Нанси.

Доехав до площади Денфер-Рошеро, я пошел в гостиницу. Хозяйка дала мне медный подсвечник, закапанный стеарином, ключ и крохотное полотенце, похожее на салфетку. В комнате стояла очень высокая кровать. Пол был каменный. Я принял окно за дверь на балкон, но балкона не оказалось. Комната меня удивила: в ней не было стола. Я спросил хозяйку, нельзя ли затопить камин. Она ответила, что это чересчур дорого и что на ночь она положит в мою постель горячий кирпич. Я рассмеялся и пошел бродить по Парижу. Я заходил в бары и пил кофе. Я слушал уличных певцов и разглядывал прохожих. Мужчины были в котелках, женщины в огромных шляпах с перьями. Мне казалось, что я в театре.

Я прожил в Париже много лет. Часто я задумывался: не шутят ли эти люди? Я был по-русски прямодушен и бесстыден: я спрашивал. Мне отвечали, что Париж пережил четыре революции. Мне отвечали также, что красота не терпит движения. Когда я был маленьким, мы играли в такую игру: «черного и белого не называйте, «да» и «нет» не говорите». Иногда мне казалось, что весь Париж играет в эту игру.

В этом городе были свои твердые принципы, но их нелегко было разгадать. Я хотел снять квартиру. Консьержка меня спросила: «У вас есть зеркальный шкаф?» Я вздохнул. Тогда консьержка сказала, что не может сдать квартиру человеку, у которого нет зеркального шкафа. Одна молоденькая женщина объяснила мне: «Изменять мужу—это пошлость, можно изменять только любовнику». Как-то я пошел в кабаре. Там пели куплеты: «Президент республики рогат». Публика смеялась. Я спросил приятеля: «Почему вы смеетесь?» Он ответил: «Потому, что президент республики холост».

Париж был «столицей мира»—так значилось во всех путеводителях, и он был глухой, дремучей провинцией. На улицах сидели женщины, они вязали набрюшники. Все друг друга знали. Из окна высовывалась молочница и кричала колбаснице: «Как Поль? Натрите его на ночь салом. А у Жака снова запор...» Под Парижем уже сновали поезда метро, но электричество было только в богатых домах. О телефоне говорили как о подозрительном новшестве. На тротуарах, исчерченных мелом, играли девочки: они прыгали из «ада» в «рай». На митингах ораторы со смаком рассказывали, как министр народного просвещения посетил дом терпимости или как министр юстиции украл сорок тысяч. Потом они восклицали: «Где же великие принципы восемьдесят девятого?..» Во вторник на масленой по улицам проезжали огромные колесницы. На них стояли девушки в бальных платьях с длинными шлейфами. Они кидали конфетти и царственно улыбались. За ними шли белые волы, предназначенные на убой. Владельцы ресторанов вывешивали плакаты: «Завтра уважаемые клиенты получат бифштексы из мяса лауреата». Молодые люди подкрадывались к девушкам и засовывали им в рот конфетти. К вечеру город покрывался бумажным снегом.

В театре Французской комедии знаменитый актер Муне-Сюлли играл царя Эдипа. Будучи гимназистом, я ходил в Московский Художественный театр; я думал, что на сцене все должно быть как в жизни. Увидав Муне-Сюлли, я оробел. Он стоял неподвижно на месте, потом делал несколько шагов и снова останавливался. Лицо его было страшно. Он не говорил, но рычал: «О, как ужасна наша жизнь!..» Я тогда не понимал театра, и, услышав львиный рык Муне-Сюлли, я рассмеялся.

Сара Бернар играла «Даму с камелиями». Она умирала помпезно, как Наполеон. Почтенные люди, торговцы углем или посудой, плакали горькими слезами.

Когда Дягилев поставил балет Стравинского «Священная весна», парижане возмутились. Рядом со мной сидел кроткий человек; он сказал: «Дайте слушать!» Один из зрителей стукнул его биноклем по черепу. Несколько лет спустя Дягилев привез в Париж балет «Парад». Декорации и костюмы были сделаны Пикассо. Девочка плясала, как заводная кукла. Потом на сцену выходила лошадь с кубистической мордой и кланялась публике. Публика свистела; когда дело дошло до лошади, балетоманы кинулись к сцене. Они кричали: «Занавес! Долой! Вон!» Некоторые даже вопили: «Смерть!» Не знаю, кого именно они хотели убить.

В кафе люди засиживались подолгу. Они играли в триктрак, писали любовные письма, спорили — кто кого съест: радикалы кюре или кюре радикалов. Официанты бегали с двумя кофейниками: в одном было кофе, в другом молоко. На ходу они что-то лили в стаканы. Они вытирали столики, спины посетителей и свои лбы одной и той же грязной тряпкой. Имелись кафе с музыкой. Любители справлялись в программе: «№ 388. Венгерская рапсодия». В кафе «Ва́шетт» официант с благоговением показал мне на сальный, продавленный диван: «Здесь сидел господин Верлен». Перед выборами каждая партия сговаривалась с кабатчиками: избирателей поили красным вином и абсентом.

Я входил в узкие, темные улицы старого Парижа, как в джунгли. Глядя на кремлевские соборы, я никогда не задумывался, красивы ли они. Я зубрил имена удельных князей и с отвращением глядел в Третьяковке на боярские бороды. В Париже прошлое казалось настоящим. Названия улиц были цветисты и загадочны. Я был счастлив на улице Деревянного Меча. Я часто заходил в тот дом, где прятался Марат. Среди автомобилей проходило стадо коз, и пастух здесь же доил смешную упрямую козу.

Я бродил по набережным и рылся в ящиках со старыми книгами. Букинисты были пыльными и шершавыми, как переплеты истлевших книг. Там я иногда встречал пожилого человека, он походил на букиниста: он брал в руки книгу, как мясник берет кусок мяса: страстно и, однако же, равнодушно. Это был Анатоль

Франс. Как-то среди старых молитвенников я нашел «Эду» Баратынского. На титульном листе было написано: «Просперу Мериме, переводчику нашего великого Пушкина. *Евгений Баратынский*». Я купил книгу и здесь же начал читать. Париж был совершенен и невыносим. Собор Нотр-Дам походил на каменную растительность. Сена уныло шевелила своей чешуей. На барже спал раскормленный кот. Напротив был морг; туда под утро приезжали кутилы: они разглядывали трупы самоубийц. Я читал стихи Баратынского:

Пришлец исполнен смутной думы;
Не мира ль давнего лежат
Пред ним развалины угрюмы?

На похоронах мужчины шли впереди, женщины сзади. В дождь все раскрывали зонтики. Катафалк мерно покачивался, кучер на высоких козлах нюхал табак. Кладбища походили на города, там были свои улицы. Среди могил можно было увидеть женщин со спицами: они приходили подышать свежим воздухом. Возле кладбищ было много кабаков: после похорон родственники подкреплялись вином и сыром. Возле кладбищ торговали также бисерными венками и надгробными плитами. Для богатых имелись мраморные херувимы с пометкой: «Вечная собственность», для бедных — венки: «До встречи там».

Я ходил на празднества социалистов. Сначала выступал оратор, он хрипел от негодования и отстегивал воротничок. Потом детский хор исполнял песенку о страданиях бедняка. Потом певица пела скабрезные куплеты о потерянном корсете. Потом танцевали вальс.

Иногда Париж просыпался. Забывая о правилах игры, он кричал: «Нет!» Помню вечер, когда пришло известие о казни испанского анархиста Ферреро. На площади Клиши собралась огромная толпа рабочих. Листовки предлагали пройти к зданию испанского посольства. Кто-то выстрелил. Сразу выросли баррикады. Фонари были снесены, бушевали фонтаны горящего газа. Казалось, это — революция. Три часа спустя на той же площади люди мирно пили кофе.

Рассказывая о Париже, я говорю в прошедшем времени. Однако этот Париж еще существует. На скамейках можно увидеть женщин со спицами, это дочери тех самых лавочниц, которые четверть века

назад вязали под моим окном. В 1921 году я приехал в Париж из Москвы. Четыре года я был в другом мире. Я встретил приятеля, он выходил из кафе, он спросил меня: «Что же вас давно не было видно?..» И не дожидаясь ответа, он стал рассказывать: «Знаете Марго, она...» Две недели спустя меня выслали из Парижа. Я шел на вокзал, рядом со мной шагал сыщик. Меня остановил знакомый художник. Я сказал: «Видите, меня высылают». Он рассеянно посмотрел на сыщика и ответил: «А вы были на Весенней выставке?..»

На одном из парижских госпиталей висит дощечка: столько-то женщин здесь были убиты германским снарядом. Война могла стать гранью, она осталась уродливым рубцом. Я помню одну ночь. Это было в начале сентября 1914 года. Было темно: опасались налета аэропланов. От Орлеанской заставы к Северному вокзалу шли свежие дивизии. Они должны были отстоять Париж. В городе больше не было ни министров, ни банкиров, ни куртизанок: все они уехали на юг. Женщины обнимали незнакомых солдат. Мерцали китайские фонарики. Солдаты пели. Это походило на трагическое представление. Старый рабочий сказал мне: «Как в семидесятом...»

После Седана была Коммуна. После Шарлеруа была Марна, после Марны — четыре года окопов. Магазины торговали шарлатанскими панцирями, предохраняющими от пуль. Священники раздавали ладанки. Иногда налетали цеппелины. Тогда Париж просыпался от воя сирен и убегал под землю. Под землей продавали портреты Жоффра и китайские орешки. Влюбленные под землей целовались.

Хозяйка гостиницы, где я жил, стала пускать на ночь проституток с клиентами. Ей было двадцать лет; смущенно улыбаясь, она говорила: «Ничего не поделаешь — это война...» По улицам прыгали одноногие. В кабаре певцы, больные пороком сердца, пели куплеты о красавце лейтенанте: он убил сто «бошей», а потом покорил сердце «королевы королев». Возле Восточного вокзала бродили табуны проституток: они поджидали солдат, приезжающих в отпуск.

Мне теперь кажется, что я был тогда стариком. Я многому научился в Париже. Я стал писать стихи. Я полюбил искусство. Говоря какое-нибудь слово, я вдруг к нему прислушивался. Я узнал, что такое

немота. Я понял стихи Рембо; я повторял: «Природа, убаюкай его!..» Я увидал живопись Греко; зрительный мир показался мне полным значения. По-новому глядел я на громады туч, на серый тон парижских домов. Я влюбился в натюрморты; вещи начали меня томить. Я ходил по Парижу — от площади Денфер-Рошеро к Восточному вокзалу — это прямой, длинный путь; шагая, я сочинял стихи:

От этой законченной осени
Душа наконец ослабла.
На ярком подносе
Спелые красные яблоки.
Тяготейте вы над душой ослабшей,
Круглые боги, веские духи!
Чую средь ровного лака
Вашу унылую сущность...

Всякое знание оплачивается; в Париже я потерял чувство времени. Это жестокая потеря, и я надолго был выведен из жизни. Можно жить вне времени час, тогда этот час зовут «счастливым», но биение сердца органически связано с ходом истории. Я понимал это в сонной, безгласной Москве. Я забыл об этом в Париже, полном иллюзорного звучания.

По вторникам я ходил в кафе «Клозери де Лила»: там собирались поэты. Там я увидел последних символистов. Они пили липовый чай и говорили о «священном блуде». Это был конец большой эпохи, конец скромный и незначительный. Я присутствовал при том, как Поля Фора избрали «принцем поэтов». Он мог бы идти в карнавальной процессии, между «королевами красоты» и волами, обреченными на смерть. Гийом Аполлинер нес в себе смуту и лирическое начало прошлого столетия; его жизнерадостность прерывалась внезапными паузами; он был последним из «проклятых поэтов». Он умер молодым от испанки. Купец Рябушинский, считавший себя декадентом, захотел просветить Москву; он выписал из «Клозери де Лила» поэта Мерсеро. В кафе ходило много поэтов: сто, если не больше. Они издавали крохотные журналы и надписывали друг другу книги. Выходя из кафе, они становились обыкновенными людьми: играли в триктрак и рассказывали марсельские анекдоты. Один из последних символистов Эрнест Рейно был крупным чиновником парижской префектуры.

Недалеко от «Клозери де Лила» находилось крохотное кафе «Ротонда». О нем я писал; я даже

выдумал, что там я встретился с Хуренито. На самом деле я встретился там с отчаянием. Я пристрастился к «Ротонде», потому что она была вне жизни. Поэты предшествующего поколения говорили о «башне из слоновой кости». Не знаю, существовала ли когда-нибудь подобная башня. Наше небытие было ограничено стенами душного, вонючего кафе. Хозяин «Ротонды» отпускал художникам в кредит кофе и бутерброды. Иногда он давал кому-нибудь из нас пять франков, говоря: «Смотри пропей их у меня!..» В два часа ночи «Ротонда» закрывалась, в три она снова открывалась. Часто мы просиживали роковой час в темном кафе. В «Ротонде» люди писали стихи, жевали колбасу, спорили об искусстве, влюблялись и спали. Художник Модильяни с клекотом дикой птицы читал предсказания Нострадамуса: «Мир скоро погибнет!..» Какой-то серб насиловал негритянку. Среди неистового крика шведы сидели над шахматными досками, разыгрывая сложный гамбит ферзя. Диего Ривера доказывал, что кубизм связан с традициями древних мексиканцев; иногда он закрывал глаза и начинал бредить. В уборной люди нюхали кокаин и глотали гашиш. Пикассо что-то рисовал на клетчатой бумаге, залитой кофе. Натурщица Марго к часу ночи раздевалась. Она как-то сказала мне: «Хорошо быть королевой». Я спросил: «Почему?» Она посмотрела на меня как на безумца: «Дурачок, ты не понимаешь — королеву все хотят изнасиловать...» Борис Савинков пил кальвадос и, прикрывая тяжелыми веками монгольские глаза, бубнил: «Кто-то серый в котелке, сукинсынит в уголке...» Он всегда носил котелок.

Однажды русская художница положила мне на колени грудного младенца. Она сказала: «Мне надо купить папиросы». Она ушла и не вернулась. Я сидел с младенцем, боясь до него дотронуться: он казался мне невыносимо хрупким. Подошел хозяин; я рассказал ему о происшедшем, он игриво рассмеялся: «Неси твоего сына ко мне...» Мы положили младенца на огромную кровать. Я сел рядом, не зная, что же мне теперь делать. К ночи мать нашлась.

Писатель Макс Жакоб был всегда изысканно одет. Он пил в «Ротонде» аперитив; потом шел к себе на Монмартр. У него не было шкафа; раздевшись, он аккуратно складывал костюм в сундук. Он сидел в белье и писал роман. Он не обедал после аперитива.

Впрочем, мало кто из нас обедал: мы изредка ели бутерброды.

Я пробовал писать статьи. Потом я был гидом: я водил одного прибалтийского немца по музеям. Его невеста любила красоту, и он ради нее решил изучить искусство. Когда мы проходили мимо обыкновенного доходного дома, он спрашивал: «Какой это стиль?» Я отвечал наугад: «Барокко», или: «Ренессанс». Он мне платил пять франков в день и унижал: в ресторане он ел птицу, а мне заказывал макароны или картошку.

Некоторое время я работал ночью на товарном вокзале. С двенадцати ночи до двух бывал перерыв. Мы грелись возле костра. На мне была испанская шляпа с очень широкими полями; рабочие надо мной посмеивались, они звали меня «шляпой»; впрочем, по-французски это не обидно.

Бывало, я не ел по три, по четыре дня. Я ходил возле ресторанов и нюхал. Иногда я читал меню; тогда мне хотелось кого-нибудь убить.

Макс Жакоб стал католиком. Он уверял, что к нему приходит Святая Мария и что он должен креститься в каких-то особенных туфлях. Молодой длинноволосый еврей, убежавший из Одессы от воинской повинности, читал нам свои стихи: «Велико мое одиночество! Нет у меня ни имени, ни отчества». Однажды какой-то испанец, человек атлетического сложения, схватил за ногу мраморный столик и стал потрясать им. Он кричал: «Я сейчас перебью всех — вы черти и это ад!» Я тогда читал книгу Стриндберга о Париже. Я смотрел на взбесившегося испанца с восхищением: мне хотелось, чтобы все, чем я жил, кончилось.

Недавно мне рассказали, что участники экспедиции на Южный полюс нашли автомобиль; он пролежал под снегом четыре года; он был в превосходном состоянии; ни одна частица не заржавела: температура в тридцать градусов ниже нуля предохраняет железо от ржавчины. В Париже другой климат. Я испытал это на себе; я был с людьми, потом оказался один.

Через несколько дней после моего приезда в Париж я пошел на собрание большевистской группы. Это было в небольшом кафе на авеню д'Орлеан. В кафе сидело человек тридцать — сорок. Многие пили гренадин — это сладкий сироп, его дают в Париже маленьким детям. Официанты не раз удивлялись: «Революционеры, а пьют гренадин!..»

На этом собрании я впервые увидел Ленина. Он с кем-то тихо разговаривал и пил пиво. Потом он выступил. Он говорил очень спокойно, без пафоса, с легкой усмешкой. Я слыхал его несколько раз. Он объяснял; часто он возвращался к тому же самому, но для слушателей каждый раз это было новым. Его речи напоминали спираль.

Меня поразил его череп. Я вспомнил об этом шестнадцать лет спустя, когда увидал Ленина в гробу. Я долго глядел на этот изумительный череп: он заставляет думать не об анатомии, но об архитектуре.

Ленин позвал меня к себе: у меня были русские адреса для рассылки газеты. Он жил на тихой уличке Мари-Роз. На винтовой лестнице я остановился, я простоял так несколько минут: мне страшно было позвонить. Дверь открыла Надежда Константиновна. Ленин работал. Он сидел, задумавшись над листом бумаги. Он чуть щурил глаза. Он внимательно меня слушал: я рассказывал о положении в Полтаве. Время от времени он едва заметно улыбался. Я думал: он догадался, что мне восемнадцать лет, это путало мои мысли.

Много лет спустя я прочитал в воспоминаниях Надежды Константиновны, что Ленин назвал меня «Ильей лохматым». У него был хозяйский глаз: он все подмечал, он не забыл даже растерянного подростка.

Я ходил в длинный холодный сарай на авеню де Шуази, там выступали Луначарский, Коллонтай. Я читал газеты на чердаке, где помещалась библиотека. Эмигранты жили замкнуто и сурово. Они редко выходили за пределы квартала, расположенного между парком Монсури и авеню Гобелен. В крохотных столовых они наспех ели тарелку борща и порцию котлет. С утра до ночи они работали.

Иногда я ходил на эмигрантские вечера. Там люди пили чай и спорили о Махе. Студенты танцевали вальс. Мечтатели, забившись в угол, вспоминали тюремные нары и нестройно пели «Славное море, священный Байкал...».

Летом я решил вернуться в Россию. Я мечтал о подпольной работе как о спасении. Один из старших товарищей сказал мне: «Посидите здесь, поучитесь...» Он не знал, что я болен Парижем. Кроль продолжал ходить на собрания большевистской группы, он учился в химической школе, он был жив и весел. Что касается

меня, то я мерил длинные улицы Парижа и маниакально шевелил губами: я писал стихи.

Я жил неподалеку от зоологического сада. По ночам отчаянно кричали моржи. Все казалось нереальным. Потом я переехал в мастерскую. Посредине стоял диван, другой мебели у меня не было. Окно было выбито, дверь проломал пьяный немец, дул ветер, я покрывался газетами и беспокойно спал. Я думал тогда, что я силен и могу жить один. Я не подозревал, что сила нужна человеку для другого: для того, чтобы жить с людьми. Настоящее в моей голове мешалось с далеким прошлым. Иногда я вспоминал маленькое кафе на авеню д'Орлеан. Я спрашивал себя: чем живут эти люди? Я не понимал, что они живут будущим.

В прошлом году при встрече челюскинцев рабочие одного из московских заводов несли портрет Ленина, сделанный на транспаранте. Сквозь знакомые черты лица мелькали красноармейцы, дети, цветы. Я вспомнил Ленина, который, щурясь, о чем-то думал на улице Мари-Роз. Может быть, так же смутно и так же отчетливо, сквозь сероватый парижский туман, он видел тогда Москву 1934 года,—красноармейцев, детей, цветы?

10

18 декабря, около семи часов вечера, в доме № 4 на Красноармейской работница Василиса Орлова выстрелила в своего мужа, студента химинститута. Раненого отвезли в клинику; его состояние было признано угрожающим. Женщину допросили. На вопрос, почему она хотела убить своего мужа, она ответила не сразу. Она сидела на краю стула, беззвучно шевеля губами. Глаза ее ничего не выражали, казалось, она отсутствует. Наконец она встала и спокойно, даже отчужденно выговорила: «Я его ревновала».

Как-то в Париже (это было еще до войны) я пошел в суд. Разбиралось дело молоденькой женщины, жены бухгалтера. Она выстрелила в своего любовника, студента юридического факультета. Потерпевший присутствовал на судебном разбирательстве. Он сказал: «Для меня это случайная связь». Он кокетливо улыбался: в зале было много женщин. Подсудимая отвечала коротко и загадочно. Для нее это тоже случайная

связь. Они не ссорились. Она не ревновала. В злополучный день она пришла к своему любовнику. Тот сказал: «Мне скоро придется уйти». Она ответила: «Нет». Потом она увидала на ночном столике револьвер, схватила его и выстрелила. Председатель спросил: «Но почему вы это сделали?» Она ответила: «Я что-то почувствовала...» Потом она задумалась... Когда судебное следствие кончилось, она вдруг встала и отчетливо выговорила: «Мне в ту минуту показалось, что я его люблю».

Я хочу рассказать еще об одном человеке. Я познакомился с ним в Москве. Он жил на Плющихе, в особняке. Его звали Николаем Васильевичем. Валя Неймарк сказал мне, что у него можно спрятать «литературу». Мы разговорились. Николай Васильевич упрекал нас в недостатке инициативы. Он говорил о Бланки, о конспирации, о работе среди гарнизона. Я решил, что он эсер. Он замахал руками: «Что вы!» Потом он заговорил о нашей обломовщине: сколько еще остается сделать! Многое в его проектах предугадывало работы первой пятилетки. Он доказывал, что в Сибири богатейшие запасы угля, что уральская руда по качеству выше лапландской, что необходимо соединить магистралью Сибирь с Туркестаном. Я спросил: «Что вы строите в настоящее время?» Он усмехнулся: «Это только мечты». Он провел меня в следующую комнату и показал коллекцию пустых флаконов от духов. Здесь были флаконы в виде лилии и в виде женской руки. Я понюхал один, он ничем не пах. Николай Васильевич сказал: «Это то, чем я занимаюсь в действительности».

Я не знаю, почему я сейчас об этом рассказываю. Люди очень переменились.

Василиса Орлова... Я помню тень на улице Кропоткина: это та самая Васса, о которой не решался говорить курносый Павлик. Помню также худого человека с папиросой. Павлик мне сказал: «Галя его отшила». Да, но Галя сошлась с Шурой, она «держит процесс в своих руках», но, сидя у меня, она плакала как маленькая...

Я был у Павлика. Я думал, что он заговорит о выстреле на Красноармейской, но он стал рассказывать о работе:

— У нас колонна часто садилась, только установишь, а минут через десять температура снижается.

Теперь у меня за весь месяц ни одной посадки не было. Все дело в постоянном напряжении тока...

Он долго говорил, потом замолк. Я собрался было уходить, Павлик робко удержал меня:

— Вам, наверно, говорили, что у нас приключилось... Я таких чувств не понимаю. Я когда мальчишкой был, прочитал про радугу. У дяди были масляные краски, он этим любил заниматься. Я решил: дай-ка сделаю радугу. Смешал все краски. Получилось... как бы повежливей выразиться?..

— Это вы, Павлик, к чему?

Он рассмеялся:

— Атмосферу создаю — вместо Жоры. Получается, конечно, неважно, как в самодеятельном. Это у нас всегда: как разговоры — несем ерунду. Зато молчать умеем.

Второй допрос Вассы продолжался долго. Она рассказала о себе:

— Родилась я в тысяча девятьсот двенадцатом году в селе Покровском Северного края. Отец числился в бедняках, теперь он председатель колхоза «Путь Ильича». Училась в ФЗУ. В тысяча девятьсот тридцать втором году поступила в Березниках на завод. Потом меня перевели в Москву. Первое время трудно было работать, у меня подготовки не было, приходилось по ночам читать. У меня характер такой: вместо того чтобы сказать товарищам, я таилась — стыдно было. Комсомол мне во многом помог — сама не выпуталась бы. В тысяча девятьсот тридцать третьем году меня хотели вычистить, но потом оставили. Я все-таки расскажу — это показывает, какой у меня характер. У нас в цехе был один парнишка, хороший рабочий, только невыдержанный. Он очень к девушкам приставал. Я затрудняюсь вам сказать больше. Меня он преследовал месяца два. Будь я другая, пошла бы на ячейку, рассказала бы все. А я молчала, думала: сама с ним справлюсь. Как-то стою злая — с колонной у меня не ладилось. Он подошел, обнимает. Я вся вскипела, ударила его ключом по голове. Его даже на перевязку повели. Я тогда публично просила, чтобы меня наказали, но комсорг вступился ввиду плохих отзывов о том парнишке. Я вам это рассказываю, чтобы показать, на что я способна.

С мужем я познакомилась летом тысяча девятьсот тридцать четвертого года. Его прислали к нам на

практику. Смешно сказать, но пришлось мне вначале ему колонну показывать. Конечно, я сразу почувствовала, что он это понимает куда лучше меня. Он не успел оглядеться, а уже объяснил мне, как обеспечить режим колонны, чтобы не было заниженной температуры. Осенью он представил проект горячего ремонта колонны; это огромная экономия, потому что нет простоев. Товарищ Кроль тогда его поздравлял, да и все говорили, что из него замечательный инженер выйдет. Его на практику прислали раньше положенного, теперь ему один год остается до выпуска. Я никогда не могла подумать, что такой человек станет со мной разговаривать. А он не только на работе все объяснял, но и вечером заходил, читал вслух, мы с ним в театр ходили. В сентябре он вдруг говорит, что мы должны пожениться. Я себе не поверила, такое это было счастье. Полгода прожили мирно, потом начались ссоры, виновата, конечно, я.

У него слабое здоровье, врачи его посылали лечиться. На почве болезни он стал нервный, на все реагировал. А я, как вам сказала, вспыльчивая, потом, люблю на своем поставить. Он говорил так: «Либо ты тоже учись, либо я брошу учебу; пойду на производство». Его материальная сторона смущала: я теперь вырабатываю рублей семьсот. Сколько раз я ему говорила, что это не имеет значения, что ему необходим режим. Но он очень добрый, хотел меня выдвинуть вперед. Я считаю, что надо брать в расчет общие интересы. Как можно сравнить его со мной? О нем все специалисты говорят как о будущем руководителе, а я еще не подготовилась даже в объеме десятилетки. Я соображаю медленно, это все знают, а Жора на лету схватывает. Вот на этой почве у нас часто бывали драмы. Обыкновенно я молчала, но иногда прорывалось: стою, кричу, соседи смеются.

Мне казалось, что он ко мне охладел. Трудно с собой справиться, у меня еще весь строй чувств отсталый. Он готовил большую работу о разделении воздуха и полном использовании кислорода. Это, конечно, огромная задача, он много работал, ходил, думал. В спокойные минуты я это понимала, но вдруг находило что-то, думаю: Жора с девушками гуляет. Конечно, были и среди товарищей такие, что меня раздразнивали. Я вам прямо скажу: я ревнивая. Сколько раз я говорила себе, что это пережитки, но ничего не могла

с собой поделать. Здесь приходит одна дивчина и говорит: «Твой Жора с Галей спутался». Галя у нас на заводе работает, он с ней через меня познакомился. Я вся вскипела, вечером говорю ему: «Брось Галю!» А он ответил, что говорит с ней на отвлеченные темы. Наверно, так и было, но я не поверила, все во мне задвоилось.

Васса замолкла. Следователь попросил ее перейти к самому преступлению. Она отвернулась и сказала:

— Пришел, говорит: «Не хочу с тобой жить». Я как вспомнила Галю, все потемнело. Револьвер у него был... Что-то на меня нашло. Остальное вы сами знаете.

Сосед по квартире сварщик Калмыков показал:

— Жора, конечно, человек выдающийся, но характер у него невозможный. Я с ним насчет моей специальности говорил, это не по его части, но он сейчас же во все проник; я даже скажу, что разговор был для меня не без пользы. В последнее время я с ним рассорился. Это после Октябрьских праздников; я тогда не пошел на демонстрацию, у меня грипп был. Он мне сцену закатил: «В Октябре не говорили, что плохая погода...» Он с Долиным дружил, пальто ему отдал, сам без пальто ходил, несмотря на болезнь. Вдруг и с Долиным рассорился, заявляет: «Ты мещанин, у тебя слоники, занавесочки»,—и все в том же духе. С Вассой они жили, можно сказать, средне, иногда ничего, а иногда скандалы. Он за девушками бегал. Я ему как-то сказал: «Куда тебя носит? Жена, кажется, красавица, другие завидуют, а тебе все мало». Он посмотрел на меня и говорит: «Кстати, чужая душа потемки». Насчет того, чтобы Васса его ревновала, не знаю; не такая она женщина, чтобы от нее что-нибудь услышать. Очень гордая; когда ногу повредила на работе, и то молчала. Не любит, чтобы жалели. Только я думаю, что от его донжуанских похождений она очень даже страдала. Сцены у них были главным образом насчет денег. Он кричал, что не хочет жить на ее счет, а она отвечала, что он для коллектива много полезней, одним словом, успокаивала. Иногда она выходила из себя, кричала: «Ты должен другим пример подавать, а не драмы устраивать». Только это редко было, обыкновенно она молчала. Восемнадцатого декабря я сидел у себя, читал газету. За стеной был шум: Жора кричал. Потом притих. Вдруг Васса как закричит на весь дом:

«Нет, слышишь меня — нет!» После этого раздался выстрел. Я побежал. Вижу, Жора лежит на кровати, ноги свесил вниз. Васса над ним. А револьвер на полу валяется, возле маленького столика. Я хотел подойти, но он крикнул: «Уходите все!» Я не ушел, остался в дверях. Он ей что-то сказал, только тихо, я не расслышал. Потом он закрыл глаза и начал хрипеть. Васса мне крикнула: «Беги скорей за врачом!» Но я побоялся их оставить вдвоем. Здесь пришли Яковлев и Долина из соседней квартиры. Я послал Долину за доктором, а сам остался. Спрашиваю Вассу: «Что ты наделала?» Она посмотрела на меня, но ничего не ответила. Я думаю, так минут пять прошло или десять. Потом вдруг она говорит Яковлеву: «Зови милицию. Это я в него стреляла». Вот все, что я знаю по данному делу.

Павлик показал:

— Меня в тот вечер не было. Вассу я знаю с лучшей стороны. Насчет работы вам товарищ Кроль сможет подтвердить, как она на заводе работала. Я, можно сказать, присутствовал при начале романа. Жора такую поэзию разводил, чуть ли не о звездах. Она мне говорила: «До чего я, Павлик, счастливая!» А счастья, надо сказать, у нее было мало, потому что Жора такой человек: влюбится до сумасшествия, а потом сразу все проходит. Она его так любила, что тошно было глядеть. Все деньги отдавала ему; себе оставляла только на проезд; на базар и то у него брала. Я как-то спросил: «Почему ты за Жору держишься?» Конечно, с моей стороны это было бестактно, но я вышел из себя — он как раз перед этим у нее деньги взял, а вечером я его встречаю — идет с одной дивчиной в кино. Она сначала рассердилась, сказала, что, если я позволю себе плохое слово о Жоре, она со мной больше разговаривать не станет. Потом объяснила, что, конечно, она его любит, но это дело частное, а имеется и другая сторона: Жора будет одним из лучших инженеров, он — общее достояние, таких людей надо беречь и прочее. Насчет Жоры я вам ничего не скажу, боюсь быть несправедливым. Вся эта история для меня полная неожиданность. Может быть, у Вассы и были такие чувства, но она человек сдержанный, не понимаю, как она могла до этого дойти. Больше ничего по данному вопросу сказать не имею.

Галя Маркова показала:

— Никогда я не гуляла с Жорой, вообще до последнего времени ни с кем не гуляла. Жора действительно говорил мне, что он меня любит, но я не придавала этому значения. Потом он как-то сказал, что не может больше жить с Вассой, это для него сплошные мучения, она его любит, а у него ничего не осталось от прежнего. Я ему ответила, что стыдно такое болтать, он согласился, а потом вдруг заявляет, что, если я не разделяю его чувств, он может покончить с собой. Я ему ответила, что напрасно таких из комсомола не вычищают. Вот и все. А о самом поступке ничего не могу сказать, так как подобных чувств еще не испытала.

Кроль показал:

— Орлов работал у нас как практикант. Исключительно способный парень, не хватает только дисциплины. Когда я ему сказал, что у него с ретортами непорядок, он вдруг объявил, что он вообще ни на что не годен. Пришел ко мне месяца два назад, говорил насчет своей работы. Штука с кислородом интереснейшая! Я его обнадежил, позвал к нам: надо проверить. А он больше не показывался. Васса работает у нас третий год. Лаборантка она замечательная. У нас катастрофа могла быть — краны газовые не закрыли. А она не растерялась. Вот говорят — «англосаксы», да она этих англосаксов за пояс заткнет...

Мельников, секретарь ячейки химинститута, показал:

— С Орловым у нас вышло недоразумение. Он парень честный, хороший комсомолец. Прошлой весной его мобилизовали для бригадной поездки с газетой. Он тогда работал по восемнадцати часов в сутки. Как минус могу указать, что он чрезвычайно неуравновешенный. Он как-то обнял меня, ни с того ни с сего. Я спросил, не выпил ли он, оказывается, просто от радости: работа идет хорошо, он будет прекрасным инженером — это сам о себе. А несколько дней спустя ходит и всем рассказывает, что напрасно пошел в институт, он абсолютно неспособен к химии и никому от него никакой пользы не будет. Со времени болезни он стал особенно нервничать. Выступил с докладом о Чернышевском, уверяет, будто долго готовился, но в последнюю минуту решил обойтись без тезисов. Он оратор хороший, но говорит несколько сумбурно и часто употребляет слова в непривычном

значении. Ему возразили, что он смешивает исторический материализм с материализмом Бюхнера. Вместо того чтобы объяснить, он начал кричать: «Надо думать самостоятельно! Надо вверх смотреть!» И так далее. Наши ребята в стенгазете нарисовали — внизу Маркс, а крохотный Орлов где-то в облаках витает и луну разглядывает. Подпись была: «Орлов смотрит вверх, пренебрегая низкими истинами». Он тогда сказал мне: «Что же это такое? Значит, вы хотите меня в индивидуалисты записать?» Еле его успокоил. А здесь началась история, о которой я упомянул. Тормазов рассказал, будто Орлов насильно выматывает из своей жены деньги, что он ее угнетает, что на заводе все говорят: «Хороши комсомольцы в институте!» Насчет того, что Орлов с девушками несдержан, мы давно знали. Я его несколько раз осаживал, он объяснял, что все это не всерьез, ни с кем он не живет, только любит иногда поболтать. Тормазов заговорил на ячейке: «Теперь, когда на очереди проблема комсомольской семьи, таким у нас не место...» Жора вскипятился, вместо ответа обругал Тормазова, а потом отзывает меня в сторону: «Слушай, Мельников, неужели вычистят? Это абсолютно несправедливо; ты имей в виду, я без комсомола и дня не проживу». Я решил сам это дело расследовать. Пошел на завод, это было как раз накануне происшествия, то есть семнадцатого. Говорил с его женой, с другими ребятами. Никто слов Тормазова не подтвердил. Мы теперь объявили Тормазову строгий выговор. Надо сказать, что на Орлова эта история произвела тяжелое впечатление. Он говорил, что нет товарищей, что все рады кинуться на человека и так далее. Конечно, к ревности жены прямого отношения это не имеет, но возможно, что некоторую роль сыграло: он находился в нервном состоянии, наверно, дома была нездоровая атмосфера. Поэтому я и решил вам рассказать о таком побочном вопросе.

Жору допросить не удалось: он находился в беспамятном состоянии. Операция извлечения пули прошла удачно, но вслед за нею Жора заболел воспалением легких. Следователь собрал о нем некоторые сведения: сын учителя пения, родился в Москве, в 1907 году, окончил десятилетку, проработал год на Электрозаводе (отозвались о нем хорошо), потом поступил на астрономическое отделение МГУ, через год ушел из

МГУ и поступил в химинститут, профессора считают его одним из лучших студентов.

Вассу допросили еще раз. К своим показаниям она ничего добавить не захотела. Ее предали суду по 136-й статье. В заключении было сказано: «На почве низменных побуждений произвела покушение на убийство». Она вытерла бумажкой перо и расписалась.

Хотя соседи недолюбливали Жору, поступок Вассы вызвал то глубокое непонимание, которое заменяет человеческие чувства любопытством естествоиспытателя. Конечно, ревность не была чужда многим обитателям дома на Красноармейской. Но это был подводный мир, без жестов и без слов; он соприкасался со снами, с плотным туманом, порой охватывающим человека и похожим на ощущение тепла после мороза. Между этими смутными чувствами и обыкновенным револьвером, который унес милиционер, не было ничего общего. Соседи с изумлением говорили о Вассе: она играла с дочкой Долиных, рассказывала о заводских делах, ходила с Таней в театр; еще недавно она казалась им понятной и близкой; теперь она выпала из жизни.

Павлик пришел к Кролю, чтобы спросить о работе колонны:

— Надо регулировать вентиля на стояке...

Кроль ответил:

— Правильно! Я об этом уже говорил Самсонову. Ты смотри, чтобы давление не понижалось, а чуть что, сейчас же к начальнику смены, понимаешь?

Тогда Павлик сказал:

— Я вас хотел про Вассу спросить...

— А что о ней разговаривать? Безобразие! Я следователю сказал — лаборантка замечательная. Это факт. Но что же получается? Мы три новые колонны ставим, а она о чем думала?..

— Я, Андрей Миронович, не понимаю, почему она это сделала. Вы вспомните, как весной было, когда краны не закрыли. Вы думаете, ей учиться не хотелось? Она мне говорила: «Пускай Жора сперва кончит, у него слабое здоровье, он куда способней...» Она скрывала от него, что готовится в институт. Книги у меня прятала: «Не хочу Жору расстраивать...» И вдруг из-за такой чепухи...

Павлик замолк. Он стоял, опустив голову и перебирая пальцами. Кроль тихо сказал:

— Я понимаю — покричи про себя. Это с каждым может случиться. Но нельзя все-таки с револьвером... А ты не расстраивайся. Как-нибудь утрясется, понимаешь?

Павлик повернулся к двери.

Кроль крикнул:

— За давлением смотри, чтобы не понижалось.

О том, что именно случилось 18 декабря, я узнал много позднее. Васса пришла домой часов в шесть. Жора лежал на кровати. Потом он вдруг сказал:

— Слушай, Васса, в последний раз я тебе говорю — иди учиться. Да и вообще лучше нам разойтись. Я на завод пойду, ничего из меня не выйдет.

Васса ответила:

— Брось глупости болтать! Тебе один год остался. Я молодая, у меня времени много. Я вчера о тебе с Мельниковым говорила...

Жора крикнул:

— Почему ты с Мельниковым разговаривала?

Васса смутилась: не надо было об этом рассказывать. Жора еще несколько раз крикнул: «Почему?» Наконец она ответила:

— Он на завод приходил, расспрашивал. Смирнов с ним говорил, Вешнев...

Она вдруг увидала, что в его руке револьвер. Она вскрикнула, но добежать не успела.

Об этом никто не знал. После окончания предварительного следствия Вассу выпустили до суда. С нее взяли подписку о невыезде. Она пришла к себе. Долина с ней не поздоровалась. Яковлев сказал: «Здравствуйте, здравствуйте! Значит, комсомолка, и вроде как в опере — пиф-паф?» Васса молча прошла в свою комнату. Вечером постучался Павлик, вернее сказать — поскребся. Они поздоровались. Павлик шутил. Васса расспрашивала его, как на заводе. Вдруг Павлик запнулся и спросил:

— Васса, почему ты это сделала?

Она встала, прошла к окну, постояла там, потом ответила:

— Лучше нам, Павлик, теперь не встречаться. На работе другое дело, а так нехорошо. Я, видишь, какая оказалась. Ты спрашивать будешь,— нет, погоди,— ну не спрашивать — про себя думать. А я не могу тебе ничего ответить. Лучше не ходи ко мне. Я тебя, Павлик, очень об этом прошу.

Павлик пробовал спорить, ругал Долину, говорил, что «все ерунда», но Васса стояла на своем. Тогда Павлик рассердился, он ушел не попрощавшись. Это было часов в восемь, сразу после этого он пришел ко мне. Он вбежал в мою комнату неестественно оживленный:

— Хотите в клуб? У нас сегодня спектакль...

Всю дорогу он балагурил, показывал в лицах товарищей, рассказывал анекдоты. Под фонарями блестел белый накатанный снег.

На следующий день я встретил Надю и Гронского. Они шли и задумчиво улыбались. Воротник ее шубы возле рта был весь серебряный. Они меня не видали, я шел по другой стороне. На углу Надя поскользнулась, он успел ее подхватить. Они повернулись вокруг себя, как будто танцуя, посмотрели друг на друга и рассмеялись.

Я должен был взять у Кроля материалы (он убежден, что я пишу книгу о стахановцах азотного завода). Но в тот день мне не хотелось говорить с Кролем. Я прошел к Самсонову. Он дал мне все материалы. Я его спросил:

— Вы Павлика Журавлева знаете?

— Как же! Вы здесь про него много найдете. Прекрасный аппаратчик! Вчера заметил подсосы в колоннах, Грюн полдня проворонил, а Журавлев сразу догадался. Поговорите с ним, интереснейший тип, оптимист... Хорошо?

Потом Самсонов взял красный карандаш, почеркал им по бумаге и, не глядя на меня, сказал:

— Кстати, только что позвонили, что умер Шестов.

11

Все последние недели Надя жила как в горячке: мелькали лица, числа, разводы обоев, глухой шум, похожий на гуд телефонных проводов, заполнял уши, не хотелось утром вставать, каждый телефонный звонок пугал.

Только встречаясь с Гронским, она как будто просыпалась. Но это не было возвращением к той жизни, которою она еще недавно жила; она не помнила ни трех лет, проведенных с Кролем, ни института.

Она в комнате, заставленной кроватями, шкафами, корзинами. Ей одиннадцать лет. Мать говорит: «Сно-

ва хлеба не выдали...» Это зима 19-го; на улицах растут сугробы; в развалинах соседнего дома живет старуха, похожая на ночную птицу; сосед, профессор в очках, тащит салазки. Мать с утра до ночи охает. Старший брат Нади на фронте, сестра в больнице: у нее сыпняк. На дворе метет. Ветер злобно плюет в трубу буржуйки, и комната полнится дымом. Надя сидит в углу. «Ты что делаешь?» — «Решаю задачи». Это неправда: Надя рассказывает себе изумительные истории. Она глядит на дверцу печурки и видит Сингапур. На слоне сидит человек, он весь огненный, на него больно глядеть. Хорошо бы достать закопченное стеклышко, тогда можно смотреть даже на солнце. Но Надя может смотреть на человека и без стеклышка. Они познакомились вчера, он был летчиком. Теперь он не разговаривает, разговаривает слон, как глухонемые, хоботом. Надя все понимает. Он говорит о большом сражении в Сингапуре. Белые засели в Главном почтамте, у них были пулеметы. Но у красных были слоны, и они скинули англичан в море. Слон срывает ананасы, они круглые, как бомбы, и хорошо пахнут...

Надя сказала раз Гронскому:

— Я с тобой как девочка. Почему?

Он не ответил. Он рассеянно улыбался от счастья.

Потом Надя возвращалась домой. Кроль на минуту снимал очки. Он ничего не говорил. Он снова зарывался в свои бумаги. Надя шла к себе: она спала в углу, за большим шкафом; там она могла горевать.

Так было до того вечера, когда она написала Кролю письмо. Она шла к Гронскому, как к реке: сейчас кинусь! Но когда Гронский обнял ее, она вдруг поняла, что нет ни Кроля, ни тревоги, ни Гронского: это было счастье.

Потом она никак не могла понять, сколько времени это длилось. Дни путались. Ночью Надя часто просыпалась. В голове метались обрывки снов. Она плохо соображала, где она. Она протягивала руку: Гронский! Осторожно она дотрагивалась до его волос, улыбалась в темноте огромной, всякий раз нечаянной радости и тотчас же снова засыпала.

Прошлая жизнь, в те редкие минуты, когда она над ней задумывалась, была зыбкой и случайной. Зачем-то она пошла в институт, зачем-то проработала два года на заводе. Вначале ей казалось, что она увлечена работой. Другие говорили: «Интереснейшая область!»

У нее не было своей мечты, она поверила. Вскоре она увидала, что ей чужие и турбины и регенераторы.

Рядом был Кроль. Он одной рукой давал ей запас сил, другой отбирал его. Она вдохновлялась его бодростью, смехом, топотом, спорами, по ночам шорохом листов: она лежит, а он еще работает. Но рядом с этой огромной страстью ее собственная жизнь представлялась ей пустой и ничтожной. Кроль ее подавлял. Он был ласков, внимателен к любому ее слову: старался ее понять. Она думала: прихоть великана, который разглядывает муху.

Она продолжала работать на заводе. В свободные часы она лепила: еще в школе ей советовали учиться скульптуре. Какой-то клуб заказал ей голову Ленина. Ее работы хвалили. Но Надя глядела на них с глубоким недоверием. Часто она боялась снять тряпку с глины: это не ее дети, это подкидыши.

Осенью она заболела плевритом. Она ушла с завода, забросила скульптуру. Девочкой она писала стихи. Теперь снова ее голова заполнилась рифмами. По ночам она шевелила губами, прислушиваясь к тишине. Утром, глядя на исписанные листочки, она краснела от стыда: слова казались ей чрезмерными, чувства наигранными. Она думала, что стихи, как и вся ее жизнь, случайны. Почему не цветные металлы, не каучук, не Арктика? Она говорила себе: у меня внутри яма, вот и хочу завалить чем придется.

С Гронским она узнала радость творчества. С изумлением она глядела на него: туманный, как бы сонный, с нею он оживал. Он говорил: «Теперь я смогу по-настоящему работать».

Как-то (это было еще до разрыва с Кролем) Надя пришла к Гронскому. Она рассказала ему о своем детстве. Она родилась в маленьком городишке. Сразу за домом начинались поля.

— Я никогда не видала моря, но мне кажется, что это должно быть так — ветер проходит по колосьям и все движется, но пятнами, как будто ветер прыгает...

(После этого я встретился с Гронским. Теперь я знаю, откуда взялись и зыбь и матрос: в ту ночь Гронский действительно видел море.)

Надя ему сказала — они тогда уже жили вместе:

— Ты знаешь, я писала стихи. Плохие, но это не важно. Мне хотелось передать задыхание, без точек — одна огромная фраза: я так чувствую жизнь. Но ничего

не выходило. Помню, я была на вокзале, никого не провожала, просто зашла. Я все не могла успокоиться, писала:

...Грызя туннелем вязкие хрящи,
Громя мосты, летя, кружась, как дервиш,
Все с ночью взапуски, от глаз, от бед,
От поцелуя, будочника — мимо,
Чтоб вместо глаз — прощелканный билет,
Еще луна, облапленная дымом...

Но все это глупости, ребячество. Мне не хватало главного.

— Формы?

— Нет, себя. Или тебя — это одно и то же.

Она его обняла и сразу забыла про грохот отходящего поезда.

Если бы ее тогда спросили, что за человек Гронский, она не смогла бы ответить. Она знала, что у него синие глаза, что, волнуясь, он ломает папиросы, что он спит, чуть приоткрыв маленький рот. Гронский перед ней не таился, он просто отсутствовал; счастье вытеснило в нем все другие чувства: он жил, как жилось. Он не думал; по-прежнему он рассеянно улыбался. Никогда Надя не видала того Гронского, горестного и неуловимого, с которым я как-то поспорил в «Метрополе». Она любила в нем смутное, свое, родившееся, может быть, в той печурке, где пылал Сингапур, стихи, которых она не написала, да и не напишет, ребенка, которого у нее не было.

Думая впоследствии об этих непонятных ей самой днях, Надя видела сначала воду, потом большую рыбу на кухонном столе; рыба судорожно приподымала красные жабры. Все оборвалось сразу. Они только что смеялись, радовались, жили: как будто кончился завод, застыли поднятые вверх руки, фраза оборвалась на полуслове.

Гронский пришел с фабрики злой:

— Хотят убрать кадр с полями. Матрос тоже не годится. Делаем вместо него кочегара. То, да не то. Вообще ерунда!

— Но почему ты согласился?

— То есть как это «почему»? Директор настаивает. Потом Глазов. Все равно, я привык...

Она с удивлением смотрела на Гронского: какая у него тонкая шея, а воротничок чересчур большой... Ей стало жалко его. Впервые она подумала о Кроле

с волнением. Тотчас же она пристыдила себя: она предает Гронского. Неужели она не видит, что он настоящий художник? Это знает любой репортер, только она смеет в этом сомневаться... Он не похож ни на Кроля, ни на других людей, с которыми Надя встречалась: он живет не жизнью, но искусством.

Надя глядела большими, раскрытыми до слепоты глазами: она хотела во что бы то ни стало понять Гронского. Но перед ней был чужой человек.

Прошло еще несколько дней. Гронский был в дурном настроении, обижался на каждое слово. Когда Надя спрашивала его о работе, юродствовал: «Наше дело маленькое» или: «Что прикажут, то и сделаю». Надя не знала, что сказать: сразу пропали все слова. Она только осторожно гладила его тонкую руку, точно боялась ее вспугнуть. Она узнала бессилие, ужас нищего, которого могут принять за скупца. Был запас горючего, он кончился. Ей казалось — они замерзают.

Как-то Гронский подошел к ней и обнял ее, настойчиво, почти повелительно. Она поглядела на него нежно, но отчужденно: перед нею был ребенок. Он хочет ее целовать? Пусть!.. Она не сопротивлялась. Она видела, как легкая судорога пробежала по его лицу, и снова ей стало жалко его. Только нежность теперь привязывала ее к Гронскому. Поняв это, она проплакала до утра. Гронский спал рядом.

Все чаще и чаще она вспоминала Кроля. Она думала о нем как о большой, смутной силе. Кроль был землей или водоворотом: к нему тянуло. Она не жалела ни о ласке, ни об уюте, но ей хотелось жить. Ей казалось, что ее пальцы холодеют — кровь не доходит до них.

Они сидели вечером, не зажигая огня. Гронский нервно зевал и ломал папиросы. Потом он сказал:

— Пойду в «Метрополь».

Надя ничего не ответила. Он раздраженно спросил:

— А ты знаешь — почему? Там сегодня Балашова будет.

Надя подошла к нему и взяла его за руку. Он вздрогнул.

— На Балашову, конечно, мне наплевать. Просто скучно. Нельзя же двадцать четыре часа в сутки целоваться. Я тебя теперь, кажется, знаю, как себя, в этом все горе. Я не могу быть с самим собой. Ты думаешь, я не вижу, как тебе скучно со мной? Только я не могу

тебе ничем помочь. Я сам как сонная муха. Кажется, еще минута — и свалюсь. Даже работать не хочется — пустота.

Она ничего не сказала. Он ушел. Он пришел под утро и, не раздеваясь, лег на кушетку. Надя тихо спросила:

— Может, тебе подушку дать?

Он ждал упреков, слез. Нежность показалась ему обидной.

— Нет, спасибо. Ты, значит, не спишь? Слушай, Надя, я давно собираюсь с тобой поговорить... Получаются какие-то осколки. Виноват, конечно, я. Одно дело ходить на свидания, другое жить вместе. У меня это не выходит. Но почему ты ничего не отвечаешь? Ты что — сердишься? Не хочешь со мной разговаривать?

Надя молчала. Гронский что-то пробормотал и уснул: он много пил в ту ночь. Когда он проснулся, Нади не было. Он лениво оглядел комнату: проспал, наверно, ушла куда-нибудь... Вдруг он заметил, что дверца шкафа открыта. Он вскочил и сразу понял все. Он долго искал — нет ли записки? На стуле лежал маленький шарф: Надя забыла. Он бросил его на шкаф. Потом лег. Ему показалось, что ничего больше нет. Он думал вслух: «Нельзя жить зыбью, нельзя...» Он позвал: «Надя»,— и тотчас же усмехнулся: «Поздно». Больше ничего не сближало его с жизнью. Нет папирос... Все равно! Он пролежал так до позднего вечера, полный теплого густого несчастья.

Ночью я увидел его в шашлычной. Он сидел с каким-то незнакомым мне человеком и, выкинув вперед беспокойные руки, говорил:

— Погоди, это начинается с шарфа...

12

Я снова думаю о Гронском. Драма Нади началась в ту минуту, когда она вспомнила Кроля. Я не хочу сравнивать; я просто не могу забыть о зыби: это мертвая зыбь.

Писатели обычно избегают общества людей своей профессии. Они недолюбливают художников и актеров. Они предпочитают им инженеров или химиков. Это инстинкт самосохранения. Соль необходима для живого организма, но скопление соли — солончаки, мертвый мир, без травы и без птиц.

Я хочу сейчас рассказать о людях. Я не думаю, что поэт «всех ничтожней»: Пушкин это сказал, чтобы оттенить инородность вдохновения. Я не думаю также, что поэт выше других. Это две природы. Жизнь социолога, строителя дорог или летчика связана с его мечтами; она — творчество сама в себе, каждый ее час органичен; в нее входят любовь, гнев, ласка, мужество. Жизнь поэта или художника — мучительные комментарии. Все в ней, вплоть до шуток, вплоть до пошлости, связано с идеей расплаты за создание мира, глубоко человечного, но превосходящего емкость отдельной судьбы.

Брюсов назвал свою мечту «волом». Он думал, что держит вола в повиновении. Всю жизнь он хотел осознать процесс творчества. Свою собственную биографию он свел к ряду лабораторных опытов. Огромная воля чувствовалась в его черепе, срезанном сзади. Я долго думал, что он рассудочен. Я познакомился с ним летом 1917 года. В его квартире на Мещанской декадентские офорты соседствовали с пузатым купеческим самоваром. Брюсов хотел шагать в ногу с временем, но все в нем было архаично: борода, вежливость, воротничок, словарь. Он читал мне нежные лирические стихи; они были мучительны, как судорога. Глухой, отрывистый голос опровергал слова. Брюсов спросил меня: «Когда вы пишете стихи?» Я ответил, что пишу, когда хочется. Он рассердился. Он сказал мне, что садится за стол каждое утро и каждое утро пишет стихи. Он показал на ящики письменного стола: «Здесь черновики». Мне тогда казалось, что Брюсов видит в поэзии только ремесло. Много позднее я понял, что Брюсов был рабом своей мечты, что в этих словах «каждое утро» была скрыта огромная страсть, что поэзия может пахнуть пóтом и торчать в горле, как спазма.

В 1920 году я пришел к Брюсову в ЛИТО. Он встал и сразу спросил меня: «Где вы хотите работать?» Я не понял и переспросил. Он показал на стену. Это была эпоха диаграмм, но все же я растерялся: диаграмма в кабинете Брюсова определяла строение литературы. Квадраты, круги, ромбы были поэзией, романом, трагедией. Нет, его мечта не была волом! Он продолжал жить до конца своей давней страстью. Сухие, горячие глаза объясняли сущность таинственных квадратов. Эта диаграмма была одной из его последних поэм.

Андрей Белый хотел прикрепиться к жизни, но он подымался вверх, как детский шарик. Когда он читал стихи, он привставал; казалось, он испаряется. Слова для него звучали не так, как для других. Он, кажется, знал тайну любого корня, но он не умел говорить на обыкновенном человеческом языке. Это его пугало. С прилежанием школьника он садился за самую трудную науку: он хотел жить как все. Я видел его в берлинской танцульке. Тогда в Берлине все танцевали. Он приглашал скромных девушек: приказчиц или мастериц. У него были огромные трагические глаза и высокий лоб. Девушки называли его: «Господин профессор». Они глядели на него с благоговением и с ужасом. Я помню — дым сигар, крахмальные воротнички, люди жмутся у стен, а посредине зала Андрей Белый танцует с перепуганной немочкой. Потом я видел его в Свинемюнде. Он лежал голый на пляже. Он яростно загорал, плавал, даже лепил песочных баб: он хотел быть как все. Но и раздетый он казался людям особенным, вокруг него образовывалась пустота. Я встретился с ним в Москве незадолго до его смерти. Он говорил о Гоголе, о Маяковском, о марксизме: он был очень утомлен жизнью и все же старался жить. Я на минуту задумался; тогда мне показалось, что его нет в комнате. Вероятно, в древности такие люди подсказывали пророкам и шарлатанам миф о вознесении.

С Пикассо я встречался в годы войны. В его мастерской один угол был завален красками: сотни и сотни тюбиков. Пикассо рассказал мне, что у него часто не бывало денег на краски. Год назад он продал картину, ему хорошо заплатили. Он сразу побежал в магазин и на все деньги купил краски, оптом, не считая: он пуще всего боялся снова остаться без красок. Он работал исступленно. Мне казалось, что он не может видеть пространства, не записанного красками. Он писал на холстах, на картоне, на стенах мастерской, на створках дверей, даже на коробках от сигар. Окна его мастерской выходили на кладбище Монпарнас; он подолгу простаивал у окна, глядя на ровные ряды четырехугольных памятников. Он был суеверен, знал приметы андалусских бабок. Когда при нем произносили слово «змея», он водил двумя пальцами, стараясь скрыть это от других: он заклинал злого духа. У него висела большая картина Анри Руссо — мирная конференция,— похожая на сон ребенка; его мастерская

была заселена негритянскими божками, они выпячивали вперед свои круглые животики; в чужом искусстве он любил детскость. В жизни он был серьезен, порой угрюм. Когда при нем говорили о кубизме, он замолкал. Должно быть, он не понимал, как можно сделать из судьбы человека эстетическую программу. Он рассеянно слушал споры, поглядывая в угол,— там лежали тюбики с красками. Он знал, что под окном — могилы и что на свете много незаписанных плоскостей: он торопился распотрошить мир.

Модильяни жил на грани безумия: он не доверял вдохновению, зачастую он предпочитал ему гашиш. В своем творчестве он был прямодушен и ясен; его живопись напоминает мучительное детство. В жизни он был патетичен и беспомощен. Он носил вместо костюма пестрое тряпье. Итальянка Розалия, державшая крохотную харчевню на улице Кампань-Премьер, иногда кормила его макаронами. Круглые сутки он сидел в кафе и тонкими разорванными линиями рисовал портреты соседей. Все они были похожи на живые модели, и все они были похожи друг на друга. Он видел людей детьми, и я думаю, что жизнь представлялась ему детским садом, который устроили злые взрослые. Порой он пытался вырваться прочь. Раз он начал ломать стену своего дома. Он был не силен, но ярость помогала: как тряпку, он сорвал штукатурку, он начал разбирать кирпичи. Его пальцы были в крови. Он любил сидеть на темной лестнице; там он повторял предсказания Нострадамуса. Он был красив, походил на хищную птицу. Иногда он жаловался, кротко и застенчиво. Когда он узнал, что в России началась революция, он прибежал ко мне. Он обнял меня и начал восторженно клекотать (я часто не понимал, что он говорит). Он умер в нищете. Два года спустя он стал знаменит.

В 1918 году в Москве еврейская купчиха и меценатка устраивала у себя ужины для поэтов. К ней приходили есть; потом расплачивались — кто чтением стихов, кто вздохами, кто акростихами. Помню один из таких ужинов. Вячеслав Иванов, похожий на пастора, говорит о расхождении между принципами Франциска Ассизского и окружающей его действительностью. Хозяйка прерывает эти размышления горестным вскриком: кто-то пролил на скатерть красное вино. Бальмонт потрясает своими локонами и с носовыми

«ннн» твердит о «просветленной влюбленности». Молодые поэты старательно жуют осетрину. Вдруг открывается дверь. Входит бледный, изможденный человек. Он неуклюже сует кому-то руку. Садится. Хозяйка щебечет: «Может быть, вы прочтете ваши стихи?» Она еще не поняла, кто этот человек. Он, видимо, думает о своем. Он ломает хлеб и начинает есть с глубоким равнодушием. Потом он говорит о солдате с отмороженными ногами. Это Хлебников. Все замолкли и смотрят на смутное, доисторическое лицо, которое напоминает древние русские статуи.

Мейерхольд, как Модильяни, похож на птицу, но эта птица другой породы: она не вещает и не клюет, просто смотрит вверх. Когда Мейерхольд решил поставить «Ревизора», он сказал актерам: «Вы видите аквариум, в нем давно не меняли воду, зеленоватая вода, рыбы кружатся и пускают пузыри». Он ненавидит пустоту, стоячие воды, небытие, судорожную зевоту — все то, что русский народ произвел в звание черта. Он сказал мне, что в «Ревизоре» вспоминает Пензу своего детства. Искусство, уничтожая, создает; об этом нельзя забывать. Мейерхольд вдохнул душу в пустоту: он не мог играть в карты с «болваном». Его взаимоотношения с масками сложны: он их любит и он их опасается. Я видел, как он репетировал чеховские водевили. Он повторял слова, знакомые по десяткам любительских спектаклей; они казались новыми: вместо улыбки он прочел оскал. Он любит жизнь до слепоты: танцы, детей, вино, тяжелый богемский хрусталь, живопись Ренуара, духоту собраний, балаган, развороченные улицы новой Москвы — все, в чем есть шум, биение, вес, полнота. Он создал немую сцену «Ревизора» с ее невыносимыми куклами.

Я работал с ним в ТЕО. Он был тогда тяжело болен. Он разрушал бутафорию старого мира. Враги Октября его ненавидели. Люди, влюбленные в красоту, его не понимали. Любили его красноармейцы. Както они взобрались на сцену огромного нетопленного театра. Играли «Зори». Всеволод Эмильевич держал в руке сводку: «Перекоп взят».

Он мог бы хорошо сыграть одну роль. (Я помню, как он играл в старом Художественном театре Грозного; на репетициях он продолжает играть: он создал сотни ролей.) Наверно, он никогда не поставит «Дон Кихота», и уж во всяком случае он его не сыграет: он

слишком похож на него в том, что зовут «повседневной жизнью».

Я познакомился с Маяковским в 1917 году в «Кафе поэтов». Давид Бурлюк, густо напудренный, стоял с лорнеткой и отчетливо, чуть ли не по слогам повторял: «Мне нравится беременный мужчина». Потом начал читать Маяковский. У него была тяжелая челюсть борца, а глаза недопустимо мягкие. Он читал «Войну и мир». Публика — «недорезанные буржуи» — шумела. Маяковский сказал: «Скоро мне поставят памятник!..» Это происходило в двухстах шагах от той площади, которая теперь называется площадью Маяковского.

Он любил эстраду. Ему кричали: «Почему вы носите на руке кольцо, оно вам не к лицу!» Он отвечал: «Потому и ношу на руке, а не в носу». Ему кричали: «Ваши стихи не греют, не волнуют, не заражают». Он отвечал: «Я не печка, не море, не чума». Этого Маяковского знают все. Он казался человеком, уверенным в себе. Когда кто-нибудь ругал его стихи, он ночью шагал по комнате, чересчур маленькой для его длинных ног, и терзался. Он умел читать свои стихи в цирке перед многими тысячами и с глазу на глаз. Он читал их по-разному. Я слышал, как он читал «Флейту-позвоночник»,— казалось, Маяковский проговорился, люди боялись взглянуть друг на друга. При одной из первых встреч он повел меня в номер московских «меблирашек» и там прочел незадолго до этого написанного «Человека». Я глядел на гнусные обои и улыбался: я видел голенища, которые становятся арфами. Кончив читать, Маяковский вытер лоб, застенчиво улыбнулся и спросил: «Хорошо?» Он надписывал книги поклонникам: «Для внутреннего потребления». Он был чувствителен к любому взгляду.

Он любил эпитафию Франсуа Вийона:

И сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея.

Его прозаизмы были продиктованы глубокой стыдливостью. Он повышал голос:

Кто над морем не философствовал?

И тотчас же обрывал себя:

Вода.

Вероятно, поэтому он любил Париж: романтическая ирония там валяется под ногами. Я встречался

в Париже со многими советскими писателями. Они поглядывали на этот город слегка покровительственно: в нем нет небоскребов, и улицы в нем грязны. Маяковский бывал в Париже много раз, но никогда его не осматривал, он в нем жил. Он простаивал часами перед автоматами: это рулетка для бедных. Если поставить пять су на красный цвет, выйдет синий. Маяковский угрюмо глядел на диск,— казалось, он хочет понять его сущность. Он любил играть в чет и нечет, в орел и решку, во множество других простых и мучительных игр.

Он приезжал в Париж незадолго до смерти. Он сидел мрачный в маленьком баре и пил виски «Уайт хорс». Он повторял:

Хорошая лошадь Уйат хорс,
белая грива, белый хвост.

Он любил свой век и свою страну большой, мужественной любовью. Он был создан скаковой лошадью, часто он хотел быть битюгом. Он сказал как-то одному критику: «Вы думаете, я не мог бы писать хорошие стихи?» Он писал в то время замечательные стихи, но у него были свои счеты с поэзией. Все знают, как он наступил на горло песне: об этом он рассказал сам. Он не рассказал о другом, как песня наступила на горло ему. Он был полон стихами до смерти. Эта смерть показалась нам невероятной и случайной. Потом кто-то вспомнил, что Маяковский писал о ней, и не раз.

Я познакомился с Пастернаком в то самое лето, когда «ветер лускал семечки и пылью набухал». Он жил недалеко от Пречистенского бульвара в большом доме. Это было время «Сестры моей — жизни». Он читал мне стихи. Не знаю, что больше меня поразило: его стихи, лицо, голос или то, что он говорил. Я ушел, полный звуков, с головной болью. Дверь внизу была заперта — я засиделся до двух. Я поискал швейцара, но его не оказалось. Я пошел назад, но не смог разыскать квартиру, где жил Пастернак. Это был дом с переходами, коридорами и полуэтажами. Я понял, что мне не выбраться до утра, и покорно сел на ступеньку. Лестница была чугунная, под ногами копошилась ночь. Вдруг дверь раскрылась. Я увидел Пастернака. Ему не спалось, он вышел погулять. Я просидел добрый час возле той самой квартиры, где он жил. Он ничуть не удивился, увидев меня; я тоже не удивился.

Пастернак часто говорит междометиями. У него есть стихотворение «Урал впервые», оно похоже на восторженное мычание. Его жизнь можно назвать жизнью впервые. Она полна смутными ассоциациями. У него улыбка угловатого подростка, и он непонятен прежде всего себе.

Он приехал в Париж на конгресс писателей. Публика знала его скорей понаслышке. Он подошел к микрофону; тотчас же зал наполнился тем мучительным «ммм», которое у Пастернака предшествует речи. Зал сразу понял, кто перед ним: это было ощущение живого поэта, зубра, вымершего в Европе, большой совести, большой детскости. Меня всегда изумляет, что в трудные минуты Пастернак становится ребенком, тогда он находит силу. Он сказал об одном поэте слова настолько простые, что они могут показаться несуществующими: «Как же он может быть хорошим поэтом, когда он плохой человек?» Он сказал о поэзии: «Надо нагнуться — она в траве». Увидев впервые Париж, он сказал: «Это не похоже на город, это скорее пейзаж»,— он показал на серые стены, на крыши с трубами, на пятна афиш. Он все берет всерьез: шутку, цветы, чужую обмолвку. Для него жизнь куда сложнее, куда гуще, нежели для других; все время он ходит по непроходимому лесу. Иногда мне кажется, что у него лицо, исхлестанное до крови, и глаза, которые ничего не видят, хотя я знаю, что он замечает все, вплоть до неуловимой детали.

Помню, как Маяковский и Пастернак встретились в Берлине после долгого разрыва. Мы сидели втроем в кафе. Пастернак, как всегда, что-то бубнил: это было на грани между восторженным кудахтанием и стихами. Маяковский глядел на него и ласково улыбался: так Маяковский умел смотреть только на девушек. Он встретился с Пастернаком, как он встретился бы на улице с поэзией.

Когда Андре Мальро говорит, это как водоворот: фразы кружатся и засасывают. Его книги — монологи; герой всегда один, он нехотя меняет паспорт. Я часто работал с Мальро по ночам. Отрываясь от рукописи, он вдруг начинал говорить: спор с самим собой продолжался. Он красив, измучен, неистов. Он произносит речь о Тельмане. Потом летит в Алжир на митинг против фашистов. Потом возвращается в Париж, садится за маленький столик и равнодушно

глядит на азиатские маски. Он что-то бормочет: он пишет книгу; в такой-то раз он доказывает себе, что помимо него существует мир. Я никогда не видал человека, более забравшегося в самую толщу жизни и, однако же, более одинокого. Он не может разлюбить искусство. От этой любви он лечится работой, сухой и кропотливой. Нервный тик проходит по лицу. Руки сжимаются и душат воздух. Он очень редко улыбается. Иногда он смеется, как младенец. Он ввел во французский язык архаическое слово «фарфелю» — это нечто вроде «чудака». Героизм он описывает так, как будто примеряет смерть, и всякий раз, расставаясь с ним, я испытываю смутную тревогу.

Я должен сейчас рассказать о Бабеле, хотя бы потому, что Бабель не поэт, не кубист, не шаман, не человек, трагически закончивший жизнь. У него смешной нос, донельзя любопытный, он написал рассказы о Беньке Крике, он падок на жизнь. Казалось, ему не место среди этих воспоминаний. Когда я с ним познакомился, он сказал мне: «Человек живет для удовольствия, чтобы спать с женщиной, смеяться, есть в жаркий день мороженое». Я как-то пришел к нему, он сидел голый — был очень жаркий день, он не ел мороженого, он писал. Редко кто работает так мучительно, как Бабель. Я думаю сейчас о Флобере, о судьбе Бювара и Пекюше. Бабель всем в жизни увлекается; на самом деле он продолжает работать, даже когда ест фаршированную рыбу где-нибудь на Молдаванке. Он написал несколько тонких книжек; каждый день он находит в жизни несколько толстых романов. Его собственная судьба похожа на одну из этих ненаписанных книг: он сам не может ее распутать. Как-то он шел ко мне. Его маленькая дочка спросила: «Куда ты идешь?» Ему пришлось ответить. Тогда он передумал и не пошел ко мне. Он роет в жизни извилистые сложные ходы, как крот. Его нельзя пугать. Он любит беговых рысаков. Он не может скоро ходить: у него астма. Он много раз описывал любовь и смерть, он пропах ими, как псиной. Этот живой любопытный человек работает как монах, скрываясь то на конском заводе, то в избе. В Париже он снимал комнату у одной безумной старухи только потому, что там было абсолютно тихо. Старуха боялась Бабеля, он с лица похож скорее на Беньку Крика, нежели на Флобера. Ночью она запирала Бабеля на ключ, чтобы странный

жилец ее не прирезал. Он шел и на это: он сидел и писал. Осьминог, спасаясь, выпускает чернила; его все же ловят и едят — любимое блюдо испанцев: «осьминог в его чернилах».

Все, что я рассказал о людях, несхожих друг с другом, произвольно и случайно. Это не портреты. Я мог бы исписать сотни страниц, припомнить беседы, перечислить события, восстановить обстановку. Я не хотел здесь говорить ни о живописи Пикассо, ни о стихах Пастернака. Я не пытался передать походку Маяковского, который шагнул из духоты «Кафе поэтов» в эпос Магнитогорска. Я думаю об одном: о странной судьбе различных людей.

Бедный Гронский, он вряд ли понимает, почему потерял Надю. Он еще молод, возможно, он сделает замечательную картину. Тогда я по-другому увижу ночь в «Метрополе» и шарф, забытый на стуле. У человека, отдавшего себя искусству, нет биографии; даты рождения и смерти, встречи с людьми, радости и горести — это только иллюстрации; текст — в стихах, в холстах, в масках актера.

Писатель ходит по миру, как безработный, даже если он выпускает каждый год новую книгу. Другие заняты делом: они работают на заводах, тащат грузы, разводят злаки или червей; он бродит около. Он весь облеплен чужими страстями, как репейником. Человеческое горе знает, к кому пристать. Даже бродячая собака не пристанет к каждому: она понюхает человека, а потом или отбежит в сторону, или пойдет вслед. Не все радости, не все горести пристают к писателю, только те, что должны к нему пристать. Меня всегда удивляла басня о слоне и мухе. Почему человек обязан увидеть слона? Впрочем, слоны не пристают, они высятся как монументы; пристают мухи, и у каждого писателя мухи свои.

Книга рождается внезапно — от полноты жизни. Каждый мужчина знает те минуты, когда ему хочется, чтобы любимая женщина родила ребенка; это вне мыслей и вне объяснений.

На некоторых заводах существуют опасные цехи. Человеческое сырье при обработке способно вызвать взрыв. Оно отравляет писателя. При окраске металла из автоматического пистолета рабочий надевает маску и пьет молоко. Но писатель не знает противоядия. Полный бесформенных чувств, он придает этим чувст-

вам форму; тем самым он предопределяет свою собственную судьбу. Я как-то ночевал у знакомого скульптора. Я проснулся рано утром, мне стало не по себе: статуи были требовательны, они науськивали и стыдили. Сознание писателя похоже на мастерскую, где очень много статуй. Готовые формы подсказывают поступки. Редко писатель в книгах возвращается к своему прошлому, куда чаще он в них открывает свое будущее. Гоголь умер среди мертвых душ. Вокруг его изголовья толпились Плюшкины и Ноздревы. Он повторил в жизни то, что однажды ему показалось занятным и нелепым сном. Тему подарил ему Пушкин, героями его снабдила жизнь. Что он прибавил к этому, кроме своего дыхания, и почему за чужие судьбы он должен был расплатиться юродством, немотой, убогой смертью?

Минутами я с опаской гляжу на Кроля, на Гронского, на Вассу: мне кажется, что они хотят стать героями моего романа. Еще несколько статуй будут глядеть на меня по ночам, белые и настойчивые. Я забываю иногда, как звали моих героев, я могу спутать их голоса или цвет волос, но я помню каждую крупицу их чувств. Неужели книги — это только черновики, которые нам приходится набело переписывать в жизни?

Читая роман, человек от многого освобождается; писатель берет на себя то, что нестерпимо другим. Мы все же не безработные. У меня лежит грамота ударника, на ней подпись рабочего типографии. Я горжусь этим листком, он — справка о том, что я жив. Такую же грамоту я видел в комнате Павлика, она висит у него над кроватью. Мы с ним товарищи: он тоже работает в опасном цехе.

13

Жора увидал солнечное пятно на желтом крашеном полу и улыбнулся. Он еще не понимал, где он. Ему почудился запах воска и еловых шишек. Смутно мелькнуло лицо дяди Миши, лесничего,— Жора прожил у него год в начале войны. Затявкал вдали Цыганок. Потом кто-то дотронулся до руки Жоры, чуть выше кисти. Жора, все еще улыбаясь, поглядел на дядю Мишу; в рыжеватой бородке дрожало солнце. Тявкание смолкло. Жора теперь напряженно думал: что это на столе? Тоненькая стрелка дрожала на бле-

стящем циферблате. Больно было на нее глядеть. А дядя Миша?.. Жора вдруг смутился: не то, все не то!.. Он скосил глаза направо. Рядом лежал старик. Стена тускло посвечивала. Над Жорой стоял рыжий человек в белом халате. На Жору метнулись клочья света, слова, руки. Так бывает только во сне. Значит, он спит. Необходимо проснуться! Собрать все силы и крикнуть! Мельников приходил на завод... Кажется, он сделал глупость... Почему нельзя проснуться?.. Иногда снится, что выпадают зубы или что летишь вниз... Сейчас он проснется...

Оттопырив нижнюю губу, Жора мучительно выговорил:

— Сейчас я проснусь.

Рыжий человек ласково ответил:

— А вы уже проснулись. Только не утомляйтесь.

Этот благодушный басок привел Жору в себя. Тени сгустились; память затвердела. Он наконец понял, где он. Он вспомнил: будильник отвратительно тикал, Васса гладила наволочку, потом она сказала: «Приходил на завод». Что было дальше? Из серого тумана — это как дым в конце туннеля — выступило перепуганное лицо Калмыкова. Вычистят! Жора сказал вслух:

— Значит, конец!..

Рыжий человек усмехнулся:

— Напротив, теперь скоро встанете. Только не утомляйтесь.

Жора закрыл глаза: пусть думают, что он еще спит. Ему надо столько вспомнить. Он в вагоне, с ребятами, Файдыш говорит: «Жора, катай сто строк к посевной!..» Файдыш смешно мылит за ухом, как мышь. Потом Жора с Вассой. В фойе театра. Васса тихо спрашивает: «За что ты меня полюбил?» Жора смеется: «За то, что ты Васса — Вася-Кот-Васька...» Мельников говорил: «Разберем». У Тормазова пестрое лицо — наверно, веснушки. Впрочем, все это вздор. Главное — стрелялся. Что же, теперь надо расплачиваться!

Жора снова открыл глаза. Рыжий человек стоял возле аппарата с юркой стрелкой. Жора спокойно попросил его:

— Вы в ячейку сообщите, что стрелялся, они, может, еще не знают...

Рыжий человек ответил:

— Не утомляйтесь!

Я не могу продолжать рассказ. Я хочу проснуться,

как Жора, но это сильнее меня. Необходим воздух — холодный и бесспорный.

Когда-то человек думал: «Такой-то умер, такой-то, скоро и мой черед». Я жил в другое время: леса редели и весной. Мои сверстники умирали в окопах, на перекрестках улиц, у стенки.

Сейчас я думаю о других. Поэт Луговской мне рассказал, что теперь лечат скалы: в них впрыскивают известь. Людей от обвалов не лечили. Я помню с ранних лет: они вдруг исчезали. Потом кто-нибудь говорил: «веронал», или «на крюке», или «в грудь».

Когда мне было восемнадцать лет, я часто ходил к Тамаре Надольской. Она жила в мансарде. Мы глядели в маленькое окошко: внизу синел Париж. У нее были очень большие глаза. Как-то утром она подошла к окну и бросилась вниз. Это было весной. Год спустя, тоже весной, повесился Виталий. Он выдавал чужие стихи за свои; не так повернулся; не ту женщину обнял; не то сказал. Я пошел в грязный номер; вертелись мухи: внизу без остановки играл орган. Мы прикрыли лицо Виталия полотенцем; на полотенце были следы пальцев.

Таню Рашевскую я знал по московской организации. В Париже она училась медицине. Она позвала меня в гости, напоила чаем, вспомнила, как мы ходили на явки, потом почему-то сказала: «Все идет хорошо». Два дня спустя она отравилась. Я не был в Москве, когда умерла Надя Львова. Мне писали, что она застрелилась возле телефона, выронив из левой руки трубку.

Я часто встречался с художником Паскиным. Вокруг него всегда были веселые люди. Он сказал мне: «Мы с вами сделаем забавную книгу: вы будете писать мне письма, а я буду отвечать вам рисунками». Несколько недель спустя его отвезли на пригородное кладбище. Он провисел в мастерской два или три дня; никто об этом не знал. Он ходил с веселыми людьми, потом заперся на ключ.

Это все не то. Это не о Жоре, это о себе. Необходим воздух сухой, холодный, огромный. Он входит в человека, и человек твердеет. Я зову на выручку зиму, мужество, черствые будни, смех Павлика, бумаги Кроля, тень Шестова — накануне смерти Шестов смеялся и чертил план колонны.

У постели Жоры сидел следователь. Жора говорил:

— Я не хочу умалить мою вину, я говорю, чтобы

стало яснее. Я неправильно жил, не как коммунист. Мне говорили: «способности, способности», а способностей мало, нужна выдержка. Слишком легко ко всему относился. Мне давно надо было разойтись с Вассой. С ее стороны было настоящее чувство, а у меня ничего. Хочу сейчас вызвать что-нибудь воспоминаниями, и ничего нет. За это никто не отвечает. Но тогда, надо прямо сказать, я оттягивал. Думал — ради нее: боюсь ее огорчить. На самом деле и это было трусостью: боялся один остаться. Отсюда — все разговоры насчет денег. Я Тормазова ни в чем не обвиняю. Это как на собраниях: мне часто говорили, что я слова употребляю в другом смысле. Мало ли что я думаю, надо считаться с языком. Со стороны моя жизнь должна была выглядеть преступной. А я вместо того, чтобы распутать, еще дальше залезал. Когда я узнал, что на ячейке говорили, решил: вычистят. Нам револьверы дали, когда мы ездили в Березники... Положил на стол. Я еще днем думал это сделать. Потом успокоил себя: может, не так. Пришла Васса. Нервы окончательно разошлись. Она мне вдруг сказала, что Мельников спрашивал на заводе. Я подумал: значит, вычистят. Вот и все... Я знаю, этим ничего не исправишь. Я только хочу...

Следователь его перебил:

— Почему ваша жена придумала версию о покушении?

Жора не понял и переспросил.

— Ваша жена заявила, что она хотела вас убить на почве ревности.

Жора вскрикнул; по его телу прошла судорога. Следователь подбежал к двери и вызвал врача.

На следующее утро следователь допросил Вассу. Он сидел угрюмый за столом; показал ей на стул. Она села и сейчас же встала. Следователь на нее не глядел. Он прочитал показания Жоры, а потом сказал:

— Объясните, почему вы дали ложные показания.

Васса отвечала спокойно, только говорила тише обычного и глядела в угол:

— После того, как Тормазов выступил, Жора был в страшном состоянии. Я не могла к нему подходить просто как к мужу. Конечно, я его любила. Насчет Гали я вам правду сказала. Только об этом и говорить не к чему. Я знала, что он за человек. А товарищи его не берегли. Конечно, виновата я. Мне надо бы сказать Мельникову, в каком он состоянии, а я подумала, что

сама его успокою. Он настоящий коммунист, я это твердо знаю. У него такая минута — затмение. Он когда выстрелил, я подбежала, он говорит: «Теперь вычистят». Есть такие, что к этому спокойно относятся, а у него это вот здесь было. Я стою и не знаю, что же мне делать? Глупость такая, кричу: «Ступай за врачом»,— а самой страшно: врач придет, значит, узнают, тогда Жоре конец. Потом меня Калмыков спрашивает: «Ты что наделала?» Я даже не поняла, о чем он говорит. И вдруг такая мысль: возьму на себя. Пускай меня на работы пошлют. К печам другую приставят, а я могу и канал рыть. Я ведь знала, что для Жоры я — третье дело, он боялся меня обидеть, только поэтому и не уходил. Я подумала — он и без меня обойдется, лишь бы не вычистили!.. По глупости...

Ее голос дрогнул. Следователь строго сказал:

— А вы понимаете, что вы государство обманывали, партию? Вы — комсомолка, вам это особенно стыдно.

Тогда Васса не выдержала. Она еще боролась с собой, стараясь сдержать слезы, но все ее тело вздрагивало. Она рукой вытирала глаза.

Следователь поглядел на нее. У нее было лицо, полное горя и недоумения. Большая, она сейчас казалась ребенком. Он помнил ее спокойствие на прежних допросах. Он подошел к Вассе, насильно посадил ее на стул, поднес стакан к ее дрожащим губам, потом заговорил, тихо, почти шепотом:

— Конечно, глупостей ты наделала, но ничего, распутаем. Не к волкам, кажется, попала. Я с Кролем поговорю. Надо тебя на другой завод послать, чтобы разговоров не было. А сейчас иди домой, после такого надо отдохнуть.

Дней десять спустя врач разрешил Вассе свидание с Жорой. Врач знал, что это объяснение взволнует больного, и долго оттягивал его. Жора уже ходил по палате, читал, работал. Свидание состоялось в кабинете врача. Жору вызвали раньше. Он листал какую-то книгу — тела, покрытые язвами, красные мешки сердца и печени, разветвление сосудов, позвонки. Он нервно зевал, ему хотелось вздохнуть поглубже, но дыхание останавливалось. В маленькой комнате было жарко; пахло карболкой. Наконец пришла Васса. Они остались вдвоем; им все казалось, что они на допросе, не хватает третьего — за столом, с карандашиком.

Жора спросил:

— Как ты теперь будешь?

— Меня в Бобрики переводят. Не теперь, через месяц — я должна двух лаборанток обучить.

Они замолкли.

— Васса, я тебе много хотел сказать, только ничего из этого не выйдет. Я все время о тебе думал. Не понимаю одного — как это я не видел раньше?.. Ты калибра другого...

Васса почувствовала огромное спокойствие. Прошла вся напряженность этих недель. Она смотрела на Жору широко раскрытыми ясными глазами. Она не улыбалась, но ее лицо было готово к улыбке. Она сказала:

— Значит, не сердишься?..

Это было чересчур просто, и Жора не сумел ответить.

Потом он начал говорить о себе. Он как будто забыл про Вассу. Он судил себя за легкомыслие, за самомнение, за слабость.

— Теперь нечего скрывать. Ты думаешь, с девушками — это от чувств? Просто хотелось заткнуть пустые часы: когда не работал. Боялся один остаться.

Васса тихо сказала:

— Я тебя очень с моими чувствами мучила. Это по глупости.

Он вскочил. Он больше не мог сидеть. Комната была для него слишком маленькой. Он крикнул:

— Брось! Мне еще надо до такого дотянуться...

Потом он сел, задумался. Васса спросила:

— Как с учебой? Догонишь?

— Погоди! Я о другом хотел сказать. Я в газете прочитал сводку МОПРа. Коммунист один, Живкевич. Это в Югославии. Его допрашивали, где типография. Ногти на пальцах сорвали. А он молчал.

Васса вскрикнула:

— Мерзавцы!

— Нет, погоди! Я смотрю: «Восемнадцатого декабря». Понимаешь, в тот самый день... Я здесь — такую гадость, такую трусость... Слушай, Васса, мне так стыдно, я про это никому не скажу, подумают: кается, только тебе, вот сейчас, — так стыдно...

Сорвался голос. Васса положила руку на его руку. Они сидели молча. Потом она сказала:

— Это хорошо, что все так случилось. Теперь луч-

ше будет, увидишь. Залечат, сможешь по-настоящему жить. Да и я научилась. Ты одного, Жора, не забывай: я тебе всегда товарищ, я всегда...

Она не договорила. Прощаясь, они подали друг другу руки и вдруг поняли, что не могут так расстаться. Он обнял Вассу, неловко глядя вниз. Васса носом уткнулась в его шею. Они стояли, боясь разжать руки, не зная, что им сказать. Потом Васса высвободилась, она сказала: «Спи хорошо, Жора»,— и ушла.

Жора прошел в палату. Больные спали. Он стал возле окна. Была ясная февральская ночь, все небо было в мелких, но отчетливых звездах. Жора рассеянно улыбался. Он понял, что возвращается к жизни. Впервые он глядел на звезды ласково и спокойно. Они входили в тот мир, где Живкевич молчал, где дышала Васса, где была его молодость. Он знал, что впереди работа, частое дыхание, красный ком сердца, печь, реторты, счастье.

Васса медленно шла по улице. Было морозно, редкие прохожие бежали навстречу, похожие на странных зверей в седом узорчатом меху. Вассе некуда было торопиться. Она думала, что теперь она одна, надо все начинать сызнова, много работать. Ей не было холодно,— казалось, мороз горячит тело. Но мысли оставались ясными. Она вбирала в себя трудный, почти твердый воздух зимы, огромный, невыносимый, живительный.

Я хорошо знаю, что пережила Васса: меня спас тот же воздух — той же зимы, той же страны.

14

В этой книге я изменил имена живых людей, спутал топографию и хронологию; из лаборатории я сделал завод; я не описываю ни стройки, ни производства. Рядом с Кролем, с Павликом, даже с Гронским я могу показаться схематичным: они даны в объеме, я на плоскости, они живут, я только описываю или рассуждаю. Но говоря о себе, я ничего не меняю: я говорю только правду; конечно, я не говорю всей правды — я еще жив, живы и люди, с которыми связала меня судьба.

Разглядывая фотографии человека, заснятые в разное время, невольно ищешь повторения тех же черт, сходства, единства. Я вспоминаю себя в 1908 году.

Меня только что выпустили из тюрьмы. Косоворотка, стрижен бобриком. Читаю второй том «Капитала», составляю конспект. Гляжу непримиримо на родителей, на эсеров, на декадентские стихи, на танцы Дункан, на девушек, которые выходят замуж. Много читаю, но знание представляется мне сугубо прикладным, увлекает только действие. Читаю Куно Фишера, Авенариуса, книги о дарвинизме, историю Ключевского. К искусству отношусь как к постыдной слабости. Не смею никому признаться, что провел ночь над «Мистериями» Гамсуна. Думаю, что такие книги иногда необходимы: когда хочется есть, необходимы котлеты, но о котлетах не говорят.

1910 год. Одет в бархатную куртку. Провожу целые дни в музеях. Мне нравится Боттичелли. Второй год, как пишу стихи. Начал случайно: полюбилась девушка, она любила стихи; я промучился ночь и срифмовал несколько четверостиший. Денег нет, но вместо колбасы покупаю туберозы. Презираю действие: верю, что красота связана с созерцанием.

1915 год. Мне 24 года, на вид дают 35. Рваные башмаки, на штанах бахрома. Копна волос. Читаю Якоба Беме, Арсипресто де Ита, русские апокрифы. Ем чрезвычайно редко. Заболел неврастенией, но болезнью своей доволен. Ненавижу красоту. В стихах перешел на прозаизмы и на истерику; в жизни запутался. История вызывает во мне отвращение. Одобряю апостола Павла: он дробил античные статуи. Боттичелли мне кажется коробкой для конфет. Признаю Греко и кубистов.

1921 год. Только что написал «Хуренито». После четырех лет впроголодь ем много и часто. Защищаю конструктивизм. Во что бы то ни стало хочу быть человеком своего времени. Отрицаю абсолютные истины. Пишу об эстетике подъемных кранов. Когда становится невтерпеж, отдыхаю душой на Чаплине и на Пастернаке. Мне говорят: «Циник». Я не возражаю.

1935 год. Молоденькая девушка, работница фабрики «Коммуна», говорит мне: «После вашего последнего романа мы решили записать вас в комсомольцы...» Я хочу усмехнуться, но вместо этого широко улыбаюсь.

Какой путь я проделал? Его легко принять за круг. Вопреки всему, он кажется мне прямой линией. Я постараюсь об этом рассказать искренне и не дурачась.

Может быть, тогда станет яснее, почему я так настаиваю на воздухе.

Справедливость — это слово как будто отлито из металла, в нем нет ни теплоты, ни снисхождения. Иногда мне кажется, что оно из чугуна, иногда оно теряет вес, становится оловом. Его надо согреть своей страстью.

Ощущение несовместимости жило в моем детском мире. Я видал рабочих Хамовнического завода. Они спали, даже работая, с широко раскрытыми глазами,— казалось, они ничего не видят. Они молчали; только в цехе, где проверяли бутылки, ударяя о них палочкой, не замолкала грустная песнь. Иногда рабочие обливали керосином крысу, горящая крыса металась. Меня водили в Большой театр; сильфиды метались по сцене. Я не хотел ни крыс, ни сильфид. Я хотел правды; дни и ночи я проводил над микроскопом. Потом я увидал демонстрацию: шли студенты, рабочие. Я пошел с ними. Домой я вернулся оборванный: убегая от казаков, мы перелезли через забор. Отец, усмехаясь, сказал: «Надо прежде всего быть терпимым». Я ответил: «Нет». Я тогда твердо знал, что хорошо и что плохо.

Полюбив искусство, я потерял устойчивость. Меня смутил Блок. Я презирал даму со страусовыми перьями — я знал и этих дам, и эти перья. Но, как завороженный, я повторял:

Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

Я увидал живопись. Я еще смотрел на картины, как дикарь: что нарисовано? Я видел бессмысленную кровь, нагромождение трупов, нелепые одеяния. Но я чувствовал, что это необычайно хорошо. Я понял, что ложь может быть красивой. Тогда я почувствовал себя обокраденным. Нельзя жить условной истиной, как нельзя жить, если казнь откладывается с недели на неделю.

Я сидел на скамье парижского бульвара с Лизой. Мне было восемнадцать лет. Я говорил, что у меня нет больше цели. Париж мне казался легкомысленным до отвращения. Лиза подарила мне книгу; на первой странице она написала, что сердце надо опоясать железными обручами, как бочку. Я подумал: где же я возьму обручи? Я раскрыл книгу, это были стихи Брюсова:

Мне сладки все мечты, мне дороги все речи,
И всем богам я посвящаю стих...

Я начал жить беспорядочно и сбивчиво. Мальчиком я был в берлинском паноптикуме. Я держался за руку матери: восковые фигуры казались мне ужасными. Я принял сторожа за воскового человека: он стоял, не двигаясь. Потом он вынул большой фуляр и высморкался: я обрадовался этому, как спасению. Я не хотел жить искусством, я не мог от него уйти. Когда знакомые меня спрашивали: «Пишете стихи?» — я обижался: я хотел что-то делать, жить всерьез.

Я вырос в семье, где религия сохранялась только в виде некоторых суеверий. Понятие Бога пришло ко мне в те годы растерянности; «Бог» был псевдонимом: за ним скрывалась справедливость. Прежде я думал, что идея Бога связана с постным маслом, с кряхтением бабок, с невежеством. Вокруг меня были философы и поэты, они говорили на моем языке, но слово «Бог» казалось им естественным, как «жизнь» или как «смерть». Я зашел в католическую церковь. Меня изумило все: витражи, шепот исповедален, орган. Мне показалось, что для чувств найден некий строй. Я хотел во что-нибудь верить: я не знал утром, как прожить день.

Я прочел стихи Франсиса Жамма. Это было сочетанием языческого пантеизма с инфантильным христианством. Жамм писал о растениях, о свежести обыкновенного утра, об ослах. Я достал «Цветочки» Франциска Ассизского. Я вырос в городе, девять десятых моей жизни прожил в городе, но только вне города я начинаю свободно и легко двигаться, дышать не задыхаясь, смеяться без причин на то. В стихах Жамма оправдывался не только голубь, но и коршун. Я годами бился над тем, откуда приходит зло. Я не мог принять двойственность мира. Я ухватился за бога ослов и трав. Я поехал к Жамму. Он ласково встретил меня, угостил домашней наливкой. Я ждал наставлений, но он говорил об обыденном: он не был ни Франциском, ни Зосимой. Я понял, что это только поэзия, и с пустым сердцем вернулся в Париж.

Я помнил, что такое мужество, и с неприязнью думал о себе. Когда я брился в парикмахерской, я закрывал глаза, чтобы не глядеть в зеркало.

Франсуа Вийона я полюбил за то, что он возвысил человеческую слабость. Он еще дышал воздухом средневековья: запахом чумных кладбищ и церковных лилий. Но анонимному аду прежних веков он противопоставлял свой собственный, и его ад мог потягать-

ся с раем. Он был первым поэтом гуманизма, я еще застал сумерки этого длинного дня. Много времени я провел над переводами Вийона. Я работал в библиотеке Сен-Женевьевы или в кафе: дома было чересчур холодно. Баллады Вийона сливались с рыжими корешками книг или с глазами пьяниц, блестящими, как бисер,— трудно сказать, что больше шло к ним. Я повторял:

От жажды умираю над ручьем.
Я плачу от любви, смеюсь от пеней.
Я всюду дома, мой жестокий дом
Страна изгнанья, скорби и томлений.
Мне постоянство чудится в измене.
Мне из людей всего понятней тот,
Кто лебеденка вороном зовет.
Я сомневаюсь в явном, верю чуду,
Меня отчаянье вперед ведет.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Я переводил для того, чтобы не писать. У меня было слишком много чувств и слишком мало опыта, я понимал, что мои стихи монотонны. Я не хотел писать, всякий раз я сопротивлялся желанию, но стихи побеждали.

Я хотел жить, это мне не удавалось. Я сходился с людьми; они оказывались маньяками, сумасшедшими, призраками. Я работал, но мне попадались странные и случайные профессии. Как-то я остался вдвоем с пятилетней дочкой, я должен был ее раздеть. Она сторого сказала: «Не так — сначала лифчик. Ты ничего не умеешь делать...»

Война застала меня в Амстердаме. С трудом я пробрался в Париж. Железнодорожное сообщение было прервано. Я перешел границу. Было тихое утро: поля с жаворонками, с ромашками, с росой. Навстречу шли женщины с узлами: это были немки; они плакали. На полустанке человек, с остановившимися от восторга глазами, кричал: «Авиатор разбился!» Я ехал в теплушке с зуавами. Вдоль путей стояли женщины, они утирали глаза и совали в вагоны бутылки с вином. Было невыносимо жарко, солдаты пили и пели. Это напоминало пожар в джунглях.

Страшнее всего было остаться зрителем. Я решил пойти добровольцем, только чтобы не читать газет; меня не взяли. Под окном кричали: «Смерть!» За стеной плакала молоденькая женщина. Я лежал в морозной комнате, окруженный ворохом газет. Они

пахли краской, но меня преследовали галлюцинации запахов. Потом приехал художник Леже. Это огромный человек с наружностью мясника и сердцем пятилетней девочки. Он рассказал мне, как штыком, испачканным в крови, он открывал американские консервы. Я спрашивал: что делать? Люди цыкали: молчать. Прочитав статью Ромена Роллана, я на минуту почувствовал облегчение: он сказал то, что мы думали. Меня преследовал стыд: я все же оказался зрителем. Я хотел что-то делать, остановить других или умереть. Я голодал; неестественная приподнятость сменялась апатией.

Все сильней и сильней я ненавидел искусство. Несмотря на артиллерийскую канонаду, в мире было невыразимо тихо: ни одного живого слова. Поэты лгали; теперь я знал, что ложь не может быть красивой. Я сблизился с кубистами. Я никогда не воспринимал кубизм как поиски формы; для меня он был иконоборством. Так понимали его и первые кубисты. Конечно, они любили свое ремесло; стоя у мольберта, они забывали обо всем на свете; они могли восхищаться старыми мастерами. Но свою работу они ощущали как подвиг: это были террористы искусства. Мы хотели уничтожить красоту, которой прикрывалась чудовищная неправда мира. Я продолжал писать стихи. Я мечтал разрушить стихи стихами: у меня не было ни другого оружия, ни другой любви.

На стене билась припадочная тень Достоевского. Не понимаю, как можно его читать спокойно; я не могу держать его книги в комнате. Я видел отца Илюши, Мармеладову, которая, надрываясь, кричит детям: «Танцуйте», Дмитрия на суде, с его нечеловеческим лаем: «Сенбернары». Я хотел нестерпимого.

Идея Бога не покидала меня: это не было ни эстетикой, ни мистикой. Я не мог забыть о бессмысленных страданиях Иова. Я видел трусость, разбой, насилие. Я спрашивал себя, как могут люди поклоняться тому, кто преспокойно сказал, что он любит Иакова и не любит Исава. Я писал стихи; для меня это было все равно что биться головой об стенку. Царская цензура не позволяла мне произносить слово «Бог», она заменяла его четырьмя точками.

Я читал Леона Блуа. В его книгах целые страницы наполнены бранью. Его молитвы похожи на пасквили. Он никогда не знал меры, поэтому он мне нравился. Он рассказывал, как бывшая проститутка, молодая

и красивая женщина, пошла к дантисту: «Вырвите все зубы»,— она хотела оттолкнуть от себя человека, который ее любил и которого она любила. Все это вряд ли имеет отношение к искусству, но я хотел во что бы то ни стало проломить стенку.

Я увидал войну: окопы, английские склады провианта, лазареты, пикники «специальных корреспондентов», вшей, солдат с обожженными лицами. В Амьене итальянский журналист сказал мне: «Сегодня предстоит развлечение — расстреляют двух подозрительных субъектов». Я описал в газете, как светские дамы обращают в католичество сенегальцев. Меня хотели за это выслать из Франции. Я видел сенегальцев, они боялись пушечных выстрелов, они кашляли и плакали, как дети. Когда мне было пятнадцать лет, я ненавидел понаслышке; в двадцать пять я созрел для настоящей ненависти.

Я жил среди несчастья. Кто-то повесился. Какая-то девушка родила ребенка, ее затравили. Ни у кого из нас не было денег, мы пили стакан кофе крохотными глотками: один стакан на весь день. Я встречался с одной француженкой. Она сошла с ума и ночью взобралась на паровоз.

Иногда я ходил к русским меценатам. Они торговали чаем и называли себя эсерами. Они кормили поэтов и художников; навынос они ничего не давали. Я писал тогда «Стихи о канунах». Они спрашивали: «Кануны — чего?» Я не умел ответить. Я злобно щерился, ел жаркое, глядел на этажерку с безделушками (мне хотелось разбить все вазы), а потом начинал выть:

...Тебе поклоняюсь, буйный канун
Черного года!
Монахи раскрывали горящие рясы,
Казали волосатую грудь.
Но земля изнывала от засухи,
И тупился серебряный плуг.
Речи говорили они дерзкие,
Поминали Его имена.
Лежит и стонет, рот отверст,
Суха, темна.
Приблизился вечер.
Кличет сыч.
Ее вы хотели кровью человеческой
Напоить!..
...Раздайте вашу великую веру,
Чтоб пусто стало в сердцах!
И, темной ночи отверстые,
Целуйте следы слепца.

Я не умел глядеть вперед, я шел по следам, как зверь. Приходили русские газеты: трупы Галиции, балы Петербурга, объявления ресторанов, рассказы о безоружных «героях». Я видел снег, желтый от лошадиной мочи, твердые тулупы, кровь: это казнь Пугачева. Голова Емельяна на шесте. Кликуша вопит:

Прорастут, прорастут твои рваные рученьки,
И покроется земля злаками горючими!..

Я хотел рассказать о презрении, о страсти, о непримиримости. Но с кем я мог говорить? С Модильяни? С сенегальцами? С фонарями? Я думал: самое постыдное теперь — это искусство, и все же, ненавидя себя, я писал стихи.

...Он любит грустить вечерами.
«Вот вечер... снова...
Как у Лермонтова: отдохнешь и ты...
Хорошо быть садовником,
Ни о чем не думать, поливать цветы.
Утром слушать, как поют птички,
Как шумит трава над прудом...»
У Игоря Сергеевича две фабрики спичечные
И в бумагах миллион.
У Игоря Сергеевича жена и дочка Нелли,
Он собирает гравюры, он поэт.
Иногда он удивляется: «В самом деле
Я живу или нет?»
Вечером у Михеевых гости:
Теософ, кубист, просто шутник и председательница какого-то общества,
Кажется, «Помощь ослепшим воинам».
Игорь Сергеевич всем улыбается пристойно.
«Да покрепче».— «Еще стаканчик?»
«И Гоген недурен, но я видал Сезанчика...»
«Простите за нескромность — сколько он просит?»
«Десять, отдаст за восемь».
«О, кубизм, монументальность!» — «Только, знаете, это наскучило».
«А я, наоборот, люблю, когда вместо глаз такие штучки».
«Вы знакомы со значением зодиака? Я от Штейнера в экстазе...»
«Я познаю Господа, поеду в Базель».
«Если бы вы знали, как нуждается наше общество,
Мы устроим концерт. Это ужасно — ослепнуть навек».
«Новости? Нет, только взяли Ловчен».
«Надоело, я не читаю газет».
«Вот, вот,
А вы слыхали анекдот...»
Гости говорят еще много
Об ухе Ван Гога,
О поисках Бога,
Об ослепших солдатах,
О санитарных собаках,
О мексиканских танцах
И об ассонансах...

Я не понимал, что мне хочется писать прозу. Впрочем, дело не в прозе и не в стихах. Я искал, что можно противопоставить миру денег, спеси и лжи. Когда Павел Людвигович Лапинский рассказал мне о циммервальдской конференции, я взволновался. Но вскоре я снова погрузился в мое отъединение: я разучился понимать голоса живых.

Я сидел в «Ротонде» и писал стихи, когда прибежал приятель с газетой: «Государственный переворот в Санкт-Петербурге!» (Так стыдливые журналисты называли революцию.) До ночи я бегал по улицам: я искал радостных лиц, горячих рук, смеха. Но Париж жил, как всегда: лихорадочно и тоскливо.

Путь был долгий: через Англию, Норвегию, Швецию. Я лежал на палубе, была белая ночь. Ко мне подошел эстонец Рудди и сказал: «Замечена подводная лодка. У тебя в какой шлюпке место?» У меня не было места в шлюпке: шлюпок было чересчур мало. Я глядел на спокойное море и смутно улыбался: мне не хотелось умирать. Я по-своему видел революцию; я ждал улыбок и счастья. Я хотел свободы для каждого. (Я умирал от этой свободы, но она казалась мне неотделимой от понятия человека.)

Офицеры в Торнео встретили меня раздраженно: «Зачем их пускают?» Меня отправили в Петербург с конвойным, как арестанта. Солдат почему-то решил, что я монархист. Он говорил об этом на всех станциях, толпа улюлюкала. Петербург был растерян и злобен. Никто больше друг друга не обнимал. На Литейном стреляли.

Список заблуждений — вот мой послужной список. Еврей по происхождению, я вырос в Москве. Когда я ездил к моему деду в Киев, это было путешествием в чужой мир. Дед был набожным евреем, он жил среди семисвечников, талесов, молитвенников. У него я все делал невпопад: писал в субботу, задувал не те свечи, снимал фуражку, когда надо было ее надеть. В гимназии сверстники кричали мне: «Жид пархатый», они клали на мои тетрадки куски свиного сала. Я говорил: «Я — еврей»,— этого требовало самолюбие. В душе я не понимал, что отличает меня от других. Много лет спустя я разговаривал с одним товарищем о русской литературе. Он сказал: «Ты еврей, ты этого не поймешь...» Любовь к России была для меня запретной: может быть, поэтому я пережил ее с двойной силой.

Потом я потерял Россию: девять лет я прожил за границей. Я не помнил ни околоточных, ни купцов, ни дам в кондитерской Трамбле. Я издали любил страну детства и страну книг. Велика сила привычных слов: в октябрьские дни я поверил, что у меня отнимают родину.

Я вырос с понятием свободы, которое досталось нам от прошлого века. Я уважал неуважение, ценил ослушничество. Ребенком я читал только те книги, которые мне запрещали читать. Когда я таскал прокламации, я шел против сильных, это меня вдохновляло. Я не мог понять прямоты и жестокости нового языка. Он казался мне лепетом. Я не хотел разучиться говорить на том языке, где выбор слова иногда важнее самого понятия. Я ходил на собрания писателей: мы протестовали против «насилия». Я нашел новых «униженных». Чугун справедливости — или ее олово — висел на моих ногах. Я писал стихи: «Молитву о России». Мне казалось, что я снова иду против сильных. Я исступленно клялся тем Богом, в которого никогда не верил, и оплакивал тот мир, который никогда не был моим.

Зимою 19-го года я очутился в Коктебеле. Мне удалось выменять пиджак на воз дров. Я сидел у печи: была суровая зима. Я не спал по ночам, я слушал, как стонет норд-ост. Я почувствовал ход времени. Я вспомнил саркофаги Латеранского музея: изысканные, но ничтожные статуи последних античных мастеров и мощь «Доброго пастыря», высеченного неумелыми руками. Впервые прогресс человечества представился мне не бессмысленным блужданием взад и вперед, но спиралью, которая, развертываясь, рвется ввысь. О свободе писал Пушкин: это стихия, страсть, потребность всего, что дышит. Не о ней вздыхали завсегдатаи литературных «сред»! Я думал о судьбе моей страны. Я видал русских офицеров, которые пили за взятие Москвы поляками. Я понял, что позволяет босым и голодным красноармейцам побеждать. Увидав в Феодосии иностранных солдат, я вспомнил Париж, окопы, низость, ложь. Конечно, только ребенок может принять вопль роженицы за агонию, но перед историей многие из нас оказались детьми.

Я решил пробраться в Москву. В Тбилиси мне дали паспорт дипломатического курьера, три тюка с почтой и сопровождающего — военмора. Возле Владикавказа рыскали белые. Мы ехали бронепоездом. Потом воен-

мор купил мешок соли. Он боялся «заградиловки» и, показывая на соль, говорил: «Дипломатическая». Мешочники спокойно садились на тюки с почтой. Я кричал: «Вы сломаете печати», они даже не оборачивались.

Мне казалось, что я навсегда освободился от прошлого.

Я жил в нетопленной комнате, вода за ночь замерзала; у меня не было штанов, на службе я сидел в протертом летнем пальто. Я жадно глотал кусок колючего хлеба. Я был счастлив. Меня посадили в Чека: кто-то донес, что я тайный агент Врангеля. Когда меня освободили, моя комната оказалась занятой. Я поплелся в Дом печати; мне отвели комнату пролетарских писателей. Ночью, замерзая, я сорвал со стены полотнище и покрылся им. На моем одеяле значилось: «Вся культура пролетариату». Быт Москвы был загадочен. В Камерном театре играли «Принцессу Брамбиллу». Я видал, как в театр пришла одна женщина — на ней были военная шинель и шляпа со страусовыми перьями. В «магазинах ненормированных продуктов» продавали облатки химического чая. В кафе «Домино» имажинисты, экспрессионисты и ничевоки зловеще выли. Люди работали упорно и вдохновенно. Я читал курсантам Военно-химической академии лекции о поэтике и сидел над проектами кукольных театров. Иногда к ТЕО подъезжал выезд Дурова: санки тащил тощий верблюд. Мы устраивали спектакли для детей. Дети тогда были худыми и бледными, но они весело смеялись. Это было замечательное время! Ночи были темными, фонари не перебивали сияния звезд. На тротуарах было скользко, люди шли посередине мостовой, один за другим, гуськом, как караван. Они говорили или о самом простом — о восьмушке хлеба, или о самом высоком. В одну из таких ночей Пастернак прочитал мне стихи о Кремле. Я слышал скрип снастей и голоса бурана.

Я работал как все — залпом. Я научился дисциплине. Мою судьбу я связал с судьбой моей страны. Но некоторые слова продолжали обольщать меня: это развоплощенные души, которые ищут пристанища, паразитические растения — орхидеи или отвратительные грибы плесени.

Весной 1921 года я попал в Бельгию. Я жил на берегу моря, кругом были только дюны и ветер. Я написал «Хуренито» в один месяц, не отрываясь от блок-

нота. Впрочем, до этого я положил на него десять лет жизни.

Один из вымышленных героев «Хуренито» (его зовут Эренбургом) между «да» и «нет» выбирает «нет». Выбор был подсказан автором: я ненавидел то, что ненавидели люди моей страны, но я еще не умел любить их. Я видел лицемерие, угодливость, тупость. Огромные идеи казались мне костюмом, сшитым не по мерке. Идеи висели на вешалке, а люди ходили в перелицованных хламидах.

Рядом с боями, с нищетой, с ожесточенным трудом субботников искусство было оскорбительным. Я думал, что моя книга «А все-таки она вертится» — отрицание искусства. На самом деле она была апологией механического стиля. Татлин полагал, что его «Башня» нечто сугубо утилитарное, но вряд ли история зодчества знает более романтический проект: Совнарком должен был, заседая, вертеться. Мы глядели на салазки, на мостовые, по которым нельзя было проехать, на гнилые домишки и мечтали о небоскребах, о машинах. Так, наверно, романтики Америки мечтают о сельской тишине. Еще одна битва против искусства была проиграна. Поняв это, я перестал изучать телеграфный код, я вернулся к Стендалю и Гоголю.

Я пережил соблазн «вечных тем». Их «вечность» определяется стажем в пятьдесят или в пятьсот лет. Я не заботился о потомках, но мне хотелось отличить минутные прихоти человечества от его природы. Я думал: нельзя вечно жить в землянке; и тотчас же я возражал себе: нельзя на канате пить чай. Я много ездил: мне казалось, что я открою неизвестный мир. Я узнал запах дыма, который проникает в одежду, и тысячи лиц, которые через час забываешь. Я мстил Западу не только за миллионы судеб, за срам людей, я мстил ему также за мои сомнения. Уйти от него я не мог. Я знал каждый камень на дорогах Европы, каждый ручеек, каждое заблуждение. Я не писал для близких. Я писал против тех, которых ненавидел. Я продолжал жить словом «нет». Я увидел оскал нэпа, рвачей, сугробы Проточного переулка, нищенский лед и нищенские слезы людей, раздавленных историей. Старый мир еще жил и жаловался. Новые понятия были мучительными, как электричество в самом начале сумерек, когда смешиваются два разнородных света.

Искусство еще раз посмеялось надо мной. Я при-

глядывался к жизни европейского рабочего. Я видел, как конвейер уродует человека, его тело, его мысли, чувства. Я готов был предать анафеме машину: это было гипнозом формы — живой человек мучился, потому что его двойник, неисправимый художник, глядел на мир чувствительными до слепоты глазами.

Страшно жить отрицанием, не знать тепла множества рук, местоимения «мы», кровной связанности. За мои книги я расплачивался жизнью. Я говорил «нет» самому себе, близким, возможному счастью. Я был не только автором, но и персонажем.

Чем ближе подхожу я к настоящему, тем труднее мне говорить о себе. Жизнь человека складывается из многого: из идей, из невзгод, из встреч, из оплошностей. В 1931 году мне исполнилось сорок лет. Этот год показался мне обычным. Теперь я вижу, что он позволил мне жить дальше. Я сейчас оставлю многое в стороне, скажу об одном — об Испании.

Я видел немало стран, некоторые полюбил. Обычно они подтверждали то, чем я жил до этого. Испания подсказала мне нечто новое. Об этом путешествии я написал книгу, не стану сейчас к нему возвращаться. Я вижу суровое плоскогорье, камни, белье на веревках, вздуваемое ветром, лачуги, тревогу перестрелок; не это потрясло меня. Я встретил людей, которым невыносимо трудно жить, они улыбались, они жали мне руку, говоря «товарищ», они храбро шли на смерть ради права жить. Это было приготовительным классом новой школы, в нее я записался на пятом десятке.

Год спустя я приехал в Кузнецк. В «Дне втором» я писал о землянках и домнах. Я всегда думал, что нужно большое мужество для того, чтобы достойно жить; в Кузнецке я увидал, что моя страна нашла это мужество.

С этого времени я как будто помолодел. Я долго разыскивал миры, которые не значатся на картах. Я нашел человека, в нем оказалось все то, что я искал в идеях и в образах. Теперь, как тридцать лет назад, я знаю, зачем живу.

Ненависть далась мне много легче любви. Я не отказываюсь от ненависти: без нее нет жизни. Но я хочу сказать о другом. Давным-давно, в годы юношеских смятений, я надписал на одной из моих книг: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, но любви не имею, то я медь звенящая и кимвал

бряцающий». Я успел позабыть об этом эпиграфе: я давно распрощался и с апостолом Павлом, и с моею юностью. В прошлом году я писал за моего Геньку покаянное письмо. Я написал его залпом, как свое признание. В этом письме есть такие строки: «Коммунист должен товарищей любить — это уж самая простая вещь, без этого мы никакого социализма не построим. Я прочитал, что после смерти Ленина Крупская сказала: «Он народ любил». Я раньше не понимал этих слов, а теперь, как вспомню, дух захватывает: понимаешь, до чего это просто и трудно».

Я сказал, что прежде не мог освободиться от своего прошлого. Я думаю, что человек ни от чего не освобождается, он растет вширь, как дерево: кольцо нарастает на кольцо. Теперь я вижу, отчего чугунная или оловянная справедливость казалась мне прежде холодной. Нужны были не только удачи, но и обвалы, вывихи, годы немоты.

Я знаю, что в Москве легко встретить счастливых людей: инженеров, которые не умирают от рака, жен, которые не уходят от своих мужей, девушек, которым еще не приходилось плакать. Нигде, кажется, не видал я столько удачи и веселья. Если я выбрал трудные судьбы, то только потому, что люблю зиму и мужество. Я слишком долго жил в духоте, чтобы равнодушно дышать этим воздухом. Я узнал людей, счастливых не потому, что колесо рока вовремя повернулось, счастливых потому, что они — люди, счастливых наперекор горю, потерям, смерти.

15

Я не видал Кроля после смерти Шестова. Его соседка Коровина мне жаловалась: «Прежде все-таки знал, что надо пообедать. А как Надя уехала, прямо с цепи сорвался. Вы поглядите, какие у него мешки под глазами».

Я не успел рассмотреть Кроля, он сразу меня оглушил:

— Помнишь, я тебе показывал прибор, чтобы определять азот? Темпы черепашьи — максимум десять анализов за смену. Сегодня приходит Павлик, понимаешь — тот самый; оказывается, он сконструировал новый прибор — шестнадцать анализов. Вот тебе и Комарик!

Нет, Кроль еще продержится: кричит, топает, смеется.

(Самсонов мне рассказывал, как Кроля прошлой весной загнали к врачу. Тот выслушал, говорит: «Плеврит. Надо лежать». Кроль ответил: «Хорошо». А на следующий день укатил в Горловку. Самсонов его спросил: «Здоровье как?» — «Ерунда, вроде насморка, только что не чихаю».)

Закончив тираду о Павлике, Кроль тихо говорит:

— На четыре дня опоздала.

— Кто?

— Жена его — Наташа.

Я вижу Шестова, он шагает по Елисейским полям и смеется:

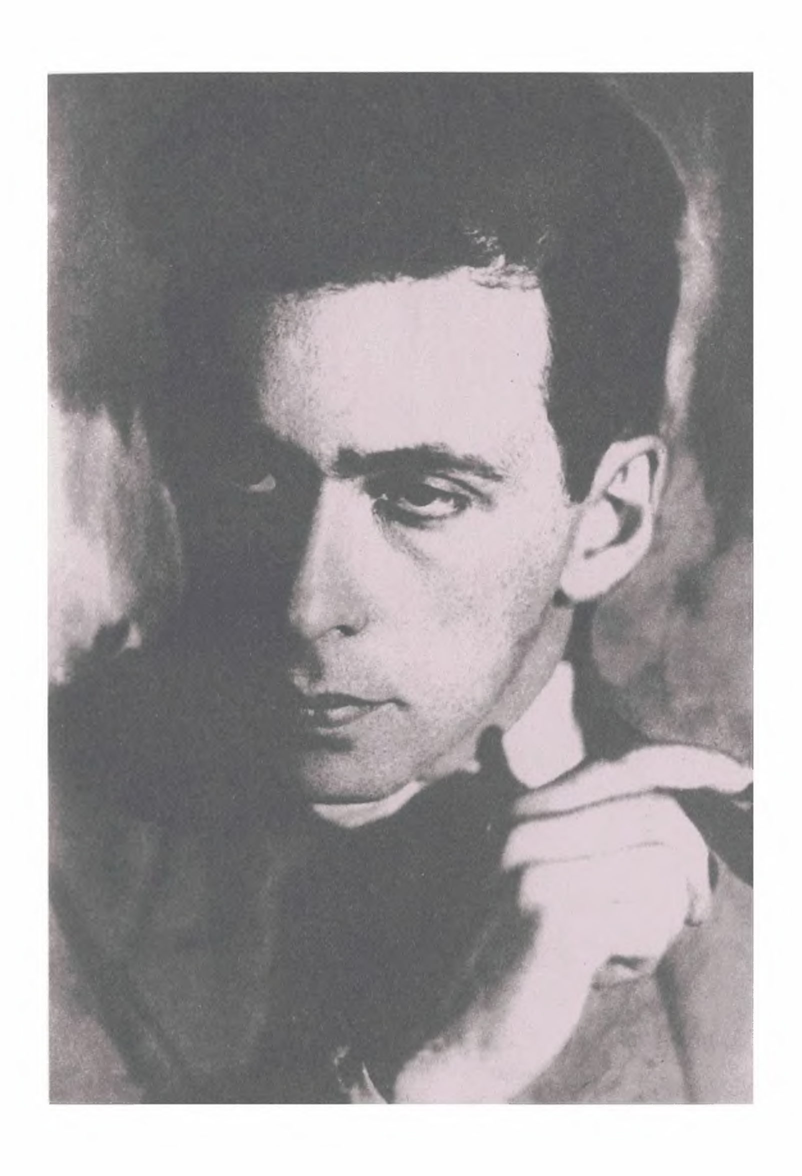
«Они счастья не стыдятся...»

Кроль тычет пальцем в стену:

— Здесь она — проект читает. Мы с его слов записали. Он ей письма оставил. Я дал письмо, хотел уйти, она говорит: «Оставайтесь». Спокойно прочитала. А я как вспомню, хочется кричать от злости: ну почему такой должен умереть? Я тебе не говорил, как мы из Полтавы выбирались? Мост надо было взорвать. Я будто с базара еду. А он отдельно пошел, у него бумажка была замечательная: «Всеми вооруженными силами». Его один подлец опознал. Это возле товарной станции. Почему-то мне неспокойно стало. Оставил воз, иду к водокачке. Трое их, терять нечего, я двоих сзади кокнул. Минута в минуту пришел. Он потом смеялся, что это его счастливая звезда. И понимаешь — от какого-то рака! Я у него накануне был. Шутил, что ему с Надей теперь поговорить нужно, он за границей в музеи ходил, какую-то картину видел... Не понимал он, что с ним...

Мы прошли в соседнюю комнату: Наташа сидела за бумагами. Ей лет тридцать, высокая, синие глаза, волосы темные, подстрижена, как мальчик, сзади вообще похожа на мальчика, говорит тихо, но отчетливо, иногда сразу замолкает, как будто не находит нужного слова. Она показалась мне жесткой. Я вспомнил Шестова, и мне стало не по себе. Постепенно что-то сглаживало резкость жестов, сухость слов, возможно — глаза или паузы. Но мое смущение не проходило: рядом был мир большой и замкнутый. Я не мог понять ни ее горя, ни решимости.

Кроль объяснял ей доклад Шестова. Она часто



Илья Эренбург. 1926 г. Фото М. С. Наппельбаума.



Обложка первого издания романа «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» (Париж, 1928 г.) работы Л. М. Козинцевой и Сениора.



Суперобложка польского издания романа «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» (Варшава, 1957 г.) работы Януша Станны.





Суперобложка английского издания романа «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» (изд-во «Элек-букс»).



Илья Эренбург. Шарж Адольфа Гоффмейстера (1927 г.).



Суперобложка повести «Москва слезам не верит» (изд-во «Советская литература», Москва, 1933 г.).



Илья Эренбург и его пес Бузу. Шарж Натана Альтмана (Париж, 1928 г.).

МОЙ ПАРИЖ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

Суперобложка альбома И. Эренбурга «Мой Париж» (Москва, 1933 г.) работы Эль Лисицкого.

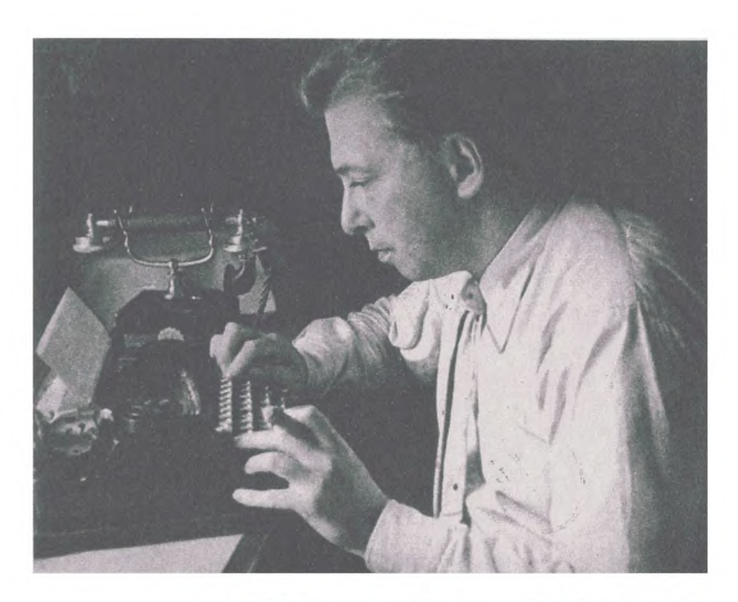


Илья Эренбург (Москва, 1933 г.). Фото Эль Лисицкого.

Париж, улица Котантен, дом 34, где И. Г. Эренбург жил и работал в 1930—1940 гг. Фото И. И. Эренбург (1983 г.).



Париж, кафе «Дом», где постоянно бывал Эренбург в 1924—1940 гг.





Илья Эренбург в своей парижской квартире на улице Котантен.

Титульный лист парижского (1933 г.) издания романа «День второй» (экземпляр № 33 композитора С. С. Прокофьева).

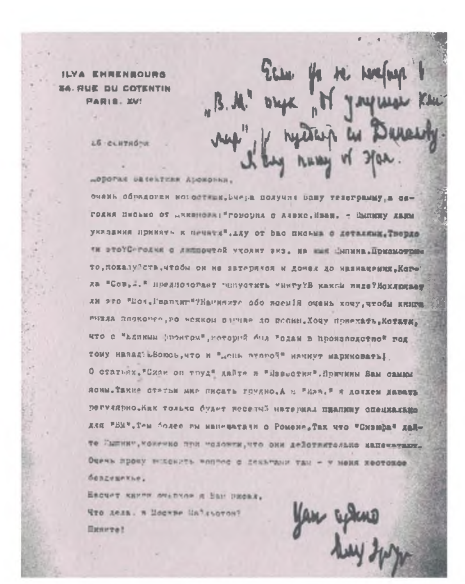
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

ДЕНЬ ВТОРОЙ

РОМАН

1933

Надпись на книге: «Сергею Прокофьеву дружески Илья Эренбург. 1933. Париж». Собрание Б. Я. Фрезинского.



ILYA EHRENBOURG
34, RUE DU COTENTIN
PARIS. XV°

[illegible]

26 сентября

Дорогая Валентина Ароновна,

очень обрадован новостями. Вчера получил Вашу телеграмму, а сегодня письмо от [illegible]: "говорил с Алекс. Иван. – [illegible] дали указания принять к печати". Жду от Вас письма о деталях. Твердо ли это? Сегодня с авиапочтой уходит экз. на имя [illegible]. Присмотрите, пожалуйста, чтобы он не затерялся и дошел до назначения. Когда "Сов. Л." предполагает выпустить книгу? В каком виде? Исключает ли это "Гос. [illegible]"? Напишите обо всем! Я очень хочу, чтобы книга вышла поскорее, во всяком случае до весны. Хочу приехать. Кстати, что с "Единым фронтом", который был "сдан в производство" год тому назад? Боюсь, что и "День второй" начнут мариновать!

О статьях. "[illegible] труд" дайте в "Известия". Причины Вам самой ясны. Такие статьи мне писать трудно. А в "Изв." я должен давать регулярно. Как только будет интересный материал, напишу специально для "ВМ". Тем более вы напечатали о Романе. Так что "Сизифа" дайте [illegible], конечно при условии, что они действительно напечатают. Очень прошу выяснить вопрос с деньгами там – у меня жестокое безденежье.

Насчет книги отзывов я Вам писал.

Что дела. в Москве [illegible]?

Пишите!

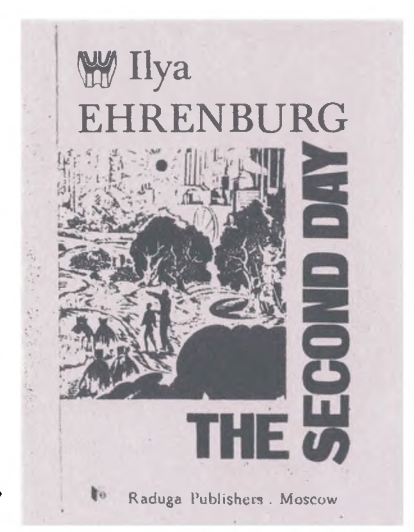
[illegible]

Письмо И. Г. Эренбурга его секретарю В. А. Мильман об издании романа «День второй».



Суперобложка первого советского издания романа «День второй» (1934 г.) работы П. Павлинова.

Суперобложка романа «День второй» работы В. Козлинского (1935 г.).



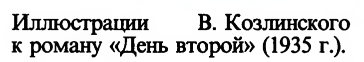
Обложка романа «День второй» работы В. Королькова (1984 г.).











Иллюстрации В. Козлинского к роману «День второй» (1935 г.).

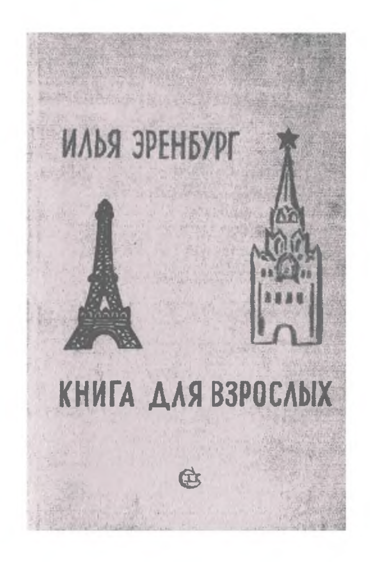








Суперобложка и иллюстрации А. Г. Тышлера к роману «Не переводя дыхания» (Москва, 1936 г.).



Обложка «Книги для взрослых» работы Натана Альтмана (1936 г.).



Иллюстрация к «Книге для взрослых» работы художников В. Богорада и А. Сергеева (Ленинград, 1990 г.).



Илья Эренбург. Рисунок Ю. П. Анненкова (Париж, кафе «Дом», 1934 г.).

переспрашивала, видимо, хотела понять каждую деталь. Я оставил их над чертежами. Я узнал колонну: я ее видел прежде на клочке бумаги, неумело заштрихованную Шестовым. Теперь она красовалась на огромном листе; отдельные части были залиты зеленой и красной краской.

Странная женщина! Я видел таких — давно, когда на улицах громоздились сугробы, когда стреляли по ночам, когда непонятно и мучительно отдавался в сердце одинокий гудок паровоза. Я сразу понял, что не смогу забыть Наташу. Я стал расспрашивать про нее, я ничего не узнал: молчание стояло вокруг нее, как морозный туман. Позднее мне удалось узнать об одном эпизоде ее жизни.

Это было на Урале в 1930 году. Наташа тогда училась в металлургическом институте. Много времени она отдавала комсомолу: приходилось чуть ли не одной составлять местную газету. Ячейка в институте работала плохо, комсорг Ефимов был туп и труслив. Товарищи не любили Наташу; вероятно, она их стесняла своей напряженностью, внезапным молчанием.

Весной приключилась глупая история. Из лаборатории исчезли ценные приборы. Заподозрили студентку Торцову. Улик против нее не было, но Захарченко сказал, что Торцова часто ходила одна в лабораторию. Здесь вспомнили, что у Торцовой неблагополучно с происхождением. Наташа сказала: «Я Торцову знаю, хорошая девушка, никогда она этого не сделает. А происхождение тут ни при чем». Дня через три выяснилось, что приборы стащил Гусев. Торцову все же исключили за происхождение. Наташа обругала Ефимова. Тот давно подбирался к Наташе: она раздражала его своей прямотой, резкостью. Он выступил с обвинением: Наташа пропустила в газете две статьи с неправильной оценкой бригадного метода; она берется за работу, с которой не может справиться, достаточно вспомнить, как ее высмеяли в подшефном колхозе; наконец, она защищает социально чуждые элементы.

Наташа спокойно выслушала все, потом обвела глазами товарищей:

— Вы что же, не доверяете мне?

Все молчали. Ефимов усмехнулся и вытащил из портфеля кипу бумаг. Один студентик с нежными, полудетскими глазами угрюмо сказал:

— Ясно, что не доверяем.

Захарченко спросил:

— Ты-то сама какого происхождения?

Отец Наташи был телеграфистом. Его расстреляли белые. Она ответила коротко:

— Дочь служащего.

Она сидела молча, ни на кого не глядя.

Захарченко сказал:

— Я ей говорил: «Надо с братвой жить». А она мне ответила, что не любит таких слов. Служащий служащему рознь. Никакая она не комсомолка!

Ефимов держал газету: злополучные статьи были отчеркнуты красным карандашом.

Наташу исключили из комсомола. Из института ей тоже пришлось уйти.

Товарищи, встречаясь с ней, отворачивались. Она ходила по городу как чумная. Профессор Шведов сказал ей:

— Вы их чем-то раздражили. Хорошие ребята, но, конечно, не психологи. Уехать вам надо.

Она поспешно ответила:

— Нет.

Потом улыбнулась и добавила:

— Насчет колхоза Ефимов правду сказал. Да и вообще, если они мне не доверяют, это моя вина. Значит, все надо начинать сызнова.

Сестра звала Наташу в Новосибирск. Наташа заставила себя остаться. Рядом с институтом строили машиностроительный завод. Она стала землекопом.

Часто в середине дня ей казалось, что она не выдержит. Время было трудное: пустые щи, морозный барак; обещали валенки и не выдали. Она работала в молодежной бригаде, она была единственной девушкой. Парни сквернословили, рассказывали о своих проказах: «Увеличиваем народонаселение республики». Наташу они прозвали «монашкой». Когда оказалось, что она за декаду выкопала больше других, они говорили: «Ну и монашка»,— нельзя было понять, хвалят они ее или смеются.

Наташа работала угрюмо и ожесточенно. Ей хотелось доказать товарищам, да и самой себе, что она заслуживает доверия. Она сказала шоферу Граеву:

— Я хоть без билета, а комсомолка. Этого у меня никто не отымет.

Она встретила Торцову. Та шла под руку с каким-то человеком и радостно улыбалась. Она сказала Наташе:

— Это мой муж. Он монтажник. Летом в Москву поедем. Я надеюсь — в вуз попаду.

Наташа ответила:

— Это хорошо.

Когда Наташа осталась одна, она уныло подумала: как же Торцова вышла за рабочего? Лучше самой выкарабкаться... Потом она прикрикнула на себя: нечего других судить — вот и ей товарищи не доверяют...

(Я был у Наташи. На столе — книги: Ленин, атлас северной флоры, изданный в Швеции, письма Розы Люксембург из тюрьмы. Карточка Шестова. Мешочки с семенами. Тетради. Мне кажется, что она живет сурово и непоправимо.)

Граева прислали из Москвы для укрепления работы комсомола. Наташа жила одна, мало с кем встречалась. Она обрадовалась Граеву. Он рассказывал о Москве, балагурил. Это был веселый человек, медный от загара, с серыми ласковыми глазами. Как-то под вечер он зашел к Наташе:

— Я тебя научу машину водить!

Они ехали лесом. Граев сказал:

— Гляди, как тормозить надо...

Грузовик вдруг остановился. Наташа вздрогнула и закрыла глаза.

Проснувшись на следующее утро, она улыбнулась; она еще ничего не соображала, но ей было весело: она поверила в счастье.

Так прошел месяц. Наташа сидела у Граева. Он вдруг сказал:

— Ребята смеются, что я с тобой гуляю. Пускай! Ты, может, комсомолка и неважная, зато девушка хорошая. Вот поженимся, поедем в Москву.

Он ее обнял. Она высвободилась и тихо сказала:

— Оставь.

Он спрашивал, почему она рассердилась. Она не отвечала. Она сразу поняла, что любит Граева и что должна от него уйти. Он робко говорил:

— Да что ты, Наташа?..

Наконец она сказала:

— Я и девушка нехорошая. Ты меня лучше забудь.

Она пошла к себе в барак. Ей повстречались похороны. Хоронили рабочего со стройки. Впереди шла музыка. Гроб был открытый, и мертвец равнодушно покачивался. За гробом шла молодая женщина с груд-

ным ребенком. Она его кормила, наверно, чтобы он не кричал. Она не плакала, глаза у нее были светлые и пустые.

Это было в июле. Осенью Наташа сидела на трибуне в президиуме: ей вручили почетную грамоту. Ее снова приняли в комсомол. Товарищи по институту ее поздравляли. Она напряженно и глухо думала о Граеве. Два раза он написал ей: говорил, что любит, звал в Москву. Уходя на работу, она брала эти письма с собой. Но Граеву она так и не ответила.

Я сейчас пишу это и вижу лицо Наташи: порой оно твердеет, даже глаза теряют привычную мягкость. Почему она оттолкнула Граева? Когда-то только легкость подымалась над землей, только птицы с их крохотным горячим сердцем. Теперь рядом с птицами, выше птиц летают огромные машины. Их сердца мучительны и сложны, как бессонница. Есть косноязычные поэты, твердая, каменистая земля, люди, которым трудно жить.

С Шестовым Наташа встретилась в 1933 году. Она тогда училась в Тимирязевской академии. Кроль говорит, что они не любили друг друга. Впрочем, что может знать Кроль? Шестов говорил о печи или о Митьке, который ловит рыбу. О себе он не говорил.

Телеграмму Кроля Наташа получила на опытной станции. Телеграмма была составлена осторожно: «Шестов вернулся командировки заболел ничего угрожающего сообщите когда предполагаете быть Москве». Наташа хотела тотчас же ехать. Заведующий ее удерживал: она должна была вскоре закончить наблюдения. Она послала телеграмму Шестову: «Телеграфируй здоровье». Ответа долго не было. Потом Наташа узнала, что телеграмма пролежала неделю в пустой квартире. Наконец пришла срочная от Кроля: «Если можете приезжайте». Она выехала на следующее утро. До деревни ее довез заведующий. Они молчали, куски снега больно били лицо, от лошади шел густой пар.

Она сидела в Доме колхозника и ждала лошадей: до станции было свыше двухсот километров. Пришел председатель сельсовета:

— Лошадей только завтра можем дать: сегодня почту отправили.

Наташа поглядела на него. Тогда он быстро заговорил:

— Что с вами, товарищ? Захворали?

Она ответила сухо и безразлично:

— Нет. Горе.

Кроль ей дал письмо. Шестов писал:

«Дорогая моя, хорошая Наташа!

Андрей сегодня сказал, что ты скоро приедешь. Это нехорошо, хотя я очень хочу тебя видеть. Но я теперь не в обычном виде, не такой, которого ты знаешь.

Андрей скрывает от меня все. Я тоже говорю им глупости. Если ты приедешь, я и с тобой не смогу об этом говорить. Если начать, то сразу кончаются другие разговоры, а пока живешь, хочется говорить о живом — о работе.

Не могу глядеть на Андрея — так он это переживает! Ты его не знаешь. Он с виду, может быть, нелепый, но какое у него сердце — я не умею это описать.

Я очень волнуюсь — успею ли толком все рассказать. Собственно говоря, это можно сделать в один присест, но они почему-то растягивают. А разве я могу отвечать за мой организм? Это вопрос дней.

Я начал письмо вчера, но не мог больше писать. Недавно ушли Кроль и Самсонов. Я хотел тебе писать утром, но удержался, чтобы не расходовать силы. Боюсь, что бестолково все излагаю. Сейчас нарисовал план колонны — кажется, Самсонов не так понял насчет колец, а это очень важно.

Сегодня попросил достать бумажник из пиджака. Там твоя карточка. Ты на ней веселая, хорошо выглядишь. Это когда мы ездили в Звенигород — помнишь, Шура снимал? Ты тогда вывалялась вся в сене, на карточке, конечно, не видно, но я помню. У тебя хорошая работа! Я, конечно, человек отравленный, то есть моего аммиака я ни на что на свете не променяю. Но когда я гляжу на твою карточку, я понимаю, что ты должна заниматься именно растениями.

Опять доктор помешал! Сказал, что они не придут. Черт знает что! Не понимаю, как можно этим рисковать? Если они и завтра не придут, я скажу прямо, что нельзя тянуть. Ты знаешь, я лежу один и все думаю: успею? не успею? Нелепо вышло! Нельзя понять. Собственно говоря, и понимать нечего. Обидно, что сразу после поездки. Конечно, поскольку имеется Кроль,

я могу не беспокоиться. Но лично мне горько, не удастся развернуть все как задумали. Если я не сплохую, поездку можно считать оправданной. Ты ведь знаешь, как трудно было провести командировку. Когда я закрываю глаза, все время вижу воду, очень много воды, все качается. Я хотел бы тебе написать целую книгу, но сил нет, приходится обрывать.

Вчера закончили! У меня такое облегчение, как будто я выздоровел. Даже доктор заметил, что я лучше выгляжу. Андрей сказал, что еще придет, но это проведать. Теперь все в порядке!

Слушай, Наташа, теперь я должен поговорить с тобой. Это тоже очень важно. Я стараюсь писать, как будто ты сидишь рядом. Если я начну обдумывать каждое слово, выйдет совсем не то. Я даже не перечитываю, что написал,—чтобы не порвать.

Я вот сейчас думаю, что я тебе не сказал самого главного. Перебираю все наши разговоры, я знаю, что мы часто это чувствовали, а говорить не говорили. Мы ведь оба неразговорчивые, то есть я говорю о чувствах. А сказать это надо, именно теперь. Когда так лежишь один, все приходит в голову—путаница страшная. Я сейчас вспомнил, как мы с тобой катались на лодке. Это еще до всего. Помнишь, я зашел в Тимирязевку? Вижу это, как будто вчера было. Ты бросила грести, говоришь: «Гляди». Я посмотрел—изумительно! Какое-то освещение было особенное. Я видал в Париже такую картину, но тогда было еще лучше. Ты была вся розовая. Так когда подымешь ладонь и солнце просвечивает. Мне тебе хотелось много сказать, но ничего не вышло. Для таких вещей нужны какие-то другие слова, не знаю, откуда это берется.

Это одно. Потом еще—когда ты пришла ко мне в Левшинский. Ты знаешь, у меня тогда готовая фраза в голове сидела: «Большое счастье жить!» Тоже не сказал. Кажется, только уговаривал тебя, что рано, можешь еще посидеть. Ты ушла, я подошел к окну, тени еще длинные—утро, мальчишка бегает с собачонкой. Мне почему-то грустно стало: как же я ничего не сказал? Потом думаю: ничего, успею еще сказать. А теперь нельзя больше откладывать: если теперь не скажу, значит—никогда.

У меня здесь много свободного времени, всю жизнь переглядел. Об этом писать незачем. Ну и глупостями занимаюсь: сосчитал—мы с тобой поженились в

июле. Выходит 17 месяцев, отсюда вычти — я 4 месяца был в командировках, да ты еще три месяца. Остается 10 месяцев, меньше года — вот сколько мы были вместе. Мало по сравнению с жизнью! Но я тебе обязательно должен сказать, Наташа, что это правда — большое счастье жить! Мне доктора говорят: «У вас много сил». Я не могу им объяснить, что и здесь твоя рука сказывается: стоит подумать о тебе, как сразу становится легче.

Я много старше тебя, дело не в годах, но такое было время — гражданская война и потом. Ужасно, что не могу сейчас тебя защитить от этого удара! Ты будешь это читать с мукой, а я хотел бы и сейчас тебя чем-нибудь порадовать. Я помню, мне твои подруги по Тимирязевке говорили: «Наташа угрюмая, никогда не смеется». Ты — со стороны поглядеть — железобетон, а сердце у тебя другое. Наташа, ты помни, что большое было, а значит, и есть — ведь ничего мимо не проходит! Потом, у тебя настоящая работа, товарищи и мои слова, что был очень, очень счастлив, что сейчас с тобой, обнимаю, как тогда, не думай, что больной, тот прежний, ты помнишь, как ты его называла, а я тебя люблю так просто, так крепко, так по-молодому, так, чтобы никогда не расстаться! Прощай, моя дорогая, моя самая дорогая Наташа.

Твой *Борис*».

16

Изобретение Павликом нового прибора было отпраздновано не только бодрым притопыванием Кроля, но настоящей вечеринкой с ужином и танцами. Павлик позвал меня и, скромно улыбаясь, добавил:

— Фрака можете не надевать — президента Уругвайской Республики, к сожалению, не будет.

Сперва вечеринка была задумана по случаю отъезда Павлика: он давно мне говорил, что его посылают в Бобрики. Но здесь приключились непредвиденные события. Началось все с разговора на кухне: Долина и Калмыков обсуждали последнюю сенсацию — оказывается, Жора стрелялся. Калмыков говорил, что Васса «добрая баба, но деревенщина», а Долина злилась: «Они друг друга стоят, обоих надо в лагеря послать!» На шум пришел Павлик, он постоял, помялся, а потом произнес целую речь:

— Тезис первый: азот — важнейшая область нашей промышленности. Можете прочесть передовую в «Правде». Кстати, «Правда» — ЦО. Тезис второй: Васса — лучшая лаборантка. Можете спросить товарища Кроля. Кстати, товарищ Кроль орденоносец. Тезис третий: для успешной работы необходимо спокойствие. Поэтому вношу предложение всякие разговоры о происшедшем прекратить. Воздержавшихся нет. Принято единогласно.

Долина и Калмыков опешили. Павлик улыбнулся и тихо сказал Долиной:

— Оставь ты Вассу! Конечно, она глупостей наделала, но мало ли что случается?..

Вечером Павлик пошел к Вассе. Он долго стоял у двери, не решаясь постучаться. Васса ему обрадовалась. Он рассказал о своем приборе. Потом позвал Вассу к себе:

— Чай будем пить, как раньше...

В комнате Павлика стояла большая кровать с блестящими шариками. Прежде Павлик спал на козлах. Васса рассмеялась.

— Это что?

— Приобретение ввиду наступившей легкости жизни. Ребята смеются: «Мог бы костюм справить или погулять». А я люблю поваляться. На мягком сны совершенно другие — не тот материал. Мне недавно такое приснилось, что и в кино ходить незачем. Пришел к нам на завод бегемот и все раскидал. Кроль бежит за ним, а бегемот смеется, последнюю колонну примял. Кроль вдруг встал на ящик и говорит: «При таком давлении дело вовсе не в сопротивляемости материала, а в методах». Но бегемот как ляжет на крышу — трах... Здесь я проснулся. За такие сны и триста рублей не жаль отдать.

Васса хохотала до упаду. Павлик даже не улыбнулся. Кончил, потом объяснил:

— Это я недавно в зоопарк ходил — у меня натура впечатлительная.

Посидели. Вдруг Васса говорит:

— Я тебе, Павлик, завидую: хорошо, когда на сердце нет никакой ерунды...

Павлик поглядел искоса на Вассу и ничего не ответил.

Васса ушла. Он лег на кровать с блестящими шариками. Он не спал: думал о Вассе. Ее отправляют

в Бобрики. Зачем ему ехать?.. Здесь тоже в связи с установкой прибора много дела... А в Бобриках будет трудно: может прорваться...

На следующий день он пошел к Кролю:

— Андрей Миронович, может, мне не ехать? Здесь с прибором придется повозиться...

Кроль ответил рассеянно:

— Ладно, оставайся.

Несколько дней Павлик не видался с Вассой.

Потом она зашла к нему:

— Что же тебя не видать? Я соскучилась...

Он снова ночью не спал. Ему казалось, что необходимо поехать в Бобрики: там ребята сонные, следует их расшевелить. Он сказал об этом Кролю. Кроль решил, что Павлик переработался; хотел было его обругать, но вдруг усмехнулся:

— Хочешь в Бобрики? Поезжай.

Павлик ходил теперь к Вассе каждый вечер. С ним она забывала свое прошлое. Но как-то нашла на нее тоска. Она укоряла себя в малодушии: сама наделала, надо самой и расплачиваться. Она перед следователем плакала, он ее пожалел. Ее теперь все жалеют. Так нельзя жить! Почему Павлик сидит с ней? Тоже жалеет. Опустив глаза и теребя край скатерти, Васса сказала:

— Почему ты на меня время тратишь?

Павлик тихо ответил:

— Не сердись! Это последние денечки, скоро ты в Бобрики уедешь...

— Да ведь и ты туда едешь?

— Насчет меня — это еще неизвестно.

Ночью Павлик думал о Березниках: Самсонов говорил, что там контактный цех тоже отстает. Почему бы ему не поехать в Березники?..

На этот раз Кроль рассердился:

— Тебе не в Березники надо, а в клинику для психопатов, понимаешь?

Вечеринка состоялась через два дня после этого разговора. Я шел с неохотой: буду стеснять других, ведь самому старшему из товарищей Павлика нет и тридцати.

Васса в тот вечер была особенно хороша: в зеленой вязанке, бледная, с едва намеченной, слабой улыбкой. Она походила на выздоравливающую: такая неуверенность сказывалась в каждом жесте. Сидела в углу, мало разговаривала. Серые глаза подолгу останавли-

вались то на лампочке, то на стакане, то на ряби танцующих. Они передавали легкий испуг, детское изумление. Казалось, она сама еще не верит, что живет. Когда она вошла в комнату, ее руки были чуть выброшены вперед, как будто она идет впотьмах, проверяя смех, возгласы, воздух.

Вначале все чинно сидели, говорили о заводских делах. Кроме меня и одной смешливой девушки, которую звали «Чижиком», все были с азотного завода. Они видались друг с другом каждый день. Может быть, их смущало мое присутствие. Я не знал никого, кроме Павлика и Гали.

Павлик чувствовал себя хозяином. Он показал на стол, заставленный закусками и бутылками: «Прошу!» Потом с невозмутимой серьезностью сказал:

— Надо будет сходить на выставку. Прежде художники выставляли предпочтительно портреты, ввиду отсутствия других моделей, например колбаски или сига. Теперь, надо думать, появятся натюрморты. Вы, товарищи, не остерегайтесь, это не магазин пластмассы в иранском стиле. Вывеска «Из витрины не продается» сдана в исторический музей. Гляжу, и не верится, что я когда-то съел моего Комарика...

Расселись. Меня Павлик посадил рядом с Галей, он шепнул:

— Она без сопровождения.

Напротив сидел человек в очках. Галя мне сказала, что это Варганц — комсорг. Варганц что-то объяснял Чижику. Павлик подтрунивал над Варганцем:

— Сейчас скажет: слушали — съесть ли балыка? Постановили: ввиду улучшившегося положения съесть. Он и с девушкой так: слушали — поцеловать ли? Постановили: обождать до конца кампании по внедрению здорового семейного быта. Я видал, как он за одной девушкой ухаживал. Она к нему подойдет: «Вася! А Вася!..» А он сейчас же: «Изложи обязанности пионервожатого». Так он ее и замариновал.

Варганц стал оправдываться:

— Что ты выдумываешь? У меня с той дивчиной ничего и не было. Просто я не люблю говорить о бытовых проблемах. А когда я что-нибудь чувствую, это совсем иначе. Можешь Чижика спросить...

Чижик густо покраснела. Варганц понял, что наговорил лишнего, стал кашлять, снял очки и наконец буркнул:

— Ты, Павлик, в этих вопросах ничего не понимаешь!

Галя все время смеялась. Я помнил, как она ушла от меня в слезах. Я спросил:

— Отчего вы сегодня такая веселая?

— Ни от чего — потому и веселая. По-моему, это лучше всего, когда без причины...

Я прислушался к разговору. Соседка Гали рассказывала:

— Я ему сказала: «Если трусишь, я с тобой по улице не пройду». Что же ты думаешь? Он четыре часа в Тушине простоял, пока не подняли. Вечером является и будто вскользь говорит: «А я сегодня с парашютом спускался. Ерунда!» Ждет, что я ему отвечу. Сзади Мишка стоит, не может сдержаться — хохочет. Кажется, все на заводе знают, что у нас с Мишкой дело решенное. Только он проглядел...

Галя рассмеялась, а потом сказала:

— Я летом спускалась. Хорошо! Я завидую парашютисткам: несколько минут, зато какие!

Вдруг Васса сказала:

— Как же мы за Павлика не выпили? Надо его поздравить с изобретением.

Варганц чокнулся с Павликом и спросил:

— Ты что же, надолго в Березники?

— Я, кажется, не в Березники — в Бобрики. Надо еще раз Кроля спросить. А насчет прибора вот что: шестнадцать анализов — это тоже мало, весь метод отсталый, нужно что-то новое придумать. У нас в контактном...

Я вспомнил Кроля — Кроль может спокойно умереть. Васса улыбнулась:

— Ты, Павлик, как будто родился для аммиака.

— Откровенно говоря, я водолазом мечтал быть. Только там одну чечевицу выдавали, а я чечевицу не люблю, хотя поп у нас рассказывал, что этой чечевицей какого-то святого соблазнили. Думаю — куда же мне податься? Как человек практический...

Варганц перебил его:

— Одним словом, Комарик.

Начали танцевать. Галя взобралась на подоконник и открыла форточку. В комнату ворвалась теплая сырость. Она постояла молча, потом слезла и сказала мне:

— А я вас послушалась.

Я не понял и удивленно поглядел на нее.

— Собралась с духом, отрезала. Вот как вы тогда сказали: «Держу процесс в руках...»

На минуту она стала серьезной, потом снова улыбнулась.

— Я после того разговора о вас думала. Вот ни на капельку вы меня не старше, честное слово!

Я рассмеялся:

— Ну-ну, а танцевать я все-таки не умею. Когда-то танцевал, только тогда танцы были другие, например падепатинер.

— Как? Падепа...

Она не могла договорить от смеха.

Я оглядел комнату: тесно, дым, среди дыма сверкают глаза, зубы, люди кружатся, смех, шум, кто-то поет, кто-то показывает, как мычит корова, на Варганца надели бумажный колпак — весело, вот просто весело, как Галя сказала «ни от чего».

Я подошел к окну и услышал четкий счет капель: дзинь, дзинь — оттепель была внезапной и бурной.

Разошлись часа в три — это было под выходной. Варганц быстро увлек Чижика, сказав, что ему необходимо потолковать с ней о заводской библиотеке. Другие разошлись парами без объяснений. Павлик пошел со мной. Мы сперва проводили Галю, она жила рядом. Потом пошли через весь город ко мне. Бульвары чернели; от них шел таинственный гул: все капало, текло, звенело. Павлик расстегнул пальто и смущенно улыбался. Я спросил:

— Значит, едете в Бобрики?

Он нахмурился.

— Да. Теперь твердо. Раз Кроль говорил о Бобриках, надо ехать в Бобрики.

Он стал рассказывать о работе. Мы шли мимо пустыря. Он остановился; мне показалось, что он нюхает воздух.

— Здесь строить будут. Клуб с театром... Читали в газете, что теперь «Ромео и Джульетту» поставят по-новому? Они в конце, вместо того чтобы умереть, вскакивают и танцуют. Смешно! А клуб выйдет хороший. Да и вообще...

Он махнул рукой. Снег был слабым, виноватым. Шум продолжался: шла большая невидимая работа. Снова Москва кружила мне голову. Я видел широкие проспекты, сумасшедший свет, а люди кружатся в розовом тумане, как недавно кружились гости Павлика.

Павлик сказал — никогда до этого я не слыхал от него таких признаний:

— Не хочется мне в Бобрики. Значит, нужно ехать именно в Бобрики.

Он меня растрогал, я решил ответить шуткой:

— Записываемся в спартанцы?

Мы распрощались возле моего подъезда. Я вошел, закрыл стеклянную дверь, хотел подняться наверх, но замешкался: поглядел, не забыл ли спички. Вдруг вижу, что Павлик стоит возле самой двери и как мальчишка пробивает ногами лед на лужах. Лицо у него озабоченное, даже сердитое, будто он занят важным делом.

Я открыл дверь и окликнул его. Он смутился, начал рассказывать, что обронил ключ. Потом поглядел на меня: я смеялся. Тогда он тоже рассмеялся, схватил мою руку и неуклюже потряс ее.

17

Субботин был низкого роста, весь рыжий от веснушек. Он старался говорить с весом, по нескольку раз повторял одно и то же слово, делал значительные паузы, саркастически улыбался.

— Но, товарищи, вся эта история с давлением в пять тысяч атмосфер чистейшая авантюра. Какой материал может выдержать подобное давление? Такого материала, товарищи, нет. Он, может быть, приснился товарищу Кролю. Крупповская сталь и та никогда не выдержит подобного давления. А колонны? Специалисты справедливо сомневаются в колоннах. Это не то, я говорю — это не то, что нам нужно. С давлением в тысячу атмосфер мы имеем нечто реальное, а пять тысяч — это утопия. Необходимо оздоровить обстановку, обстановку, я говорю, необходимо оздоровить.

Раздались хлопки.

Пока Субботин говорил, Кроль стоял у двери. Ему хотелось крикнуть: «Ерунда»,— но он сдержался. Он неловко взобрался на трибуну. Он поглядел на людей, которые только что аплодировали Субботину, и ему стало скучно. Он начал объяснять устройство колонны.

— Дело не в материале, дело в...

Председатель его прервал:

— Пожалуйста, закругляйте.

Кроль сердито захлопнул папку.

— О колоннах нельзя говорить мимоходом, а особенно людям, которые вообще никаких колонн не видали, кроме как колонку у себя в ванной. Поэтому, наверно, и хлопают. Я хотел вам объяснить устройство: это система концентрических кругов. Но вы не хотите деталей, пожалуйста. Я просто спрошу: нападут на нас или нет? Ясно, что рано или поздно нападут. Можем мы вести оборону без азота? Очень просто, что нет. Вы говорите: «эксперимент». В Октябре тоже такие умники были, хотели, чтобы все шло по шпаргалке. А здесь надо уметь выдумать и еще не пойти на попятную, когда на каждом шагу слышишь: «авантюра» или, того почище, «вредительство». Да о чем тут толковать!..

На следующий день Кроль увидал в газете статью «Довольно экспериментов!». Он сразу понял, что это об аммиаке. Автор статьи утверждал, что при давлении в пять тысяч атмосфер получается не аммиак, а «неизвестная смесь водорода с азотом», что колонны никуда не годятся, что подобное производство отличается сложностью, а кадры не подготовлены. В конце имелась фраза, которую Кроль слыхал накануне: «Это утопия».

Инженер Малинин пришел к Кролю, заикаясь от волнения, сказал:

— Андрей Миронович, я думаю, насчет колонн — это правильно, то есть возможно, что это правильно. Может быть, нам надо...

Кроль его оборвал:

— Нам ничего не надо, а вот вам надо, и понимаете, валерьянку — прежде дамы глотали...

Я зашел к Кролю. Он сидел мрачный, не притопывал, не размахивал ластами. За весь вечер ни разу не сказал «понимаешь». Он коротко рассказал о кампании против нового метода добывания аммиака, помолчал и добавил:

— Вдруг оказываешься один...

Я знаю Кроля с гимназической парты. Наши пути разошлись: он пошел прямо, у него зоркие глаза, суровое сердце, крепкие ноги. Я блуждал теми тропинками, которые не помечены ни на одной даже самой подробной карте. Я часто терял его из виду, часто я был так далеко от него, что его голос казался мне нечеловеческим: шорохом газеты или скрипом станка. Я привязался к нему, я люблю в нем страсть, верность, простоту. Но никогда я не чувствовал его таким близ-

ким, как в тот вечер: драма аммиака на одну минуту оказалась драмой искусства.

Мы должны идти впереди, иначе мы и не нужны никому; нас любят за эту поспешную походку, за глаза, которые видят вдалеке то дерево, то кучу облаков, за порывистость дыхания. Нас любят за это с легким запозданием — иногда в год, иногда в сто лет. В нас любят то, что для нас самих уже стало воспоминаниями. Мы хотим быть с людьми, но часто мы отделяемся от колонны: это профессиональный долг. Сильные продолжают идти впереди, слабые отходят в сторону. Я хорошо знаю эти боковые тропинки: они ведут к равнодушию или к отчаянию.

Маяковский как-то прочел мне:

Я хочу быть понят моей страной.
А не буду понят —
что ж?
По родной стороне
пройду стороной,
как проходит
косой дождь.

Он зачеркнул эти строки: он был прямым дождем. Я хочу научиться у него, у Кроля, у моей страны достойно переживать не только теплоту понимания, но и холод одиночества.

Кроль продолжал ожесточенно работать. Он работал, когда к нему пришел Павлик. Кроль сердито спросил:

— Едешь?

— Завтра еду.

Павлик не уходил. Кроль гаркнул:

— Тебе что?

Павлик протянул ему тетрадку.

— Посмотрите, Андрей Миронович, правильно я написал или нет?

— Это еще что? Стихи?

Павлик рассмеялся:

— Разве я могу стихи писать? Я гляжу на вещи реально, как теперь выражаются — реалист. А это я для газеты написал, нельзя без ответа оставить. Только не знаю, как получилось, я ведь и прозой в первый раз пишу.

Кроль начал читать. Павлик приводил данные о температуре колонн, потом рассказывал, как комсомольцы усвоили технологию. Статья кончалась так:

«У нас в опасных цехах каждый аппаратчик знает: стоять на месте до конца. Все наше производство — это опасный цех Республики: мы не усваиваем, а начинаем. Значит, мы можем ответить: стоим до конца!»

Кроль не выдержал и улыбнулся:

— Здорово! А ты в конце распишись, так полагается. Потом с запятыми что-то не то, покажи Самсонову, у него глаз наметанный.

Он поглядел на Павлика и ласково прорычал:

— Эх ты, Комарик!..

Это было 26-го вечером, 27-го на заводе произошел взрыв. Кроль был во дворе. Он кинулся в цех.

— Что?

— Крышку разорвало.

Кроль увидал огонь. Он еще плохо соображал — что? где? Его руки опередили голову, он схватил пожарное одеяло и накинул его на аппарат. Он заревел:

— Гаси в траншее!

Павлик оказался под крышкой, его вытащили. Через двадцать минут произошел новый взрыв: не выдержала труба, заполненная водородом. С огнем быстро справились. Галю понесли в директорский кабинет: она валялась без чувств. Кроль сказал Павлику:

— Везет тебе!.. А теперь ступай домой, надо отдохнуть.

— Отдыхать после будем, нужно все в порядок привести, газы-то здорово нахулиганили.

В девять часов вечера Кроль поднялся к себе: опасности больше не было. На лестнице он встретил уборщицу Машу; она несла хлеб. Он взял у нее каравай и перочинным ножичком отрезал большой ломоть.

Когда Галя открыла глаза, она увидала Кроля: он сидел на письменном столе и старательно жевал хлеб. Увидав, что Галя зашевелилась, он спросил:

— Как?

Галя не отвечала.

— Плохо?

Тогда Галя вдруг приподнялась и быстро спросила:

— Погасили?

Кроль кивнул головой и улыбнулся: он не был одинок. Он подошел к Гале:

— Ты как?

Теперь Галя тоже улыбалась.

— Ничего, отосплюсь, завтра на работу выйду.

Дня через три после взрыва Кролю принесли теле-

грамму. Он не успел ее прочитать — его вызвали в контактный цех. Вернувшись в кабинет, он подумал: что-то я должен сделать?.. Да, телеграмма!.. Он прочел: «При проверке Бобриках неочищенный газ дал сто процентов выхода аммиака тчк присутствовали представители Академии наук Института азота Кузмин». Кроль стоял посредине комнаты, сжав кулаки и часто моргая,— это было победой. Он побежал в цехи. Он показывал телеграмму инженерам. Самсонов раз сто сказал «хорошо». Потом устроили собрание. Кто-то крикнул: «Качать Кроля!» Кроль отбивался: «Всех надо качать...» Он взлетел вверх, как огромный мохнатый зверь. Над головами рабочих он улыбнулся и махнул ластами.

Он никак не мог успокоиться. Домой он пришел поздно; что-то напевал. Ему хотелось еще кому-нибудь рассказать о телеграмме. Он посмотрел: у Коровиных — свет. Он тихо спросил:

— Не спите?..

Вошел и сразу загрохотал:

— Поздно я... Как живете? Ребята как? А у меня, понимаете, приятная новость. В Бобриках проверили — сто процентов выхода аммиака. Вот вам и утопия!

Коровина сказала:

— Вы сегодня хорошо выглядите, давно таким вас не видала.

Кроль просидел несколько минут, беспомощно улыбаясь. Потом Коровина стала рассказывать о балете, она накануне была в Большом театре:

— Такие они грациозные...

Кроль вскочил:

— Вы не сердитесь — надо еще доклад просмотреть.

Придя к себе, он сел за стол, достал бумаги. Он рассеянно поглядывал по сторонам. Вдруг он оторвал четвертку листа и стал писать:

«Дорогая Надя!

От тебя никаких вестей, я очень волнуюсь. Ты напиши хоть два слова — здорова ли? Я тебя об этом очень прошу».

Он смял бумагу. Поворчал: «Нет вестей, значит, все хорошо». Заставил себя прочитать две странички доклада, но мысли путались. Он поерзал на стуле, прошел к окну, постоял там, снова сел за стол и, поняв нако-

нец, что работать не сможет, поплелся назад к Коровиным. Он виновато сказал:

— Что-то сегодня не получается... Мария Сергеевна, расскажите, как у вас там с балетом?..

18

Когда Надя вышла из дома, где жил Гронский, жизнь ошеломила ее. Ей показалось, что она долго была в темной комнате. Она не понимала, что с ней, но все ее движения были спокойными, точными. Она сразу затерялась в озабоченной толпе московского утра. Эта уверенность была вне сознания, она шла изнутри.

На углу Арбата она остановилась: надо понять, куда она идет. Показались мысли простые и жесткие: нельзя ходить с чемоданчиком, нужно оставить на хранение, пойти к Кошелевой — на время пустит, потом — на завод. Работать, не думать, жить, обязательно жить!

Она с любопытством разглядывала прохожих. Рабочие, студенты, старик с девочкой, снова рабочие, школьники. Она шла, как все. Когда она шагала рядом с другими, ей казалось, что она спешит, что у нее есть свое дело, своя судьба.

Вечером она сидела с Кошелевой. Кошелева, громко глотая простывший чай, говорила:

— А Орск? Ведь это никелевая независимость!..

Надя вдруг изумилась: она со вниманием слушает Кошелеву. Какое ей дело до никеля? Вчера в это время, у темного окна, снимая платком муть, она поджидала Гронского...

Только сейчас она подумала о Гронском. Она подумала о нем ласково, но издалека: как он проснулся?.. Это было последней заботой — не причинила ли она ему горе?

Она снова слушала Кошелеву. Весь день она старательно прислушивалась к чужой жизни, к обрывкам фраз на улице, к басу дежурного инженера, к рассказам Кошелевой. Это было ясным, понятным: можно тронуть рукой, можно дунуть — и не рассыплется.

Ночью Надя тревожно подумала: почему она была с Гронским? Она искала недавней приподнятости, лихорадки, счастья. Вместо этого мелькали отдельные слова, матрос, васильки, сломанная папироса. Вдруг ей показалось, что она набрела на ответ: она вспо-

мнила волосы Гронского. Она даже протянула руку, но тотчас же ее отдернула. Нет, жизнь не это, другая на ощупь, иначе пахнет!.. «Чтоб вместо рук сжимать ремень окна...» Она привстала, съежилась от напряжения. Мучительно она пыталась что-то припомнить, но несвязные минуты походили на раскиданный шрифт. Она громко сказала: «Андрей»,— и вздрогнула: она могла разбудить Кошелеву. «Никелевая независимость...» Кажется, у Кошелевой этого никогда не было... Надо работать, спокойно, упорно, не думая ни о чем другом. Она почувствовала, что очень устала. Она не спала ночь накануне; теперь, наверно, три или четыре... Ее лицо было мягким, как будто развязали все узлы. Закусив угол подушки, она еще раз шепнула: «Андрей».

На следующее утро было то, о чем она мечтала: завод, работа, полузнакомые лица. Иногда она вздрагивала: это был смутный страх перед ночью. Ночь пришла, и Надя снова спрашивала себя: что это?.. Перед ней был Кроль, он топотал, смеялся, брал Надю на руки, говорил: «Понимаешь — люблю». Надя в темноте улыбалась. Она знала, что никогда не вернется к Кролю. Она повторяла: «Никогда!» Она старалась обидеть себя: «Из рук в руки...» Говорят, если принять веронал, снятся замечательные сны. Но теперь утро — холодный воздух, холодная вода умывальника. Надо забыть про счастье!..

Мысли о Кроле стали приходить днем: Кроль не боялся ни грохота машин, ни резкого света. Он говорил с Надей, хвалил за работу, утешал: «Все уладится». Иногда он тихо окликал: «Надя!» Тогда Наде казалось, что она теряет голову.

Как-то Кошелева ушла в театр. Надя сидела одна. Она вдруг почувствовала, что Кроль сильнее. Вот она сидит, должна сидеть: этого требует самолюбие, ее правда, гордость. Но Кроль повторяет: «Надя!» Сейчас она побежит сломя голову в Милютинский, позвонит. Кажется, сердце разорвется от счастья... Она сурово говорила себе: «Никогда!» Она звала на помощь память, слова, звуки. Ее губы шевелились: голова снова заполнялась стихами:

...Притиснут к стенке и опознан —
Откуда он, откуда шум,
Вцепилась бы зубами в воздух,
Чтоб день еще и наобум...

Утром грохотали прессы, товарищи говорили: «Хорошая погода», был резкий отчетливый свет. Задыхаясь, она еще плыла среди гула. В шесть вечера она стояла на углу Милютинского. Она думала: на минуту, скажу, что за письмами, все равно что, только бы увидеть, сейчас же уйду... Она позвонила. Звонок был невыносимым, он гудел, как огромный колокол, отдавался в голове, стучал в висках. Она прислонилась к косяку, чтобы не упасть.

Кроль работал. Услыхав звонок, он подождал — может быть, Коровина откроет. Потом встал, нехотя пошел в переднюю. Он настолько растерялся, увидав Надю, что не смог ничего сказать. Надя тоже молчала. Так они простояли минуту или две. Вдруг Кроль засуетился:

— Что же ты стоишь? Заходи. Как раз к чаю... Это хорошо, что ты пришла, очень хорошо...

Он подумал: говорю глупости, надо что-то другое сказать... Но ничего другого он не мог придумать. Зачем-то налил чай; потом, топоча, обошел вокруг Нади.

— Плохо выглядишь. Ты что, стихи пишешь?..

Надя улыбнулась. Она не могла понять, почему все так легко и просто. Часто она говорила себе: если мы встретимся, это будет ужасно... Но вот Кроль сидит рядом, он рассказывает об испытании в Бобриках, о взрыве — «Павлик молодец!..»

Она послушно повторяла за ним: «Молодец». Она сейчас верила, что Павлик важнее всего. Она очень переменилась за последние недели: в ней появилось взрослое равнодушие к своей судьбе и вместе с тем детская старательность. Она не думала о своем горе, она видела огонь, улыбалась Гале. Кроль о пожаре говорил, как о себе: «Мне на минуту показалось — все к черту...» Потом, усмехнувшись, он сказал:

— У Павлика сердечные драмы, понимаешь?

Сказал и спохватился: не надо было этого говорить! Он искоса посмотрел на Надю; она по-прежнему улыбалась. Затрещал телефон. Кроль крикнул: «Нет, не приеду!» Надя встала: надо идти. Но Кроль начал рассказывать про Субботина. Она снова села. Он следил за каждым ее движением: он боялся, что она сейчас уйдет. Она сама не понимала, почему она не уходит: пробовала уйти, но не могла. Потом она поняла, что не уйдет: это был тот Кроль, которого она

когда-то полюбила: большой и смутный. Он ласково говорил:

— Устала, надо хорошенько выспаться. А я поработаю. Когда ты пришла, я над запиской сидел — это для Орджоникидзе. Я наверху погашу, чтобы свет не мешал...

Он проработал два часа. Потом решил отдохнуть, закурил трубку, прислушался: Надя ворочалась. Он сразу вспомнил все. Он увидел свою широкую руку с короткими пальцами, рыжими от табака. Где-то в дыму мелькнула рука Гронского. Кроль понял свое бессилье. На одну минуту в нем поднялась ярость; короткие пальцы сжались. Потом он вздрогнул: ему показалось, что на его лбу рука Нади. Он вспомнил — на столе лежала телеграмма: умер Юра, шел дождь, она подошла и прижала руку к его лицу.

Сразу исчезла тонкая рука с папиросой, все исчезло. Кроль понял, что Гронского нет; его никогда и не было: только тепло, только это счастье — ворочается, живет, дышит.

Он снова принялся за работу. Он работал до двух, просидел бы, наверно, дольше, но вдруг поднял голову и увидел Надю. Она стояла рядом, бледная, потерянная. Ее лицо было жестким от боли.

— Андрей, я тебе не сказала... Он первый... Почти что прогнал...

Ей хотелось причинить себе боль, унизить себя. Слишком легко было все; эта легкость казалась ей нестерпимой. Сейчас Кроль ответит: «Если так, уходи».

Кроль молчал. Он прикрыл лицо руками: ему стало страшно от ее горя. Он не знал, как быть; он не думал; его выручило чутье. Он тихо обнял Надю:

— Не надо! Почему ты говоришь о нем? Если мы вместе, это от другого. Я не умею объяснить... Вот от этого, понимаешь?..

Он уложил ее, погасил лампу. В слабом отсвете уличного фонаря он жадно искал ее зрачки. Она долго плакала. Потом она сказала:

— Я очень состарилась... Как-то сразу все поняла... Вот когда потеряла тебя, поняла — какое это было счастье...

— Я тоже, Надя... Понимаешь, такое счастье, что...

Она шепнула:

— Не нужно, не говори!

Он наклонился и увидал, что она улыбается.

Полгода спустя Кроль был в заводском клубе на празднике. После речей он собрался было уйти — объявили, что покажут новую картину «Кочегар Степан», Кроль не любил кино; он говорил: «Мелькает, а потом ничего в голове не остается». Товарищи его удержали. Самсонов смеялся:

— Пусть хоть раз посмотрит, а то как мамонт... Я его спросил: «Ты «Чапаева» видал?» — «Видал, видал»,— и сейчас же про колонну.

Кроль устал за день, от ряби световых пятен, от духоты слипались глаза. Казалось, еще минута — и он уснет. Картина была похожей на десятки других. Кочегар Степан сидел в тюрьме, сражался против белых. Жену Степана играла актриса с длинными ресницами. Кроль подумал: чем-то напоминает Надю... Глаза такие же... Нет, не похожа... Степан пел. Кроль знал эти песни. Он знал и тюрьму, и бой. Он глядел равнодушно на экран, его не трогали подвиги Степана — люди дерутся иначе. Он спросил Самсонова:

— Это что же — все картины такие?

Самсонов рассмеялся:

— Нет, бывают получше.

Потом белые увели жену Степана. Он пришел домой. Пустая комната; на стуле теплый вязаный платок жены. Он взял платок, стиснул его в больших, грубых руках и так постоял с минуту. Кроль теперь не отрываясь глядел на экран, он вытянул голову вперед. Когда зажгли свет, еще не понимая, что с ним, он смущенно заморгал. Рядом сидел Самсонов.

— Конец замечательный. Это кто сделал?

— Гронский.

Кроль сказал:

— Очень здесь душно...

Он быстро зашагал домой, вбежал в комнату, схватил Надю за обе руки и неуклюже зарычал:

— Надя! Надюша!

Ничего больше он сказать не мог. Надя спросила:

— Что с тобой?

Он молчал. Позвонил телефон: колонна не работает. Кроль крикнул: «Сейчас приду».

Он вышел, в коридоре остановился, вернулся, горячо и поспешно поцеловал Надю, потом побежал на завод.

19

Я спросил Галю, счастлива ли она. Она рассмеялась: «Что вы зовете счастьем?» Я не мог ей ответить. Мне сейчас обидно, что я разучился писать стихи: помимо значимости слов, их мяса, их шерсти, существует ритм; он сродни биению крови; он еще говорит, когда человек беспомощно замолкает.

Мне было пятнадцать лет, я сидел у одной девушки. Я глядел на нее и злобно теребил гимназический ремень. Я вспоминаю: две русых косы, розовая кожа, веселые глаза; она была самой обыкновенной девушкой. Но мне она казалась необычайной. Я не знал, что ей сказать: три месяца я ходил к ней, и три месяца я терзался, не зная, что ей сказать. Наконец я решился. В моей записной книжке, среди прочих изречений больших и малых философов, имелись слова Короленко: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Я повторил их; она ответила: «Да». Я в те годы мечтал о прокламациях, об явках, о тюрьме. Она носила фартучек с рюшами; она любила костюмированные балы и крокет. Потом мне рассказали, что она вышла замуж за инспектора страхового общества. Мы поразному понимали счастье, но мы не стали спорить. Я ее обнял. На одну минуту нам показалось, что счастье одно.

Мне хотелось бы рассказать о счастье просто, не мудрствуя, пролаять или промычать. У меня есть пес, его зовут Бузу. Иногда я спрашиваю: «Бузу, хочешь собачье счастье?» Он тявкает — это относится к борьбе за существование: он надеется получить кусок сахара. Он коренаст и упорен, похож на французского угольщика. Он верит в прогресс безгранично и слепо. Я научил его служить. Когда мяч попадает под шкаф, он служит перед шкафом: он верит, что шкаф его поймет. Я видел, как он служил перед старой сукой, которая не подпускала его. Он говорил с ней на высоком языке искусства, но она его не понимала. Я думаю, что Бузу счастлив, когда он лежит на спине, чуть улыбается и ни на кого не смотрит.

Я всегда смеюсь, вспоминая, что на свете существуют животные с теплой шерстью, с пушистыми хвостами, с длинными шеями, с ржаньем или мяуканьем. Медведи похожи на хороших знакомых, они могут

мечтать, читать доклады, страдать от несчастной любви. Ослы трогательно ступают. Кошки удивительно лакают молоко, у них языки жесткие, как наждак. Хорошо, когда звери едят!

Я вспомнил сейчас один удивительный обед. Это было в Париже незадолго до войны. Вечером принесли повестку о денежном переводе: получить деньги можно было только на следующее утро. Я не обедал перед этим много дней. Я позвал приятелей в ночную харчевню: там ели кучера и шоферы. Названия блюд были написаны мелом на черной доске. Мы ели баранье рагу; оно недаром называлось «весенним»: в нем было много пахучих растений, и оно пахло весной. Мы ели устриц, полных свежести морского утра. Мы ели зеленый салат, он весело хрустел под зубами. Мы ели сыр, древний, как сам Париж. Мы пили бургундское, густое и терпкое. Мы много пили и много ели: мы должны были досидеть до утра. Мы медленно отхлебывали вино, щелкали языками, жмурились и вздыхали. Мы говорили о тысячах тех глупостей, которые на один час могут стать жизнью.

Помню другой обед — в Тифлисе, в Верийских садах. На столе лежали различные травки. Шашлыки были эпичны. Мы пили кахетинское. Паоло Яшвили волновался: «Где же свиные пупки?» Он говорил о дружбе, и я не знаю места, где слово «дружба» кажется таким вязким и крепким. Тициан Табидзе, вскрикивая, как птица, читал стихи. Я не понимал слов, но ритм был загадочен и весел, как воздух Тбилиси. За соседним столом сидел носильщик. Он встал, поднял стакан и сказал: «Я пью за здоровье поэтов, за здоровье гостей и за мое здоровье!» Внизу была Кура, напротив кружились огни.

Стихи забираются под кожу, как угольная пыль, они входят в кровь, как малярия, они остаются. Голова становится радиоприемником. Гудит пространство, различные голоса возникают из этого гула, потом возвращаются в него. Один начинает:

Есть речи — значенье
Темно и ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно...

Другой вмешивается:

...Касаться скрипки столько лет
И не узнать при свете струны...

Третий отвечает:

...И тут кончается искусство
И дышат почва и судьба.

Как не сказать про машинку, про обыкновенную машинку «ундервуд», заласканную мной, замученную?.. Писать! Пережить за день несколько жизней, создать несколько миров, разрушить их и увидеть, что они все же существуют. Бесплотные слова теплеют на глазах. Стук клавишей переходит в музыку. Каждая помарка кажется оскорбительной. Встаешь, ходишь по комнате, ищешь слово — его надо выговорить. Это длится день, дни, не знаю сколько.

(Я молчу о многом: в радости надо быть еще стыдливей, нежели в горе.)

Изумление необходимо, как окно. Когда приезжаешь вечером в незнакомый город, все кажется загадочным, легко принять обыкновенный дом за руины замка, крохотный сквер за тенистый парк, скуку за напряженное выжидание. Потом приходит другая радость: чужой жизни учишься, как чужому языку. Ночью я слышу лязг колес, кровать качается, как палуба. Я снова вижу холмы Тосканы, с их кипарисами, похожими на свечи, с их горячей темнотой; белые ночи над Северной Двиной; сухие, как позвонки, города Кастилии; фиорды; зеленые до рези в глазах пастбища Уэльса. Сесть в поезд, ехать, приехать, уехать, снова ехать — это настойчиво, неотвязно, это может стать горем, и все же это — счастье.

В Швеции есть озера, такие тихие, такие светлые, что возле них останавливается время. Я знаю березы под Москвой, обыкновенные березы, мимо них нельзя пройти равнодушно, они по-праздничному выряжены и скромны. Я сидел как-то на берегу Сены; один дом, три вяза, вода, небо,— это все. Я хотел бы так писать романы. У природы нельзя научиться ни справедливости, ни мудрости, она может быть глупой или злой. Она не может быть случайной, у нее можно научиться искусству.

Я видел недавно грудного младенца, он пристально глядел на меня. Нет писателя, который мог бы описать этот взгляд: он пуст и значителен, в нем еще много от того начального счастья, которым не стоит жить, но которому можно иногда позавидовать.

Мне было семнадцать лет, я очутился в Киеве, без паспорта и без ночевки. Я ходил по Бибиковскому

бульвару. Встретил проститутку. На ней были летние туфли. Шел снег — это было в начале декабря. Она сказала: «Пойдем?» Я ответил: «Нет». Час спустя мы снова встретились, она поняла, что у меня нет ночлега; она отвела меня в теплую комнату, а сама пошла на бульвар — поджидать гостя. Она дала мне пачку папирос.

Я люблю тепло, человеческое тепло. Больше всего я боюсь холодных рук и сухих резонов. Я люблю человеческое тепло, когда люди, сбившись вместе, как овцы, жмутся друг к другу, полные восторга или ненависти. Я оживаю в духоте парижского митинга, среди несчастий и забот, скопившихся вместе, прорывающихся в одном крике, в одной песне:

— «Это есть наш последний...»

Андре Жид похож на монгольского врача, у которого узловатые крепкие руки, он мог быть хирургом. Встречаясь с ним, встречаешься с книгами, у которых теплые ладони, с соборами, которые ходят, с масками, которые душат. Я видел его за работой; тщательно, каллиграфическими буквами он пишет о своем сложном пути. Я видел его в нестерпимо знойный день, в пыли парижского предместья, среди камнетесов и поденщиц. Он стоял на подмостках, смущенно улыбаясь. Он подымал к небу ту руку, которая могла быть рукой хирурга, которая была рукой поэта и которая сжималась в кулак рабочего.

Был летний веселый день, когда в Москву приехали челюскинцы. На вокзале играла музыка. Старая женщина, обнимая сына, плакала от счастья. Я глядел на лица летчиков, они были суровы и недоступны, на них чувствовалось дыхание буранов. Потом один из них по-детски засмеялся: он увидал игрушку — белого медведя.

Когда я разговаривал с бойцами Флоридсдорфа, они еще дышали порохом и тоской проигранной битвы. Я не забуду одного: он был героем, он говорил, как ребенок: «У меня там осталась жена и маленький ослик...» Он несколько раз повторил: «И маленький ослик...» Нет, о счастье нельзя ничего сказать!

Надо учиться твердости, силе: надо уметь делать все, биться за каждое слово, не уступать и повиноваться, понять, что у каждого поколения своя судьба. Я счастлив моим временем: нелегко мне далось это счастье, но теперь я с ним не расстанусь. Я люблю

запах печатной краски, суету редакции ночью, памфлет, ненависть — это тоже счастье.

В моей книге об Испании я рассказал про крестьян Санабрии. Они умирали с голоду, перед ними было озеро, полное форелей. Озеро принадлежало богатой сеньоре. Крестьяне Санабрии прочитали мою книгу, они пошли к сеньоре. Разговор был короток и драматичен: если им тотчас же не отдадут озера, они подожгут дом сеньоры. Потом я получил от них письмо, они звали меня в Санабрию, обещали накормить тамошними форелями.

Я мог бы сказать, что люблю форелей, розовых, голубых, пятнистых, но это будет неправдой — я горд письмом. Может быть, я заблудился среди трех сосен, может быть, покажусь некоторым современникам чересчур сложным, некоторым потомкам чересчур простым, но все же я не жил зря — они теперь едят рыбу, крестьяне Санабрии! Одна девушка прислала мне письмо из Архангельска: «Я хотела умереть. Теперь мне хочется жить, как живет ваша Варя...» Это не много — обнадежить человека, когда ему в тягость жизнь, это не мудрость, и это никак не искусство, это то тепло, о котором я говорил, и это также тоска по справедливости, чугунной или оловянной.

Я знаю, что люди сложнее, что я сам сложнее, что жизнь не вчера началась и не завтра кончится, но иногда надо быть слепым, чтобы видеть.

Несносно человеческое горе, от него воздух становится спертым, как в глубокой шахте, вино теряет запах. Я хожу по новой Москве и улыбаюсь. Я думал, что счастье можно найти на отмели рек, как редкие золотые песчинки; я не знал, что оно может упасть на город шумным июньским дождем. Я разговаривал недавно с одной колхозницей. Она мне рассказала, что у них в колхозе устроены ясли, клуб, столовая. Она говорила об удое, о пчельнике, о поросятах. Потом, улыбаясь, она сказала: «Мне прежде за пятьдесят давали, а разве теперь кто-нибудь скажет, что мне сорок?..» Я говорил, что возрасты в моей жизни перепутались, они перепутались и в жизни мира. Прежде юноши губами, еще по-детски припухшими, твердили о равнодушии; теперь старики влюбляются и начинают сызнова жизнь.

Я видел последних парижских коммунаров, в весенний день, под старым простреленным знаменем. Их

больше нет в живых. Я видел на Красной площади Клима Ворошилова.

Я помню баррикаду на Садовой, я помогал таскать мешки. Потом я увидел мастерового, он лежал навзничь и кричал. Над ним стояла женщина в платке, она не плакала, она еще ничего не понимала. Недавно я был в Кремлевском дворце. Я увидел человека, имя которого заполнило мир: это имя позволяет дышать крестьянам Санабрии. Сталин расспрашивал ивановских ткачих и забойщиков Донбасса о работе. Они весело улыбались. Это было просто и необычайно, как вторая жизнь.

Иногда в лесу или возле воды я погружаюсь в сосредоточенное внимание, я не думаю тогда ни о себе, ни о других людях, ни о природе, я дышу. Такие часы необходимы. Я пережил в жизни все то, что пережило большинство людей моего возраста: смерть близких, болезни, предательство, неудачу в работе, одиночество, стыд, пустоту. Есть борьба на улице, с винтовками, в цехах, под землей, в воздухе, за пишущей машинкой. Я сейчас думаю о другой борьбе: в тишине, когда, не отрываясь, смотришь на лампочку или на буквы газеты, которую не читаешь, когда надо победить то, что сделала с тобой жизнь, заново родиться, жить, во что бы то ни стало жить. Мне кажется, что это счастье.

20

Наташа позвала меня к себе, чтобы расспросить о Шестове. Это было в выходной. Она живет в нижнем этаже. Был хороший майский вечер. Мимо окна проходили люди с охапками сирени. Крыши были золотыми. Доносилась издалека песня: это шли красноармейцы. Ребятишки взбирались на фонарь и прыгали. Один крикнул: «Ты теперь второй парашютист!..» На улице было шумно и весело. Я повернулся к окну спиной.

Голая стена, гвоздь, на нем кожаная куртка Наташи. Она сидит у стола. Как прежде, она стесняет меня своим спокойствием. Только когда она поворачивается и я вижу детский затылок, подстриженный машинкой, я вспоминаю, что Наташа намного моложе меня. Потом я снова вижу большой выпуклый лоб, чересчур ясные глаза, гладкие волосы.

Профессора Тимирязевской академии говорят о ней: «Выдающийся работник». Неужели она не знает

обыкновенного горя?.. Я много думал о Наташе: мне кажется, что если я ее не пойму, мир, которым я живу теперь, останется для меня жестоким и запретным.

Я ждал — сейчас она спросит про Шестова. Но Наташа заговорила о Кроле. Я упомянул имя Нади.

Она сказала:

— Это сильная женщина.

Поступки других она мерила своими чувствами.

Потом она стала рассказывать о своей работе. Она говорила о горохе, о клевере, об ячмене. Она говорила сухо и страстно; так Кроль рассказывает про свой аммиак. Растения оживали, они цвели, блекли, боялись холода, радовались солнцу. Они казались мне человечней Наташи; они сближали эту угрюмую комнату с тем звонким, живым миром, который бился о пыльные стекла.

— Я недавно наблюдала за цветением «Cochlearia rustiacana» — это лапландский хрен. Корень сидит глубоко в земле. Растение содержит эфирные масла, оно легко переносит мороз в сорок градусов, оно цветет среди полярной ночи. Мы его применяем как противоцинготное.

Наташа рассказывала про яровизацию; я ее плохо слушал. Я думал о странном растении, которое цветет наперекор всему. Я знаю тундру, холод, ночь. Там люди болеют цингой, желтеет кожа, из десен сочится кровь. Людям дают корень злосчастного растения, которое не знает солнца.

Я гляжу на Наташу. Большие синие глаза, рот сурово замкнут.

— Мне сказали, что вы встречались с ним в Париже. Расскажите.

Что я могу сказать? Каждое слово должно причинить ей боль. Она настаивает. Тогда я рассказываю о веселой ярмарке, о пряничных свиньях, о карусели. Она слушает старательно и сухо, как лекцию. Потом я говорю о дождливом вечере в маленьком кафе. Струи воды текли по широким стеклам. Женщина хрипло пела. Газ был голубым и холодным. Большой, еще недавно веселый человек тоскливо озирался. Он был уже болен... Я украдкой гляжу на Наташу. Она по-прежнему спокойно слушает меня.

— Еще.

— Он рассказал о каком-то Митьке, который ловил рыбу руками. Я не помню...

— Еще.

— Потом он рассказывал, как они строили завод в Горловке. Один парень сразу потребовал фартук, надел папаху, хоть было лето, и всех забил... Потом — как обвалилась стена. Борис Сергеевич думал, что одного строителя задавило, но тот встал и рассмеялся: «Не время теперь умирать!..»

Я останавливаюсь: этого нельзя было говорить! Мне боязно взглянуть на Наташу. Я не хочу больше рассказывать. Она требует:

— Еще.

— Я не знаю... Мы шли по улице, он увидел парочку, они целовались, он сказал: «Они счастья не стыдятся».

Тогда Наташа говорит:

— Он мне написал: «Большое счастье жить».

Она раскрывает тетрадку: корни, цветы, листья. Мы долго молчим. Потом она начинает рассказывать о парнишке в папахе: «Он теперь аппаратчик...» Я не слушаю. Воздух, о котором я столько мечтал, сейчас кажется мне невыносимым. Конечно, в горах дышится легче, но если подняться очень высоко, нечем дышать — человек раскрывает рот и задыхается.

Я повернулся к окну. Крыши поблекли, все стало мутным, загадочным. Прошла девушка. Мне показалось, что у нее в руке зеленые листья папоротника,— может быть, это была тень. Она сказала: «Вася, милый, погоди!..» Грудной голос делал эти слова значительными. Проходили люди. Я не мог их разглядеть; жизнь убегала от меня. Рядом была куртка на гвозде, женщина с суровым лицом, тетрадки — цветы, листья, корни. Я больше не верил в диковинное растение — оно не может цвести среди полярной ночи: растению, как человеку, нужно тепло. Это тепло рядом — стоит только выбежать на улицу, смешаться с толпой, с ребятами, с цветами.

Я оглянулся и увидел большие синие глаза, они были полны слез. Заметив, что я гляжу на нее, Наташа быстро отвернулась. Я подошел к ней, сжал ее руку; рука была горячей. Я долго ходил по улицам, никого не видя; я повторял слова Шестова: «Большое счастье жить».

1936

Комментарии

Третий том Собрания сочинений Ильи Эренбурга составляет проза 1927—1936 годов. Десятилетие это, отмеченное тяжкими и роковыми событиями европейской и мировой истории (экономический кризис, победа Гитлера на выборах в Германии, окончательное оформление сталинской диктатуры в России), оказалось переломным в творческой судьбе Эренбурга. Три книги, вошедшие в этот том, как три точки, фиксируют излом писательского пути. «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» отличается от «Книги для взрослых» не так даже содержанием и манерой письма, как мироощущением. В мемуарах «Люди, годы, жизнь» Эренбург отвел целую главу раздумьям о пережитом в начале тридцатых годов кризисе и выходе из него. Сходный кризис переживал тогда не один Эренбург (достаточно вспомнить письма правительству, написанные Замятиным и Булгаковым), но вот последующая судьба у каждого писателя оказалась своя. Легко представить, что ждало Замятина, если б ему пришлось остаться в России; не столь однозначной кажется судьба Булгакова, получи он разрешение на выезд. Как сложился бы литературный путь Эренбурга, не прими он в 1931 году в Париже решение «занять место в боевом порядке» и стать «советским писателем»? Ответ очевиден — писателя, продолжай он сочинение сатирических романов, окончательно перестали бы печатать в СССР, а следом, надо думать, лишили бы гражданства. В тех исторических условиях это означало бы для Эренбурга работу «в стол» (русская аудитория на Западе у него была очень небольшой, взаимоотношения с эмиграцией — давно и откровенно враждебными, возможность издаваться в переводах на европейские языки — достаточно эфемерна). В силу человеческого и писательского склада Эренбурга (специфику его литературного дара Евг. Шварц определил так: «Жить искренне, жить теми интересами, что выдвинуты сегодняшним днем, и писать о них приемами искусства сегодняшнего дня») такой вариант означал для него литературную смерть.

После 1927 года Эренбург настойчиво искал новые темы и новые жанры — он написал роман о французской революции («Заговор

равных»), книги об «акулах капитализма» («10 л. с.», «Фабрика снов», «Единый фронт»), книги путевых очерков («Виза времени», «Испания»), вместе с О. Савичем составил антологию «Мы и они», но все это либо запрещалось в СССР, либо печаталось в изуродованном виде. Решение, принятое Эренбургом в 1931 году, далось ему нелегко. На это решение повлияла поляризация политических сил в Европе, чреватая войной (в Германии набирал силу нацизм, в Испании в 1931 году победила революция). Эта ситуация не оставляла Эренбургу места «над схваткой»; сказались и оторванность от реалий советской жизни, где политическая практика все дальше уходила от декларируемой идеологии, и неизменно иронический взгляд писателя на западные демократии (бытовых преимуществ западной жизни Эренбург, парижанин со стажем, разумеется, не отрицал, но политические кулисы и отсутствие идеалов энтузиазма у него не вызывали). 27 апреля 1930 года Эренбург писал Лидину: «Я все еще работаю, но неизвестно зачем. У нас меня не печатают. Нет ни любви, ни денег. Года же проходят, и все начинает основательно надоедать. Выстрел Маяковского я пережил очень тяжело, даже вне вопроса о нем». Эренбург признался тогда в одном разговоре, что выбора-то в сущности и нет.

Означало ли это отказ от позиции независимого художника? И да, и нет. «Я не отказывался от того, что мне было дорого,— признается потом Эренбург в мемуарах,— ни от чего не отрекался, но знал: придется жить сжав зубы, научиться одной из самых трудных наук — молчанию».

Оценивая выбор, сделанный Эренбургом, надо учитывать все его последствия. Война в Европе, как это предвидел писатель, разразилась, и в этой страшной войне Эренбург стал голосом воюющего народа, стал первым публицистом антифашистской Европы — это был его звездный час. Не следует забывать и того, что даже в самые тяжкие для Эренбурга 1938, 1949 и 1953 годы он, чем бы ему это ни грозило, помнил о черте, за которую отступать нельзя, и сколько мог смягчал кровавое время, в которое ему выпало жить. Именно потому он нашел в себе силы после марта 1953 года, сбросив тяжкий груз прошлого, стать одним из творцов оттепели.

БУРНАЯ ЖИЗНЬ ЛАЗИКА РОЙТШВАНЕЦА

Замысел романа возник у Эренбурга весной 1927 года — в невеселую пору (советские издательства отклонили его книгу «Белый уголь, или Слезы Вертера», в очередной раз был запрещен «Рвач», зашли в тупик переговоры об издании «Проточного переулка»). «Мой плацдарм все сужается»,— жаловался Эренбург в письме Е. Полонской. Принимаясь за новую работу, автор отлично понимал ее «непроходимость»: «Лазик» заранее обречен на

заграничную жизнь»,— говорится в одном из его писем, но замысел так увлек его, что прагматические соображения были отброшены.

Следует назвать два литературных источника, подтолкнувших Эренбурга к созданию новой книги. Первый из них — роман Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны» (в самый разгар работы над «Лазиком» Эренбург писал Е. Полонской: «Тебе понравился «Швейк»? По-моему, это замечательная книга. Меня она совершенно потрясла»; спустя сорок лет он повторит эти слова). Второй источник — два тома хасидских легенд в художественном переложении Мартина Бубера («Рассказы о раби Нахмане» и «Легенды о Баал-Шеме», Берлин, 1906 и 1907). На хасидские легенды (по-русски не издавались) Эренбурга натолкнул еврейский писатель из Польши Варшавский и его друзья, развлекавшие в ту весну Эренбурга байками о хитроумии и суевериях старозаветных местечковых евреев. В этой атмосфере и выстраивался замысел сатирического, плутовского романа, в котором сюжеты хасидских легенд (одну из них — о том, как еврей бежал вокруг Рима и встретил Иисуса Христа, -- Эренбург придумал еще в 1915 году в поэме «Рассказ одержимого») чередовались с картинами жизни Советской России, Восточной и Западной Европы, Палестины — их органично связывала судьба главного героя и рассказчика гомельского портного Лазика Ройтшванеца, еврейского Швейка, как его единодушно аттестовала потом зарубежная критика.

Эренбург начал писать роман в апреле 1927 года, писал легко, с удовольствием. Уже в майских письмах он сообщает друзьям о новой работе («Я с горя засел за сатирическую повесть... Еврейское утешение!», «Начал роман - современность с талмудической точки зрения. Кажется, весело»). Когда в июле 1927 года Эренбурги уехали отдыхать в Бретань, роман был доведен до середины. «Здесь надеюсь кончить, - сообщается 25 июля в письме к Е. Полонской. - Он, вероятно, тебе понравится. Для чего окружал себя хасидами, талмудистами и пр. Это современность глазами местечкового еврея. Метод осмеяния чрезмерная логичность». Закончить работу над книгой в Бретани не удалось - кажется, впервые Эренбург вместе с друзьями (Савичами, Р Якобсоном, Лидиным) провел беззаботные и веселые каникулы, и самая их атмосфера, искрящаяся остроумием, розыгрышами вперемежку с политическими дискуссиями и литературными разговорами, «работала» на незавершенный роман. «Я был в Бретани и бездельничал,— писал Эренбург Замятину 21 сентября. - Теперь буду кончать моего «Ройтшванеца», который выйдет, вероятно... в переводах. C'est la vie!»

Эренбург не делал тайны из своей работы и написанные главы новой книги обычно давал читать друзьям. В сентябре октябре 1927 года он встречался в Париже с И. Э. Бабелем и, надо думать, познакомил его с «Лазиком» Прямого влияния Бабеля в романе

нет, но прав исследователь сатирической прозы двадцатых годов А. Вулис, отметивший, что стиль монологов Лазика Ройтшванеца ориентирован на языковую систему Бабеля (Вулис А. Советский сатирический роман. Ташкент, 1965).

«Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца», законченная в октябре 1927 года, оказалась далеко не веселым романом о том, что маленькому человеку нет счастья и покоя, а если он к тому же еще и еврей, то нет и места на земле. Скептицизм в прозе Эренбурга неизменно имел сентиментальную окраску, что не лишало ее сатирические стрелы убойной силы. У приключений несчастного Лазика в каждой стране было свое лицо и своя горечь. Надо отдать должное остроте и проницательности сатиры Эренбурга. Ведь если говорить только о советских главах, то за десятилетие до 1937 года он изобразил отлаженную машину, превращающую созданные из ничего доносы во вполне реальные сроки тюремного заключения; за много десятилетий до хлопкового и прочих дел показал образцовое хозяйство, в котором поголовье кроликов неуклонно росло лишь на бумаге; описал заботу государства об идеологической девственности его граждан, показав, как из Центра по всем городам и весям шли списки книг, подлежащих уничтожению; наконец, он поведал о сообществе литераторов-бдистов, мечтающих уничтожить всех прочих писателей, чтобы издавали и читали только их.

Рукопись законченного романа Эренбург отослал в издательство «Круг» А. Н. Тихонову. 3 февраля 1928 года Эренбург сообщал Лидину: «С моим «Лазиком» дела плохи. Тихонов пишет, что Главлит не одобряет. Попробую прибегнуть к героическим мерам. Здесь книга вышла, и я попытаюсь переслать Вам ее при случае». Парижское издание романа вышло в оформлении Л. М. Козинцевой и польского архитектора Сениора в январе 1928 года ничтожным тиражом и в СССР допущено не было; такая же судьба постигла и малотиражное берлинское издание («Петрополис», 1928). «Героические меры», о которых Эренбург писал Лидину, заключались, надо думать, в обращении к Н. И. Бухарину. Отправляя ему экземпляр парижского издания романа, Эренбург, видимо, рассчитывал на бухаринское чувство юмора и не очень представлял себе ситуацию «в верхах» 1928 года. 18 марта Эренбург писал Лидину: «Мне сказали, что будто бы в «Правде» была ругательная статья о «Лазике». Если верно, то пришлите. Очень важно! Слыхали ли Вы что-нибудь о судьбе «Лазика»?» Слух оказался уткой — «Правда» о романе не высказывалась, но в печать не пропускали даже отрывков из него. Эренбург узнал об этом 21 марта и немедленно написал Лидину: «Только что получил Ваше письмо и чрезвычайно огорчился. Напишите мне, в чем же дело? Неужели даже парижский отрывок не напечатают? Каковы мотивы? Каково отношение к роману и безнадежно ли с ним? Наконец, речь идет об этой книге или обо мне?

Вы ведь понимаете, как волнуют меня эти вопросы, а я здесь ничего не знаю!»

Ситуация прояснилась 29 марта 1928 года, когда «Правда» напечатала статью Н. И. Бухарина «Чего хотим мы от Горького» — к 60-летию писателя и его приезду в СССР. С характерной пылкостью Бухарин звал Горького немедленно включиться в работу по созданию «широкого полотна великой эпохи». Вторая поставленная писателю задача — изобразить советского мещанина так, чтобы ему «пришлось кисло, а в то же время настоящие читатели не только бы не раскисли, а, наоборот, стали бы поспешно засучивать рукава, чтобы еще быстрее приняться за работу». «Разве это было бы плохо?» — спрашивал Бухарин Горького и тут же переходил к жалобам: «А у нас? Уж если заскулят, так заскулят! Собачьи переулки, Проточные переулки, Лазики Ройтшванецы (последний роман Эренбурга),— дышать нельзя! Размазывать этакую безыдейную, скучную, совсем неправдивую в своей односторонности литературную блевотину, это дело неподходящее! Это не борьба, и не творчество, и не литература; это — производство зеленой скуки для мертвых людей». Н. И. Бухарин в программных выступлениях 1928 года ставил масштабные идеологические задачи. Создание книги о судьбе местечкового еврея в пору жесточайших социальных потрясений не вписывалось в этот масштаб как в силу идеологических концепций Бухарина, так и по причине его личных пристрастий в литературе. Отсюда несдержанность реплики. В 1934 году бывший член Политбюро, а ныне главный редактор «Известий» Н. И. Бухарин напечатает в газете статью Карла Радека «День второй Ильи Эренбурга», посвященную одобренному Сталиным новому роману писателя. В этой статье Радек вернется к «Лазику Ройтшванецу», назовет его «великолепной в своем роде книгой», которую «можно считать завершением первого периода литературной деятельности Эренбурга, ибо она лучше других рассказала, что не позволило Эренбургу стать в наши ряды». Радек назвал это «что»: «Илья Эренбург, в котором великие подвиги нашей революции находили живой отклик, который великолепно чуял горячий темп нашей жизни, нашу живучесть, не видел, куда идет страна. И поэтому он метался между заграницей и Советским Союзом, создавая талантливейшие, но порочные книги, книги, лишенные понимания того, куда идет первая пролетарская страна». В 1934 году считалось, что Эренбург наконец правильно понял, куда идет страна, что пятилетка убедила его в правильности программы соцстроительства в СССР, и стало возможным признать некоторые достоинства «Лазика». Но в 1928 году такое признание было невозможным. «Сегодня мне показали статью о Горьком Бухарина с отзывом мимоходом о «Лазике»,— писал Эренбург Лидину 3 апреля 1928 года.— Очень удручен по многим причинам». Рушилась последняя надежда на выход «Лазика»

в СССР. «Боюсь, что с изданием (после статьи в «Правде») ничего не выйдет»,— писал Эренбург М. Слонимскому 21 апреля, и действительно, реплика Бухарина закрыла дорогу роману к советскому читателю; этот запрет оставался в силе и после смещения Бухарина с высоких постов, и после того, как имя его было проклято и растоптано сталинскими палачами. По неизъяснимой прихоти истории первая советская публикация «Бурной жизни Лазика Ройтшванеца» стала возможной лишь после реабилитации Н. И. Бухарина — в 1989 году (Звезда, № 7—9)[1]

С парижским изданием «Лазика» смогли познакомиться разве что друзья автора и... члены Политбюро. В мемуарах «Люди, годы, жизнь» Эренбург рассказал, как в 1934 году на даче Горького после общего разговора за столом члены Политбюро подходили к нему и заговаривали именно о «Лазике». Калинин, Ворошилов и прочие хвалили книгу, но осуждали автора за... антисемитизм; Каганович книгу не хвалил и осуждал автора за... еврейский национализм (этот эпизод цензура не пропустила; теперь он восстановлен). В советской печати о «Лазике» не было ни одной статьи, ни одной рецензии; роман не упоминался даже в книгах и обзорных статьях о творчестве Эренбурга. Широкая публика узнала о существовании этого романа в марте 1963 года из выступления секретаря ЦК КПСС Л. Ильичева, посвященного «разоблачению» мемуаров «Люди, годы, жизнь». Оспаривая утверждение Эренбурга о том, что в эпоху «культа личности» подавлялась свобода творчества, Ильичев сказал: «И. Эренбург не испытывал ограничений в изложении своих взглядов... Он волен был в повести «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца», изданной в Берлине в 1928 году, предвзято рисовать советскую действительность того времени. В повести изображаются страдания и мытарства портного из Гомеля, советский строй представляется враждебным простому человеку как государство, где процветают лишь мошенники, где задавлена всякая живая мысль, где «власти», состоящие из лицемеров и проходимцев, душат честного человека, не дают ему возможности жить» («Правда», 9 марта 1963). Такая аннотация в 1963 году была не смертельным, но суровым обвинением, тем более что от Эренбурга потребовали высказаться на сей счет. Не включивший «Лазика» в Собрание сочинений (цензура все равно бы не пропустила) и не написавший о нем в мемуарах, Эренбург был задет ильичевским выпадом и в шестую книгу мемуаров, которую тогда писал, вставил несколько слов о романе, об истории его написания. «Я не включил эту книгу в собрание моих сочинений не потому, что считаю ее слабой или отрекаюсь от нее,— без

[1] В 1957 г. роман был издан в Польше (первый перевод его вышел там в 1929 г.); ему посвятил несколько страниц в монографии об Эренбурге Ф. Неуважный („Ilja Erenburg“, Warszawa, 1966); в 1980-е годы «Лазика» издали в ГДР, Венгрии и снова в Польше.

обиняков заявил Эренбург и продолжил: — После нацистских зверств опубликование многих сатирических страниц мне кажется преждевременным». Это была дипломатия; беседуя в 1966 году с литературоведом Е. И. Ландау, Эренбург открыто высказал сожаление, что не имел возможности включить роман в Собрание сочинений.

Ныне такая возможность имеется; текст романа печатается по парижскому изданию 1928 года.

Стр. 7. *Павел.*— Речь идет о Павле I (1754—1801), русском императоре с 1796 г. *Маца* — пресные коржи, употребляемые евреями в пасхальную неделю вместо хлеба.

Стр. 8. *Доброхим* – Добровольное общество содействия строительству химической промышленности; учреждено в 1924 г.

Стр. 9. *Ханука* — еврейский религиозный праздник в память освящения Иерусалимского храма; в эти дни принято дарить детям монеты. *Пьеса товарища Луначарского.*— Народный комиссар просвещения Анатолий Васильевич Луначарский (1877—1933) был автором пьес «Королевский брадобрей» (1906), «Фауст и город» (1918), «Оливер Кромвель» (1920), «Канцлер и слесарь» (1921).

Стр. 10. *Кантор* — человек, читающий нараспев молитвы во время синагогальной литургии.

Стр. 11. *...Даниил успокоил настоящих львов...*— Библейский персонаж Даниил был брошен по приказу вавилонского царя Дария в ров с голодными львами за то, что, вопреки запрету, молился богу Яхве. Львы не тронули Даниила, и он был возвращен в прежнюю должность. *Мэри Пикфорд* (1893—1979) – американская киноактриса. *Книга Зогар* (Книга Сияния) — основной памятник каббалистической письменности, один из комментариев к Пятикнижию, разделу Библии. *Давид...* и *Голиаф* — библейские персонажи; юноша-пастух Давид (будущий царь Израиля) победил в единоборстве великана филистимлянина Голиафа.

Стр. 13. *Тейлоризм* - система организации труда и управления производством, возникшая в США на рубеже XIX—XX вв.; названа по имени американского инженера Ф.-У. Тейлора (1856—1915).

Стр. 14. *Талмуд* — многотомный памятник еврейской религиозной и правовой литературы, сложившийся в период от III в. до н. э. до V в. н. э. *Талес* - облачение, надеваемое во время утренней молитвы.

Стр. 15. *Иегошуа Навин* — библейский персонаж, помощник и преемник Моисея.

Стр. 16. *Семашко* Николай Александрович (1874 1949) — нарком здравоохранения в 1918 1930 гг *Пурим* — весенний еврейский религиозный праздник (отмечается за месяц до Пасхи) в память чудесного избавления от преследований Амана (первого министра персидского двора), описанного в Книге Есфирь.

Стр 18 *Хедер* — еврейская религиозная начальная школа. *«Азбука коммунизма»* — популярная в 1920-е гг. книга Н. И. Бухарина и Е А. Преображенского.

Стр. 19 *Евгеника* — теория о наслсдственном здоровье человека и путях его улучшения; в современной науке эти проблемы решаются в рамках медицинской генетики.

Стр. 22. *Паскевич* Иван Федорович (1782—1856) — русский генерал-фельдмаршал, с 1831 г.— наместник Царства Польского, руководил подавлением Польского восстания 1830—1831 гг.

Стр 25. *«Кадиш»* поминальная молитва, которую в течение 11 месяцев после смерти родителя сыновья читают ежедневно в синагоге. *«Все суета сует»* — библейское изречение (Екклесиаст, 12, 8).

Стр. 27. *«Дело Бейлиса»*. Еврей Мендель Бейлис в 1911 г был ложно обвинен в ритуальном убийстве христианского мальчика Андрея Ющинского. «Дело Бейлиса» (1911—1913) вызвало возмущение во всей России, после чего Бейлис был оправдан.

Стр. 28. *Рабкрин* (Рабоче-крестьянская инспекция) — наркомат, орган контроля в правительстве (1920—1934). *Кагал* — собрание, община; в просторечии стало синонимом шумного сборища.

Стр 32 *Цадик* — праведник, духовный руководитель хасидов (приверженцев хасидизма, религиозно-мистического течения в иудаизме).

Стр. 35. *Клара Цеткин* (1857—1933) — деятельница германской компартии.

Стр. 38. *...дешевый опиум вашего... родителя...*— Имеется в виду популярное клише тех лет «религия — опиум народа». *Троцкий* Лев Давыдович (1879 1940) один из вождей Октябрьской революции, председатель Реввоенсовета Республики.

Стр. 40. *Чан Кайши* (1887—1975) — с 1927 г. глава Гоминьдана, политической партии в Китае, свергнутой в 1949 году. *Чжан Цзолинь* (1876—1928) китайский военный и политический деятель прояпонской ориентации *Сун Чунгфанг* — возможно, это искаженное от Сун Чжуншань одно из имен китайского революционера Сунь Ятсена.

Стр. 43. *Ханькоу* — китайский город, ныне Ухань.

Стр. 44. *Кант* Иммануил (1724—1804) — немецкий философ; жил и умер в Кенигсберге.

Стр 47. *Мальтус* Томас Роберт (1766—1834) — английский экономист, автор «естественного закона народонаселения».

Стр. 50. *Тора* — Пятикнижие Моисеево (первые пять книг Ветхого завета)

Стр. 51. *...трехсложных китайцев...*— Имеется в виду принятое прежде трехсложное написание китайских имен.

Стр. 55 *Пейсаховка* — пасхальная водка, приготовленная без применения злаков.

Стр. 57. *Иом-кипур* — Судный день, день всепрощения (пост), отмечается в десятый день после Нового года по еврейскому религиозному календарю.

Стр. 61. *Мессия* — в иудаизме и христианстве посланный Богом спаситель человечества.

Стр. 67. *Адриан* — римский император в 117—138 гг., жестоко преследовавший иудеев.

Стр. 75. *Рюрик Абрамович Солитер.* — Так Эренбург в 1927 г. прозвал отдыхавшего с ним в Бретани писателя В. Г. Лидина (от фр. solitaire — одинокий).

Стр. 76. *Минус шесть...* — Имеется в виду административный запрет на проживание в 6 крупных городах России. *Нансен* Фритьоф (1861—1930) — норвежский исследователь Арктики, один из организаторов помощи голодающим Поволжья.

Стр. 90. *Лепший* (от пол. lepszy) — лучший. *Лайдак* (от пол. łajdak) — негодяй. *Червонный шпег* (от пол. czerwony szpieg) — красный шпион.

Стр. 91. *Пилсудский* Юзеф (1867—1935) — польский генерал, с 1926 г. — диктатор Польши. *Гноювка* (от пол. gnojówka) — навозная куча. *Коперник* Николай (1473—1543) — польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира. *Цукерня* (от пол. cukernia) — кондитерская. *Кравец* (от пол. krawiec) — портной. *Бутэлька* (от пол. butelka) — бутылка. *Кресы* (от пол. kresy) — окраина.

Стр. 92. *Шкапа* (от пол. szkapa) — кляча. *Бембены* (от пол. bęben) — барабан. *Тромба* (от пол. trąba) — труба.

Стр. 93. *Пане старозаконный* — еврей.

Стр. 94. *Перфумы* (от пол. perfumy) — духи.

Стр. 95. *Мицкевич* Адам (1798—1855) — польский поэт, деятель национально-освободительного движения.

Стр. 96. *Дефензива* (от пол. defensywa) — политическая полиция Польши.

Стр. 98. *Пляска святого Витта* (хорея) — заболевание нервной системы, характеризующееся непроизвольными движениями и судорожными подергиваниями.

Стр. 99. *Сенкевич* Генрик (1846—1916) — польский романист.

Стр. 100. *Вус махт а ид?* — Что поделывает еврей? (идиш). *До свидания в будущем году в Иерусалиме.* — Традиционное еврейское пожелание.

Стр. 103. *Дрекенкопф.* — Эренбург обыгрывает фамилию; в переводе с идиш означает — дерьмовая голова.

Стр. 104. *Бардзое* (от пол. bardzo) — очень. *Ир зонд а замечательный хохем...* — Вы — замечательный умник (смесь русского с идиш). *Гинденбург* Пауль фон (1847—1934) — немецкий генерал-фельдмаршал, президент Германии с 1925 г.

Стр. 105. *Вирт* Карл Йозеф (1879—1956) — германский рейхсканцлер в 1921—1922 гг. *Вильсон* Вудро (1856—1924) — 28-й президент США.

Стр. 108. *Кнедлах* — пасхальная еврейская еда.

Стр. 109. *Кугель* — традиционное субботнее кушанье (запеканка). *Цимес* — еврсйское сладкое блюдо.

Стр. 110. *Лоэнгрин* — герой одноименной оперы Р. Вагнера (1848).

Стр. 114. *Лорелея* — рейнская сирена, героиня ряда произведений немецкой литературы.

Стр. 115. *Распутин* Григорий Ефимович (1872—1916) — крестьянин Тобольской губернии, имел огромное влияние на семью Николая II и ее окружение.

Стр. 120. *Царь Соломон* — царь Израильско-Иудейского царства в 965—928 гг. до н. э., сын Давида; славился необычайной мудростью; автор некоторых книг Библии (Песнь Песней, Екклесиаст).

Стр. 122. *Ротшильды* — финансовая династия в Западной Европе.

Стр. 131. *Смихе* — документ, дающий право заниматься раввинской деятельностью. *Рахиль* — библейский персонаж, младшая дочь Лавана.

Стр. 133. *Каганиты* — еврейская религиозная элита; раввины, считающие себя непосредственными наследниками и преемниками древнееврейских первосвященников.

Стр. 138. *Моисей* — древнееврейский пророк, который вывел евреев из египетского плена.

Стр. 140. *...звон сорока сороков?..* — Молва приписывала Москве сорок сороков (1600) церквей.

Стр. 141. *Милюковские палачи.* — Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — русский политический деятель, один из лидеров антимонархической партии кадетов.

Стр. 143. *Ревель* — ныне Таллинн.

Стр. 148. *Большевики... пломбированные изменники...* — Имеется в виду обвинение в измене, выдвинутое в 1917 г. против группы большевиков во главе с Лениным, проехавших через Германию в пломбированном вагоне по предварительному соглашению с германскими властями.

Стр. 149. *Айвазовский* Иван Константинович (1817—1900) — художник-маринист.

Стр. 155. *Ренуар* Огюст (1841—1919) — французский художник. *...Зевс проглотил Хроноса...* — По греческой мифологии, Зевс, низвергнув своего отца титана Хроноса, стал владыкой богов.

Стр. 158. *Джоконда.* — Речь идет об известном портрете Моны Лизы работы итальянского художника Леонардо да Винчи (1452—1519).

Стр. 168. *Расин* Жан (1639—1699)—французский драматург. *Третья Республика*—существовала во Франции с 1870 по 1940 г.

Стр. 170. *Граф Лотремон* (Лотреамон; 1846—1870)—французский поэт. *Стравинский* Игорь Федорович (1882—1971)— русский композитор, с 1910 г. жил за границей. *Евхаристия* (причащение)— то есть таинство приобщения к Христу; во время литургии верующие вкушают хлеб и вино.

Стр. 171. *Лаура*—адресат любовной лирики Ф. Петрарки. *Рабле* Франсуа (1494—1553)—французский писатель. *Пикули*—мелко нарезанные маринованные овощи. *Мараскин*—бесцветный ликер. *Нострада́мус* (Мишель де Нотрдам; 1503—1566)—астролог, оккультист, прорицатель.

Стр. 176. *Чемберлен* Невилл (1869—1940)—английский государственный деятель.

Стр. 178. *Уайт-Чепл*—пролетарский район Лондона.

Стр. 179. *...иерихонская труба с Синая.*— По библейской легенде, в конце 2-го тысячелетия до н. э. стены города Иерихона рухнули от звука труб завоевавших его еврейских племен.

Стр. 184. *Георг* V (1865—1936)—король Великобритании с 1910 г. *Ваал* (Баал)—древнее общесемитское божество плодородия.

Стр. 185. *Троцкий... настаивал на выступлении в Ливерпуле.*— Здесь пародируется так называемое «Письмо Зиновьева», фальшивка, опубликованная в Англии в 1924 г.; содержала якобы инструкции Коминтерна английским коммунистам по подготовке вооруженного восстания.

Стр. 186. *Зиновьев* Григорий Евсеевич (1883—1936)—глава Коминтерна в 1919—1926 гг.

Стр. 190. *Лапсердак*—еврейская верхняя мужская одежда. *Поалейционисты* (от «Поалей Цион»—«Рабочие Сиона»)—еврейские рабочие организации начала XX в.; в 20-е гг. были запрещены в СССР.

Стр. 200. *Суламифь*—по библейской легенде, возлюбленная царя Соломона, оставшаяся верной любившему ее пастуху из родной деревни.

Стр. 201. *Это называется «мандат».*— Имеется в виду английский мандат на владение Палестиной.

Стр. 209. *Бешт* (Баал Шем Тоб; ок. 1700—1760)—основатель хасидизма.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

С этой книгой связывают начало нового этапа в творчестве Ильи Эренбурга, хотя идейные сдвиги различимы уже в двух его книга́х, написанных в начале 1932 года («Испания», «Москва слёзам не верит»).

Весной 1932 года распустили РАПП; это помогло Эренбургу укрепиться на новом пути. Летом он принял приглашение «Известий» и стал корреспондентом газеты в Париже. В конце августа после шестилетнего перерыва Эренбург приехал в Москву, с тем чтобы совершить поездку в Сибирь с командировкой «Известий» и написать книгу о сибирской стройке. К тому времени накопился опыт писательских поездок на стройки пятилетки; уже рождались книги, выношенные в этих поездках («Время, вперед!», «Соть», «Гидроцентраль», «Человек меняет кожу»). В июле 1932 г. на Урал уехал Луи Арагон с группой революционных писателей Запада; с Урала в Москву вернулся Б. Пастернак. До отъезда в Сибирь Эренбург побывал на строительстве магистрали Москва — Донбасс и химкомбината в Бобриках (Новомосковск), а в конце сентября отправился по маршруту Москва — Новокузнецк — Томск — Новосибирск — Свердловск — Москва. Поездка заняла меньше месяца и была очень насыщенной.

14 октября Эренбург сообщал Савичам: «Пишу вам в поезде: еду из Новосибирска в Свердловск. Видел Кузнецкую стройку, шорцев, дома, грусть и студентов Томска, «Сибчикаго», то есть Корбюзье и пыль, тайгу и степи. Еще недавно было бабье лето, ходил по Томску без пальто, зима пришла сразу — ледяным ветром, выпал снег... Голова моя забита до отказа. Свердловск смотрю из жадности. Устал так, что в вагоне все время сплю тупым и тяжелым сном... Мысль о литературной работе привлекает и страшит» (Новый мир, 1984, № 8, с. 242).

В начале ноября 1932 года Эренбург вернулся во Францию; месяц ушел на книгу «Мой Париж» (фотоальбом Ильи Эренбурга оформил Эль Лисицкий). Работа над романом о Кузнецке началась во второй половине декабря. 14 января 1933 года Эренбург сообщал своему московскому секретарю, журналистке из «Вечерней Москвы» В. А. Мильман: «Я очень много работаю: написал свыше трети романа, в котором будет листов 15, если не больше. Роман — советский». А уже 4 марта Эренбург писал Лидину: «Я кончил роман «День второй» о молодежи: Кузнецк, Томск. Сава (так Эренбург звал О. Г. Савича.— *Б. Ф.*) и пр. уверяют, что это лучшее из мной написанного. Сам я доволен, что кончил,— писал с таким ражем, что боялся — не допишу». Вспоминая работу над романом, Эренбург рассказывал в мемуарах «Люди, годы, жизнь»: «Почти каждый день ко мне приходил И. Э. Бабель, читал страницы рукописи, иногда одобрял, иногда говорил: нужно переписать еще раз, есть пустые места, невыписанные углы... Порой, снимая после чтения очки, Исаак Эммануилович лукаво улыбался: «Ну, если напечатают, это будет чудо»... Дочитав последнюю страницу, Бабель сказал: «Вышло», в его устах для меня это было высшей похвалой».

Эренбург так объяснял название книги: «По библейской легенде, мир был создан в шесть дней. В первый день свет отделился от

тьмы, день от ночи; во второй — твердь от хляби, суша от морей. Человек был создан только на шестой день. Мне казалось, что в создании нового общества годы первой пятилетки были днем вторым: твердь постепенно отделялась от хляби».

Рукопись романа Эренбург отправил диппочтой завотделом печати ЦК ВКП(б) С. И. Гусеву. Пока почта шла, Сталин снял Гусева и выслал его в Казахстан. Рукопись лишилась адресата, ее долго не могли найти; наконец выяснилось, что она без каких-либо указаний отправлена в издательство «Советская литература» (бывшая «Федерация»). Эренбург вспоминал: «Вскоре Ирина (дочь писателя.— *Б. Ф.*) мне сообщила, что рукопись вернули: «Передайте вашему отцу, что он написал плохую и вредную вещь». Следом за «Советской литературой» от «Дня второго» отказалось издательство «Молодая гвардия», воздержалась от публикации отрывков из романа «Литгазета». Книга была неортодоксальная, а ответственности боялись все. «Я решился на отчаянный поступок,— вспоминал Эренбург,— напечатал в Париже несколько сот нумерованных экземпляров [1] и послал книгу в Москву — членам Политбюро, редакторам газет и журналов, писателям... Это было лотереей, и мне повезло...»

Четыреста нумерованных экземпляров вышли в Париже в начале мая 1933 г. (№ 1 хранится у дочери писателя И. И. Эренбург; № 2 был послан Сталину), а сдали в набор книгу в Москве в ноябре; шесть месяцев Эренбург пребывал в тревоге (влиятельные адресаты ему, понятно, не ответили). Вот строки из писем к В. А. Мильман:

30 июня: «С волнением жду новостей о романе и после Ваших писем ничего больше не понимаю. Я думал, что его читали верхи. Напишите мне яснее, как с ним обстоит дело. Для меня это вопрос кардинальный. Я послал еще книгу Мехлису. Больше не знаю, что делать».

5 сентября: «Вчера вернулся в Париж и застал несколько писем от Вас. Вы сами догадаетесь, как их содержание меня огорчило. И. В. (Сталину.— *Б. Ф.*) книгу я послал давно, до других. Что теперь делать, не знаю».

За день до этого Эренбург получил письмо Ромена Роллана — отклик на уже вышедший французский перевод романа: «Только что прочитал Ваш «День второй». Это самая прекрасная, самая содержательная, самая свободная из книг, прочитанных мною о новом советском человеке-созидателе. В ней чувствуется редкий ум —

---

[1] Последний раз Эренбург издал за границей книгу, запрещенную в Москве, в 1930 г. (роман «Единый фронт»); с 1932 г. он мог позволить себе издавать за рубежом лишь книги, хотя бы в сокращении напечатанные в СССР. Потому издание «Дня второго» в Париже до его разрешения в Москве он называет «отчаянным поступком».

живой,— который проникает в сущность каждого человека, схватывает разнообразие явлений в жизни людей и затем любуется тем, что дал «День творения мира». Я давно ждал эту книгу, надеялся, что она будет. И вот она появилась... Эта книга содействует делу Революции, помогая многим открыть глаза на Революцию, а также ей самой открыть глаза на себя... Меня восторгает Ваша непринужденность в обращении с таким насыщенным материалом и Ваше умение внести в него ясность» (Новый мир, 1984, № 8, с. 243 244).

Это было очень важное для Эренбурга признание. Надеясь, что зарубежные издания романа и отклики прессы помогут «пробить» книгу в Москве, Эренбург 22 августа обратился к Юлиану Тувиму с просьбой помочь издать роман в Польше: «К этому роману я отношусь с большой заботой, так как это, кажется, моя «основная» вещь». Перевести роман на польский собирался В. Броневский. Эренбург писал ему: «Я сам, не в пример многим другим моим книгам, люблю «День второй», и мысль, что эту книгу переведет не ремесленник, но поэт, меня бесконечно радует» (Советское славяноведение, 1975, № 2, с. 94, 96).

21 сентября Эренбург пишет Мильман: «Жду все так же мучительно новостей. Говорил ли Бабель с Горьким?.. Письмо Ромена Роллана я Вам послал. Теперь посылаю несколько цитат из статей французской печати о романе. Напишите, что я могу еще сделать» Наконец, 26 сентября Эренбургу сообщили, что директору издательства «Советская литература» даны указания принять «День второй» к производству. Как пишет в связи с этим А. М. Гольдберг в книге «Ilja Erenburg. Whriting, Politics and the Art of Survival». (London, 1984), «Сталин, в одну из ясных минут, должно быть, понял, что неортодоксальная пропаганда хорошая пропаганда. Он будет подчеркивать такое отношение к Эренбургу в течение долгого времени»

7 ноября 1933 года Эренбург сообщает Мильман, что получил список купюр. Их было немного, и их пришлось принять. Вымарали те эпизоды и фразы, в которых изображение реалий жизни вопиюще не соответствовало идеологическим догматам. Все эти купюры впервые восстановлены в настоящем издании.

9 ноября роман был сдан в набор; 16 января 1934 года подписан в печать; в конце января первые экземпляры из семи тысяч его тиража вышли в свет.

Несколько месяцев после выхода книги центральная пресса молчала; внимание к роману было привлечено появлением в один день — 18 мая 1934 г.— двух больших статей о нем в «Литгазете» и «Известиях»; статьи эти содержали диаметрально противоположные оценки романа.

А. Гарри в статье «Жертвы хаоса», отметив «панический ужас автора романа перед лицом хаоса новостроек», объявил «День второй» клеветой на пятилетку, якобы построенную на костях ударников. За

такой точкой зрения стояли достаточно влиятельные силы партаппарата (несколько месяцев спустя Л. М. Каганович на даче Горького выговаривал Эренбургу, что он ходит среди котлованов и видит не корпуса заводов, которые вскоре вырастут, а землянки, бараки, грязь).

Статья в «Известиях», символично названная «День второй Ильи Эренбурга», принадлежала Карлу Радеку, недавнему сподвижнику Троцкого, а ныне исправному проводнику сталинских установок. Радек писал: «Это не «сладкий» роман. Это роман, правдиво показывающий нашу действительность, не скрывающий тяжелых условий нашей жизни, но одновременно показывающий в образах живых людей, растущих из недр народной массы, *куда идет наша жизнь*, показывающий, что все эти тяжести масса несет *не зря*, что они ведут к построению социализма и что это строительство одновременно творит новое человечество». Так была найдена формула, по которой «провела» роман сталинская бухгалтерия. «Илья Эренбург начал свой день второй,— продолжал Радек.— Нашедший новую принципиальную установку, Илья Эренбург, наверное, возьмется за пересмотр багажа, собранного за время своей литературной работы, и произведет в нем честный и суровый отбор. Мы будем ждать новых творений, которые покажут, в какой мере ему удалась перестройка. А сегодня скажем: *с добрым началом, товарищ Эренбург!*»

Статья Радека дала «принципиальную установку» критике, дружно одобрившей новый роман Эренбурга. Эта установка работала несколько лет. В 1938 и в 1949 годах критики новой генерации объявили «День второй» написанным по «дурной ложнопроблемной схеме», «искажающим образы молодежи и нашу действительность». «Социализм строили не дегенераты, не проходимцы, не кулаки и не спекулянты,— поучал писателя М. Шкерин.— Социализм строил народ, строили советские люди. А их-то Эренбург и не заметил» (Октябрь, 1949, № 4). В 1952 г. при подготовке романа для Собрания сочинений, где «День второй» был самым ранним романом Эренбурга, от автора потребовали массы исправлений: смягчали выражения, вымарывали фамилии инородцев...

«День второй» — не традиционный роман, хотя его главная коллизия строится по классической схеме любовного треугольника. Если «вынуть» из «Дня второго» эту коллизию, то останется огромный очерк, дающий впечатляющую социальную и человеческую панораму стройки. Эпический, воистину библейский зачин, кинематографический монтаж кадров, контрастность броско очерченных портретов и реалий быта, самый стиль письма, соединяющий пафос и иронию, трезвую фактографию и сентиментальность, делают этот очерк незаурядным произведением.

В 1932 г. Эренбург уже твердо знал, что он сможет и что не сможет подвергать сомнению, над чем можно и над чем нельзя смеяться, говоря о советской действительности; однако границы

внутренней свободы Эренбург проводил на пределе возможного и о том, что он увидел на стройке, написал правду. Она подтверждается сегодняшним знанием и заключена не только в упоминаниях об эшелонах раскулаченных спецпереселенцев, в широком спектре мотивов строителей, в картине варварских условий их жизни, но и в образах большевиков-руководителей, считающих, что спорить можно с людьми, но не с партией, которая всегда права (то, что казалось героизмом самоотречения ради великого дела, обернулось рабским служением тотальной антинародной диктатуре), и в портретах партийных функционеров, не верящих людям (поощряемая бдительность обернулась партократическим вырождением кадров), в картинах массового психозного поиска скрытых вредителей, который обернулся массовой поддержкой (доносами) мясорубки 1937 года. Когда немецкий специалист Вагнер говорит, что так бесчеловечно строить нельзя, что «человек что-нибудь да стоит», а большевик Шор на это улыбается «ласково и чуть грустно» — за этим видится не наивность иностранного спеца, не понимающего потребностей соцстроительства, а присвоенное режимом право жертвовать жизнью людей ради амбициозных утопий.

Центральная, наиболее содержательная фигура книги — Володя Сафонов; именно этот образ придает «Дню второму» дополнительное измерение, которое и делает панорамный очерк романом. Как проницательно заметил в 1934 году критик Л. Левин, «в этом образе Эренбургом очеловечена идея прощания со своим прошлым». Володя Сафонов — единственный герой романа, имеющий прошлое, связанный с ним кровно и интеллектуально. Его одиночество среди томских студентов нового призыва — одиночество не только человеческое, но и социальное. Рядом с духовно примитивными энтузиастами он чувствует себя чужим и ненужным и мучительно ищет выхода. Летом 1935 г. Мариетта Шагинян предложила сугубо логическое решение проблемы Володи Сафонова. То, что он не получил ответа на мучившие его вопросы, Шагинян назвала ахиллесовой пятой «Дня второго». «Если бы ему удалось получить интеллектуальный ответ, то с Сафоновым могли произойти две вещи: или он объявил бы борьбу марксизму на более сложной теоретической высоте, или увлекся бы скрытыми в марксизме очарованиями для мыслителя,— и отсюда пришло бы для него спасение». Но Эренбург не собирался писать книгу об «искусстве выживания» (А. М. Гольдберг неслучайно ввел это выражение в подзаголовок своей книги об Эренбурге наряду с писательством и политикой). Сказав, пусть и с оговорками, «да» своей эпохе, Эренбург, чтобы еще раз убедить себя в правильности этого выбора, где-то с середины романа форсированно стал подталкивать своего не решающегося на самоубийство героя в петлю.

В 1934-м и в 1953-м Володю Сафонова всерьез называли фашистом: хотел сжечь книги! (Как будто в советских библиотеках не

уничтожались тогда по спискам тысячи названий книг.) В 1964-м индивидуализм Володи Сафонова признавали замкнутым и самодовлеющим, его поражение объясняли тем, что, в отличие от автора, он не предпочел судьбу солдата судьбе мечтателя (это предпочтение мало что могло изменить в его судьбе, и, приговорив героя к смерти, автор лишь сократил будущий урожай «органов» на одну человекоединицу). В 1968-м Аркадий Белинков писал о Сафонове (ошибочно называя его Сафроновым) как о варианте Васисуалия Лоханкина, как о герое, призванном злоумышленно опорочить в глазах читателя русскую интеллигенцию.

Меняются времена, меняются оценки. Володя Сафонов — тот социальный и человеческий тип, который, будучи вырванным из своего круга, не мог выжить в условиях построения социализма в одной, отдельно взятой стране...

Социалистический эксперимент все еще не завершен, и «День второй» остается поучительным документом, своего рода памятником эпохи социалистической индустриализации, художественно запечатлевшим ее живые черты, ее иллюзии, ее человеческие драмы.

Роман печатается по последнему прижизненному изданию 1964 года, сверенному с парижским изданием 1933 года.

Стр. 215. *«Анти-Дюринг»* — книга Ф. Энгельса.

Стр. 216. *Апокалипсис* (Откровение Иоанна Богослова) — одна из книг Нового завета.

Стр. 219. *Ингеборг* — героиня одноименного романа немецкого писателя Бернхарда Келлермана (1906). *Эпизоотия* — широкое распространение заразной болезни животных.

Стр. 222. *...кит... не мог проглотить Иону.* — Имеется в виду библейский сюжет с Ионой, который по воле Яхве пробыл трое суток во чреве кита и был живым выплюнут на сушу.

Стр. 225. *Безыменский* Александр Ильич (1898—1973) — популярный комсомольский поэт.

Стр. 229. *Каупер* — доменный воздухонагреватель.

Стр. 237. *«Вопросы ленинизма»* («К вопросам ленинизма») — сборник выступлений И. Сталина (1926). *Муфель* — камера из огнеупорного материала, изолирующая нагреваемое в печи от продуктов сгорания топлива. *Сен-Симон* Клод Анри Рувруа де (1760—1825) — французский мыслитель, социалист-утопист.

Стр. 238. *Бардин* Иван Павлович (1883—1960) — металлург, академик.

Стр. 239. *«Левой, левой!»* — Из стихотворения Маяковского «Левый марш» (1918). *«Аристократка»* (1923) — рассказ Михаила Михайловича Зощенко (1894—1958).

Стр. 242. *«Наш бог — бег...»* — Из стихотворения Маяковского «Наш марш» (1917).

Стр: 243. *Киршон* Владимир Михайлович (1902—1938) драматург, активный деятель РАППа, его пьесы широко шли в советских театрах 1920—1930-х гг.

Стр. 244. *Батеньков* Гавриил Степанович (1793—1863) - подполковник, участник войны 1812 г., декабрист, осужден на 20 лет каторги, с 1846 г.— на поселении в Томске.

Стр. 245. *Словацкий* Юлиуш (1809—1849) — польский поэт. *Бакунин* Михаил Александрович (1814—1876) — теоретик анархизма. *Старец Федор Кузьмич...*— По легенде, под этим именем после 1825 г. жил император Александр I. *Долгорукова* Екатерина Алексеевна (1712—1745) — в 1729 г. была обручена с Петром II, умершим перед их свадьбой. *Анна Иоанновна* (1693—1740) — русская императрица. *Потанин* Григорий Николаевич (1835—1920) — путешественник, краевед, исследователь Сибири и Центральной Азии. *Шашков* Серафим Серафимович (1841—1882) — историк, публицист, автор трудов по истории Сибири. *Строганов* Сергей Григорьевич (1794—1882) — государственный деятель, археолог, председатель Московского общества истории и древностей российских. *Жан-Поль Марат* (1743—1793) — французский публицист, один из вождей якобинцев. *Михайловский* Николай Константинович (1842—1904) — социолог, публицист, критик, народник. *Попов* Федот Алексеевич (XVII в.) — землепроходец, открывший вместе с С. Дежневым пролив между Азией и Америкой.

Стр. 246. *«Дети Ванюшина»* — пьеса С. А. Найденова. *«Синяя птица»* — пьеса М. Метерлинка. *Бальмонт* Константин Дмитриевич (1867—1942) — поэт. *«Будем как солнце»* — название сборника стихов Бальмонта (1902).

Стр. 247. *«Коварство и любовь»* трагедия Ф. Шиллера (1784). *Бреславль* — ныне Вроцлав (Польша).

Стр. 248. *Рош-гашана* — Новый год по еврейскому календарю.

Стр. 250. *Доктор Фауст* — герой немецких народных легенд и произведений мировой литературы, символ человеческой тяги к знанию. *Мирбо* Октав (1848—1917) — французский писатель. *Короленко* Владимир Галактионович (1853—1921) — писатель, публицист

Стр. 251. *Пастернак* Борис Леонидович (1890—1960) поэт *Блез Паскаль* (1623—1662) — французский писатель и ученый. *Пор-Рояль* дворец в Париже. *Альгамбра* — мавританский дворец в Гранаде (Испания). *Кассиопея* — созвездие северного полушария, расположенное в Млечном Пути. *Кюхля* — лицейское прозвище Вильгельма Карловича Кюхельбекера (1797—1846), поэта, декабриста. *Обезумевшего старика на станции Астапово...*— Л. Н. Толстой, ушедший из Ясной Поляны и умерший на станции Астапово. *«Музыка революции»* — выражение из статьи А. А. Блока «Интеллигенция и революция» (1918).

Стр. 252. *Фрунзе* Михаил Васильевич (1885—1925)—военачальник.

Стр. 253. *Гарри Пиль* (1892—1963) — немецкий киноактер и режиссер, в кинофильмах многие трюки исполнял без дублеров.

Стр. 254. *Свечников* Михаил Степанович (1882—1938) - комбриг, автор трудов по военной истории и тактике.

Стр. 256. *Покровский* Михаил Николаевич (1968—1932) — историк. *«Для берегов отчизны дальной...»* — Первая строка стихотворения без названия Пушкина (1830).

Стр. 258. *«Тишина, ты — лучшее из всего, что слышал...»* — из стихотворения «Звезды летом» Б. Пастернака (1917).

Стр. 262. *«Шоколад»* (1922) — Повесть А. И. Тарасова-Родионова (1885—1938).

Стр. 263. *Дженни* - см. «Пир во время чумы» А. С. Пушкина. *Ася* — героиня одноименной повести Тургенева (1858). *«Конармия»* — книга рассказов И. Э. Бабеля (1923—1925).

Стр. 268. *Коунрад.*— Имеется в виду разработка медного месторождения в Коунраде (Казахстан). *Анжерка* — угольные шахты в Анжеро-Судженске (Кемеровская обл.), один из главных центров угледобычи в Кузбассе. *Бобрики* — ныне Новомосковск; химкомбинат в Бобриках был знаменитой стройкой начала 1930-х гг. *Хибиногорск* — город в Мурманской обл., построенный на базе добычи апатитов, с 1934 г.— Кировск.

Стр. 269. *Во дворце сидел бородатый мужик...*— Имеется в виду фаворит царской семьи Г. Распутин.

Стр. 270. *Деррик* — мачтово-стреловой кран.

Стр. 272. *Шор* — прообраз начальника Кузнецкой стройки С. М. Франкфурта.

Стр. 274. *«Я звал тебя, но ты не оглянулась...»* - Строка из стихотворения А. Блока «О доблестях, о подвигах, о славе» (1908).

Стр. 275. *Бебель* Август (1840—1913) — один из основателей и руководителей германской социал-демократической партии и II Интернационала. *Каутский* Карл (1854—1938) - один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии. *Плеханов* Георгий Валентинович (1856—1918) — теоретик марксизма, один из основателей РСДРП. *Мопассан* Ги де (1850—1893) — французский писатель. *Пышка* — персонаж одноименной повести Мопассана.

Стр. 277. *Блюмс* (или блюм)— стальная заготовка квадратного сечения, полупродукт металлургической промышленности. *Фурма* устройство для подачи дутья в металлургические агрегаты. *Грейфер* — грузозахватный подъемный механизм с самораскрывающимися челюстями для насыпных материалов. *Скруббер* — барабанная машина для промывки полезных ископаемых.

Стр. 278. *«Гидроцентраль»* — роман М. С. Шагинян (1930 - 1931).

Стр. 286. *Сухаревка* — рынок в Москве.

Стр. 293. *Платон* (428—348 до н. э.) — древнегреческий философ. *Ницше* Фридрих (1844—1900) — немецкий философ и писатель. *Бернард Шоу* (1856—1950) — английский драматург.

Стр. 294. *...историю русской поэзии: она началась с двух трупов и двумя трупами кончилась.* — Имеется в виду гибель Пушкина, Лермонтова, Маяковского и Есенина.

Стр. 295. *Анатоль Франс* (1844—1924) — французский писатель.

Стр. 299. *Жаров* Александр Алексеевич (1904—1984) — комсомольский поэт.

Стр. 305. *«Так начинают. Года в два от мамки рвутся в тьму мелодий...»* — Первые строки стихотворения без названия Б. Пастернака (1921).

Стр. 308. *Эдисон* Томас Альва (1847—1931) — американский изобретатель.

Стр. 317. *В старой книге...* — Имеется в виду Библия (цитируется Екклесиаст, 3, 5).

Стр. 320. *Инкунабула* — печатное издание в Европе от изобретения книгопечатания (середина XV в.) до 1 января 1501 г.

Стр. 321. *Баратынский* Евгений Абрамович (1800—1844) — поэт. *Вольтер* (Мари Франсуа Аруэ; 1694—1778) — французский писатель и философ.

Стр. 322. *«Лоджи» Рафаэля* — лоджии Ватикана, расписанные Рафаэлем и его учениками в 1519 г. *Сенека* Луций Анней (ок. 4 до н. э.— 65 н. э.) — римский политический деятель, философ, писатель.

Стр. 323. *Свифт* Джонатан (1667—1745) — английский писатель, автор «Путешествия Гулливера». *Чаадаев* Петр Яковлевич (1794—1856) — религиозный философ. *Святой Августин* (Августин Блаженный; 354—430) — христианский теолог, церковный деятель. *Розанов* Василий Васильевич (1856—1919) — писатель, публицист, философ. *Дидро* Дени (1713—1784) — французский писатель, философ. *Кальдерон* де ла Барка Педро (1600—1681) — испанский драматург. *Тютчев* Федор Иванович (1803—1873) — поэт. *Жерар де Нерваль* (1808—1855) — французский поэт-романтик. *Хомяков* Алексей Степанович (1804—1860) — религиозный философ, поэт, публицист, один из основоположников славянофильства. *Гейне* Генрих (1797—1856) — немецкий поэт, публицист. *Соловьев* Владимир Сергеевич (1853—1900) — религиозный философ, поэт, публицист. *Анненский* Иннокентий Федорович (1855—1909) — поэт, критик. *Бодлер* Шарль (1821—1867) — французский поэт. *Пруст* Марсель (1871—1922) — французский писатель, автор цикла романов «В поисках утраченного времени». *Джемс* Уильям (1842—1910) — американский философ, один из основателей прагматизма. *Апокрифы* — произведения иудейской и раннехристианской литературы, не включенные церковью в канон. *Талейран* Шарль Морис (1754—1838) — французский дипломат. *Даль* Владимир Иванович (1801—1872) — писатель, этнограф, издатель Толкового словаря живого великорусского языка. *Д'Оревильи* (Барбе д'Оревильи; 1808—1889) — французский писатель, поздний романтик. *«Декамерон»* (1350—1353) — книга итальянского писателя Джованни Боккаччо. *«Похвала глупо-*

сти» (1509) — сатирическая книга Эразма Роттердамского. *Плотин* (204—269) — древнегреческий философ, основатель неоплатонизма.

Стр. 327. *Минерва с совой* — в римской мифологии богиня, покровительница ремесел и искусств. *Ипатьевский дом* — дом в Екатеринбурге (Свердловск), где в 1918 г. был расстрелян Николай II и его семья.

Стр. 329. *«Тикет»* (от англ. ticket) — билет. *Венецианов* Алексей Гаврилович (1780—1847) — художник, основатель бытового жанра в русской живописи.

Стр. 330. *Форд* Генри (1863—1947) — один из основателей автомобильной промышленности США.

Стр. 332. *Дантон* Жорж Жак (1759—1794) — деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев. *Муссолини* Бенито (1883—1945) — фашистский диктатор Италии.

Стр. 333. *Фрейдизм* — общее название философской и психологической концепции З. Фрейда. *Валери* Поль (1871—1945) — французский поэт.

Стр. 337. *Галилей* Галилео (1564—1642) — итальянский ученый, один из основателей точного естествознания.

Стр. 338. *«Майская ночь»* — опера Н. А. Римского-Корсакова (1879). *«Евгений Онегин»* — опера П. И. Чайковского (1878). *«Кармен»* — опера Ж. Бизе (1874).

Стр. 339. *«И никого не трогало, что чудо жизни — с час...»* — Из стихотворения Б. Пастернака «Образец» (1917).

Стр. 349. *Стендаль* (Анри Мари Бейль; 1783—1842) — французский писатель.

Стр. 357. *Павлов* Иван Петрович (1849—1936) — физиолог, академик.

Стр. 367. *«Цемент»* — роман Ф. В. Гладкова (1925).

Стр. 369. *...этот Карла...* — К. Маркс.

Стр. 379. *Когда пьяница Исаев умер...* — Имеются в виду обстоятельства, связанные с первой женитьбой Ф. М. Достоевского в 1857 г. на М. Д. Исаевой; после смерти ее мужа А. И. Исаева в 1885 г. Достоевский приезжал в Кузнецк, где 6 февраля 1857 г. состоялось его венчание; Н. Б. *Вергунов* — учитель из Кузнецка, которым была увлечена М. Д. Исаева.

Стр. 381. *«Демон»* — опера А. Г. Рубинштейна (1871).

Стр. 383. *Рамзин* Леонид Константинович (1887—1948) — профессор, теплотехник; в 1930 г. осужден на процессе Промпартии; впоследствии удостоен Сталинской премии. *Достоевского в Омске выпороли.* — В 1850—1854 гг. Ф. М. Достоевский находился в Омске на каторге.

Стр. 384. *Петрашевцы* — общество разночинной молодежи в Петербурге (1844—1849 гг.), утопические социалисты, демократы; осуждены в 1849 г. к различным срокам, включая ссылку.

Стр. 385. *«Я хочу горящих зданий!..»* — Из стихотворения Бальмонта «Кинжальные слова» (1899).

Стр. 386. *Смердяков* — персонаж романа Достоевского «Братья Карамазовы».

Стр. 387. *«Сны мимолетные, сны беззаботные...»* — Из стихотворения Н. Минского; в 1909 г. в Париже Эренбург вместе с Е. Полонской написал пародию на это стихотворение (см.: Вопросы литературы, 1982, № 9, с. 153).

Стр. 398. *Курако* Михаил Константинович (1872—1920) — металлург.

Стр. 411. *Эйнштейн* Альберт (1879—1955) — физик-теоретик, один из основателей современной физики.

Стр. 412. *ОНО* — отдел народного образования.

Стр. 413. *Князь Мышкин* — герой романа Достоевского «Идиот».

Стр. 421. *Рейнгардт* (Рейнхардт Макс; 1873—1943) — немецкий режиссер, актер.

Стр. 423. *Станиславский* Константин Сергеевич (1863—1938) — режиссер. *«Дни Турбиных»* — спектакль МХТ по пьесе М. А. Булгакова. *«Страх»* — спектакль МХТ по пьесе А. Н. Афиногенова. *Мейерхольд* Всеволод Эмильевич (1874—1940) — режиссер.

Стр. 424. *«Экономическая жизнь»* — газета, издавалась в Москве с 1918 г.

Стр. 425. *«Путевка в жизнь»* — первый советский звуковой фильм (режиссер Н. Экк, 1931).

КНИГА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Замысел этой книги возник в 1935 году; в конце года, будучи в Москве, Эренбург поделился им с редакцией «Знамени». Замысел заинтересовал сотрудников журнала, и в самом начале 1936 г. они напомнили о нем Эренбургу в письме: «Надеемся, что скоро Вы приступите к «Книге для взрослых».

1934—1935 годы — короткий период душевного равновесия в жизни Эренбурга, сравнимый в этом качестве разве что с порой его литературного успеха в 1922 году. Издание «Дня второго», официальная поддержка книги властями, широкий общественный резонанс, ею вызванный, участие в работе Первого съезда писателей (на этом съезде Эренбург с безусловной искренностью заявил: «Одно для меня бесспорно: я — рядовой советский писатель. Это — моя радость, это — моя гордость... Мы не просто пишем книги, мы книгами меняем жизнь, и это необычайно увеличивает нашу ответственность») — все это определило новое положение Эренбурга в стране. Писатель, которого еще недавно шпыняла критика, создавая ему репутацию циника, впервые ощутил себя на родине не изгоем. Со

свойственной ему энергией Эренбург взялся за объединение писателей-антифашистов Европы; выдвинул план перестройки международной организации революционных писателей на основе широкой антифашистской платформы, обратился с ним к Сталину и был поддержан. Эренбург нашел то место в «боевом порядке», которое искал, и для нового круга своих друзей — левых французских интеллектуалов (Мальро, А. Жид, Ж.-Р. Блок, Шамсон, Низан) — он стал не только человеком нового искусства, но и человеком Москвы.

В круговерти событий и планов, увлеченный масштабом и значением выпавшей ему работы, Эренбург, чья политическая проницательность (особенно в том, что касалось Запада) была несомненной, прослушал щелчок некоего кремлевского тумблера, переведшего ход событий в иной, как теперь общеизвестно, страшный регистр. Да, Эренбург, находившийся в момент этого переключения в Москве и вместе со всеми сокрушавшийся и недоумевавший над убийством Кирова и говоривший об этом с Бухариным, щелчка не услышал. В этом он был отнюдь не одинок. 3 апреля 1935 года Борис Пастернак писал близкому другу: «Чем дальше, тем больше, несмотря на все, полон я веры во все, что у нас делается» (через год он уже не мог произнести таких слов). Эренбург тоже был полон этой веры. Он отказался от нее существенно позже Пастернака — живя на Западе, ему было куда уйти от отечественных кошмаров (к прежним его обязанностям вскоре прибавилось действенное участие в испанских событиях).

В литературной работе Эренбурга второй половины тридцатых годов превалирует публицистический элемент. В январе 1935 года была завершена повесть о молодежи «Не переводя дыхания». Одна из очевидных литературных неудач Эренбурга, она вызвала поток восторженных рецензий. Эренбург не обольщался насчет художественных достоинств этой повести, но ему было приятно почувствовать явное доверие страны к своей работе. Тогда-то у него и возникла внутренняя потребность поделиться с читателями рассказом о себе, о своем пути, о Москве и Париже начала века, о своих друзьях революционерах, поэтах, живописцах. Эренбург захотел объяснить, как он пришел к тому, чтобы сказать «да». Так родился замысел новой книги, в которой мемуарные главы естественно перемежались бы с главами, где действуют вымышленные герои — инженеры, ученые, рабочие, деятели искусства. Постепенно замысел обрастал подробностями, конкретизировался, однако сесть за книгу Эренбургу мешало многое — обязанности парижского корреспондента «Известий», работа в Ассоциации писателей-антифашистов, перевод повести Мальро «Годы презрения», подготовка к изданию рукописей книг «Хроника наших дней» и «Границы ночи».

В конце января 1936 года в Париже Эренбург наконец смог начать «Книгу для взрослых»; она писалась под аккомпанемент

манифестаций победившего во Франции Народного фронта и под московские вести о развернувшейся там кампании борьбы с формализмом в искусстве (имея в виду эту кампанию, Эренбург по завершении работы над книгой написал в одном из писем: «Может быть, я написал ее не вовремя — немного позже или немного раньше, чем следовало»; насчет «раньше» он, безусловно, ошибался). Уже в конце февраля первые 14 глав из 20 были отправлены в Москву, а 4 марта книга была завершена, в течение марта Эренбург ее окончательно доработал и отправил в «Знамя», где к тому времени уже познакомились с первоначальным вариантом. 7 марта в Париж пришла телеграмма из редакции журнала: «Читаем Книгу для взрослых Радуемся как дети точка Чертовски здорово сказал Рейзин (член редколлегии «Знамени».— *Б. Ф.*) точка Нетерпением ждем оптимистического конца». 13 марта сотрудники редакции А. Тарасенков и С. Вашенцев писали Эренбургу: «Ну вот и кончили читать Вашу замечательную книгу. Хочется от всего сердца сказать, что, на наш взгляд, это лучшая Ваша книга. В ней достигнута та естественность и непосредственность изображения и повествования, о которой, вероятно, каждый по-своему мечтает. То, как переплелись в книге судьбы реальных людей (Маяковский, Пастернак, Мейерхольд, Эренбург) с жизнью людей, созданных автором, придает ей удивительную лирическую убедительность». Через неделю член редколлегии журнала С. Б. Рейзин написал Эренбургу уже не только о восторгах, но и об опасениях: «Книга эта — у меня нет никаких сомнений — написана кровью Вашего сердца... Я бы назвал книгу Вашей исповедью, в которой Вы сводите суровые и окончательные счеты с Вашим прошлым,— и все это наверное для того, чтобы следующую Вашу книгу — я надеюсь, о дне четвертом или пятом нашей жизни — Вы могли бы написать на большом дыхании без оглядки назад... Но я не могу вот уже несколько дней отделаться от мысли, что, несмотря на весь оптимизм книги, в ней много грусти, точнее, я бы сказал, какой-то грустной иронии... В книге много горя и мало радости». Далее следовали частности — убрать восторженные слова о Хлебникове, снять упоминания о Бухарине и т. д. Эренбург к тому времени кое-что в рукописи выправил, дозу иронии укоротил, но Хлебникова и Бухарина оставил. В таком виде «Книга для взрослых» и появилась в майском номере «Знамени» за 1936 год.

Критика откликнулась на новую работу Эренбурга с откровенным, хотя и сдержанным, неодобрением. Заголовки рецензий были такие: «Дрейф в прошлое», «Книга для немногих», «Подражание жизни», «Литература о себе». А. Горелов, автор первой статьи о «Книге для взрослых», писал: «Эренбург воспрянул, лишь только обратил взор от себя к героическим людям нашей социалистической

эпохи. Эренбург снова начал дрейфовать, лишь только от теплого течения жизни ушел во льды своего интеллигентского прошлого». Если «вымышленную» часть книги критика не без оснований обвиняла в иллюстративности, то к ее мемуарной части претензии были сугубо идеологические, так что «Знамени» пришлось взять своего автора под защиту — в очень взвешенной статье А. Тарасенков (Знамя, 1936, № 10) писал о «Книге для взрослых»: «Это не роман, а скорее книга лирических мемуаров о себе и о времени, в которой условные литературные герои сегодняшнего дня — лишь аргументы для выводов и утверждений автора о силе молодости и оптимизме людей современного социалистического общества».

Работая над «Книгой для взрослых», Эренбург был убежден в том, что человеческие чувства и область искусств не подлежат юрисдикции государства; именно потому он сделал их содержанием книги. Время, однако, очень быстро показало ему, что он ошибается (хотя антиформалистическая кампания 1936 года была всего лишь репетицией грядущей ждановщины). Критике было уже мало эренбурговской риторики («Хочу усмехнуться, но вместо этого — улыбаюсь»), от писателя требовали, чтобы он вообще забыл о прошлом. Предстояли очень суровые времена, и неслучайно Эренбург ушел в публицистику; русская тема на десятилетие исчезла из его прозы.

«Книга для взрослых» была напечатана единственный раз — в издательстве «Советский писатель»; ее подписали к печати 10 декабря 1936 года. По сравнению с журнальной публикацией в книге сделано несколько купюр (убрали портреты Андрея Белого и Андре Жида; из готового тиража вырезали страничку с упоминанием Бухарина и Сокольникова). Работая над мемуарами «Люди, годы, жизнь», Эренбург использовал многие страницы «Книги для взрослых», но акценты в повествовании он изменил — исчезла былая ирония, жесткость иных оценок.

«Книга для взрослых» печатается по изданию 1936 года, сверенному с журнальной публикацией; все купюры восстановлены.

Стр. 442. *Серго* — Орджоникидзе Григорий Константинович (1886—1937), деятель большевистской партии.

Стр. 445. *Я пробовал убежать к бурам...* — Речь идет об англо-бурской войне (1899—1902), которую Великобритания вела против бурских республик Южной Африки. *Михаил Яковлевич* — Имханицкий.

Стр. 446. *Надя Львова* — поэтесса Надежда Григорьевна Львова (1891—1913), участница гимназической большевистской организации. *Наша гимназическая организация...* — Ею руководили Н. И. Бухарин и Г. Я. Сокольников; Эренбург вступил в нее в 1906 г. *Брюсов* Валерий Яковлевич (1873—1924) — поэт. *Жюль Лафорг* (1860—1887) — французский поэт. *Брюсов посвятил Наде Львовой сборник стихов.* — Неточно; Н. Львовой посвящены стихи в сборнике Брю-

сова «Зеркало теней»; единственная книга Н. Львовой «Старая сказка» (1913) вышла с предисловием Брюсова.

Стр. 447. *Утром в Иванов день...* — Перевод Эренбурга.

Стр. 448. *Так умирать, чтоб бил озноб огни...* — Стихотворение Эренбурга из неизданной книги стихов «Не переводя дыхания» (1923), впервые — Ленинград, 1924, № 5. *Санчо Панса* — персонаж романа Сервантеса «Дон Кихот».

Стр. 449. *Виктория* (1819—1901) — королева Англии с 1837 г., последняя из Ганноверской династии. *«Валящим снегом с ног гагар...»* — Из неопубликованного стихотворения Эренбурга (1923).

Стр. 450. *Володя Сафонов* — герой романа Эренбурга «День второй». *Олеша* Юрий Карлович (1899—1960) — прозаик, драматург.

Стр. 452. *Собинов* Леонид Витальевич (1872—1934) — знаменитый лирический тенор.

Стр. 453. *И всюду страсти роковые...* — заключительные строки поэмы Пушкина «Цыганы». *Ходынка.* — На Ходынском поле в Москве 18 мая 1896 г. была раздача царских подарков по случаю коронации Николая II; в давке погибло более тысячи человек. *«Спящая красавица»* — балет на музыку П. И. Чайковского (1889).

Стр. 454. *Хамовнический пивоваренный завод.* — Директором завода в 1896—1903 гг. был отец писателя Г. Г. Эренбург. *Шелкопрядильня Жиро* — находилась в Хамовниках. *Парфюмерная фабрика Ралле* — Товарищество высшей парфюмерии А. Ралле и К°, поставщик императорского двора.

Стр. 455. *«Славянский базар»* — ресторан в Москве. *Обойная фабрика Сладкова.* — Летом 1907 г. Эренбург и Бухарин руководили на ней забастовкой.

Стр. 456. *Стокгольмский съезд* — VI съезд РСДРП, проходил 10—25 апреля 1906 г. в Стокгольме. *Я учился в Первой гимназии...* — В 1900—1907 гг. *Гобза* Иосиф Освальдович (1848—1927) — директор 1-й московской гимназии в 1887—1907 гг. *Боголепов* Николай Павлович (1846—1901) — министр народного просвещения с 1898 г. *«Новый луч»* — неточно; машинописный журнал, издававшийся гимназистами 4-го класса 1-й московской гимназии, назывался «Первый луч».

Стр. 457. *«Что делать?»* — роман Н. Г. Чернышевского (1863). *Учитель русского языка* — Владимир Александрович Соколов, работал в 1-й гимназии с 1887 г. *Надсон* Семен Яковлевич (1862—1887) — популярный на рубеже XIX—XX вв. поэт. *Найденов* Сергей Александрович (1868—1922) — автор пьес из купеческого и мещанского быта.

Стр. 458. *«Долой боксеров!»* — «Боксерским» называли в Европе восстание в Сев. Китае (1899—1901), подавленное войсками империалистических держав Европы и США. *«Лакме»* — опера французского композитора Л. Делиба (1883). *Лабори* Фернан (1860—1917) — адвокат А. Дрейфуса. *Дрейфус* Альфред (1859—1935) — французский офицер, еврей, приговоренный к каторге по ложному обвине-

нию в шпионаже. *Зудерман* Герман (1857—1928) — немецкий писатель, драматург. *Крюгер* Паулус (1825—1904) — президент бурской республики Трансвааль. *Плевако* Федор Никифорович (1842—1908/09) — знаменитый адвокат. *Дорошевич* Влас Михайлович (1864—1922) — журналист, знаменитый фельетонист.

Стр. 459. *Кара* Алексей Осипович — чешский пивовар, работал на Хамовническом пивоваренном заводе. *Он* (Толстой) *расспрашивал моего отца.*— Григорий Григорьевич Эренбург (1852—1921) был директором завода до 1903 г.

Стр. 460. *Фенимор Купер* (1789—1851) — американский писатель, автор приключенческих романов о колонизации Сев. Америки. *Бауман* Николай Эрнестович (1873—1905) — большевик, убитый в Москве черносотенцем. *Леонид* (Николаевич) *Андреев* (1871—1919) — писатель, драматург. *Метерлинк* Морис (1862—1949) — бельгийский драматург. *Санин* — герой одноименного романа М. П. Арцыбашева (1907). *Тома Брокгауза и Ефрона.*— Имеются в виду тома энциклопедического словаря. *Некто в сером* — персонаж пьесы Л. Андреева «Дни нашей жизни» (1908).

Стр. 461. *«Русское слово»* — ежедневная либеральная газета, издавалась в Москве в 1895—1918 гг. *Бухарин* Николай Иванович (1888—1938) — один из вождей большевистской партии, экономист, академик. *Сокольников* Григорий Яковлевич (1888—1939) — деятель большевистской партии, нарком, дипломат. *Членов* Семен Борисович (1890—1938?) — юрист, профессор. *Неймарк* Валентин Людвигович (1890—1937?) — участник гимназической большевистской организации; Эренбург ошибочно считал, что Неймарк погиб в гражданскую войну — в 1930-е гг. он работал в Москве. *Сестры Львовы* — Надежда Григорьевна и Мария Григорьевна.

Стр. 462. *Иннокентий* — имеется в виду Дубровинский Иосиф Федорович (1877—1913), член ЦК РСДРП(б). *Базаров* — герой романа Тургенева «Отцы и дети» (1862).

Стр. 463. *Бутиковская мануфактура* — Бутикова Ивана Товарищество мануфактур в Москве. *Нас выдал гимназист Медведниковской гимназии Шура.*— Речь идет об Александре Петровиче Золотаренко (1891—?), в 1908 г.— ученике 5-го класса Медведниковской гимназии; после обыска в январе 1908 г. арестован не был; в деле гимназической большевистской организации (ЦГИАМ, ф. 131, оп. 74, ед. хр. 458) имеется информация о том, что после ареста основных участников организации ее деятельность возобновилась и 21 марта 1908 г. были проведены новые обыски. Золотаренко был арестован, но 12 апреля 1908 г. выпущен по согласованию с прокурором (ссылка на то, что ему не было 17 лет, неубедительна, так как другие участники такого же возраста освобождены не были). К судебному делу Золотаренко не привлекался.

Стр. 464. *Гамсун* Кнут (1859—1952) — норвежский писатель.

Стр. 465. *Глава моего старого романа...*— 9-я глава книги «Любовь Жанны Ней».

Стр. 467. *Флобер* Гюстав (1821—1880) — французский писатель.

Стр. 468. *Ворошиловский стрелок* — почетное звание и знак, учрежденные в 1932 г. Осоавиахимом СССР в честь К. Е. Ворошилова (1881—1969), наркома обороны в тридцатые годы.

Стр. 470. *Жена* — художница Любовь Михайловна Козинцева-Эренбург (1900—1970). *Ядвига* — Соммер Ядвига Иосифовна (1901—1983), преподавательница литературы; спутница Эренбурга в его скитаниях 1919—1920 гг.

Стр. 471. *Аррас* — город во Франции, был варварски разрушен немецкими артобстрелами в 1914 г. (см. статью Эренбурга «Аррас» — Биржевые ведомости, 7 сентября 1916). *Радек* Карл Бернгардович (1885—1939) — деятель большевистской партии, публицист, в тридцатые годы сотрудничал в газете «Известия».

Стр. 472. *Генька* — персонаж повести Эренбурга «Не переводя дыхания» (1935).

Стр. 473. *Нина Камнева* — знаменитая в 1930-е гг. парашютистка. *Дуся Виноградова* (Евдокия Викторовна; 1914—1962) — ткачиха-ударница. *Бедная Лиза* — героиня одноименной повести Н. М. Карамзина.

Стр. 478. *Васильевы* — Георгий Николаевич (1899—1946) и Сергей Дмитриевич (1900—1959) — кинорежиссеры, авторы фильма «Чапаев».

Стр. 479. *Чаплин* Чарлз Спенсер (1889—1977) — американский актер и кинорежиссер. *Гойя* Франсиско (1746—1828) — испанский художник. *Эйзенштейн* Сергей Михайлович (1898—1948) — кинорежиссер.

Стр. 480. *Фра Беато.*— Под этим именем известен итальянский художник Анджелико Фра Джованни да Фьезоле (1387—1455). *Бальзак* Оноре де (1799—1850) — французский писатель. *Горио* — герой романа Бальзака «Отец Горио».

Стр. 481. *Максимилиан* (Александрович) *Волошин* (1877—1932) — поэт, критик, художник. *Вилье де Лиль-Адан* Филипп (1838—1889) — французский писатель, автор «Жестоких рассказов». *Он строил в Дорнахе антропософское капище.*— В июле — августе1914 г. М. А. Волошин работал в г. Дорнахе (Швейцария), где вместе с основателем антропософии немецким философом Р. Штейнером участвовал в постройке антропософского храма.

Стр. 482. *Вересаев* Викентий Викентьевич (1867—1945) — писатель. *Фребелички* — специалистки по дошкольному воспитанию, выпускницы Фребелевских курсов. ...к *Мейерхольду: он был моим начальником.*— Эренбург в 1920—1921 гг. работал в Москве в ТЕО Наркомпроса, где ведал детскими театрами республики. *Диккенс* Чарлз (1812—1870) — английский писатель.

Стр. 483. *Юнге* Эдуард Андреевич (1833—1898) — врач и общественный деятель; последние годы жизни провел в Коктебеле, где многое сделал для возрождения этого края.

Стр. 485. *«Фер ля ке»* (от фр. faire la queue) — стоять в очереди. *Бах* Иоганн Себастьян (1685—1750) — немецкий композитор.

Стр. 491. *Муне-Сюлли* Жан (1841—1916) — французский актер, играл роль царя Эдипа в спектакле театра «Комеди Франсез» по пьесе Софокла «Эдип-царь».

Стр. 492. *Сара Бернар* (1844—1923) — французская актриса, в 1898—1922 гг. возглавляла Театр Сары Бернар. *«Дама с камелиями»* пьеса А. Дюма-сына. *Наполеон* Бонапарт (1769—1821) — французский император. *Дягилев* Сергей Павлович (1872—1929) — театральный, художественный деятель, организатор русских балетных сезонов в Париже. *«Парад»* — балет по либретто Жана Кокто на музыку Эрика Сати, поставленный силами труппы Дягилева в Париже в мае 1917 г. *Пикассо* Пабло (1881—1973) — французский художник. *Верлен* Поль (1844—1896) — французский поэт.

Стр. 493. *«Эда»* — поэма Е. А. Баратынского, была выпущена отдельным изданием в Петербурге в 1826 г. *Проспер Мериме* (1803—1870) — французский писатель. *Пришлец исполнен смутной думы...*— 44—46-я строки из поэмы «Эда». *Ферреро* Гуардиа Франсиско (1859—1909) — испанский анархист.

Стр. 494. *После Седана была Коммуна.*— В районе французского города Седана в сентябре 1870 г. германские войска окружили и разбили французскую армию, в результате чего пала Вторая империя. *После Шарлеруа была Марна...*— Речь идет о местах боев 1914 г.; Шарлеруа — город в Бельгии, Марна — река во Франции. *Жоффр* Жозеф (1852—1931) — маршал Франции. *Боши* — французское прозвище немцев.

Стр. 495. *Рембо* Артюр (1854—1891) — французский поэт *«Природа, убаюкай его!..»* — Из стихотворения Рембо « Le dormeur du val » («Уснувший в ложбине», 1870). Эль *Греко* Доменико (1541 1614) испанский художник. *От этой законченной осени...*— Начало стихотворения Эренбурга «Натюрморт» (1915). *Поль Фор* (1872 1960) - французский поэт. *Гийом Аполлинер* (1880—1918) — французский поэт. *Рябушинский* Николай Павлович (1876—1951) — промышленник, меценат, издатель художественного журнала «Золотое руно». *Мерсеро* Александр (1884—1945) — французский поэт. *Эрнест Рейно* — французский поэт рубежа XIX—XX вв.

Стр. 496. *Модильяни* Амедео (1884—1920) — итальянский художник. *Диего Ривера* (1886—1957) — мексиканский художник. *Савинков* Борис Викторович (1879—1925) эсер-террорист, писатель. *Жакоб* Макс (1876—1944) — французский поэт.

Стр. 497. *Молодой длинноволосый еврей* — поэт и переводчик

Марк Владимирович Талов (1892—1969). *Стриндберг* Август (1849—1912)—шведский писатель.

Стр. 498. *Коллонтай* Александра Михайловна (1872—1952)—деятель большевистской партии, дипломат. *Мах* Эрнст (1838—1916)—австрийский физик и философ, один из основателей эмпириокритицизма.

Стр. 500. *Бланки* Луи Огюст (1805—1881)—французский революционер, коммунист-утопист.

Стр. 506. *Бюхнер* Людвиг (1824 - 1899)—немецкий естествоиспытатель, философ, вульгарный материалист.

Стр. 512. *...Грызя туннелем вязкие хрящи...*—Из неопубликованного стихотворения Эренбурга (1923).

Стр. 515. *Я не думаю, что поэт «всех ничтожней»...* -- Имеются в виду строки из стихотворения Пушкина «Поэт» (1827): «И меж детей ничтожных мира, // Быть может, всех ничтожней он».

Стр. 516. *Андрей Белый* (Борис Николаевич Бугаев; 1880 - 1934)—писатель. *Свинемюнде* · город в Германии. *Анри Руссо* (1844—1910)—французский художник-примитивист.

Стр. 517. *Еврейская купчиха и меценатка...*—Мария Самойловна Цетлин (1882—1976). *Вячеслав* (Иванович) *Иванов* (1866—1949) - поэт. *Франциск Ассизский* (1182—1226) - итальянский проповедник.

Стр. 518. *Хлебников* Велимир (Виктор Владимирович; 1885 - 1922) - поэт *Ренуар* Огюст (1841 - 1919) -- французский художник. *«Зори»* -- спектакль по пьесе Э. Верхарна. *Как он* (Мейерхольд) *играл в старом Художественном театре Грозного...*—В спектакле, поставленном В. И. Немировичем-Данченко по пьесе А. Н. Островского «Василиса Мелентьевна» (1897).

Стр. 519. *Давид Бурлюк* (1882—1967)—поэт и художник. *Франсуа Вийон* (1431—?)—французский поэт, его стихи переводил Эренбург; эпитафия Вийона цитируется в переводе Эренбурга. *Кто над морем не философствовал?..*—Из стихотворения Маяковского «Мелкая философия на глубоких местах» (1925).

Стр. 520. *«Сестра моя—жизнь»* книга стихов Пастернака, написанная летом 1917 г·

Стр. 521. *«Урал впервые»*—стихотворение из книги «Поверх барьеров» (1916). *Андре Мальро* (1901 · 1976)—французский писатель, государственный деятель. *Тельман* Эрнст (1886—1944)—руководитель германской компартии.

Стр 522. *Бабель* Исаак Эммануилович (1894—1940) писатель. *Рассказы о Беньке Крике*—«Одесские рассказы» Бабеля. *Бювар и Пекюше*—герои неоконченного романа Флобера (два обывателя, попытавшиеся постичь истину).

Стр. 524. *У меня лежит грамота ударника...*—Звание было присвоено Эренбургу постановлением цехкома «Известий» 5 ноября 1934 г., за его статьи (см. многотиражку «Летучка» за 7 ноября 1934 г).

Стр. 526. *Луговской* Владимир Александрович (1901—1957)—поэт. *Виталий*—под этим именем в Париже жил Абрам Яковлевич Елькин (1882—1909), большевик, один из организаторов челябинской организации РСДРП. *Таню Рашевскую я знал по московской организации...*—Неточно; Т. Рашевская—сестра Василия Рашевского, соученика Эренбурга по 1-й московской гимназии. *Паскин* Юлиус (1885—1930)—французский художник, выходец из Болгарии.

Стр. 531. *Дункан Айседора* (1878—1929)—американская танцовщица. *Куно Фишер* (1824—1907)—немецкий историк философии. *Авенариус* Рихард (1843—1896)—швейцарский философ, один из основателей эмпириокритицизма. *Ключевский* Василий Осипович (1841—1911)—русский историк. *Боттичелли* Сандро (1445—1510)—итальянский художник. *Арсипресто де Ита*—испанский поэт Хуан Руис, протоиерей Итский (1283—ок. 1350).

Стр. 532. *Дыша духами и туманами...*—Из стихотворения А. Блока «Незнакомка» (1906). *Лиза*—Елизавета Григорьевна Полонская (урожд. Мовшенсон; 1890—1969), поэтесса, близкий друг Эренбурга. *Мне сладки все мечты...*—Из стихотворения В. Брюсова «Я».

Стр. 533. *Франсис Жамм* (1868—1938)—французский поэт, оказавший влияние на Эренбурга в 1910-е гг., Эренбург переводил его стихи и посвятил ему свой сборник «Детское» (Париж, 1914). *Зосима*—персонаж романа Достоевского «Братья Карамазовы».

Стр. 534. *От жажды умираю над ручьем...*—Из «Баллады поэтического состязания в Блуа» Ф. Вийона в переводе Эренбурга.

Стр. 535. *Леже* Фернан (1881—1955)—французский художник. *Прочитав статью Ромена Роллана...*—Имеются в виду выступления против империалистической войны в книге статей «Над схваткой». *...отца Илюши, Мармеладову... Дмитрия...*—персонажи романов Достоевского «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы». *...бессмысленных страданиях Иова.*—По Библии, испытывая веру Иова, Бог насылал на него проказу, нищету, гибель детей, изгнал его из родного города. *...любит Иакова и не любит Исава*—сыновья Исаака и Ревекки; старший, Исав, продал свое первородство за чечевичную похлебку. *Леон Блуа* (1884—1917)—французский писатель, рьяный католик, оказал влияние на Эренбурга в 1910-е гг.

Стр. 536. *Я описал в газете, как светские дамы обращают в католичество сенегальцев...*—В статье «Французские женщины» (Биржевые ведомости, 2 июля 1916 г.). *...Тебе поклоняюсь, буйный канун...*—Из стихотворения «Канун» (1915).

Стр 537. *Пугачев* Емельян Иванович (1740—1775)—предводитель крестьянского восстания. *Прорастут, прорастут твои рваные рученьки...*—Из стихотворения «Пугачья кровь» (1915). *...Он любит грустить вечерами...*—Из поэмы «О жилете Семена Дрозда» (1916); имеется в виду М. О. Цетлин (Амари).

Стр. 538. *Эстонец Рудди*—музыкант Р. Тасса.

Стр. 539. *«Молитва о России»* — книга стихов Эренбурга, вышла в Москве в 1918 г.

Стр. 540. *Врангель* Петр Николаевич (1878—1928) — генерал, один из организаторов белой армии. *«Принцесса Брамбилла»* — спектакль, поставленный А. Я. Таировым по произведениям Э.-Т.-А. Гофмана в Камерном театре в 1920 г. *Дуров* Владимир Леонидович (1863—1934) — цирковой клоун. *...Пастернак прочитал мне стихи о Кремле.*— «Кремль в буран конца 1918 года».

Стр. 541. *Татлин* Владимир Евграфович (1885—1953) — художник.

Стр. 547. *Роза Люксембург* (1871—1919) — деятельница германской компартии.

Стр. 559. *Я хочу быть понят моей страной.*— Маяковский привел эти строки в заметке «Письмо Равича и Равичу» (1928), сопроводив такими словами: «Несмотря на всю романсовую чувствительность (публика хватается за платки), я эти красивые, подмоченные дождем перышки вырвал».

Стр. 563. *...Притиснут к стенке и опознан...*— Из неопубликованного стихотворения Эренбурга (1923).

Стр. 568. *Паоло Яшвили* (1895—1937), *Тициан Табидзе* (1895—1937) — грузинские поэты. *Есть речи — значенье...*— Первые строки стихотворения без названия М. Лермонтова (1840). *...Касаться скрипки столько лет...*— Из стихотворения И. Анненского «Смычок и струны».

Стр. 569. *И тут кончается искусство...*— Из стихотворения Б. Пастернака «О, знал бы я, что так бывает...».

Стр. 570. *Андре Жид* (1869—1951) — французский писатель; в 1930-е гг. был близок к СССР; после посещения СССР в 1936 г. выпустил книгу, в которой написал правду об увиденном, после чего был ошельмован советской прессой. *Челюскинцы* — участники экспедиции на пароходе «Челюскин», который в 1934 г. был раздавлен льдами; спасены летчиками. *Бойцы Флоридсдорфа* — участники вооруженного восстания в Австрии в 1934 г.

Стр. 571. *В моей книге об Испании...*— Книга очерков «Испания» (1932).

Б. Фрезинский

Содержание

Илья Григорьевич
Эренбург

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ

Том третий

Подбор иллюстраций
Б Фрезинского

Редакторы
А Краковская, К. Вепринцева

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
В. Кулагина

Корректоры
Т. Сидорова и Н. Замятина

ИБ № 6303
Сдано в набор 20.11.90 Подписано в печать 10.06.91. Бумага тип № 1. Формат 84 × 108 1/32. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл печ. л. 31,92+альбом=32,76. Усл. кр.-отт. 34,02. Уч.-изд. л. 33,67+альбом=34,12. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-3897. Заказ № 1631. Цена 8 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература» 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати 113054, Москва, Валовая, 28

